

ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

2008

№6 (70)

ЗИМА

« Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое испкупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть. »

Е. А. Баратынский

Главный редактор

Марина Саввиных

Заместители главного редактора

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

Иван Клиновой

Елена Тимченко

Михаил Стрельцов

Секретарь

Наталья Слинкова

Дизайнер-верстальщик

Олег Наумов

Редакционная коллегия

Николай Алешков

Набережные Челны

Алексей Бабий

Красноярск

Владимир Балашов

Саяногорск

Юрий Беликов

Пермь

Светлана Василенко

Москва

Михаил Гундарин

Барнаул

Дмитрий Мурзин

Кемерово

Александр Колесов

Владивосток

Сергей Кузнечихин

Красноярск

Валентин Курбатов

Псков

Александр Лейфер

Омск

Евгений Мамонтов

Владивосток

Евгений Попов

Москва

Лев Роднов

Ижевск

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Александр Силаев

Красноярск

Михаил Успенский

Красноярск

Илья Фоянков

Санкт-Петербург



Роман Мамонтов

Эхо Овсянки

притормозило в Чусовом

Астафьевские чтения: 26–27 ноября 2008 г.

...а на вокзале «Пермь Вторая» томский поэт Николай Игнатенко выдохнул:

Утро, как будто разбитое блюдо,
всюду осколки вчерашнего снега.
Это ноябрь — пора революций,
лозунгов, зрелищ и чёрствого хлеба.

Ветер северный. Камское Море — как третье лёгкое города. Дует, сквозит по центральной улице Ленина. В стыке геологических платформ заколочена пробирка с манускриптом «Азия-Европа». Железнодорожный вокзал — пробка этой стекляшки. Попробуй откупорь... Подмигивает электронное табло. Привокзальный гармонист отставил «трёхрядку», высыпал мелочь из шапки-ушанки в ладонь и оглянулся. Верлибр мегаполиса — народ, сороки-воровки, разлитый кофе на асфальте, стражи порядка. Проза путеобходчика — зелёный свет, скрип колёсных пар, воля... Нас четверо (встречающих) — Юрий Беликов, Николай Игнатенко, Антон Борисов, Роман Мамонтов. Четыре стороны света. Пробка от настойки «К царской трапезе» валится вбок. Рукотворная пробирка пермского напитка. Двадцать пять градусов. Плюс два — на улице. Богов ли напиток? Счёт пошёл. Европа, Азия, Красноярск, Томск, Вологда, Омск, Пермь...

Поезд с красноярцами задержался на двадцать минут... Теперь по коням!

Приятный звук двигателя. «Субарик», праворулка, землячок», — скажет потом в городе Чусовом Михаил Тарковский, писатель, промысловик, таёжник, владеющий виртуозно хоть карандашом, хоть ручкой «газа» лодочного мотора «Yamaha». Поэт Вероника Шелленберг нечаянно породнит Пермь с Омском: «В центре города такой же контраст. Деревянные полуразрушенные дома бок о бок с элитным капстроём». Сцилла и Харибда. Поток иномарок. Прошмыгнули — из публицистики в эпос, и обратно. Марина Саввиных, редактор журнала «День и Ночь», пока молчит. После она прочтёт:

...теперь здесь темнота и запустенье,
а думалось — надёжное жильё.
Но, видимо, соседство с милой тенью —
навек преимущество моё.
И потому — ни роз тебе, не лилий, —
что надо бы самой на плаху лечь!
А ведь каких мне стоила усилий
блаженная рифмованная речь...

Дорога. Указатель. Юрий Беликов закидывает очередную фишку-рифму. Орёл или решка? На Север — туда, где Александр Грин спрыгнул с поезда и через полвека закаменел в реке Архиповке; туда, где Виктор Петрович Астафьев написал свой первый рассказ «Гражданский человек».

Сергей Кузнечихин, Александр Ёлтышев. Старые «Дикороссы», апостолы равнины и тайги. Вот и очутились они в краях Дико-Растущих. Дикороссы, Блок-Пост, Краина. За окнами — река Усьва, мост проскочили. Рубикон за спиной.

Привет от Астафьева: дом-музей на Партизанской, Красная Горка, поворот направо, школа олимпийского резерва «Огонёк»... Китеж-град Постниковский, иначе — Музей истории реки Чусовой. Равновесие. Тишина. Так случается перед бурей...

А вот и библиотека. Двухэтажное здание, вывеска: «...имени А. С. Пушкина». Не велика по размерам, да глубока по сути.

— Добрый вечер, Альмира Михайловна.

— Добрый, — отвечает хозяйка библиотеки.

Микроавтобус затих у крыльца. Ближний свет полирует стены. Редкие прохожие, как очумевшие чёртики, кувыркаются в огнях. А читальный зал полон. Земляки астафьевские присматриваются к заезжим писателям: ну, точно не Москва, что-то близкое, настоящее — не глянцево-газетное. Провинциальные, белопятенные, как литература, что родником бьёт из недр земли. Ладонью — в источник, а не «цепторовским» ковшом из пластиковой бадьи. Пить, кстати, надо правильно. Это только в супермаркете продают воду под кодовым названием «Родники Руси Великой». Писатели, братья по несчастью, поэты, блин... Из Сибири да в горнило чмз — Чусовского Металлургического Завода. чмз — Человек Может Задуматься. Когда-то один из директоров завода заметил: «А то, что «хвост лисий» (прим. автора: лисий хвост — дым, выброс, окислы металлургического производства ядовито-жёлтого цвета)... так это хорошо. Увеличивает биологическую активность чусовлян». Прямо в яблочко!.. Однако административный ресурс уже в зале: мэр города Виктор Бурьянов, глава района Николай Симаков. Я подумал: «Раз уж они на «чтения» пришли, значит, решили вступить в «Дикороссы». И прекрасно! Был бы жив Виктор Петрович, переправил бы «едино» на «дика»... россы. Так честнее.

Словом, высадился десант писательский на берегу реки Чусовой. Астафьевские чтения... По душе пришлась «первая» литературная родина

Виктора Петровича и библиотекаря из Овсянки, и устроителям литературных фестивалей из Вологды. «Широка Россия да отступать некуда...» Неспроста так благодатно приняли чувовляне сибиряков, вологжан, не в пример Перми Великой, где ни губернатор, ни «замы» его, да и вообще мало кто из людей чина чиновничьего поинтересовался «этими самыми чтениями». У губернатора 7 (семь) важных дел, такая политплатформа, остальное — так себе, «далеко не бренд». И хорошо, и — слава Богу. Представляете: Михаил Тарковский — «имиджевый бренд» Бахты?! Или: Марина Саввиных — «лейбл» литературного Красноярска?! Или: Роберт Белов — почётный «стикер» Перми Великой?!

И, тем не менее, астафьевские чтения прошли. Виктор Петрович никогда не яштался с властью — в завет нам, на будущее. Как в том фильме «Похороны Астафьева», что показал красноярский режиссёр Владимир Васильев — народ, власть и удары глиняных комьев о домовину. Нет, тягостного впечатления после просмотра фильма не осталось, но звезда человека, писателя и гражданина торжественно и печально упокоилась в небе города Чусового.

Чтения закончились... Микроавтобус, «субарик»... мост через реку. Александр Ёлтышев читает:

...Зарыться в мир без пирровых побед,
интриг и лжи в сановном кабинете,
где тишина. Лишь родины хребет,
хрустит на стыке двух тысячелетий...

Огни Китеж-града Постниковского. Лёгкий дымок над баней. Шелест Архиповки. Часовня. Таинство, забвение. По легенде недалеко от этих мест столкнулись два пласта земли и вылезли на поверхность, то — Азия и Европа. Совпадение или закономерность? Дальний гудок электропоезда. Юрий Беликов подходит к Михаилу Тарковскому:

Мы все эмигранты, какой, не припомню, страны.
и рады бы съехать, да только откуда съезжать?..
Ушла из-под ног, даже топи её не видны.
«Ни пяди!», — кричали. А где эта самая пядь?..

Ужин. Все вместе за одним столом. Помните беседы на полночных кухнях? Будто вернулись семидесятые годы прошлого века. «Неформальность» — как пик человеческой мысли. Сквозь



Красноярский писатель Сергей Кузнецихин
в роли приказчика деревенской лавки.
Музей истории реки Чусовой. 27 ноября 2008 г.

табачный дым проглядывает будущее — точно души потомков следят за тобой, выглядывая из табачных колечек и завитков. Что ты оставишь детям? Что скажешь и куда поведёшь? Зависит не от обстоятельств, но от тебя.

Вот розовощёкий тридцатилетний вологжанин-издатель Сергей Тихомиров с некоторым вызовом крикнул поэту Кузнецихину:

— А какой у вас индекс читаемости? Никакой!
Красноярец Кузнецихин не расслышал:

— Ну, да... По морде, так по морде.

Возможно, это и есть первые строки чьей-нибудь будущей повести. Вот так, незатейливо и просто начинается литература. По соломке, по камешку, по строке.

Виктор Петрович Астафьев умел соединять несоединимое, умел видеть свет и вести за собой людей. Эхо Овсянки притормозило в Чусовом, а, набравшись силы, ещё ухнет по новой — от Москвы до Бахты.

«Боже, Боже! Что есть жизнь? И что с нами произошло? Куда мы делись? В какие пределы улетучились, не вознеслись, не уехали, не уплыли, а именно улетучились? Куда делась наша добрая душа? Где она запропастилась-то? Где?... Боже праведный, подаривший нам этот мир и жизнь нашу, спаси и сохрани нас!» (Вечерние раздумья, В. П. Астафьев, 1991 г.)

Чёрное небо. Ноябрь. Последние моменты осени. Скоро по домам. Как странно, что нет ещё снега, не слышен его хруст под ногами, не мёрзнут щёки. Зима — тётка своенравная. Будет ещё минус тридцать, будут ещё метели...

И вытерпим, и встретимся ещё раз!

Назло всем.

г. Пермь

Синяя тетрадь

«Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами.»
Ахматова

В конце ноября 2008 года, в дни памяти В. П. Астафьева, в Пермском крае — при непосредственном участии его Правительства, муниципалитета города Перми и общественных организаций, среди которых правозащитное общество «Мемориал», центр истории политических репрессий «Пермь-36» и Российский пэн-клуб, — состоялся Всероссийский фестиваль и Гражданские чтения, посвящённые Астафьеву: его судьбе, творчеству, влиянию на современную культурную жизнь России.

Встреча с членами редколлегии и авторами журнала «День и Ночь» в Чусовской центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина стала одним из самых заметных событий фестивального календаря, изобиловавшего яркими мероприятиями. Пермяки — не без оснований — называют Чусовой «литературной Родиной» Астафьева: здесь были созданы и опубликованы его первые произведения, здесь началась его творческая судьба. Нам, красноярцам, особенно отраднo было убедиться, что в Чусовом не только заботливо хранят материальные свидетельства той поры жизни нашего великого земляка, но способствуют распространению и развитию его духовного наследия. Я не оговорила — именно развитию. Чусовская библиотека уже несколько лет подряд организует т. н. «Малые Астафьевские чтения», в которые вовлекают школьники со своими первыми «пробами пера».

Нравственный посыл Астафьевской прозы продолжает жить в творческих попытках начинающих авторов — в этом мы убедились, слушая маленьких артистов-чтецов, листая альманах «Огоньки» — издание, которое с энтузиазмом поддерживают сотрудники Литературного музея им. В. П. Астафьева и городской библиотеки им. А. С. Пушкина, работники образования и культуры Чусового.

Сегодня на страничках «Синей тетради» читатели «ДиН» познакомятся с произведениями школьников Пермского края, получивших признание на «Малых Астафьевских чтениях».

Вторая часть «Синей тетради» — красноярская. Здесь, в Красноярске, вот уже пятый год подряд силами творческой интеллигенции, учителей и Министерства (до нынешнего года — Главного управления) культуры проводится молодёжный конкурс стихов и прозы памяти В. П. Астафьева. Лучшие произведения красноярских школьников, участвовавших в этом конкурсе — здесь и теперь. Просим любить и жаловать.

Марина Саввиных

Юлия Матарас 11 класс

Путешествие от станции Урал-Нефть до станции Чусовская (фрагменты творческой работы)

В этом году мы совершили поездку от станции Урал-Нефть до станции Чусовская. Цель её — не только рассказать о названиях населённых пунктов, но и найти ответы на вопросы, возникшие в ходе путешествия, в рассказах В. П. Астафьева.

Перед путешествием мы поработали с топонимическими справочниками, с архивными документами, взяли интервью у старожилов. Нам предоставила свой архив Н. В. Никулина, мы познакомились с архивными документами школьного музея станции Комарихинская и библиотеки станции Калино, а также с газетными статьями «Чусовского рабочего» и журналом «Малые города». Мы встретились со старожилами посёлка Калино, деревни Коммуно-Кряж, с работником Чусовской мельницы посёлка Лямино Николаем Ивановичем Невоструевым. Кроме этого, мы прочитали рассказы В. П. Астафьева «Бабушка с малиной», «Весёлый солдат», «Осенью на вырубке», «Родные берёзы», «Ода русскому огороду», «Руки жены» и книгу очерков Ф. Голикова «Красные орлы», единственный экземпляр которой находится в центральной библиотеке им. Горького.

Что касается названий населённых пунктов, мы обнаружили, что сегодня они, конечно, не соответствуют своим первоначальным топонимам, кроме станции Урал-Нефть, которая действительно находится в районе открытия первого месторождения нефти на Урале. Станция Комарихинская, скорее, переняла своё название от деревни Комариха при речке Комарихе (Комария). Так же и название Селянка связано с рекой Селянкой. А вот другие станции имеют необычные названия: Кутамыш (Кута — торфяное болото или предмет для рыболовства, или тёплая горенка, а «мыш» — причастие прошедшего времени и восходит к тюркскому языку). Кстати сказать, подобные названия станций мы обнаружили в свердловской области — Кумыш, Карамыш.

Станция Вереинской в годы гражданской войны не существовало, а был «103-й километр». Такое название разъезд получил от деревни Вереино (веря — вытанутая возвышенность на низменном месте). Интересна станция «120-й километр», так как здесь расположена деревня Коммуно-Кряж. Кряж — возвышенность среди болотистых мест. Коммуна — потому, что в 30-е годы здесь несколько семей действительно жили «коммуной», работая по принципу коммунизма «от каждого по способностям, каждому — по труду».

Но способности разные, да и ленивых немало, поэтому такие коммуны распались по всей стране, а название осталось.

Очень удивило название Лямино — от прозвища Ляма (мямля, размазня, вялый человек). Сегодня ляминцев так не назовёшь, они настоящие борцы, патриоты, так как, благодаря работе на Чусовской мельнице, прославили свою родину. В 2005 году на «Всероссийском смотре качества» им вручили золотую и бронзовую медали.

Из достопримечательностей надо, конечно же, выделить памятники при вокзалах на станциях Комарихинская и Калино. Читая очерки Ф.Голикова, мы узнали, какие ожесточённые бои здесь шли во время гражданской войны. Даже за маленькую станцию Селянка яростно сражались. А на станции Калино шли бои за мост и в перестрелке погибли 4 красноармейца, им и поставлен памятник.

Поражает цифра 100 на Красной горе в Чусовом. Она составлена из посадок елей в честь столетия завода. Читая очерки Голикова, мы обнаружили следующую запись: «Станция Комарихинская — это посёлок, окружённый со всех сторон соснами, лесная чаща на сотни вёрст». Нас это удивило, так как ни сосен, ни чащи на сотни вёрст сегодня здесь нет. Вместе с Астафьевым мы убедились, что человек сам решает судьбу деревьев. В рассказе «Осенью на вырубке» Виктор Петрович пишет: «Не могут же люди веки вечные заниматься самоистреблением. Древесину вырубает разными способами, и вылетает она в копеечку, а её всё равно упрямо валят. Упрямое существо человек!»

А про станцию «101-й километр» Астафьев написал добрый и весёлый рассказ о том, как бабушка садилась в поезд «Комарихинская — Тёплая Гора» с полным туесом ягод и расстроилась, так как подножка высоко, пока карабкалась, все ягоды просыпала. Но рыбаки попросили школьником помочь бабушке, и те с радостью по горсточке отсыпали из своих туесов ей малины, а потом все весело распевали: «Эх, Калино, Лямино, Левшино, Комариха и Тёплая Гора!»

Проезжая станцию «120-й километр», мы задумались о чистоте воды в реке Лысьва. «Лысьва» в переводе — лесная вода, но пить из неё воду небезопасно. И Виктор Петрович, бесспорно, прав, возмущаясь: «Ах, если бы знал человек, как он грязен, вонюч, необходим, так, может, и постыдился бы себя, исправился бы, стал вести себя поопрятней и милосердней. Да где там?! До милосердия ли ему?! Веселится, пляшет и поёт человек, дожирая остатки безумного пиришества на земном столе, любуясь на себя уже не в зеркале, а в лужи грязные глядя. Скоро ему е только наслаждаться нечем будет, но и напиток на земле воды не найдётся, в небо за ней полетит на жутко грохочущих кораблях».

Узнав у старожилов деревни Коммуно-Кряж об её истории и жизни в ней, мы вспомнили рассказ Астафьева «Ода русскому огороду». И старожилы Коммуно-Кряжа, и жители сибирской деревни, о которых пишет Виктор Петрович, жили одинаково: огороды не разделяли изгородями, трактор одним разом пахал их жителям всей улицы.

Дружно люди жили, придерживаясь правила: «Не живи с сусеками, а живи с соседями». Удивило, что практически все жители деревни приехали сюда в поисках лучшей жизни и очень тосковали по своей родине. Михаил Игнатьевич Невоструев сокрушался: «40 лет прожил на родной земле, за что судьба заставила поселиться на чужой сторонке?». Отрадно, что Виктор Петрович, пожив и на Урале, и на Вологодчине, вернулся в родную Овсянку и ощутил волнующие минуты полного слияния с родной землёй, когда слышишь звуки, которые не слышит никто.

Мы увидели, что станция Чусовская очень изменилась с тех пор, как Астафьев впервые приехал сюда. Удивительно, тогда на вокзале неделями ждали поезд, разместиться было негде. Чтобы сесть в вагон, надо было выиграть сражение. На привокзальной площади нет больше памятника В. И. Ленину, который был единственным тогда первым знакомым для писателя в этом городе. Однако со временем город стал маленькой родиной для Астафьева, и он никогда его не забывал. Как не забывает его и Чусовой. В память о писателе на здании вокзала установлена мемориальная доска. В городе есть дом-музей Астафьева. Да и я — участница ежегодных Астафьевских чтений. В этом году они — пятые, юбилейные. И я ещё раз удивляюсь таланту и мудрости писателя.

Евгения Офимкина 10 класс

Заяц

Чаю бы кружку, а к чаю — кусок янтаря,
Чтоб золотился под лампой оранжевым мёдом,
Выдвинуть пыльные ящики деда-комода,
Свечку зажечь и украдкою ждать января.

Рыжая, можно в плечо твоё носом уткнусь?
Месяц в окошке сгибает медовые рожки.
Может, поймаем хоть капельку мёда в ладошки?
Рядом со светом теплее покажется грусть.
Люстрой, люпинами, люреksom в розовых шторах.
Рыжая, можно останусь с тобой до весны?

Каждый шажок, каждый тихий
и вдумчивый шорох
Станет и нужным, и важным при свете луны.

Рыжая, слушай — уже полыхает заря.
Можно-то можно, да всё невозможно остаться.
Я изловлю тебе за уши лунного зайца —
С ним так уютно украдкою ждать января.

Яблоки

Метелится небо, дразнится запах яблок,
И чай замечтался в плохо отмытой кружке.
Зачем ты целуешь рассыпчатые веснушки?
Затем, что обоих, верно, попутал дьявол.
Играет яблоком, грея его в ладонях,
А плод запретный, известно, бывает сладок.
Зачем её кормишь ты горечью шоколада?
Затем, что, наверное, сам до сих пор не понял.
Упало яблоко — ветка не удержала.
И этот запах — может ли быть роднее?
Зачем ты утро отныне встречаешь с нею?
Затем, что дьявол был ни при чём, пожалуй.

Максим Решанов 11 класс

Вогулы в романе Павла Северного «Рукавицы Строганова»

Русские люди живут на берегах реки Чусовой почти пять веков, и мы думаем, что до нас здесь никто не жил. Но на самом деле здесь были и другие цивилизации. До нас, русских, здесь жили вогулы, относящиеся к угорским народам. У них были свои правители, свои боги, но с приходом русских аборигены были вынуждены сливаться с ними или уходить за Урал, на восточный склон и в низовья Оби. Наша цель — рассказать о жизни, быте и культуре народности, жившей на Чусовских землях до русских, и показать, какими их изображает Павел Северный в романе «Рукавицы Строгановых». История родного края, писателем-земляки, воспевающие его, — эти темы всегда важны и актуальны. Не может жить человек, не зная своих корней, иначе он становится Иваном, не помнящим родства.

Знакомство с манси началось во время походов новгородских и московских дружин за сбором дани в 14 — первой половине 15 века, но интенсивные контакты относятся к рубежу 16–17 веков. Именно в 16 веке разворачиваются события романа Павла Северного.

«Рукавицы Строгановых» укрепляют и охраняют Строгановские земли. Это люди, гонимые одни нищетой, другие царским деспотизмом, но принятые Строгановыми в глухомани Уральского раздолья, являются той силой, что крепят силу и мощь государственного масштаба. Это и кораблестроитель Иван Строев, гонимый царём Иваном Грозным, ставленник Семёна Строганова, воевода Голованов, душенаставник, телохранитель чувовлян Спирия Сорокин, племянники Никита и Максим Строгановы, и Ермак Тимофеевич, и его любимые женщины — Екатерина Алексеевна, Анна Муравина и Анюта. Шли годы, разные по удаче, но вожжи всегда оставались в руках Строгановых».

Из истории известно, что в верховьях Яйвы и Косьвы, входящих в вотчину Строгановых, проживали манси (вогулы). Со временем их численность сокращалась. Часть манси обрусела, часть ушла на Сосьву. Вогулы были немногочисленным народом. В первой четверти 18 века на территории Среднего Урала проживало 820 манси (это 0,82% от общего числа жителей)... Однако уже по сведениям 1869 года числа манси увеличилась до 1920 человек. Вогулы -воинственный народ. Они яростно отстаивали свои территории, так как русские поселились на их земле. В своём романе Павел Северный рассказывает о том, как Строгановы постоянно испытывают набеги вогульских племён. Аборигены сжигали соляные промыслы, поселяне брали в плен, нападали на соляные караваны, сжигали монастыри, нападали на городки. «Особенно, — пишет Северный, — доставалось Верхнему городку. К его стенам леса подступали вплотную. И воеводе Досифею пришлось вырубать просеку сто сажень шириной под угрозой вогульских луков». Они заставили Строганова

«увести своих людей с Чусовой, закрыть варницы и скрыть крепости. Если эти требования будут приняты, вогулы обещали прочно замирились со Строгановыми».

На раннем этапе основным занятием манси являлась охота. Самым распространённым оружием во всех случаях был лук. Его убойная сила была сравнима с убойной силой современного оружия. Такие луки нашли признание и у русских. Было даже время, когда ясачные сборщики принимали луки у местного населения в зачёт ясака. Небольшие массивные гранёные наконечники позволяли успешно противостоять даже закрытому панцирем врагу.

Павел Северный в своём романе описал это оружие так: «Лук — это оружие заговорное, заповедное. Дровесина этого лука выдержана кудесниками три года в особом зажиме, тетива свита из ножных жил горного козла, а острия верных стрел смочены соком островного корня. Это оружие не на простого врага, не для обычной охоты. Это священный лук охранителей коря». Островной корень произрастал на Медвежьем острове. Вот как об этом написал П. Северный: «На Медвежьем острове жило малое племя вогульское, и все остальные племена тех островитян, как огня, боялись: их стрелы разили насмерть, даже ежели малая царапина от стрелы приключалась. Будто узнали они корень заповедный, что на том острове обильно произрастал. Добывали из корня яд в тайной пещере на острове — там и очаг, и все снадобья были». Вогулы были язычниками и поклонялись разным богам. В их названиях были слова: «ойка» — мужчина, или «эква» — женщина. Вогульские боги (идолы) размещались в специально построенных мольбищах. Мольбище считалось священным местом, и любой, кто осквернил его, должен был умереть. Павел Северный указывает три таких места. Первое — это Медвежий остров. «Для вогулов Медвежий остров был священным, и все, кто осмелился побывать на нём, должны были быть убитыми». Второе — это пригорок в устье реки Студеницы. «Давным-давно было на пригорке мольбище языческих манси. Над зарослями вереска уцелел каменный идол по прозвищу Золотая баба — грубое изваяние женщины с двумя младенцами на руках. А теперь по вечерам сходятся сюда молодые парни и девушки под сень берёз». Третье — самое достоверно известное место, находящееся в настоящее время недалеко от Верхнечусовских Городков. Сейчас это место называют «Спиринская гора».

У вогулов были очень необычные имена. Северный упоминает такие, как Лисий Нос, Воробышек, Палёный Пенёк, Служитель Корня. Они напоминают имена североамериканских индейцев. Но существует и принципиальное различие между ними. У индейцев прозвище было связано с какими-то воинскими заслугами, а у манси имена связывались с природой. На мой взгляд, они символизировали какие-то способности их обладателей. Например, Лисий Нос был хорошим охотником и следопытом; Служитель Корня оберегал корень, растущий на острове, был хорошим знахарем.

Сейчас вогулы живут отдельными небольшими группами на огромной территории в северо-западной части Сибири по левобережью Оби и на её притоках в пределах Ханты-мансийского и частично Ямало-ненецкого автономных округов Тюменской области. Несколько десятков вогульских (мансийских) семей живут в Свердловской области и в Пермском крае.

Писатель от Бога, Павел Александрович Северный трепетно относился к истории родного края. Опираясь на историческую литературу, он смог достоверно воссоздать образ удивительной народности — вогулов. Мы практически не находим расхождений между историческими источниками и его художественной обрисовкой. Но как талантливый писатель, Северный завязывает интересный сюжет, даёт героям своеобразные имена. В 2000-м году, в год столетия писателя, на его родине, в Верхнем Уфалее, поднялась волна возрождения его имени. Совсем недавно издательство «Китайская молодёжь» выпустило десяти томник Ли Янлена «Литература русских эмигрантов в Китае». В пятом томе напечатаны рассказы Северного. Составитель 10 экземпляров подарил В. В. Путину. Остальные разошлись по библиотекам. Хочется верить, что сегодня имя этого писателя стало открытием, и его талант нами, потомками, не будет позабыт, как не будет забыт коренной народ нашего края — вогулы с их интересным бытом и культурой.

Анна Зоидзе 10 класс

Река Чусовая в произведениях писателя Урала

Чусовая — река легендарная. Возможно, в России из всех уральских рек только Чусовую и знают. Так уж сложилось: говорят «Урал», подразумевают — «Чусовая». И не случайно. Она была тем проливом, по которому Русь перетекала в Сибирь.

Как любая русская река, Чусовая упоминается во многих преданиях. И это не только те сказки и былины, что рассказывают по всей Руси. Это свои, местные легенды, впитавшие в себя и исторический опыт предшествовавших поколений, и смутные воспоминания о языческом прошлом реки, и фантастические сюжеты, навеянные дикими причудливыми скалами и вековыми лесами.

Большой пласт преданий рассказывает о далёких временах идолов и шаманов. О народе, ушедшем под землю; о капищах и священных деревьях; о кладах, зачарованных красавицах и окаменевших богатырях; о зачарованных пещерах и горах-плакунах. Бажовские Земляная Кошка, Великий Полоз и Ермаковы лебеди — это отголоски уже забытых древних мифов Чусовой.

История Ермака на реке Чусовой — сама по себе целая народная эпопея в преданиях и легендах. Чусовляне бережно хранят память о Ермаке.

Чусовские байки, побасёнки, сказки, легенды, песни — бесконечны. Почти все они ушли в прошлое, так и не услышанные потомками. Жаль, но, в конце концов, не страшно. Ведь потомки сочинят свои истории. Хотя самое красивое, конечно, должно оставаться и жить, как остаётся и живёт любовь к родной земле.

Нельзя не сказать о Трифоне Вятском, чудотворном святом. Он принадлежит к распространённому на Руси типу вечно беспокойных, мятущихся людей, отважных и сильных духом. Нашёл ли он истину, которую искал, — неизвестно, но покой обрести таким людям не суждено. Он мог стать великим путешественником, или великим разбойником, или народным героем. Но волею судьбы он стал монахом. И в монашестве достиг вершины, поэтому почитают его как святого.

Из всего вышесказанного становится понятно, что места у нас исторические каждый изгиб реки, каждый камень на её берегу, сам город, многие его окрестности буквально дышат историей, причём богатейшей, корнями уходящей в глубь веков на многие столетия. Но полнее, чем литературные источники, об этом вряд ли кто-то расскажет.

Я решила остановиться на произведениях авторов, принадлежащих к совершенно разным временным пластам.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк — подлинный энциклопедист уральской жизни.

Его творчество нельзя представить без очерков, путевых заметок, в которых он создал целую галерею ярких образов самых разных людей. Когда-то он сам открыл, что «Урал — прекраснейшее место на земле». Очерк «Бойцы» занимает особое место в творчестве Мамина-Сибиряка. Красавица Чусовая, по которой Дмитрий Наркисович неоднократно сплавлялся; бурлаки, рабочие, сплав демидовского железа... Очерки создавались на материалах, собранных во время путешествий. Автор путевых заметок фиксирует свои наблюдения, пишет о том, что его особенно удивило, поразило, что ему запомнилось.

Движение воды в очерке «Бойцы» настолько стремительно и неистово, что воочию видишь, как «...свершается стихийная борьба, и река, как бешеный зверь, мечется в своих берегах, разрушая всё на своём пути».

Природа на страницах прозы Астафьева появляется в момент, когда она неотделима от человека. В одном случае писатель подчёркивает её «детскость» (озеро распеленалось), или материнское, родительское начало (мама — Чусовая, ещё какое-то время гнала, качала свою беззаботную волну вдаль, к старшей маме — Каме). Природа в произведениях Астафьева живёт человеческой жизнью и проходит те же фазы развития от детской непосредственности до умудрённой зрелости и даже смерти («меж холмов... не течёт, а лежит в жухлой траве изнасилованная старушка Чусовая, и по всему хребту плотная, удушливая, грязно-серая пелена»). Особо значима для Виктора Петровича наполненность природы добротой, радостью (дружески распахнутые глаза заводей), высшего духовного смысла, отсюда в очеловечивании природы уподобление моментов её жизни некому священному действу (веточки ольхи... окропились свечечными язычками набухших почек).

Вода часто встречается в произведениях Астафьева, наверное, не случайно. В литературе вода — одна из стихий мироздания, первобытный хаос; вода — это жизнь и смерть, мужское и женское порождающие начала. Река присутствует во многих произведениях Астафьева. Она — водоворот,

стихия, центростремительно движется и вовлекает в себя всё, что находится на её пути (река Чусовая прорезала тот хребет, что чёрствую горбушку хлеба — единственная река, которой удалось преодолеть такую крепкую преграду, — катила свои бурные воды меж скал-бойцов, подле утёсов, через пороги, шивера и перекаты). В ней, в реке, зреет идея о безграничной мудрости и вечности мироустройства и миропорядка, частью которого являемся мы, люди.

Роман Алексея Иванова «Золото бунта, или Вниз по реке теснин» посвящён событиям, происходившим на Урале в конце 18 века. Прошло четыре года с тех пор, как было разгромлено Пугачёвское восстание. Главный герой романа Остафий Переход сталкивается с тайной казны Емельяна Пугачёва, золота бунта,клада, зарытого братьями Гусевыми. В битве с горной рекой, словно заговорённой вогульскими шаманами, проводят жизнь сплавщики, стремительно ведя караваны барок, гружённых железом, по бурным водам Чусовой мимо смертельно опасных скал-бойцов. С первых строк увлекательный сюжет заставляет погрузиться в таинственный и интригующий мир реки Чусовой. Река на страницах романа выступает одним из действующих лиц. Странно, но река, без скучных наставлений, просто показывает, что может произойти, если человек поступает плохо, не по совести.

Очерк «Бойцы» Мамина-Сибиряка, рассказы и романы Астафьева, произведения А.Иванова — книги о том, что взаимоотношения человека и природы — проблема, глубоко нравственная. Не случайно слова родина, народ, родник, природа — одного корня. Образ родины в них неизменно связан с образом родной земли. Чусовая — это и река, и городок с таким же названием. Герои любого из названных произведений знают только свою родную Чусовую, любят её и не хотят с нею расставаться. Самое большое горе на свете — это лишиться реки. Она и кормит, она и успокаивает, с нею связывают они свои мечты.

Перед нами не зря проходят несколько поколений. Ведь человек обязательно должен чувствовать себя добрым хозяином земли и реки. Иначе зачем жить?

Антон Безруков 9 класс

Литературный путеводитель по Чусовому

Каждый город имеет своё лицо. Если такого лица нет, то разве смогут жители называть себя патриотами? Мой город имеет своё неповторимое лицо. Важнейшими чертами этого лица стали его ключевые исторические фигуры. Необыкновенно повезло маленькому уральскому городку Чусовому: у него целая троица гениев, которая известна далеко за пределами земли чусовской. Это Святой Трифон Вятский, Ермак Тимофеевич и Виктор Астафьев. Но, как оказалось, не одинока троица. Тянутся от неё невидимые нити к другим чусовским гениям, ведь одних только литераторов у нас, оказывается, за тридцать. Они-то и стали объектом изучения. Почему именно литераторы? Как-то на занятии нашего

литературно-краеведческого кружка просматривали газеты, в одной из них «Звезда» от 23 октября 2004 года увидели небольшую статью пермского писателя Д.Ризова о том, что аксаковские, тургеневские, беловские образы России играют роль её государство-образующих факторов.

Про таких людей, как герои моего путеводителя, можно сказать, что они надолго опередили своё время, но даже таких людей иногда забывают, что, к сожалению, случилось с некоторыми. Мне кажется, их незаслуженно забыли. И поэтому одной из целей моей работы является исправление этой исторической несправедливости, в которой виновато не время, а мы сами.

Вспомнить всех поимённо — цель моей работы. Я хочу, чтобы каждый чусовлянин знал, чем может быть интересна его малая родина.

«Огонёк»

Под этим именем известен далеко за пределами Пермского края культурно-спортивный центр. Он находится всего в 3 километрах от города. Приезжайте и будьте, как дома. Это уникальное место среднего Урала. Его в течение 30 лет создавали супруги Леонард Дмитриевич и Зоя Михайловна Постниковы — низкий поклон им за это. Всё тут есть, и всё на своём месте: снег с ноября до середины мая, спортивная база для горнолыжного и санного спорта, для фристайла и сноуборда.

Но самое главное — Чусовской этнографический парк — Музей истории реки Чусовой. В нём около 19 мест показа. По крупицам создаётся и бережно хранится здесь история Руси, России. Необычная деревушка — памятник прошлому. Есть здесь и крестьянская изба, и сельская кузница, и часовня-музей Ермака, и музей игрушки, и музей писательских судеб...

Исторический сквер

На обычном с виду холме находится этот памятник. Инициатором и автором проекта выступил главный врач ЦГСЭН и директор литературного музея В. П. Астафьева Владимир Николаевич Маслянка.

Открытие сквера было приурочено к 120-летию прохода первого паровоза по станции Чусовская. У входа в сквер вы увидите символический барельеф — взмывающие ввысь Ермаковы лебеди. Это символ вечности и нетленной памяти о прошлом Чусовской земли.

В центре сквера возносится вверх 10-метровая стальная стела — сень Ксениевского храма, когда-то самой красивой церкви в Чусовом. В 1928 году храм был закрыт, а потом разрушен.

За сенью из стали и чугунных плит барельеф Ермака. Списки деревень и селений чусовской земли на фоне крепостной стены Нижнего Чусовского городка, откуда начал свой поход в Сибирское ханство Ермак Тимофеевич со дружиной.

У истоков барельефа раскинулась огромная, отлитая из чугуна карта реки Чусовой со всеми селениями и памятными местами, скалами-бойцами. 160 км отражает карта.

Справа расположился памятный знак-книга в честь первого народного учебного заведения в нашем городе, железнодорожной школе № 75.

Словно из земли вышла и распахнула свои страницы — летопись народного образования, написанная трудом, делами, жизнью сотен учителей Чусового. А напротив — лист с пером и ручкой, где написано: «Здесь в здании школы рабочей молодежи получил своё образование В. П. Астафьев»

Литературный музей В. П. Астафьева

Музей создан в 2002 году усилиями заслуженного работника культуры РФ Л. Д. Постникова. Именно он добился передачи жилого дома, в котором жил В. П. Астафьев, в муниципальную собственность и стал инициатором создания областного литературного музея. Здание является мемориальным домом, оно построено писателем в 1949–50 гг. Вторым зданием музея является помещение бывшего колбасного цеха по улице Фрунзе, 38, где Астафьевым был написан первый рассказ «Гражданский человек».

Экспозиции находятся в стадии формирования. Действующей является экспозиция жилого дома. Тут представлены личные вещи, книги, журналы писателя. Многие экспонаты связаны с бытом жителей города Чусового того времени, с темами произведений В. П. Астафьева и других писателей города Чусового.

«Пермь-36»

Мемориальный центр (музей) истории политических репрессий «Пермь-36» — это бывший лагерь ГУЛАГА ИТК-6, ставший в 70-х годах политлагерем в с-389/36. Музей находится в посёлке Кучино Чусовского района Пермского края.

В музее, кроме лагерных построек и сооружений, имеются экспозиции и выставки по истории ГУЛАГА, политическим репрессиям и политическим лагерям 70-х–80-х годов XX века.

В Чусовском этнографическом парке вы увидите уральский валун, переплетённый лагерьной проволокой, — это памятник политическим заключённым колонии, именуемой в народе «Пермь-36», один из первых в России памятников жертвам репрессий. До 1988 года существовала в недалёком соседстве 36-я политзона, чусовская — последняя в стране.

Олеся Чебыкина 9 класс

Из истории газеты «Чусовской рабочий»

Вечерет в сиянии синем,
Заклубился туман над рекой.
Затихает мой город красивый,
Город мой трудовой — Чусовой.
Я шагаю по улицам лунным,
Город словно в оранжевом сне.
Только слышно, как тонкие струны
Заиграли стихами во мне.
Пусть мечтаю о дальних я странах,
Пусть когда-то далеко уйду —
Позови, через все расстоянья,
Город мой, — и к тебе я приду.

Я читаю эти строки неизвестного автора в газете «Чусовской рабочий», и гордость распирает мою душу за родной город, за людей, живущих в маленьком промышленном городке Чусовом на Среднем Урале. Это волнующее чувство заставляет меня вновь и вновь перелистывать старые, пахнущие пылью подшивки газеты.

Газета живёт один день, казалось бы, правильно, прочитал её — и всё, новый день принесёт свежий газетный листок. Лишь в библиотеках, архивах, да у любителей-коллекционеров газетный век дольше. А как интересно читать эти старые пожелтевшие подшивки. Со страниц, всегда почему-то несколько наивных, на нас смотрит время. И газета — уже далеко не однодневка, она — летопись своего времени. И пишут её не только журналисты, но, в первую очередь, сами герои их материалов.

Газета — зеркало своего времени.

Немало литературных работников, ставших впоследствии известными и даже всемирно знаменитыми людьми прошли через школу «Чусовского рабочего»: Сергей Балахонов, Григорий Сулейманов, Александр Белоусов «шагнули» из городской газеты в областные, а Анатолий Лебедев стал директором Пермского книжного издательства.

Многие творческие личности оставили в газете свой яркий след. Аркадий Никольский, Юрий Беликов в общении с металлургами, строителями, учителями, горняками черпали темы для своих газетных публикаций и поэтических произведений. Геннадий Вершинин стал победителем всероссийского конкурса журналистов «Золотое перо России».

А о том, что своё «литературное крещение» Виктор Астафьев получил в газете «Чусовской рабочий», и говорить не приходится.

Интересно, а как же всё начиналось?

В том далёком уже 1920 году, когда только начала налаживаться после колчаковских бесчинств мирная жизнь в Чусовом, среди прочих надобностей появилась острая необходимость в информации. А потому Чусовской райком ВКП (б) и райполитсовет Пермской железной дороги решили издавать местную газету.

Специалистов-газетчиков найти было сложно, представители интеллигенции отказывались брать за незнакомое дело, а потому все заботы о выпуске газет взяли на себя работники райкома. Ответственным редактором был назначен Владимир Фёдорович Сивков, член большевистской партии с 1908. А вот недостатка в рабочих корреспондентах не было. Это были люди неграмотные, рассказывали партийцам о своих достижениях и проблемах, предлагали темы для газетных выступлений. И когда 27 июня 1920 года вышел в свет первый номер газеты «Работник», отпечатанный в местной типографии, это было большое общественное событие. А в стране разворачивались всё новые и новые события. Происходили кардинальные перемены в сельском хозяйстве, и организация коллективных хозяйств способствовала наращиванию темпов промышленности. В первую очередь её металлургической отрасли. Стремительность жизни требовала и смены названия газеты, и «Работник» стал «Штурмом», а в январе 1936

года «Штурм» переименовали в «Чусовской рабочий». Как бы в разные годы ни называлась газета, она всегда оставалась верной своим позициям и направляла усилия на мобилизацию чусовлян

в решении насущных проблем. И основными героями газетных страниц были и остаются представители всех тех категорий, кто лечит, учит и обслуживает Чусовской рабочий класс.

В «Чусовском рабочем» было всё: постановления партии и правительства, сводки с полей, итоги соцсоревнования, клеймение «врагов народа» и их реабилитация, рассказы о людях, спортивные достижения чусовлян и так далее.

Свой первый рассказ под названием «Гражданский человек» молодой Виктор Астафьев, работая тогда сторожем на мясокомбинате, написал за одну ночь, на вырванных из какой-то амбарной книги листах. Это был рассказ о друге связисте Моте Савинцове из алтайской деревни Шумиха. Его публикация в «Чусовском рабочем» оказалась скандальной из-за какого-то функционера. Ему это произведение показалось вредным для народа. И только в 1951 году областная газета «Звезда» поддерживает начинающего литератора. Сочинение это, «Гражданский человек», открыло первый сборник рассказов Астафьева «До будущей весны», выпущенный в свет Молотовским книжным издательством в 1953 году. «Всякому свой час и время всякому делу под небесами...» — скажет позже Виктор Петрович фразой из Экклезиаста.

Таким образом, не очень удачное начало не убило в прозаике тягу к художественному ремеслу, скорее стимулировало.

2 апреля 1951 года Астафьев становится литературным сотрудником газеты и работает до той поры, пока не станет собственным корреспондентом областного радио.

Его первый рассказ, а затем работа в качестве литературного работника помогли начинающему писателю и в творческом становлении, и в широком познании жизни.

В пятидесятые годы литературные работники, обретшие меткую кличку «литрабы», за иссушающий мозги газетный труд получали низкую, на уровне заводских уборщиц, зарплату, но духом не падали, держались на энтузиазме, являли сплочённый коллектив настоящих друзей. Бывшие воины Виктор Волхонский, Владимир Певнев, Виктор Астафьев, Михаил Козволин не теряли фронтовой закалки, служили хорошим примером для новичков. Они учились журналистскому мастерству сами, помогали осваиваться начинающим.

«Чусовской рабочий» тех лет, по словам Астафьева, был «ладно скроен и крепко сшит». Имелись постоянные «новостные» разделы: по городу и району, по области, по стране и по миру. Нередко печатались материалы московских и собственных специалистов по разным вопросам: от технологий партийного строительства до проблем промышленности и сельского хозяйства. Лишь изредка печатались на «полосы» программные речи И. Сталина и его преемников (1953–1956 гг.)

В газете 60-х регулярно уделялось внимание критике, представленной обширными статьями, фельетонами, баснями, карикатурами, жалобами. Печатались рецензии на фильмы, отчёты о самых

разных «физкультурных мероприятиях» в городе и районе. Часто печатались «юбилейные» статьи о классиках русской и советской литературы: М. Ю. Лермонтов, В. Маяковский, А. Толстой и других.

Особый разговор об отношении газеты к местным писателям и поэтам. Ведь именно «Чусовской рабочий» дал им возможность не только опубликовать свои первые произведения, но и получить бесценный опыт прямого общения с читателем.

С Астафьевым работало много достойных журналистов, таких, как Виктор Фёдорович Волхонский, умерший в 1956 году прямо за рабочим столом от инфаркта, Геннадий Александрович Блинов, С. Балахонов, Владимир Петрович Певнев, Аркадий Никольский, Вилорий Глухов.

Таким образом, мы видим, что историю газеты ковали, прежде всего, её сотрудники. Именно они прославляли свою газету, свой город. Следовательно, история местного средства массовой информации — это история жизни её журналистов, редакторов, корректоров, печатников и бухгалтеров. Поэтому невозможно обойтись в описании истории газеты без описания истории жизни её сотрудников.

Шли годы, жила газета. В неё приходили всё новые люди. Уходили старые. Газета существует и по сей день, хотя в ней сегодня и нет тех журналистов, которые трудились бы и прославляли её, какие были в середине прошлого века.

Сегодня газета выходит всего два раза в неделю. Но, несмотря на это, в ней ещё появляется тот материал, который служит культурному просвещению горожан. Слава литературного Чусового продолжается и по сей день в книгах таких авторов, как С. В. Старков, Т. А. Ищенко, А. В. Копысова, Ю. С. Ахметзянов и Иван Непомнящий.

Молодым авторам помогает выйти в свет журналист газеты «Чусовской рабочий» Иван Иванович Хомяков. Таким образом, связь времён не прервалась: как и в пятидесятые годы, газета помогает молодым авторам обратиться к читателю.

Никогда не поздно прийти в читальный зал городской библиотеки имени Пушкина, взять старые подшивки газеты «Чусовской рабочий» и окунуться в события тех лет, как бы проживая жизнь тех людей, той страны. Может, мы тогда лучше будем понимать своих родителей и себя, понимать, зачем мы живём на этой Земле, в этом крае, понимать и ценить всё то, что нас окружает. Я попробовала, и мне понравилось, попробуйте и вы!

Мария Недорезова 6 класс

Упрямая Колючка

Каких только чудес не происходит в лесу! Четыре раза в год деревья меняют свой облик, маленькие белочки и зайчики за лето становятся взрослыми, буквально за ночь вырастают грибы. А этой весной из земли появился росточек, зелёный росточек с растопыренными иголками — маленькая колючка. Что это была ёлочка, узнали позже. Взрослые деревья отметили — малышка была так пушиста, что не было видно ствола, из которого росли иголочки, напоминавшие пушинки, только зелёного цвета. Как стремительно она

росла, тянула к солнцу свои зелёные иголки! Как ей хотелось скорее вырасти...

Отзвенело лето, прошла осень. Уставшие деревья сняли свои наряды и приготовились ко сну — скоро зима. И она пришла. И прикрыла деревья снегом — сон предстоял долгий. И только Колючка не хотела спать — ей хотелось ещё расти. И ей нравилось её платье. Чего только ни придумывала Зима, чтобы снять зелёный наряд и уложить малышку спать — ничего не помогало. Колючка по-прежнему дерзко сверкала яркостью своего наряда. Нахмурилась старуха, бросила снегом, но упрямая Колючка тряхнула плечиком — только несколько снежинок зацепились за веточки. По-настоящему рассердилась зима: дохнула морозом — застыли маленькие иголки, дунула метелью, запылила Колючку, скрыла в снегу, намела сугробы. Радуюсь белоснежной чистоте и наступившему порядку, успокоилась Зима, задремала, добавляя порой снегу на плечи деревьев. И сон их становился ещё крепче. А Колючке под снежным одеялом было тяжело, застывающие веточки опускались всё ниже и ниже. И вдруг снег заскользил по ним и упал вниз. Обрадовалась Колючка. Не надо больше спать! Зима снова сыпала снегом, но Колючка научилась сбрасывать его. Она ждала весны. Скоро выглянуло солнце. Зима, расплакавшись, ушла на север, забрав с собой снега и метели. А в лесу снова произошло чудо. Наступила весна и своим теплом превратила Колючку в Ёлочку.

Лауреаты конкурса «Чистая Купель»

(Красноярск)

Лёша Русинов 4 класс

Повесть о настоящем человеке

До того, как я родился, и до того, как мои родители поженились, мой папа уже был без ноги. Когда моему папе было 20 лет, случилась автокатастрофа. И вот с тех пор мой папа инвалид. Но в жизни ему это не помешало. Он отлично водит машину, ходит на костылях, у него даже есть свой бизнес.

В общем, всё у него и у нас хорошо. И мы с мамой считаем, что он у нас самый сильный и смелый!

Арина Терских 5 класс

Девочка и змея

№1

Однажды осенью девочка пошла в лес и увидела на земле замёрзшую змею. Девочка пожалела змею и положила за пазуху. Змея оттаяла и укусила девочку. Девочка упала, а змея снова притворилась замёрзшей.

Эта девочка была уже девятой за неделю.

№2

Однажды осенью девочка пошла в лес и увидела на земле замёрзшую змею. Девочка пожалела змею и положила за пазуху. Змея оттаяла и

посмотрела на девочку большими голубыми глазами. «Фу, как бы не укусила!» — сказала девочка и выбросила змею.

Эта была умная девочка.

Алёша Дорохин 6 класс

Обыкновенно о необыкновенном!

(для маленьких детей)

В нашем мире есть так много странного и интересного, что каждый считает своим долгом понять, но это никак не получается! Но если немного призадуматься, так сказать, не напрягаясь, то можно найти простые и логичные объяснения любым непостижимым явлениям! Вот, например, Лохнесское чудовище. Около озера Лохнесс жил, жил, жил, жил, жил, жил, жил и жил большой червяк. Раз я написал что он жил, жил, жил, жил, жил, жил, жил, жил и жил, значит, он жил долго, а если жил долго — значит, рос. Вот, уже чувствуете логическую цепочку? Так вот он вырос большим, а на суше уже не осталось места для таких громадин, вот он и поселился в воде!

Или чёрные дыры. Просто одну пиццу нечаянно (зачем и при каких обстоятельствах, не уточняется) отправили в космос, а её там раздуло, и она стала огромная, преогромная! А так как многие любят пиццу, то многих по обыкновению и тянет к ней! Почему так сильно? Ну, просто вы представьте себе такую огромную пиццу, так и вас в космос потянет!

Ило. Тоже наинтереснейшая штука! Несколько человек собрались вместе и съели очень много солёных огурцов (зачем, не уточняется). На следующее утро проснулись — бац, а кожа у них зелёная! Вот их и приняли за инопланетян! Решили, зачем они нам здесь нужны? И отправили их в космос! Они хотят вернуться, а их не пускают, боятся!

Йети. Эти йети, они, эээээ... (Шёпотом) Почему нет описания йети? Как не подготовили? Выкручиваться самому? В смысле? Эээээ...

Ну, ладно. Йети — это... йети! Логично? Логично! Ладно, едем дальше!

Какие ещё бывают необъяснимые явления? А!!! Самым настоящим необъяснимым явлением будет, если кофточку, которую ты вчера купила на «Крастэц», на следующий день не увидишь у кого-нибудь другого! Необъяснимо? Необъяснимо! Или вот. Наверное, самым необъяснимым будет, если закроют «Дом-2»! И это, наверное, одно единственное явление, которому объяснения найти невозможно!

Настя Переберина 8 класс

Один дома-14

Кап-кап... Кран на кухне... Надо выключить. Мама на работе, бабушка в гостях... Никого дома. Тихо. Вечер.

Кап-кап... Дождь за окном. Надо выключить... А не выключишь.

Кажется, стоит только сказать «Эге-ге-ге-гей!», и эхо разнесёт эти слова по всему дому... Но это только кажется. Акустика плохая.

Дзззз... Работает монитор. На сегодняшний вечер (и, наверно, на всю оставшуюся жизнь) он — мой единственный друг. А там так много людей, в Интернете! А жизнь кипит! А здесь совсем никого. Только я и четыре стены. Три. И одно окно. А за окном — дождь.

Поскорей бы мама пришла... Или бабушка... Или кто-нибудь. Я так хочу сестру... Или брата... Срочно. Прямо сейчас! SOS! Но никто меня не слышит — акустика плохая...

Когда-то у меня была собака. Вон, даже мисочка осталась. Но в один прекрасный (ужасный) день она убежала. Все отсюда сбегают — из пустой-то квартиры. А я вот не могу. Некуда.

Кап-кап... Уже не знаю что. Может быть, наводнение? Хоть бы. Приедут спецслужбы, телевидение, хоть так скучно не будет...

Кап-кап... Слезы. Горько быть одной. Семья должна быть большой и должна быть рядом. А моя семья — это я, монитор и пустая собачья миска.

Кап-кап... Сами знаете что. Кап-кап. Кап-кап.

Настя Юшкова 5 класс

Кошки

У меня есть две кошки. Одна из них — котёнок, её зовут Дюся, ей полгода, и вторая довольно взрослая кошка, её зовут Умка. Я их нашла на улице.

Вот как это было: в четвёртом классе пришла ко мне в гости одноклассница Надя, и мы пошли гулять. Подошли к подвалу кормить кошек (я всегда их кормлю), насыпали «Китекэт», и кошки выбежали. Одна худощавая дымчатого цвета кошка потихоньку шла ко мне. Я позвала «кис-кис» и распахнула руки — она подбежала ко мне и положила свои лапки ко мне на колени и потихоньку пискнула, так как у неё не было сил мяукать.

Мы взяли кошечку на руки и понесли ко мне домой.

Когда мы показали Умку бабушке, она сказала: «Она ведь грязная и болеет чем-нибудь», но я пообещала помыть кошку и показать ветеринару. Бабушка всё равно не разрешила и сказала, чтобы я покормила её и отнесла обратно.

Мы не послушали бабушку и оставили кошечку в подъезде. Я носила Умку каждый день к нам домой, чтобы бабушка привыкла. Так оно и случилось. Бабушка разрешила оставить Умку. Теперь, если она просится погулять и не возвращается более тридцати минут, я очень сильно беспокоюсь и начинаю повсюду её искать. И если не могу найти, то начинаю плакать, потому что я очень

её люблю и не представляю жизни без неё. Она хороший друг. Если я сильно поранюсь, она начинает жалеть меня, садится на ранку и начинает мяукать: мол, не плачь, Настя. Когда я моюсь, то беру Умку с собой в ванную. Сначала она сидит на полу, затем неожиданно запрыгивает ко мне в ванну и начинает плавать. К тому же она дружит с одной собакой по имени Бакс. Она всегда провожает меня до остановки, когда я еду в школу, и потом ждёт. Но если меня долго нет, Умочка уходит домой. Вот какая у меня Умочка!

Дюсю я тоже нашла на улице, а бабушка даже не стала ничего говорить: знает, что всё равно оставлю. Дусенька — так я называю её ласково — очень игривая в отличие от Умки. Иногда она даже играет с Умочкиным хвостом. Она такая проказница!

Я просто не представляю, что бы я делала без кошек, мне бы было одиноко. А так мне очень весело. Когда не с кем гулять, я надеваю на них шлейки и иду с ними. Мои подруги их очень любят, потому что они самые хорошие!

Алина Семашко 3 класс

Долгожданная свобода

Эх, везёт же моей подружке Полине! Она каждый день дома одна. Пришла из школы — и вечера никого. Делай, что хочешь, смотри телевизор, сколько хочешь, никто не мешает. Красота!

А мне нет ни минуты покоя. Приходишь домой и начинается: посиди с братиком, выключи телевизор, садись за уроки!

Но в один прекрасный день маме надо было уйти по делам, и я уговорила её оставить меня дома одну. Я обещала вести себя хорошо и сделать уроки. Когда за мамой и братишкой захлопнулась дверь, я обрадовано закричала: «Ура! Свобода!»

Первым делом я включила на всю громкость телевизор. Потом убрала портфель подальше и открыла шкаф с маминной одеждой. Выбрала самые красивые вещи и начала наряжаться. Нарядившись и накрашившись маминной косметикой, я устроила показ мод. Скоро это мне надоело. Посмотрела телевизор — надоело. Поиграла с кошечкой — надоело. Захотела кушать, но ведь это нужно самой разогреть. Неохота!

Походила я по пустой квартире и решила звонить маме, узнать, когда они придут.

Всё-таки быть дома одной не так уж хорошо. И теперь я своей подружке не завидую!

Сергей Аринчин Енисейский тракт



Старатель

Шуба соболья внакидку красуется,
Бархат обмоток на рваных портах...
Кто это гоголем ходит по улице?
Шея немытая в белых шелках.

Кто это песни поёт, да куражится,
Пятые сутки громит кабаки?
К девкам и бабам без удержу вяжется,
Кто зазывает — а, ну, мужики!

Это — старатель гуляет со свитою,
Слово худое кто скажет в глаза —
Ведь золотишко, по речкам намытое,
В жизни той карточной вроде туза.

Кто не стерпел, как с похмелья, с досады ли
Боров хозяин лущует мальчика?
Кто пригрозил удавить толстозадога,
Вырвав вожжу из руки подлеца?

Кто мальчугана прижал, как воробышка,
Сам голодавший и битый не раз?
Ох, люди добрые...
Ох, люди добрые,
Сколько же зла ещё в душах у вас?

Счастье недолгое — сотни фартовые,
Были и не были, что их считать!
Доля старателя, доля крестовая.
Скоро в тайгу ты погонишь опять.

Только не те видно выпали козыри,
Или колоду кропил сатана;
Мёртвым нашли его в утро морозное,
Как ни спешил, а не пожил сполна.

Благо ещё на снегу не оставили,
А, по обычку российской земли,
Всё, что положено нищему, справили
И на погост торопливо снесли.

И разошлись, лишь мальчонка нечёсанный,
Слёзы размазывая по щекам,
Плакал навзрыд, причитая по-взрослому,
И на кого-то беду накликал.

Видно, Господь надоумил старателя
Доброе слово сказать сироте...
Мёрзлые комья на снежной на скатерти.
Жёлтая смолка на свежем кресте.



Думалось, что эту боль не изжить мне вовек.
Думалось — чёрная в жизни пошла полоса.
Только однажды мне встретился тот человек.
Тот, кто один лишь способен творить чудеса.

А вы не видели Христа?
Куда отправился Христос?
Его я встретил у моста,
И что-то странное стряслось.
Мы говорили полчаса,
А я другим увидел мир,
И был готов его спасать,
Но мы расстались в этот миг.

Странник идёт по дорогам и так же, как все,
Просит ночлега, страдает и в холод, и в зной.
Может, и вправду он не был распят на кресте.
Но изболелась душа в нём печалью людской.

А мы живём, чтоб есть, да пить,
И кто над нами — всё равно,
Ведь ненавидеть и любить
Совсем не каждому дано,
но исповедует Христос
Свободу против кабалы
И утешенье против слёз,
И память против бед былых.

Нет, он не Дух, защищённый от ангелов тьмы,
принял от нас он сомненье, измену и боль.
В лагерной тундре сполна нагляделся, как мы
Нагло глумились над Истиной и над собой.

И от войны до лагерей,
От лагерей и до войны
Дорогой сумрачной своей
Прошли обманутые мы.
Боюсь не Страшного суда —
Страшней уже не может быть.
Боюсь, что больше никогда
С ним не смогу поговорить.



Осенняя слякоть,
Трактир придорожный,
Напьюсь, буду плакать
О днях невозможных...

Грустят мои кони,
скрипят мои дроги.
Не чёрт ли нас гонит
По этой дороге?

Ямщина, ямщина —
Мужицкое дело,
Тайга, да равнины,
Весь свет этот белый.

Всосались тоскою
От края, до края.
И нет мне покоя,
Как грешнику рая.

А помню, как рвался
Дорогу начать я,
Меня не сдержали
Ни сёстры, ни братья.

Меня не сдержали
Любимой заклатья...
За всё мне дорога
Хоть плачет, но платит.

Простором и волей
И трепетом звёздным.
Прости меня, поле.
Но сеять мне поздно.

Ведь лучшие песни
дорогой слагаю...
И нет мне покоя,
Как грешнику рая.

Енисейский тракт
Санний путь по Енисею —
Ночью, да зимой...
Темень, темень над Россеей,
Путь, да не прямой.

И метель и кони подустали,
В гривы намело.
Шёл обоз безлюдными местами
Из села в село.

Знать возница — удалой верзила,
Если вышел в ночь.
Выноси его Святая Сила,
Некому помочь.

Было так, а в нынешнюю пору
Легче ли наш путь?
Выноси судьба меня на гору,
Дай мне в даль взглянуть.

Норильское кладбище

*Посвящается памяти
моего дядьки Юнчика.*

Подуй, ветер, подуй,
Пусть летят всё быстрее
Сто студёных струй
С северных морей.

Там в Норильском краю,
Среди тундры сырой
Вижу — тени встают
В длинный лагерный строй.

Там лежат в мерзлоте
Без креста, без звезды
Безымянные те,
Кто хлебнул здесь беды

Сколько вдов и сирот,
Если б знали куда,
Каждый год, каждый год
Приезжали б сюда.

Но заносит метель
Позабытый погост.
Ни тогда, ни теперь
Ни поминок, ни слёз.



Дорога ровная скучна —
Вот так и жизнь, не потому ли
Иной спешит шагнуть под пули,
Хоть высока за риск цена.

Взахлёб вершили свой набег
Сибирских рек первопроходцы,
Но как не часто удаётся
Нам взбаламутить сонный век.

Судьба, как правило, слепа
И метит нас не по заслугам.
И поднимает вечным плугом
Из тьмы на солнце невпопад.

Но если путь свой выбирать
По знаку звёзд со дна колодца,
Сибирских рек первопроходцы,
Я б напросился в вашу рать.

И смерть я мыслю лишь одну —
Под ледостав, на кочах русских,
Поток Подкаменной Тунгуски,
Где я, не выплыв, утону.

г. Красноярск

Валентин Курбатов Перед светом



В разные годы я был членом жюри премий «Национальный бестселлер», Аполлона Григорьева, Горького, «Ясная Поляна» и теперь уж и не знаю — не отучился ли читать книги с детской открытостью, как их только и следует читать. Теперь уж всякую словно взвешиваешь и повёртываешь к свету. И всё будто кто через плечо заглядывает и спрашивает. И тебе надо не самому себе, а ему ответить как на духу — хорошо ли то, что вы теперь оба читаете. И уж каждое своё чувство проверяешь: не обманывает ли оно тебя, искренне ли ты печалишься или радуешься при чтении, не поддался ли минуте или «партии». Готов ли ты вместе с чеховским героем простодушно написать: «Сию книгу читал я, Матвей Терехов, и нахожу её из читанных мною книг самою лучшею, в чем и приношу мою признательность унтер-офицеру жандармского управления Кузьме Николаеву Жукову, как владельцу бесценной книги».

Однако, успокаиваешь себя тем, что ты такое же дитя времени, как и «заглядывающий через плечо» и значит, твоя тревога проистекает просто оттого, то ты при чтении надеешься понять, совпадаешь ли ты с этим временем, близки ли вы в понимании мира. Дома ли ты в своём веке и обжит ли дом или он шатается от нетвёрдости основания? Спокойна ли твоя душа или подвергается насилию? Детское-то чтение, верно, возможно только в спокойно защищённом «взрослыми» мире. А как сам вышел во «взрослые», то тут уж о покое и счастье безмятежного чтения позабудь.

И раньше, в недавние ещё годы, это мучило, потому что ты при чтении как будто больше расточался, чем собирался, и злился на время, которое разоряет тебя, и «взрослость» была тебе в тягость. А вот сейчас что-то «проклёвывается» в душе, растёт что-то, чего ты в себе не знал и возвращается, если не детство, то позабытое любопытство. Жизнь снова становится интересна, выздоравливает с тобой и сулит свет.

А отчего свет, сразу и не скажешь. Как бывает легкой ночью в лесу, когда ещё ничего не указывает на зарождение дня, но уже будто кто-то наклонится к тебе и неслышно шепнёт: «Вот!». И само утро только и ждёт этого «вот», чтобы и его кто-то услышал, а не услышит, оно и не встанет, потому что Бог зажигает его не для себя, а навстречу нашему ожиданию. Вот и я, может, только обманываю себя от усталости, тороплю проступание нового там, где его нет, но уже ничего не умею с собой поделаться.

Но вот так ясно увиделось в этом году при чтении книг, представленных на соискание премии

«Ясная Поляна», как проснулся интерес к слову, как вернулось к русскому сочинителю утраченное счастье писательства. Ещё недавно мы словно воинскую повинность отбывали: кто зло, кто равнодушно, кто и в охотку, но тоже больше из послушания, чем из живой радости. И тексты были разные, а душа будто одинаково мертва, когда мы читали А. Шарова, Ф. Горенштейна, А. Пятигорского или И. Ефимова. То есть игры было как раз в избытке — в злых сюжетах, как в шаровском воскрешении Кагановича, в сорокинской «норме», в «насекомых» Пелевина, а уж за сюжетами и в самом прыгающем строе сочинений, и в своеобразии словаря. А только игра была холодная. Стеклашки были яркие, да фальшивые.

И сейчас такой игры хватает, как в повести О. Харюзова «Дикий американец» с её сказовым щегольством, в котором может купаться филолог, выхватывая тени русского лубка, Лескова, Курганова, улыбчивого Пушкина и лжедепартаментского документа, но «просто читателю» скоро в этом театре становится скучновато. И его уже не убедишь, что виноват в приёме писателя затейливый герой Фёдор Американец, словно и он не жил, а забавный роман сочинял. А игра об игре — это уж что-то вовсе «из чужих краёв». Как скучна и ложно искренняя игра Славы Сергеева в повести «Я ваш Тургенев», чей герой сотрудничает в журналах, где «происходит такое, отчего вы теряете ощущение реальности и от этого постепенно дуреете, частично превращаясь в персонажей, о которых они пишут. Но деньги, бляха-муха, люди гибнут за металл». А только и сам автор, хоть и видит опасность, тем не менее, «погибает» за то же, стесняется выйти из игры, в которой авторы превращаются в персонажей. Рваться-то в жизнь рвался, но так и остался в роли.

Но, слава Богу, всё чаще и для всё большего числа авторов внешняя радость такой писательской свободы оказывается только способом прорыва в новую реальность. Как будто само слово берёт слово, и автор с изумлением видит, что оно ведёт его совсем не туда, куда он собрался. Так в прошлом году пленила меня «яснополянская» какая-то отрочески счастливая повесть Надежды Муравьёвой «Майя», где она как будто купалась в «серебряном веке», а выговорила прежде всего ликующую радость просто писать и любить сегодня. А в этом году я читал так повесть Натальи Ключаревой «Россия — общий вагон», где писательница вроде только обрадовалась молодости дара, а жизнь поворотилась такой стороной, что ей уже стало не до игры и иронии, и её герои — мальчики, примкнувшие было, почти

шутя, к маршу стариков на Москву, вдруг поняли что-то такое, что лучшего из них приходится просто убить, как рвануть стоп-кран, чтобы выйти из этого «общего вагона» и не катиться с ним, куда не велит душа.

Так у Захара Прилепина в его «Саньке» молодое цепное зло, затевающее через страницу, казалось, бессмысленные драки, вдруг обнаруживает, что оно только неузнанный в своей дикой форме «крестовый поход детей» за светом потерянной или не обретенной истины. Так у Владимира Курносенко благочестивые провинциальные клиросные хористки, ещё вчера в начальном пути только дозволенного христианства умевшие и в «земляных» голосах старух услышать истину и любовь и пережить «такую бездонную покаянную боль...», точно занозу вынули из сердца, скоро уйдут в «домок» для батюшки, «землицу» под монастырёк, в «церковку», в войну с владыкой, а там уже и просто в механический быт, где уже не до истины и не до «заноз» в сердце, и «свет невечерний», гревший их так недолго, изойдёт в пепел. Как угаснет этот горячий свет и в героях малого романа Майи Кучерской «Бог дождя», где счастье открытой жизни споткнётся о крепкое тело церкви, и две молодые души слишком, по привычке времени, хотевшие своего на месте Божьего, потеряют себя, не умея найти согласия между мёртвой жадностью жизни и живой безжалостностью церкви.

Сюда же неожиданно для меня поместится повесть Игоря Фролова «Ничья», хотя она как будто могла быть написана и век, и два назад. И так же молодой офицер любил бы жену своего командира, и так же она была бы «ничья» между привычкой и нетерпением неуголимой жизни. А вот, хоть я и вспоминаю при чтении повести жаркую поэзию толстовских «Казаков», тот воздух любви и воли, который так остёр на границах войны, а только нет — вчера этого было не написать. Ещё не предавались так молодость и романтизм, как предаются они сегодня, не загоняя свет в такие циничные потёмки. Старая эта тема, немного картинно-мужественная, хэмингуэвская: «война-любовь моя» в её тревожной зыбкости, но никогда ещё она не была так остервенела, как в нынешних сочинениях — у Маканина ли, у Лимонова, словно какое-то неизбывное: а-а-а, пошли вы все! Это уж что-то позднечоринское, злое, с вызовом не кому-то, а времени.

Все эти повести по грани ходят, но странно, что даже когда всё в них зло и потерянно, они всё-таки не внутрь глядят, а наружу. К нам оборачиваются. Оттого и свет, что, как говаривал Пришвин, не боятся они «сверлящей мысли», потому что знают, что это из неё «делается ход к другому, чтобы вы были вместе».

На этом молодом фоне особенно видно, как стареет ещё вчера крепкая школа обстоятельного русского романа. И не только у тех, кто, как Вячеслав Сукачёв в романе «Приговорённая замуж», пишет навсегда ушедшую реальность, но и у тех, чей материал жив и нов, почти газетно-свеж, как в романе А. Салуцкого «Из России с любовью» или в представленном, как и книги Салуцкого и Сукачёва на «Ясную Поляну», романе А. Воронцова

«Огонь в степи». И явления исследуются насущные, даже не без грозной метафизики. Салуцкий, оглядев политические горизонты России и мира последних десятилетий, осмеливается сделать вывод о переменившихся небесных векторах, о принятой Россией богоизбранности от потерявшего её Израиля. Только метафизика, вопреки воле автора, стремительно уходит вместе с временными героями книги — какими-то неизвестными заславскими, шумейками, ельцыными. Воронцов в художественно-документальном «Огне в степи», посвящённом судьбе М. Шолохова, тоже не о пустых вещах говорит, следя за оттенками исторического предательства высокого русского наследия и лучших художников. А чтение при этом всё-таки в том и другом случае словно затруднено. Всё себя понуждать и подталкивать приходится. Наверно, оттого, что романы и пишутся честным трудом без молодой радости, и от читателя требуют того же честного труда. И оттого, что мысль в них первенствует над светом слова, подавляет его свободу. Публицист переживает художника.

Эта «стариковская болезнь» поражает и «детей» — писателей другого поколения, когда они вступают на ту же дорогу тяжбы с временем, слишком прямых обид и «подростковых» вызовов. За это поколение замечательно предстает Роман Сенчин. Каждой новой книгой он выставляет счёт отцам: чего вы от нас хотите? Это сделали вы сами. Не нравимся мы вам, и слава Богу — сохрани Бог понравиться. Он назвал последнюю повесть «Лёд под ногами». И горько дивится, как они — казалось, целое «протестное поколение» — вдруг так разом разошлись: одни рванули в «наши», другие заселили высокие кабинеты или пустились во всеобщее воровство («деньги, бляха-муха, люди гибнут за металл»), третьи просто «кинули» всё, ушли в толпу. А самые дорогие Роману, те, кто, по его разумению, и был собственно голосом поколения, «льдом под ногами» сытого мира, только выкрикивают в бессилии свои злые вопросы неизвестно кому, стыдят своих и тех, кого считали отцами: «У нас же была великая культура. Великая! По фигу, как её называли — андеграунд, Конт, суб какой-то... Нет, это была настоящая культура. Наша! Один Сашбаш — бездна целая! Он же... А Бэгэ! А Цой! Это же! И где? Где все? А? Где мы?... Ведь мы же столько могли! Мы вселенной были — и вот. Как и не было... Мутанты». И поёт то, что их держало, как «мальчики иных веков» пели «Варшавянку»: Собирайся народ на бессмысленный сход, на всемирный совет, как обставить наш бред. Кликнуть волю свою в идиотском краю. Посидеть, помолчать да кулаком постучать!»

Конечно, старики только улыбнутся этой «великой культуре» и в ней самой и увидят её поражение, дивясь, как не видят в ней причин поражения сами обвинители. Только улыбайся — не улыбайся, а они идут по одним с нами улицам с замкнутыми лицами и глядят затравленно, и уже никому не страшно. Не нравится им ни «сильное государство», ни «стабилизация» — у них хорошее чутьё на неправду. Но на их «льду» уже никто не поскользнётся. Действительность и

правда «кинула» их. И, может, об этом и нельзя написать иначе, чем Роман. А всё-таки они в этих обидах таинственно уравниваются с обидевшими, которых тоже «кинули». Счёт выставлять некому.

Конечно, договариваются ещё постаревшие слова, которыми мы жили целое столетие. Они уйдут только вместе с нами, с теми, кто сложился там. И может быть, ещё найдут сильного выразителя для последнего прощания, но занавес за столетием закрывается. Со смертью А. И. Солженицына и С. С. Аверинцева, как недавно написал один умный человек, отчётливо кончилось что-то старинно огромное, наследованное, античное, классическая история и филология. Как будто ушла плоть мира, данного нам Богом. Как будто мы изжили и расточили её и теперь остались только с опустевшим словом, которым мы играли в политике, культуре, даже, страшно сказать, в церкви. Отчего и не могли ни за что ухватиться и встать на ноги. И писали ветер, и вот-вот готовы были согласиться с А. Битовым, что «наконец, русская литература стала профессиональной, то есть перестала быть ею».

Что да, то да. Это пока, может быть, самый распространённый род литературы, равно журнальной и книжной, распоряжающейся со словом и миром без особых забот, как в романе прошлогоднего соискателя «Ясной Поляны» Г. Шулпякова «Синан» или в представленной на «Ясную» в этом году книге А. Архангельского «1962. Послание к Тимофею», где он с весёлой беспечностью подгибает мировую политику 1962-го года к дате своего явления на свет, словно она только тяжёлый и не очень умный фон для его рождения. А мы там живали уже взрослыми и знаем, что всё было живее и мучительнее. Вообще много с опустевшим словом утратили мы родного, сильного, имперского, того что звалось «большим стилем», ослабили волнение перед тайной человека и Бога и сделались слишком легки в отношениях с жизнью («что жизнь? — одна ли, две ли ночи...»).

Но вот теперь вижу и другую сторону молодого, жадного к уже новой жизни слова. И слава Богу, за его спиной ещё стоят, укрепляя и соединя старую и молодую ветви те же Андрей Битов и Владимир Маканин, Михаил Кураев из Петербурга и Борис Чёрных из Благовещенска, Владимир Ермаков из Орла и Александр Кузнецов из Тулы. Да и Алексей Варламов, Олег Павлов, Александр Иванченко, Афанасий Мамедов... Так что не в поле это новое поколение родилось. И хоть примеров этой молодой новой ветви у меня немного (приведённые-то разве примеры? так, одно нетерпение и случайность), но что поделаешь с сердцем, если и невольное чтение последних лет в жири

той или иной премии (в данном случае «Ясной Поляны») раз от разу укрепляет сердце и посылает уверенность, что утро близко.

Ну, и что, что мы остались только со словом? Ведь оно некогда было у Бога и было Богом и, значит, надо только снова наполнить его плотью и светом (Господи, как мы уже знаем страшную глубину и недостижимость этого «только», но вот снова и снова повторяем его с детской наивностью и детскость эта всё-таки к нашей чести, а не к очередному поражению). Литература, не страшась повторения, снова и снова в игре и свободе медленно преодолевает истощивший себя постмодернизм и выходит в новую дорогу.

Предстоит как будто обратная дорога — не от мира к слову, а от слова — к миру. Предстоит строить живую литературу, живую Россию из адамовой глины, из омытых и словно пробудившихся слов, из лучшего материала, который оставило нам время, самого негленного из материалов.

Может быть, это и придаёт молодым авторам радости и побуждает их писать жадно, иногда торопливо, но искренне, что они вдруг почувствовали спасительность слова, угадали его живую нервную систему, его свободную даль и силу. Никогда, может быть, русская литература не была ещё на таком пороге, и никогда писатель не оказывался в таком положении — оставаться свободным и радостным и вместе сознающим страшную ответственность за слово, из которого начнёт расти новый человек.

Наша литература два столетия была церковью (без всяких кавычек), порой подменяла этот материнский институт. И теперь у неё никто не отнимает этой только ещё более трудной и счастливой роли — роли не подмены, а соработницы.

Повесть Владимира Курносенко называется по имени одного из песнопений вечерни — «Свете тихий». Он увидел в повести и жизни угасание этого света, но ведь и в тревоге он выполнил главное — напомнил, что этот свет и за церковной оградой должен быть так же незаходим. Из-за недостатка этого света гибнет и мальчик повести Натальи Ключаревой (именно из-за того, что светильник задувается ветром улицы). И его, его ищут герои Майи Кучерской, Захара Прилепина, Надежды Муравёвой...

И на этих путях сойдутся однажды с тем словом, которое жило естественно, наследованно, природно, жило земной, райской, позволяющей не думать о своей природе жизнью и звалось русской литературой. И они узнают друг друга и мы опять станем из населения народом.

Надо только прислушаться, и это тихое «вот!» не расслышит разве глухой.

г. Псков



Дмитрий Корнейчев

Перекрёсток бездорожья

В апреле 2007 года ушёл из жизни самобытный русский поэт Дмитрий Корнейчев. Он родился в 1965-м в Москве, жил в Петербурге, в Риге. В день его похорон на сайте hippy.ru появилось сообщение: «Примерно с 1990-го четыре года мы жили в Заветах Ильича под Москвой и с нами коммуна хиппи, йогов, православных людей, поэтов, художников, музыкантов. Диму знали многие хиппи 80-х и 90-х гг. Квартира его в Москве на Измайлово была открыта для многих людей свободной воли и творческих личностей. Его добро было бесконечно...» К этому, наверное, нечего добавить. Даже эта публикация в нашем журнале может показаться запоздавшей. Впрочем, истинная поэзия не опаздывает! Она всегда своевременна и актуальна. Как эти стихи.

Редакция «ДиН»

В ту далёкую пору,
когда ему улыбались
плюшевые мишки,
он брэнчал на отцовской гитаре,
и в нём зарождалась
мелодия его судьбы.

В юности,
когда ему улыбались
плюшевые лица современников,
он натягивал нервы
на гриф гитары,
пытаясь исполнить
мелодию своей судьбы.

Прошли годы,
и мелодию его судьбы
исполнил ветер
на колючих проволоках лагерей.

Пилигримы огромного города,
Одинокой свободой закованы,
Перекинутся взглядами гордыми
По дороге в свои пирожковые.

На проспектах духовного голода
Их пути в переулках затеряны,
Пилигримы огромного города
По дороге в свои кафетерии.

Постижение истины сумрака
Их приводит на плаху забвения,
И в безумстве предгибельных судорог
Пилигримы святого мгновения.

Но асфальтово-каменным холодом
Ощущенье свободы не сломлено,
Пилигримы огромного города —
В уходящее завтра паломники.

Вологда — усталая ежиха,
выживающая понарошку
в логове несделанных ошибок —
это перекрёсток бездорожья.

Редкое растение заката
пышно расцветает каждый вечер,
что ни день — обычная загадка:
почему явления зловещи.

Всюду норовит и всюду метит
переопопсовевшая масса,
(безмазовой наглухо планете
музыка — сомнительная маза).

Я просёк ништячную науку,
путешествуя по Вандерграфству:
сила духа — только сила духа,
воля к рабству — только воля к рабству.

Как ни проявляй свободу воли,
ты уже не вызовешь дискуссий,
я живу в одной из тысяч Вологд
и читаю Герберта Маркузе.

Если душу не запараллелил
с вертикалями родного тына,
стоит только выбрать направление —
паветер подталкивает в спину.

Как ни выкалейдоскопь свои дороги,
смена социума — тоже социум,
мы в Крыму забили стрелку с солнцем
и почти обговорили сроки.

Траектория познания

Вываливающиеся из гнёзд,
в отличие от тех, кто не вываливается,
тем самым отвечают на вопрос:
почто полёт свободным называется.

А те из них, кто насмерть не упал,
исследуют динамику подвижничества
и вопрошают: «Где моя тропа?»
у неврубающегося всевышничества.

Естественно, не получив ответа,
с собою взяв подвыпившее мужество,
они идут откапывать рассвет,
поводыри слепорождённой музыки.

Когда же вырастает голова,
вываливающиеся из социума,
в отличие от тех, кто не вываливается,
вступают в споры с солнцем.

Алёна Жеглова Ничей не попечитель, но попутчик

памяти поэта Андрея Власова



Вчера приснился Андрей — мы с ним разговаривали. Это длилось, скорее всего, несколько секунд, а я тут же проснулась, и вся подушка — в слезах. Вот так одна часть меня понимает, что непоправимое случилось, а другая — не смиряется с этим. Так жалею, что знала Андрея меньше двух лет, хотя и он, и я жили в одном городе уже давно. Как написал об Андрее Владимир Быстров: «Он ушёл из института, отслужил в армии, и... стал невидимкой в Великих Луках». И дальше: «Он записывал стихи, которые продолжали рождаться, но молчал до 1991 года».

Я училась у Андрея, удивлялась ему и жалела его, потому что женская душа не выдерживает, когда видит такое сложное, тяжёлое отношение к жизни — невыносимо! Кроме того, Андрей тяжело и много лет болел. Последнее время не дышал, а задышался. У меня у самой бронхиальная астма, и я знаю, как это трудно, когда нечем дышать. Таким же трудным и тяжёлым был и его уход из жизни. Намучался — не дай Бог никому! Вера, его вдова, говорит: «В последние часы Андрей просил: «Молись, чтобы меня забрали. Больше не могу...»

После знакомства с Власовым я поняла, что я раньше такой не была! Раньше я была в ледяном дворце у Снежной королевы и долгое время из льдинок выкладывала слово «вечность» — прямо как мальчик Кай. Есть у нас в городе местная королева, поэтесса Людмила Анатольевна Скатова — красивейшая и умнейшая женщина, но и леденейшая! Это опять наводит на мысль, что поэты рождаются из всего. Даже изо льда. У меня — все её книги, я ими зачитывалась, пока не встретила Власова. Он меня реанимировал! И хотя в памяти останутся навсегда оба, но она — как красивейшая и умнейшая женщина, а он — как Поэт. Вот так!

Господи, хоть бы у меня получился очерк об Андрее! Стихи-то о нём были и есть. Приведу историю одного из них, о котором он сказал:

— Название «Гений» уберу, а стих хороший.

А обратилась я к Андрею, восторженно приняв его книгу «Меж двух колонок», в самом начале нашего знакомства с такими словами: «Отвечаешь за дар Природы быть особой такой породы: неизменчивой, неизбитой, с рук Пилата не смытой — сбытой. Отвечаешь за слух, за голос и за каждый упавший волос с головы своей, позлащённой позолотой бумаги лощёной...» На что Андрей откликнулся просто и беспасфосно:

Пусть классик прав, сказав: «Спасенья нет», — но есть просвет пособий и получек.
«Поэт в России больше, чем поэт»?.. —
Поэт в России больше не поэт,
ничей не попечитель, но попутчик...

...он грузчик, землекоп и нищета,
едва ли мастер, а тем паче гений,
он швец и жнец. Вот только красота
доныне вне его поползновений.

Горько было потерять такого попутчика... Скорбно и доныне: «Не жених, не муж и не любовник, не вдова, поскольку — не жена, но случайно неслучайный кровник, скорбь по ком на кровь наживлена — не по венам, венулам, аортам, но меж капсулами двух сердец, но — подслеповатым высшим сортом или низшим сортом, наконец, кровь бежит чернильная, святая, размывая чистые листы, и кричу я, в сон перелетая: «Ах, не в сон перелетаешь ты!»

Вспомнила! Андрей однажды заметил: «Твои стихи умнее тебя».

Когда вдыхаешь Поэзию, как чистейший кислород, тогда стократ невыносим тяжёлый смог просчитанной посредственности или, наоборот, разнужданной бездарности. Когда разреженный горный воздух вызывает сладчайшее головокружение и обнаружение вечности, можно ли без грусти и сожаления оставить горные вершины?! Потому и вечен роман Поэта с Читателем. Потому и вечан их союз за пределами осязаемого... Оттого и — обращение к преждевременно оставленному им собеседнику:

Забери, запрети, затверди, заиграй
этот звук:

Я с собой не возьму ничего.
Всё останется здесь.

Оно же — и обращение к самому себе. В большей степени — к себе.

Поэт Андрей Власов родился в городе Великие Луки на Псковщине 3 июня 1952 года и умер в день своего рождения — 3 июня 2008-го, завершив или трансформировав некий начертанный алгоритм, потому что не раз говорил мне, что поэт — звание посмертное.

Он рос в семье учителей, оба — участники войны. Мать — литератор. Отец преподаёт физику, черчение и рисование. Известный в городе «непрофессиональный» художник. Перед войной, поступив в Ленинградскую Академию художеств, был изгнан из неё, когда выяснилось, что он — сын «врагов народа». И только посмертно, в наше время, без указания места расстрела, Власовых реабилитировали, о чём Андрей напишет в «Свидетельстве о смерти»:

Ни кола, ни креста,
ни костей без предела —
заровняли места.
Но, полвека спустя,
дарят датой расстрела...

Живая (в том смысле, что не завершившаяся) трагедия семьи, трагедия страны и личная трагедия самого поэта. С таким подготовленно-обнажённым и чувствительным, равнодушным к своей и чужой боли мировосприятием душа искала возможности самовыражения и нашла её — в стихах:

Шальные вспышки гази навскидку.
Верни ключи.
Либо шифруй на живую нитку,
либо молчи,
глядя на то, как бесхозный праздник
и дикий мёд
дразнит, зовёт, в листопаде вязнет,
в пыли плывёт.
Что ж ты расклеился, словно дурик —
всему родня?
Что тебе охра, индиго, сурик
в палитре дня?
Облако-рай превратилось в точку,
в мираж и ложь.
Что ж ты всё платишь ему рассрочку
и душу рвёшь?

Но это будет набормотано истерзанной душой много позже. А сначала была школа и школьные стихи, не помещавшиеся вскоре в толстую тетрадь. И была мама — учительница русского и литературы, первый равнодушный и вдумчивый его читатель, записывающая стихи сына в отдельную тетрадку.

— Андрей очень рано сложился как поэт, — свидетельствует Валентина Ивановна, — и я сказала ему после окончания школы, что он не сможет это бросить, но он усомнился, однако в 1995 году сам же о том и написал:

Давняя тайная блажь — на ходу, на бегу,
будто обвал посреди старосветского вздора.
Это не я говорю — разве я так смогу?
разве рискну? Разве выпрямлюсь до разговора?

Это не я. Это явлено издалека.
Это нежных щедрот вызревающий колос.
Я лишь орудье Господнее, горло, рука,
нечто извне превратившее в почерк и голос.

И ещё, как один из узлов этой сложной конструкции, был бокс! Собственные ощущения от занятия им Андрей передаёт так: «Я помню свои бои на ринге, ощущение чуда. Ей-богу. Невесомость тела, лёгкий страх, перчатка, чужое лицо в квадрате канатов. А потом рука, поднятая вверх. И проход в раздевалку. Блики лиц, чьи-то улыбки, одобрения. Плюхаешься на скамейку, кто-то похлопывает по плечу, хвалит, стягивает перчатки, а ты совершенно не помнишь того, что было минуту назад. Праздника боя».

Удар боксёрской перчатки и взмах освобождённой от перчатки руки, чьи пальцы крепко сжимают шариковую ручку — два разных по цели и по сути действия. А итог один — невесомость, разрежённость воздуха, эйфория, с которой трудно расстаться. И если с любимым боксом расстаться всё-таки пришлось (его, выступавшего в легчайшем весе, ребята заставили драться с крупным одноклассником, за что Андрея и исключили из боксёрской секции по жалобе классного руководителя), то со стихами — никогда! И хотя закончена только школа, и горизонты во всю ещё распахнуты, но уже — нечто свершившееся, безысходное и почти убийственное:

Это я одиноко стою
привиденьем на собственной тризне,
на обрывистом скользком краю
леденящего омута жизни...

Потом на обложку своей третьей и последней книги, изданной при жизни, Андрей Власов помещает фотографию, где он сидит на фоне разрушенной родной школы. Как же силен этот непрошенный дар чувствовать потоки, влекущие за собой разрушения! Невозможность их предотвратить, но возможность часть взять на себя! И он это делает. Уже из школьных писем прослеживается чёткий жизненный принцип: «Я думаю, что главным у человека должно быть стремление достичь себя (последние два слова подчеркнуты — А. Ж.). В человеке заложены огромные потенциальные возможности. Он их разбазаривает. Я беру в расчёт только духовное, но и это слишком большой вопрос. И вот литература (я имею в виду настоящую) пытается сделать это...»

Одарённый ребёнок — трудный ребёнок... Однако Андрей уже далеко не ребёнок, а студент первого курса единственного в то время в родном городе сельскохозяйственного института. Но — бросает и на следующий год легко преодолевает конкурс на литфак в ЛГПИ им. Герцена. Сама учёба интересна, а атмосфера дружелюбна: отличные педагоги, друзья и подруги, стихи по квартирам. Но токи уже колеблются — после второго курса педпрактика в пионерском лагере и... нет...не педагог... А если подробнее и глубже в причину, то — окончен второй курс. Лето. День рождения. Вы помните эту фотографию Бродского, навсегда покидающего страну? Стихотворение Андрея так и называется — «4 июня 1972 г.:

Прощальный вбирающий взгляд, словно сальдо и сальто,
сквозь карту казённого дома, краплёную карту,
сквозь залитый солнцем Литейный в удуше асфальта,
сквозь шашечный гребень такси в ожидании старта,
сквозь марево города, сквозь подмалёвок, сквозь задник,
с которым уходит полжизни, и вымолить нечем...

А мы шебуршим, допивая вчерашний двадцатник,
и что-то не в тему невнятно щебечем, лепечем...

Волею судьбы, точнее, её горькой усмешкой, в этот же день шла по Литейному весёлая компания, вторые сутки отмечающая день рождения своего сокурсника Власова. Знали ли тогда:

Нас тоже коснётся. Достанет. Осталось недолго.
 Что будет, то будет, а будет по схеме советской:
 кто сгинет бесследно, кто сдуру подсядет на время,
 кто к питерской Пряжке прибьётся, кто к пряжке армейской,
 короче — всем братьям по сержам, кувалдою в темя.

— Власов ушёл из института, чтобы найти свой голос. Хотя уже был принят на «квартирниках», его приглашали читать стихи, он был «широко популярен в узких кругах». Мало того, Юрий Михайлович Лотман о нём говорил: «Всё, что должно быть от Бога, у него есть», — вспоминает тот же Владимир Быстров, один из великолуцких редких собеседников Андрея и будущий наборщик его книжек — таких же редких.

«Пряжка армейская» не преминула затянуться и затянуть: стройбат, служба недалеко от винного завода, где вся служивая братия «благополучно» спивается. Но и в этих условиях Андреем пишутся замечательные стихи — «Неотправленные письма» к друзьям: Павлу, Олегу, Володе:

Пропусти меня, ночь, пропусти — ну хоть раз не мишенью,
 не шарахаться шорохов, только с порога — чужак,
 пропусти меня в август услышать смятенье и шелест,
 запрокинувшись к звёздам, как если бы — к звёздам сбежав...
 И вновь — безысходное и наверняка предreshённое:
 Пропусти меня в август, на муку, на крест, на Солярис...

После армии Власов окончил железнодорожный техникум, был продвинут в мастера. Но не мастер... прижимать рабочих и угождать начальству. Зато, с чистой совестью — слесарь по ремонту дизель-поездов и тепловозов. Грязная, тяжёлая работа, бесконечные командировки.

— Этакий типаж работника, — вырисовывает его образ Быстров. — Идёт по городу — в джинсах, в чёрной курточке. Иногда бритый, частенько под хмельком. Он маскирует равнодушием полную незащищённость и обострённое чувство справедливости. Тронет его хам — пошлёт по матери, затронет его человек разумный — и будет слушать, изумлённый, выстраданную речь с обилием цитат любимых поэтов, глубоким знанием предмета, с собственным мнением, обоснованным, доказанным, ясным:

Спи, душа моя, крепче спи,
 спи, как спит городок в степи
 на казённом пути моём.
 Ты со мной не ходи в наём.
 Спи, душа, не пугай виной,
 и вина пройдёт стороной,
 далеко, как вода Днестра
 у оставленного костра.
 Спи во мне и меня забудь.
 Пусть колёса кромсают путь,
 стык за стыком, за тактом такт,
 повторяя: «Всё так, всё так»...
 Спи, душа, не души, не тронь,
 спи, спеша за Ишим и Томь,
 со святыми за упокой
 в сон глухой — как в тоннель глухой,
 где ни зла, ни добра, ни драк —
 ничего.

И да будет мрак!

Мрак спасенье тебе сулит.
 Спит душа, но во сне скулит.

Отдушиной — редкие поездки к друзьям, письма. Немного спорта, много музыки: Beatles, King Crimson, Dire Straits и ещё, и ещё — что-то открывает сам, а что-то находят уже подростки. Да, так в жизни и есть — крепкая семья, талантливые дети, которые полны надежд, как когда-то ты сам. Мать и отец, потом — только мать. И — заботливая жена. В прошлом — хрупкая и смущённая (потому что — влюблённая!) одноклассница. В настоящем же — надёжная спутница жизни и настоящая мать. «Жизнь сложилась так, как сложилась / песня / и как карта легла»? — И да, и нет. Потому что — поэт! И путь этот дан не только свыше и заранее, но и тысячи раз преломлён через собственный характер, событийности прилегающих к нему широт и «щедрот» времени, где с неизбежностью вспоминается вечно и вечное:

Когда твоей крестной муки срывают кран
 и гонят тебя, как зверя, на твой распыл,
 Пилат умывает руки: «Ты выбрал сам», —
 как будто на деле верит, что выбор был.
 А был тебе голос тайный, что выбор — грех
 и что не дано иного. Пусть мир оглох,
 есть только предначертанье и боль за всех,
 куда ты верен Слову и Слово — Бог.

Почему такие поэты остаются в безвестности? «Если для сохранения лица нужно поступиться очертаниями, — как-то напишет Андрей, — я согласен стать невидимкой...» Отчего не могу я смириться: Бориса Рыжего знает весь свет, а моего Власова — нет! Может, такие поэты, как Власов, потому и ценны, что рождены для двух-трёх человек, которым они в какой-то степени меняют судьбу?

Вот, например, со мной: внешне ничего не изменилось — семья, дети, работа — всё, как у всех и как всегда, но... изменилась я внутренняя, внутри меня как бы расширились границы и взгляд на тот же мой быт! Не стану я читаемой поэтессой, но, очевидно, стала я уже другой женщиной и другим человеком. Андрей научил меня «видеть» настоящие человеческие чувства, а не их подделку и красивую упаковку. И эти ощущения я постараюсь в себе сохранить.

Как Андрей оценивал русскую поэзию? Я думаю, он в неё верил! И воспринимал как переключку вечно живых голосов — не важно, что обладателей этих голосов, быть может, физически на Земле уже не существовало. И когда его в «переключке» что-то цепляло, он, жадный до талантливого и неподдельного и всегда ищущий себе подобных, читал мне (по телефону), чьи-то стихи, и я слышала, как голос его дрожал! Андрей радовался как ребёнок, когда его заставляло обернуться что-то: хотя бы одна строчка в стихотворении! Да где там: он читал, захлёбываясь, он — плакал! Это же надо, какие оголённые нервные окончания у сурового с виду мужчины! Он выплёскивал себя в мир! Поэтому, когда хоронили Андрея, это уже был не он, а, действительно, только тело.

Не знаю, как другие, а я пронзительно это ощущала. И поняла тогда, что мы любим своих родных и близких за их жизненное кипение рядом с нами и чтим и помним их за то же самое. Такие простые и давно уже познанные Человечеством истины приходят каждому в своё время.

Власов никогда «не изменил нашему некогда общему кодексу чести», а «совесть и слух» всегда были с ним. Только человек, постигший, что он несёт крест русского поэта, смог жизнь свою прожить так, чтобы потом, обратившись к себе самому, сказать: «Ты не гош в конкурсанты. / Ты жизнью за всё заплатил / и в крошечном отчаянье выстрадал *собственный* голос». Зато был всегда смел и решителен в том, что «возле ссученной своры / надо просто не петь, отвернуться к стене, / чтобы выпасть из хора».

Четыре книги, венчающие творчество поэта: «Дурак на холме», «Меж двух колонок», «Голос за кадром», «Посошок» — как честный ответ этому «трудному мудрому миру».



Андрей Власов Пропуск на крест

Мне давно всё едино — на дне, на плаву,
я давно безразличен к блажным и облыжным,
где-нибудь как-нибудь я свой век доживу
под всегдашним давлением верхним и нижним.

Поперечный устоям души капитал
не похерят уже ни капрал, ни священник.
Все достали меня и никто не достал
(мимо кассы палили, видать, мимо денег).

Вот и чудненько. Загодя зная итог,
ни о чём не прошу, ничего не мусолю.
Пара-тройка друзей да поклонниц пяток —
вот уже и читатель. Мне этого вволю.

Где-нибудь... что-нибудь... как-нибудь... как с куста...
Пусть здесь всё проходящее и проходное,
пусть давно всё едино, но совесть чиста
перед Господом Богом и речью родною.

То ли волчица-луна, то ли сбитый засов
у покосившихся и беспризорных ворот...
Время считается в воронку песочных часов,
а за свободу и смерть предоплату берёт.

Я заплатил и свободен ни петь, ни читать.
Пусть распадается и порастает бльём,
мне хорошо с моим веком мой век коротать,
пересыпаясь песчинкою в новый объём.

— И людям читающим, мыслящим стало понятно, что тридцать лет рядом с нами молчал *настоящий поэт*, — замечает Быстров.

Остаётся только ждать и надеяться на то, что эта смелая попытка с завидным упорством и длиною в жизнь... это неутомимое желание предостеречь мир от излишней фальши и торжествующей циничности... эта непростая доля для простого человека... этот крест настоящего мужества — не останутся незамеченными самим «трудным, но мудрым миром» или хотя бы той самой мыслящей его частью. И, как последние вдох и выдох своего неслучайного явления на этот свет, слова поэта, данные нам, здесь живущим, в его посмертном «Посошке»: «Я — русский поэт (к великому сожалению), и поэтому Поэзия для меня не сумма навыков, не игра, не сочинение на тему — все свои сочинения на тему я оставил в школе, не ли-те-ра-ту-ра, а Поступок и Путь, которому я должен соответствовать. Это мой воздух, моё мужество, мой крест, и я их ни на что не променяю».

г. Великие Луки

Обитатель убогой обители,
исподлобья глядящий на свет,
превращает в товар на любителя
горький воздух отравленных лет.

Он его наглотался до одури,
до отврата, до края, до дна,
труса праздновал, праздновал лодыря,
а дорога, как прежде, одна.

И не стоила опыта сточного,
злого ухарства, пьяной руки
эта чаша и ноша бессрочная,
в нём живая ему вопреки.

Пусть знамения страшные сеются
чередой непроглядных дождей,
трудно верить и стыдно надеяться,
но Господь милосердней людей.

Тузы из рук или обуза с плеч —
не то, не так... А вся-то недолга —
прочувствовать, проникнуться, просечь:
ты получил своё от пирога.

Не стоит городить да бередить,
что жизнь была,
пора благодарить и выходить
из-за стола.



Никакая польза или выгода,
не до дыр затвержённый урок,
это жажда жажды, жажда выхода,
откровенья, омовенья впрок.
Капельное, точечное, узкое,
сквозь тебя — едва, едва, едва,
это не виденье и не музыка,
непереводимое в слова.
Это нечто долгое, тягучее,
метроном, морзянка из нигде,
воля волн и токов, воля случая,
поворот к оставленной звезде.
Это нечто вроде растворения
в глубине последнего глотка,
это непомерно и вневременно,
ибо вечность слишком коротка.



Лоб в испарине. Задница в мыле.
Как положено, в пятках — душа.
Пожурили, пугнули. Простили.
От-пустили. И жизнь хороша.
Не поклонник далёких Америк,
не глашатай кремлёвской братвы.
Уползай на спасительный берег,
берег Сороти? или Протвы? —
всё равно. На глаза изоленту,
вату в уши — и впрямь благодать.
В главной роли «Судьбы диссидента»
ты себе не позволишь страдать.



А. Рябихину
Телефонный звонок.
Анекдоты больничек кромешных.
Слава Богу, Санёк,
Ты такой же, как я, пересмешник,
Даже метя в тираж,
На одышке да на раскорячке
ибо, помня литраж,
несерьёзно пенять на болячки.
Было время для роз
Без шипов. Были полные соты.
Проходил правый «кросс»
И мячи залетали в ворота.
И почти что всегда
Приглашали на дамское танго.
И светила звезда
Погружениям без акваланга.
Всё пошло на распыл,
видит Бог —
по делам и награда.
Что имел — не ценил,
не сберёг
и не надо,
ибо дерзость и прыть,
и распашка на здешнем раскате
не затем, чтоб копить,
чтобы тратить.
Отмотавши свои К., П., З.,
оттоптавши ничейные тропки,
мы не стали Н. З.,
но спорим, точно топливо в топке.



П. Горбунову

Пропусти меня ночь, пропусти — ну хоть раз — не мишенью,
не шарахаться шорохов, только с порога — чужак,
пропусти меня в август услышать смятение и шелест,
запрокинувшись к звёздам, как если бы — к звёздам сбежав.
Пропусти меня в Спас, в ворожащие кроны и крыши,
в Божий сад, в спелый свод, на который не хватит молитв,
пропусти меня в мир, где негаданно длятся и дышат
позабитые в этой далёкие жизни мои.
Пробавляясь грошовым, к столетним стволам прислоняясь,
бредил в слух, торопя, как калиткою хлопнет — «Тесней!»
Пропусти меня в август, на муку, на крест, на Солярис,
где минувшее — плоть, пусть не так, не на столько, но с ней.
Пропусти меня в август, где звёзды и кроны полощет,
как в щемяще других, где такие же бродят в бреду,
перебором листвы — осторожным, вслепую, на ощупь,
точно яблони шарят в чужом и чернейшем саду.
Я хочу, чтобы память была, как касанье, — не снится,
а как август, как в август — руками нашарить в листве.
Пропусти меня с ним шаг ступить и немислимо слиться,
как тогда, как тогда — в бесконечном и добром родстве.



...Я так долго с тобой разговаривал, что не могу
ничего из того, что сказать собирался, а, впрочем,
сам себя распиная на грязном, раскисшем снегу,
не солгу — всякий выход неточен

и неважен, когда и один — не один,
пробираюсь вслепую, наощупь, как с бреднем,
с этим бредом, который — единственный мой господин,
по Таврической или на Среднем.

Под ногами плывёт и скользит тротуар,
лихачами под самые стены заляпан.
Надо просто стравить этот пар.
Приоткрыть этот клапан.

Перейти на щадящий режим.
Отступить. Опустить в безответном конверте.
Ты прочтёшь и поймёшь. А простишь, если жизнь —
только приготовление к смерти?

Да неужто же промельк и посвист — лишь повод для слов
и для этого в глотку вцепился?
Я устал, я смертельно устал, но ещё не готов —
я ещё не вернул то, что я задолжать ухитрился.



О. Парамонову

Напахав на ликбез и сподобившись орденоносцу,
Всё одно — ты похож на себя и почти что родня.
Оттого-то и важно пройти по снежку да морозцу
на могилку Г. П., к своему для тебя и меня.
Так сказалося. Прости. Я себе ничего не присвою,
Ничего и не нужно уже, ибо гонит волну,
Где кладбищенский спичечный лес, словно пламя свечное,
восприимчив к дыханью небес и подстроен к нему.
Что ещё остаётся прожившему горлу в угоду? —
отрубившись по-русски, чуть свет по-английски уйти.
Только всё потеряв, человек обретает свободу.
Мы на верном пути.

Мне много лет. Мне говорят давно:
«Восстань, Поэт, и виждь, и внемли», — но
ведь я не опереточный злодей,
чтобы глаголом жечь сердца людей,
не мелкий прохиндей, чтоб без стыда
их оболгать дорогой в никуда,
не Соломон и не энтузиаст,
чтоб впаривать им свой Экклезиаст,
невесть за что. Уж лучше не мыча
и не телясь, пока горит свеча
за здоровье моё, и наяву
я не живу, но всё-таки живу.

Ночной поводырь

Он ныряет в беззвёздную ночку,
он шныряет, гулит до зари
и, за пазухой грея заточку,
набивается в поводыри.

«Может, вздрогнем?» — ухватка бандита
вкупе с дребезгом, мелкой крупой.
Будет дешёво? Будет сердито?
(Вероятней — второе.) Запой,

и до фени, что катит, что крутит,
что ни тени за ним, ни следа,
что уводит глухим междупутьем
от жилья и тепла в никуда.

Камышовые заросли. Темень.
Торфянистое зыбкое дно.
Мне б очнуться растением — растениям
этой темени знать не дано.

Отстаёт. Достает. Прилипаёт.
Осторожен. Нахрат. Ядовит.
То ли душу мою покупает,
то ли выпустить дух норовит.

Он похож на какой-то ужастик,
но какой? Разглядеть не могу —
то ли хвост у него, то ли хлястик
бьётся в ноги, мешая в шаг.

И давлюсь любопытством с опаской,
и плетусь за исчадьем греха,
что возникло недоброю сказкой
и исчезнет под крик петуха.

Мизантроп

Это ещё не ступор, ещё не кома,
это — всего поддержание статус кво.
У меня нет адреса, телефона,
имени. Ничего.
Ни единой соломинки или зацепки. Скоро
из словаря останется только «пусть».
Выцветшие глаза знают цену точки опоры,
поэтому ни за кого и ни за что не держусь.
Пусть без меня рассыпаются мелким бесом,
тянут данайский дар, как заветный приз.
В царстве теней, величающих тяжесть весом,
вес — это тяжесть, которая тянет вниз.

Ночь проходит? — надеюсь, проходит, надеюсь, скорей,
чем проходит мой век и глухая вражда с этим веком.
Я очнусь на ходу под рассеянный свет фонарей
на Фонтанке, Обводном или где-то, где не с кем и некем
заслониться от чувства, что век мой меня доконал
и уже не отпустит, не даст ни глотка кислорода.
Светофор. Переход — через улицу, через канал.
Воровская приглядка в чернильную, вязкую воду.
Пересвист упырей, собирающих с города дань.
И накаты охоты, которая пуще неволи.
И обширный вневременный мир. И Господня длань
над бездомной душой на игле петропавловской боли.
Ночь, конечно, проходит, но прежде доводит до слёз
и заводит в тупик, и вбивает в бетонную стену,
может, только за то, что ещё школяром, но всерьёз
из предложенных трёх выбрал третью —
Свободную тему.

Марионетка

Это ведёт незримо, и эта власть
необходимее мудрости мудрых книг.
То, что её помимо, — не в кайф, не в масть
и не смертельно — даже пусть в кость и встык.
Ибо немного значат мыльные пузыри,
кущи кофейной гущи, подсчёт ку-ку.
Коли язык утрачен — не говори
или смени партнёра по языку.
То, что серьёзно, ещё не совсем всерьёз,
так что пустым отчаяньем не греши,
а препиранья с миром себе под нос —
больше привычка, нежели крик души,
больше натура. Коль не сменить кровей,
не суетись, не шустри воровским трудом:
ты под своим числом, под звездой своей
определён единожды и веком.
Чтобы пройти как должно свой путь земной,
это куда существеннее, чем тропа.
Не оборви верёвочку за спиной —
привод любого сюжета, поступка, па.
Чувствуешь, жертва глазу, такой-сякой,
впору качать права да крушить бока,
но обрываешь фразу, махнув рукой,
будто бы по приказу издалека.
Воды сомкнутся, прощально блеснёт блесна...
— Выдернет, вытянет, чтоб отыграть на квит
смятым обрывком впервые цветного сна
неба закатного малахит.
Чтобы не выпало — аут, расход, распыл,
выдернет, вытянет из лабуды любой
Тот, Кто тебя задумал и сотворил
по своему подобию, но не собой.

Без тебя всё едино и всё — к шабашу,
А как вспомню, что есть, — за живое берёт.
Я ищу к тебе путь, но иди не спешу
(то есть ты не торопишь: всему свой черёд).

Ты ведёшь аккуратно: не тянешь кишок,
Растворяя навроде кругов на воде,
то приблизишь к себе на стежок, на вершок,
то забудешь впотьмах. Ты нигде и везде.

Неучастник процесса, насупленный сыч, старый хрыч,
безутешный насмешник над некою пташкою синей,
я способен казаться своим (под чужой магарыч),
но, вполне осознав, что овчинка не стоит усилий,
и не тшусь, и не тешусь — своё в одиночку тяну.
Принимая четыре стены за искомое место,
Превращая сношения с миром в приём на дому,
Я понятен ему, но понятен за вычетом текста,
То есть — краем, бочком, как «сушёная вобла», как «па-
тологически злой», как «глашатай исчадья анафем»
и т. д., и т. п., — весь набор полуправд, вся крупа
ярлыков и кликух, непригодных ни на фиг, ни на хрен,
ибо вскользь, а не в тему. Я жив в неоплатном долгу
перед Господом Богом, в упрямом своём постоянстве,
на скамейке у храма, в который войти не могу,
и под крышей науки дышать в безвоздушном пространстве.

Лицо сродни расстрелянной мишени,
и без труда читаешь по лицу,
что долгий опыт саморазрушения
благополучно близится к концу.
Спеша в давно намеченное устье,
и то, что будет, зная наперёд,
ты наблюдаешь без тепла и грусти,
как следом за тобою в свой черёд
чужая юность, разливаясь Волгой,
вгрызается в незыблемую твердь
и к памяти недоброй и недолгой
торопит унижительную смерть.

Николай Рябеченков Строить человека

«Он умер от усталости, хотя врачи и
определили пневмонию. Но умер, —
как хотел — в июне и свободным.»
Сергей Кузнецихин

Дивногорск-67

Как не каждое лыко в строку,
так не каждая в лад строка.
Поналезла сволочь на стройку,
собираясь пролезть в века!
Пьедесталы себе готовят,
ищут места, посуше чтоб.
А бетон-то замешан на крови.
А под каждым под блоком — гроб.
Знаю многих ораторов штатных,
не понявших простую мысль,
что не слишком ли мыслим масштабно?
Тащим в даль,
забываем близь.
Ах, какая страна большая!
Сколько ж много в стране людей!
Сколько бед
и судеб вмещает
воплощение в жизнь идей!
Сколько ж надо нам дел переделать,
чтоб понять самого себя,
то, что каждый из нас — идея,
то, что каждый из нас — судьба.
Мы в стране своей словно дома,
но страна забывать не велит,
что — смотрите! —
у«Гастронома»
в доску пьяный лежит инвалид.
Что ж он? Меньше идеи стоит?
Человек. Он прошёл войну.
А сейчас вот — лежит и стонет...
как не взять на себя вину
за такую жестокую старость?

Разве я, лично я, виноват,
в том, что водка ему досталась
лишь путёвкой в житейский ад?
Строим, строим,
а после стройки
Как-нибудь на троих строим...
В кулаках — измятые «тройки»
и не ведаем,
что творим...
Ритм эпохи Двадцатого века —
пулемётная дробь у виска.
Надо строить сейчас человека.
Навсегда.
До конца.
На века.

Вы слишком скоро свой свершили суд.
Наверно, потому он был неправым.
Меня во мне стихи мои спасут,
как от жары спасают землю травы.
О если и меня когда-нибудь,
как землю засуха,
настигнет час расплаты,
я не раскаюсь, что закончил путь
не так, как намечал себе когда-то.
Я буду счастлив тем, что жил, как мог.
И тем, что умираю, как умею.
Что по сухим пескам любых дорог
я шёл всегда дорогою своею.



Степан Ратников Кришнаит — мой отец

Первая часть повести С. Ратникова («Мой отец — кришнаит») опубликована в №1–2 «ДиН» за 2005 год.

Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Эти слова, как нельзя лучше, характеризующие человеческие взаимоотношения, в течение примерно пяти последних лет произносились мною всякий раз, когда кто-то начинал рассуждать о моём бате. Несколько лет назад он променял семью, в том числе и меня, тогда ещё четырнадцатилетнего сопляка, на индийское божество и несчастных людишек, поклонявшихся этому божеству. Причём кришнаит ничуть не жалел о содеянном. Но лишь до поры до времени. Пока четырнадцатилетний сопляк не встал на ноги, не заставил себя уважать и не раскрыл бывшему отцу истинные ценности жизни.

Жизнь — штука сколь сложная, столь и странная. Судите сами. Обворожительная красотка, долгое время демонстративно отшивавшая навязчивых поклонников одного за другим, со временем сама оказывается брошенной себялюбивым хахалем и вынуждена в одиночку воспитывать родившегося в нелюбви ребёнка. Скупой, откровенно пожадничавший товарищу пару тысяч на погашение задолженности перед банком, вскоре узнаёт, что приятель брал кредит на приобретение навороченного автомобиля и домашнего кинотеатра и уже завёл себе новых друзей. А отец, раз за разом унижавший сына перед невесть откуда взявшимися чужаками, однажды научается отличать белое от чёрного и попадает в водоворот мучений оттого, что когда-то сделал шаг совсем не в ту сторону.

Но некогда сиявшей красотке очень сложно заново обрести счастье с другим мужчиной и уж точно не под силу объяснить своему подростку чаду, почему оно выросло без отца или же под опекой вечно озлобленного отчима. Скупому, почувствовавшему себя одиноким, ни за какую цену не выкупить былую дружбу поднявшегося в жизни товарища. Отцу же, раскаявшемуся в своих былых неблагородных деяниях, не всегда удаётся заслужить прощение у собственного сына, не по своей вине выросшего человеком с изрядно покалеченной психикой...

Будучи студентом уже четвёртого курса, я проходил педагогическую практику в одном из красноярских лицеев. Мне достался шестой класс, ученики в котором были на редкость разными, причём во всех аспектах. На месяц в мои руки попались как очень-очень умные ребята, так и в меру развитые; типично русские и не совсем; чересчур любознательные и неопишуемые лентяи; взбалмошные весельчаки и жуткие тихони; гиганты-переростки и совсем ещё крошечные «гномики».

Тогда-то я впервые в жизни ощутил себя отцом, по несколько часов в день занимаясь и одновременно играя с этими интересными, но ещё маленькими людьми. Один день не был похож на другой. Так, сегодня ты буквально таешь от неловкого «здрасьте», вылетевшего из уст маленькой принцессы. Завтра получаешь удовольствие, глядя на то, как подрастающие вундеркинды чуть ли не дерутся за право ответить на твой каверзный вопрос и получить желанную «пятёрку». После-завтра огорчаешься вместе со взлохмаченным сорванцом, на зубок выучившим заданное тобою на дом стихотворение, но от волнения забывшим последние строки. Всё это, казалось, могло продолжаться до бесконечности...

Однако месяц пролетел невероятно быстро. Практика, не успев толком начаться, почти сразу же закончилась. В уме можно было перестраиваться на лекции и семинары, но прощение с лицом получилось совсем не таким, как я планировал. В последний день практики несколько моих детей (таким образом мы с одноклассниками называли своих учеников) окружили меня и, перебивая друг друга, буквально засыпали вопросами.

— А вы к нам ещё вернётесь? — жалобно спросила одна из «дочерей».

— Вас же не выгнали с работы? — заботливо поинтересовалась другая.

— Вам здесь не понравилось? — надула губы третья.

— А что будет с карточками, которые мы делали перед прошлым занятием? Нам их теперь выкинуть, что ли? — обиженным голосом произнёс один из «сыновей», за месяц привыкший к получению знаний в игровой форме.

Я сам настолько растрогался, что ничего не смог ответить этим прекрасным созданиям. Стоя внутри искусственно созданного ими кольца, лишь думал: «Вот бы и мои дети были такими же чуткими, добрыми и вообще замечательными». Не находя себе места и ответив дурацкой, шаблонной фразой: «Всё будет хорошо», я попрощался с учениками. Однако до сих пор с упоением вспоминаю те необычные, светлые дни, проведённые рядом со «своими» шестиклассниками. Было здорово и почти по-семейному тепло! Всего этого мне, жившему в последнее время в полном одиночестве, и недоставало.

Там же, в стенах лицея, я познакомился с одним предпринимателем — умнейшим, хочу сказать, мужиком, беседовать с которым было одно удовольствие. Наше знакомство получилось вполне обычным для акулы пера. Я, тогда

ещё начинающий журналист, ненароком услышал разговор предпринимателя с учениками и решил написать заметку об их встрече, проходившей в рамках классного часа. После того как дети разбежались по домам, я плотно пообщался с тогда ещё незнакомым мне мужчиной. Быстро найди общий язык, мы с ним в течение последующих полутора лет — до тех пор, пока моя студенческая жизнь не подошла к своему завершению, а поездки в Красноярск не стали большей редкостью — ещё много раз встречались и непринуждённо обсуждали всевозможные вещи.

В ходе одной из уже последних наших встреч мне было предложено доехать прямиком до посёлка Молодёжного на машине — предприниматель собирался по делам в родной для меня Дивногорск. На тот момент мой более взрослый знакомый уже был наслышан о «кришнаитской блокаде». Подъезжая к посёлку Слизнево, мы, не помню зачем, подняли эту неприятную для меня тему. Собеседник посоветовал мне не торопиться с выводами насчёт кришнаита. Даже несмотря на то, что в моих былых взаимоотношениях с батей всё, вроде как, лежало на поверхности.

— Пока что ты можешь только догадываться об истинных причинах, подтолкнувших твоего отца к совершению тех или иных поступков, — сказал предприниматель.

— Просто ему так легче стало жить, — ответил я, поглядывая куда-то в сторону. — Ничего не нужно делать, а что там будет с семьёй — наплевать.

— Как ты можешь утверждать подобное, если не был в его шкуре? Скажешь, что со стороны виднее, и будешь в чём-то прав — доля истины в этом есть. Но существуют и скрытые от посторонних глаз причины всего происходящего, известные только тем, кто заварил ту или иную кашу.

Ненадолго я оказался в ступоре, так как не мог понять, зачем мне всё это объясняют. А то, насколько разумными или бредовыми были услышанные мною слова, тем паче не задумывался.

— Вы хотите сказать, что виновником наших с батей разногласий был я сам?!

— Уж чего я точно не хотел сказать, так именно этого, — с улыбкой на лице парировал собеседник. — Нет, я несколько не сомневаюсь в том, что тебе было несладко, как и в том, что по отношению к тебе всё это было совершенно несправедливо. Просто переизбыток негативных эмоций не позволяет тебе трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.

— О каких эмоциях вы говорите?

— Эмоциях, заставляющих тебя думать лишь о собственном несчастье и в то же время не позволяющих увидеть несчастья чужого.

— Баатиного, что ли? — глуповато усмехнулся я.

— И его несчастья тоже.

— Чепуха! Уж кто, а он-то точно не жалеет о содеянном.

— Я так не думаю. Поверь мне, пройдёт лет десять-пятнадцать, а то и меньше, и ты совершенно по-другому взглянешь на страницы своей биографии.

— Этого никогда не случится! — отрезал я.

— Пойми, я лишь высказываю свою точку зрения и не хочу тебе ничего доказывать, — продолжая

улыбаться, пояснил предприниматель. — Насильно менять твоё личное мнение о ком-то или о чём-то я не собираюсь тем более. Со временем это делает сама жизнь.

Впереди замаячила крыша моего дома.

— Возле того поворота, пожалуйста, тормозните.

Мы остановились. Несколько секунд помолчав, я пожелал своему собеседнику счастливого пути и вылез из машины. Далеко не бедный владелец простеньких по нынешним меркам «Жигулей», как и всегда, дружески улыбнулся, слегка приподнял руку и поехал дальше.

Со временем чуть ли не половина родни принялась вдалбливать мне в голову примерно то же самое, что и знакомый предприниматель. Каждый твердил, будто рано или поздно батя осознает свои жесточайшие ошибки и начнёт просить у меня прощения. Я не желал слушать это, буквально взрываясь от мысли, что кришнаит набрался наглости и смелости покаяться передо мной. Попросту в голове не укладывалось, как такое вообще возможно?!

«Если даже он и начнёт искать пути к возобновлению наших отношений, — подумывал я, — всё это на деле будет не больше, чем самый жалкий спектакль, предпринятый в целях восстановления своего некогда доброго имени в глазах окружающих».

Этой мысли суждено было глубоко осесть в моём мозгу. А потому, когда кто-нибудь из родных начинал убеждать меня в том, что кришнаит «навряд ли раскаивается в ранее содеянных проступках», дело всякий раз заканчивалось мелкой ссорой, и я, пытаясь сгладить последствия своего нервного срыва, в который раз просил не упоминать об уже бывшем для меня отце.

— Вы с ним не жили, вы своими глазами ничего не видели, вам в душу не плевали, — пытался я объяснить своё поведение родным. — Всё уже в прошлом, и этот человек давно вычеркнут из моей жизни. Мстить ему я не собираюсь, но и закрыть глаза на всё бывшее никогда не смогу. Поймите же это и оставьте меня, наконец, в покое!

Увы, понимать происходящее получалось далеко не у многих. Одним из тех, кто не упреждал меня простить кришнаита, был, как ни странно, его родной брат. Скажу сразу, что чёрная кошка между ними не пробежала. Просто дядька, по моим наблюдениям, всегда чуть более трезво, нежели другие родственники, подходил к оценке той или иной ситуации. А уж решать чужие проблемы он тем более никогда не собирался, полагая, что у каждого человека имеется собственная голова на плечах, которая дана ему не только для того, чтобы в неё есть, но ещё и думать ею.

Таким образом, дядька мог с чистой совестью сказать своему брату: «Раньше надо было кумекать, чем это всё может в дальнейшем обернуться». Примерно те же самые слова я долго и безуспешно пытался донести до остальных родственников...

Уже живя в собственной квартире, я частенько наведывался к дядьке, с которым нас связывало ещё и увлечение литературным творчеством.

Однажды он высказал неожиданную для меня мысль:

— Твоему отцу было бы лучше никогда не осознавать того, что он однажды выбрал во всех смыслах неправильный путь.

— А он никогда этого и не осознает, — махнул я рукой.

— Надеюсь, что так, — ответил дядька, помешивая варившиеся в кастрюле пельмени. — Иначе всё это будет невероятно больно для него. Насколько именно, даже представить не могу. Иногда подобные вещи даже убивают людей...

— В каком смысле?

— В самом что ни на есть прямом.

— Да ладно тебе, — усмехнулся я. — Этот чёрствый сухарь ещё моих будущих детей и твоих будущих внуков переживёт.

— Ох, не зарекайся, — на полном серьёзе ответил дядька. — Пускай уж лучше он всю свою оставшуюся жизнь поклоняется этим статуэткам и гуру. Пути назад уже всё равно нет.

Я, будучи целиком и полностью согласным с последними словами, спорить, разумеется, не стал.

Так вышло, что 2006 год стал одним из самых памятных в моей уже новой жизни. Именно тогда я окончил университет, получил литературную премию, был приглашён на работу в редакцию достаточно неплохой газеты. Причём всё это произошло в течение одного месяца. Все многочисленные напруги и неудачи, сопровождавшие меня долгое время, стали забываться. Жизнь постепенно налаживалась.

Отработав на новом месте чуть меньше месяца, я отправился домой к сестре и матери. Очень уж хотелось поделиться новостями, а заодно и самому узнать, что у родных случилось новенького. По пути я заскочил в первый попавшийся павильон, чтобы купить своей годовалой племяннице несколько коробочек сока. Маленькая красавица была от него без ума, а потому приходить к ней в гости без этих картонных коробочек с трубочками на боках и фруктовым содержимым внутри было просто грешно.

Пять минут спустя я уже был готов обрадовать любимую племянку. Когда открывал почему-то незапертую на ключ входную дверь, до меня вдруг дошло, что я забыл позвонить сестре и узнать, дома ли кришнаит.

«Да ладно, его всё равно нет», — успокаивал я сам себя.

Судя по царившей в квартире тишине, так оно и было. Я беспешно разулся, взял в руки пакет с соком и пошёл на кухню, где, как оказалось, кто-то включил воду и начал мыть посуду.

— Кого там к нам занесло? — спросила сестра, не выходя из кухни.

— Угадайте с трёх раз, гражданочка, — ответил я, остановившись на пару секунд перед зеркалом и стряхнув со лба едва заметные чешуйки отслоившейся сухой кожи.

Внезапно перед глазами возникла чья-то ладонь. Я машинально протянул вперёд свою. Мгновением позже, приподняв глаза, увидел кришнаита и брезгливо отдернул руку. Скрипнув челюстью, но ничего не сказав, я тут же удалился на кухню,

уже без особого, блаженного, удовольствия протянул шуршащий пакет с соком только-только пробудившейся от сна племяннице и намекнул сестре, что зайду как-нибудь в следующий раз.

— Тебе виднее, — пожала плечами она, поняв причину моего предстоящего ухода. — А вообще зря ты... Мне кажется, он уже всё понял и хотел бы с тобой общаться.

— Ой, хотя бы ты мне на мозги не капай. А то, как я погляжу, он уже всей родне пожаловался, что я, гад эдакий, не прощаю его. Понял он, видите ли, и общаться захотел... Ага, можно подумать, что кто-то его так взял разом и простил. Короче говоря, сделай милость — не смейся, ладно? Не хочу его видеть, — выговорился я и пошёл обуваться.

Кришнаит уже сидел в зале, за закрытой дверью, смотря телевизор и не обращая на меня никакого внимания. На это я и надеялся, не желая устраивать выматывающие меня перебранки, с которыми, к счастью, не сталкивался уже более двух лет.

Словно живая, рука кришнаита раздражающе маячила передо мной на протяжении ещё нескольких дней. Я пытался перевести свои мысли в иное русло, начиная думать то о хоккее, то о работе, то о надобности наладить свою личную жизнь, то ещё о чём-нибудь. Не помогало. Всякий раз цепочку дум и фантазий, как топором, разрубала та самая рука.

Тем не менее, я всё же надеялся, что после того случая бывший родитель уже точно прекратит свои жалкие попытки возобновить общение со мной. Но сильно ошибался. Чем дольше я жил один, тем больше родственников, как будто кем-то науськанных, безрезультатно пытались уверить меня, дескать, кришнаит уже не тот человек, которым был ещё совсем недавно.

— Нормальный у тебя батя, — заявил мне в ходе дружеской беседы муж сестры, уже больше года непонятно зачем носивший на шею кантималы — деревянные бусы, являвшиеся неотъемлемым атрибутом кришнаитов. — Просто в одно время он принял не самое верное решение. Что теперь поделаешь? На твоём месте я бы уже закрыл на всё глаза и не мучил бы ни себя, ни батю.

«Просто в одно время принял неверное решение?... — гневно думал я. — Да уж, действительно, проще некуда... Что теперь поделаешь?! Да в том-то и дело, что ничего. И на моём месте ты не был, поэтому не надо меня ни в чём убеждать».

— Поверь, он уже понял, что никакие мантры не смогут заменить ему тёплых родственных отношений с собственным сыном, — словно сговорившись, талдычили обе бабушки. — У твоего папки это буквально на лице написано. Ему тебя очень не хватает. Он много раз признавался, что был не прав по отношению к тебе. Поведал даже, что всё, о чём ты нам в те годы рассказывал, — не придуманное тобою нытьё, а чистейшая правда. Может, тебе всё-таки стоит его простить?

«Спасибо хотя бы за то, что из меня самого не делаете козла отпущения, — размышлял я, выслушивая все эти якобы ненавязчивые нотации. — А выбор у этого горе-владыки был. Я много раз

предупреждал, что со временем он горько пожалеет. Но мои слова никогда его не останавливали. Наоборот, только злили, а там — будьте добры, получите очередные неприятности. В общем, уже поздно извиняться. В прохудившуюся посуду воды не наберёшь».

В остальном же всё шло своим чередом. С момента того несостоявшегося рукопожатия прошло больше года. За это время я ещё пару раз случайно наталкивался на кришнаита, но вовремя уходил от какого-либо контакта или просто отворачивался. Нет, былой ненависти к нему я не испытывал. В негодование же приходил только по причине чрезмерной наивности кришнаита, из-за которой тот полагал, будто одними лишь пустыми извинениями может смыть неисчислимые грехи прошлых лет. Для этого необходимо было, как минимум, изобретать машину времени, возвращающая на несколько лет назад и проживать тот отрезок жизни заново. А это, само собой, — невыполнимая задача.

Работа в дивногогорской редакции мне всё больше и больше нравилась, потому что освещать спортивную жизнь родного города для меня было огромнейшим удовольствием, которое ко всему прочему ещё и оплачивалось. А вот постоянные перекусы уже в прямом смысле слова сидели в горле. Вскоре питаться подножным кормом в перерывах мне надоело. Я стал ходить на обед то к бабушке, то к сестре. От этого выигрывали и мой желудок, и скучавшая в одиночестве бабуля, и любившая сладкие подарки племянница, и даже живший у сестры старенький кот, которого, кроме меня, больше никто, судя по всему, не гладил.

В самом начале очередной рабочей недели я отправился на обед к сестре. Увидев висевшую на входной двери квартиры табличку, где крупным шрифтом было напечатано: «Не стучать и не ломиться — спит ребёнок!», понял, что сегодня вручить племяннице упаковку любимых ею пирожных лично не смогу. Это меня слегка расстроило, потому что я любил смотреть, как маленькая непоседа, получая из моих рук какую-нибудь вкуснятину, радостно бежала к своей маме и просила её открыть упаковку.

Пообедав вместе с сестрой, я начал бессмысленно шататься по квартире — от коридора до спальни и обратно. Возвращаться на работу было ещё рановато, а племянница, с которой мне хотелось поиграть, сладко спала в зале и в ближайшие часы полтора-два даже не думала просыпаться.

— Слушай, а я тебе наши последние фотки не показывала? — поинтересовалась сестра, видимо, заметив, что мне скучно.

— Нет. А там разве что-то новенькое появилось?

— Ой, там много всего. Мы почти каждый день фотографируемся. Доча же у нас не по дням, а по часам растёт: сегодня она такая, завтра — уже совсем другая.

— А чего ж ты мне раньше снимки не показывала? — спросил я с укоризной.

— Ты не спрашивал, вот я и не показывала, — равнодушно ответила сестра. — Альбом на маминем диване лежит — возьми, посмотри.

Я взял альбом в руки и, усевшись поудобнее, принялся разглядывать фотографии. Почти на каждой из них красовалась моя племянница. Она и впрямь везде выглядела по-разному: то весёлая, то грустная, то беспомощная, то самостоятельная...

Когда страницы альбома уже заканчивались, мой взгляд примерно на минуту остановился на одном снимке. На нём был запечатлён кришнаит, державший на руках свою внучку и как-то хитро при этом улыбавшийся. Точно так же он улыбался, когда играл со мной в мои детские годы. И тут мне вспомнились слова матери, которая однажды сказала об отношениях моей племяншки и кришнаита так:

«Наша лялечка очень любит дедушку, а дедушка вообще души не чаёт во внученьке».

Памятуя об этом, я покачал головой. Ведь ещё лет семь назад кришнаит открыто заявлял, что именно семья не даёт ему духовно прогрессировать, а ещё, что он уйдёт жить в храм, как только все его дети станут совершеннолетними. Но, судя по фотографии, которая находилась у меня перед глазами, в кришнаитскую обитель он уже точно не рвался.

Ещё одна рабочая неделя подходила к своему экватору. Сразу же из редакции я пошёл к сестре домой, предварительно позвонив ей и спросив, нет ли дома кришнаита. Услышав слово «нет», ответил, что вот-вот приду, и попросил включить электрочайник.

В пороге меня встретила взрослевшая на глазах племянница. Привыкшая к моим маленьким подаркам, она пристально смотрела на меня, надеясь, что дядя опять что-нибудь принёс. Я достал из пакета несколько коробочек сока для малышей и протянул ей. Племяншка, чуть стесняясь и довольная одновременно, тут же побежала на кухню, чтобы поделиться радостью с другими.

— Ма... Ма... Ма... Сёк... — сияла она от счастья.

Вместе с ней заулыбались и мы с сестрой. Через минуту из своей «берлоги» вышла мать, которая, увидев потягивавшую сок внучку, тоже расплылась в улыбке:

— О, кто это тебе такую вкусную штуку принёс?

— Дядя... — на секунду оторвавшись от ручки, ответила малышка и тут же громко затрещалась, наполнив наши сердца особым теплом.

Я решил приготовить себе чаю и потянулся за самой большой кружкой. Сестра предложила немного подождать и нормально поужинать — в духовке доходили до ума картошка с курицей. Я, разумеется, не стал отказываться от столь аппетитного предложения.

В этот момент входная дверь, которую ни мать, ни сестра с мужем практически никогда в дневное время не замыкали, громко хлопнула. Явно кто-то пришёл. Сестра как раз ждала одну из своих подружек, и я подумал, что это была именно она, но...

— А вот и я, — словно пушечный выстрел в мирное время, раздался голос кришнаита.

«Нет, он идёт сюда, — расстроено подумал я. — Только бы не подмазывался, а то сейчас посыплются якобы заинтересованные вопросы, в папочку снова играть начнёт...»

Раздались шаги. Кришнаит завернул на кухню, протянул матери пару пакетов, как показалось, с едой и, ничего у меня не спрашивая, удалился в спальню. Через пару секунд туда же зашла и мама, а сестра повела дочку на горшок. Не успел я вздохнуть с облегчением, как почувствовал, что кто-то дышит мне в спину. Это был он. Кришнаит, стоя в проходе между кухней и спальней, смотрел на экран телевизора, а не на меня, но всё же осмелился заговорить:

— Здорово, сын! Как у тебя дела?

На считанные мгновения он повернулся в мою сторону. Его глаза как-то вопрошающе сверкнули. Такие взгляды я нередко замечал под Новый год у детей, когда они с нетерпением ждут, чего же там добрый Дедушка Мороз достанет из своего волшебного мешка, и примерно так же несколько минут назад на меня смотрела племянница. Но в тот момент подобный взгляд меня просто взбесил.

— Нет, это уже предел всему! — не вытерпел я, заметно повысив голос. — Тебя, кажется, просили держаться от меня подальше? Тебя просили не искать со мной встречи? Тебя просили со мной не разговаривать? Тебя просили забыть обо мне? Так вот — забудь!!! Не суй мне свою позорную клешню! Не здоровайся со мной, как ни в чём не бывало! Не спрашивай у меня ничего! Ни-че-го!

Кришнаит напряжённо улыбнулся и, к моему удивлению, ничего не проронив в ответ, вновь зашёл в спальню. Я хотел ещё много всего высказать вдогонку, но, почувствовав какую-то необъяснимую боль в животе, вышел из кухни в коридор. Дойдя до зала, судорожно развернулся и скрылся в ванной комнате.

Аппетит и вообще желание находиться в этой квартире у меня пропали. Я, сказав сестре, что лучше уж поеду домой, пошёл обуваться. Почти вся злость к тому моменту уже испарилась, а вот самочувствие никак не улучшалось. Я думал только о том, как бы поскорее приехать домой и лечь спать. Хотелось тишины и покоя. Сестра вместе со своей прелестной дочуркой помахали мне вслед, и я поспешил на остановку.

Минут через сорок моё скромное желание исполнилось. Я оказался в милой сердцу квартире, принял успокоительный душ, включил радио, завёл будильник на полвосьмого и, довольный, завалился в кровать в предвкушении дебютного для себя хоккейного турнира, который должен был пройти на следующие сутки после моего пробуждения.

В ту морозную ночь, двадцать второго февраля, меня разбудила одна из мелодий сотового телефона. Спросонья приглядевшись к экрану, я увидел, что звонит мама, хотя времени было ещё только четыре часа с небольшим. Первое, что пришло мне в голову: «Совсем обезумела, старуха!» Абсолютно не понимая, чего она хочет от меня в такое время, я нажал на кнопку соединения и недовольно пробурчал:

— Алло! Ты с дуба рухнула — трезвонишь по ночам?!

В ответ послышалось всхлипывание.

— Сыночек... — кое-как выдавила мать из себя, тут же заохав.

— Ну что?! — пробасил я, по-прежнему недоумевая, зачем было звонить среди ночи.

— Как проснёшься, приезжай ко мне, сыночка, хоть немного меня поддержишь, ладно? — говорила она сквозь слёзы.

— Что случилось? — насторожился я, но всё ещё не воспринимал её плач всерьёз.

— Папка умер...

На несколько секунд я словно сам умер. Протерев ладонью глаза, которые никак не хотели проспать в такое время, неуверенно переспросил:

— Как так умер?

— Ну, как люди умирают? — продолжала причитать она.

В тот момент мне казалось, будто у матери случился ночной «заскок», который можно было отнести к необычному проявлению лунатизма.

— Приезжай, ладно? — прервал мои мысли жалобный голос.

— Хорошо, — сдавленно ответил я, всё ещё сомневаясь, могло ли подобное произойти на самом деле, — часов в девять буду.

Связь прервалась. Я отложил телефон на табуретку, которая обычно стояла рядом с кроватью, и повернулся на спину. Сон как рукой сняло. Я лежал в таком положении около часа и всё это время думал, думал, думал...

«Правда или неправда? — раздирали меня мысли. — Если неправда, то зачем мать такую глупость сделала? Хотела меня проверить? Стоп, стоп, стоп... Какая, к чёрту, проверка? Что ещё за глупости?... Может, действительно, просто какой-нибудь сон увидела и, сама того не осознавая, мне позвонила? Или... Или всё-таки она... Хотя нет. Господи, неужели и впрямь?... Неужели он умер? Но как?! Почему? В ванной утонул, что ли? С кровати упал? На острое напоролся? Бред какой-то!.. А хотя... Хотя какая, в сущности, разница? Помер — значит, судьба у него такая. «Откришнаитил» ты своё, папаша... Впрочем, чему радоваться-то? Ведь теперь я ему ничего не докажу... Он не поймёт... Почему так рано-то...? Да что за чертовщина на меня свалилась?! Нет! Нет! Всё, спокойно. Никто не умер. Это нереально. Мать какую-то чушь нагородила. Буду спать. Идёт всё в баню!»

Я перевёл стрелку звонка будильника на полчаса раньше обычного, дабы сразу после пробуждения отправить sms-сообщение заместителю редактора. Сообщения о том, что на неопределённое время опоздаю на работу по семейным обстоятельствам.

Семь часов утра. Краткое, но содержательное сообщение на номер зама. Большая кружка чая. Переполненный автобус. И вот я уже в трёх минутах ходьбы от места назначения. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, не испытывал никаких чувств. Вообще никаких. Входная дверь была открыта. Я разулся и пошёл на кухню, где уже находилось несколько родственников. Одни из них с трудом пытались сохранять спокойствие, другие — тяжело дышали и вытирали слёзы.

«Господи, это правда...» — уже несколько испуганно подумал я.

Мой взгляд плавно перенёсся внутрь спальни. Там на разложенном диване лежал батя. Точнее,

его безжизненное тело. Я не вздрогнул и не отвернулся, а, наоборот, просто смотрел в одну точку безо всяких эмоций. Мои зрачки заметно расширились, перед глазами замелькали различные по своему содержанию микросюжеты с частотой несколько десятков картинок в секунду. Какой-то связи между ними я не видел и не мог видеть — это как смотреть видеозапись на быстрой перемотке. В себя пришёл, когда меня слегка подтолкнули в бок.

— Извиняюсь, можно пройти? — раздался голос за спиной.

Я сделал шаг в сторону, при этом ни на секунду не отрывая взгляда от покойника.

— А как он умер? — спросил кто-то у мамы, выбрав для этого не самое подходящее время и место.

— Уснул и не проснулся, — едва шевеля губами, ответила она. — Ночью начал то ли храпеть, то ли задыхаться. Я слегка потрясла его — не прекращает. Спрашиваю, всё ли в порядке, а он резко успокоился и вообще перестал звуки издавать. Толкала его, толкала... Бесплезно — ноль внимания. Я перепугалась. Потом как закричу на весь дом...

От этих слов у меня, стоявшего в двух шагах от матери, мгновенно мурашки по телу побежали. Это была первая и последняя эмоция, нахлынувшая на меня в тот день.

Немного отдышавшись, мама добавила:

— А ведь он таким довольным спать ложился. С ввучкой поиграл, чаю напился, большой кусок торта перед сном съел. Ещё один кусок на утро оставил. Сказал: «Завтра доем...»

Ненадолго замолчав, мать, с трудом держась на ногах, снова ударилась в слёзы. Народу в квартире постепенно становилось больше, и каждый пришедший пытался хоть как-то утешить вдову. Правда, легче ей от этого не становилось.

— Сыночка, зачем же он двадцать второго числа умер? — продолжала рыдать мама, рухнув всем своим весом мне на плечо. — Ведь это же твоё любимое число...

Этому странному вопросу я не придавал особого значения. Мою голову наполняли куда более скверные мысли, суть которых сводилась примерно к одному: я не успел, я не доказал, он не узнает, он не поймёт...

— Сынок, хотя бы мёртвого его прости... — не унималась мама.

— Прости его, пожалуйста, — поддержала бабушка, неловко обхватив мою ладонь обеими руками. — Теперь уже всё равно никому ничего не докажешь. Прости его... Прости... Ему сейчас это очень нужно.

— Я... Я и так... Я уже... — неуверенно промямлил я, снова уставившись в одну точку.

В тот момент в спальню зашли двое кришнаитов и муж сестры. Завернув мёртвое тело в простыню, они с большим трудом подняли его и понесли к выходу. Труп необходимо было доставить в морг, в стенах которого через несколько дней должно было состояться прощание с покойным. А сразу же вслед за этим кришнаиты должны были отвезти труп в один из сибирских крематориев: при жизни батя не единожды наказывал

преданным сжечь его тело после смерти и развеять прах по священной индийской земле. Все родственники, за исключением исповедовавшего православие братишки, с пониманием отнеслись к воле умершего. Об отпевании даже речи не шло.

На работе я появился только после обеда. Коллеги, уже знавшие о том, что случилось ночью, пытались хоть как-то меня поддержать, хотя с виду я напоминал себя обычного. Мне сложно было сориентироваться, как же реагировать на все эти соболезнования, и я просто кивал головой.

Чуть позже мне захотелось как можно скорее попасть к себе домой, дабы не видеть и не слышать никого и ничего. Причиной тому было полнейшее непонимание всего того, что происходит вокруг меня.

К счастью, никто в тот день не требовал от меня сдачи каких-либо материалов. Я около трёх часов тупо просидел перед компьютером, не написав ни строчки. На многочисленные вопросы о своём самочувствии отвечал коротко и вполне ясно: «Да нормально всё». Каким же это самочувствие было на самом деле, даже я толком не сумел бы объяснить...

Дома я около пяти часов кряду только ел и слушал музыку. Несколько чашек кофе со сливками, полкило мороженого и банка персикового компота, а также разношёрстное сочетание композиций «Def Leppard», «Pet Shop Boys», «Van Halen» и «Eros Ramazzotti» разбудили во мне доселе неизведанные желания и ощущения. Это можно было сравнить с чувством повторного рождения.

Лечь спать решил в одиннадцать вечера, хотя обычно укладывался за полночь...

...Я увидел себя, пятилетнего шалопая, на ледовом катке той самой хоккейной коробки, где прошли, пожалуй, лучшие годы моей жизни — моё беззаботное детство.

«Пап, смотри, я качусь. Сам качусь, представляешь?»

«Пока ты ещё не катишься, а только ходишь, — шутил батя. — Точнее, кувыркаешься».

«Ничего я не кувыркаюсь. Скоро ещё лучше кататься научусь, вот увидишь».

«Научись, научись... Лучше под ноги смотри, запинашка».

«Сам ты запинашка», — ворчал я.

«Ну, мне до тебя, естественно, далеко. Ты же у нас Уэйн Гретцки... — подкалывал меня отец. — Вот, опять завалился. Давай руку, звезда».

«Уйди. Я сам встану».

Батя смотрел на мои старания и не переставал искренне улыбаться. Я же, не успев подняться со льда, снова приземлился на пятую точку. В то же мгновение мой взгляд перенёсся с порезанного коньками ледяного покрова на табуретку возле кровати...

Как оказалось, это был всего лишь сон, о чём свидетельствовал так некстати запиликавший будильник.

Причину смерти отца, не дожившего до своего пятидесятилетнего юбилея чуть меньше года, врачи так и не смогли установить. Версии высказывались самые разные — от возникновения тромба

до совершенно случайной остановки сердца. Некоторые из моих знакомых вообще полагали, будто батя свёл себя в могилу сам, причиной чему могли послужить неисчислимые посты, неправильное питание и, самое главное, ужасающее по своей сути осознание того, что дорожка, выбранная им с десятком лет тому назад, завела в тупик.

До меня же, наконец, дошло, почему отец однажды променял материальный мир на мир духовный, пусть даже и на жалкое его подобие. Отец всегда старался добиваться правды, любил порядок во всём без исключения и ни при каких обстоятельствах не желал терпеть любого, даже малейшего, проявления равнодушия, лицемерия, фальши и произвола — всего того, что процветало, процветает и будет процветать вокруг каждого из нас. Всего того, что нынче неопишимо напрягает и меня самого.

Отец, обеспокоенный будущим дивногорской молодёжи, на протяжении долгих лет понемногу поднимал хоккей в городе с колен, но делал это в одиночку, безуспешно пытаясь добиться понимания и поддержки власть предержащих. В итоге батя лишь попусту растратил свои нервы и, вдобавок ко всему, заработал грыжу от ежедневного физического перенапряжения. А когда твои товарищи раз за разом беспричинно не выполняют своих обещаний, завистники всячески пытаются буквально на корню обрубить твои благие начинания, а остальные молча отсиживаются в стороне, — гораздо проще отказаться от всего на свете, нежели продолжать попытки хоть как-то изменить окружающий мир. Мир, где каждый живёт в своей наглухо закупоренной раковине, ничуть не задумываясь о тех, кто рядом.

Теперь меня уже не удивляет то, что отец, жутко устав от царившей вокруг несправедливости, не особо раздумывая, уцепился за брошенный ему из «другого мира» спасательный круг. Конечно, можно было просто закрывать на всё глаза и продолжать жить, как раньше, ведь именно так поступает подавляющее большинство людей. Но отцу этот жалкий принцип — принцип невмешательства — был сам по себе противен. Так же, как и мне.

Понял я и истинную причину зарождения нашего с батей конфликта. Открыв новый для себя мир, отец сильно нуждался в понимании со стороны родных. Я, тогда совсем ещё молодой и не разбившийся в жизни пацан, попросту не мог этого сделать. Это и надломило батю окончательно. Он никак не ожидал того, что даже родной сын не захочет поддержать его в неравной борьбе с человеческим миром, постепенно тонущим в собственном дерьме...

Через день после смерти отца в Дивногорске должен был состояться ежегодный краевой хоккейный турнир памяти трёх наших выдающихся земляков-спортсменов. Приехав в город чуть

раньше запланированного времени, я намеревался сообщить всем бывшим батиним друзьям, коих среди хоккеистов насчитывалось немало, о его вчерашней кончине. Турнир, в котором отец в конце девяностых годов сам несколько раз принимал участие, всего лишь на сутки символически был переименован в «турнир памяти четырёх». Естественно, наша команда просто обязана была побеждать.

Болельщиков на трибуны пришло непривычно много для города, который около десятка лет назад потерял свой хоккейный статус. Все собравшиеся горячо поддерживали нашу команду, и это не могло не радовать. Меня огорчило только то, что лучший друг моего детства, днём ранее вроде как сожалевавший о смерти своего бывшего тренера и едва ли не поклявшийся принять участие в турнире, так и не сдержал обещания, сославшись... на семнадцатиградусную «холодрыгу». После столь сомнительной трактовки я серьёзно изменил своё отношение к этому человеку. Правда, чуть позже. А тогда все мои мысли были полностью сконцентрированы на предстоявших ледовых баталиях.

— Давай, не подкачай сегодня, — напутствовал меня перед стартовой игрой один из друзей, доставая из внутреннего кармана пуховика маленькую чекушку коньяка. — Батя у тебя хорошим мужиком был. Ну, земля ему — пухом...

Вплоть до старта того зимнего сезона я на протяжении трёх лет не вставал на коньки. На сей же раз, выйдя на лёд, испытывал неопишемое удовольствие от хоккея. От каждого игрового момента. От одной только мысли, что батя мог бы, как и прежде, стоять сейчас за бортиком и после каждого забитого мною гола делиться радостью с болельщиками, говоря: «Это мой сын».

Выиграв у красноярской любительской команды — 6:3, а затем и у хоккеистов из посёлка Берёзовка — 3:1, сборная Дивногорска, на радость собравшейся публике, заняла первое место. Меня почему-то признали лучшим игроком турнира, а мужики, у которых я ещё десять лет тому назад воровал деньги, не скупилась на похвалы.

Я же посвятил нашу общую победу своему отцу. Тому, кто на долгие годы заразил меня любовью к хоккею и спорту вообще. Тому, с кем я проводил практически всё своё время, пускай даже всего лишь до четырнадцатилетнего возраста. Тому, кто позволил мне, сам этого толком не понимая, вырасти настоящим человеком. Тому, на кого я похож.

Я простил тебя, отец! Простишь ли ты меня?..

Смерть, оказывается, имеет свойство не только разлучать людей, но и сближать их. В том числе, сближать повторно. Однако не доведи Господь кому-то ещё сблизиться с родным человеком точно так же. Семейное счастье — как хрусталь. Разобьётся — уже не склеишь осколков. Что имеем — не храним, потерявши — плачем...

Дарья Крапоткина

Астения

Вернуть те дни

Ночь. Темнота. Тёплый ветер снаружи. Вокруг большие деревья. Между деревьями — погасшие очертания домов. Над ними — белые звёзды и белесые бестелесные облака. Открыто окно. Я сижу на табуретке и всматриваюсь в далёкие чёрные слои, пытаюсь угадать в них предметы.

Нет никого. Иногда чирикают и утихают сверчки. Где-то ухнет в черноту непонятный звук. Внизу, на первом этаже поёт из приёмника японка.

В моих руках книга. Пробегая глазами по предложениям, я вижу картинки: мою, книжных людей и писателя. Они смешиваются.

Эти ощущения добавляют ночным фигурам придуманные свойства и конструкции. Фигуры оживляются, меняют форму, цвет, запах. Теперь от них веет непонятным холодом. У них своя жизнь и они чужие. Страшно.

Убаюкивающая спокойная уверенность, что меня никто не увидит — моя. Я ею владею. Я могу сидеть здесь всю ночь. Я хочу. И я сижу.

Наутро, свежее, росяное, я просыпаюсь с кричащими птицами и воздухом, который, пролетая через окно, леденит мои голые ноги. Я уже на кровати. А на полу, рядом с моей рукой, — открытая помятая книга.

Я поднимаюсь, ем, смотрю телевизор, пластаюсь по диванам, играю в пасьянс, ворую из буфетов еду — и жду следующей ночи.

Ветки

Ветки тянутся
вверх в вышину.
Вьются верёвками,
верят всему —
Ветер качает их
вьюга трещит
Вензелем, врезанным
в дерева щит.

Астения

Днём существовать — ещё ничего. Люди спуют вокруг, и всем чего-то надо. Среди них встречаются разные: нудные и интересные. Но вся их куча целиком ожесточённо требует Витиного внимания, поэтому ему почти некогда отрывать и посмотреть себе внутрь, на то, что там копошится.

Зато вечером, и пуще ночью, наружный мир исчезает, оставляет Витю в одиночестве, а Витя в нём медленно топнет. Кишащие, чумные мысли хватают его острыми слюнявыми зубами, плотно, облезленно делят кусочки его и так небольшой души между собой.

Он же, как сумасшедший, разговаривает с какой: «Хочешь? На! Бери и рви! Давай, вот здесь!

Лучший ломоть отнимаю! Впрочем, все они давно протухли». В сумеречном мраке, ровно как и в зыбкой предрассветной глуши, не часто слышит он или расчлняет свои беседы, но, абсолютно на это не смотря, каждую ночь неукоснительно и дотошно их с собой ведёт.

Днём можно притвориться, что раздражают тебя разнообразные друзья, знакомые, прохожие, — не слушают, не понимают, разочаровывают и далее. Можно свалить на них всё своё тихое, уступчивое негодование; за вялым, предположительно полезным взаимодействием с ними — прятаться, скрывая маленькую и испуганную мысль о том, что на самом деле ты их всех очень хочешь любить. Платишь за такое постоянное убежище не много: светским терпением к их невнятным и неразличимым недостаткам, ярко выраженной, а лучше весёлой, доброжелательностью и, конечно, полной душевной открытостью — для конспирации. Идеально, если при всём этом ты располагаешь гибким чувством юмора, которое тебя беспрекословно послушается.

Но ночью последняя даже тень людская улетучивается. Плоское Витино недовольство собой становится очевидным. И укрыться ему нигде.

Витя — большой, но ему всё равно снятся кошмары. Даже когда он не спит.

Чердак

На крыше бывает холодно. Но чаще всего — печёт солнце и дует сильный ветер — так, что закрученные ветки деревьев, трепеща, наклоняются и бьют по карнизу чердачного окна. Зимой в стекло втыкаются острые древесные штыри — во всё остальное время к нему липнет их мелкая зелень.

Вечная сырость наперегонки с окаменевшей плесенью обволакивают мокрой пылью и чем-то болотным общим большой запоминающийся запах, под черепицей заполняющий каждую полость. Заливает дождик, продалбливает себе отверстия в крыше, на него гулким шёпотом отзываются пустые, не заросшие мохом углы. Когда прячется солнце, и в воздух вживается тьма, сквозь странные узоры берёзовых и тополиных ветвей начинает щуриться ещё светящееся небо.

На природе

Голыми руками сейчас я возьму и схвачу это дерево за ветку. Я сломаю его, чтобы оно больше не гнулось так гибко и бесхарактерно прямо перед моим окном. Когда-то должно оно надломиться и треснуть. Громко. Больно. Чтобы смола потом облила весь заржавело — зелёный мох у него под ногами. Вот я уже иду. Вот трогаю пальцами сухую древесную кору. Вот я обхватил маленькие

бугорки и трещинки — они скребут мои ладони и беспорядочно разбегаются по всему дереву. Берёзовая ветка качнулась. Она указывает на большое серое облако, которое на секунду застыло в виде чьего-то крючковатого носа. Ладно, я передумал. Пускай гнётся дерево дальше, если ему так хочется.

Балкон

Втроём. Сидим и смотрим на балкон. Он леденеет в зимнем воздухе, от него по комнате плывёт осязаемый, почти острый пар. Кто-то из нас говорит. Фиолетовая атмосфера вокруг уличных фонарей перебирается в нашу комнату и запирает кислород в лёгких. Заговорщически подмигивает снег. Проскользнуло несколько мгновений, и что-то изменилось. Мы замолчали. Наверное,

у нас заморозило внутренние потоки — все мысли и все стремления их высказать или показать в действии. Затаив дыхание, мы смотрим на застывшие ручейки. Оказалось, они похожи на морозные крючки со стекла или на ледяные скульптуры. Но на них нельзя долго смотреть. От их жгучего холода больно, и они тают оттого, что человек так близко. Холодная напряжённость и воздушная несвобода всё ближе и ближе подталкивают нас друг к другу. Чтобы сгладить простужающее действие, мы дышим взглядами, тёплыми, как домашний пирог, или пушистый серый плед, или кусочек солнца из-под туч после дождя. Завороженные лица светлеют, глаза проясняются, исчезает в голове серебро — сиреневая дымка. Надо закрыть балкон и поговорить о том, что мы видели.

Артём Задорин Недомолвок больше нет



После шумной вечеринки
Поскорее бы уснуть.
С неба падали снежинки,
Но не в снеге, правда, суть.
Мы с тобою в этот вечер
Объяснились тет-а-тет.
Нам обоим стало легче,
Недомолвок больше нет.
Мы с тобою шли в потёмках
По проспекту при луне.
Говорил тебе негромко:
— Ты безразлична мне.
Ты, как Солнце во Вселенной,
Излучаешь теплоту.
Знай, моя любовь нетленна.
Говорю начистоту.
Ты — хорошая невеста,
У меня сомнений нет.
Я хочу с тобою вместе
Провести остаток лет.
Вопреки недостоверным
Заверениям подруг
Я тебе останусь верным,
Если не разлюбишь вдруг.

Лицемер

Долгий путь по дороге обмана
Был проделан одним богачом.
От наличности рвутся карманы
В настоящее время. Причём
Этот путь был усеян костями
Конкурентов по тёмным делам.
И поэтому свечи горстями
Покупает при входе в храм.

«Собака бывает кусачей...»

Не накормил мужик бульдога,
И рассердился злобный пёс:
Он мужику вцепился в ногу,
Чтоб тот пожрать ему принёс.
Не знала глупая собака
О том, что в нищенской стране
За власть идёт большая драка,
А люди по уши в г...не.
Собачий корм не по карману
Собаководам стал теперь.
Мужик помазал йодом рану
И псину выставил за дверь.

Максим Пушкарёв Я не один...

Пошлость

Из лица пробиваются волосы
Жёсткие, как пружины.
На лице разлинованы полосы,
Молодой, а морщины.
Я, мужчина.

Сердце просит прислушаться к разуму
Бьёт по костям колюче.
Я топлю эту мышцу заразную
В виски на всякий случай.
Не мучает.

Люди в пробках часами торопятся
Я отдыхаю в шуме
В окружающей междуусобице
Прячусь в своём костюме.
Я, безумец.

Нервы супятся — лица не молоды.
Страхи в коктейле с риском.
Это кто? Бегу, чтобы сбрызнуть бороду.
Вместо лосьона — виски.
Пошло, низко...

Письмо близким

Мне говорят, что блеск в глазах погас.
Да и улыбка стала не живою.
Мне говорят, что в дымке скользких фраз
Я не один — меня как будто двое.

Мне говорят, что тот привычный смех,
Что был светлее солнечного диска,
Цена за ожидаемый успех
И за заметные морщины близких.

Мне говорят, что молод, мол, ещё,
И каждый учит жить в своей общине.
Я каждый день по-новому крещён,
И каждый день чту новые святыни.

Мне говорят, а я, закрыв глаза,
С улыбкой собираю пазлы детства.
Простите, что стал взрослым, не сказав.
Теперь не знаю, а куда же деться?

Татьяна Недбайлова Осенний вальс

В осеннем вальсе кружат яркие цветы,
Шепчу тебе: «Запомни это лето...»
Ты, сжав в ладонях жёлтые листья,
Молчишь — я и не жду ответа.

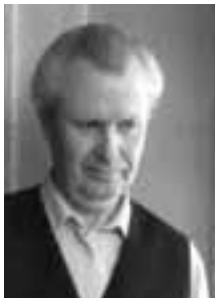
Устало солнце гладит по щеке,
И замер сад в тоскливом ожиданье.
Моя рука ещё в твоей руке,
Но всё уже — лишь признак расставанья.

Бежит по тротуару глупый дождь,
Притворные улыбки больно ранят,
Ведь оба знаем — чувству не солжешь...
Вокзал, перрон, твой поезд, «до свиданья».

И бессердечно рельсы застучат,
И в такт им сердце — так же бессердечно,
А мысли вслед за поездом летят:
«Казалось нам, что счастье будет вечно!»

Укрылся снегом одинокий сад...
Пишу тебе: «Ты помнишь наше лето?!»
Весенние капли зазвенят...
Уверена — я не дождусь ответа.

Закрой ладонью тёплой глаза,
Прислушайся к шагам, взглядишь в отсветы.
Где край земли целуют небеса,
Прошу тебя, ты вспомни наше лето!



Владимир Шапко

Долгие лета

или Русские пляски

Антонина Лукина. Год 1947-ой

Его привёл Коля-писатель. И он сразу ей понравился. Новосёлов. Пожилой, правда. Но волосы... Даже удивительно. Густые, лучистые. Так и бьют белым костром. Даже не верится, что так бывает. «Ну, вы сидите теперь, сидите, а я — пойду» — всё время придвигался к ним, облакачиваясь на одну свою руку, Коля. Но сам всё не уходил. Словно бы боялся оставить их одних. Не хотел всё пустить на самотёк. В забывчивости кидал в рот рюмки. Снова облакачивался: «Ну, вы тут... а я...» Пошёл, наконец. В гимнастёрке, без руки, поджатый, обречённый на один бок. В дверях цапнулся за косяк. Улыбнулся пьяненько, не хотел отпустить комнату за собой. Махнул рукой, оступился в коридор... Антонина спохватилась: «Вы закусывайте, закусывайте, Константин Иванович!» — «Спасибо, Тонечка! Я — ем!» Женат, правда. Но так где сейчас неженатые... «Тонька, горит!» — прилетело из коридора. «О-оох, извините, Константин Иванович. Я — сейчас». — «Ничего, ничего, Тонечка, действуйте!..»

Они стояли спиной к покинутой входной двери двухэтажного дома. Как ждущие выстрела, как приговорённые. Ворочалась впереди глухая октябрьская темень... Антонина повернулась. Волосы его светились... «Что же вы, Константин Иванович?..» — «Да знаешь, Тоня... я ведь женат... если честно сказать...» — «Знаю», — согласно и твёрдо сказала Антонина, сглотив комок. И опять спросила: «Что же вы, а?..»

Он спал без храпа. Как ангел. А Антонине всё не верилось, что у мужчины могут быть такие лучистые волосы.

Приезжал он в Бирск и ещё несколько раз.

Весной 48-го Антонина забеременела.

Ходила на работу в райисполком до последнего. Когда печатала — сильно ломило поясницу. Примерялась, подкладывала папки. Чтоб выше как-то было. Выше. Садилась, наконец. Живот, казалось ей, уже подлез к самому горлу, а оголённые руки были худы, беспомощны, малокровны. Как не её. Как плети чьи-то...

Он появился в городке в октябре, в золотой ветреный денёк. Когда Антонина увидела его — прикрывающую в Приёмную дверь — сердце её упало. А он смотрел на неё во все глаза. Охватывал всю, разом.

Он загнанно дышал, весь взмок. Чудные волосы его после шляпы замаяло и поставило колтуном. Но глаза сияли. И уже стеснялись, не могли остановиться ни на чём. Он толкся возле стола, прижимая шляпу к груди. «Тоня, я ведь теперь

собралом... Добился... Ты извини... Может, тебе неприятно... Понимаешь?... Часто буду бывать... И в Мишкино, и здесь...»

Они словно быстро несли вместе Антонинин большой живот. Они пугливо ловили глаза встречных. Они удалялись в мокрое золото аллеи — как в икону.

Дома он осторожно держал руку на высоком, твёрдом животе и сквозь тонкий ситец слушал вспухающие и тут же прячущиеся пошевеливания, толчки. Этакое остороженькое ляганье. «Ах ты чертёнок!» Крутил головой, дух переводя. Снова улыбочиво вслушивался, ожидал, заперев дыхание.

А Антонина, на кровати, откинувшись головой к стенке, плакала тихонько, промокала солёным платочком глаза и нос. И Иван-царевич с коврика на стене глядел на неё очами прямо-таки отборными...

Лукина Антонина

и Константин Иванович Новосёлов

«...Не нужно ничего, Константин Иванович, незачем, незачем это, незачем!» — твердила и твердила Антонина, хмурясь, еле сдерживая себя. Зачем-то толкла на коленях молчащего Сашку. А тот выпускал грудь на время, недоуменно вслушивался в тряску и снова, поспешно выискав, хватал грудь. «Но как же так, Тоня? Человеку четвёртый месяц пошёл, а ты...» Константин Иванович ходил по комнате, взволнованный, потный. На нём был выходной костюм, привезённый специально с собой и почищенный сегодня утром бензином, взятым у Коли-писателя. «Тоня, ведь я хочу этого, я. Сам... Неужто откажешь мне в этом?» — «Сама я! Сама! — чуть не кричала Антонина. — Незачем!.. Не запишут там, понимаете! Не запишут!..» — «Ну уж не-ет, извини-ите. Нет такого права... Отец я, в конце концов, или нет?»

Тоня с полными слёз глазами смотрела на него, покачивая головой. Смотрела, как на сына, — бесталанного, жалконького. Отворачивалась, кусала губы, плакала. Он понял, что уговорил, обрадовался: «Давай, давай, Тонечка, докармливай — и одевать Сашку, да потеплей. И пошли, пошли, до конца работы успеем» — «Вы бы тогда хоть ордена надели... Раз уж так...» — «Надену, надену. Не ордена, правда. Вот планка моя. Орденская... Прихватил...»

Тоня головой потянулась к нему, он бросился, прижал, гладил мокрое лицо...

В плоской раскинувшейся комнате, похожей на вечернее пустоватое правление колхоза, холодной и продуваемой настолько, что даже стёкла окон

не принимали морозцу и зябли чистенько, нетронуто — у бревенчатой стены работали две делопроизводительницы. От одежд и холода смурные и встрёпанные, как кочерыжки. Вдоль простенков и окон, запущенные для тепла, как на тихих посиделках, стеснялись посетители. Были тут и мамы с младенцами, и старухи, завёрнутые в чёрное, и родня с женихом и невестой.

К столам подбегала девчонка лет шестнадцати. В дедовых пимах, в бабкиной кацавейке — растрёпанная. Быстро убирала, подкладывала женщинам такие же, как они, встрёпанные книги. Канцелярские. Женщины, взбадривая себя, подстёгиваясь, постоянно вскрикивали: «Жилкина — метрическую!.. Жилкина — смерть!.. Жилкина — на брачную!» (Казнь, что ли?)

— Следующий! — стегало то от одного, то от другого стола. И к столам торопливо подходили, присаживались на краешек стула и сразу начинали или плакать, или показывать младенца, или стоять пионом и ромашкой в трепетно радующемся букетике родни.

— Следующий!

И опять быстрая пересменка у стола, и: или слёзы в горький платок, или младенец, или пион и ромашка. Жилкина металась, меняла, подкладывала...

Раздевшись в ледяном коридоре, быстро накидав копну чудных своих волос, одёрнув пиджак с орденской колодкой, Константин Иванович принял младенца и сказал Антонине «сиди!» Широко распахнул дверь, как сделал глубокий вдох, и с сыном на руках пошагал в комнату. И вошёл в неё — точно отчаянный вестник, как всё разъяряющий момент пьесы, после которого зрителям только ахнуть: вон в чём дело было, оказывается! Вот да-а...

— Почему дед принёс? Где родители? — строго спросила у девчонки одна из кочерыжек. Как будто — та в ответе. Жилкина, раскрыв рот, воззрилась на Константина Ивановича: да, почему?

— А я и есть родитель! А я и есть отец! — по-прежнему отчаянно объявлял Константин Иванович. — А это... и есть мой сын! — Он поднял, повернул всем свёрток, в окошечко которого виднелся сердито спящий Сашка. — Так что... прошу, как положено!

Он прошёл к столу. Без приглашения сел. Поправил в кружевной дырке. Вытарашенным глазом Сашке подмигнул.

— Где... мамаша? — поперхнулась делопроизводительница.

— Там... — мотнул головой Константин Иванович. — В коридоре... Позовите...

— Жилкина!

Жилкина побежала.

Антонина шла к столу, роняя, подхватывая одежду Константина Ивановича. Шапку его, полупальто, шарф. И так и села на стул с ворохом одежды.

— Вот... она... — опять мотнул головой Константин Иванович. Точно в сторону просто присоседившихся. Которых пока что приходилось терпеть.

Выкинул на стол паспорта, справку из роддома. Небрежно. Будто козырными раскрыл.

— Так и запишите: отец — Новосёлов Константин Иванович!.. Ну и её... — снова моток головой в сторону, — припишите... — И затолок заоравшего Сашку. А Антонина смотрела на него и только чуть руками над ворохом одежды подымала: каков!

Делопроизводительница... словно с удовлетворением вернулась в себя (всё понятно), выползла из одежд на стол, приготовилась писать и с выглаженностью змеи в движениях... спросила:

— Как назовём... младенчика?

— Как... Сашкой его зовут... Давно уже... — Константин Иванович хмурился. — Александром Константиновичем... Так и запишите!..

Детская коляска

Вытирая влажной тряпкой на подоконнике, Антонина глянула на улицу и сердце её упало: Константин Иванович ворочал в канаве, выталкивал на тротуар здоровенную детскую коляску. Прямотаки колесницу. Сваренную из листового железа. С чугунными колёсами. Колесница капризничала, упёршись передним колесом в кирпич. Константин Иванович разворачивал её, выдёргивал.

Громыхал с нею на лестнице. Ввалил её, наконец, через порог, болтающуюся.

— Вот, Тоня, — Сашке... Здравствуй, родная...

— Да как вы её в автобус-то втащили?!

— Да уж втащил... Хорошая коляска. Надёжная... — Колесница от перенесённого беспокойства и напряжения вздрагивала. В руки она, верно, Константину Ивановичу по-настоящему так и не далась. Ни габаритами своими, ни весом. — Сварщик постарался. Знакомый...

Опробовать её, конечно, мог только Константин Иванович сам.

В коляске на колдобистой мостовой Сашку трясло, подкидывало, трепало, как в лихорадке. Но, перепуганный, он молчал. Два раза был круто обдат пылью от пролетевших грузовиков. И тогда уж с полным основанием заорал. Константин Иванович решил держать ближе к обочине, но и там подкидывало и встряхивало. Пришлось выбирать через канаву на тротуар. А тротуар разве сравнишь с мостовой? Где всё широко, открыто? Где тебя видно за версту? Да ладно, и здесь ничего.

Со сметаной, с творогом, с берестяными ведрами на коромыслах к базару трусил старухи-марийки. В лаптях, в национальных кафтанчиках, подбитых юбками, — узкоплечие, как девчонки.

Сразу окружили коляску, отпихнув Константина Ивановича в сторонку. Смеялись над онемевшим Сашкой, играли ему сохлыми пальцами точно коричневыми погрешками.

Константин Иванович смеялся. Марийки начинали одаривать его, отказывающегося, руки к груди прикладывающего, полбаночкой сметаны. Уже налитой. Кидали жменьку-другую творогу в тряпочку. В чистую. Подвязывали узелком. Пожалиста! И поворачивали ведра и коромысла. И поторапливались дальше. И ноги худые их в высоких шерстяных разноцветных чулках откидывались пружинно назад — по-кобыльи... Константин Иванович вертел в руках баночку, творог, не знал куда деть. Пристроил к Сашке, в коляску. Повёл её дальше.

Ну и, конечно, встретился, наконец, свой, родной, можно сказать, райисполкомовский. Им оказался Конкин. Инструктор Конкин. Словно держал его Константин Иванович, как вышел из дому, на задворках сознания, не пускал на волю, загонял, заталкивал, запинывал обратно. Но вот — выскочил-таки. Освободился. Подходил. Забыто размазав улыбку. Глаза его наторопливались восторжнуться. Будто видели интимное, женское, тайное. Ноги забывали, куда и как ступить...

— И не боишься? А? Жена узнает?... — Стоял. Вывертогубый. Утрированный. Как поцелуй.

— А! — смеясь, махал рукой Константин Иванович. — Бог не выдаст — свинья не съест!

— Ну-ну! Смотри-смотри!..

Конкин спячивался. Конкин уходил, вывернутой своей скользкой улыбкой...

И ещё, и ещё несколько раз, с неделю, выводил, вытаскивал коляску с Сашкой на улицу Константин Иванович. И опять бежали с коромыслами и берестяными вёдрами к базару марийки. И окружали они колесницу, и радовались, и смеялись, и головки их металась над младенцем, как пересохший мак... И оставляли потом отбивающегося отцу баночки и жменьки в чистых тряпочках. И снова бежали дальше к базару, по-лошадиному откидывая ногами назад...

Они вошли в приёмную втроём: сам Чалмышев, Конкин с папкой и незнакомый Антонине мужчина, который сразу со спокойным интересом стал рассматривать Антонину. Точно давно и много был о ней слышан.

Антонина начала подниматься из-за стола. Спорхнул, метнулся под ноги мужчинам белый лист. Чалмышев нагнулся, снял его с пола. Положил обратно на стол. Взял мужчину за локоть, увёл в свой кабинет. Вернулся один. Трудно, тяжело начал объяснять всё Антонине...

— Но почему? За что? В чём он виноват? В чём мы виноваты?!

— Прости, Антонина. Я тут ни при чём... Стукнул кто-то... Видимо, жене... Та — на работу... Сама знаешь, как это бывает...

Конкин-инструктор стоял в сторонке. Раскрытую в руках папку изучал уважительно. Как партитуру жизни. Вывернутые улыбки его стеснялись на лице. Будто окалина. Плюнь и зашипят.

Обратно за Чалмышевым пропадал в двери, спячиваясь, на цыпочках, дверь закрывал от убитой Антонины тихонько, деликатно, нисколько не скрипнув ею.

В пыльнике, ссутулившись, сидел Константин Иванович на табуретке. У ног его разъехалась сетка с привезёнными из Уфы и забытыми сейчас продуктами, где, несмотря ни на что, главенствовал над всем на белой чистой коробке хорошо прикормленный смеющийся младенец.

— ...Ну подумаешь, Тоня. Ну убрали от дела. Ну посадили на письма. Ну билет отберут... Так что — жизнь кончится?... Пошли они все к дьяволу, Тоня... Живём ведь...

Антонина отворачивалась, кусала губы. Взглядывала на него. Взглядывала опять, как на беста-

ланного, жалконького, как на несчастного своего ребёнка, сына. Плакала.

— Ну Тоня... Не надо... Живём ведь... Не надо... Прости...

Ладощками Антонина перехватывала свой натужный стон, сама пугаясь его, раскачивалась, удерживала, не выпускала. Глаза её не могли вместить всё будущее, всё последующее, что будет с ней, что будет с сыном её, что будет с Константином Ивановичем. Мучились, металась глаза, полные слёз.

— Не надо, Тоня... Прошу...

В кровати у стены спящий Сашка сладко плавил, завязывал губками бантики.

Приезды Константина Ивановича к жене и сыну

Над весенним греющим огородом падала первая бабочка. Тяжело побегал Сашка за ней по вспапанному, сдёргивая кепку. Упал, пытаясь зацепить, прихлопнуть. Бабочка взвилась, зашвыряла себя из стороны в сторону высоко. И оставшийся на карачках Сашка, раскрыв рот, смотрел, как она закидывала себя выше, выше и там, на высоте, в безопасности, снова выплывала, падала.

Слышались от двора голоса мамы и тётки Кали. Привычно ныл где-то там понизу Колька. «Ну чего тебе! чего! горе моё!» — вскрикивала тётка Каля и опять переходила на разговор. «Чего тебе, я спрашиваю! Чего!» Голос Кольки ныл давно. Как похороны. «Ы-ы-ы-ы!»

«Ныло!» — сказал Сашка, уже следя за жуком. Чёрный жук-рогач путался в комочках земли. Сашка приложился щекой к тёплым комочкам — вся земля стала в небе. И жук медленно крутил её лапами... Сашка хотел крикнуть Кольку, но позвали в дом. Второй раз уж.

Удвинутые узким пустым столом к залезшему свету окошка, Сашка и Колька ели хлеб, намазанный повидлом. Запивали молоком. Кружки были высокие. Как уши. Удерживали ручки их в кулачках.

С другого конца стола, подпершись ладонями, Антонина и Калерия любовались, сравнивали. Просвеченный Сашкин чуб стоял как лес. Колькина голова стриженная — была стёсанной, пришибленной какой-то. «Зачем остригла-то?» — «Волос слабый... Вон он родитель-то... Одно слово — Шумиха... Чего уж тут?..» — вздыхала скорбно тётка Каля.

Сашка смотрел на стену, на дядю Сашу, своего тёзку и Колькиного отца. Даже на фотографии у него пробеливала лысина в размазавшихся кудрях. И гармошку виновато развернул... «На баб весь волос извёл», — опять вздыхала тётка Каля. Сашка раскрыл рот — как это? Но мать сразу заговорила всё (умеет она это делать!), расспрашивала уже: когда он приедет, гость-то, с Севера, ждут ли его тётка Каля и Колька? И тётка Каля сразу закричала, что на кой чёрт он им сдался, гость этот с Севера! Опять гармошки, сапожки, пляски его! Опять стыдобница на весь город!.. Да пошёл он к чёрту! Да и не ждут они его вовсе. Колька, ведь верно — не ждём?

— Ждём... — виновато взглянул на отца на стенке Колька. Продолжил жевать. Тётя Каля накинулась на Кольку.

— А чиво-о-о? — сразу загундел Колька. — Сама говорила-а.

Может Колька реветь. Мастер. Проревелся. Будто малёк в слёзках — сидит-вздыхает. Прямо жалко смотреть. Тётя Каля его фартуком. Как ляльку. Сморгнулся с облегчением. И дальше жуёт, точно и не было ничего. Может. Чего говорить.

А тётя Каля, опять подпёртая ладошками, говорила уже нараспев:

— Эх, Тонька, дуры мы с тобой, дуры несчастные. Где только таких гостей-кобелей откопали, прости господи! Один на Севере, другой — в соседнем городе...

Сашка видел, как мать сразу нахмурилась. Стала торопить его. Чтоб поставил он, наконец, кружку. Хватит дуть! хватит! — Чтобы идти им домой...

Чубы Сашки и Константина Ивановича были одинаковыми — густо свитыми. Только отца чуб стоял, белым костром бил, чуб Сашки — стремился вперёд, как навес, как крыша сарайки. Когда Калерия видела эти чубы вместе — шли ли те чубы мимо её дома на рыбалку, ходили ли по её огороду — говорила всегда сестре одно и то же — покорное, соглашающееся с Судьбой: «Чего уж... Одна порода... Пермяки...»

Антонина останавливала колоб теста на омуцённой доске. Ждала. «Почему пермяки?»

— Да пермяк он! Пермяк! — нисколько не смущаясь, что Константин Иванович услышит, кричала Калерия. (У Калерии, когда ехала на целину, спёрли в Перми чемодан.) — Неужто не видно? А?..

Антонина подходила, закрывала окошко.

Пельменное тесто попискивало, было готово, но Антонина мяла, мяла, отмахивая лезущую прядь со лба оголённой сильной рукой. Окидывала муюкой колоб. Мяла. Отвернув лицо от сестры...

— Ну ладно уж, Тонька, ладно тебе... — винилась Калерия. Поглядывала в окно.

Ничего не подозревая, чубы покачивались за оградой.

В своём дворе Сашка опять тархтел с кирпичом у крыльца Аллы Романовны. Алла Романовна точно только и ждала, чтоб он затархтел — сразу появлялась на крыльце. С причёской, как с боляющимися собачьими ушами, с выгнутым носиком — натуральный пудель Артемон из Сашкиной детской книжки. Да ещё белые помпоны на тёплых тапочках. «Иди, иди, мальчик! Сколько раз говорить! У своего крыльца играй!» И словно не половичок просто вытряхивала, а Сашку от этого половика отрясала. Как блоху какую. Брезгливо. Капризно.

Упрямый, Сашка отползал чуть. Возил кирпич. Как детство своё, по крайней мере. Стоеросовый — ждал продолжения.

Видела, что ли, мать, слышала ли — тоже выходила. Не глядя на Аллу Романовну, баюкала ступку с пестом. «Саша, иди сюда!» Сашка упрямо пошевеливал кирпичом на том же месте. Он был центром сейчас, точкой, которую, не видя,

просматривали с двух сторон... «Кому сказала!» — «Да пусть играет, пусть! — спешила разрешить Алла Романовна. — Мне разве жалко?.. А хочешь, я тебе конфетку дам? А, Сашенька?..» — «Мальчик не хочет конфетки», — мстительно отвечал Сашка, пробуксовывая кирпичом.

В воротах показывалась близорукая голова Коли-писателя. Мужа Аллы Романовны. Все трое во дворе сразу налаживались своими дорогами: Тоня уходила в подъезд, мельком кивнув Коле; половички зло подхватывались Аллой Романовной и уносились; неизвестно куда забуровил с кирпичом Сашка.

Коля посмеивался. Ничего не понимал. В толстых стёклах очков плавали недоумевающие, словно бы голубые осьминоги. Шёл за своей Аллой в дом, на второй этаж. Однорукий, с подвёрнутым рукавом белой рубашки.

Раза два, когда Аллы Романовны не было дома, Сашка приводил брата Кольку посмотреть, как дядя Коля печатает на машинке. А печатал он — будто дровосеком в жутком лесу просекался. Одной своей — левой рукой. Лицо выражало: не прорубится вот сейчас — всё, погибнет. Лес задвигает. Однако когда прорубался — откидывался от машинки, ерошил светлые волосы, и глаза плавали в очках довольные, умиротворённые. Как к машинке — будто в жуткий лес — и замахались топоры!..

Когда прикуривал, ловко выдёргивал огонь нескольких спичек прямо из кармана. Лицом освещался ребятишкам — как факир в факеле. Таинственно подмигивал. Сашка и Колька уже знали эту шутку — смеялись.

Всегда давал ребятишкам по большой помойтой морковине. (Морковки он ел для глаз. Полно их было у него. Морковок.) Из табачного дыма выводил на воздух, во двор. Сам садился на ступеньки крыльца. Сочинять стихи в огромный блокнот, свесив его с колена. И сочинял он в него — тоже левой рукой!

Коновозчик Мылов, подпрягая, дёргал лошадёнку в оглоблях, косил, как дикой конь. «Ишь, как китаец, пишет, паразит!»

Дядя Коля ему подмигивал. Мылов стегал лошадь так, что удерживался сразу за ворота. Только вохровский картуз промелькивал.

Дядя Коля странно ходил по улицам. Как будто пол проверял. На прочность. Провалится или нет. Но — где-то внутри себя... В таком состоянии часто проходил мимо дома...

С лавки у ворот ссыливал нутрецо и бросал нутрецо Мылов — пьяный: «Порченый, н-назад! Куда пошёл! Н-назад, я тебе приказываю! Вот твои ворота! Марш в свои ворота! Кому сказал!»

Дядя Коля, смеясь, подходил. Приобняв Сашку одной своей рукой, с улыбкой ждал от Мылова ещё чего-нибудь. Этакого же. А? Мылов? Давай! Но Мылов ничего уже не видел. В глазах его, как в капсулах, засела окружающая изломанная жизнь. Был пуст, как небо, околыш вохровского взгромождённого картуза... «Выпил человек маненько, — со смехом уводил во двор Сашку дядя Коля. — Маненько засандалил...»

Приезжал на день-два Константин Иванович, отец Сашки. В такие дни Сашка и Колька могли есть мороженое и пить газировку от пуза.

Каждые десять-пятнадцать минут Сашка коло-тил пяткой в закрытую изнутри дверь. Колька в нетерпении переступал тоже голыми пыльными ножонками рядом.

Открывала всегда мать, запахивая халат, посмеиваясь. С просыпанными волосами — не очень даже узнаваемая Сашкой. И приподымался отец на кровати:

— Что, уже?..

— Да, — радостно кричал Колька. — Мы ещё быстрее можем!..

Мать сразу отворачивалась к окну, то ли давила смех, то ли просто волосы расчёсывала... а отец тянулся за брюками. И тоже вроде укрывался от глаз ребят...

Бежали скорей к мороженому и газировке на углу. Чтобы скорей вернуться...

— Да дайте вы им сразу! — хохотала Антонина с закинувшейся головой, с которой проливались волосы как выкунившийся блёсткий мех. — Сразу! Ха-ха-ха!.. — Но Константин Иванович говорил, что нельзя. Обсчитают. Вышаривал мелочь по карманам. — Ой, не могу! Уморит! — Антонина ходила, со смеху умирала. Дал всё же три рубля. (Старыми.) Мало было мелочи. Но долго наставлял, сколько должно остаться, если, к примеру, по стакану и по мороженому. По одному. Или, к примеру, когда заказываешь по две газировки и мороженому, то должно остаться... «А если с двойным сиропом?» — хитро прищурился Колька. Константин Иванович поворачивался к Антонине. Та падала вообще на стол от хохота... Смеялись за компанию и ребяткиши.

В тесном скученном парке Сашке и Кольке казалось, что они находятся в провальном лесу. Лежали на траве, раскинувшись, смотрели, как деревья подметали небо. Животики вздувало, пучило. Под качающимся шумливым многоли-стьем засыпали.

Константин Иванович тоже уже лупил глаза, готовый провалиться в сон. Антонина, выводя пальчиком, выглаживая на груди его женские извечные, лукавые вензеля, внутренне смеясь этой своей раскрывшейся способности — спрашивала: «Костя, ты в Перми был когда-нибудь?» — «Был. Проездом. А что?» Антонина душила в подушке смех. Ничего не понимая, Константин Ивано-вич подхихикивал только. Дёргал её, дёргал: ну что? что? что такое? «А у тебя там чемодан, слу-чайно, не свистнули? Ха-ха-ха!» — «Какой чемо-дан? Когда?» — «Ой, не могу...».

Покручивал головой муж и, верно, думал, не много ли на сегодня смеху-то. А?..

Подвязанный набитым ватой платком, Колька сидел в кровати грустный, слизкоглазый, как малёк.

— Чего же ты?.. — спросил его Сашка.

— Анхина... — разлепил голос Колька.

Помолчали. Посопели.

— Говорил, — пятое не ешь...

— Да, не надо было...

Взобравшись коленками, стояли столбиками на лавке у стола, рассматривали альбом. С пасмурных листов смотрели родственники. Когда по одному, когда — кучей. Некоторые улыбались. Были тут и цветные открытки. Одна открытка была Сашке незнакома. Новая, тоже цветная.

— Папка прислал, — пояснил Колька. — Ино-земная. Немецкий комический танец — название.

В немецком комическом танце тётенька выста-вилась спиной так, что открылись у неё полоса-тые панталоны. Как в тельняшке руками вниз была тётенька.

— Морские... — с уважением сказал Колька. Имея ввиду панталоны. Точно. И пальчиком гро-зит дяденьке. Будто девочка она. В детском саду выступает. На утреннике.

А дяденька упёр руки в бока. Он — танцует перед тётенькой. Высоко подкидывает голые колени. Он в шляпе с пером, в коротких шта-нишках и толстых гетрах. Он розовый, как боров. В усато-радостных зубах у него — трубочка.

— Он — кто?

— Папаша Куилос.

— А это что у него?

— Это подтяжки Папаши Куилоса.

— А-а... Шкодный, верно?

— Ага. Очень шкодный...

На оборотной стороне открытки явно пьяной рукой было начертано: «Колька! Это — Папаша Куилос и тётка Гретхен. Слушайся их, мерзавец!»

С любовью вставил Колька открытку обратно в прорези листа. Разглядел. Сказал во второй раз: — Папка прислал...

Потом пришла тётя Каля и начала ругать Кольку и далёкого дядю Сашу с его дурацкой открыткой, присланной под пьяную руку.

А вечером — отогнанный, упрямый — опять отползал Сашка с кирпичом от крыльца Аллы Романовны. Кирпич недовольно возил в нейтраль-ной зоне. Прослушивал перелетающее над ним:

...Надо же! Это, говорит, машина у меня! Хи-хи-хи! Какой милый мальчик!..

...Саша, иди сюда!..

...Да пусть играет, пусть! Мне разве жалко! И вообще: какая ты счастливая, Тоня...

...???!...

...Да-да-да! И не спорь! У тебя вон Сашенька есть — такой хороший мальчик. А у меня... Я такая несчастная! Сколько я Коле говорила: Коля, милый, давай заведём ребёночка! Коля, ну прошу тебя! Вот такого, малюсенького, Коля! Прошу!.. Не хочет... Неправда! Коля любит детей...

...А вот и не любит, вот и не любит! Ты не зна-ешь. Сколько раз я ему говорила: Коля, милый, давай заведём...

...Ну, во-первых, детей не заводят...

...???!...

...Заводят голубей, кошек, болонок там раз-ных... Пуделей... Детей рожают, уважаемая Алла Романовна. В муках рожают. Это во-первых. А во-вторых, не Коля не хочет ребёнка, а вы, вы сами не хотите. Не любите вы детей, и в этом всё дело... Вот так! Вы уж извините... Сашка, домой!..

...Хи-хи-хи! Почему-то ты всегда, Тоня, пыта-ешься оскорбить меня. Но я...

... Да будет вам! Невозможно вас оскорбить, — совсем уж лишнее срывалось у Антонины. — Успокойтесь!.. Извините... Сашка, кому сказала!..

А между тем, не слыша, не подозревая даже о скрытой войне под окнами внизу, как ангельчик... как блаженнейший ангельчик, стремился из раскрытых окон к небу застойный Колин голосок, подгалкиваемый туда смеющимися басками Константина Ивановича.

Многие лета, или Русские пляски

В то Сашкино лето свалилось на городок оркестр. Да не какой-нибудь, а — симфонический!.. Запылённые два автобуса, ослабев, дрожали возле Заезжего Дома, а музыканты, бережно выставляя футляры впереди себя, по одному сходили на землю. Теснились, накапливались, нервно оглядывались вокруг. По команде тронулись через дорогу к Дому Заезжих. Шли в футлярах до земли. Как в стаде баранов. Так — лавой — поднимались на крыльцо и заходили в дверь, которую, выдёргивая шпингалеты, испуганно распахивали и потом удерживали две уборщицы и кастелянша.

Двухэтажный старый домишко вздрагивал. Внутри стоял топот ног. Лезли по двум лестницам. В коридоры. По комнатам. (Внезапное у администраторши случилось расстройство желудка, могла улавливать всё только из туалета.) Сразу раскрыли все окна — и устроили своим тромбонам как бы банный день. Баню. Точно с дороги. Трубили на всю округу. Сбежались пацаны. Собачонки уже сидели впереди, крутили внимательными головами, самозабвенно подвывали. Музыканты, отстраненно мыля смычками скрипки, им подмигивали.

По городку сыпали стаями. Как иностранцы. В коротких штанишках, с фотоаппаратами, выставившись высоко из летних платьев. Одурев от сельского воздуха, от солнца — смеялись, баловались. Фотографировали. Обезглавленный собор, где теперь кинотеатр, пыльную замусоренную площадь, где в обломанной трибунке, от перекала, без кошек, орали чёрно коты; тяжёленькие купеческие лабазы, в которых и теперь запрягивались в прохладу и темноту магазинчики.

В сквере заглядывали в сдохший бассейн тощие скрипачки. С лопатками, как с жабрами. Два Папаша Куилова изловили Сашку Новосёлова. Затем фотографировали его. За дикий совершенно чуб и как малолетнего аборигена. Сашка держался за ржавую пипку фонтана. Чуб торчал надо лбом. Как пугач, пышно выстреливший.

Сонный базар взбаламутили. Хватали помидоры, пучки редиски, лука, укропа. Дули у мариек молоко. Хлопали их по плечам: хорошо, хорошо, матка! Яйка, яйка давай! У чуваша-мясника съёрнули с крюка полбарана. Везде пели гимны дешёвизне. Радостные, торопливенькие, тащили полные сумки и сетки к Дому Заезжих.

Двумя же автобусами запрыгали вниз к реке. Купаться.

Им окружили буйками на мелководье. Лягушатник сразу закипел. Вокруг плавали переодетые в тельняшки милиционеры. Отмахивались всёлами от лезущих... Но никто не утонул.

Концерт был назначен на семь часов в Гордк, за сквером рядом с пожаркой. За высоким забором начальник пожарки Меркидома уже с шести втихаря бодрил своих пожарников строем, прежде чем выпустить их наружу. Пожарники прошли все двадцать метров до клуба в полном молчании, как бы с угрозой. Меркидома поторапывался за строем, бодрил, успевал выказывать кулак бойцу, оставленному (брошенному) на каланче. Пригнали и милиционеров на концерт. К семи в зале было не продохнуть.

Домой Сашка прибежал с вытаращенными глазёнками. Бегал по комнате — весь в себе, перепуганный. «Начинают! Начинают! Можно опоздать!» Собираться пришлось отцу. Антонина одевала в выходное сына. «Начинают! Начинают! — всё не унимался тот. — Можно опоздать!»

Узкий тесный зал галдел — как богатое людьми застолье. За полчаса-час все давно освоились, чувствовали себя, как дома: громко переговаривались, перекрикивались, махали друг другу руками, все были корешки, соседи и соседки, родственники, шутили, подпускали жареного, раскачивались от хохота, как рожь под ветром, — рядами.

Два пацана растащили на сцене тряпки. Всё разом смолкло.

Оркестранты сидели на сцене очень тесно, крупно. Словно тетерева на дереве. Дирижёр, уже накрыленный, завис над ними у потолка... Начали тянуть. Симфонию. Дирижёр осаживал, трепеща пальчиками...

Потом пела певица. Она походила на стоящую свиную ногу. В конце арии она загорланилась так, что всем стало жутко... Однако благополучно обрушила голос в зал с последним аккордом оркестра. Ей хлопали ожесточённо, до посинения ладошей. И она пела ещё.

В прохладные тенёты предночья люди выходили взмокшие, трясая рубашками, вытаскивая платки. Большинства будто и не было на концерте: спокойные, продолжили обсуждение своего, обыденного, прерванного этим концертом, а если и говорили о нём — то о внешнем его, театральном, искренне принимая бутафорию за натуральность, за правду. Говорили о чёрных фраках на музыкантах, поражались роскошному панбархату на скрипачках, сплошь осеянному брильянтам: однако сколько же это для государства-то вылезит! Вон они куда, денежки-то народные! Прокорми такой еврейский колхоз! А если взять в масштабе? А?... Но некоторые были с лицами просветлёнными. Можно сказать, с ликами. Слушающими свою душу. Бережно унося что-то, может быть, и не очень понятное для себя. Но уже приобщившись к новой вере, впустив её в себя, слушая её в себе, отдавшись ей.

И спросил отец сына:

— Ну, понравилось?..

Сашка молчал.

— Понравилось, спрашиваю!

— Нет.

— Музыка, что ли, не понравилась? — удивился

Константин Иванович.

— Нет... Охранник музыки не понравился...

— Какой охранник? Где?

— Охранник музыки... — ещё раз сказал Сашка и объяснил: — Они начинают играть, а он на них — руками... Не давал играть музыку. Сердитый...

И как досказал последние слова — так после них тащил за собой отца за руку — как на булыжнике заборонившую борону. Так и шли они: один тянул, не оборачиваясь, другой — отставал, колоктился, приседал, растопырявая пальцы, готовый лечь от смеха на дорогу...

Казалось, всё, этим и закончиться бы должно Сашкино знакомство с серьёзной музыкой... Не тут-то было!

Дня через два Антонина увидела у сына какую-то оструганную белую дощечку, по которой тот водил кривым прутиком. На вопрос, что это? — Сашка опустил чуб, набычился... «Это скрипка у него! — выдал Колька. — Он так играет на скрипочке, хи-хи-хи!» Сашка хотел двинуть, но сдержался. «На скрипочке, дескать, играю, хи-хи-хи!» — не унимался Колька. Сашка двинул. От матери получил уравнивающий подзатыльник.

Поздно вечером выпали в медные сумерки раскрытые окна комнаты. Где-то под ними, в комнате, у дивана в простенке, ворочался, ползал Сашка.

Боясь рассмеяться, спугнуть, Константин Иванович на кровати подталкивал жену.

Чтобы не разбудить родителей, пыхтя потихонечку, Сашка двигал свою дощечку и прутик под диван. Подальше... Но Антонина знала сына — спросила растерянно:

— Возьмёт, что ли кто? Сынок? Зачем же туда-то?..

Затих. Подымался на ноги. Чубатая голова понурилась к упавшему уже окну, к чёрному хаосу сумерек. Слушала их, осмысливала. Убралась куда-то. Стал побулькивать где-то возле стола в приготовленной и оставленной ему воде. Шарил тряпку, чтобы вытереть ноги...

— Включи лампу, сынок...

Не включил. Всё так же молчком полез на диван, в свою постель. Поскрипел там какое-то время, умащиваясь. Утих. Немного погодя размеренно зазасыпывал.

Константин Иванович всё посмеивался. Надо же! Музыкант! Вот ведь... А, Тоня? Вот пострел!

Но Антонина лежала, раскинув руки. Удерживала ими растерянность свою. Ведь не забудет! Господи! Ведь не забудет. Такой упрямый...

Потом над двором и над всем миром текла, просвечивала ночь.

Из Игарки, со своего Севера, приезжал Александр Шумиха. Муж — Калерии, отец — Кольке. По городку к дому задувал на такси. Пролетал мимо. Поцеловать маманю и папаню. Одаривал их прямо на крыльце, на виду у всей улицы, плачущих, трясущихся. Как фокусник, выкидывал на них из чемодана разные мануфактуры. Затем велел рулить к жене, к сыну. Назад. Через три дома. Соскучился.

Часов с одиннадцати утра, как только укреплялось солнце над городком, и начинался обя-

зательный плясовый ход. Прямо от дома Шумихи. Прямо с дороги перед домом.

Как хоругвь выставив, тащили палку с тряпками, мочалками и лентами. Теснились под неё, сплачивались, приплясывали.

Птицей шёл впереди Шумиха. Замысловатая плясовая головёнка из-под картуза, красная рубаха о кистях, сапожки — с выходом. Ему гармошкой проливал его родной брат Федька, такой же замысловатый, плясовый.

Две отмалёванные бабёнки кружили сарафаны и визжали. Они — ряженые.

Май-я милка, как кобылка!

А йя са-ам, как пыр-р-раво-оз!.. —

заречно, голодно прокрикивали дружки шумихинские, притопывая.

Укатывались с шестом, утопывались по шоссейке к городу, взбывая пыль. В расшвырнутых воротах, как после выноса тела, брошенно оставались торчать тётя Каля и Колька. Оба — несчастные.

Поздно вечером ход — пьяный, задыхающийся — бежал. То есть натурально чесал по шоссейке. К дому Шумихи. Трусцой. Будто неостановимая, пропадающая на глазах лихорадка. Шест с тряпками и лентами вздёргивался, как спотыкающийся, падающий конь.

Возле своих домиков мужички глазели. Посмеивались, покручивали головами. «Ну, шалопутный! Ну, даёт! Ить — целый день!»

— Дристунки-и, не спи-и! — кричал им Шумиха, отчебучивая впереди. Распушенная плисовая рубаха билась зачерневшим красным холодом-огнём. — Федька, жа-арь!

Волтающийся Федька ворочал гармошку уже, как свою килу. Но — поливал.

За забором во дворе шест падал.

Расталкивались, распозались глухой ночью. Поодиночно мычали в глухой ночи вдоль провальных заборов. Длинный стол в доме — брошенное побоище. Осоловевший хозяин всё ещё упрямился. Строго брал жену Калерию то на левый, то на правый глаз. Жена сметала посуду в большой таз с водой. Сбрасывала стаканы в грязную воду. Как какие-то противные свои персты. Сын Колька приставал с Куилосом.

Наутро — всё с начала. Гулянка-выпляска шумихинская шла три дня. Потом отчаливал. Окаывается, брал без содержания. За поспешными сборами не успевал даже Кольке и Сашке про Папашу Куилоса. Откуда он у него в Игарке взялся.

Проводы на пристани по многочисленности провожающих походили на проводы в армию.

Под остающуюся, отчаянно наяривающую гармошку Федьки, один, выплясывал Шумиха на дебаркадер и дальше — на пароход, размашисто выхлопывая сапогами, ломаясь к ним, кидая в них дробь рук.

Его громадный чемодан дружок торжественно вносил на борт, удерживая на плече. Внезапно чемодан раскрылся. Опустошённый — полностью. Как после фокуса. В цирке. Кореш захлопнул, воровато озираясь. Пронёс под мышкой.

Добитые всем происходящим, здесь, на пристани, тётя Каля и Колька только дрожали, всхлипывали и говорили в два голоса, как заведённые: «Уезжает! Он уезжает!» Антонина и Сашка их сохраняли.

Потом вдали, на дамбе, у заката, приплясывая с гармошкой, Федька всё играл вдогон брату Сашке, сам — как чёрненькая скрючивающаяся гармошка.

После дяди Саши Сашка Новосёлов ещё упорнее зашёркал дощечку прутиком. Увидит птица летит — попилит ей вслед. Жук ползёт во дворе у тётки Кали — медленно идёт с ним рядом, наигрывает ему, сопровождает музыкой.

— Тебе что, мало гармошки нашей, а? Мало? — стенала ему с крыльца тётя Каля. Она сидела, пропаще свесив с колен руки, кинув подол меж широко расставленных худых ног, после провода мужа — всё ещё как после похорон.

— А его Константин поведёт в школу, в музыкальную, на скрипочке учиться, хи-хи-хи, — ехидный Колька поведывал.

Каля удивлённо поворачивалась к сестре:

— Правда, что ли?

Антонина, отстраняя лицо от струйного жара летней печки, варила-помешивала в медном тазу малиновое варенье. Молчала.

Но Каля уже обижалась:

— Чего надумали-то, а! Уже и гармонь им плоха! Уже забрезговали! Интеллигенты чёртовы!..

Озираясь по тесному классу, где всё было обычным, только доску разлиновали для нот белыми полосами, Константин Иванович покачивался на стуле, ухватив себя за колени, посмеивался. Объяснял. Сердце стоящего рядом Сашки словно бы мело, передувало. Как вялым ветром тополиный пух.

Голова Учителя Музыки походила на печальную состарившуюся ноту. Он молча слушал. Потом указательным сухим пальцем клюнул клавишу пианино — звук вспорхнул, у потолка влетел в солнечный луч, заиграл, запереливался в нём, утихая. «Спой», — сказал Учитель Музыки. Сашка молчал. Учитель Музыки клюнул ещё. Ту же подвесил ноту к солнцу. «Ну! Ля-я-я!» Ещё взвесил, ещё. Сашка просипел что-то, подлаживаясь, подбываясь к ноте.

«Так. Неплохо», — говорил Учитель Музыки. И всё выпускал ноты. К потолку, к солнцу. По две уже, по три. И спрашивал, сколько их улетело: две или три? Сашка отвечал. «Так, молодец!» Потом вдруг въедливо застучал на столе Сашке карандашом. Сашка попробовал ему отстучать так же. Долбили. Как дятлы. В лесу. Стремилась перехитрить друг дружку. Константин Иванович смеялся.

«...Понимаете, какое дело? — говорил для Константина Ивановича, не сводя печальных глаз с Сашки, Учитель Музыки. — Мальчик не без способностей... Но... нет ведь у нас класса скрипки. Вот ведь в чём дело. Учителя нет. Скрипача. Должен вот приехать осенью. По распределению. Из Уфы. Из музыкального училища. По нашей просьбе должны кого-то прислать. Парня или девушку... Ждём вот... А — пока...» — Он развёл руками.

Предлагали Сашке на виолончель. Завели в другой класс.

Короткие цепкие ножки тётеньки точно проросли из коричневого дерева инструмента. Тётенька начала дёргать смычком так, словно хотела разрезать себя пополам. А виолончель — не давала ей, не пропускала. Тут же понуро стояли её ученики. Трое. Удерживали виолончели стоймя. Точно не знали, что с этими виолончелями делать. А мечущиеся стёкла очков под чёрной грудой волос тётеньки походили на цинковые иконки, какие на базаре из-под полы показывают... Сашку вывели из класса.

Свалилось лето, и уже мокла осень. Ломили и ломили в городке тяжёлые сырые ветра. Плешистые деревья шумели одичало. Промелькивали, стремились скорее умереть исплешистые листья. Лягушкой скакал, шлёпался по прибитой жёлтой листве крупный дождь.

И опять, в который раз уж, Сашка и Константин Иванович шли в музыкальную школу.

Учитель Музыки завлекал Сашку баяном. Он сидел с баяном, как с густо заселённым ладным домиком, где все голоса жили в полном согласии. «А вот ещё, Саша, послушай. Вот эту мелодию».

Поставленный перед баяном Сашка боялся дыхнуть. Словно заполненный его музыкой до предела.

Опять посмеивался, опять объяснял за Сашку, как за глухонемого, Константин Иванович. В чём тут, собственно, дело...

Учитель Музыки застыл от услышанного. С пальцами в клавиатуре — словно в карманы пойманными... Переложил правую руку на мех.

«...Напрасно, Саша. Напрасно стыдишься его... Он же самородок. Понимаешь, народный музыкант-самородок... А что пляшет, с гармошкой, с песнями... то если б все плясали, как он, пели, играли... зла бы не было на земле. Понимаешь, не было б... Он ведь душа народа нашего. Неумирающая душа. Которую давно закапывают, всё закопать не могут... А ты стыдишься его... Зря, Саша, совсем зря...»

Отец и сын уходили дорогой в гору, упираясь в ветер, уносили раздутые на спине плащи — словно напущие свои души. Налетал, выпивал лица дождь. Чтобы тут же улететь и пропасть где-то.

Старый Учитель стоял за стеклом окна. Глаза его были печальны, как маятники.

Уже на горе, увидав тащущий лужи автобус, Сашка сломя голову бежал за ним. Догонял, бежал рядом, почти не замечая луж, под окнами его.

На автостанции люди неуклюже сваливались со ступенек на землю. Больше женщины. С замывшимися подолами, с обледнёнными ногами, разучившимися ходить. Все ставшие словно бы ниже ростом. Навьючивались сетками, сумками. Устало расходились в разные стороны...

— Не приедет никто, Саша, — гладил Сашку по голове Константин Иванович. — Сказал же Учитель... Зачем же? Не надо сюда больше бегать...

— Не приехал, не приехал... — шептал Сашка, заглядывая в пустой автобус.

Тем и закончилось всё.

Было ли в этом всё что-то от судьбы, от убийного призвания, было ли всё это просто детским стойким желанием, желанием недоступного, наверняка, неосуществимого, детским капризом, который случается даже у неизбалованных детей раз-два во всё детство — Новосёлов, став взрослым, не мог сказать. Но, как рассказывала потом мать, крохотная его душонка долго страдала от этого, плакала, и он бегал, встречал автобус каждый день, всю осень. До самого снега...

А дочечка и прутик затерялись, пропали неизвестно где, как улетают и пропадают неизвестно где птицы.

Новосёлов Сашка в 1958-м году

Задували и задували в городок растрёпанные июльские деньки. Как стрелы, мучились в них городские собачонки. Бежали и бежали, неизвестно куда. Остановивались на углах. Повизгивая, жмуря глаза, опять вынюхивали поверху. То ли тоску свою неизбытную, то ли надежду...

Прочернённые за лето солнцем, словно бегущие лёгкие тени его, трусили по улице пацанята во главе с Сашкой.

Тарабанись по доскам, над забором выпуливала удивлённая мордашка: «Селó, вы куда?..» — «На Белую», — коротко бросал на бегу Сашка. Мелко свитой его чуб трепался впереди — как с е л о...

Забегал домой. Удочку на всякий случай захватить.

— Село! Село! — покрикивали с улицы пацанята. Словно чтобы не забыть это слово.

«Почему они зовут-то тебя так? А?» — спрашивала Антонина. Еле сдерживая смех. «Не знаю...» — опускал чуб, как наказание своё, сын. И через минуту жёлтое «село» опять трепалось по направлению к Белой, преданно окружённое огольцами, а в высоком окне коммунальной кухни, оставленная, уменьшающаяся, махалась руками, выпутывалась из греховного смеха Антонина.

Под солнцем Белая стекала бликами. Уже испулавшиеся ребятишки раскидывались по песку. Закрыв глаза, одерживая себя зади руками, выставляли лица солнцу. Встряхивали головами, нарождая себе тёмно-белый затяжелевший свет.

— Ну скоря-а! — неслось заунывно по реке, казалась, час уже, а, может быть, два. — Ну скоря-а!..

Лошадь стояла по колено в воде, сдерживаемая оглоблями телеги. Воды у себя под носом не признавала. Мылов подымал вохровский картуз из реки. Как из судна, затопленного лет пятьдесят назад, из картуза истекали струи. Сигали головастики, мальки... Лошадь опасалась, думала...

— Ну скоря-а! — моталась потная, как осыпанная брильянтом лысина. С картузом засыпали жилые руки. Шарахались в стороны, пугая лошадь.

— Ну скоря-а! Шала-а-ава! — Подымал снова весь водоём с лягушками. Подсовывал. Зло насаживал, насаживал картуз лошади на морду.

— Пей, пей, твою мать!..

Лошадь бросалась от него вбок, на берег, сдёрун за собой телегу. Разом застывала. Сплёвывала картуз, будто противогаз.

Мылов — руки врозь — ничего не может понять: где шалава? где он, Мылов? Отступал

от реки, расшипяясь, недоумевающая. И опрокидывался на камни — ноги в реку.

Нужно было сдвинуть от бриллиантовой башки заднее тележное колесо, под которым она, башка, оказалась. Ребятишки брали лошадь под уздцы, тянули. Осторожно дёргали. Лошадь сперва стояла как каменная. Потом пошла. Остановили её неподалёку. Когда прикасались к ней, гладили, на тощих боках её сразу выскакивали и бегали судороги... «К кнуту привыкла, — жалел Сашка. — Не понимает...» Хотели дать ей чего-нибудь. Но ни у кого ничего не оказалось. Тогда Сашка отдал хлеб, на который хотел ловить баклёшек. Лошадь ела с Сашкиных ладоней, деликатно засучивала верхнюю губу, обнажая до дёсен жёлтые зубы. Удила мешали, лягали, но освободить её от них никто не умел...

Через полчаса в Сашкином коммунальном дворе ребятишки смотрели, как с тихим счастьем офицер Стрижёв ходил вокруг полностью разжужжканного, разбросанного на промаслившиеся холстины мотоцикла. Протирая руки ветошью с наслаждением, примеривался, с чего начать сборку. В майке, в тапочках на босу ногу. Ноги вставлены в галифе — как в кобуры пистолеты. Вчера был — мотор. Может, сегодня — ходовая часть? А? «Ходовая часть! Ходовая часть!» — кричали ему ребятишки.

Пригibasлся и брал в руки деталь. Любовался ею. «Село, принеси-ка лампу». Сашка и его вагата бросались к одной из дверей — раскрытой — высокого общего сарая. Несли в десяти трепетных руках паяльную лампу. Стрижёв начинал жечь. Улыбался. Когда он ходил офицерить в свою автороту — никто не знал. Он словно бы всё время был в отпуске.

В сквозящем светом парадном, на пьедестале между ним и чёрной лестницей, Сашка всегда неожиданно видел затемнённого человека с будто отдельной, светящейся головой... Человек догадывался, что его видят, переваливаясь, начинал сходить по ступенькам во двор. С продуктовыми сумками и сетками открывал себя, словно разом раздавал всему свету, солнцу.

Стрижёв в приветствии подвешивал высоко руку, склонив голову. Константин Иванович в ответ громко здоровался с ним. Кричал два-три весёлых вопроса. Ждал сына...

Сашка подбегал, и они уходили назад в подъезд, в подсвеченную, словно с засаженным финским ножом черноту... И все во главе со Стрижёвым почему-то смотрели и ждали, пока не раздадутся их голоса из раскрытых окон на втором этаже и к ним не присоединится радостный голос Антонины... С облегчением возвращали внимание своё к разобранному мотоциклу, к деталям...

Антонина начинала метаться между кухней и комнатой, а Константин Иванович сидел за столом, тихо радуясь. Как гость. Не бывший здесь, по меньшей мере, год. Заполненный до краёв жизнью, событиями этого года, о котором он, гость, будет рассказывать. Вот через несколько минут. Подмигивал Сашке. Насупленный Сашка возил на столе машинку, только что ему подаренную. Не очень уверенной, торопливой рукой Константин

Иванович гладил голову сына и вновь возвращался к положению наглядного гостя, тихо воспринимая его (гостя) статус за этим столом, осознавая его, радуясь.

Когда всё было готово на столе, всё из кухни принесено, Константин Иванович, выставив бутылку, вопросительно посмотрел на жену...

— Да уж стучите, стучите! — смеялась та. — Нет её. В командировке она. Один он...

Константин Иванович подходил к стенке, стучал в неё три раза. Тотчас же, как эхо, доносился ответный, тоже тройной отстук. И через минуту другую в дверях появлялся Коля-писатель.

Остро отдавал Константину Ивановичу пальцы цепкой левой руки на пожатие. Подсаживался к столу, всегда одинаково спрашивал:

— Ну, как вы тут?.. — точно выходил, оставлял их всех на полчаса, час. Дескать, вот задержался. Маненько. Смеялся вместе со всеми над этим своим «маненько», натерпелся он за него предостаточно, однако бросить, походило, не мог...

Летними вечерами, когда Антонина, переделав все дневные дела, садилась к окну, чтобы, подпершись рукой, смотреть с тоской на уползающую, гаснущую шель заката... нередко слышала она такой примерно разговор: «Ты бросишь когда-нибудь своё чёртово «маненько»? А? Бросишь или нет?! Я тебя спрашиваю?! Ведь стыдно в гости к людям пойти!» — «Так деревенский я, Алла. Привык. Бывало, маманя...» — «Вот-вот! «Маманя», папаня... «братяня!»». Когда говорить нормально будешь? П-писатель! Ещё царапает там чего-то... М-маненько!». По стене рядом зло захлопывали окна. Невольно думалось: что может связывать двух этих людей?..

А Коля смеялся сейчас, шутил. Словно в аттракционе, в игре на приз тыкал левой своей рукой в картошку вилку. Словно с привязанной другой рукой. Варёная картошка рассыпалась, не давалась ему. Он смеялся. Маненько неудобно. Но сейчас возмуж. Во! Антонина ему... подкладывала ещё. Тоня — куда? Закипали вдрут у женщины слёзы. От рюмки, что ли? Тонька, ты чего?.. Ну-у-у!.. Антонина выскальзывала из-за стола. В коридор. Мужики тут же о ней забывали. От выпитых ударных первых рюмок наперебой размахивали друг другу вилками, говорили и говорили.

С фанерной большой афиши, стоящей к собору поперёк, голова тётеньки с жёлтыми длинными волосами — словно бы устремлялась. Как жёлтый, длинный, мучающийся ветер. Губы тётеньки походили на вытянутый штемпель. Которым бьют на почте. Которым придавливают сургуч. Дошколёнок Колька прочёл аршинные буквы: «Грёза... любви». Окончивший первый класс Сашка поправил: «Грёзы... любви».

До начала сеанса играли в примыкающем к собору сквере. Сашка спрыгивал в сдохший фонтан. Круг фонтана был большой, неглубокий, бегать в нём, тарыхтеть палкой по чугунной низкой огородке было ловко, здорово. Но Колька почему-то медлил, не сигал вниз за Сашкой. Спрашивал трусовато, почему фонтан — «Нечистая сила». Название. Сашка просмеивал его. Бабушкины сказки! Струсил, струсил! Бледнея, Колька

сползал в сухой фонтан как в ледяную воду. Однако скоро тоже начинал бегать с палкой, кричать, тарыхтеть по огородке.

Какой-то старикан во френче и фуражке выгнал их из фонтана, отмахивал им клюшкой. Дурной какой-то, ненормальный. Фонтан-то сухой. Фонтана-то нет. Старикан ругался, топался сапогами. Весь посиневший, мокрогоубый. Ребятишки выпуливались наверх, цепляясь за огородку, обочивались на ненормального, подальше отходили...

Ещё пять лет назад сквер носил имя Товарища ... И памятник Товарищу ... стоял в центре сквера.

Два года назад, осенью 56-го, памятник разбивали чугунной гирей. При восторге зрителей вокруг памятника суматошный метался кран. Кидал гирей, долбил, торопился. Сашка тряс, тряс руку отца: «Вот шмалает! Вот шмалает!» О памятника откалывались куски, падали целые сколы. Он стоял, как обкусанный грязный рафинад. Потом рухнул, подняв тучу пыли. Не отдавая себе отчёта, Константин Иванович зачем-то маршировал на месте. Точно ему кто-то дал команду, стукнул по затылку и забыл о нём. И он сам забыл. И подмаршировывал, как дурак. Поворачивал к людям белую свою голову: «Кто бы мог подумать, а? Кто бы мог подумать?». Глаза его смеялись, прыгали, словно надёргивали к себе побольше людей. «Кто бы мог подумать про такое, а? Кто?!».

Вечером старики во френчах в растерянности стукались в обломках флюшками. Как в порушенной своей церкви. Под чёрными фуражками глаза их были — просвеченными... И на фоне чёрной этой, копошащейся группки, рядом, падал в гаснущее небо обезглавленный собор...

Потом обломки убрали, вывезли. (Посшибали и вывезли два ростиковых памятника Товарищу ... Ростиковых размеров. За штакетником у пединститута и перед пивной на площади. Чем сразу облегчили пивников по малой и частой их надобности.) На месте Товарища ... в сквере, на бывшем главном его месте, новые власти срочно соорудили фонтан. И даже с небольшим бассейном. Однако фонтанчик попылил немножко над чашечкой и тихо, мирно издох. Тогда несколько раз упрямо продували всю систему сжатым воздухом. Пробовали, можно сказать, систему... Без толку — фонтан не получался.

Френчёвые повадились ходить к нему с цветами. В очередную годовщину Товарища ... — то ли со дня рождения, то ли ещё чего-то там, летом — собирались там в количестве двадцати двух человек. Делали переключку. Строились. Стояли с цветами, клюшками. Самый пламенный из них говорил речь. И вот когда стали ритуально класть цветы на парапет бассейна, долго ломая себя в угольник, царапая негнущейся ногой в стороне... пипка фонтана вдруг резко засвистела, и с воздухом из неё начала стрелять, рваться вода. Грязная, ржавая. Всё сильнее, сильнее. Пенсионеры разинули рты. Фонтан хлестал. Френчёвые стали вести себя кто как: одни начали тут же маршировать. Опупело вскидывая руки к фуражкам. Другие старались вздёрнуть себя в стойку «смирно», но начинали падать, ударяясь о клюшки,

третьи — колотя челюстями, рыдали. Пламенный вскочил на парапет и, хлестаемый струями, кричал что-то с жестом руки...

Прячущийся где-то за забором пожарки шутник — завернул кран. Вода разом упала, провалилась. Все опять разинули рты, не сводя глаз с пипки. Пипка молчала. Старики стояли. С обвисшими галифе. Как с бандурами бандуристы. Потерявшие своего поводыря... Возбуждённо бормоча, стали расходиться. Попарно. Тройками. Шутник — из-за забора — врубил. Френчёвые бросились назад...

Приходили они к фонтану и ещё несколько раз. Ритуальные цветы кисли, квасились в жиже бассейна всё первое лето...

— А правда, что там и сейчас Вождь остался? Что теперь он — «Нечистая сила»? А, Саш?...

— Да ерунда... Раздолбали его... — забыто прозвизг Сашка, всё глядя на старика.

Старикан не уходил от фонтана. Словно опять вспомнил всё недавнее, пережитое, в растерянности топтался. В свесившемся, пустом словно, своём галифе... Пошёл, наконец. Тяжело опирался на клюшку. К нему опять вернулись все его болезни...

— А почему я не видел?..

— Чего?

— Ну, когда его долбали?

— Маленький ещё, наверное, был...

Колька засомневался. Разница-то год всего у них... Почему один большой уже был, а другой — маленький? И не видел? Как долбали?

Сашка спохватился:

— Опаздываем!

Старикан и памятник сразу вылетели из головы. Огибая собор, на сеанс заторопились. Не удержавшись, ещё раз полюбовались на тётеньку. На афише которая. Тётенька всё так же устремлялась. Мучительно распутив, как бросив за собой, жёлтые длинные свои волосы.

Другая тётенька, билетёрша, оторвала контроль. И сделала вид, что их не заметила. Ну что они не взрослые. Тогда сразу заспешили к белой мороженнице в вестибюле. Купили. Отошли. Удалили по мороженому язычками.

Ходили, озирались по высоким, узким церковным окнам, забранным узорчатыми решётками. Смотрели на киноактёров и киноактрис, которые густо, искусными листьями натискали на стены между этими окнами.

Перед заходом в зал Сашка взял ещё два мороженых. Кольке и себе. От отцовских десяти рублей (старыми) осталось только двадцать копеек.

Вверху, где был когда-то купол собора, на чёрных провисших половиках дрались, ворковали голуби, и сыпался с половиков вниз сухой помёт. Прилетала иногда и тёплая большая капля. Зрители поглядывали вверх, поругивались. В одной из чугунных батарей у стены всё время гоняло какую-то гайку или камушек. Топят они там, что ли? Лето же!..

Угольно-мелконько Сашка и Колька отрисовывались головёнками в первом ряду. Одни вообще рядов на десять передних. Над ними, вверху, никуда не могли подеваться с экрана полураздетые дяденька и тётенька. Всё продолжали и

продолжали целоваться. Мучительно, тяжело. Как изнемогая. Как бы выглаживая друг друга. Сашка и Колька смотрели, резко, коротко слизывали. Экономили мороженое, урезали лизки. Сашкин чуб к экрану завинчивал как рог...

Низко выстелился на дороге закат, затонули по бокам дороги в нём деревья, домишки, огороды. Сашка и Колька поторапливались домой.

— Саш, а почему они всегда целуются, целуются, обнимаются, обнимаются... а потом засыпают? А? Как убитые?

— Слабые, наверно... Киноактёры... Устают... Я бы не устал...

— Я бы тоже...

У Сашки дома ели хлеб с молоком. Константин Иванович хохотал, слушая о фильме. Потом с ворохами одежды и одеял лезли на сарай, где их уже дожидались другие ребятишки. Устраивались меж ними, подпирались так же кулачками, наблюдали жизнь двора и окрестностей. Ждали со всеми темноты, чтобы начать *истории*. Под соломой заката головёнки пошевелялись, как вечерняя тихая ягода на ветке.

Офицер Стрижёв выводил мотоцикл. Резко, с разорвавшимся треском заводил. Газовал, газовал, накручивая ручкой. Ехал катать девушек.

Выбирал почему-то только очень длинных. Проносился с ними за спиной, как со знамёнами. Треск пропарывал то один квадрат городка, то другой. Потом мотоцикл летел за город, слетал с пологого утора и кáнывал в рощу, как камень в воду. И всё. И — тишина. И — никаких, как говорится, кругов.

Глухой ночью устало рычащая фара болтала светом в канавах перед домом. Лезла широко во двор. Проснувшиеся ребятишки вскакивали, мотались на сарае, ничего не могли понять. Падали по одному обратно в темноту. С подскоками Стрижёв заезжал в сарай. Свет собирался в тесном помещении, недовольно дрожал. Стрижёв глушил мотор, щёлкал на фаре — вышибал сарай со двора.

А по утрам опять ходил вокруг разобранного и разложенного на холстины мотоцикла. Опять огалифеченный, на прямых ногах. Орудовал протирочными концами.

И поперёд большого голубого неба, с краю крыши на него смотрели проснувшиеся большие глаза ребятишек, ещё не научившиеся так летать.

Неприкаянные

Во дворе у Кольки осторожно ходили вдоль ограды меж высоких ржавых крапивин. Всё время ощущая над собой сухую их, знойную стервозность, осторожно приседали под них, тянулись и переворачивали холодно-серые разлагающиеся кирпичи. Из-под кирпичей вырывались тучи красных солдатиков. Ух ты-ы! Солдатики бежали, всверливались в траву, исчезали. Отвернёшь кирпич — и пошли, пошли наяривать по бурьяну! Одна крапивина ошпарила-таки Кольку! — Засуетился дурачок, задёргался. Отбиваться стал. Разве отобьёшься? «Слюнями помажь!» — посоветовал Сашка. Слюнями Колька помазал. На локте,

потом на ноге. Однако вздулись красные полосы. Гирляндочками драгоценностей... Колька растерянно думал: запеть или нет?

Из бурьяна торчали давно брошенные оглобли с вросшим в землю, полусгнившим передком телеги без колёс; сами колёса были рассыпаны — валялись повсюду ступицы, похожие на кости давно павших воинов...

Со стыда ли или чтобы не зануть, Колька начал дёргать оглоблю. «Не трогай! — бросился Сашка. — Это деды Сани! От него осталось!» Колька ворчал: «Осталось... А Мылов говорит, что деда Саня кулаком был. Говорит: я зна-аю. Как пьяный — так и говорит...» — «Врёт, поди... Красный партизан...» — неуверенно сказал Сашка. Ребятишки постояли, пытаются вспомнить деда Саню.

Успокоившись, Колька достал из майки солнцезащитные очки. Большие, взрослые. Вставил в них головёнку. Стал как большеглазый стрекозёнок. Очки Колька нашёл в прошлом году в городском парке. Кто-то обронил. Колька бросился, схватил вперёд Сашки. Хоть и исцарапанные были, какие-то затёртые все — берёт их. «Густо видно», — говорит, глядя через очки. Давал и Сашке поглядеть...

Колька поворачивался с очками и смотрел за огород, вдаль, где у самой земли таскались облака. Затем ближе, за забор. Забор походил на разбросанные папкины гармони.

Посмотрев через очки, Колька клал их обратно, за пазуху.

На улице Сашка и Колька увидели (лёгко на помине!) громыхающего по шоссе Мылова. Ребятишки хотели было... Мылов выказал им кнут. «Трезвый, гад...»

По утрам, матерясь, Мылов злобно дёргал за подругу лошадь во дворе Продуктового на площади. Точно поднимал её, перетаскивал с места на место по дворику. Таскал словно, задираясь стиснутыми зубами к небу. Как большое коричневое похмелье своё, злобу. Таращился жутким взглядом к полуподвалу, к двери его, ожидая... Снова начинал таскать!.. Выходила директорша в белом халате, с засунутыми в карманы толстыми руками. Молчком мотала ему головой: иди!

Высвеченные сверху, как центр мироздания, в подсобке на столе стояли сто пятьдесят в стакане. Мылов молитвенно подходил к ним. Но с показным отвращением... протапливал в себя, кося на директоршу одним глазом. Другой глаз, казалось, соскользнёт сейчас в стакан. Как в белок желток. Но Мылов уже затирался рукавом, деликатно ставил стакан на стол. Глаза возвращались на место. «Спасибочки!»

Через минуту уже колотился с телегой по шоссе. Глаза его играли кинжалами. «Н-но! Шалава!» — поддавал и поддавал кнутом. И колотился. За вохровским картузом с осатанелым кантом завилась дым. «Н-но-о-о!» Сашка и Колька сразу прилеплялись. Втихаря бежали, держась за задок телеги, не решаясь запрыгнуть. Спирной, что ли, чуял Мылов — злобно стегал кнутом, как змей, выдернувшись к задку. Доставалось Сашке. «Трезвый ещё, гад...» — баюкал руку, бил пыль босыми ногами за удирающей телегой Сашка. «Ничего-о!» — тоже замедлял ход, утешал

его Колька. — Чёрная ему сегодня да-аст. Будет тогда знать. Как стегаться...»

Ближе к обеду к Сашкиному дому сама сворачивала лошадь с телегой. Тянула телегу во двор. На телеге, навзничь запрокинувшись, подбрасывался Мылов с розовой, вымоленной от водки головой, за которой завивались мухи.

Шла лошадь не к сараям, где была коновязь, а останавливалась на середине двора. Чтобы все видели. Обиженно ждала. Злорадно Сашка и Колька ходили возле пьяной головы, как из копилка монетки, выбрызгивали слонный смех, готовые разорваться от смеха. «Ну как к магниту тянет!» — вскидывалась с шитьём Антонина. Кричала из окна второго этажа: «Вы отойдите от него, а? Мало он вас стегал, а? Мало? Ну чего прилипли!» Мылов пытался вылезать как бы из себя, залепленно-пьяного — как птенец задохлый из яйца. От падающей головы, как от халвы, мухи на миг подкидывались. Столбцом. И чёрно опускались снова.

Выходила Чёрная. Жена Мылова. В чёрном платке наглухо — походила на скрывающую имя монахиню. Взгляд опущенный, рыскающий. А глянет исподлобья — будто шильями уколёт! «Нюка!» — только посмотрела на пацанят — те стреканули в разные стороны. Размашисто выкидывала на телегу ведро воды. Взбрыкнув сапогами, Мылов вскидывался. Очумело смотрел, как Чёрная шла от него к крыльцу. Сухая сильная заголенная рука её с кулаком, удерживающая дужку ведра, свисала как кистень... Мылов тащился в дом.

Через полчаса Мылов выходил. Ни в одном глазу. Только волглый весь. Не подсох ещё. Выходил на новый круг. Который начинать надо было, понятно, с дворика Продуктового. Со злой наглядности своего состояния — таскания, подкидывания лошади. Подругой перетягивая её, словно до контуров колбасы. Чтобы видела Белая Стерва. (Директорша.) На что он способен, чтоб понемало... Раздёрнув поводья, прыгал на телегу, стегал. Сашка и Колька сразу побежали. «Куда?! — высовывалась, чуть не падая из окна, Антонина. — К-куда?! Глаза выхлещет!» Мальчишки хихикали, бежали по дороге. Метрах в трёх от задка телеги. Бежали за матерящимся Мыловым, за судорожной спиной его, за рукой, наматывающей и наматывающей, поддающей и поддающей бедной лошадеёнке. Так и за угол убежали за телегой — как на привязи.

В начале августа окучивали картошку за Сопками. Антонина с большой, Сашка с маленькой тяпкой. Он шёл за матерью соседним рядом, почти не отставал. Колька собирал за ними вырванную дурнину, стаскивал в кучу. Через час-полтора на зное раскис. Сначала сел в борозду, отвернувшись от работающих. Потом лёг лицом вверх. Как упал. Небо длинно вытянулось. Тоже вверх. Стало колышливым. Как стратостат. Верёвка от которого была в зубах у него, Кольки. «Не лежи на земле!» — кричала ему Антонина. Колька зубами держал «верёвку». Верёвка была тошнотной. Колька ложился на щеку. Тогда небо сразу расплзлось, начинало переворачивать, валить землю. Кольку сильно тошнило. Он

садился. Хныкал. «Иди в рощу, в тень!» — кричала Антонина. Колька не уходил, боялся рощи. Ныл. Беспомощный на пашне, словно привязанный за руки, за ноги к ней. На горячую головёнку ему Антонина навязывала платок, смочив его из бидона. Колька хныкал. Теперь оттого, что у него платок с рожками. Антонина и на сына поглядывала. Мотающийся упрямый Сашкин чуб держал жару. Как хороший боксёр удары. Однако и сына заставила навязать мокрый платок.

Каля отпросилась с работы только к обеду, до участка доехала с попутной. Устало сбросив с заматанной тямки сумку с едой, молча протянула Антонине бумажку. Извещение на багаж. Из Игарки? Господи, едет, что ли? — испуганно обрадовалась Антонина. Чёрт его знает. Калерия вертела к небу головой. Ну какая тут картошка! Собрались в минуту. С Колькой сразу прошло всё. К дорожке торопились впереди всех. Растарачивались ручонками, путался в ботве, спотыкался. «Папка едет! Папка едет!»

Железной дороги к городку не было, приходящей какой-либо багаж возили из центра машинами. Прямо на почту, на задний двор её. Если контейнер, то там и стоял. Контейнер должен быть, контейнер! Что-то о мебели бормотал. В прошлом году!..

Но никакого контейнера во дворе почты не было... Тогда поспешили в само багажное отделение. Выяснилось — одно место действительно пришло. Багаж. Но одно. Всего одно. Как? Почему одно? Странно. Толстая работница в халате, с отсиженными сзади ногами, как с изъеденными древоточцем чурками, пошла в склад, набитый ящиками и мешками, долго ходила там, сверяясь с бумажкой. Вынесла, наконец, велосипед. Велосипедик. Детский, трехколёсный. В бумажных лохмотьях, перевязанных бечёвками. Поставила на пол перед всеми. На фанерной бирке, прикрученной проволокой, было написано: место — 1 (одно) и адрес. Все в растерянности смотрели на велосипед, словно ждали от него чего-то. Работница тоже смотрела. «Одно место», — подтвердила ещё раз. Застиранный казённый халат её, в карманы которого она привычно засунула руки, был цвета просветлённой сажи.

Присели, ощупали, нашли ещё одну бирку. Картонную, маленькую. Где цена и завод. На оборотной её стороне были пьяные качающиеся буквы: «Колька, параз... смотри у меня... Я тебе д...» Больше ничего не было. Дальше, верно, сил не хватило. «Гад!» — отвернулась от всех Калерия. Ноздри её побелели, вздрагивали. «Гад!» Стукала кулачком в кулачок.

— Ну, будет, Каля... Прислал ведь... Сыну... Не забывает ведь...

Но Калерия уже закусила удила, уже кричала: — Да он рубля нам не перевёл, рубля! — Не обращала внимания на вздрогнувшую, сразу испугавшуюся женщину. — Рубля! Письма не написал! Зато — «Вот он я! Пьяный! Купец! Жрите меня!»... Гад...

Калерия пошла с почты. Антонина и ребята, обтекая поворачивающуюся растерянную работницу, говоря ей «до свидания», тоже заспшили.

Антонина обрывала с велосипеда бумажки, верёвки. Бумага тащилась следом, с железа не отрывалась. На удивление много её оказалось, много. Тут ещё верёвки! Заталкивала всё в большой бак у выхода...

Калерия не оборачивалась, шла впереди. Точно не имела никакого отношения к тем, кто сзади. Которые спотыкались. Никак не могли прироваться к велосипеду. Колька и Сашка цеплялись за него с разных сторон, Антонина вертелась, перекидывала его из руки в руку. Велосипед словно водил их всех за собой, кружил на месте.

Когда проходили площадь, Калерия вдруг остановилась, чуть постояла и свернула к каменным лабазам, к магазинам. Все тоже свернули, продолжая кружить, ходить за велосипедом, как за маленьким, живым.

В притемнённом магазинчике глаза её перепрыгивали с одного товара на другой по полупустым полкам. И — выстрелила длинным указательным пальцем:

— Вот эти!.. Дайте. Сколько стоят? Какой размер?

На прилавок приветливая продавщица, будто родная сестра той, толстой женщины с почты, выдвинула сандалии. Красные, детские. Поправила их. Чтобы рядышком были. Чтоб красиво стояли.

Калерия хмуро вертела в руках сандалии. Сунула Кольке:

— На. На день рождения. Подарок.

До Колькиного дня рождения ещё полгода. Зимой он будет. В феврале...

— Всё равно. Заранее. Мы не нищие...

Колька принял сандалии. Потянул носом внутри их.

— Сладко пахнет...

Сашке передал. Сашка ощутил запах новых стелек.

— Вишнёво...

— Точно — вишнёво, — опять втянул носом Колька. Мать приказала примерить. Быстро отряхнул пятки, примерил. В самый раз. Даже на вырост впереди есть. Так и пошёл в новых сандалиях. Не отпуская, однако, велосипеда, держась за него. Вот привалило-о! За один раз! И сандалии красные, и велосипед!

Калерия теперь шла рядом. Лицо её независимо горело. Антонина поглядывала на сестру, прятала улыбку.

Велосипед хотя и был трехколёсный, совсем вроде бы детский, но какой-то — большой. Хватит ли ножинок Кольке? До педалей? Хватит, заверил Колька, теперь уже можно твёрдо сказать, — первоклассник, потому что через полмесяца в школу. И взобрался на велосипед. Чтобы опробовать машину во дворе.

На другой день (было воскресенье) Калерия, неостывающая, злая, ни к чему не могла привязать руки. Ходила по двору, искала дела. Начнёт что-нибудь, тут же бросит, забыв. И стоит.словно на раздвоенной дороге. Уходила на огород. Там бесцельно бродила. Опять не могла зацепиться взглядом ни за что. Возвращалась. Выносила зачем-то из сарая мешок. Шла с ним. Мешок волокся за ней, потом, брошенный, ложился, словно накрывшись

с головой от стыда... Избегала глаз Антонины. Боялась не родившихся её слов. Всё время как-то обходила её издали, большим кругом. Хотя надо было тоже перебирать с ней на засолку огурцы.

Антонина ползала по большой, брошенной прямо на землю клеёнке, разгребала кучу, отбирала хорошие, отбрасывала плохие, негодные в ведро. Зная сестру, спокойно ждала, когда пройдёт дурь.

Появлялись Колька и Сашка. Маленький Колька важно, не торопясь, вырубивал по двору. В красных сандалиях, в белых носочках с помпончиками — медленно вышагивали, опускаясь и поднимаясь с педалями, царские ножки. Велосипед был тоже медленный. Хвостатый. Как павлин. «О! — заорала Калерия, выстрелив в велосипедиста длинным своим пальцем. — Ха! Ха! Ха! Барчонок выехал на прогулку! Где только носочки откопал...» — «В сундуке взял», — ответил Колька, вышагивая с педалями. «Ха! Ха! Ха!»

Антонина любовалась. Сашка похудел от нетерпения, спотыкался сбоку от велосипедиста. «Ну, давай! Хватит тебе, хватит!» Колька говорил, что обкатка.

Наконец довольно рослый Сашка загонял под себя трехколёсный — и наяривал. Коленки мелькали выше головы! Ахнув, Колька кидался, тут же останавливался. «Обкатка же!..» — «Ха! Ха! Ха!» — опять кричала мать, с верёвки сдёргивая бельё. — Вот он — жмот! Шумихинский жмотёнок!»

К обеду ближе в первый раз пнула велосипед. На дороге тот у неё оказался. Потом ещё раз. «Не ставь куда попало!» — отлетал, падал набок велосипед. Колька подбегал. Подняв велосипед, рукавом отирал пыль с крыльев, с руля. Покорный, всё терпящий. Чего уж теперь, раз дура такая...

— Не пачкай рубашку! — орала мать. Колька уводил велосипед. Потом садился, ехал со двора подальше.

После обеда велосипед вынесла за одну ручку. На крыльцо. Как противную каракатицу какую вывернутую! (Он явно сам ей лез в руки.)

— А ну убирай! — чуть не кидала сыну. — А то сама вышвырну!

Колька подхватывал. Топтался, не знал, куда с велосипедом идти. Места велосипеду с Колькой не было. Понёс к сараю. Обняв, как подстреленную птицу.

Через час велосипед и Колька выехали из-за угла дома. С улицы. (Сашка интерес к этому велосипедисту уже потерял, не надолго хватило интереса, с матерью волохтал в корыте с водой огурцы.) Калерия подбегала. «Всё дерьмо на колёса собрал! Всё дерьмо! Кто мыть будет! Кто! Я?!» Колька осаживал, осаживал педалями на месте. Затрещину получил.

Антонина брала велосипед, отмывала колёса в бочке с дождевой водой...

— Не мой ему! — уже визжала Калерия. — Пусть сам моет, паразит! Са-ам!..

— Ты что — совсем сдурела? При чём ребёнок тут, при чём! На, велосипед разбей, докажи «гаду игарскому»...

Калерия подскочила, схватила. Неуклюже, высоко вскинула. Швырнула. Колька с рёвом побежал к упавшему велосипеду.

Антонина побелела.

— Дура ты, дура чёртова! — подошла к Кольке, взяла за руку, подхватила велосипед: — Пойдём, Коля. Не плачь...

— И пусть не приходит с ним! Пусть не приходит! — орала Калерия. Упала тощим задом на крыльцо. С раскинувшимися ногами, с провалившейся юбкой, раскачивалась из стороны в сторону, выла, стучалась в бессилии сжатыми кулачками по моластым острым своим коленям.

— Будь ты проклят, проклятый Шумиха! Будь ты проклят! О, господи-и!..

Сашка, забытый всеми, испуганный, не знал, куда идти. Пятился вроде бы за матерью, уходил и — словно бы во дворе оставался, испуганно глядя на родную неузнаваемую тётку. Потом мать и Колька вернулись, и мать отпаивала тётку Калю колодезной водой. Тётя Каля вцеплялась в руки матери, и зубы её прыгали, глодали плещущийся железный ковш.

Сведённые

С утра Мылов опять дёргал, словно подкидывал лошаде́нку возле двери в подвал. Директорша не выходила. Мылов матерился, подкидывал, пинал животину — а белая б... всё не выходила! Глаза лошаде́нки вылезали из орбит, раскинутые ноги, казалось, как палки, стучались о землю — а б... в белом халате даже не появлялась! Да ятит твою!

Во дворик очень близорукая забредала курица. Осторожно вышагивала. Выдвигала любопытную головку...

Молнией бросался Мылов. Чёрной молнией, одетой в сапоги. Мгновение — и квохтающая курица выколачивалась в его руках. А он в мешок её, в мешок. Невесть откуда выдернутый. И — озирается по сторонам, присев. Видел ли кто? Тихо ли?

Через минуту гнал лошаде́нку домой. Даже не замечая мчащихся во весь дух за телегой Сашки и Кольки. А те только и успевали увидеть (во дворе уже), как он тащил к крыльцу курицу. Тащил на отлёте, на вытянутой руке. Точно боялся её. А курица покорно, растрёпанно болталась вниз головой...

Выходила Чёрная. Шла с курицей этой и топором. Шла к сараям. Как всегда сердитая, будто отгороженная. Из тайной секты будто какой. Из подпольной организации. (Переживая, с крыльца тянулся головой Мылов.)

— А ну — геть!

Сашка и Колька отбегали от двери сарая. Чёрная открывала дверь настежь. Заходила в темноту... Через несколько секунд выбрасывалась оттуда безголовая птица. Которая начинала скакать по двору, выпурхиваться кровью. Потом, словно споткнувшись, падала. На бок. Сразу худела. Медленно царапала воздух лапой. Так и оставляла лапу в воздухе над собой... Ребятишки смотрели во все глаза. С раздёрнутыми, ожелезнёнными челюстями. Закрывать которые теперь, захлопнуть, казалось — не было никакой возможности. Чёрная гремела в сарае, затем выходила. Топор походил на отрубленный бычий язык! Сгребала птицу с земли. Шла, кропя за собой буро-красной строчкой. Так же сорила кровью на

крыльце, где суетился с тряпкой Мылов. Затирал за ней, затирал. Как баба. Потом захлопнулся, мелькнув чумными глазами...

— Ну что вы бегаёте за ним, а! Что вы бегаёте! — кричала из окна Антонина.

Ребятишки не слышали её. Ребятишки стояли как стеклянные.

Через два часа Мылов сидел на скамейке возле ворот. Просыпал мимо бумажки табак. Привычно пьяный. Брал бумажку и табак на прицел. Табак сыпался мимо. Мылов поматывался. Матерился. Упрямо снова всё начинал. Сашка и Колька уже ходили. Пыжились, прыскали слюнями. Мылов думал, что прохождение.

Через дорогу напротив у своих ворот стояла Зойка Красулина. Безмужняя, разбитная. С волосами, как сырой виноград. У которой не заржавеет. Нет, не заржавеет. Ни с языком, ни с ещё чем. Лузгала семечки. Кричала Мылову, хохоча: «На правый бери, на правый!» Глаз, понятное дело. (Сашка и Колька совсем переломились, колени их стукались о подбородки.) Мылов вяло ставил ей указательный, прокуренный: н-не выйдет! н-не купишь, стерва! Снова принимался просыпать. Попал. Насыпал. Эту. Горку. Начал скручивать. Слюна развесилась, как трапедия. Поджёт, наконец, мрачно задымливался. «О! — кричала Зойка. — Молодец! Осилил!»

Появлялся на шоссе Коля-писатель. Шёл, как всегда. Словно пол прослушивал ногами. В очках. По аттестации Мылова — деревенский порченый. Конечно, проходил мимо. Мимо своих ворот. Мылов — будто знойный песок начинал просыпаться, из себя весь выходя: «П-порченый!.. н-назад!.. К-куда пошёл!» Но — вырубался. Напрочь. Дымился только для себя. Как гнилушка. Коля смеялся. «Заблудился маненько». И непонятно было — кто? Кто заблудился? Мылов ли — пьяный, или он — Коля?

Зойка кричала Коле, подзывала к себе. Близко, без тени смущения придвигалась прямо к лицу его, смотрела в глаза жадно, нетерпеливо. Точно боялась, что он уйдёт. Уйдёт раньше времени. И говорила, говорила без остановки. И было в этом всё что-то от жадного любопытства женщин к дурачкам. От торопливого общения женщин с дурачками. Она словно ждала, хотела от него чего-то. Она торопилась, подыгрывала ему. Ему — как дурачку. В его же дурачьи. Чувствовала словно в нём безопасное для себя, но очень любопытное и захватывающее мужское начало. Которого у других мужиков, нормальных, нет. Только у таких вот. У дурачков. Виноградные волосы её... виноградный куст весь её... дрожал, серебрился, был полон солнца. Трепещущие глаза смеялись, видели всё: и белую рубашку, мужской стиркой застиранную до засохшего дыма, и остаток желтка от утренней, тоже мужской, яичницы на краю губы, и неумело подвёрнутый и подшитый пустой рукав рубахи, и глаза Коли за толстыми стёклами, как сброшенные со стены отвесы, которым бы уйти, уравновеситься скорей, но нет — приходится болтаться, трусить... «Давай хоть пуговицу пришью! Завью верёвочкой! Бедолага!» Зойка пыталась сдёрнуть с рубашки Коли болтающуюся пуговку. Смеясь, Коля отводил её руку одной своей рукой, этой же

одной рукой гладил потом затаённые головёнки Сашки и Кольки рядом (подбежали они уже, сразу же подбежали). Тоже говорил и говорил. Точно месяц не разговаривал, год. Словно хотел заговорить её, одарить, завалить разговором, как цветами, и пересмеять её, и перешутить... Потом, как будто глотнув света, счастья, шёл с ребятишками через дорогу к своему двору, обнимая их по очереди, похлопывая. Подмигивал им, кивал на Мылова. Который задымливался. Который не видел ничего. Вохровский картуз которого, как горшок на колу, был вольным...

Минут через пять Коля снова шёл двором. Только теперь к воротам, обратно на улицу. С папкой под мышкой, которую, наверное, забыл утром. Ребятишки преданно бежали к нему, чтобы проводить, но он их заворачивал и, смеясь, направлял к офицеру Стрижёву. Обратно. Стрижёв подвешивал руку над склонённой в согласии головой. Слегка поматывал ею. Что могло означать: здравствуй, Коля. Пока, Коля. Не волнуйся, Коля. Полный порядок, Коля. Снова упирал руки в бока над разобранным мотоциклом. Словно наглядно удвигал своё галифе. (Ребятишки уже заглядывали ему в лицо, определяя, какая будет взята сегодня им в руки деталь.) С любовью Стрижёв брал, наконец, в руку её. Деталь. Осматривал. «Принеси-ка, Село... лампу (паяльную)...»

Сашка и Колька сломя голову бежали...

...По двору Алла Романовна разгуливала в странном колоколистом коротком халате, пояс которого, вернее, полупояс, вырастал почему-то прямо из-под мышек и завязывался на самой груди большим фасонистым бантом, превращая Аллу Романовну в какой-то уже распавшийся, очень дорогой подарок. Из тех, которые красиво стоят в раскрытых коробках на полке в культмаге на площади. Алла Романовна очень гордилась своим халатом. Советовала Антонине шить такой же.

От своего крыльца Антонина распрямлялась с мокрой половой тряпкой в руках. Была она в расплывающейся кофте, в старой вислой юбке, галошах татарских на забрызганных грязной водой ногах. «Это ещё зачем?» И точно неотъемлемая часть её, матери, с таким же смешливо-презрительным прищуром приостанавливалась у крыльца и Сашка со своим кирпичом, ожидая, вслушиваясь. «Это будет лучшим подарком твоему мужу. Вот!» — выдавала гордо Алла Романовна. «Чиво-о?» — Дворовая собака-трудяга смотрела на балованного развратенького пуделька. Такая картина... «Да-да-да! — начинала спешить Алла Романовна. — Вот приедет твой Константин Иванович, вот приедет, вот приедет... а ты — в пенью-аре...» Она прямо-таки выцеловывала сладкое это словцо. Но увидев ужас в глазах глупой женщины, ещё быстрее частила: «Да-да-да! поверь! Поверь! И любить будет больше, и уважать! — И опять вытягивала губы: — Когда в пенью-аре...» В довершение всего она начинала как-то томно, и как сама, по-видимому, считала, очень развратно... оглаживать себя. Оглаживать как бы свой главный подарок мужу. Однако рядом как-то с ним, по бёдрам больше, по бёдрам. Поглядывала

на ошарашенную, с раскрытым ртом женщину. Как будто обучала её. Обучала её, деревенщину, искусству разврата...

Тоня с такой силой и поспешностью начинала шоркать крыльцо тряпкой — что во все стороны брызги веером летели. Алла Романовна скорее отосила колокол свой подальше. Шарнирно выбалтывала из него ножками. Точно кривоватыми белыми палками. «Деревня! Фи!»

Однако когда офицер Стрижёв дежурил у разобранного мотоцикла — всё менялось для Аллы Романовны. Она знала, что её ждёт. Она шла, замирая сердцем, к белью своему, висящему на верёвке.

Нутро Стрижёва тоже сразу подтягивалось, напрягалось. Заголенные ноги в галифе начинали пружинить, подрагивать. (Так пружинят, подрагивают задние бандуры у гончака.) Он будто уже и повизгивал!

Сашка и Колька сразу подавали ему деталь. Чтобы отвлечь. Ещё одну. Ещё. Не брал. Будто не видел. Отводил рукой. И уже шёл вкрадчиво к Алле Романовне. К этому пуделю. К этому пуделю Артемону. Ребятишкам становилось неинтересно. Стояли над брошенными деталями, ощущая и их обиду, стыдясь за Стрижёва.

Стрижёв что-то бубнил Алле Романовне, торопился, старался успеть, охраняюще выказывал назад большой глаз. Алла Романовна хихикала, нервничала. Руки, сдёргивающие бельё, плясали, как пляшут бабочки над грязью. «Вы меня смущаете, Стрижёв! Хи-хи! Смущаете! Тут же дамское бельё висит! Дамское бельё! Хи-хи! Разве вы не видите дамское бельё! Это же дамское бельё! Хи-хи! Стрижёв!» Стрижёв заглядывал за её большой квадратный вырез в пышных кружевах, как в коробку с тортом, бормотал: «Ну, вы же понимаете, Алла Романовна, я же, мы же с вами, как-нибудь, всегда, ради вас я, вы же знаете, не то что всякие там, мы же с вами понимаем, сегодня вечером, в десять, на уфимском тракте, никого, вы, мотоцикл и ветер, сами понимаете, я впереди, вы сзади, потом наоборот, вы впереди, я сзади, я же научу, вы же понимаете, кто не любит быстрой езды? Гоголь, сами понимаете». Алла Романовна вспыхивала и бледнела, быстро дыша. Ручки всё порхали над бельём. Белью не было конца. Всё шло и шло это сладостное взаимное опыление. Нескончаемое. Взаимное охмурение. Можно сказать, в райском саду...

Уходила на прямых, дёргающихся ногах. Высма тривала, кокетливо обскакивала лужи, грязь. Стрижёв выделял правой ногой, как рыбацким буром.

Возвращался к мотоциклу. С будто закрученным мозгом. Который колом вышел наверх, приняв вид его причёски. Когда он брал у Сашки деталь, руки его подрагивали.

Вечером мотоцикл начинал трещать. Минут пять. Испытательно. Стрижёв словно наказывал. Как хулигана за ухо выкручивал. Мотоцикл вил, колотился. Как будто на болоте, Сашка и Колька выбирались из сизого, едкого дыма. Сбрасывал, наконец, Стрижёв газ, полностью удовлетворённый. Шёл одеваться. Кожаная куртка, галифе — коже, острый шлем, большие очки. На руках — краги. Ехал со двора. Сашка и Колька бежали,

раскрывали калитку. В надежде, что прокатит. Но тут — опять!

Зойка теперь. Щёлкает свои семечки. У своего дома. Женщина. Постоянно возле ворот — словно давно и упорно ждёт своего суженого. Нестареющая, неувядающая... Стрижёв начинал подкрадываться на малых оборотах. Остановившись, широко расставив для баланса ноги. Как кот, чёрные начинал нагнетать хвосты. Дёргал, дёргал ими, нагнетал. Зойкины виноградные грозди оставались покойными. В вечерней остывали прохладе. Зойка скинула с губы семечковые кожурки. Шелуха Зойкой была сброшена. Стрижёв покатился от неё, как с горки, растопырив ножки, не веря. И — врубал газ. И — уносился, пригнувшись. С острым шлемом, как пика, устремлённый.

Через минуту проносился с длинной девахой за спиной. Как с остатками лихой бури на конце палки. Никакого движения со стороны Зойки. Опять летел. Деваха ещё выше. Другая! Зойка не видит, лузгает семечки. А-а! С горя мотоцикл пропарывал городок и нырял всё в ту же рощу. И — опять тишина над рощей. И только вечерние слепнущие птички вновь принимались густо перепутывать рощу солнечными тенькающими голосками.

Между тем Алла Романовна, в десять выйдя из ворот и увидев Зойку, — сразу начинала спотыкаться, забывать, куда надо идти. Как уже накрыв её, разоблачив, Зойка сразу кричала: «А-а! нарядилась! Ой, смотри, Алла Романовна! Ой, смотри! Будешь измываться над Колей — отобью-ю! Ой, смотри-и... Ишь вырядилась...» Алла Романовна переступала на месте, хихикала. Топталась, словно по разбитой, перепуганной своей злобе, которую никак не удавалось собрать обратно воедино, чтобы злоба опять была — злоба, злобича. «Да кому какое дело! Кому какое дело! Хи-хи-хи! Разве это касается кого!» А Зойка всё не унималась, всё корила, всё мотала своим опущенным красным ртом: о-ой, смотри, о-ой, смотри! «Да пожалуйста! Да забирайте на здоровье! Да кому какое дело! Да, хи-хи-хи!» Забыв про всё, она уже частила ножками обратно, во двор, домой. И почти сразу, теперь уже в раскрытое окно Новосёловых — из соседнего по стене — испуганно заскакивал голосок Коли: «Алла! Опомнись! Что ты делаешь! Не надо! Больно же!» — «На! на! на! — придурочно шипя, била его, чем ни попадя. — На! на! Урод очкастый! Будешь жаловаться всякой твари, будешь?! На! на!»

Антонина холодела, вскакивала. Кидалась, захлопывала окно. Не в силах отринуть всё, растерянно замирала, вслушиваясь. «Мама, а чего они?...» — «Рисуй! Рисуй! Не слушай...»

А ночью начинали драться вниз. Мылов и Чёрная. Дрались жутко, на убийство, на полное убийство. Как дерутся слепые. Затаивая дых, бросая табуретки на шорох, на шевеление. В полной тьме. Точно задёрнув шторы...

«Да господи, да что за гады такие кругом! Да что за сведённые!» Антонина стучала в пол. Выбегала, барабанила в окно. «Вы прекратите, а! Вы прекратите!» За стеклом разом всё проваливалось. Точно в подпол.

Утром в упор не видела Аллу Романовну, не здоровалась с ней, уходящей к воротам, хихикающей. Но когда Мылов появился из своей двери — бежала к нему, стыдила. Грозил милицией, заступала дорогу. Мылов начинал ходить вместе с ней, как на танцах, сжимать кулачки, трястись. Расквашенный шамкал ртом: «Я тебе не Порченый, не-ет. — Танец не прекращался. Оба ходили. — Я тебя, стерва, тоже ува-ажу. Будешь встречать...» Теряя голову, Антонина хватала палку. С напряжённой спиной Мылов бежал. Ворота начинали казаться ему ящиком без выхода, он залетал в него и долго тарабанился, прежде чем проскочить на улицу. Чёрная не выходила. Чёрная наблюдала в окно, сложив на груди руки. Потом задёргивала шторы.

Двору являла себя к обеду. После ночной драки — гордо смущалась. Как после полового акта, о котором узнали все. И который был полностью недоступен остальным — ущербным. Одной ей бог послал, одна она отмеченная. Отомкнув пудовый замчина на двери сарая, заходила внутрь. Шла с корзиной волгло белья мимо женщин. Шла всё с тем же гордым, завязанным в тёмный платок лицом, в котором не было ни кровинки, но и не единой царапины, *ни единого следа...* Да-а, испуганно удивлялись женщины-коммуналки, да эта башку оторвёт — не моргнёт глазом! Боялись её до озноба, до мурашек в пятках. Растерянно глядя ей вслед, храбрилась одна Антонина: «Я им всем покажу! Они меня узнают!»

Константина Ивановича машина сбросила у самого заезда в городок, и он заспешил по вечерней пустой улице, которая глубилась в домишки и тополя. Устало впереди над дорогой свисало солнце, похуже на усатый, веющий глаз старика...

Антонина в это время плакала в своей комнатке коммунального второго этажа. Приклонившись, она сидела к окну боком, точно слушала опустившуюся полутёмную яму, в которой сидела и откуда солнце давно ушло.

Константин Иванович свернул на другую улицу. Солнце засыпающее моргало меж деревьями, и он почему-то в беспокойстве поглядывал на него, поторапливался, точно боялся, что оно закроется совсем и упадёт. Просвечивая красные горла, тянулись к солнцу в щелях, прокрикивали засыпающие петухи. Точно ослепший, у забора сидел и бухал пёс.

Как дух, неслышимый, Константин Иванович тихо радовался у порога. Антонина увидела, вздрогнула. Хватаясь за спинку стула, поднялась, шагнула навстречу, тяжело обняла мужа, отдала ему всю себя. «Ох, Костя, что ты делаешь с нами! Мы ждём тебя с Сашкой! А ты... а ты... — Антонина глухо рыдала, освобождаясь от муки. — Кругом одни сведённые! Одни сведённые! Дерутся, мучают друг друга! А мы тебя... мы к тебе... Мы тебя любим! Костя! А ты, а ты не едешь! Почему рок такой?! Почему люди мучают друг друга?! Почему?! О, господи-и!...»

— Родная! Ну что ты, что ты! Зачем так изводишь себя? Всё образуется, наладится!

Удерживая жену, Константин Иванович пытался ей налить из чайника воды в стакан. Рука Константина Ивановича — ограниченная

временем, пространством, словно внезапно загнанная в угол — торопилась, тряслась, вода расплывалась мимо стакана. Константин Иванович всё старался, торопился. Словно от этого сейчас зависело всё...

По улице, где только что прошёл мужчина, пылающая бежала лошадь, не в силах вырваться, освободиться от телеги. Телега, словно живая, тащимая, неотцепляющаяся власяница, махалась, жалила бичами. И, как навеки привязанные, убежали за всем два пацанёнка. Обугливались, вспыхивали в обваливающемся солнце.

Поле для одуванчиков

Над грядками моркови, как слюда, висели стрекозы. Колька и Сашка напружинивались, чтобы кинуться. С приготовленными кепками в руках.

Ветер сдувал стрекоз. И снова выносил наверх. Опять, как живую слюду в солнце... Сашка и Колька бросались, падали на грядки. Без толку — стрекозы ускользали. Мальчишки лежали в махровой морковной ботве. Как будто в терпком, стойком зелёном опьянении, бьющем прямо в нос. Не решаясь поднять над ним головы.

— Вы опять там! Вы опять! — кричала тётя Каля со двора.

Мальчишки ползли. По канавке. Между грядками. Как ужи. Потом горбиком вставали. Будто что-то искали на земле. Жучка ли, гусеницу какую. «Вон карангуль, карангуль!» — кричал даже Колька, чтобы слышала мать. (Имелся в виду, по-видимому, маленький паучок из семейства тарантулов. Почему-то считающийся злейшим врагом огородников.) Однако «карангуль» как будто бы убежал, и ребята окончательно распрямлялись. Карангуля так и не поймал.

— Я вот дам вам сейчас карангуля! Я вот вас сейчас пруюм!

Калерия и Антонина стирали. В двух оцинкованных корытах. Как будто на корытах выступали.

Сашка и Колька крались по противоположной стороне улицы. «Куда?!» — кричала из двора Калерия. Мальчишки застывали. Разоблачённые. «А воды?». Колька предлагал рвануть. Не догонят. Сашка колебался. Антонина молча дёргалась над корытом. Не глядела на сына. Сашка не выдерживал, шёл. Брал два пустых ведра. Кольке всучивали одно, маленькое. Шли на дальнюю колонку.

Во всех дворах женщины стирали! Как обезумели! Сашка и Колька только подсакивали. От выплываемых помоев. Как от сырых дохлых кошек. Курицы сгруппа кидались. Но — разглядывали только дохнущую пену, не решаясь клюнуть... Дуры!

Когда обратно шли, два петуха подпрыгивали-дрались. Как две индейские намахраченные пики, в воздухе ударялись. И помоев на них не было! Сашка плеснул воды. Петухи побежали в разные стороны. «Зачем облил! Пусть бы дрались!» — заныл Колька. «Дурило!» — посмотрел на него Сашка. Снова подхватил ведра.

Сходить на колонку пришлось целых три раза. Пока не наполнили чёртов этот бак во дворе. Ну, всё? Мы пошли? Беспечно крутили головами по сторонам, старались не посмотреть на тётю Калю. «А развешивать?». Кольке сунули целый

таз с бельём. Колька закачался, опупел от таза. «Да ладно, Каля. Пусть идут», — вступилась Антонина. Таз сразу был брошен. Прямясь, поспешно уходили, точно подпinyaемые, подпinyaемые сзади. Радостью ли, испугом. Торопились по улице. Оглядывались назад. Всё не верили в своё освобождение. По всей улице женщины по-прежнему вышугивали помой — будто всё тех же драных кошек на дорогу выкидывали.

Поле спряталось на холме, на спуске к Белой, за Домом ортопедических инвалидов. Нужно было только пройти мимо него, глянуть с горы вниз и — поле... Когда ребята увидели его в первый раз — ахнули. Одуванчики росли сотнями, тысячами. Они словно встали перед Сашкой и Колькой. Как не здешние. Как тонконогие инопланетяне. Как только что прилетели откуда-то. Как ничего ещё не знали на земле... Колька кинулся с палкой: ур-ра-а-а! Залетел в самую середину. Начал бить пух. Как выдёргивать его палкой на все стороны и вверх. «К-куда?» Сашка догнал, вырвал палку, дал по загылку. «Чего, чего делаешь! Дурило!» Обратного выводил Кольку за руку. Оба задирали ноги. Боялись помять. «А чего-о! — ныл Колька. — Нельзя, что ли?» — «Нельзя. Понял?»

Сашка присел, протянул руки к одному одуванчику. С краю который был. Осторожно обнимая его ладонями. Одуванчик в самом деле был как инопланетянин. С любознательным взглядом в середине ловкого, лёгкого, нитяного шара со звёздочками. Шара тёплого. Живого. «Нельзя трогать...» — сказал ещё раз тогда Сашка.

...Пришедшие ребята стояли на краю поляны, как в первый раз опять смотрели бесконечно долго. А одуванчики поколыхивались на ветерке — как доверчивые глазки-пухлики...

— Не говори никому, — сказал Сашка. — Пусть стоят... Нетронутые...

— Ладно, — сказал Колька. — Никому не скажу.

По бурьяну ребята круто взбирались наверх, к Дому инвалидов. «Ортопедических», как их называли в городке. Потому что все они были больны ногами. Старались выйти от обделавшейся в овраг уборной подальше. Слепой плешкой монаха летало вверх обеденное солнце.

Чтобы увидеть ортопедических, сперва мужчин, вползали на карачках в полуподвальные окна. Как в русские печи. Осторожно раскрывали створки. Ортопедические — все в фартуках — колыхались над верстаками, как весёлые длиннорукие растения. Всё отовсюду могли достать: рваные башмаки со стеллажей, подметковую кожу, колодки. Слышался дружный смех. Кто-то один рассказывал. Колька пролезал дальше. Ух ты! — ещё что-то видел там. Еле успевал отскокнуть. Пропустить в полёт колодку. И дружный смех из окошка.

Сашка подбирал с земли колодку. Долго разглядывали. Нагая колодка походила на костяную ногу. Но без верхней её части... Обратную колодку бросали быстро. Как в колодец. И опять отскакивали. Точно боялись, что рукастые схватят их из окошка, утащат в подвал. Весёлые хохотали.

В трёх окнах над ними, как в пароход пряча руки, всегда сидели три человека по грудь. Вроде

портретов. И пароход их как будто не плыл никуда. Большими глазами три человека смаргивали очень медленно и редко. Реже, чем совы. Это были начальники. Ребята их не боялись... Хоть подпрыгивай, хоть шуми, хоть что...

Как работают инвалидки, в честь которых называли дом, увидеть было нельзя — стекло окон в пристрое, где находился швейный цех, было закрытым, матовым. Можно было только послушать из форточек горячую стрекотню машинок, пахнущую машинным маслом и детской байкой. Сашка и Колька послушали. Так выслушивали бы, наверное, люди возле тюрьмы: не вылетит ли ещё что сверху?..

Ребята пошли, наконец, дальше. И сразу увидели инвалидицу. Живую. С трущимися друг о дружку, точно связанными ногами. Инвалидка переваливалась им навстречу. Колька втихаря стал подталкивать Сашку, захихикал. Так и уходила она к цеху своему, сцепленно переваливаясь. А Колька всё не унимался, тыкал пальцем: «Как буква! Как Хэ-э! Как заглавная!» — «Чего смеёшься-то? Дурило!» Сашка смазал ему. Хмурился. Как Константин Иванович. Как отец. Не досмотрел. Упустил малого.

Время вокруг было большое. Всё наполненное солнцем. Его можно было замедлять. Его можно было убыстрять. Ребята шли. Сирень над заборами походила на деревенские рубахи. Тяжёлые хохлатые свистели вцеплялись в них, раскачивались, как колокольцы, — вниз головами... «Эх, рогатки нету!..» — спотыкался, пялился Колька. Сашка покосился на него. Ничего не сказал.

Во дворе почты ноги ребят опять замедлялись — стали, как останавливающиеся маятники часовых механизмов. Ребята увидели курицу. Курица была удивительна тем, что была одна. То есть одна совсем. Без своих соплеменниц. Она была как будто из не пойманных Мыловым. Не сворованных им. Она вышагивала с какими-то замираниями. Шагнёт и станет. Снова шаг, и лапу подожмёт...

— А курица когда идёт — сердце её шатается? — спросил Колька.

— Наверно, — ответил Сашка.

— А останавливается — тоже останавливается? Сердце?

Сашка смотрел на замершую курицу. Курица походила на бесколёсый велосипед... Честно признался — не знает.

И тут вообще увидели! Две большие чёрные овцы ходили вдоль забора и щипали траву. Разом остановились. Тоже уставились на ребят. Как две большие швейные машины... Боязливо Сашка и Колька пошли было, но овцы шарахнулись, разметнулись в разные стороны. Перегородили дорогу. Смотрели на ребят. Глаза их были жёлты. Налиты. Как серьги... Сашка и Колька осторожно двинули назад. Опять мимо курицы. Там швейные, здесь — бесколёсый велосипед! — Отшутнутая, курица пурхнула в сторону.

В своём дворе Сашка, поглядывая на крышу дома, начал гулиловать, вытаскивал из кармана

заготовленную горсть семечек. В слуховом окне чердака сразу появлялась пара голубей. Сашка бросал семечки на землю. Падая, как фанера, голуби слетали. Начинали бегать, жадно склёвывать. Сашка подсыпал. Голубка была дикой породы, сизая. А голубь, видимо, — бывший домашний. Потому что цвета пёстрого и с горбатым гордым клювом. Крылья дёргались за ним, как за гусаром сабли. Оголодал гусар. Сашкин запас склёвывали быстро. Всё, говорил им Сашка, больше нету. Голуби ещё какое-то время поглядывали на Сашку: может быть, ещё найдётся? Нету. Тогда голубь начинал ходить вокруг голубки, как помешанный. Круто втыкая хвост в пыль, — протаскивался. Раздуваемый мокрый зоб его был набит трескучими камешками. Он в это время, верно, был очень опасен. И голубка приседала...

— Топчет, — говорил Сашка.

— Зачем? — спрашивал Колька.

— Яйца заставляет чтоб снесла... А потом пискунья появятся... Надо заставлять их, чтобы неслись... потому и топчет...

А голубь будто не мог зацепиться, трепеща крыльшками, будто сваливался с голубки — и отпадал. Точно он ни при чём. И срывал вверх, с паузами, очень весомо хлопая крыльями. И планируя толсто. Как дельфин.

— Вот. Он теперь доволен. Заставил... — говорил Сашка.

Потом сами поели у Сашки на втором этаже. Как сказала им Антонина — разогрели кашу. Гречневую. Брикетная каша за тридцать копеек в большой сковороде шумела полчищем. Сашка добавлял маргарину. Поджаривали долго. Колька любил «чтоб отскакивало». То есть, чтоб «когда уже блохи».

После обеда опять продвигались по городу, наматывали ножонками, как самодвижущиеся часы. Самодостаточные. Которые могли на сколько угодно замедлиться, как угодно побежать.

Со страшными хлопками где-товерху за деревьями пролетел вертолёт. Вертолёт геологоразведки! Ребята рванули на площадь, чтобы увидеть. Но вертолёт уже нёзился с горы к Белой, как будто орёл тащил над горой корову, свалил с нею за гору, пошёл, видимо, там, над Белой... Жалко, конечно. Мало...

Собор был таким высоким, что всегда падал с неба... Лучше не смотреть. Сашка и Колька отступали от стены. Крутили головами. Чтобы всё там на место встало. Из раскрывшейся высокой двери вышли человек десять кинозрителей. Расходились быстро. Не глядя друг на дружку. Точно в кинозале переругались. Фильм назывался «Кошмар в Клошмерле». Билетёрша ждала у двери. Пока из зала выйдет вонь. Хмуро покашивалась на Сашку и Кольку. Высокими двумя створками двери увела с собой высунувшуюся темноту назад, в зал. У Сашки и Кольки денег на «Кошмар в Клошмерле» не было.

Возле угла собора, кипя чириканьем, в густоте куста протрёпывались воробьи. Как будто мыши в листьях ползали... Колька кинулся, саданул туда камнем — куст словно вздргнуло с земли ударившей вверх серой тучей. «Зачем?

Дурило?» — посмотрел на Кольку Сашка. Опять как отец. Как Константин Иванович. «А чего они... ползают?» — «Где ползают? Дурило?»

В сквере кругом висели шерстобитые тополя. Под ногами похрустывало пушистое белое одеяло... Колька втихую поджигал. «Зачем? Дурило?» — кидался Сашка, скорей атаптывая бегающие красные змейки. «А чего-о?» — тянул Колька: кидать нельзя-а, поджигать нельзя-а. «Для чего?! Зачем?!» — убийственные как бы ставил вопросы Константин Иванович. А если вдобавок Меркидома увидит — выскочит. Со всеми пожарниками. «Да не увидит. Спят они все там...» Ребята смотрели в сторону пожарки.

А на деревянной каланче, уже последние метры перед сменой, как пойманный, ходил боец. Уже как ненормальный. Уже никуда не смотрел. Ни на какие пожары. Только ходил. Вкруговую. Выйдет из-за угла и уйдёт за другой угол каланчи. Выйдет — и снова ушёл. Мимо него пролетали только вороны. Из двора, как из утробы, его бодрил капитан Меркидома. Раз-два! раз-два! Вот, отмечал Сашка, не спят. Ещё как вылетят. На всех машинах. Опять шёл по скверу, по-хозяйски оглядывая его. Чистый Константин Иванович. Колька хмурился сзади, спотыкался.

Сашка увидел отца на автостанции, уже вечером, когда домой возвращались. Константин Иванович выпячивался на землю из маленького автобуса с огромной картонной коробкой в руках. Телевизор! — догадались ребята и в следующий миг уже бежали... Константин Иванович, вытираясь платком, смотрел на телевизор: может быть, на коляске, на Сашкиной, попробовать везти этого... дурилу. Не дослушав, Сашка и Колька полетели к дому, как вихри.

По шоссе, в Сашкиной здоровенной детской колеснице коробка с телевизором тряслась и колотилась, как когда-то сам Сашка. Константин Иванович забегал с разных сторон, пытался унимать, удерживать, говорил, чтоб легче, легче, но железная колымага сама, казалось, подпрыгивала, без всякого даже участия Сашки и Кольки. Разбуженная после многих лет спячки, неостановимая. Как лихорадка. И Кольке с Сашкой приходилось только цепляться сзади за её ручку и колотиться вместе с нею. И невозможно было унять! Но — довели.

Телевизор этот больше смахивал на фотоаппарат на пенсии. Старинный. Из тех, что в ателье бываю. Уже без треноги. Отобрали. Который точно вяло вспоминал, чего он там внутри себя натворил, наснимал за всю свою жизнь.

К пришедшей поздно вечером Антонине повернулось с десяток счастливых детских мордашек, как блины омасленных сизым светом, с готовностью образуя ей в полутьме комнаты просвеченный коридор счастья, в который она должна посмотреть на далёкое крохотное светящееся оконце в тёмном углу, где что-то промелькивало, сдёргивалось и сплывало... Антонина так и села на табуретку.

Подошёл Константин Иванович. Деликатно потирая руки, смеиваясь, начал было объяснять, что, почему, где и как, но Антонина помимо воли

уже отстраняла его рукой, тем более что на экранчике мелькнуло что-то знакомое. Знакомое лицо. Точно! Он! Герман Стрижёв! Сосед снизу. Как он попал туда? Участвует в мотогонке. В кроссе. По пересечённой местности. Вот это да! Антонина всплеснула руками. Уже такая же дураковатая, как все. Блаженная. Уже родная всем, своя. Вот это да!

Между тем Стрижёв шагнул к мотоциклу. Это означало, что он уже выслушал всех представителей армии, партии и комсомола, ошивавшихся возле него, которые всё время молча заглядывали в телеобъектив. С вытянутыми бобовыми лицами. Точно в неработающую Комнату Смеха... И так. Стрижёв выслушал их. Очень могуче Герман Стрижёв начал надевать краги. Ну, он сейчас покажет всем, как говорится, кузькину мать! Вот Стрижёв! Вот молоточек! — оживились юные зрители и с ними Антонина.

И — началось! И понеслось: по грязи, по ямам, по горкам, то страшной теснотой, прямо-таки клубками, то разодравшись в цепочку, круто заруливая на маршруте, как парашютисты выпуливая из-за горок, тут же увязали в грязи, как инвалиды выделывали сапогами, помогая ревущим машинам, и неслись опять, и прыгали, и скакали. Где Стрижёв — понять было невозможно!

И только потом, в самом конце — показали. Без шлема уже, с раздрыганным чубом, всё лицо в брызгах грязи — держит хрустальную чашу, вцепившись в неё обеими руками, и вкось так, как шакал, лыбится. Ну, Стрижёв! Ну, молоточек! Первое место! Первый приз!

Уже на другой день Стрижёв стоял перед Зойкой Красулиной. Стоял с охапками цветов, как всегда натыранных в питомнике Горкомхоза за городом. Как будто соскочнул со вчерашнего экранчика телевизора. Правда, без венка, без чаши... Зойка цветов не брала, Зойка смотрела по улице вдаль. В ожидании своего Суженого. Тогда Стрижёв начинал совать их ей. Как грузин на базаре. Зойка спокойно откидывала цветы на стороны. Точно пряди своих волос. Мешающие смотреть ей вдаль и ждать своего Суженого. Ну что тут! Стрижёв шёл к мотоциклу. На полностью пистолетных, вздрагивающих. Резко осёдлывал мотоцикл. Давал газу — пикой уносился за очередной длинной. Длинной девицей. Чтобы пронестись с ней перед Зойкой — как со знаменем за спиной. Ребятишки на сарае горячо всё обсуждали. Зойка стояла, упёршись в столб калитки, выставив колено, лузгала себе семечки.

Через полчаса Стрижёв подпуживал на малых оборотах к Зойке. С девицей за спиной. Девица — выше шеста для голубятника! С тряпками! Чтобы гонять голубей! (Ребятишки сразу на места!) К Зойке будто продвигался цирковой аттракцион — девица верхом на мотоциклисте. На Зойку с разных уровней смотрели по паре глаз. Зойка не обращала внимания на подъезжающих. Зойка по-прежнему стояла, упёршись в столб калитки, скрестив руки. Колено было выставлено. Как молодой череп...

Со страшным треском уносился назад к закату Стрижёв! Девица болталась во все стороны, вспугивая голубей с проводов над дорогой! Уносился с

горя, конечно же, в дубовую рощу. Куда и канул с мотоциклом, с девицей, как камень. Бу-уль!

Поздно ночью по двору продвигался, рычал мотоцикл. Фарой словно расстреливал на крыше вскакивающих и падающих обратно в сон ребятишек. Один Сашка стоял, раскачивался, заслонившись рукой.

Мотоцикл бурчал в сарае, тряс там свет. Сашка продолжал стоять на сарае. Как будто на работающем, освещённом снизу аэроплане, готовом побежать, готовом ринуться в ночь... Но мотор глох, свет выключался.

— Чего не спишь, Село? — спрашивал из темноты довольный голос, переплетаясь с журчащей струей.

— Не спится, дядя Гера...

— Сколько тебе лет, Село?

— Десять. А что?

— Та-ак, — тянул Стрижёв, пускал заключительное, последнее. — Мал ещё... Ничего не знаешь...

— Чего не знаю, дядя Гера?

Стрижёв не ответил. Шёл к дому, застёгивался. Подкидывал себя на пистолетных легко, пружинно, гордо. Как многие мужчины после opravки.

— Спокойной ночи, Село!

— До свидания, дядя Гера!

Сашка ложился. Закидывал руки за голову, смотрел опять вверх. Возвращалось то, что спугнул мотоцикл Стрижёва.

...Сперва они с Колькой бесцельно мотались по голому двору самой ветеринарной станции. Глядели вдоль невысокого забора с поваленным уже, ржаво-перегоревшим бурьяном. Была осень. Почему-то думалось, что раз ветеринарная — то должно много всяких костей от животных валяться. По двору. Как от домашних, так и от диких. (А зачем, собственно? Валяться? Ну, просто так. Ветеринарная же.) Никаких костей однако видно не было. Ни вдоль этого забора, ни вдоль дальнего, где уже был спуск к изрытому картофельному полю.

Долго смотрели в обширную котловину в набившихся дымящих тучках, похожую на гигантское гнездо с синими, давно охрипшими птенцами...

Вернулись оттуда назад, к бревенчатому дому самой станции, стали смотреть, как дядя ветеринар готовится лечить лошадь.

Кобыла стояла, словно готовая к чему-то. Раздутая, подобно корзине.

Пока суетливые мужички заводили её в станок, пожилой этот дяденька ветеринар держал засученную белую сильную руку в жёлтой перчатке — как свой рабочий инструмент. Кверху. Посмотрел на ребят. Ребята кивнули, увавшись до размеров стебелёчков. Буркнул что-то, отвернулся. Строгий. Он был завёрнут во весь рост в прорезиненный фартук. Подошёл к кобыле сзади...

А дальше было невероятное, неправдашнее...

Он запустил в кобылу руку почти по плечо! Он переворачивал что-то внутри кобылы, пихал, двигал, точно на место, на место это что-то уталкивал! Прижатое к вздрагивающему шерстяному боку лошади лицо ветеринара напряжённо

промаргивало глазами в очках с одним колотым стёклышком.

Кобыла, взятая в станок да вдобавок одерживаемая со всех сторон мужичками в кепках, вздёргивала испуганно глазами. Вскрапывала, оступалась. Зад её приседал от боли, она стеснительно прущкала вокруг руки ветеринара. «Ну, ну, милая! Стой, родная, стой!» — тихо бормотал дяденька врач. Налетающий ветерок шевелил, вздыбливал седые клоки его волос, засалившаяся резинка вместо дужки пельменем оттопыривала его ухо. «Держите, мужички, держите!» — всё бормотал тихо ветеринар. Мужички старались, одерживали со всех сторон. Стоптаные сапоги мужичков теснились, сталкивались, как бобышки...

Потом ветеринар кистью руки отирал пот со лба. Вынутая из кобылы рука висела как окровавленный мазок. Он содрал перчатку, бросил на табуретку в таз. Толстая тётенька в халате, завязанном сзади, стала ему поливать из большого эмалированного кувшина. Он мыл руки и что-то говорил мужичкам.

Кобылу уже вывели из станка. Вся мокрая, она часто, освобождённо дышала. Сзади у неё — точно чёрный студень истекал кровью. Один дяденька, держа под уздцы, поглаживал её, успокаивал. Потом лошадь повели куда-то, а ветеринар всё мыл руки и говорил. Теперь уже тётеньке. И тётенька эта — смеялась. «Да ну вас, Сергей Ильич! Да ну вас! Скажете тоже!» Ветер трепал её халат, как капустные листья...

Что делал с лошадью этот дяденька-ветеринар? Зачем он залезал в неё рукой по локоть? По плечо? Почему всё это было так кроваво, жестоко...

Единый с чёрным ночным ветерком, как часть его, посапывал рядом спящий Колька. Сашка смотрел на холодные звёзды, и казалось ему, что это стыннут слёзы всех на свете людей... Он словно предчувствовал, что скоро что-то должно потеряться для него, потеряться навек, никогда не вернуться... Звёзды начинали вспыхивать, мельтешиться, гаснуть, и Сашкины глаза закрывались.

По утрам, словно осыпаясь саблями на землю, из-за сопков к Белой выходило солнце. Поле одуванчиков на склоне горы начинало сразу просыпаться. Плоские туманцы стаивали, как простыни. Между одуванчиками образовывались и повисали города лучей. Многоцветные, всё время меняющиеся. Одуванчики как будто выказывали перепутанные калейдоскопы друг дружке... Потом прилетал первый ветерок, и они трепетали на длинных ножках, лёгкие в сферическом своём сознании, не обременённые ещё ничем земным, смеющиеся, радующиеся солнцу. Свободные и вольные в своём небольшом, замкнутом пространстве...

Уборная Дома Инвалидок расшиперилась наверху, рядом с полем. Это — если смотреть с реки. Экскременты слетали с самой верхушки горы прямо в овраг, пробили, прободали себе дорогу в виде чего-то непотребного, женского, стыдного... Слезящегося на солнце... Одуванчики не знали об этом. Одуванчики пошевеливались на длинных ножках. Одуванчики трепетали в ветерке, радовались солнцу...

Кобелишка старался. Сука попалась очень высокая. Сперва он прыгал на неё с крыльца аптеки, с первой ступеньки, будто осёдлывал лошадь, вёзся на её зад, но сука неожиданно сама стала, и он, загнувшись, вцепился, наконец, куда надо, радостно заработал. Подпрыгивали, выбивали чечётку на шерботой половичке задние ножки. Только бы стояла. Кабысдох поторапливался, вытрясывался красным язычком. В полном одиночестве. Без соперников. Повезло. Надыбал или начало течки, или её конец. Старался. Иии-ээээх!

У суки была узкая жалкая морда. Обвисла она той самой печальной терпимостью, которая бывает только женского рода. Которая всему миру как бы говорит: ну что ж, я покорна, раз есть у меня там что-то сзади, то всегда найдётся кто-то на это что-то... Может быть, так и нужно для круга жизни. Ещё как! ещё как нужно! — трясся кобелишка.

И — вот они! Конечно! Сашка и Колька! Из прогулка вышли. И — как остолбенели. И не то чтобы впервые увидели такое, а как-то другими глазами...

— Топчет, да?... — спросил третьеклассник Колька.

Сашка уже перешёл в пятый. Сердце его странно толкалось в груди...

— Да нет, вроде...

— А чего? Заставляет, да?

— Да не знаю я! По-другому у них всё...

Кобелишка в последний раз вцепился, загнул из всех силёнок и сверзился с суки, уже зацепленный, оказавшись на передних только лапках и в другой стороне. И застыли они. Как уродливый тянитолкай. Она на север, он глубоко понизу — на юг...

— Чего теперь? А?

— Не знаю...

Тут откуда-то появились на дороге пацанёнки. Выселские. Шпана. Разом увидели:

— Склезились! Бе-ей! — Полетели камни в собак.

Сука испуганно кинулась в щель приоткрытых ворот. Ворота аптеки. Повязанный с ней кобелишка замолотился в досках, завзвизгивал гармошкой. Улетел. Камни застучали по воротам. Сашка и Колька сразу начали вышагивать туда-сюда. Как и собаки — метаться. Сразу забыли все дороги. Но выселские прокатились мимо, дальше почесали. Глазёнки выселских были шальные, знающие. Весёленькие в онанистических своих слёзках. На встречных женщин выселские поглядывали нагленько. Разоблачающе. Посмеивались. Дескать, знаем мы про вас, сучки, всё! На вас всех надо... с винтом! Гы-гы-ы! Женщины возмущённо передёргивались. Невольно оборачивались, спотыкались. Как будто мгновенно раздетые. Раздетые прямо на ходу. А выселские убегали. Всё похихатывали. Потрясывались кукайшками. Давно грязными. И лихо матерились.

А на другой день калейдоскоп городской точно поворачивался кем-то на несколько градусов. И уже другая группа пацанят чесала, по другой дороге, вдоль реки. С удочками группка. Человек из семи-девяти. Серьёзная.

Вдоль крутых взгорий слева тянулись прочерневшие от старости дома, слезящиеся, как старики. Возле одного дома на скамеечке сидел настоящий старик. На фоне чёрной стены — как живой сахар. Опираясь на палочку, бодро покручивал головой в разные стороны. Видел, как по улице ребятишки чесали с удочками, в кепках торчком — как будто тесный, танцующий поплавок клёв убегал по дороге... Старик смеялся. Не выдерживал, кричал дрожащим голосом: «Эй, ребяточки! Клёв!»

Рыбаки останавливаются: где клёв? Оглядываются кругом. Смотрят на старика. Старик заходит в смею. Совсем. Машет рукой. Белый, он как будто смеётся в последний свой раз, как будто исчезнет сегодня с земли, без следа растает в чёрной этой стене за его спиной. И останется только дом, один дом, без него уже, без старика... «Клёв-ёт! Ребятишки-и!» — взмахивает он рукой. Слово уже без воздуха. Странный старикан какой-то. В неуверенности группка набирает скорость. Отворачивается от старика. Бежит. Опять как бы начинает танцевать на шоссе небывалый клёв.

Сашка бежит. Сашкин свитой чуб (село) трясётся. Сашка серьёзно поглядывает из-под чуба. Сашку, как матку преданные пчёлы, окружают огольцы. Теснятся к нему.

Как всегда страшно тарабанься, на забор выпулывала удивлённая головёнка:

— Село, вы куда?

— На Белую, — коротко бросал Село. «Село» тряслось, имело вид автогенной горелки.

— По-бакальному рыбачить, да, Село? По-бакальному? — Малец уже бежит рядом. Малец уже уточняет, сам — как маленькая баклешка.

— По-бакальному, — коротко подтверждает Сашка. По-бакальному означало: удилишко, леска, кусочек пробки, крючок-заглотыш, на крючке муха обыкновенная. Пойманная с вечера быстрой пригоршней. И — по-бакальному. Только лески утрянную заводь стегают. Рыбачки все — как пригнувшиеся пауки, выпулывающие свои паутинки. Вщить! Вщить! Вщить! «Куда? К-куда закинул!» — «А чего-о, это моё место!» — «Я тебе дам моё-о...» Где у одного только клюнуло — все туда. Разом. Без грузил хлещущие о воду пробки успевают только просвистывать. Шмелями. Куда-а?! Я тебе да-ам!... Это — по-бакальному.

К обеду разводили костерок и совали к огню потрошёных баклешек. Прутики быстро обгорали, ломались, баклешки падали в золу. Обгорелых, полусырых, без соли, их ели, кидая с руки на руку, восхищённо мотаясь головёнками. Губы и пальцы становились клейкими и чёрными, как после черёмухи. Некоторые забредали в реку отмывать. Другие оставались так, усатыми: закинув руки за голову, помахивая с ноги ногой, на гольце — ленились. Река блёсткала, как селёдка. Кучевые облака расставлялись над ней, будто государства. Большие, малые, совсем малюсенькие.

Потом купались. Ложились на горячий песок. Загорали. Сидели, упёршись руками за спиной в песок. Отпечатанные песком. Как золотящиеся песочные часы под солнцем. С криками, с воплями бежали в воду. Ныряли, играли в догонялки. И снова сидели под высокими, необъятным синим

миром рядком песочных золотящихся часов. Смотрели, как за рекой протягивало бело-цинковые косы ив, как вверх по реке, зарываясь в течение, словно спиной уталкивался буксир.

Ветерок гнал по реке мелконькое маслецо волн. Возле берега похлопывали в нём две коричневые железные баржи, стоящие в караван, «Бирь» и «Сим».

Володя Ценёв, шкипер «Сима», побывав в «Хозяйственном» и на базарчике рядом, всходил на баржу с ящиком денатурата и ведром картошки. Под мощной поступью Ценёва трап качался почти до воды, как пластмассовая линейка. Потом Володя выходил из камбуза, упирал руки в бока и оглядывал пустую палубу «Сима», словно прикидывал, чем и как её можно загрузить. Обритая жёлтая голова его имела форму тяжёлого снаряда. Тельняшка его была, как консервы. (Консервы моря, естественно.) О брюках и говорить нечего. Раструбы. Диаметром в пятьдесят сантиметров.

Ближе к вечеру он надевал на голову мичманку, поверх тельняшки пиджак и шёл в город, в артель инвалидок. Тапочек, как он их называл. С двумя бутылками денатурата, торчащими из карманов.

На короточках в перекуре, посреди дров, грузчики-бичи смеялись: «Володя пошёл тапочки шить!»

Поздно вечером, возлежа у костров среди древесных чёрных призраков работы, — видели Володю с инвалидками и сразу кричали: «Поря-док! Володя тапочки сшил! Молодец!» Хохотали, запрокидывали свои портвейные.

Под хохот этот и запрокидывания бутылок, мощно, с двумя Тапками под мышками всходил на баржу Володя Ценёв. Громко пел. Висящие Тапочки повизгивали над водой, дёргали бледными ножками. Поставленные на палубу, торпливо колыхались за Володей. Как ехали на осьминогах. Володя брал их по одной и складывал куда-то в трюм. С фонарём «летучая мышь» сам лез... И, словно Водяной со дна реки, начинал трубить в пустую баржу как в рог!... Бзууууу! Бум-бум-бум! Бзууууууу! Бум-бум-бзуууууу!

В нетерпении пацаны кидали камни. Как только баржа утихала. По железному борту... И внутри вновь начиналось что-то невообразимое!..

Сашка Новосёлов никогда не кидал камни. Сашка Новосёлов, потоптавшись в неуверенности, отворачивался от баржи. Смотрел, как от хохота расплёскивают свои портвейны бичи. Как их голые толстые пятки топчут низкое небо. Потом шёл домой.

Колька догонял, вязался со всех сторон. «А чего ты? Из-за Галы, да? Из-за Галы?..»

Сашка молчал. Уходил с берега. К горе, где было поле одуванчиков. Колька приноравливался в шаг, сочувственно вздыхал.

В прошлом году, тоже летом, у Чёрной и Мылова появилась в квартирантках придурковатая девка, Галька, лет восемнадцати-двадцати, с фигурой однако сорокалетней, матёрой тётки. Когда она проходила по улице — здоровенная, перекатываясь громадными мясами под тонюсеньким, готовым лопнуть ситчиком, — мужичата

на скамеечках сразу обрывали разговоры и с дуристой прикидочкой мотали головами: тов-ва-ар! Мяса-а! Поворачивались к Мылову. Как к хозяину сей достопримечательности. За разъяснением. От перевозбуждения Мылов сначала цыргал, цыргал. Сквозь зубы. На землю. Как кресалом давал. Потом только хитро зашуривался. Он, Мылов, знает тайну. Неведомую другим. Тайну не только про эту девку, ставшую к нему на квартиру (что девка!) — вообще тайну про всех женщин. Про баб, значит. Глубинную. Про их секрет, значит. Если по-русски. Про их деталь. Которую затронь, значит — и... и, значит... Руками Мылов как бы начал натягивать вожжи. И цыргал опять, цыргал. Как всё ту же пустую искру на землю высекал...

На другой день, подпустив во двор эту не совсем нормальную девицу, Чёрная злорадно наблюдала из окна, как та ходила по двору и всем обитателям его от четырёх до восьмидесяти лет объявляла, что она деушка и что называть её надо Галой. Не Галькой, не Галей, а именно Галой. Подходила и каждому втолковывала. Гала. Гала я. Деушка. Обитатели двора в растерянности улыбались. Не знали, что ответить. Странно, конечно, это. Но кто же спорит? Гала так Гала. Охота быть Галой — будь. А она поворачивалась уже всем телом за Стрижёвым. Как распадающееся солнце. Плеща руками. Офице-ер. Краса-авчик. Стрижён точно никак не мог обойти её, пройти к своему разобранному мотоциклу. Присел, наконец, к деталям: корова! А маленький Колька Шумиха, увидев, как Гала плывёт к крыльцу теряющим сознание пухом (Офице-ер!), узрев воочию её ляжки, не прикрывающиеся сзади платьём — с испугом произнёс: «Как облака уплывают... Облакастая Гала... А, дядя Гера?» Но Стрижён только буркнул во второй раз: к-корова! Не глядя ни на какую Галу. Как глубоко оскорблённый. Обиженный. Не соображая даже — что за деталь у него в руках. Куда её.

Чтобы перехватить теперь офицера Стрижёва (красавчика!), стала дежурить по утрам за воротами, с улицы, запрятывая себя в ворота меж столбов. Прямо-таки расплывалась по ним. Затаивая дыхание, хихикала. Чтобы выскочить оттуда девочкой: вот она я! Гала! И засмеяться. Стрижён выглядывал на улицу из окна по-военному — быстро. Один раз. Достаточно. Полудурья. СтоИт. Позорит. Через минуту протрескивал забор. Тихо. За дальними сараями. Порядок. Обходной манёвр. Гала ждала. Раскинув руки по воротам. Дышала глубоко, мощно. Платье свисало по воротам как обширная листва дерева.

Гала работала на хлебозаводе и ходила на танцы. У Галы была подруга Вера из Дома инвалидов, очень худая и раскосая девица. Ноги у Веры походили на две клюки — не сгибались и не разгибались во время ходьбы. Очень интересную походку имела Вера. Вечером, как только духовой оркестр призывно взмывал над притихшим, ссутулившимся городком, Гала и Вера облизывались губной помадой, надевали белые носочки под чёрные туфли на широком каблучке и шли в городской сад на танцы.

На танцах Гала знакомилась так: дерганет за руку мужичонку к себе и выдохнет: «Я — Гала!»

Начинала с ним танцевать под музыку. Тяжело, весомо ходила под фокстрот. Подруга Вера ловко убегала на клюках. Тубист косил. На ляжки Галы. В мундштуке брошенные губы выделявали, как жабы. Сами по себе. Четверо трубачей меланхолично залюливали к небу. Ляжек Галы видеть не могли. Видели их только в паузах. Когда начинали бомбить по низам баритон и туба. Но это длилось недолго, приходилось снова подхватывать мелодию, меланхолично залюливать её к пустеющему предночному небу.

Уже за полночь, когда луна чистенькой чепчиковой старушкой, кряхтя, забиралась в прохладное облако и читала на ночь газету... с танцев домой возвращалась Гала. Чёрной тенью без лица и голоса к ней пристёгнут был неизменно какой-нибудь мужичонка. А к чему лицо, к чему голос? Гала сказала: ваш намёк поняла — так что теперь изехх! как бы.

Перед воротами останавливались. Гала говорила: «Ой, чё-й-то холодно сегодня... А?» Как бы тоже намёк давала. «Дык навроде да, а нет, так навроде нет, — поспешно отвечала мужичонка тень. — Бывает... к примеру, как бы...»

А на сарае во дворе уже услышали, уже возня поспешная, уже штук шесть мальчишечьих головок выкатываются на край крыши, в первый, так сказать, ряд. (Сашка Новосёлов пытается урезонивать, оттаскивать, вернуть всё назад: давайте рассказывать, дальше рассказывать, ну её! Не тут-то было!) Открывается калитка, и во двор, как в сизый сон, вливается Гала и мужичонка. Останавливаются. Гала молчит, смотрит на луну. Мужичонка тоже молчит, куда смотрит — не видать. Потом вроде посторонние, будто нездешние, вытягиваются друг к дружке губами — и чмок! Как если стрелу с присоской от стены отдерёшь — такой звук. На крыше оживление: это уже был поцелуй, для начала ещё невинный, ангельский, пресловутый как бы. Дальше, дальше, Гала, давай! (Сашка снова начинал — его не слушали.)

Гала хватается мужичонка в охапку и впивается в него губами. Точно вытянуть у него все внутренности — такая задача. Все, как есть — до последней кишочки! Но сколько ж можно вытягивать: минута, другая вон пошла. Наконец головами замотали, замычали и будто из пустой шампанской пробку выдернули: бздунни! — разодрались. Мужичонка стоит, весь вибрирует, явно не узнаёт данной местности. Это поцелуй уже серьёзный. Любовный как бы. Как в кино. Ребята видели не раз. Серьёзный поцелуй, чего тут скажешь.

А Гала опять хватается мужичонка и, мыча разъярённой немтой, начинает жевать его лицо. Натурально хавать! Мужичонка откинулся, изогнулся, вот-вот переломится, зигзаг тела, однако, держит, изо всех сил блюдёт: положено! И вдруг вообще рванулись гранатой! Мужичонка оглушён, потрясён до самого дна, до самой последней кишочки — стоит, головой трясёт, как после контузии. Такое пережить! Так-кое! И они, как быки на бойне, получившие колотушкой хорошего разá в лоб, медленно идут заплетающимися ногами, качаются, вот-вот лягут на землю. Но тут — крыльцо...

Гала валится на крыльцо, выпускает все свои облака и глубоко говорит в ночь: «О-о-о-у-у!»

Аж луна испуганно высовывается из облака! Мужичонок засуетился. Что-то с брючонками у него там. Над сараем — кошачьи перископы. Как по команде, натягивались рогатки. Командир-пацифист Сашка метался, бил по рукам, не давал стрелять. Не смейте! Рогатка Кольки шлИскала-таки. Камушек летел метко — словно взрывал рёв полудурьи. «Ах ты, паразит проклятый! Ты опять меня-а!» Полудурья отбрасывала мужичонка. Медведем неслась к сараям. «У-убью-у!» С треском слетел штакетник на пути. Покатилась, матерясь, возится на карачках. Ребятня сыпанула с сарая — и дай бог ноги!

Потом на улице ребят как-то странно трепало, они икали, подхихикивали, больно сводило животы у них.

На другую ночь всё повторялось: Сашка метался, не давал, команда не подчинялась, шлИскала рогатками — и осыпались все с сарая, чтобы драть куда глаза глядят.

Распластавшись, вися на воротах деревом (на предмет поимки Стрижёва), Гала медленно, обиженно выжёвывала проходящей Антонине: «Я вашему Сашке яйца повыдавлю. Как его поймаю». Антонина бледнела: «Только попробуй, мерзавка, тронь мальчишку! Только попробуй! Пальцем!» Антонина шла во двор, вся колотясь. «А чего он пуляется-а?..» — закатывая глаза, всё жевала полудурья, продолжая висеть в воротах, как на кресте.

Дома Антонина всверливалась, всверливалась кулачком в упрямый затылок Сашке. Косясь на раскрытое окно, всверливала свой страх, свой ужас: «Она же ненормальная! Она же на учёте в психбольнице! Ей убить — раз плюнуть! Ей же ничего не будет! Понимаешь ты это, осёл ты этакий!» Выдыхалась. Лихорадочно искала ещё чего бы сказать. Последним доводом всверливала опять в мотающуюся голову с чубом: «Её Стрижёв боится! Стрижёв! Офицер! Через заборы прыгает от неё! Понимаешь ты это! Стрижёв!». Падала на стул, в безнадежности начинала плакать. И отец опять не едет! Опять не едет! Слезы струились по лицу её будто жиденькие локоны. Сашке всю душу выворачивали. «Ну, мам, не надо... Не буду я... Да и не я это... Ребята... Не слушают меня...» — «И чтоб не спал больше на крыше, слышишь! чтоб не спал!» — стукнулась кулачком в колено. Некрасивая, слезящаяся... опять вся как жидкие локоны... «Слышишь!» — «А Колька?..» — «И Колька, и Колька! Я видела у него рогатку, видела! Сегодня же Калерии скажу, сегодня же!» Глаза её вдруг точно сами стали подвешиваться к потолку: «Она же убьёт, понимаете, убьёт!..»

Сашка не стал спать на крыше. И Колька, естественно, тоже. Получив вдобавок от матери, от Калерии, хорошую взбучку.

Но рогатки, конечно, и без них стрелять по ночам продолжали.

От июльских, уходящих пыльными стадами закатов, словно услышав ежевечерние мольбы к ним Антонины, приезжал Константин Иванович. Последний автобус, подсвеченный солнцем, голенастый, вытануто искажённый, прыгал и прыгал

оттуда к городку — как будто вечный какой-то, с поехавшей крышей комар скакал и скакал за своей недающей, упрыгивающей и упрыгивающей тенью.

...В смущающейся тихой радости суетились, прятали друг от дружки радость встречи. В гаснущей с закатом комнате не включали света. Константин Иванович выкладывал продукты, Антонина бегала на кухню, чтобы там греметь кастрюлями, один только Сашка стоял на середине комнаты, возле отца, в какой-то раскрытой радостной растерянности колокола, ожидающего, что сейчас в него зазвонят, безотчётно передвигал по столу свёртки, банки, которые выкладывал и выкладывал отец.

— Что же свет-то не включаем? Что же свет-то?.. — Антонина щёлкнула выключателем, замерла на миг, как будто пойманная в своей радости, незащитная в ярком свете, и снова убежала на кухню, прятала там своё счастье.

С улыбкой глядя возле себя, счастливым неудачником сидел Константин Иванович за столом в ожидании ужина, которым его угостят. Сидел, потирал руки, всё с той же взволнованной улыбкой неудачника, заверяющего себя постоянно, что он, неудачник, счастлив. Да, счастлив. Счастливый, значит, он неудачник. Счастливый. Возвратил себе взгляд, оживился, украдкой оглядывал комнату в статусе всё того же гостя, не бывшего здесь сто лет, потирал опять руки, говорил что-то, о чём-то спрашивал Сашку — в вечном своём, священном даже статусе гостя, статусе неудачника. Сашка не сводил глаз с отца, конца радости встречи не было...

Они смотрели, как он ест, нахваливая щи, мотает белым костром своих волос и закатывает глаза. Ммммм, ши-и! Они смеялись.

Сашка лежал в простенке своём на диване в темноте. Ему не казалось странным, что взрослый мужчина лежит на кровати рядом с взрослой женщиной. Что на одной кровати они. Наоборот. Находясь словно бы под одновременным, тянущимся уже годы семейным гипнозом, Сашка по-семейному радовался, что отец лежит на кровати рядом с матерью. Что вместе они. Сашка посматривал в сторону кровати, улыбался. Потом уснул.

Спала и Антонина, охватив грудь мужа, как землю обетованную. Константин Иванович боялся шевельнуться, глубоко вздохнуть. Осторожно перекладывал голову жены на подушку.

Курил у окна. Над двором из облачков протекла луна. Двор трепетал, как рыболовная сеть. Приблудная собачонка на дальнем конце двора влзала, не узнавала луну, сердилась.

Тут послышался какой-то шлепок. Под окнами, внизу. Точно что-то шлёпнулось в тесто. Поспешная яростная там возникла возня. И впервые увидел Константин Иванович, как какая-то здоровенная бабища с проворностью медведя побегала, покатилась к сараям, глухо матерясь, как от неё, как от суки кобелишка, отрывался, отлетал тщедушный мужичонка, как по сараям, по крышам заскакали голоногие пацанёнки... Взвизгнула отпнутая собачонка, с треском на забор взметнулась медвежья туша и глухо ухнула за забор.

«У-убью!» Покатилась там где-то. Да что же это такое! — успел только удивиться Константин Иванович. Как и брошенный мужичонка, который так и остался на дворе. Потрясённый, растарашенный, как таратайка... Хотел было Константин Иванович даже попенять ему. Мол, как же так, мужик? Неужто другого места не нашли? На что, мол, это похоже?... Но почувствовал беспоконные, бредящие, как лунатические, руки жены, которые словно начали заговаривать его, умолять и которые увели его от окна.

На другой день, в воскресенье, он сидел за столом с другом своим Колей-писателем и, точно упрямо убеждая и его, и себя, вёл такой разговор: «...Да мы привыкли жить! Привыкли! Просто привыкли — и всё. А где привычка — там уже скука, занудливость. Возьми вон Сашку. (Константин Иванович мотнул оттопыренным большим пальцем на раскрытое окно, в сторону сараев, где Сашка с пацанами в это время скакал куда-то по крышам, куда-то прокрадывался.) Его вон возьми — для него каждый день внове, каждый день событие, а то и праздник. Он не привык ещё. Он не говорит, что жизнь летит — не остановишь. Ведь по сути человек живёт очень долго: пятьдесят, шестьдесят там, семьдесят лет. Ведь это очень много лет и... немного, мало. Для нас мало, понимаешь? Мы привыкли. Не замечаем, как жизнь пролетает. Вот в чём парадокс! Прожить жизнь — это искусство. А много ли ты помнишь дней из зрелой своей жизни? А вот он... (Константин Иванович опять помотал большим пальцем, как загнутым мундштуком трубки, в сторону сараев, где по-прежнему наблюдались какие-то пригнувшиеся перебежки, прыжки... В войну, чертенята, играют, улыбался Константин Иванович.)... Да... а вот он помнит. Потому что привычки ещё нет... А мы... целые месяцы, какой! — годы, как в тумане. Куда делись — ведь жил же, чёрт побери! А их нет — исчезли, как и не было... И вот листаем только календари. Листочки обрываем... А вот он...» Константин Иванович хотел было опять помотать загнутым... но глянул на друга...

Коля слушал невнимательно, невпопад поддакивал. Однорукий, напряжённый, удерживал уцелевшей левой рукой стакан. Всё время прислушивался. К раскрытому окну. Только не к тому, куда указывал всё время Костя, а к другому, окну своей квартиры, невидимому отсюда, которое соседствовало с окном Новосёловых по стене, откуда доносилось что-то неприятное и злое — там, в комнате, что-то двигали и ударили... «Коля, да брось ты, в самом деле, — хмурился Константин Иванович. — Что же тебе — с товарищем поговорить нельзя?... Чай ведь пьём...» Коля посмотрел на стакан в своей руке, стиснутый им до побеления пальцев — точно, чай, поставил его на стол, рассмеялся. «Да понимаешь, Костя, обиделась она на меня маненько. Маненько обиделась. Да. Вот и... бушует...» За стеной что-то провезли и опять ударили. Прямо в стену. Константин Иванович постукивал пальцами по столу. С укоризной почему-то, даже обиженно поглядывал на Антонию, жену.

А та давно уже ничего не слышала, кроме этой демонстративно-злой возни за стеной. Пригнувшись, напряжённая, готова была заплакать. Торопливо протыкали пряжу спицы. Пряжа металась в руках её точно терзаемый усатый мыш. Вдруг всё за стеной смолкло. Разом. Это даже удивило всех. С облегчением Константин Иванович хотел продолжить рассуждение, вновь точно возвратился к дороговому, светлому, затыкал было выгнутым своим в сторону окна: а вот он, Сашка, каждый день... и осёкся, потому что жена вскочила и завывалась взглядом куда-то за него, Константина Ивановича, куда-то во двор, к сараям. Тоже посмотрел. И начал приподыматься: что такое!

А в углу двора между тем, возле помойного ящика, некое действие, получив поощрение, на виду у всего двора шло уже к своей кульминации, набирало наглядную остроту. Мылов с растёгнутой шириной растопыривал руки. Мылов старался уловить Галу. Загнать её, значит, в угол. Сизый фаллос его болтался, как минтай. Он попытался водрузить его на Галу, как бы примерить — и упал. Улетел за ящик. Стал невидим. С крыши сарая за ящик тут же посыпались камни...

Сама Гала продвигалась уже к дому. Ноги её заелозивали. Точно сами в себя. Она смущённо-радостно отягивала вниз платье. Коммунальные потрясённые зрители раскрыли рты по окнам. Не видя друг друга, вели себя по-разному в своих амфитеатрах. Одновременно шло несколько разных действий в окнах первого и второго этажей. Если, подавшись вся вперёд, в окне первого этажа замерла Чёрная, жена Мылова, и глаза её горели глазами ловчего, промазавшего соколом за помойкой, стремились всё вернуть назад, на новый круг, чтобы ещё раз вдарить, значит, соколом с минтаем... то Алла Романовна в окне второго этажа, прямо над Чёрной, в это время закидывалась головкой, принималась трепетать со сжатыми кулачками, как ёрзающая резинка, никак не могущая влететь в оргом. Если в соседнем окне Константин Иванович уже вырывался от жены, чтобы бежать и жестоко наказывать мерзавцев, то Коля в той же комнате, Коля, муж Аллы Романовны, высовывался из окна, отделённый от самой Аллы только стенкой, но не видящий её, и любовательно и близоручко вертел очкастой своей головой: а? что? где? что такое? Что произошло?..

Константин Иванович выбежал из подъезда. Быстрым шагом пошёл, побежал к помойке. Пинал, гнал Мылова к сараю. Пьяный Мылов точно разваливался, терял всё на ходу. Константин Иванович запнул его в сарай, захлопнул дверь... От злости теряя голос, проваливаясь им, что-то выговаривал толстой шлюхе. Здесь же, во дворе. Девка хихикала, смущалась... Позвал Сашку с сарая. Не мог смотреть на сына. Сашка тоже устал себе под ноги. Пошли домой. С крыши бесшумно спрыгивали мальчишки.

А вечером, вернее ночью, рогатки с сарая стреляли ещё интенсивней, ещё дружнее. Камушки впивались в облакастые ляжки со шмякающим звуком разбиваемых о землю дождевых червей. Облакастая взрывалась: «А-а! Ты опять меня-а!» — упорно держа в кретинском уме своём Сашку

Новосёлова — обидчика, врага, не дающего ей любиться с мужичатами. И неслась к сараям. «У-убью! Яйца повыдавлю!»

Тем временем Сашка, ни сном, ни духом не ведая того, что с ним собираются сотворить, безмятежно спал на втором этаже в своей комнате, в своём уютном протенке меж двух окон, напротив кровати отца и матери, которые вскидывались на локти и напряжённо прослушивали укатывающийся глухой мат, треск забора и ухавшую затем с забора будто в яму угрозу: у-убью!

Глаза Константина Ивановича становились вроде взведённых курков. Он хотел встать, выйти, наконец. В последний раз выйти. Но Антонина, вцепившись в руку его, не пускала, не давала уйти от неё, шёпотом умоляла, заклинала «не связываться», и он уступал, сдавался, опустошённо падал обратно на подушку, гладил на груди у себя плачущую трясущуюся голову. Приподнимался было. Будто опять с взведёнными. И вроде даже «жэхал»: «Завтра же в милицию пойду!» — Но не пошёл. Ни завтра, ни послезавтра.

Был серый, как перетоплённое молоко, предгрозовой полдень. Солнце слепло словно распятый птенец.

Сашка и Колька собирали возле сарая воздушного змея. Колька зашёл в сарай за чем-то. Сашка остался на корточках у разложенных на земле палочек, дранок, прикидывал, что и как... Полудурья подкралась к Сашке сзади. Схватив в охапку, затащила за сарай. О доски сарая била голову его с размаху. Пинала коленками. В грудь, в живот, в пах. Вышедший Колька — увидел. Подвывая, побежал неизвестно куда. Прибавлял и прибавлял ходу, воя.

Полудурья брезгливо отшвырнула от себя опавшего парнишку, вышла из-за сарая и, воровато оправляя платье, быстро пошла к воротам. С трудом дотянулся Сашка до увесистого камня. Качаясь, поднялся на ноги. Сашка метко кидал камни. Камень ударил по башке скользко, сдёрнув шматок кожи с белесыми волосёнками. Облакастая схватила за голову, увидела кровь в своей руке и свиной резаной завизжала: «У-уби-ил! Ма-амоньки! У-уби-ил! Милицинеры-ы! У-уби-или-и!»

Повыскакивали из дому люди. Сашка, хватаясь руками за бок, поковылял к забору и перевалился в соседний двор.

На яру над Белой, уткнувшись в колени, он взвездился в хлынувшем, наконец, дожде — как весь сжавшийся, сторающий внутри одуванчик.

...Вечером перебинтованная полудурья приводела к Сашкиным родителям участкового Леонтьева. Константин Иванович бросился со скалкой. Полудурья катилась по лестнице, визжа. В дверях низенький Леонтьев изо всех сил удерживал рвущегося поверху Константина Ивановича, яловые сапоги Леонтьева топались, плесали, искали опору. И тут же подвывал, выплясывал голыми ножками забытый всеми Колька.

С помощью его Сашку и нашли поздно вечером. Там же на яру, над Белой, где он просидел всё это время. Подняв, обняли, повели домой. Константин Иванович закидывал голову к небу.

Словно ничего не мог понять там, ничего не мог там разобрать...

Пузатый чемодан, перехлестнутый белой верёвкой, Мылов выставил утром демонстративно — на крыльцо. Пожалуйте, мамзеля! Ожидал сбоку. Пока выйдут, значит. Лицо его было преисполнено выстраданного смысла. Похудело даже. Удружили. Спасибо. Полудурья вяло послала его, пошла. С чемоданом, с клюкастой Верой.

На улице Зойка Красулина злорадно закричала: «Что, лярвы, попёрли вас, ха-ха-ха!» Облакастая остановилась. Думала какое-то время. Перебинтованная, в тюрбане — как турок. И перекинувшись к Зойке задом, вздёрнув платье — как стреляла в Зойку голым задом: вот тебе! вот тебе! вот тебе! Зойка хохотала. В долгу не оставалась: «М... сперва выстирай! Шалава! Ха-ха-ха!» Вера стояла с чемоданом. Как ударенная. В раскосости своей как бы состроив кривой дом... «Ха-ха-ха! Вот полудурки!»

Гала и Вера уходили по дороге. В своих окнах беспокойно выпрыгивал офицер Стрижёв. Над геранями больше, над геранями. Как над пересохшими кукольными театрами. Зойка и ему кричала: «Выходи, герой! Смело! Теперь можно! Теперь можно через заборы не прыгать! Хах-хах-хах!»...

...От ценёвского «Сима» к полю одуванчиков они пробирались сейчас по бурьяну. Снизу, от Белой. Отсюда видно было, как к далёким кострам позади всё выползали и выползали грузчики-бичи. Были они все красные, как раки. На барже фосфоресцировала, пьяные давала зигзаги «летучая мышь» самого Ценёва. Его баржа как будто курила сигару.

Колька сказал, карабкаясь за Сашкой, что в прошлом году поля одуванчиков не было, а в этом — есть. Правда? Сашка, равномерно всходя, раздвигал бурьян, соглашался с ним: правда, хорошо, и никто не знает. Точно! И никто не знает, обрадовался Колька, одни мы, правда, да? Правда, Коля, правда. Передохнули маленько, глядя на далёких пьяных красных бичей, как в молитве ползающих возле костров перед дровяными своими, чёрными, колеблющимися призраками работы... Снова начали подниматься в гору, чтобы взять последние метров тридцать-сорок.

В темноте одуванчики казались большими, тесными, едиными. Точно мыши. Точно тёплые шкурки мышей. Ребята осторожно трогали серую живую нежность, не залезая далеко в поле...

Потом пришла откуда-то заплаканная луна. В Белой начали тонуть цинковые блики. И фантастический, гонный свет словно разом поднял поле ребятам, просветил его всё. И в освобождённой, разбежавшейся по всему полю радости одуванчики затрепетали. И ронялись с них, летели тени в светлом карусельном ветерке...

И нужно было уходить отсюда. Уходить домой... Ребята опять заверяли друг дружку, как клялись, что никому не скажут об этом поле одуванчиков. Никто о нём не узнает... Начали карабкаться к Дому инвалидов, чтобы идти, наконец, домой. Поминутно останавливались и оборачивались...

Оставленное поле походило на серебристый соборный сон...

А через три дня, поздно вечером, на самом закате дня, Сашка и Колька, стоя возле поля, смотрели, как какая-то пьяная девка бегала по одуванчикам, в чём мать родила. Скакала, прыгала, визжала. За девкой бегал тоже голый мужик, с ягодицами, как с автомобильными колёсами. Толстые бёдра девки походили на тостовывернутый фонтан. Девка резко закидывала руки за голову, точно с удивлением разглядывала груди свои, как коломбины какие-то — и с воплем, с маху падала на одуванчики. И каталась по ним — ноги прыгали бревёшками. Сбитые, смятые, тела одуванчиков трещали. Десятки, сотни их погибало. Точно из подушек порванных ударял, взмётывался в зной заката пух. Мужик скакал козлом вокруг катающейся девки, никак не мог примериться, чтобы прыгнуть. А она, усердная, вновь вскакивала — и опять точно хлестала себя об одуванчики. И опять

словно вплёскивало, рассыпая, в закат медленные мириады рваной сохлой крови...

Ещё одно чмо болотное поднялось из ложбинки, мотаясь. В трусах, правда. Длинных. Мокрых. Искупалось чмо. Река рядом. К ногам его выполз какой-то старикашка. Голова без волос лоснилась, вроде мужских яиц. Помотал ею на ремённых руках — уронил в цветы. А тот, что в трусах, качался, налаживал уже на себя гармонь. Как жилет спасательный, по меньшей мере. И полетел, рыкнув гармонью, назад, точно сдутый ветром...

Над убитым чёрным полем, будто ожившие горы, ходили ходуном ягодицы первого мужика. Чёрные, полностью оголённые, как репейные старики, несколько живых одуванчиков скорбно пригнулись в закате там же.

Мальчишки ступили в сторону, в темноту. Оставили на взгорке соляные столбы. Которые через несколько мгновений растаяли, пропали.

г. Усть-Каменогорск

Дмитрий Мухачёв Когда глядишь в себя

Мы — жители раскопанных равнин,
бетонных обитатели барачков.
Мы любим из окна глазеть на драки
и запивать кефиром аспирин.

По вечерам, хлебная постный чай,
уткнувшись взглядам в пыльный телевизор,
мы вспоминаем все свои капризы
и в голове мелодии звучат.

Жара и дождь, «сегодня» и «вчера».
Окончен день, и мы давно уснули,
а в глубине промокшего двора
стоит эпоха в чутком карауле.

Не торопись ругать мирскую суету, —
бывают и на нашем солнце пятна.
Когда глядишь в себя и видишь пустоту,
то многое становится понятно.

Вот рай из кирпичей, из проводов и клемм,
безумия извечная квартира.
Гляди, гляди в себя, расслабленный голем,
холодный манекен в витрине мира.

Пятнадцать глупых лет ты мнил себя вождём,
но кто-то злой смешал тебе все карты,
и ты под проливным неласковым дождём
бредёшь домой без прежнего азарта.

И сотни серых луж, и толпы мёртвых душ,
в тарелке суп, на сковородке гренки.
Гляди, гляди в себя... но там такая чушь,
что лучше бы тебе глядеть на стенку.

Короткой тёплой ночью
во тьме поёт земля,
а я — упрямый зодчий,
я строю жизнь с нуля.

Меня шатает ветер —
к паденью я готов.
Меня боятся дети,
а я боюсь ментов.

Но в этом ветхом Риме,
где правит бал враньё,
взовьётся к небу в дыме
строительство моё.

Весенний бред мамлеевских кварталов.
Две бабки с пентаграммами на шеях
и с вёдрами в руках бредут к колонке.
Унылый монстр в драповом пальто,
сжимая беломорину зубами,
стоит в шиномонтажной мастерской.

Вся жизнь моя есть ад и клоунада.
Однажды я скончаюсь на манеже,
и демоны на жестяных носилках
меня в родное пекло унесут.
Мне кажется — достойная концовка,
не лучше и не хуже, чем у всех...

г. Барнаул

« Быть может, мы уже в конце,
И каменеет на лице
Доисторическая челюсть. »

Фазиль Искандер

Юрий Соломонов Машинка



63

Юрий Соломонов ■ Машинка

Всё случилось в многоцветной куче мусора, стремительно выросшей прямо перед подъездом. Из конторы, которая оккупировала весь цокольный этаж, накануне ремонта выплеснулся хлам, долгие годы упасаемый леностью и жалостью от полного забвения. Можно было подумать, что дому поставили гигантскую клизму, и он очистился от шлака времён — рассохшихся стульев, треснувших ваз, пыльных картонных коробок, проржавевших ручек от дверей в чьё-то прошлое и прочих предметов длинной, скучной и теперь уже самой незавидной судьбы... Ещё день-другой — и вся эта гора должна была помчаться в чреве утомлённого «Баргузина» к какой-нибудь свалке.

Она лежала на самом вершине — в приоткрытом истёршемся футляре с половинкой рукоятки. Настоящая печатная машинка. Блестящие литеры, отполированные буйством вдохновения поколений, чёрная красящая лента, а главное — надпись, отливающий металлом вензель, который — как рассвет, как вкус земляники, как бой настенных часов, как шуршание шоколадной фольги, как гудок далёкой электрички — наводнил сознание воспоминаниями и спустил с цепи пристраившую до поры ностальгию по детству. «Кон-тесса!» — прошептал Толик. Графиня бумажного королевства! У деда была точно такая же. Садясь за неё, он всегда становился необычайно деловым и даже суровым, наглухо запирая внутри себя того весёлого дедушку, который так любил пощекотать и потискать маленького внука. И когда он отлучался от стола, Толик частенько запрыгивал на стул и, приняв напыщенный вид, с силой молотил по клавишам. Всем сердцем надеясь, что машинка хоть ненадолго превратит его в важного и серьёзного человека — взрослого с головы до пят. Уже тогда она стала главным объектом его мечтаний. Бесплодных, как это ни горько. Дедов инструмент вышел из строя раньше, чем Толик выучился печатать. А вскоре из строя живых вышел и сам дед. Новую машинку покупать было некому, и всё детство и юность Толика прошли в вынужденном и несчастливом союзе с ручкой.

И вот теперь он видел это — неизвестно откуда взявшееся, чужое в груди никчёмного хлама. Словно кто-то ненадолго положил машинку сверху, чтобы уже через минуту вернуться, властно ухватить за половинку рукоятки и бережно унести футляр в свой мир, полный книг, рукописей и тонких переживаний... Но Толик знал: никто не вернётся. На дворе давно стояла компьютерная эра, и все тексты — и великие, и бездарные, и те, которые «неплохи, но можно и глубже», — жили в холодном свете мониторов, изредка прорываясь

в материальную жизнь через бесстрастные жернова принтеров. Одно из последних чад индустриальной эпохи со смирением ждало своего конца. С напряжённой аккуратностью каллиграфа, выводящего многозначный символ, Толик медленно закрыл футляр, стянул его с кучи и смахнул пыль. А потом по-деловому, по-солидному, по-дедовски прошествовал к подъезду.

Она оказалась очень недурна. Все клавиши были на месте и исправно работали, а красящая лента, хоть и поистерлась слегка, всё же должна была оставлять на бумаге вполне читабельные отписки. Толик почти весь вечер не отлучался от находки. Проводил пальцем по гладким клавишам, замороженно наблюдал, как приходят в движение костлявые пальцы буквенного механизма и вдыхал тот ни с чем не сравнимый амбре, который источают только пишущие машинки, — эту смесь запахов металла, машинного масла и сигаретного пепла. Он с интересом осматривал пространство под клавишами, в котором всегда можно обнаружить море частиц чужой творческой или канцелярской жизни: от кусочков сдобного печенья до лобковых волосков муз. Но пространство было относительно чистым: либо прежде машинкой владел педант, либо ею попросту редко пользовались.

Только на следующий вечер Толик посмел потешиться самым вождельным из наслаждений — печатанием. Весь день на службе он грелся в парах предвкушения, поласкивая себя мыслями о машинке, будто та была новым спортивным купе, поджидающим его у подъезда, или длинноногой красоткой, сторающей от нетерпения в его постели. Дома он даже не разулся: пробежал в комнату, заправил бумагу в каретку, сел, опустил пальцы на клавиши и замер... Печатает Хемингуэй. Печатает Астуриас. Печатает Сименон. Печатает Маркес. Образы в голове теснили друг друга, пока не начали наслаиваться один на другой, штрих за штрихом, мазок за мазком образуя кого-то таинственного и неясного, вдохновенного и сосредоточенного, кто не имеет черт лица, но имеет черты духа, всецело погруженного в мудрое и прекрасное; чей ум способен преодолевать и замкнутость пространства, и бесповоротность времени, а пальцы — мягкие пальцы с коротко остриженными ногтями, — могут ночи напролёт высекать слова из холодного промасленного механизма.

Он долго трепетал перед слепящей белизной листа, не зная, что поведать этому клочку бумаги в первую очередь. Смерч восторженных чувств закрутил его с бешеной скоростью. Руки блуждали

по клавишам, видимо, пытаюсь на ощупь найти ту единственно возможную букву, с которой должна начинаться фраза. Эта фраза, — он знал, — давно существует. Она живёт где-то совсем рядом, греется по утрам на солнце, вдыхает аромат специй в соседнем ресторанчике и, возможно, даже захватывает её за нужное место — и на этом белом листе она явит себя во всей красе и гениальности. Толик прикрыл глаза. Когда он вновь их открыл, указательные пальцы, с силой ударяя по каждой клавише, вышибли четыре слова:

«Я — за пределами мечты».

По обыкновению, Толик всегда являлся на службу одним из первых. Сама мысль о заторах и пробках была для него непереносима, и он выполнял во двор прогревать чахлую колымагу, когда другие жильцы лишь лениво скрипели пружинами кроватей или покачивались у подъезда с полузакрытыми глазами, пока их собаки справляли нужду. Вслед за кружением по улицам, облитым серо-розовой рассветной краской, его ожидала одна из самых приятных процедур рабочего дня — чашечка кофе в пустом офисе. Толик почти полчаса расслаблялся в кресле, медленно втягивая в нутро горьковатый жар. Это была симфония гедонизма, звуков которой не могли приглушить ни начальство, только пробуждавшееся от беспокойных снов, ни коллеги, ещё собиравшие себя по винтикам.

И только в эти распогодившиеся майские дни Толик всё время припаздывал. Уже в одиннадцатом часу он подбегал к турникету на проходной, запыхавшись, с растрёпанными волосами, развязавшимся шнурком и неизменной улыбкой — глупой и жизнерадостной (что, в сущности, плеоназм). Это раньше к нему было не придраться. Пусть на улице плюс тридцать, пусть кондиционер издох, Толик — неизменно в пиджачке, при галстуке и в слепящих лаковым блеском ботинках. А теперь и в джинсах, и в кроссовках вдруг заявляться стал. Коллеги — кто с завистью, кто с умилением, кто с сарказмом, — каждый раз шептали что-то про молодость, весну и высокие чувства. Никто и помыслить не мог, что причина — выше всяких высоких чувств. По утрам Толик, отменяя зарядку, завтрак и пробки, садился за стол и подолгу любовался подарком судьбы. А затем медленно начинал печатать. Не всегда что-то связанное. Часто он выбивал отдельные слова или буквы — просто, чтобы послушать, как пистонами стреляют клавиши и звенит звоночек, отмечающий конец строки.

Он запутался в ощущениях. Точно человек «сова», который вдруг вероломно проснулся в законное время человека «жаворонка» и, застав собственную комнату в сиянии не виденных прежде цветов и красок, гадает, то ли он оказался в новом, неизвестном мире, то ли мир старый повернулся к нему своей второй, тайной стороной. По сотне раз на дню где-то в глубинах тела, между лёгкими и желудком ликующей многоголосый хор затыгивал: «У тебя есть она!» Она! Не кусок неработоспособного металла, купленный за

бешеные деньги у антиквара, не ветхая рухлядь, доставшаяся от древних предков, а подаренный судьбой исправный, живой механизм.

— А можно я этот отчёт дома доделаю?

— Можно, конечно. Главное, чтобы к сроку успел.

Так он нашёл для своей пассивной первую работу. Правда, выполнить её оказалось не слишком-то легко. Претендовавшая на врождённую привычку к компьютеру сделала немощными не только пальцы. Она ослабила ум, который разучился обтёсывать фразы, перед тем как воплощать их в буквах и символах. Лишь рождалось в сознании первое слово предложения, как руки уже тянулись запечатлеть его на бумаге, хотя Толик ещё понятия не имел, чем закончит пассаж. На компьютере он всегда орудовал клавишами удаления, но здесь, без них, напечатанное приобретало особую власть: его нельзя было стереть бесследно. Чернея на гладком листе, слово смеялось над скудоумием автора и шутя вынуждало его отказываться от своих мыслей. Толик вытягивал из каретки бумагу и в ярости сминал её. Пару раз он даже думал послать к чёрту всю эту затею и вернуться к клавиатуре и монитору, но каждый вечер тусклое поблёскивание металла вновь и вновь манило его к машинке.

Когда Толик изорвал сотню листов, шесть десятков раз сбросил со стола стопку справочников и разбил три-четыре кружки, он вдруг обнаружил, что работа начинает спориться. Опечаток стало меньше, и он всё реже брал со стола флакончик с белой краской. А через день и одну разбитую кружку отчёт был отпечатан набело. Шеф как будто вообще не заметил, что текст набран не на компьютере: забирая документы, он лишь на мгновение прищурился — точно не мог разобрать какое-то слово — и тут же отправил бумаги в папку. Следующие отчёты тоже не навлекли подозрений. И Толик принялся перепечатывать всё подряд — рабочие справки, списки домашних покупок, письма троюродному брату и страницы из книг, открытых перед сном...

После недель и месяцев таких экзерсисов он уже куда проворнее управлялся и с компьютером. «Ложись, сейчас застрочит пулемёт!» — выкрикивали коллеги, как только он входил в комнату. А Толик радовался. И с приятным изумлением замечал, что у него улучшается речь. Теперь он, словно семечки, выплёвывал длинные сложносочинённые предложения, каламбурил, язвил и травил анекдоты. Постепенно память — эта своенравная хромая старуха, что жлобски оберегает всякую бессмыслицу и с бесповоротной решительностью избавляется от нужных и полезных вещей, — тоже стала творить чудеса. Толик начал дословно запоминать фразы, которые зачастую ему даже не адресовались; пару раз послушав по радио песню, он уже знал её наизусть, а чтобы выучить стихотворение — интереса ради он и это попробовал! — достаточно было прочесть его всего три раза. Только Бродский покоялся с четвёртого.

Тёплая мысль о машинке ублаживала его ночью и ласково пробуждала по утрам. Разминаясь на ковре, он мнил себя клавишей, то опускающейся

под ударом пальца, то отпружинивающей обратно. Заводя часы, представлял, как подкручивает ручку каретки, заправляя бумагу. А запах пепельницы теперь вызывал у Толика только радостные воспоминания о старом чёрном футляре, что ждал его дома. Радостные до такой степени, что он едва не начал курить — только бы подольше поплавать в этом божественном аромате.

Пренебрежение к компьютеру выросло в омерзение и ненависть. Ему были отвратительны и сами мониторы, и те, кто в них пялится. Люди, измышляющие бессильные, немощные слова. Слова-фантомы — их легко уничтожить в любое мгновение. Это даже не воробы, это комары, которым можно безнаказанно, с упоением отрывать крылья и ноги, а потом смотреть, что выходит. «Иожег». «Превед». «Креведко». Сонмы калек, заполонившие пространство Вселенной. Толик порешил больше не притрагиваться к клавиатуре и мышши. Компьютер был с позором изгнан из квартиры.

Досадно, что на службе такие трюки невыполнимы. Там приходилось постоянно приосаниваться и вперять в экран как можно более озбоченный взгляд. Пальцы зависали над клавиатурой, казалось, готовы вот-вот забегать по ней бешеным галопом. Но удостоверившись, что никто на него не смотрит, Толик всякий раз опускал руки. На мониторе его интересовало только одно — часы. Как только они заканчивали отсчитывать шестой час, он хватал свои бумаги и бежал к выходу. Некогда было с кем-то болтать и уж тем более брать по пиву: слишком много предстояло напечатать за вечер. С порога он бросался к ненаглядному футляру и лязгал клавишами до тех пор, пока за окном не проносилась поливальная машина — предрассветный соловей городских улиц. Усталость ничуть не морила. Напротив, именно в этой лютой молотье железных колошей он находил отдых от изматывающей монотонности и уныния рабочего дня. Его захлестывала энергия, он наслаждался каждым вечером, каждую ночь, каждый щелчок выключателя настольной лампы. А затем, когда окно светлело, начинал проклинать все утра разом.

Он распахивал дверь министерства в страхе перед неотвратимым наказанием. Ждал, что его вот-вот разоблачат: «Ты чего это?», «Как это ты так?», «С какой стати?» Прощаться с работой, естественно, не хотелось, тем более что уже который год обещали поднять зарплату. Толик чувствовал себя любовником зрелой дамы, изменяющим молодой и верной жене. Жена, однако, совсем не бдела. Нетрадиционные методы работы не взбодражили ничьих умов.

— Это что за шрифт такой? «Вердана», что ли? На экране нелепо смотрится, а на бумаге — надо же! — ничего так себе...

— Ой, я вчера «Семнадцать мгновений весны» смотрела, там шрифтовки точно таким же шрифтом набраны были...

— Вам не кажется, что у нас принтер как-то замарашисто печатает? Поменять бы уже картридж...

— Как же, дождайся! Я ещё полмесяца назад «служебку» накатал — и ничего!

Так стали Толик и машинка вдвоём самоотверженно работать на государство. И Толик всё меньше чувствовал, что трудится в серьёзном и значимом учреждении. Для него это был провинциальный театр, сельская филармония, где приходится отыграть роль за приболевшего актёра, чтобы потом вернуться к нормальной жизни. Эта самая жизнь, с её стальным шумом и чёрной копирочной пачкотнёй, пробуждала в нём кого-то другого — вдумчивого, цельного... настоящего!

— Он такой изящный, такой симпатиченький! Сейчас мало где такие встретить можно. Я как его увидела, сразу поняла: этот тебе понравится.

Дина не часто баловала Толика подарками. На Валентинов день, как и на 23 февраля, он мог рассчитывать только на открытку, на Новый Год неизменно получал ручку или органайзер, а дату знакомства они оба не помнили... Но сейчас как-никак был день рождения! Толик имел полное право ожидать чего-нибудь особенного и впечатляющего. И вот, лёжа на диване, снова и снова глядел в сторону стола, на котором красовался гранёный стакан в потускневшем металлическом подстаканнике — извечный символ пыльных купе, полутрезвых проводников и отполированных колёсами рельсов, тянущихся к озарённой закатом жизни за горизонтом. На подстаканнике были отчеканены летавшие по небу хвостатые звёзды. Салют, фейерверк или ещё что-то, близкое по духу к вечному торжеству. Толик опять принялся яростно целовать Дину — как всегда, восполняя неистовостью скоротечность выходных, которые они могли проводить вместе.

— Может, осенью съездим куда-нибудь? Мне отпуск обещали, — Дина водила большим пальцем ноги по его бедру.

Он приподнялся на диване, вновь в задумчивости уставившись на стол.

— Можно и съездить...

И никак, никак не мог оторвать глаз от стакана. После того, как тот очутился рядом с машинкой, все прочие вещи казались какими-то неуместными, никчёмными, даже неприличными. Вот, к примеру, эта галогеновая лампа. Какого дьявола она тут делает? Что, другой лампой нельзя было освещать дедовский стол?! Или принтер... Почему не выбросил его вместе с компьютером? Какой от него теперь толк? Смотреть на разбросанные повсюду пластиковые файлы было и вовсе больно. Толик выпутался из-под пледа, рывком подбежал к столу и одним движением — со скрежетом, хрустом и шелестом — смёл с него всё, кроме машинки и стакана.

— Толь, ты чего?! Совсем обалдел?

Толик, исполненный счастливой гордости, медленно повернулся к Дине.

— Смотри, какая красотища. Натюрморт! Что натюрморт — пейзаж!

— После битвы. Всегда чувствовала, что у тебя с головой беда.

С рычанием он бросился к ней под плед.

Вообще-то чай Толик недолюбливал с детства. Проще было хлебать просто кипяток, чем это непонятное варево, тем паче зелёное. Но для

стакана невозможно было не сделать исключения. На следующее же утро он столь порывисто и самозабвенно прильнул к запотевшему гранённому стеклу, что обжёг губы. Это всё равно его не оставило. Теперь каждый день начинался с глотка железнодорожного чая. Он учился пить медленно, аккуратно, не «сербая» (как сказал бы дед) и стараясь заставить себя искренне и неподдельно смаковать каждый глоток. Смакование удавалось плохо, но обжигаться он со временем перестал.

Ночные труды отныне щедро разбавлялись чаем. Без единой ложки сахара, он был совершенно безвреден как для организма, так и для работы: Толик стал столь бойко отбивать тексты любой сложности, что мог позволить себе делать перекусы и перекусы, когда вздумается. Он успевал отпечатать не только все положенные документы, но и кое-что из программы следующего дня. Хотя энергия так и не уходила вся, без остатка. И тогда Толик начал вести дневник. Каждую ночь где-то внутри него открывался крохотный краник, который пускал по венам, артериям, сосудам и капиллярам пьянящий поток сантиментов, часто выплёскивавшийся на бумагу.

«Что ни утро — я чувствую себя вырванным с корнем. Прилюдно раздетым и выпоротым. Осрамлённым и униженным. Царём, ещё вчера сидевшим на троне при всех регалиях, а с рассветом развенчанным, связанным и отправленным на галеры. Котёнком, минуту назад нежившимся в тепле домашнего дивана, а теперь сволочной рукой выброшенным на улицу, прямо под дождь. Каждый день меня выдёргивают из моей жизни и бросают в чью-то чужую недо-жизнь, где нужно изображать и имитировать. С каким упованием жду я вечера! О, с каким сладострастным предвкушением я несусь домой, чтобы вновь взобраться на диван, надеть корону и вернуть себе поправное достоинство! Как я хочу, чтобы всё, как тогда... как у них... как у дедушки! Чтобы слова были словами, а не изжёванной жвачкой. Чтобы книги были книгами, а не «суперэкстремагапроектами» с рекламой, дорогой обложкой и банальными пошлостями внутри. И чтобы мерилом для музыки была гармония, а не число мегабайтов, которые можно втиснуть в плеер...»

Иногда, перечитывая с утра свои пассажи, он беспощадно изничтожал листок. Но уже вечером вновь настойчиво выдалбливал на бумаге почти то же самое. Желание остаться в мире машинки и подстаканника было почти неодолимо, и каждую ночь Толик молился, чтобы утро настало как можно позже. А лучше бы — не настало совсем. Понедельники превратились в мучительнейшие из будней. После двух суток с машинкой тесный контакт с действительностью становился особо тяжёлым испытанием для отончавшей души. Раздражало даже тихое, сдавленное пищание мобилника. Кажется, как раз в понедельник Толик не выдержал и метнул его в распахнутую форточку. Когда ярость, мутным осадком взметнувшаяся со дна души, наконец осела, он рванулся было

к двери — хоть «симку» успеть вынуть! — но у самого выхода замедлил шаг. А затем вернулся в комнату, тщательно завязал галстук, надел пиджак и не торопясь вышел из квартиры. Уже на ступеньках подъезда он окончательно принял решение. Самое важное из всех важных.

Белой полной ладонью потомственного московского куркуля Сибирячков ласково поглаживал крышку деревянного ящика — как женщину после любовных утех. Ящик явно не принадлежал к тем предметам, над которыми сжалились люди и годы. Крышка была обшарпана, лак, некогда роскошно блестящий на ней, потускнел, а местами и вовсе сошёл на нет; и если бы Сибирячков не сдерживал переполнявшую его нежность, то давно занозил бы руку. Поджав губы, он помолчал, а затем резко развернулся и выпалил:

— Двадцать две!

— С-ско... сколько? — Толик закашлялся.

— Двадцать две. А ты на что рассчитывал?

— Да это безумие. За такие деньги в магазине можно два музыкальных центра купить!

— Вот пойдёшь в магазин и купи хоть одну такую, — Сибирячков надменно сложил руки на груди.

Толик смотрел себе под ноги.

— Это ж тебе не музыкальный центр, — назидал Сибирячков. — Это антиквариат. История! К тому же всё работает, можно хоть сейчас пластинку ставить.

Он поднял крышку радиолы и крутанул пальцем диск проигрывателя.

— У тебя и пластинок-то нет, — сказал Толик. — Она ж тебе не нужна была.

— Пойми, ненужных вещей на свете не бывает. То, что не нужно мне, может оказаться нужным кому-то другому. Тебе вот, как видишь, нужно. Так берёшь или нет?

— Но двадцать две — это просто разбой!

— Если бы её покупал я, то, возможно, и я так же говорил бы. Но поскольку я её продаю, то цена мне представляется вполне справедливой.

И глаза Сибиряčkова тускло засветились каким-то отстранённым и ироничным сочувствием, точно он глядел не на Толика, а на всё человечество сразу. А в черепе Толика заматались мысли — как рыбы в аквариуме, в который некий добряк опустил кипятильник. «Бешеная цена... Но какая вещь! Где ещё такую... Нет, это даже не расточительство, а просто выкидывание денег... Ох, как она, должно быть, смотрится под домашним торшером!.. Винил крутить можно... А на что жить потом?.. Или у отца занять?.. Этот же продаст другому... А может, плюнуть? Ох, под торшером в углу она хороша!.. Гленн Миллер в такой будет звучать совершенно особенно... Нет, двадцать две — это живодёрня!.. Почти месяц потом лапу сосать... Но под торшером, под жёлтым тёплым торшером!.. Нет, всё — беру, беру!» Последние два слова Толик почти выкрикнул вслух. Уже готовясь бежать к банкомату.

Давно отшуршали по проспекту последние «поливалки», отматерились дворники, отстучали по мокрым тротуарам каблучки блюстительницы

офисного дресс-кода, и вовсю за окном горело легнее утро, а Толик всё крутил и крутил ручки радиолы, летая между городами мира на её чёрной панели. Забытая машинка протосковала всю ночь, пока он пытался найти в трескучем эфире хотя бы одну радиостанцию, которая соответствовала бы облику музыкального сундука хрущёвских годов. Вконец измучившись, Толик остановился на волне непритязательной классики, под которую хоть засыпай, хоть отжимай штангу! С этой музыкой в ушах он жил три дня, пока не отыскал на антресолях родительские пластинки. И тогда деревянный ящик сотрясал «Битлы», «Роллинги» и Эдуард Хиль. Вместе с ними Толик казнил свою эпоху в одной, отдельно взятой комнате.

Первыми жертвами пали телевизор и стереосистема, которые отправились в ссылку на кухню. Сорванные со стен постеры группы «Сплин» обнажили на обоях бледные квадратные пятна, а скрученная люстра оставила по себе голую лампочку на белом шнуре. Из мебели остались лишь дедов стол красного дерева да книжные полки; массажное кресло и стул с новомодными пуфиками для коленей получили статус беженцев за входной дверью. В выходные Толик помчал на дачу, где был едва ли не с салютом встречен бабушкой, решившей, будто он собрался помочь ей по огороду. Он и вправду пару раз воткнул тяпку в глинозём — не столько во имя плодородия, сколько для успокоения совести. А потом забрался на чердак и до утра плавал в пыли, вылавливая из неё отринутые современностью вещи: портретные рамы, абажуры, подсвечники, швейные машинки, велосипедные насосы, подшивку газет Бог знает за какой год, а также поплавков для рыбацких сетей — заключённый в сеть огромный стеклянный шар без единого отверстия.

Со средней скоростью 70 километров в час — по воскресеньям «гаишники» на трассах бдительны как никогда — частицы прошлого тем же вечером перенесли в самое пекло повседневности. Палас с зелёно-рыжим узором и тремя оставленными молью проплешинами распластался посреди Толиковой комнаты. По нему медленно ползал светлый круг: наверху покачивался красный абажур с бахромой. А стены, как оспой, покрылись тёмными фотографиями в деревянных рамках — близкие и дальние родственники, предки до седьмого колена, друзья и знакомые предков и люди вовсе не известные, но зато с шашками и в будёновках. Восседающая на бабушкиной тахте, чудом разобранной и собранной вновь, Толик упивался всем этим ретро-великолепием, как нумизмат упивается видом новой монеты. Спрятавшийся в радиоле Энди Уильямс нежно мурлыкал что-то рождественское. В понедельник Толик впервые в жизни проспал.

Он всё предчувствовал. Так и видел перед собой эти ошалело вытаращенные глаза. Так и представлял себе это её молчание: точно она стоит рядом с буйно помешанным, боясь обронить неудачное слово. Дина дважды обошла комнату. Рассмотрела каждую фотографию, потрогала радиолу, качнула абажур и побарабанила ногтями по столу. А потом, глядя в окно, будто обращаясь к

гуталиново-чёрной туче, степенно проплывавшей над городом, спросила:

— И зачем?

— Не зачем, а почему. Мне надоело всё как есть. По-новому хочу.

— А-а. То есть, эта тряпка, — Дина чиркнула острым носком туфли по паласу, — и есть новая жизнь?

— Ну, не совсем, может быть, новая... Иная! Не всё ещё пока получается, но я думаю, со временем здесь будет совершенно другая эпоха. Ты заходишь сюда и как бы попадаешь в прошлое. Как в музее, но только лучше: здесь это прошлое можно пощупать, ощутить. Тебя не вдохновляет?

— Не знаю. Пока что не очень.

— Я ещё не всё, что нужно, при...

— А я фильм хотела с тобой посмотреть, вот «ди-ви-ди» принесла, а у тебя теперь негде.

— Но у меня можно делать много чего другого! Вот, гляди, сколько у меня музыки! — он кинулся перебирать пластинки, сложенные у радиолы. — Тут вот Рой Орбисон, тут Синатра...

— О-о-очень интересно! — кисло протянула Дина.

— Слушай-ка, если человек увлекается, к примеру, живописью, тебя ведь не удивляет то, что у него в квартире картины на стенах висят?! А если он теннисист, ты же не раскроешь рот от неожиданности, увидев у него дома ракетки, правда?! Я... знаешь, мне то время всегда было ближе, чем наше собственное. Я о Карибском и Суэцком кризисах помню больше, чем об 11-м сентября. Я почти не разбираюсь в современных машинах и даже своей каракатице предпочитаю под капот не заглядывать. Но если ты мне покажешь «Бюик Роудмастер», «Фиат Нуова» или «Остин мини» 59-го, я расскажу тебе о них всё — вплоть до технических характеристик двигателей...

— Ты чего кричишь?

Толик заметил, что и правда говорит слишком громко. Будто стоя на сильном, свистящем ветру, через который его слова до Дины попросту не долетали.

— Я только хочу объяснить...

— Посмотрим, долго ли ты так протянешь, — Дина вновь отвернулась к окну. Она так в него и смотрела до темноты. Тоскуя, видимо, по всему, что осталось за стеклом.

— Чёрт знает что такое!

Толик снова протёр экран рукавом — наверное, уже в пятый или шестой раз. Силуэты по-прежнему были мутны и нечётки: приблизившись к телевизору почти вплотную, ещё можно было различать какие-то фигуры и расплывчатые очертания лиц, но издалека всё напоминало квадратную кастрюлю с бурлящей манной кашей — притом чёрно-белой. Толик нажал на выключатель. Подумаешь — картинка... Всё равно это настоящий «Авангард» — жрец квнов и «Голубых огоньков»! Разве достойны его все наши убогие телешоу? Он положил на телевизор матерчатую салфетку и водрузил на неё серебряную сахарницу. «Заиграла композиция! Чего там лицемерить — заиграла, заиграла! Пусть так и стоит. А я книжки буду читать».

И тут Толик впервые пробежал взглядом по книжным полкам. На них вдруг оказалось столько всего сиюминутного, что его охватил ужас. Бульварные романы и детективы тотчас зашуршали своими макулатурными страницами по стенкам мусоропровода. Более полезные, но всё-таки слишком современные издания стопками встали на антресолях. Пересмотрев оставшуюся на полках классику, Толик обнаружил, что и она по большей части издана после 1980-го. Когда он распахивал книги по шкафам в коридоре, ему стало стыдно. Впрочем, таково первейшее свойство классической литературы — вызывать чувство стыда. Взял в руки книгу — и совестно, что не читал. Начал читать — и боишься признаться в этом другим, чтобы — не дай Бог! — не прослыть отсталым и лишённым фантазии. Когда Толик закончил экзекуцию библиотеки, в комнате осталось десяток два фолиантов. Три из них — «Молодая гвардия» в разных изданиях. Озадаченно рассматривал он плоды своих трудов. Такие пустые полки никому не дадут снискать славу интеллектуала. «Зато честно. И аутентично! При случае по букинистическим похожу», — заключил Толик и плюхнулся за машинку.

«Помню, ещё в школе, листая учебник истории, я наткнулся на нелепую опечатку. Даты жизни какого-то государственного мужа — теперь и не вспомнить, какого! — были указаны с ошибкой. 1842–1800. Мы тогда долго смеялись. Получалось, что человек прожил жизнь вспять...»

Тополиный пух покрыл всё: асфальт во дворе, машины, детскую площадку с песочницей, соседнюю улицу, перекрёсток, другую улицу, проспект, площадь, город и мир. Он приставал к одежде, застревал в волосах, щекотал голые плечи дам и влетал в широкие ноздри кавалеров. Кружился в замысловатых танцах над парками, плавал в прудах и лужах и, паря в воздухе, застывал за окнами Толиковой квартиры. Квартиры, ставшей полным и законченным совершенством, если не считать отключённой по случаю лета горячей воды. Аскетичные кресла с выцветшей зеленоватой обивкой властно растопырили свои шатающиеся деревянные подлокотники во всех углах комнаты. У стены напротив входа на коротеньких покосившихся ножках выпятил брюхо широкий светло-коричневый шкаф со скрипящими дверцами и неистребимым запахом плесени внутри. Три другие стены поделили между собой стеллаж, радиолу и никогда не включавшийся телевизор. Сверху — на шкафу, на полках — стояли памятники: фотоаппараты «Киев», «Любитель» и «Зенит», ручные швейные машинки, весившие, казалось, в общей сложности больше полутонны, кубки с давнишних районных спартакиад... А в самом центре комнаты, прикрывая дырку в паласе, раскорячился журнальный столик. Его лёгкая старческая кривизна ничуть не смущала хозяина. Потому что на столике лежали газеты. Все как одна — из бурных лет. «Решительное «нет» американской агрессии во Вьетнаме!», «План пятилетки — досрочно!», «Французские студенты на

баррикадах», «СССР — оплот мира» и всё в таком духе... Он снова и снова перелистывал их полосы, ставил пластинки, оглядывал полки с новыми приобретениями... Одна «Большая советская энциклопедия» уже повергала в священный трепет! Толик был горд. Горд каждую минуту. В квартире не осталось ни одной вещи моложе тридцати лет. Даже кухонная посуда — и та помнила бабушкину юность и хозяйственное мыло. Самым молодым здесь был он сам.

Разумеется, эта моложавость далась нелегко, но раз в жизни он мог войти и тесными воротами. Четырёхнедельный отпуск был угроблен полностью. А колымага... колымаги он больше не имел. Несмотря на исключительную потребность, в ретро-автомобили она всё равно не годилась, а денег на переустройство быта понадобилась чёртова туча. И газовая плита давнего образца, и толчок с чугунным сливным бачком на трубе, и плиточка-кабанчик — всё это потребовало беготни и растрат. А теперь предстояло впервые отправиться на работу на метро. Глубокое осознание этого факта вконец испортило воскресенье — день, и без того насквозь пропитанный мерзостным запахом понедельника. Позвонить и сказать адски больным! То, что с утра запало в сознание просто как горькая шутка, к вечеру переросло в сладчайший из соблазнов. Которому к рассвету уже невозможно было противиться. К тому же, всё оказалось куда проще, чем он думал. Лишь семь минут держишь в руке исходящую нудным ворчанием телефонную трубку — и вот она, свобода! Перед тем, как отключить телефон, он от радости расцеловал его — уже во второй раз. Впервые он сделал это, когда только купил этот аппарат: отыскать на Тишинке настоящую «вертушку» — с советским гербом на диске — было сродни подвигу. Цена в таких случаях важности уже не имеет.

Он не вернулся в министерство. Ни через день, ни на следующей неделе, ни в этой жизни вообще. Тройку раз позвонили в дверь, да разок кто-то прокричал его имя за окном — он не выглянул, конечно. Проворность, с которой ему удалось выскочить из общественной жизни, просто окрыляла.

«Главное — ни о чём не жалеть! Не уподобляться Лотовой жене, не оборачиваться назад и не сомневаться. Нужны лишь чёткий план и непоколебимая вера. И тогда, я точно знаю, всё получится!»

Дина сидела тихо. Откинувшись на спинку кресла, она скрестила руки на груди — само спокойствие. Но даже не взглядываясь в её лицо, Толик знал, что она плачет. Она всегда так плакала — только глазами. Тело не шевелилось вовсе.

— Но ведь в этом тоже есть своё величие. Ни-ког-да! Вслушайся, как звучит: *никогда*. Это значит, что отныне ты навечно останешься во мне. Пойми, эта жизнь сложилась так, что я не могу поступить иначе. Может, в другой жизни... В другой, в которой и ты, и я будем аистами или дикими утками. В этой мы — совсем разные виды...

Ну почему у женщин это всегда получается лучше?! Почему они могут прямо сказать: «Ты мне больше не нужен, уйди!», а мужики вечно будут придумывать какие-то отговорки про характеры и судьбину? А ведь это был только первый пункт плана — «Отсечь всё лишнее»! Лишнее никак не отсеклось, и пришлось его отрывать, откручивать, отковыривать, отскабливать и отмачивать.

Дина встала и молча пошла в прихожую. Даже не всхлипнула. «Кажется, всё обойдётся». Но нет, перед дверью она развернулась и упёрлась в Толика сырым и мутным взглядом.

— Я всё вижу... Ты думаешь, ты себя нашёл. Хочешь закулиться в своём мирке и никого не впускать. Может, ты даже будешь счастлив. Как червячок. Вот он моль бледную или букашку задавил — и ему хорошо!..

Толик водил глазами из стороны в сторону. Да, он знал, бегающие глаза — признак очевидной и глубокой вины, но с собственным организмом редко когда договоришься — а уж в такие минуты вообще ни за что. Наконец он устался на вазу, стоявшую на тумбочке в прихожей. Красная, в узорах из перламутра и позолоты, это была бабушкина любимая ваза. В конце 60-х бабушку премировали турпоездкой в Венгрию. И все свои деньги в диковинной загранице она потратила на эту вещь. Дед тогда страшно ругался: мол, полезнее ничего не нашло что ли, да и нигде эта штука у нас смотреться не будет... В общем, едва не разбил сокровище. С тех пор они сменили с десятков квартир, купили, выкинули, опять купили и опять выкинули массу вещей. Но лишь одна перекочевала из далёкого 67-го в эту, до недавнего времени вполне современную квартиру, — венгерская ваза. К концу жизни дед всё же покорила её очарованием и даже стал смахивать с неё пыль...

— Но солнце, зелёная трава, сосновый лес с птицами, море и далёкие страны, — продолжала Дина твёрдым голосом, пока по её щекам синими ручейками стекала тушь, — всё это существует! Существует независимо от того, есть у червячка глаза или нет. Поэтому твоё счастье — оно червячье. Червячье, Толя...

Даже не хлопнула дверь. Толик почувствовал облегчение. Он до самого последнего мгновенья опасался, что всё выльется в крики и истерику. Хотя ещё больше боялся, что даст слабину: увидев слёзы, начнёт колебаться и в итоге искривит генеральную линию. Но нет, не единый атом его существа не взбунтовался против общего плана. Толик сам изумился своему хладнокровию. Он запер дверь на все замки и вернулся в комнату. «Червячок, червячок!» Будто не знает он, что её взбесило на самом деле! Не потому он червячок, что ретро-эстетикой пленился, а потому червячок, что из министерства ушёл. Если б он сейчас за полсотни тысяч купил себе отреставрированную «эмку» и дивил бы её чёрным сверканием швейцаров дорогих кафе и модных клубов, Динка бы всеми щупальцами его обвила. Они же все только на это и смотрят!.. А ведь его отец с матерью в коммуналке уют обустроивали! Дедушка с бабушкой — те вообще в строительной бытовке... Да, негусто у них денег водилось. Но кто с них эти деньги спрашивал?..

«И к тому же её волосы всегда засоряли слив в ванной!»

Итак, пункт номер два. Крупа. Да, крупа, — а что же ещё?! Можно, конечно, налепить или закупить пельменей и забыть ими морозилку, но насколько этого хватит? Недели на две, в лучшем случае на две с половиной. Ну ладно, ладно, на три — если он станет ревностным поборником аскезы. А вот крупы, орехи, сухофрукты — всё это почти нетленно. Только нетленное поможет ему взять власть над временем. Пять дней Толик челноком метался между квартирой и гастрономом. На исходе недели все шкафы в кухне были так забиты гречкой, пшёнкой, манкой и рисом, что дверцы то и дело открывались сами по себе. В угол, за дверь, он затащил гигантский мешок с орехами. Морозилку же под завязку заполнил мясом: чтобы иногда заняться эпикурейством. Если, разумеется, холодильник-ветеран вдруг не издохнет...

Дальше — вода. Заполнить ею как можно больше ёмкостей и дать отстояться от химикалий сволочной жизни. Та, что будет в вёдрах в ванной, — для мытья, та, что в кухне, — для готовки. Наполнять вёдра придётся не реже, чем раз в месяц, но это уже необходимое зло. Как скоро ему осточертеет мыться разогретой водой из тазика, он предпочитал не загадывать. Но поскольку необходимость появляться в людском обществе отпала, то и чистить пёрышки не имело никакого практического смысла. Кстати, воду не худо бы оплатить! Как и свет, и всё остальное. Если метнуть на счета коммунальщиков сумму покрупнее, в ближайший год можно не тревожиться.

Пункт четвёртый — занавески. Нужны явно более плотные, чем те, которые висят в комнате и в кухне. Он не должен видеть ни будней этого города, ни его сумеречных теней. Эх, купить бы тот подбитый шёлком красный бархат, что становится стеной на пути любого света — и солнечного, и душевного! Но это новая, современная, а значит, ни под каким предлогом не допустимая вещь! Толик почти что готов был начать заклеивать окна газетами и крутить ручку машинки, сшивая бабушкины лоскутки, когда из самых низких, эгоистичных и коварных глубин его личности вдруг вынырнула шальная мысль. «дк „Стахановец“», дк «Стахановец»! — заголосила она, стуча изнутри по черепной коробке. Это был довод-кувалда, против которого не найти аргументов.

дк «Стахановец» стоял на ремонте вечность и ещё сто лет. Когда этот ремонт начался, никто уже припомнить не мог, а когда он закончился, не ведали ни на этом, ни на том свете. Советское пренебрежение к государственной собственности смешалось здесь с раздолбайством эпохи перемен и было густо сдобрено спором хозяйствующих субъектов. Разжевать или проглотить образовавшуюся липкую массу не получалось ни у одного начальника. Два или три поколения жителей уже не воспринимали это здание иначе как неизвестные грязные руины, мимо которых лучше проходить побыстрее. А само словосочетание «дк „Стахановец“» стало обозначать разруху или долгую, бесплодную работу. Например: «Мы на той неделе

обои переклеивать начали. В квартире просто «дк „Стахановец“». Постепенно от метафоры отвалились две первые буквы, и люди заговорили проще: «Эта контора — куча бестолочей и бездельников. «Стахановец» какой-то!». Так на одной из улиц большого города русское слово стало собственным антонимом.

Но для Толика звук его теперь был слаще любой амброзии. Чистым и светлым, как образ первой любви, в его памяти вновь и вновь всплывал вид актового зала «Стахановца», в который все пацаны двора начинали бегать уже с первого класса: вечнострой никто не охранял. Этот зал был для них всем: и полигоном для игр в «войнушку», и предметом зловещих детских легенд и небылиц, и удобным туалетом... Даже ослепнув, Толик не заблудился бы там. И был уверен, что со всех стен до сих пор свисают огромные куски пропылившейся ткани, некогда бывшей новомодным декором. По-деловому, как на прежнюю работу, вбежал он в «Стахановец», — с чёрным бездонным мешком для мусора. С треском оторвалась от стены первая же попавшаяся занавеска, вихрем заметалась в солнечных сквозняках цементная пыль. Весь запорошенный ею, похожий на мельника после трудового дня, вышел Толик из дома культуры. Назвать содеянное кражей мало у кого повернулся бы язык, но дома, когда под струёй воды ткань явила свой истинный, перламутрово-зелёный цвет, Толику вдруг стало не по себе. Как если бы на дороге лежала мёртвая собака, а он, проходя мимо, отрезал от неё кусок мяса... Шторы, однако же, вышли дивные: даже среди бела дня они погружали квартиру во мрак, ничуть не менее густой, чем в добротном, дорогим гробу.

Последний свой день в городе Толик убивал, просто спуская остатки денег, которые, он верил, теперь были ему без надобности. Мороженое, фильм «Римские каникулы» в «Иллюзионе», уже ставший традиционным проход по книжным — в этот раз без изысканного улова... Напоследок пару раз обогнул пруд у Новодевичьего, подышал влажным воздухом фонтанов на вднх — называть это место ввц он отказался бы даже под страхом четвертования, — да пошуршал песком в арбатских двориках. Не ностальгической слезинки ради и не из желания навеки запечатлеть городские ландшафты в памяти. Скорее наоборот, им двигало стремление вновь убедиться в том, что ничто не в состоянии удержать его здесь и сейчас. Да ещё любопытство щекотало: каким-то он увидит всё это вновь?! Или увидит совсем не это?.. Дверь за собой он закрыл без дешёвого мелодрамагизма. Никаких последних взглядов в светлую щель, никаких глубоких выдохов, выгоняющих из тела последний страх, никаких тяжёлых пауз перед финальным поворотом ключа. Просто захопнул её, вприпрыжку добежал до комнаты и тут же врубил наисладчайшую «Don't» от наисладчайшего Элвиса.

Только недалёковидные посредственно берут на себя наглость заявлять, что ежедневный режим — прямой путь к усталости и скуке. В стеснённых обстоятельствах сизифова

монотонность — спаситель всех трудов и мать всех развлечений. Если жить по точному графику, то любое, самое незначительное и привычное действие можно превратить в сакральный ритуал, достойный ожидания, упоения и послевкусия. И стряпня, и чтение, и чистка зубов — всё это отныне сплошные удовольствия. Ибо спешить некуда. Настоящего больше не существует!

Толик вставал, когда вставалось, не торопясь разминался, медленно водил по щекам опасной бритвой, долго умывался, обстоятельно готовил утреннюю кашу, неторопливо её поглощал, постепенно погружался в чтение «Большой Советской энциклопедии» и постепенно из него выходил, без суеты варил обеденную гречку, после чего растягивал трапезу на пару часов, не спеша вникал в тонкости польской грамматики, втиснутые в древний самоучитель, а потом слушал, слушал, а снова слушал пластинки. Сладости всем этим процессам придавало то, что ни один из пунктов своего каждодневного расписания он выполнять был не обязан. Выполнил — и это долгожданная перемена деятельности. Не выполнил — и это неожиданное событие, подбрасывающее на холст его жизни пёстрых красок разнообразия.

Улёт, отжиг! Когда-нибудь он забудет эти словечки. Заставит себя — и забудет. Клещом вопьётся в книги, прошерстит мемуары, по кончики ушей погрузится в газетные и журнальные очерки, жадно, скопом сгребая с желтоватой бумаги седые метафоры. И отыщет, во что бы то ни стало отыщет те слова, что достойны воспевать и обличать его бытие. А покуда, видно, никак не обойтись без этих набивших оскомину понятий. Очень уж толстыми корнями оплели они мозг: в приступе счастья зубы сами сжимались, чтобы напористое чувство, беззвучное в теле, вырывалось на волю острым возгласом: «Чума!!!»

А счастья было достаточно для того, чтобы восклицать — пусть даже в полумрачную пустоту холостяцкой квартиры. Побег состоялся. Побег, о котором он мечтал, наверное, с самого раннего детства. Ведь кажется, ему было не больше шести тем летним днём, когда мама впервые привезла его погулять в Коломенское. Топая вдоль Нагатинской поймы, он загляделся на противоположный берег — запретный для простых смертных. Там, где не позволялось швартоваться ни кораблям, ни лодчкам, и куда с этой стороны было не попасть иначе, как вплавь, колыхались на ветру высокие травы, распевали не боявшиеся людей птицы и прятался в зарослях крошечный белый домик сторожа с единственным окном, смотрящим на реку. Толику сразу же захотелось жить в этом домике — рядом с цветами и травами, вдали от оголтелости города. С тех пор, где бы ни находился, он всегда жаждал другого берега. На котором не бывает людей и машин, но вечно живёт солнце в сосновых кронах, играет рыба в прозрачной, искрящейся воде и, не смолкая, звенит иволга.

Теперь он плыл к этому берегу — не в пространстве плыл, а во времени. И неважно, обманет его вожденная даль или нет. Пусть даже обманет. У него всё равно будет дорога — путь, в котором каждый метр, каждый взмах вёсел, каждая секунда суть блаженство. Кому как не ему знать, что такое

дорога? Родители развелись, едва Толик закончил школу. С того времени он постоянно менял среду обитания: жил то с матерью, то с отцом, то у бабушки с бабушкой. И нигде не находил мира. У матери было скучно, у отца — тесно, а у бабушки с бабушкой совесть мучила за то, что он покидает родителей. Немало лет прошло в мотаниях из одного конца города в другой, пока он наконец не осознал, что именно эти мотания — главная его отрада. Незданно по ночной Москве в машине под тихую музыку из приёмника, он всегда был спокоен, доволен и поглощён одной целью. Что будет, когда он доедет до этой цели, не имело принципиальной важности. Может, сразу назад повернёт. Пэт Бун, ночной спутник и провожатый, без усталости выводил «Любовные письма на песке», и клавиши машинки, вторя ему в такт, выбивали свои послания вечности.

«Порой так странно бывает мне: отчего плачу я над далёким временем, как над своей эпохой? Отчего тоскую по прошлому миллионов людей, как по своей собственной ушедшей жизни? Я понимаю, почему тосковал дедушка. Как-то он начал исходить выспренностями в адрес кильки в томате, и я спросил, как вообще можно есть такую дрянью. Дедушка почти целый день со мной не разговаривал, а под вечер сказал: «Неужели ты думаешь, будто я скучаю по этой тошнотворной рыбе или по жигулёвскому пойлу? Мне не хватает себя — того, каким я был. Знай: человек никогда не ностальгирует по предметам и обстоятельствам! Он ностальгирует только по самому себе». Но с чего этой светлой грусти захлёстывать меня всякий раз, как я думаю о временах, в которых никогда не жил? А может, жил, но не помню? Может, я просто парашютист, выброшенный из давних годов в это чужое, цифровое и пластиковое бытие? И дом мой, истинный дом, — там, за десятками лет, где нет ни неона, ни подземного гула, и только песня да светлые облака неторопливо плывут над бесконечной степью...»

Он давно уже не считал дни. Перестав быть исчисляемыми, они смешались, слиплись в вязкую смолу, то растягивавшуюся, то сжимавшуюся — как пластилин в детских пальцах. Самым тяжким было не отсутствие общения. Без него Толик мог жить сколь угодно долго. В министерской комнатке, где он сидел с несколькими сослуживцами, молчание, бывало, селилось на целые недели: аврал быстро придушивал любые праздные беседы. Мучительно не хватало другого — убаюкивающего ощущения живого существа рядом с собой. Чужого повседневного шевеления — пусть бессловесного, но дарящего спокойствие и уверенность. Теперь он знал, доподлинно знал, почему кладбищенские сторожки всегда полны собак, кошек, канареек и прочей живности. Человек не умеет оставаться один на один со временем. Ему всегда нужно чувствовать чьё-то телесное тепло. Вот только он не мог с собой никого взять. Ялик, на котором Толик

взялся одолеть течение Леты, был дыряв и тесен даже для одного.

Как-то раз, пережевывая на кухне рис, он вдруг окостенел от страха: почудилось, будто в комнате кто-то тихо поёт. Сжимая в пальцах покрытую вековым жиром ручку сковородки, Толик бесшумно прокрался в комнату, но никого там не обнаружил. Через какое-то время (может, через неделю, а может, через месяц, — короче говоря, на девятом томе «БСЭ») он снова услышал это вкрадчивое пение. И, ветром промчавшись по коридору, опять застал комнату в том же виде, в каком оставил. Поразмыслив, Толик пришёл к выводу, что песни — как и прочие лишние звуки, — доносятся с улицы. И слушать их нельзя, иначе — конец его одиссее. Резкими, почти гневными взмахами рук он стал опорожнять полки. А затем исполинский стеллаж со скрипом и скрежетанием закрыл собой единственное комнатное окно. Шкаф переполз в кухню, прочертив по коридорному паркету две светлые полосы. «Заткнись, тварь!» — велел Толик улице. Улица обеззвучела.

С разными чаяниями раскрывают люди книгу. Кто-то ищет лёгкого и необременительного путешествия без громоздкого багажа. И находит его, перелистывая страницы чужих перипетий. Кто-то ждёт катарсиса, надеется почувствовать то, чего никогда раньше не чувствовал; или наоборот, увидеть облечённым в общедоступные буквы и строки то, что долгие годы сидело внутри, но никак не становилось словами. Кто-то желает насытить жадный до учения мозг новыми сведениями. Толик читал, чтобы забывать. С каждым абзацем энциклопедических статей, толстовских и тургеневских описаний природы или саги о майоре Пронине он выпаривал из памяти каплю былой жизни — всего, что видел, слышал и умел. Порой это казалось нестерпимо трудным, особенно когда частицы прежнего быта прорывались в эту замурованную квартиру под видом упрямых привычек: то глаза вдруг начинали искать повсюду пульт, который включит затихшую музыку, то пальцы, так быстро влюбившиеся в машинку, нет-нет — да и порывались нажать на несуществующую клавишу «ввода», вместо того, чтобы дёрнуть за серебристый рычажок каретки... Бывает такое с мужчинами: казалось бы, давно уже делишь кров со своей ненаглядной, и лучше неё никого не надо, а прежняя, почти позабытая любовь вдруг возьмёт и распутно покажет все свои прелести в нежданном эротическом сне. И издав вздох, которым всегда вздыхают по другой, просыпаешься ты в стыде и страхе... Толику было совестно за своё косное и бессильное сознание. Совестно перед машинкой, перед книгами, перед той великой целью, которая играла огнями вдалеке. Другой на его месте, вероятно, давно бы уже отрёкся, отмахнулся и плюнул. Но от безвестных древних предков Толик унаследовал запредельную упёртость, заставлявшую его тупо продолжать начатое даже в те моменты, когда нутро испаряла шершавая ящерица сомнения.

В одну из своих условных ночей — а теперь все ночи, как и дни, были условными, ибо он не различал времени суток, — Толик увидел тяжёлый сон. С мокрыми руками и подрагивающей коленкой

сидит он перед приёмной комиссией в университете. Глубокие, тонкие вопросы задают ему, а он в ответ вымямливает позорную невнятицу. Экзамен завален, срам и ужас безмерны, а Толик, проснувшись, долго не может понять, студент он теперь или нет. В следующую ночь — опять почти тот же сон, только на сей раз он стоит у доски, вместо коленей дрожат губы, а экзамен — школьный. Толик снова очнулся с неподъёмным бременем на душе, но уже через несколько секунд ощутил себя лёгким, как атом водорода. Он вдруг понял!

«Началось, началось, началось! — затараторили машинки клавиши. — Шестерни этого никому не понятного, непознаваемого механизма закрутились в нужном мне направлении. Теперь главное — продолжать, во что бы то ни стало продолжать их вращение. Нужно позабыть всё: былую жизнь, любовь, счастье и несчастье, отца и мать, — всех, кто связывал меня с настоящим. Всё, что есть настоящее, должно потускнеть, заржаветь, пожелтеть, похунуть, растрескаться и рассыпаться в пыль. Всему, что давно померкло, суждено обрести изначальную яркость и свежесть. И не будет для меня ничего, кроме этого медленного движения шестерёнок. Тогда я пройду сквозь время, как обмазанный жиром проходит сквозь пламя».

Когда «Энциклопедия» была добыта, кухонные шкафы опустели наполовину, а от обильных запасов орехов остался лишь дырявый мешок. Примерно то же творилось с памятью Толика — и он едва не прыгал от восторга. Чуть намечающиеся провалы радовали его так же, как тяжело больного радуют первые обнаруженные врачом признаки выздоровления. Под давлением расправившего организм счастья сердце едва не выскочило через рот, когда он вдруг поймал себя на том, что больше не помнит, как работает «iPod», но зато почти наизусть знает все резолюции 25-го съезда КПСС. Не может назвать ни одну из популярных R'n'B-групп, но репертуар Утёсова и Бернеса знаком ему до последнего куплета. А пресноватое описание любовной сцены в одном из рассказов Моэма ни того ни с сего вдруг ввергло его в смятение. Не то чтобы лицо краской залилось, но... он почувствовал себя человеком, распахнувшим дверь туалета в тот момент, когда там тужился некто близкий и дорогой. Захотелось побыстрее перелистнуть страницу.

Есть в живописи сюжет, до тошноты популярный среди уличных художников, что по выходным прельщают яркими тонами туристов и домохозяек. Обезлюдевшая осенняя аллея ведёт в прекрасную даль, из которой струится белый свет, претендующий на божественность. Толик чувствовал, что все эти дни, недели и месяцы идёт по такой аллее. Вот только жёлтая она лишь в самом начале. Дальше деревья начинают понемногу наливаясь зелёным — сперва по-патиссоньи бледным, а затем всё гуще и гуще, впадая в конце в хлорофилловое безумие тропиков. А наверху, в треугольном лоскутке неба, синева растворяет молочную пену

облаков. Путь от тлена к рождению, из тоски перед неизбежностью — в первую детскую радость...

Это будет с ним. И это будет с ним. С героем, не познавшим ни жизнетрясений, ни драм — пусть даже будничных. С тем, кто насмерть пересидел судьбу под тусклой настольной лампой. Вечно живя по чужим часам, теперь он докажет всем главную истину. Время выдуманно. Его нет, и каждый — сам себе время. Чтобы сократить путь к таинственному свету, Толик развернул свои дни задом наперёд. Теперь они начинались с музыки и чтения в постели, а венчались завтраком, бриггём и гимнастикой. Всякого гимнастику он отметил — для сбережения сил. И снова принялся за «Энциклопедию», но на сей раз с последнего тома. Да и остальные книги тоже читал с конца. Оказалось, это даже придаёт сюжетам напряжённости.

Медленно, но неуклонно непрочитанные фолианты заканчивались, а прочитанные опостылевали. Трапезы становились всё реже и постнее, пока запасы не истаяли полностью. Теперь он старался пореже подниматься из кресла. Машинку не трогал: ему вполне хватало просто видеть её. В конце, как это всегда бывает, осталась только музыка. «Animals», Paul Anka, Chris Farlowe и «Searchers» извивались под иглой проигрывателя, а потом брали те же самые ноты во снах. Затем и сны перестали сниться. А за незрячими окнами лёгким ветром проносились весны с их тщетными надеждами, шествовала вечная зима с вечерней тоскою на поводке, и лето жгло пунцовые закаты. Когда в квартире погас свет, Анатолий Фёдорович превратился в бесплотный дух. Который иногда открывал глаза, а потом снова их закрывал.

Какая эпоха стояла на городских дворах — позже скажут. Может, бурные годы, может, лихие, может, роковые, а может, и славные золотые... Откуда-то из тьмы столетий в сверкание вечерних огней выползла тощая фигура. Моргающими, слезящимися глазами глядела она на загадочную, чужую жизнь и вздрагивала от громких и хамоватых звуков. Москва переливалась огнями реклам, гудела дорожными заторами, пищала «мобильниками» и постукивала сабвуферами ночных дискотек. Кто из метро, кто в метро, кто на свидание, кто от долгов — люди пробегали мимо ссутулившейся посреди бульвара тени, не видя её и порой задевая сумками чёрный футляр, который тень держала за кусок сломанной рукоятки. Лишь одна девушка, семенящая рядом с долговязым парнем в строгом костюме, чиркнула острым взглядом по страннику — точно спичкой по коробку. И, вдруг встав, дернула спутника за руку.

— Дим, смотри!

— Чего? Где?

— Вон же, вон — погляди на него...

— Ну? И что в нём такого?

— Ты не видишь?

— Да нет... Мужик как мужик.

— Дима, он чёрно-белый!

— Он... Слушай, правда! Я как-то сразу не заметил!

И они оба замерли, обтекаемые толпой, как два валуна в ручье. Парень прищурился, а потом громко рассмеялся:

— Да это же голограмма!
— Голограмма?..
— Ну конечно! Раньше что ли не видела таких картинок? Ещё одна хохма рекламщиков.
— Но как похож на настоящего! Очень искусно сделан.

— Это точно. Я сам вначале его за живого принял.

Прибавив шагу, они уже почти скрылись в толпе, когда юноша обернулся:

— Да-а-а, всё-таки этот дядька — настоящий триумф прогресса!

г. Москва

Юлия Боголепова В Венеции

В Венеции

Анне Криволицкой

Окутана покоем и туманом,
Венеция проснулась только-только...
Корабль-призрак с очертаньем странным,
И запах моря сыровато-горький.

И тишина полупустынных улиц,
Восхода солнца ждущих сиротливо.
И на лотках тельца зелёных устриц.
Шарманщика унылые мотивы.

В столь ранний час туристы спят беспечно —
К чему им город в таинстве тумана?
И что им до того, как безупречно
Играет свет в полотнах Тициана?

А жители Венеции ликуют:
Есть три часа у них для жизни местной!
Но кто это в тени прохладной туи? —
Фигурка синьориты неизвестной.

Прекрасная, как утро, иностранка,
Высокая, с льняными волосами,
Она — везде: на площади Сан-Марко,
У мостиков, соборов, под часами.

Она спешит запечатлеть, запомнить
И этот древний город, и лагуну,
Как Адриатика катила волны,
Как здесь души её звучали струны.

Приснятся ей в Москве, от снега белой,
Мосты и тёмная вода канала,
И гондольер, что произнёс несмело
Чужое имя: «Аня. Донна Анна!»

И ей опять захочется вернуться...
Пройтись по улочкам, их запахи вдыхая,
Увидеть, как доверчиво уткнутся
Гондолы в скользкие от ила сваи.

Она вернётся. Поздно или рано.
И снова снимков чудных будет столько!
Окутана покоем и туманом,
Венеция проснулась только-только...

Надежда

Надежда назойливой кошкой
Скребётся и ластится к сердцу.
Надежду — по маленькой ложке,
По капле, по ноте, по герцу.
Надежде не трудно ужиться
В пустых лабиринтах неверья,
Она — то от счастья кружится,
То скорбно считает потери.
Надеждой укрыться ночами,
Как в пандирь железный одеться.
Надежду не вырвать клещами —
Срослась она с тканями сердца.



Старая женщина —
Память горька.
Что ей обещано? —
Старость робка.

Взгляд, затуманенный
Тихой слезой,
Век словно замер в ней
Светлой росой.

Святость нездешняя,
Проседей волос.
Жизнь отшумевшая, —
Что в ней сбылось?

Ветхое дерево —
Судеб итог.
Веком отмеренный
Жизненный срок.

г. Красноярск



Александр Петрушкин Пойми, никто не виноват

~
стоящий под столбом растёт за ним вдогонку
негромкое негромко как вишня говоря
растущий в небо столб с ним говорит и тонко
растёт куда-то вниз от кроны до корня

возьми слепое я возьми кусочек тела
не грому гласный улей в узлах чужих садов
нас столб произносил скорей чем неумело
мы покупали вишню для ослеплённых ртов

шёл тёмный аммиак среди огня и снега
возьми не говори не бойся попросить
у всех столбов земли молчащего ночлега
и говори как воздух по средам для живых

~
в глухих углах не бог а слух
звучит наружу
ты переходишь сугомак и ночь
наружу

с тобой не люди волны врозь
про кость улова
в глухих углах у всех сетей на
рыбослово

ты говоришь я говорю кого не
слышно
ты всё пройдёшь а я пройду по тем
что в нижнем

гулят и падают на стол и наблю
дают
как бог и слух в рыбацких ртах как водка
тают

Расписание

в далёком ехать ехать в близком
вагоне электрички до ростова
дожать балканскую дожить чужие спички
дожечь уже не видишь не готова

в далёком ехать и скрипеть навьлет
пружинами мужчинами детьми
вагоны переполненные мною
взлетают в небо около семи

~
пилили женщину пилили
на части две и три и три
пилы звенели после пили
в них наступившей тишине
глобальные как пионеры
недавно умершей страны
немедленно остервенели
пилы три шли и шли и шли
пилили женщину на время
пилили вдоль и поперёк
земля ломалась безраздельно
и плыл невидимый как ток

её необъяснимый голос
на части две и три и три
её ослепших пионера
шагали вдоль белым белы

~
без оболочки дочь Вийона
летает шариком над домом
и выше дочка только тать
идём искать

всё улетело улетело
осталось мокрое лишь тело
и выше кожи только тать
летим летать

без оболочки дочь Вийона
стоит в холодном незнакомом
без почвы тьме верстает мрак
и слову прах

под снегом под пургой под белым
Вийон и дочка все без тела
и дети тычут пальцем в окна
там Бог в нас

идёт — но видят только дети
считалочка — ты будешь третьим...
а выше слова только тать
пора порхать

невинность опыты Вийона
и дочка ходит незнакомым
ему путём и только снег
накроев всех

Владивосток

вот гончая страна
полай и отойди
господь не впереди
и шконки на запасе
а взгляд как у воров
стоверстых перейди
но с воем погоди
он здесь опасен

вот гончая страна
нессученый поэт
читается как хлеб
в глухом владивостоке
и пашут эти финки
воронез и вийон
осоловей земля
всегдастопервой стройки

приветствуй мя земля
которой я живу
которой я умру
и досыта наемся
отеческих гробов
и костяных корней
родного языка
с которого не деться



пойми никто не виноват
ни в том ни в этом отвечай
из пустоты как урожай
всё отражается в вине
пойми закроются глаза
а ты внутри на глубине

все против почему
ты
за?

пойми никто не виноват
дрожит судья в тебе дрожит
немой и триста киловатт
земли с виной
в тебе
лежит



*нет замечательной реки
гроза шумит в гляди глядит
а гладит против шерсти
есть у травы своя судьба*

*но вот доедена она
теперь — стена*

нет незамеченной воды
снегов сегодня пруд пруди
и град падёт над головами
прелестен свет он между нами
сечёт то фишку то судьбу
и ни гу-гу

*хвалённый брат зовёт в Сибирь
гроза в гляди своё глядит
погладишь против шерсти
и небо тёмное как шесть
твоих детей бежит на жесть*

*и посторонним светит
а кто тебе
ответит?*

земля похожа на шмеля
жужжит когда из лап огня
порвутся на нейтрино
Наташа и Ирина
нет замечательной реки
гроза то шепчет то урчит
и ты живёшь в свердловске
но снега нет пришёл кыштым
за ним озёрск или булдым
или соседский коля

*с портвейном он пришёл один
стакан достал а там за ним
слепой господь идёт один*

*и сам себя не видит
но кто его обидит?*

земля похожа не жужжит
пока слепой на ней стоит
и слепоту корявит
но если он из топора меня
пристроил в тополя
то ульем я предстану

хвалённый брат иди в Сибирь
Соседский Коля там стоит
под лампочкой в руке
он держит по карманам стыд
и этот стыд огнём горит
и шмель не дерево простит
а мякоть семи сит

*так что же всё уходит брат
мы переходим бродом ад
своих прощений и щенков
господь готовый не готов
и места не находит
а коля в переходе*

стоит веслом стоит крылом
каков еврей таков закон
нет замечательной реки
господь не пишет со строки
первоначальной не найти
и говорит как мёд
прости

там колю видел я господь
он вбитый в электроны гвоздь
в подземном из потоков
там коля он один портвейн
там коля пень и коля день
мы переходим нашу тень
и рядом этот коля

теперь не коля только рад
никто господь не виноват
пернатых камушков парад
жужжащих галечек и ос
которых коля не донёс
летят стеной
назад

*и этот маленький господь
свой пальчик тычет в ровный рот
как электричество орёт
глядя глядит*

г. Кыштым



Евгений Чупров

Молитвенная память

Элегия

Несметным тиканьем цикад
исполнен ход июльской ночи.
Луны сияньем заткан сад,
дымком белёсым застит очи.

На фоне смутном — вдалеке,
стволов согбенных метловища,
в туманном стынут молоке
оконца дальнего жилища.

Обмолвить слово по душам
мне до восхода больше не с кем.
Долина внемлет камышам,
полночным шелестам Летейским.

В единый выдох воплотив
погоста сельского останки,
в ночи гуднёт локомотив
на одиноком полустанке.

Под стук невидимых колёс,
во тьме удвоенных на эхо,
нет сил унять позывы слёз
не то печали, не то смеха.

Такое чувство, что уже
вне бытия и вне сознанья,
идёт отсчёт в моей душе,
минут оставшихся дыханья.

Восход едва велит лучом
коснуться лезвия мусатом...¹
Не сожалея ни о чём,
уйду себе тенистым садом.

Для Вас оставлю на полях
свои невнятные пометки —
клубами вдаль пылящий шлях
вдоль колеи железной ветки.

Клочок непаханой земли
с ночными видами на небо,
попыни запах, ковыли,
ломоть подсолонного хлеба,

судеб смыкающую нить,
найдя на ощупь волоконца,
оставлю Вам — соединить...
...успеть бы... до восхода солнца...

Новый Адам

...усталый раб, замыслил я побег...

А. С. Пушкин

1.
Уйду, окинув беглым взглядом
всё то, что здесь мне стало близким:
лужайку, дом с тенистым садом,
лазейку в сад с поклоном низким.
В кулак возьму сухменной земли
и в нём сожму её до пыли,
вот то и станет с нами всеми.
...Не знали, или позабыли?

Тому назад — лет эдак ...надцать
или того немногим боле,
я здесь бы мог совсем остаться,
себе не чая лучшей доли.
Гляжу без тени сожаленья
на то, что как-то не сложилось
отца наследовать владенья...
На всё, должно быть, божья милость!

Лежать в тени дуплистых вётел
и плыть вослед за облаками
я мог бы здесь, как я заметил,
подолгу, если не веками.
Не знаю, свидимся ли снова,
(да, в общем, это и неважно)
и без того, даю вам слово,
в саду всегда свежо и влажно...

Листвы подушка в изголовье
подскажет мне ответ на думу:
оставить надо бы гнездовье,
листом отпав — легко, без шума.
Со мной такое, мниться, было
и даже, может, не однажды,
мне вечность здешняя постыла,
исходом, став духовной жажды.

2.
Волнами зыблется ковыль,
насколько глаз хватает в поле,
клубами в даль уходит пыль
в зубах навязшая до боли.
Тоска такая — свет туши!
А хуже вот что, даже близко
нет ни одной живой души,
ни ангела, ни василиска.

Мы все когда-либо сойдём,
на незнакомом полустанке,
где нечто, может быть, поймём,
ткань бытия познав с изнанки.

¹ Мусат — стальная полоска для точки ножей, правки и заточки косы. Мусатить косу или нож.

Случайно найденный цветок
таит в себе благоуханье...
Не это ль дней земных итог,
...цветения и увядания.

Ни что не ёкает во мне,
надежд угаснувших не будит,
за то меня на судном дне
дыханье бездны не остудит.
Неугасимый свет в окне,
напоминающий лампаду,
не позволяет сбиться мне
с пути к покинутому саду.

Opus №1

*Без печали и тоски полнота недостижима.
Без них не может быть завершённости,
ибо без них не может быть ни доброты,
ни уравновешенности. А мудрость без доброты
и знание без уравновешенности бесполезны.*

Карлос Кастанеда, Колесо Времени
«Огонь изнутри»

*Он опыт из лепета лепит
и лепет из опыта пьёт.*

Осип Мандельштам

Вот тоска — я знаю — есть...

Саша Чёрный

1.

Отныне, мне куда милей,
увядших листьев цвет полей,
быльё, да стебли ковылей.
Маячным *боталом* в ночи
Звучи, печаль моя, звучи!
Куда мне нынче — научи.

Межа от плужного ножа
со дня былого дележа
во мне достаточно свежа.
Пустое мелево обид
оскомой давнею саднит,
коснись чего-то — взбеленит.

Земля уходит из-под ног,
заместо пола — потолок,
устал от этих бабьих склок.
Досужих вымыслов лоза
меня мутузит «за глаза»...
знакомых слышу голоса...

2.

Каков я был — таков и есть,
чего змей из кожи лезть,
нельзя ли двух в одном учесть?
Тогда однажды мы вдвоём
По-лягушачьи песнь споем,
и вниз башкою в водоём.

У лампы тусклой светляки
впотьмах танцуют медляки —
и чем от них мы далеки?
Из ниоткуда в никуда —
нужда попасть, как никогда.
Одна у всех у нас беда.

Вошёл, однако, я во вкус
низать на нить стекляшки бус,
нижу себе — не дую в ус.
Не лёг пока что на бочок
на нет измотанный волчок,
но чую — близится скачок.

3.

Едва касается душа
сквозь пятки лезвия ножа.
Скольжу над бездной, чуть дыша.
Мосточка шаткого настил
не я ли сам ли упустил?
Остаться целым шанс скостил...

Вдалеке под слоём дымки —
ни погоста, ни заимки... —
отзовитесь, невидимки!
Маячный колокола звон —
по тем, кто вечный видит сон, —
кого, скажите, будит он?

Кисейный занавес небес
окутал зябкой дымкой лес,
и лес под ней почти исчез.
Паденье в бездну лепестка —
и есть та самая тоска.
Надежда в небо взмыть — низка.

4.

Ночная свежесть сквозняка
утихла в чаще лозняка —
дымком пахнуло кизняка.
Дымок, сжимая в кулаке,
шагаю в небо налегке,
за светом ясным — вдалеке...

Назад я больше ни ногой,
какой-то стал я не такой,
всё то, что было — мне на кой?
могу оставить я в залог
с овцы заблудшей шерсти клок,
не обессудьте — сколько смог...

Via Combusta²

Пришёл к своим, и
свои Его не приняли.
Евангелие от Иоанна 1:11

Отпал от ветки блёклый лист,
но как легко ему в полёте!
Ни с чем не связан, всюду чист.
Блаженный — что с него возьмёте!
Дыханье, взятое взаимно
из почвы, влаги, тьмы и света,
в себе задолго до зимы
он затаил помимо цвета.

Цветком снежинки на огне
однажды также я истаю.
Тужить не надо обо мне,
уж я-то лучше это знаю.
Мошкой в солнечном луче
жить, мельтеша, на этом свете?
По мне — так сгинуть на свече,
чем стать поживой цепкой сети.

Не так на свете много мест,
где по ночам, по наши души
качнут маячный благовест,
желая выволить из стужи.
Стою на выжженной меже,
между своими и чужими,
для этих я — чужой уже,
а те — не стали мне своими.

Давай уладим все дела,
а хочешь так, не глядя кинем,
кобыл возьмём под удила
и навсегда отсюда двинем.
Пускай тогда судачат квочки,
покуда меситься квашня.
Яйца не стоит оболочки
делишек наших мельтешня.

Сойду с обочины в поля,
пущусь нехоженою стёжкой,
вослед, не глядя, тополя
махнут пуховою ладошкой.
Легка пушинка на подъём,
любого хватит дуновенья,
витать без цели над огнём,
избыв земное тяготенье.

Любовь — молитвенная память...

Любовь — молитвенная память
по телу, канувшему в Лету.
В воде, истаявшая камедь,
тень гаданье по ответу.
Полоска слабенькая дыма,
ещё плывущая по небу
как никому исповедима —
тобой несъеденному хлебу.
И ты, и я — подобно птице —
отбит обидами от стаи,
куда-то выбиться и влиться,
надеждой тайною питаем.
Но, мы ли это, в самом деле?
На *том* ли мы, или на *этом*?
Летим ли, или улетели
куда-то, сотканые светом?
В покое мысля о высококом.
Не вспоминается пустое.
Слова, напитываясь соком —
живое месиво густое.
Тяну, воздетые ладони,
небес объять, желая купол.
Мы все когда-то в нём утонем,
чего бы кто о том не думал.
Душа — молитвенная ниша —
полна во мне объёма чуда.
...дышу, дыхания не слыша...
вся, до единого, сосуда...
Отныне, мы одни в пустыне,
но мне с тобою в ней не пусто.
Едва настой во мне остынет,
тебе поведаю я устно
всё то, что есть, на самом деле:
на *том* ли мы, или на *этом*,
летим ли, или улетели,
куда-то, сотканые светом.
И пусть из вод выходит камедь,
из тьмы ведомая к ответу...
...Любовь — молитвенная память
по телу, канувшему в Лету.

г. Красноярск

Алексей Гамзов Грецкий человек



За ухом, горлом, носом — глаз да глаз.
При этой плясовой температуре
Чуть за порог — припомнится на раз
Июнь-июль, когда ходил в натуре.

Там, за порогом — мрак, мороз, атас,
Там швах, там, занят выбиваньем дури,
Господь кроит людей не по фигуре
И пробует на прочность нас, как наст.

Семь шкур спустя я всё ещё дитя.
И, раздеваясь, думаешь в прихожей,
Что бог не лох и лепит не шутя
Тебя с твоими речью, сердцем, рожей
Так, что выходишь ты и с вошью схожий,
И с монументом медного литья...



Ты кончишь работу и кончишься сам,
но это не повод для скорби;
всё то, что ты здесь проповедовал псам —
метафора urbi et orbi —
оно адресовано, в общем, тому,
с кем всё это будет впервые:
и чувств передоз, и усада уму,
и длани, и перси, и выи.
Представь: он вещает, задействовав рот,
такой из себя гениальный,
но так же подвержен гниению от
гипофиза до гениталий,
а там уж и следующий адресат
маячит, с младенчества смертью чреват.

Расхристанной жизни рисунок твоей
коряв, как портак моремана:
вот птица в скрещении двух якорей,
марина (зачёркнуто) анна,
но в тихом сердечке иссином твоём
очерчен какой-никакой окоём,
а значит, неважно, что гулко от псов
(кому проповедовал) лая,
что партию лет, и недель, и часов,
безудержной стрелкой виляя,
дотла отстучит пресловутый брегет.
Всё это — не повод для скорби, поэт.

Полифем

Со мной произошёл козлиный гимн,
Сказали бы ахейцы-острословы,
Теперь мои страдания образцовы,
И даже хор теперь не нужен им.

Повержен переросток-овцепас:
Валялись дураки, а также дуры,
Горланили козлы, смеялись куры.
И верно: не имел обычных глаз,

Я, скромно заселявший свой сим-сим,
Имел во лбу мечту любого мага,
И не стерпел огня — я не бумага.
Теперь я вровень с автором своим.

Кипр

Здесь воды отошли, и Афродита
в отлива иле пеною залита,
довоплотилась на заре эона,
достойная гексаметра, пеона.

Не человек сё — женщина, мужчина:
столь следствие страстей, сколь и причина,
цель вдохновения, любви натуга,
не человек, не друг — а род недуга.

Что есть богиня, как не вид сосуда,
к которому не приспособишь уда?
Но если всё ж сподобиться вовлечь снасть,
то не иначе, как длиною в вечность,
чтоб, совершая мерные движенья,
понять, что вот оно — стихосложение.

Исход

Открыть огонь. Изобрести колесо.
Следом — автомобиль, чтоб огонь оказался беглым.
Мыло и бритву создать. Не чтобы холить лицо —
Чтобы верней расставаться со светом белым.
Дать волю слезам. Отпустить волосы и усы.
Руки пораспускать. Отменить крепостное право
В отношении ног и пойти, как часы —
Тикая; перетекая за край державы.

Война ли? Миф ли о войне?
 Повествование о мифе?
 Воспоминание о дне
 Повествования? В Коринфе,

Или в Микенах, или тут,
 Где ты, слепец, бряцаешь лирой —
 Но Агамемнона убьют
 Двояковыпуклой секирой,

Но от тоски и до доски
 В земле итоговой Итаки
 Сойти Улиссу, вопреки
 Предначертанию вояки,

Но Менелай закончит век
 Со старой незнакомой бабой,
 Но каждый грецкий человек
 Уйдёт, склонив орех дыривый,

Из строф твоих, из битв — назад,
 Где Леты лет летит леченье.
 Аид — вот идеальный ад:
 Ни мук, ни слёз — одно забвенье.

Там, в глубине, на самом дне,
 Вовне всего, что было зримо
 Тебе, слепец — наедине
 С единым бдит неумолимо
 Вина ли, сон ли о вине...

слабо ли в райские врата,
 не причинив себе вреда?
 дух оперировать без боли
 слабо ли?
 слабо, витийствуя — рожать?
 о братстве петь — из-под ножа?
 фабриковать, вскрывая вены,
 катрены
 о смысле сущего? слабо в
 двух пулях выразить любовь,
 сказать, мол, верю и надеюсь,
 прицелясь?
 слабо не обломать перо,
 построчно потроша нутро,
 дословно на сибирь, меся грязь,
 ссылаясь,
 источник счастья и обид,
 что столь же чист, сколь ядовит?
 короче говоря, слабо ли
 на воле?

любимая, прости меня:
 и жить без этого огня
 невыносимо, и, тем паче,
 иначе.
 я сам себя загнал, засим
 я сам себе невыносим,
 и — чудо — лишь тебе, постылый,
 под силу...

ну-ка, память моя, кругом.
 предъяви её, ту, по ком
 умирал, лаская
 что посмел бы назвать соском,
 если б не было то звонком
 на воротах рая.

ту, которую всю, везде,
 и в ромашках, и в резеде,
 и пестом, и дланью —
 оживи её, ту, мою,
 о которой всё думаю
 даже без сознания.

от которой сводило пах,
 от которой сам воздух пах
 спермацетом, миррой,
 ту, которую на руках,
 ту, что нынче пою в стихах —
 о, реанимируй.

ну и пусть — хоть слагай, хоть вой —
 что из прошлого ни ногой —
 та, одна на землю,
 облик, ощупь, дыханье, вкус
 воскреси. растворяюсь, вьюсь,
 истекаю, внемля.

Эпитафия

Некто из страстей и плоти,
 вдруг откинувший коньки,
 полулошади заплóтит
 на берегу забудь-реки,
 и отчалит в подпространство
 послевременья улов,
 где поганство с христианством
 бес попутал, сто пудов.

Как бы, друг, хотелось верить
 в этот дантовский гулаг,
 в то, что будут нас не херить,
 а ну вот хотя бы так,
 и что ангелов начальник,
 наконечник в губы взял,
 всё же дунет в матюгальник,
 нас к своим приплюсовав...

Бы

Искупляя свои грехи,
 Как говаривал Навои,
 Я накрапывал бы стихи,
 Принимая их за свои,
 Либо, как говорил Ли Бо,
 О любви сочинял бы слоги,
 Ибо только одно — любовь
 Помогает идти в дороге.
 Так взбираются к небесам:
 Врут, камлают, ломают шею,
 Ибо, как бы сказал я сам, —
 но немею и не умею.

Александра Вайс Таблетки от одиночества



Виртуоз вполоборота
Ворошит вермишель с винегретом
В вестибюле другая забота —
В вестибюле пропали штиблеты.
Вегетация злобных соседей
Разрушает сон как витрину.
Вибрация нового Handy
Дополняет картину.
Впоследствии кто-то скажет —
Я вытеснена из виду
В виду веснушчатой Маши
И черноволосой Фриды.
А я на веранду вприпрыжку,
Пусть вакуум там вертикальный
И вентилятор под мышкой,
И голос почти астральный.



Кошмарный сон, богиня декаданса —
Нам даже как-то весело вдвоём.
Ты захлебнёшься в самом жёстком трансе
И мы уйдём.
Дожёвываю строчки из письма —
Паршивый почерк, вычурные фразы.
Красивые, наигранные, пассы
Додумаю сама.
Я жирный кот на лоске простыней,
А ты — карикатура на сознание.
Ты выдумашь странное желанье.
Я стану лучшей из твоих теней.



Разожгу посильней дровишки,
Чтобы пламенем исцелить.
Я любила, наверно, слишком,
Но иначе смогла б любить?

Всё игра — на краю, у края.
Жизнь как смена несладких блюд,
Но — живу, но не умираю
От того, что сильнее люблю.



Не хочется громких слов. Больше не хочется.
Мне бы купить пару таблеток от одиночества.
Но мотылёк-силач под ладошкой ворочается.
Мне бы воли такой, точно в твоём пророчестве



Небо целует равных,
Небо целует лучших.
Мне бы стремленья главных,
Мне бы проблем сущих.
Мне бы тебя вдоволь,
Полностью, без остатка,
Перворождённое слово,
Голое, на кровати.
Нам бы ходить в обнимку,
Нам бы стрелять по звёздам,
Не доверяя снимкам,
Не принимая слёзы.
Нам бы любить наощуть
То, что не видно глазом.
Нам бы скрываться в рощах
И находиться разом.
Нам бы с таким уловом
Не замечать тьмы.
С каждым неверным словом
Голос теряем мы.



*Чтобы жить, надо
разучиться мечтать*
М.Г.

Стирая одиночество с лица,
Ворую откровения прохожих —
Смешных и злых, бездарно непохожих,
Пустых, но откровенных до конца.
Потом, не в силах что-то изменить,
Сама себя подтаскиваю к краю.
В моих руках оборванная нить.
Повторно обрываю.

Ребёнок

На ветрах провода повисли,
Возвращая в какой-то день.
Нам бы выкинуть тряпки-мысли,
Раствориться, уйти в тень.
Я себя отучила драться,
Только драться пришли к нам.
Извини, мне не оправдаться
И не выпрыгнуть из окна.
Но мой голос, сухой спросонок,
Будет искреннее других:
«У меня для тебя ребёнок —
У меня от тебя стих».

г. Барнаул

Евгений Асташкин Фантом

Чёрный отпуск

Семён выходил в тамбур покурить, лишь когда было совсем невмоготу. Протиснется в грохочущую железную каморку, словно в камеру-одиночку, дожину жадных затяжек, и быстренько назад в своё купе. Благо, и в ресторан не надо ходить — официанты носят по вагонам свои алюминиевые кастрюльки, заключённые в металлический каркас, двухсторонний, словно весы. После любого отсутствия в купе Семён деловито задирал крышку вагонного лежака и делал вид, будто что-то ищет в своей поклаже. Отодвигая замочек кожаной наплечной сумки, он нащупывал ребристую рукоятку пистолета Макарова и облегчённо переводил дух: «На месте!..»

Зачем он взял с собой в дорогу пистолет, Семён и сам не знал. Видимо, сказала застарелая привычка. При оружии всегда чувствуешь себя более уверенно. Во время отпуска владельца этой штуки табельному оружию самое место в милицейском сейфе. Ведь прекрасно понимал: случись что, — вдруг пропадёт пистолет в дороге! — его начальнику Николаю Ивановичу несдобровать. Да и самому в первую голову отвечать, такое чп не пройдёт бесследно.

Попутчики от скуки закартёжничали, купе словно проходной двор: заходят соседи, включаются в игру вместо выбывших. Семён тоже сыграл несчётно в подкидного. Когда надоело, стал всё затяжнее посматривать в окно. Впрочем, и другие игроки дружно оставляли свой азарт, когда за окном показывалась лесополоса. Возле кустарных насаждений, опаханных вокруг для защиты от степных пожаров, бросались в глаза девственные островки в щедрых тюльпанных брызгах. Кое-кто сокрушался, что с освоением новых массивов тюльпанов становится всё меньше и меньше.

Давно уже обосновался Семён в небольшом степном городке. Когда-то служил здесь, да так и остался. По душе пришлась ему степная неизмеримость, где взгляд не натывается на неизменные спутники цивилизации: телеграфные столбы, дороги. Начинал он здесь водителем, возил начальника райотдела милиции Николая Ивановича. По долгу службы разъезжал по сёлам и глухим отделениям, где на магазинной полке ещё можно было обнаружить музейные ламповые радиоприёмники, работающие от больших квадратных батарей. Заглушит иногда «газик» в степи, где весной бушует тюльпанное море. От суховея сочные цветы бьют тебе бесконечные поклоны. В душу закрадывается невыразимость, заставляющая почувствовать единение с этим нарядным безмолвием. Безмолвие, однако, относительное.

Вдруг на свою глиняную горку заберётся сурок и уставится на тебя в безопасном отдалении. Или где-то под боком просвистит суслик. А то иногда на дорогу выбежит сайгак и будет бестолково бежать под самым капотом, выбиваясь из сил и не догадываясь свернуть в сторону. Ночью же в свете фар вдруг запляшут, словно лешие, тушканчики. Днём их никогда не увидишь, а в сумерках же откуда они только берутся?..

Позже Семён перешёл работать в уголовный розыск. Но шофёрское дело не забыл. В выходные с Николаем Ивановичем иногда выезжал на рыбалку. Семён отлично ориентировался среди многочисленных заливов и стариц Ишима. В этом ему не было равных. Можно так забуриться, что долго придётся искать обратной дороги, всё время натываясь на непроезжие ручьи или притоки, которые в иное жаркое лето напрочь пересыхают. Если кончится бензин или сломается машина, хоть караул кричи. Так и сблизился Семён с Николаем Ивановичем.

В отпуск Семён собрался внезапно. Как-то с высоты второго этажа райотдела в раздумье посмотрел на верхушку молодого карагача. Это деревце он сам посадил на субботнике лет семь назад. Теперь оно подтянулось, раскинув тонкие сетки своих ветвей. Когда торопыги-тополя зазеленеют клейкими листочками, карагач не спешит радоваться маю. Самый последний из древесных собратьев карагач выпускает крохотные резные листики, потом появляются и круглые крылатки с семечком посередине. Зато он и осень не празднует — до самого снега держит свои листья.

Семён неожиданно для самого себя вспомнил, что точно такое же дерево посадил в далёкой Покатиловке его отец. Это дерево заслоняет окно в его отчем доме, правда, называют его там по-другому — вяз. И крылатки у него поменьше, а по краям с ресничками ...

Пронзила его тогда мучительная мысль: да он же целый век не был в Покатиловке, где в родном доме остался единственный жилец — его матушка!.. Даже прикинул: двадцать лет получается. Мать приезжала в гости четыре раза, а он так и не удосужился. Со всей ясностью Семён ощутил себя на этом отрезке времени — сорокапятiletним, с не совсем удачной семьёй, — супруга на старости лет завела подружек-субутыльниц. Как бы и дочка с пути не сбилась, скоро заканчивает школу...

Боясь, что не скоро вынырнет из круговорота дел, Семён срочно отпросился у Николая Ивановича в отпуск, тем более что не позволял себе

этого уже третий год. Толком ничего не объяснил жене, Семён взял билет до Покатиловки. Вернее, до ближайшей станции, от которой добираться до матери на перекладных добрых три часа буйным лесом. Покатиловку когда-то нарекли неперспективной, молодёжь большей частью разъехалась. Семёну повезло, он доехал до Покатиловки на почтовой машине, которая ходила в ту сторону раз в неделю. Посылки и корреспонденция оставались в здании бывшего сельсовета, а потом кто-нибудь из детворы разносил их по домам. Водитель почтовой машины, снимая с кузова тощий мешок, сказал Семёну:

— Погоди, заодно захватишь газеты Митрофановны... Он знал в этой деревеньке всех. Семён взял из рук шофёра небольшую кипу газет, из одной выпал клочок бумаги. Семён подобрал его с влажной травы и узнал свою телеграмму, которую, оказывается, обогнал.

Сочная от недавнего дождя чёрная дорога пружинила под ногами. Семён ожидал, что не узнает своей деревеньки, но обострённо почувствовал запах обронённого здесь детства. Многого узнавалось: вот этот изгиб улицы, вот эти деревянные настилы вдоль заборов вместо тротуаров. Переверни любую доску, а под ней наверняка длинные дождевые черви, таких нет на целине. Там гораздо суше.

Дисгармонию в привычные картины детства вносил стоящий у одного из плетней сравнительно новый оранжевый «Кировец» с прицепом. Раньше здесь у заборов можно было видеть лишь сани, конные косилки да грабли на больших железных колёсах. За это время новых домов почти не прибавилось, но зато появились брошенные. Чернеют они ветхими срубам, показывают кресты заколоченных окон.

Семён от ограды оглядел свой бревенчатый дом, где родился. Не раз он мальцом, цепляясь за торцы углов, забирался под кровлю на чердак, иногда срывался, ударяясь спиной плашмя об землю так, что дух захватывало и, казалось, уже не сможешь больше вдохнуть никогда. Сейчас в доме чего-то не хватало. Вяза! Он громоздился под окном, а теперь на его месте лишь торчит из травы щербатый пенёк.

Ещё не отворив жердяной калитки, Семён увидел мать. Она шла по двору в стареньком халате и несла корзинку, в которой пищали цыплята. Поставила корзинку на солнечном месте и, словно подтолкнутая неосознанным всеведением, обернулась к калитке:

— Сёма!

— Вот моя телеграмма, собственноручно доставил, — а у самого комок в горле. — Совсем вы тут одичали...

— А я с цыплятами, — как бы оправдывалась старушка, промокая слезинки полой халата. — Не хотела нынче разводить их, да недоглядела. Клушка вывела их под крыльцом. В прошлом году эта клушка тоже удружила: под самую осень вывела под крыльцом цыпляток. Уж и намучилась я с ними зимой, хорошо хоть сарай тёплый. Надо бы, Сёма, забить ту дыру под крыльцом, у меня уже руки не слушаются. Голодный, небось? Пойдём, я крошку съготовила.

Тот же самый деревянный обскобленный стол и даже зарубки знакомые. Семён ел деревянной расписной ложкой, а мать всё расспрашивала.

Завечерело. Хозяйка включила свет. Занесла корзинку с цыплятами и поставила на подоконник, Семён всё так же млел за столом на лавке, прилонившись к тёплой сосновой стене. Он не мог насмотреться на родную убогость. Деревянные полы в идеальной чистоте. В деревне их почему-то никто не красил. Мыть их одно мучение. По три часа натирают их еловыми ветками, подсыпая песок, пока не забелеют.

— А что с тем вязом, мам?

— Молния ударила позапрошлой осенью.

Старушка, не привыкшая ни минутки сидеть без дела, достала с полки клубок пряжи и стала вязать. Вдруг она спохватилась:

— Ты знаешь, люди говорят, Шпень вчера приехал, совсем вылетело из головы, у своих гостит. Сынок его Федька даже на ферме не был, отпросился...

Семён откинулся от стены, словно ударило током:

— Откуда?.. Живой, значит... Вот это новость!..

— Да ты не ходи к ним, шут его знает, что у него на уме. Зверь он и есть зверь, ещё и тебе чего-нибудь сделает...

Семёна передёрнуло. Он отчётливо вспомнил шершавую физиономию Шпenea. Лет восемь тогда было Сёмке, а не забыл этой гадкой рожи: правый угол тонких бескровных губ подтянут вверх, глаза с неустанно-пытливым блеском, сбоку носа высокая бородавка, которую так и хочется отщипнуть.

Мать ещё что-то говорила, а Семён слышал только гнетущий шум в ушах, нехорошо отдавалось сердце в висках. Перед глазами всплывал знойный сентябрь сорокалетней давности — середина войны. Под сурдинку годовых напластований резанула слух отрывистая немецкая речь, её он мальцом слышал каждый день — оккупанты бродили по селу, пытались на тарбарской смеси заговаривать с молодками, под молчаливо-укоризненным взором хозяев ловили кур в чужих дворах. В то время в Покатиловке участились облавы. Сёмка знал, что отец ночью прикреплял к некоторым плетням какие-то листки. А вчера он закрывался в комнате со своим другом, и они о чём-то негромко переговаривались, накавал Сёмке поглядывать в окно на калитку и постучать в дверь, если возле дома нарисуются фашисты. В тот день Сёмка решил наловить в речке рыбы. Под вечер вернулся, держа в руке бидончик с уловом. Едва зашёл в комнату, почувствовал: произошло что-то ужасное. Мать сидела на полу и причитала, а на столе лежало что-то длинное, завернутое в белую простыню. На белых досках пола чернели брызги крови.

— Изверги! — стонала мать. — Ничего у них нет святого!... Она судорожно прижала к себе Сёмку, потом встрепенулась:

— Полежай на чердак и спрячься в ящик с шерстью, а то они и тебя спрашивали!...

Чуть позже Сёмка узнал, что приходили два немца и с ними Шпень — он добровольно вызвался служить у них полицаем. Отца связали, стали стегать ремнями. Особенно усердствовал Шпень.

Он и раньше, когда работал на колхозной ферме, старался отличиться перед заезжим начальством, нашептать на своих недругов. Шпень дулом «Вальтера» тыкал связанному в горло под яблочко. Из раны хлынула кровь. Немцы допытывались, кто вешал листовки на плетнях. Они подозревали отца в связях с партизанами. Когда истязаемый упал со стула без сознания, немцы и Шпень ушли разочарованные. Через полчаса они вернулись, но отец Сёмки уже был мёртв.

Буквально на следующий день Покатиловку отбили партизаны. Командир партизанского отряда на коне подъехал к Сёмкиному дому и спешился:

— Эх, добрый был товарищ, сколько нам помог, — сказал он убитой горем вдове. Потрепал Сёмку за вихор: — Отомсти за своего батьку!...

Вскоре подошли и части Красной Армии. До Сёмки докатилась весть, что Шпень поймали в соседнем селе. Больше о нём никто ничего не слышал. Все считали, что с ним расправились коротко — самосудом. Сёмка лишь жалел, что его при этом не было.

И вот через столько лет Шпень живой и здоровенький снова топчет места сёмкиного детства. Эхо далёкой войны вернулось на мгновение, настигло Семёна, будоража раненую память...

Несколько дней подряд Семён как бы ненароком проходил мимо дома Шпеней, но всё напрасно. Ублюдок не показывался на людях. Даже в жуткий ливень Семён специально «подежурил»: с час простоял возле «Кировца», укрываясь зонтиком и чувствуя тяжесть пистолета под мышкой. Время от времени выглядывая из-за трактора, осматривал двор своего недруга. Во дворе под бесконечными струями плясали лужи, мокли на завалинке резиновые сапоги, с крыши хлестал ручеёк в кадку, и она давно была переполнена. Но наружная дверь не открывалась, дом омертвел. «Неужели он и в сортир не выходит? — зло думал Семён. — И как он вообще осмелился вернуться в то место, где каждый встречный плюнул бы ему в лицо?..»

Лишь раз укараулил Фёдку, своего одногодку, с которым в детстве частенько дрался. Фёдка, отягощённый таким незавидным отцовством, боязливо поздоровался и после нескольких общих фраз торопливо утробился в свой двор, сославшись на дела. «Сторожит папашу, не прогонит такого негодяя...»

Вечерами Семён не находил себе места. Окна без занавесок — деревенская примета. Было неуютно смотреть, как в загустевающих сумерках смыкаются и надвигаются на тебя лесные деревья. Казалось, кто-то смотрит на тебя из-за елей и берёз.

— Хоть бы занавески какие повесила, — сказал Семён матери.

— А от кого прятаться? — не поняла мать.

Семён всё-таки вечерами стал завешивать окна газетами. Мать их утром снимала и аккуратно сворачивала.

А старый Шпень всё не появлялся на улице. «Прячется от меня. — догадался Семён. — Не ожидал, что и я сюда приеду...»

Семён уже побывал почти во всех домах Покатиловки. Селяне одинаково удивлялись приезду

Шпени. Редко кому удавалось его увидеть, да и то лишь издали. Семён поправил избу матери, выровнял перекошенный плетень, забил дыру сбоку крыльца, чтобы не лазила там клушка. Побывал на могилке отца. Потом его потянуло в лес, и он погожими днями бродил по едва видимым тропинкам, собирая грибы. Его не покидала надежда встретиться со старым Шпенём. Посмотреть бы ему в глаза, напомнить обо всём!..

Отпуск подошёл к концу. Семён снова заговорил с матерью о своём:

— Бросай свою лачугу, чего тут терять? Кур отдадим соседям, а скарб перевезём на почтовой машине, водила не вредный, поможет. Если хочешь, будем приезжать сюда летом, как на дачу, всё равно дом никто не купит... Мать замахала руками:

— Что ты! Скажешь тоже... Здесь могилы моих родителей. А твой отец?.. Нет, мне здесь доживать свой век...

С неискупимой досадой на себя уезжал Семён из Покатиловки: не удалось забрать мать и встретиться с убийцей своего отца. К старому Шпеню напоследок не зашёл, хотя мог бы, несмотря на сторожевого пса с длинной цепью. Боялся, что не сдержится и наделает лишнего. «Чёрт с ним! — плюнул он в сердцах. — Столько лет прошло...»

Прибыв на почтовой машине в райцентр, он сразу же двинулся на автостанцию. Решил добираться до областного центра, а оттуда лететь самолётом, иначе опоздает на работу. Автобус, уходящий в область, был переполнен. Семён насилу упрямил водителя взять его без билета.

В проходе теснились женщины, одна из них держала на руках младенца. Семён стал противиться вглубь автобуса. Рассеянно окидывая взглядом сиденья, он увидел среди сидящих пассажиров Фёдку с женой. Лихорадочно пошарил глазами поблизости, и на предпоследнем сиденье его внимание зацепила какая-то потусторонняя фигура сторбленного старика в чёрном долгополом плаще. Старик свободное место рядом с собой занял чемоданищем. Шпень!

Семён, держась за поручень, торопливо придвинулся к старику:

— Здорово! Узнаёшь?

Старик, не возражая на тыканье, потревоженно осклабился своим асимметричным ртом:

— Узнаю, Сёма...

Семён говорил тихо, но его слова расплавленным свинцом затекали в уши сидящему:

— Значит, не расстреляли тебя тогда? А жаль... Сколько лет дали-то?..

— Пятнадцать. Отсидел весь срок без амнистии...

— Ещё бы тебе амнистию на блюдечке!.. Где сейчас?

— Я честно работал, имею почётные грамоты... Сейчас на пенсии.

— Где живёшь, спрашиваю? Нужна мне твоя пенсия!..

Старик заёрзал: видно, не хотел говорить. Тут у женщины, стоявшей в проходе, заплакал на руках ребёнок. Она с измученным лицом протиснулась к старику и, кивнув на его чемодан, едущий неошувлённым пассажиром, попросила:

— Можно я сяду рядом?

Старик неожиданно заворчал, бородавка возле носа так и заходила:

— Я взял два билета. Нигде не дадут покоя!.. Ездят тут всякие !..

Семён судорожно схватился за своё горло, едва справляясь с нервным удушьем. Если бы не умоляющие взгляды Федыки с женой, он наверняка бы скинул старика с кресла. Сдержав себя, он прохрипел:

— А ну убери чемодан, гад!..

Старик, крихтя, взгромоздил на колени поклажу и придвинулся к самому окну. Женщина села рядом, благодарно посмотрев на Семёна. А старик упёрся в окно, изредка боязливо косясь в сторону Семёна и раздувая ноздри.

На окраине одного из сёл автобус, надсадно затарахтев, остановился- что-то случилось с мотором. Водитель объявил:

— Можете отдохнуть минут двадцать...

И тут же задрал капот. Семён уже не осознавал самого себя. Пристально глядя на Шпenea, он с расстановкой произнёс:

— Пойдём, покурим...

Тот дёрнулся и недружелюбно проскрипел несмазанной дверью:

— Я не курю... и вообще не хочу выходить...

Чтобы успокоиться, Семён вышел из душного салона и подошёл к обочине. Метрах в пяти от него ощерился крутыми склонами глубокий овраг, на дне которого лежал вверх гусеницами немецкий танк. Он весь поржавел.

«Гад остаётся гадом, сколько бы лет ни прошло», — подумалось Семёну. Он подставил лицо под струи залётного ветра. С почти графической ясностью зависли в его сознании слова старого партизана: «Отомсти за своего батьку!» Семён заскрежетал зубами, машинально нащупав под пиджаком свой «Макаров». Окажись сейчас рядом Шпeнь, он, не задумываясь, разрядил бы его в этого гада, чтобы он покатился в овраг, к тому подбитому танку...

— Поехали!- закричал водитель. Семён вошёл в автобус, и тот сразу стронулся с места. В проходе стало заметно просторнее. Семён огляделся и увидел, что старого Шпeня и Федыки с женой в салоне уже нет. «Уехали на попутке», — сказала женщина с ребёнком.

Семён облегчённо вздохнул и вспомнил Николая Ивановича.

«Небось, издёргался весь, если выяснилось, что я не сдал на хранение пушку...»

Временщик машдвора

Борис Браун шёл на свой машдвор, как обычно, окраиной села мимо разрушенной скотной базы, от которой остался один фундамент, песчано желтеющий среди пружинящего под ногами перегноя. Машдвор находился у самого основания высокой пологой сопки, защищающей совхоз от ветров. Пятый месяц Борис заведовал этим машдвором, где раньше слесарил на неизменные семьдесят рублей. Правда, ещё он вместе с женой, а когда и с матерью, подрабатывал в клубе — крутил фильмы. Мать или жена продавали билеты, сидели на контроле, а также помогали перематывать бобины

фильмокопий на начало и склеивать плёнку, если требовалось. Хоть и не полагалось киномеханику иметь в кассирах родственников, но установка была на хорошем счету, план постоянно перевыполнялся, вот и закрывали на это глаза. Да и с людьми в хозяйстве вечная проблема.

Никто не сомневался в порядочности семьи Браунов, осевших в этих тургайских степях ещё в начале войны, когда массово выселяли немцев Поволжья. В совете по кино долго вспоминали занятный случай, когда мать Бориса, не на шутку перепуганная, привезла сдавать месячную выручку и чуть не плача обратилась к бухгалтерше: «У меня тут не сходитесь с билетами, не знаю, что и делать?». Бухгалтерша подсчитала остаток билетов и выручку, оказалось лишних тридцать два рубля. «Вы, наверное, не успевали всех обилечивать, вот и остались лишние билеты на такую сумму». «Ой, правда, иногда на индийские фильмы столько собирается народа, что не успеваешь отрывать билеты...» Матери Бориса посоветовали просто уничтожить лишние билеты, а потом удивлялись, что она не догадалась положить лишние деньги себе в карман. Честность на грани курьёза.

Путь на машдвор пролегал мимо строящейся новой конторы. Возле двухэтажной коробки высились горы песка, стояли деревянные козлы. Рабочие успели побелить лишь половину здания. Вместо крыльца к наружной двери были приставлены две широкие доски, сбитые поперёк брусками. В конторе был полностью отделан лишь кабинет директора с прихожей, где находилась секретарша.

Проходя мимо конторы, Борис увидел загребавшего ногами по сбитым доскам косолапого Сергея Даудова, своего одноклассника.

— Что ты забыл в конторе? — праздно поинтересовался издали Борис.

Даудов оглянулся у самой двери:

— Надо узнать, кем сегодня буду работать...

Борис невольно усмехнулся: Даудов до него заведовал машдвором и за это время волею директора успел побывать помощником управляющего фермой, диспетчером и шофёром бензовоза. А сейчас с утра идёт уточнить свою должность, не то пойдёшь готовить в рейс бензовоз, а там уже другой шофёр орудует...

«Может, скоро и мне директор даст понять, что я засиделся на одном месте, — самоиронично подумал Борис. — Тем более, что я так и не решился принять машдвор по акту...»

Директор совхоза, вероятно, считал панацеей от всех бед постоянную перестановку кадров. Людей он передвигал, словно фишки в настольной игре, но трудности не шли на убыль. Директор «методом тыка» искал такую кадровую комбинацию, чтобы хозяйственный механизм потихоньку вертелся сам собой, избавляя его от ежесекундных докучливых забот. Но механизм этот постоянно давал сбои, и тогда директор опять задумывался: «А, может, поставить сюда этого, а туда того?..»

Не думал, не гадал Борис, что станет заведовать машдвором. До этого он был лишь на мелких должностях. Раз вызвал его директор ещё в старый кабинет и, словно ища союзника, сказал:

— Что-то совсем не хочет работать Даудов, то одно у него не ладится, то другое. Ничего не может сам решить. Не буду же я сам за него работать. Впрягайся! Ну и что из того, что тебе всего двадцать шесть лет? Человек должен расти. А Даудова я переведу помощником управляющего фермой, там у него родители работают, и там его чаще видишь, чем на машдворе. Наверное, потихоньку таскает домой силос...

Борис почти миновал контору, когда увидел, что из неё вышел директор вместе с Даудовым. Даудов направился в сторону гаража, а директор завернул за угол конторы. «Надо бы потолковать с директором», — подумал Борис, вспомнив, что вчера на машдвор приезжал из «Сельхозтехники» самосвал, нагруженный сеялкой. Директор, как назло, отправил куда-то единственный в совхозе подъёмный кран, поэтому сеялку выгрузить не смогли. Водитель «Сельхозтехники», вложив всю душу в замысловатое ругательство, уехал, сказав, что завтра вернётся. Заходить лишний раз в контору Борис избегал, так как директор тут же стал бы его уламывать подписать акт приёмки машдвора. Борис не решался вешать на себя миллионные суммы, зная, что и прежние заведующие поступали аналогично.

Борис настиг директора у тыльной стены конторы. Директор, даже не оглянувшись по сторонам, прислонился к шершавой стене и стал справлять малую нужду — туалет тоже ещё был не готов.

— Казбек Сабитович, — начал нерешительно Борис. — Вчера не смогли выгрузить сеялку, а сегодня её опять должны привезти. Без подъёмного крана не обойтись, а Фролова до сих пор нет в совхозе. Я вчера к нему ходил, жена сказала, что он уехал в «Ковыльный».

Директор даже не отмахнулся от Бориса, как от назойливой мухи. Он просто облегчённо выпятил губы на пористом лице, шумно выдохнув, и молча направился назад в свой кабинет. Борис растерянно потоптался на месте, созерцая влажный вензель, оставленный директором на стене, и снова двинулся к виднеющейся за пустырём железной арке машдвора. Едва миновал будку, служившую проходной, как заметил, что у полуразобранного «Москвича»-фургона хозяйничает Серебряков, шустрый малый, водитель автолавки «Совхозрабкоопа». Он вынимал лобовое стекло.

— Ставь на место! — напустился на Серебрякова Борис, досадуя, что тот даже не пытается «закамуфлировать» себя, действует среди бела дня.

— Ты чего? — удивился Серебряков, и непонятно было, то ли он действительно не видит в своих действиях ничего предосудительного, то ли придуривается.

— Чего слышал!

— Да он и так весь разобранный. Жалко, что ли?..

— Если каждый будет снимать всё, что ему вздумается...

— Да я на свадьбе стекло разбил, — стал пояснять Серебряков. — Возил на своём «Москвиче» жениха с невестой в берёзовую рощу, как полагается, а навстречу из-под колеса «КАМАЗа» вылетела щёбёнка и прямо мне в стекло. Оно сразу вдребезги. Чуть не слетели с грейдера...

— Ладно бы на государственную машину, а то на личную, — протянул Борис, не сдаваясь. Он знал, что все привыкли видеть его безответным, даже в кинозал иные шепотные пацанята проскакивали без билета, зная, что их всё равно не выгонят.

— Слушай, я тебе пузырь поставлю, чего ломаешься!..

— Да не нужен он мне, сам знаешь, что я не пью! — отрезал Борис.

Серебряков чертыхнулся и оставил стекло в покое, огрызнувшись напоследок:

— Всё равно кто-нибудь снимет!..

Борис прошёл в глубь машдвора. Он уже чувствовал себя хозяином этой вотчины под открытым небом. Территория была дай бог: на добрый километр выстроились в три ряда комбайны, сеялки, трактора. По правую руку, ближе к сопке, стояла разукомплектованная техника. Всё это было охвачено слабой провололочной оградой, через которую легко можно было перелезть.

В центра машдвора стоял вагончик, где был «кабинет» Бориса. Собственно, в вагончике стоял лишь стол с парой табуретов. Остальное пространство занимали разные запчасты, висевшие по стенам. Когда Борис готовил списанную технику к сдаче на металлолом, то снимал с неё неповреждённые узлы, которые могли ещё пригодиться.

Борис порылся в кармане спецовки в поисках ключа, чтобы отпереть вагончик. И тут услышал по его душу призывный сигнал вчерашнего самосвала из «Сельхозтехники». Пришлось возвращаться.

У арки действительно стоял давешний самосвал. Водитель нетерпеливо махнул рукой на запертые ворота:

— Открывай!

— Подожди, — конфузливо ответил Борис, — крана ещё нет...

— Слушай, мне некогда ерундой заниматься. Сейчас свалю сеялку на землю...

— Нет! — замахал руками Борис. — Был бы снег, а так она разобьётся...

— Всё, сбрасываю!..

— Стой! Я тогда не подпишу накладную.

— Издеваешься, что ли?..

— Я тут не при чём. Сейчас я сбегаю в контору, пусть директор сам выгружает...

Борис, бросив всё, побежал в контору. Директора на месте не оказалось. Секретарша, свежеспечённая выпускница школы, собрала бантиком накрашенные губки:

— Он мне не докладывает...

Борис в испарине вышел на улицу, не зная, что предпринять. Ему было болезненно неловко перед незнакомым водителем, который во второй раз не может избавиться от своего груза. «Ждать директора или нет?» — размышлял он, близоруко, через очки, бессмысленно уставившись в жидкий парк, разбитый перед конторой. По парку между почти безлистных топольков, тонких, как указка, бродили пацаны, переворачивая куски разбросанного повсюду перегноя, который перекочевал сюда с заброшенной скотобазы во время субботника. На днях прошёл дождь, и парк неожиданно превратился в грибник. Почти под каждым дерев-

цом подростки находили шампиньоны. Сетки в их руках раздувались на глазах.

«Можно было бы и мне пособирать грибов, — сожалительно подумал Борис, — да ждут...»

Вдруг Бориса осенило: директор, должно быть, опять на бахчах. Надо сгонять туда на мотоцикле.

Директор частенько наведывался на арбузное поле, отданное в аренду одному заезжему корейцу. Кореец на лето приезжал сюда с семьёй и творил чудеса на этом ранее пустовавшем поле. Под плёнкой на этой скудной земле он умудрялся выращивать приличные арбузы, как на юге.

Борис поспешил домой. В гараже у него стояло три мотоцикла. Оба двухколёсных были сломаны, а третий, с люлькой, ему недавно подарил тесть. Водительских прав у Бориса никогда не было, да он и не стремился ими обзавестись. В совхозе любительские права не нужны, здесь нет гаишников. Катайся, сколько хочешь, по полям и берёзовым рошицам. В райцентр на мотоцикле Борис старался не ездить, а если и случалось неотложное дело, оставлял мотоцикл во дворе у знакомого, который жил на окраине города.

Борис влетел на вершину сопки, откуда открывался вид на родное село, на петляющий по степи Ишим, и помчался вниз по грунтовой дороге, что шла параллельно реке. От перепада высоты дух захватывало. Борис любил в выходные попеть по степям, останавливаясь иной раз у старых заброшенных захоронений кочевников. Могилки представляли собой глинобитные мазанки без крыши или просто груды камней.

Арбузное поле было глубоко опажено вокруг отвальным плугом, чтобы машины не смогли развезжать, где не положено. Лишь в одном месте был оборудован проезд. Борис заглушил мотор у деревянного навеса, где обитал кореец с семьёй и где у него был склад. Едва Борис слез с сиденья, как кореец, не поздоровавшись, подскочил к нему и схватился за руль:

— Дай-ка я сгоняю! Совсем оборзели, воруют прямо днём...

Кореец развернул мотоцикл, лягнул пару раз рукоятку кикстатера и попылил вдаль. Борис проследил его путь и увидел в дальнем конце бахчи военную машину с кунгом. По полю вдали хозяйски ходил человек в защитной форме, волоча за собой мешок с арбузами. Кореец перехватил вора, издали доносила его брань. Он махнул военному в сторону навеса, и тот понёс мешок, куда было велено. Вскоре кореец снова затормозил в метре от Бориса. Через некоторое время, тяжело дыша, сюда доплёлся и военный. Это был молодой длинноногий лейтенантик.

— Высыпай арбузы вон туда! — скомандовал кореец, указав на общую кучу полосатых зелёных мячиков под навесом. — Кто тебе разрешил хозяйничать здесь?

— Мы хотели купить арбузы, — невинно заморгал выцветшими ресницами лейтенантик. — Мы же не воровали...

— А почему у меня не спросили разрешения? Думали, здесь никого нет, все уехали в заготконтору. А я всегда оставляю здесь кого-нибудь за сторожа или сам остаюсь...

— Мы хотели набрать мешок и потом взвесить его, — лейтенантик посмотрел на тяжёлые магазинные весы, что стояли на земле близ навеса. Видимо, эта спасительная мысль пришла ему в голову только что.

— Знаю я вашего брата, потом бы погрузили мешок в машину и удрали. Вываливай арбузы, чего ждёшь?

— Ну, дайте хоть один арбузик! — унижался служивый. Борис с неприязнью посмотрел на него: небось, перед местными девчатами строит из себя пижона, знает, что они падки на звёздочки. Посмотрели бы они сейчас на него. Раз уж попался, молчал бы. Так нет, кланчит арбузик, канает под мальчика...

— Ты их выращивал? — ноздри у корейца свирепо раздулись. — Знаешь, сколько надо поползть по земле на жаре, чтобы вырастить арбуз? Я уже забыл, когда спал ночью — совхозные пацаны приезжают на велосипедах, едва успеваю их шугать. Не столько своруют, сколько натопчут. Как твоя фамилия? Всё равно узнаю, не поленюсь съездить к командиру гарнизона, это мой знакомый. И никуда ты не спрячешься...

Лейтенант продолжал упорно и выжидающе стоять, похожий на нашкодившего мальчишку. Тогда кореец гадливо рявкнул:

— Давай вали отсюда!..

И повернулся к Борису: не зря же он сюда приехал и терпеливо ждёт конца экзекуции. Когда офицера след простыл, кореец, ещё не придя в себя, пробурчал:

— И так хватает дармоедов, едва успеваю принимать. Вон сейчас на берегу Ишима целая делегация прохлаждается. Пьют водку с арбузами. И ты принимал бы на моём месте, куда денешься...

— Казбек Сабитович тоже там? — спросил Борис, всматриваясь в едва угадываемый отсюда берег реки, где стояло несколько легковушек, которые он не сразу заметил.

— Там, конечно...

— Не могу выбить кран, второй раз привозят сеялку, и не можем выгрузить, — пожаловался Борис, чувствуя, что не решится нарушить покоя пирующих в разгар рабочего дня.

— Я слышал, брат директора в «Ковыльном» строит себе коттедж, наверное, кран там, — подсказал кореец, многозначительно сощурившись.

— Ясно! — засобирался Борис в путь. — Продайте мне один арбуз, детям отвезу.

Кореец положил в его люльку пару крупных арбузов.

— Сколько? — Борис полез в нагрудный карман за деньгами.

— Езжай! А то назад заберу! — внезапно вспыллил кореец и прошёл под навес, где была устроена кухня.

Подъезжая к машдвору, Борис увидел, что водитель самосвала нервно прохаживается перед своей машиной взад-вперёд, пиная сапогами попадающиеся на пути консервные банки. Что ему теперь говорить?

— Не нашёл директора, — Борис снял шлем и положил его на люльку.

— Выходит, мне второй раз возвращаться ни с чем? — набылчился водитель, наступая на Бориса,

словно хотел кинуться в драку. — А ты здесь для чего? Я ещё не видел таких пентюхов! Я напишу в газету про здешние порядки!..

Водитель плюнул в сердцах, хлопнул дверцей самосвала и рванул на всех газах в сторону грейдера.

«Всё, больше терпеть нельзя! — подумал Борис, мучимый стыдом за свою беспомощность. — Подам заявление, попугаю директора, раз он не хочет слушать меня...»

Борис подъехал к конторе. У секретарши он попросил лист бумаги и авторучку. Написав заявление с просьбой уволить его «по собственному желанию», он оставил лист у секретарши:

— На, передай директору, когда он появится...

В душе Борису было жаль своей новой должности, он уже почувствовал вкус к работе, не то, что раньше, когда он числился слесарем. Тогда он не особенно утруждал себя работой. Иной раз, показавшись на машдворе, он спустя пару часов украдкой окраиной села пробирался к себе домой. А если кто-нибудь попадался по пути, он, как бы оправдываясь, пояснял: «Как мне платят, так я и работаю...» А теперь он стал наводить на машдворе какой-никакой порядок: не давал растаскивать технику, залатал бреши в проволочном ограждении, очистил территорию от мусора. Вот только боялся подписать акт приёмки машдвора, — вдруг директор навешает на него начёт, от такого всего можно ожидать...

На другой день с утра Борис зашёл в контору и спросил у секретарши:

— Ну, как, передала заявление?..

— Да, — невозмутимо ответила вчерашняя школьница. — Директор уже подписал его.

Оторвала взгляд от своей машинки и словно сжалилась над застывшим в растерянности посетителем:

— Кажется, хотят поставить вас завклубом...

Фантом

На Атбасарском ремзаводе под осень набирала группу желающих помочь хлеборобам подшефного совхоза «Ковыльный». Фёдор Терентьевич никогда не отказывался — он поднатерел на восстановлении полевой техники, изучил все «косточки» комбайнов, по одному шуму мог определить, что нуждается во «врачевании». Да и семье прибыток — отработал сезон, получай пачку сотенных да тонну пшеницы в придачу. Её он возил на мельницу. Отвезёшь двадцать мешков пшеницы, взамен получишь десять мешков муки. В неурожайные года, правда, платили поменьше и зерна давали полтонны.

На этот раз Фёдор Терентьевич поехал в «Ковыльный» с семнадцатилетним сыном Владиком. Отпросил его в СПТУ, чтобы самому подучить хлеборобским премудростям. Мастерам училища он не особенно доверял, всё время менялись. Самому — будет надёжнее...

На полевой стан второй бригады прибыли, оказалось, рановато — хлеба не совсем дошли. Фёдор Терентьевич всегда просился в эту бригаду. Местные и бригадир Толстопят давно считали его за своего. За ним закреплялся один и тот же комбайн.

Фёдор Терентьевич обычно за пару дней до косовицы для верности перебирал его, чтобы потом не «загорать» в самое напряжённое время.

Наладив самоходку, отец с сыном взялись за выборочную косовицу. Отыскивали среди изумрудного моря пшеницы пожелтевшие куски и загоняли туда комбайн. Чувствовал отец, что Владик не долго будет довольствоваться ролью помощника — тянется к рычагам. На, попробуй! Сейчас у меня запоёшь! Думаешь, всё так легко и просто?..

Усадил сына за штурвал. Через пару минут оглянешься назад — полоса свежей стерни явно стремится принять очертания волны. Ровней, ровней, а то словно бык пописал!..

Владик дёргается, начинает нервничать от отцовских «Да что ты делаешь, етиг твою налево!» Но упрямо глядит вперёд, морща лоб с приклеившейся к нему треугольной чёлкой. Пройдут ещё круг — позади остаётся даже не волна, а извилистый серпантин стерни. Чертыхнётся Фёдор Терентьевич, стонит сына со своего места:

— Вот, смотри! Раз наделал изгибов, надо их срезать...

И начинает выправлять его огрехи. Через пар тройку дней сплошных мучений научил-таки Владика вести машину ровнёнхонько.

Во время выборочной косовицы смены не такие ломовые, у хлеборобов остаётся время вечером побаловаться в шахматы. Если нагрянет дождь, пережидают непогоду в «красном уголке» опять же за шахматами. По стеклу стекают струйки, а сквозь них назойливо маячит сиротиной бросовый комбайн, навсегда застывший у дамбы искусственного озера. Жатка с комбайна снята и валяется поблизости. Спросишь про комбайн, местные отмахиваются: «Да его уже невозможно восстановить!» А на вид и не скажешь.

Фёдор Терентьевич решил повнимательней осмотреть машину; сколько таких калек он восстановил за свой век. После смены зашагал к поблёскивающему в закатных лучах озерцу. Остановился на вершине дамбы, на минутку показало, что снова накрапывает дождь, на сей раз какой-то неосязаемый: на всей поверхности озера расплывались мелкие кружочки, словно от падающих капель. Недоверчиво вытянул руку, ожидая почувствовать дождинки, но ладонь ничего не чувствовала. Никаких дождинок не было. Позади загрохотал по глине сапогами Владик. Взглянул на отца и понятно пояснил:

— Это мошки.

Мошки вились, касаясь озёрной глади, вот и создавалась иллюзия дождичка. «Наверное, уже зрение подводит, — задумался Фёдор Терентьевич. — Это моя двадцатая жатва. И последняя. Довольно уж, всех денег не заработаешь. Годы хотя и не скажешь великие, но уже не те. Теперь Владика буду посылать в эту бригаду. Вот бы ещё эту клячу отремонтировать, чтобы напоследок поработать с сыном наперегонки...»

Фёдор Терентьевич придиричиво осмотрел скачущую у дамбы развалину. Так и есть, многие узлы отсюда просто-напросто позаимствованы. Каждый снимал всё, что ему вздумается. Не

поленился повозиться с движком. Оказалось, тут работы — пара пустяков.

Уже смеркалось, когда Фёдор Терентьевич поймал подъехавшего на «летучке» бригадира Толстопята.

— Семёныч, хочешь, чтобы у тебя заработала эта колымага?

— Ты сказанул, не подумав...

— За пару дней берусь её наладить, были бы запчасти. Хочу на этом комбайне убирать, а на моём пусть поработает Владик. Идёт?..

Толстопяту, конечно, хотелось вернуть к жизни заброшенную машину, вечно цепляющуюся за неё глаза разных залётных уполномоченных. Он знал, что Фёдор Терентьевич слов на ветер бросать не станет. Хочет побольше увезти денег? Не похоже на него, хотя кто откажется от лишнего рубля? Не встречал таких. Однако боязно доверять технику несовершеннейшему, мальчишка ещё. Вдруг что случится, греха не оберёшься, засудят...

Долго жевал губами Толстопят и, скрепя сердце, доверился Фёдору Терентьевичу. Уж если такой подведёт, кому тогда и верить? Да не будет он собственному сыну желать худа, так что, пожалуй, можно рискнуть...

Словом, пошёл-таки навстречу просителю.

Фёдор Терентьевич поставил недостающие узлы, отрегулировал. Вот только башмаков жатки не оказалось на складе. Опять к Толстопяту. Тот дал свою «летучку»:

— Сгоняй в соседнюю бригаду, может, там разживёшься...

Вынул из нагрудного кармана спецовки блокнотик с закруглёнными от времени краями, настроил записку и в виде хохмы поставил мазутный отпечаток большого пальца:

— Вот тебе и печатать...

Во всём шёл навстречу Фёдору Терентьевичу бригадир. Был немножко в долгу у него. Пару сезонов назад однажды среди ночи разбудил на стане Терентича: «Выручай! Завтра должно нагрнать областное начальство, а у нас дороги не окошены...» Пришлось измотанному за день Фёдору Терентьевичу, трёхэтажно кроя проклятую показуху, прямо среди ночи скашивать узкие полоски пшеницы вдоль дорог. Своего освещения на комбайне не было, бригадир сам светил — ехал рядом на «летучке».

В соседней бригаде башмаков тоже не оказалось. Толстопят тогда сказал:

— Жаль труда. Попробуй всё-таки без башмаков...

Легко сказать! Поутру Фёдор Терентьевич вывел в загонку свой новый комбайн. Тяжело было неотрывно следить за гидравликой, чтобы поддерживать жатку на нужном уровне. Но нет худа без добра. Колоски нынче были низкие, и намолот у него получался выше, чем у других комбайнёров. «Благодаря отсутствию! — усмехался сам себе Фёдор Терентьевич. — Теперь я срезаю колосья ниже, почти над самой землёй, и потери зерна меньше...»

Отец с сыном теперь работали рядом — каждый на своём комбайне. Покосится Фёдор Терентьевич в боковое окно на самоходку сына: ничего, идёт сравнительно ровно. Но радоваться ещё рано,

пусть набирается опыта. А наемдни в «красном уголке» один из местных опасливо заметил: «Ты хоть не сильно хвались намолотом, не то бригадир и нас заставит поснимать башмаки с жаток...» Так оно и вышло. Фёдор Терентьевич утром слышал, как Толстопят пытался переубедить некоторых, что при таких низких колосках лучше всем снять башмаки. Убеждающий тон не помог — стал подпускать металла в голосе, это он тоже умел, иначе не задержался бы в бригадирах.

Обед привёз в поле сам Толстопят. Трапезу не растягивали — уборка в самом разгаре. Подкрепившись, Фёдор Терентьевич с сыном перешли косить на самые дальние загонки. Рядом проходила межклеточная дорога, за которой начинались поля пятой бригады. Старый комбайнёр заметил, что на соседней клетке стоит на холостом ходу комбайн, возле которого суется мужичонка в синей спецовке. «Поломка», — машинально смекнул Фёдор Терентьевич и снова стал следить за гидравликой, чтобы жатка не цепляла землю, иначе и он встанет — вынужденно «загорать».

Наблюдая в припылённое окно самоходки за монотонным усыпляющим вращением мотовила, он насвистывал какой-то случайный, непрогнозируемый мотивчик. Уже пятый день Фёдор Терентьевич чувствовал себя кудесником: убирает хлеб бросовым комбайном, да ещё без башмаков. Такого с ним ещё не случалось. Тряслась и шумела машина, ныли напряжённые руки, а с левой стороны на периферии зрения удерживалось пятно простаивающего чужого комбайна. Вот пятно стало сдвигаться с места, но оно как-то странно увеличивалось в размерах. На уровне подсознания на мотивчик диссонансом стали накладываться полумысли, преобразаясь в подобие зуммера, включающегося, если вокруг начинает происходить что-то не так. Они, так и не оформившись в конкретику, всего лишь констатировали: тот комбайнёр не принял косить, иначе его машина шла бы ровно. Может, разворачивается? Тогда непонятно, для чего.

Фёдор Терентьевич всё ещё был погружён в нескончаемый мотивчик, но интуиция стала одёргивать его: на поле происходит то, чего не должно быть. Он резко оглянулся и отпрянул: с соседней загонки поперёк полос колючей стерни на повышенной скорости шёл прямо на него чужой комбайн с поднятой жаткой. Он шёл, словно на таран, вопреки всякому здравому смыслу.

«Пьяный, что ли?» — чертыхнулся Фёдор Терентьевич, когда чужой комбайн пересёк дорогу — границу соседствующих бригад. Но такое не укладывалось в голове — пить в самый разгар работ. Старый комбайнёр перестал следить за управлением, его самоходка оказалась предоставленной сама себе, и под жаткой стало скрежетать.

Ничего не понимая, Фёдор Терентьевич пригляделся и увидел, что за бликующим на солнце кабинным стеклом чужого комбайна — пусто. Сморгнул несколько раз, — может, опять зрение подводит? — но ничего нового не провиделось. Угрожающим фантомом безлюдный комбайн надвигался прямо на него.

Фёдор Терентьевич подналёг на рычаги, чтобы посторониться. На миг даже промелькнула шальная мысль, что зловещий чужак тоже развернётся и пустится вдогонку. Комбайнёр прибавил скорости, смутно ожидая позади тяжёлого удара, сминающего жесть копнителя. Преодолев критическую ситуацию, Фёдор Терентьевич оглянулся и увидел, что чужой комбайн проехал мимо и под тем же острым углом направляется к следующей загонке. А там — Владик.

Поставив рычаг на нейтралку, Фёдор Терентьевич спустился с комбайна и побежал напрямиком по пшенице вдогонку за неуправляемым чужаком. Тапочки, в которые он переобулся, чтобы не было жарко ногам, плохо держались, они тут же соскочили, но ему некогда было подбирать их. Поравнявшись с железным призраком, Фёдор Терентьевич долго бежал рядом, прилаживаясь, как бы забраться на него. Наконец, изловчился и ухватился за раскалённый поручень, оттолкнувшись ногами от земли. Он повис на руках и стал подтягиваться, опасаясь, как бы не сорваться и не угодить под заднее колесо.

Когда он открыл кабину, то убедился, что зрение не обмануло его: она действительно была пуста. Быстренько заглушил двигатель, и даже не сразу поверил, когда комбайн дёрнулся и застыл. В наступившей обвальном тишине он бессильно рухнул на сиденье, переводя дух. С высоты увидел, что сын бежит к нему. Владик зашёл спереди и застыл испуганным взглядом на зубьях жатки.

Фёдор Терентьевич с давно забытой мальчишеской прытью буквально скатился с комбайна наземь. Взглянул на жатку — на режущей части бордовые застывшие брызги и мазки. Кровь! Всё мгновенно стало ясно.

— Не ходи за мной! — строго сказал он Владиду и, как был в носках, побежал в ту сторону, где вначале стоял злополучный комбайн, возле которого совсем недавно хлопотал человек из соседней бригады, которого сейчас почему-то нигде рядом не было. Фёдор Терентьевич бежал по следу — по примятостям, оставленным бесхозным комбайном. Когда добрался до свежей стерни, подошвы больно закололо, пришлось подгибать их набок и скакать, стараясь попадать точно в след от колёс. Миновал «пограничную» дорогу и через сотню шагов замер, как вкопанный. У него закружилась голова: на стерне простёрся человек в синей изодранной в клочья спецовке, которому не помогла бы никакая медицина. Он был буквально вдавлен в землю.

Фёдор Терентьевич без всякой помощи криминалиста догадался, как могло произойти такое несчастье: человек клепал сломанный сегмент жатки, мотор не заглушил. Скорость была выключена не до конца. От ударов молотка скорость

включилась, и комбайн переехал своего хозяина.

За спиной раздалась встревоженные голоса. Подходили, ахая, другие люди. Рядом остановился самосвал. Фёдор Терентьевич как в тумане увидел: хлеборобы соседней бригады открывают крышку кузова, отодвигают ногами буксирные тросы и приторачивают у борта окровавленные останки человека, завёрнутые в брезент.

Подъехал Толстопят. Фёдор Терентьевич в двух словах рассказал ему, как было дело. Рядом переминался с ноги на ногу Владик, держа в руках потерянные отцом тапочки.

И снова нужно было возвращаться в жаркую кабину — каждый погожий час на счету. Правда, сказали пока не трогать чужой комбайн до приезда милиции — надо всё запротоколировать. Владик, на чьём поле стоял комбайн-убийца, перешёл косить чуть дальше.

Через два круга в машине Фёдора Терентьевича забились клавиши соломотряса. Он остановил комбайн, не заглушив мотора, чтобы прочистить клавиши. Всё ещё в рассеянном состоянии от пережитого открыл люк, спустился внутрь. Комбайн тряся на нейтралке. Снова перед глазами встал тот погубленный машиной человек в спецовке. Фёдору Терентьевичу стало дурно. Он лихорадочно выкарабкался из тесного замкнутого пространства и заглушил мотор. Пот на лбу долго не высыхал.

«Нет, так дальше работать нельзя», — стучало поднимавшееся давление в висках. Стоило сейчас включиться скорости, клавиши заёрзали бы, и с Фёдором Терентьевичем произошло бы то же самое, что и с тем беднягой. Даже, пожалуй, смерть была бы более мучительной. А всему виной извечная надежда на русский авось. Двадцать лет подряд Фёдор Терентьевич убирает хлеб, и вечно не хватает аккумуляторов на комбайны. Каждый раз он думал: вот в этом году будет полный комплект, но дефицит всё не исчезал, словно так трудно выпустить аккумуляторов побольше. Вот и приходилось всё время заводить комбайны с буксира, поэтому лишний раз глушить движок канителью: ищи потом того, кто возьмётся дёргать на буксире. Если бы тот человек не поленился лишний раз заглушить мотор, остался бы жив.

Фёдор Терентьевич посмотрел из-под ладони на орудующий невдалеке комбайн сына. «Очищу соломотряс, Владик потом дёрнет...»

С внезапным душевным ознобом он подумал: «Владик смотрит на нас и повторяет наши ошибки». И он решил в эту последнюю свою жатву строго-настроено запретить Владиду все эти штучки. Чтобы не появился по его милости новый «фантом»...

Дмитрий Ермаков

На берегу



Батон — вольный человек

Было время

Было время, когда неслась над страной песня: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз», когда буханка хлеба стоила восемнадцать копеек, а стакан газировки с сиропом — три. Был я холост, молод и весел. Отслужил в армии и работал на заводе. И всех-то забот у меня было — не проспать на работу. Мать ещё была жива, и я ездил к ней в деревню на выходные и в отпуск. И даже кажется, что в те годы весной сочнее зеленела молодая листва; летом ярче светило солнце; осенью деревья красивее были расцвечены жёлтым и красным; зимой белее был снег. Но, конечно, это лишь кажется.

Да, было время... Хорошее было время!

Появление Батона

Прошло уж много лет, а, как сейчас, помню первое появление Батона.

Вообще-то его звали Буйлов Андрей Антонович. Да, у него и паспорт был. Я сам видел. Правда, без прописки, но и без отметки о судимости.

Встретились мы у магазина.

— Братан, дай рубль, — были первые его слова, обращённые ко мне.

И как-то просто, по-дружески, они прозвучали, и без просительных ноток, и без требовательных: мол, выручи, если можешь, а нет — так нет.

На нём была, несмотря на минусовую температуру, тонкая брезентовая штормовка, из-под неё виднелся потрёпанный, неопределённого цвета свитерок, на ногах — кеды и девятирублёвые советские джинсы. Шапку он никогда не носил.

Правда, и сам я в ту пору был одет не слишком шикарно, но всё-таки куртка моя была на меху, пусть и искусственном, на ногах зимние ботинки, а на голове вязаная шапочка.

Я выгреб из кармана мелочь, стал считать на ладони.

— Э-э! — он махнул рукой. — Оставь себе.

Мимо нас во двор магазина въехал фургон.

Он проводил машину взглядом, повернулся ко мне и вдруг протянул руку:

— Батон.

— Что?

— Батоном меня кличут.

— А-а. Саня. — И мы пожали друг другу руки.

— Ну что, Саня, идём на дело? — спросил Батон.

Я не понял, что это означает, но, чтобы не обидеть нового знакомого, ответил:

— Идём.

Тем более, что делать-то мне было нечего.

Идём на дело

Батон уверенно зашагал в магазинный двор, я за ним. За плечами его болтался пустой рюкзак.

Машина была подогнана фургоном к дверям. Водитель сидит в кабине, покуривает, в ус не дует. Глянул я в фургон, а там в деревянных ящиках поблёскивают горлышками бутылки водочные.

На крыльце толстая женщина в белом халате орала, широко раскрывая рот и сверкая золотыми зубами, на маленького, щуплого мужичка в грязной фуфайке, нетвёрдо стоявшего перед ней:

— Уволю я тебя, панфурик, уволю! Гад такой! Что, мне самой ящики таскать?

— Так я, Марья Ивановна, я... как штык... — бубнил мужичонка.

Батон подмигнул мне и говорит:

— Хозяюшка, может, помощь нужна?

Оглядела она нас:

— Как же... сразу и помощники нашлись... — скривила рот. — Ну, давайте.

И принялись мы за работу. Я Батону ящики подаю, он их таскает, куда ему та баба показала.

Сначала она всё на крыльце стояла, присматривала за нами, потом ушла куда-то. Когда я подавал Батону предпоследний ящик, он тихо сказал:

— Иди за мной, — оглянулся на двери магазина и пошёл мимо машины со двора, всё быстрее и быстрее. Я спрыгнул на землю и побежал за ним.

Батон, на удивление, легко держал ящик в руках перед собой и бежал так, что я едва поспевал.

Спихнулись нас, видимо, не скоро. Мы, уже отпыхавшись, перекладывали бутылки из ящика в рюкзак на берегу зловонной речки. Тут только я и сумел ему сказать:

— Ну, ты даёшь. А если бы попались?

— Если бы, да кабы, да во рту б росли грибы...

— Вон они! — раздался громкий визгливый крик.

Подхватили мы рюкзак и дёру. Хорошо так бежим, по тропке между кустами виляем. И вдруг — бетонная стена, тупик, а сзади уже топот слышен.

— Лезь быстрее! — Батон нагнулся, я вскочил на его спину и вскарабкался на стену, он мне рюкзак подал и сам, лихо так, на стену запрыгнул.

И тут, как на грех, выпустил я рюкзак из рук, хорошо ещё не на ту сторону, откуда догоняли нас.

— И-и!.. — только и смог выговорить Батон, схватил мокрый рюкзак — и бежать.

Пока там погоня через стену корячилась, мы уже далеко были.

— У тебя, видать, вместо рук-то ноги выросли! Эх! — Батон аккуратно разгребал бутылочные осколки. Я молчал. Понимал — нет мне оправдания. И вдруг:

— Есть! Есть... — целая, чудом не разбитая бутылка «Столичной» сияла, переливалась всеми цветами радуги в его руке.

Но пасаран!

Подходили к общежитию. Сверкающая стёклами девятиэтажная коробка была похожа на ящики с бутылками, поставленные друг на дружку.

— Саня, ты местный? — спросил Батон.

— Из деревни. На омз работаю, здесь в общаге живу.

— В общаге? Это хорошо... Понимаешь, я только сегодня приехал в этот город, никого у меня здесь... Я могу, конечно, и на бану перекантоваться...

— Да зачем! Ночуй у меня.

— Ну вот и спасибо, Саша, я знал, что ты меня выручишь, — и он хлопнул меня по плечу.

— Батон, а ты чем вообще занимаешься?

— Бичую.

— А-а...

Остановились у дверей общежития.

— Правда, у нас тут строго. Только по паспортам и до двадцати трёх часов пускают.

— Ничего, прорвёмся.

Всё-таки я показал ему окно своей комнаты на втором этаже, туда легко можно было влезть по росшему рядом тополию. Но сейчас ещё было светло — могли увидеть.

Вахтёрша, непреклонная тётя Клава, сидела на своём обычном месте, за невысокой перегородкой, готовая в любой момент выдвинуть деревянный брус, стопорящий «вертушку» на входе.

— Тётя Клава, — как можно ласковее обратился я к ней, — тут такое дело, ко мне дядя приехал из деревни...

— Паспорт, — привычно потребовала вахтёрша.

— Забыл паспорт.

— Не пушу.

— Ну, тёть Клава...

— Что «тётя Клава», что «тётя Клава»! Я уже десятой десяток тёть Клава! Наведёте алкоголиков да бичей, мне отвечать потом. Не пушу сказала, выходи, — это она уже Батону кричала.

В это время сзади нас в дверь ввалилась весёлая компания. Отталкивая меня и Батона, полезли прямо через застопоренную «вертушку».

— Назад!

— Мать, всё ништяк...

Батон схватил патлатого, пьяненького парня за куртку и дёрнул к себе:

— Сказано же — нельзя.

— А ты кто такой? — Подступили ещё двое. — Ты на кого руку поднял? Да мы тебя...

И тут Батон мгновенно преобразился: выдвинулась челюсть, забугрились желваки на скулах, глаза сузились, вся его невысокая коренастая фигура напряглась:

— Я таких как ты, мразь, двенадцать лет из параша поил. — Он взял за лицо ближайшего из парней и несильно пристукнул затылком об стену. Тот медленно стал отступать к выходу, двое других за ним. Уже закрывая дверь со стороны улицы, один из них прошипел:

— Мы с тобой ещё потолкуем, дядя.

Батон же обратился к ошеломлённой тёте Клаве:

— Но пасаран! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях! — потряс кулаком правой руки. И с такой яростью произнёс он эти слова, что поверилось — не шутит Батон.

Тётя Клава молча убрала задвижку, пропуская нас в общежитие.

Мы уже поднимались по лестнице, когда она опомнилась:

— Эй! Назад! Паспорт! Петров, я коменданту доложу!

Пришлось вернуться. Батон пожал мне руку. Громко сказал:

— До свидания, Александр, до завтра. Всего хорошего, тётя Клава, — и вышел на улицу.

Я ещё выглянул за ним — не поджидают ли его те архаровцы, но никого не было, и я пошёл в свою комнату.

Батон ждал под окном.

За знакомство

Батон разбулькал содержимое бутылки по стаканам... дверь распахнулась, вошёл мой сосед по комнате Вася Подхомутов.

Взгляды их пересеклись.

— Вася, познакомься, это Батон.

— Очень приятно, — Вася разделся, лёг на свою, коротковатую для него койку и раскрыл книгу. Наверное, он с удовольствием бы ушёл из комнаты, но идти ему, впрочем, как и нам, было некуда.

— Василий, присоединяйся, — пригласил Батон.

— Нет. Спасибо.

— Ну что ж, а мы с Сашей выпьем. За знакомство! — и мы выпили.

— Везёт мне всё-таки на хороших людей, — Батон приобнял меня. — А ты, мил человек, больной, что ль? — обратился он снова к Васе.

— Почему больной?

— Ну, не пьёшь-то? Болит, поди-ка, чего? Может, язва?

— Нет. — Василий вдруг отложил книгу и повернулся к нам. — Тут, мужики, другое.

Рассказ Подхомутова

— Вот вы пьёте. Хорошо. А мне, думаете, не хочется?

— Так я же предлагал...

— Да подожди ты! — он махнул рукой на Батона. — Я ведь тоже когда-то бухал — будь здоров! И ни за что бы не бросил, если бы не один случай.

Мы с Батоном допили водку. Ясно, что этого мало, надо искать деньги и бежать в магазин. Деньги можно занять и у Васи, но сначала надо выслушать его до конца, чтобы не обидеть.

И мы слушали.

— Было это года два назад — золотая осень, пора листопада, так сказать. И пили мы «Золотую осень». На балконе четвёртого этажа сидели. Я в то время в институте учился...

— Отчислили из института? — догадался я. Раньше Вася ничего о себе не рассказывал.

— Отчислили, — он недовольно поморщился. — Ну вот — сидим, пьём. Захорошело. А на балконе в ограждении несколько железных прутьев были

выломаны — ну, общага и есть общага. Буревестник — кликуха такая у него — допил бутылку и бросил вниз, да и сам вслед за бутылкой в пролом полетел. На газон упал. Вызвали «скорую», увезли его, пока то да сё — протрезвели вроде. Взяли ещё. Сидим вдвоём с Сеней на том же балконе, пьём. А Сеня удивляется, как, мол, угораздило Буревестника в такую дыру вылететь, тут и не пролезешь, да в пролом этот чёртов и сунулся. Только башмаки у меня перед глазами мелькнули. Я вниз-то глянул — как там Сеня — голова у меня закружилась, ну и...

Мы едва сдерживали смех.

— ... вот, очнулся и не могу понять — живой я или уже на том свете. Лежу по рукам и ногам сплётутый. Медсестричка по палате, как ангелок, порхает... Вдруг дверь открывается, и вваливаются Буревестник с Сеней. Буревестник своим ходом прёт, а Сеня на костылях. Оказалось: Буревестник только пятку отшиб, Сеня ногу сломал, а у меня — сотрясение мозга, перелом ребра, руки и ноги... И до того мне плохо было!.. Поклялся — больше ни капли. Уже два года держусь. И вы меня, мужики, не уговаривайте. Как говорится: пить — здоровью вредить. А здоровье — всемоу голова...

Своим чередом

— Золотые слова! Твоими бы устами, Василий, мёд пить... А ещё лучше водку. — Батон тревожно взглянул на будильник и толкнул меня в бок. До закрытия магазина оставалось совсем мало времени.

Я, будто бы невзначай, обратился к Подхомутову:

— Вася, дай пять рублей до получки.

Вася не отозвался.

— Да отдам я, отдам! Когда я не отдавал-то?

— Тебе завтра на работу, — подал голос Вася.

— Что я тебе — ребёнок?

— Вася, это запахло, — сурово сказал Батон.

Подхомутов вдруг легко согласился. Достал из кармана брюк пятёрку и подал мне.

— До получки.

— Замётано.

И дальше всё пошло своим чередом...

Тяжело было утром. Но Вася был неумолим. Поднял меня и Батона, отпаивал крепким чаем. Потом мы с Васей на работу пошли, а Батон, опять же через окно, вылез на улицу и тоже куда-то двинул.

Вечером под окном раздался свист. Выглянул я — Батон, рюкзак полный держит. Помог я ему влезть, а в рюкзаке позвякивает.

Оказалось, в другом магазине он провернул ту же операцию, но более удачно.

— Ну, ты, Батон, даёшь...

— Даём стране угля, мелкого, но много!

Гулял весь этаж.

Кто-то предупредил, что идёт комендант, а Батон уж и не шевелится, на койке моей лежит. Мы его с Васей только-только успели в шкаф запихнуть. Зашла Софья Павловна.

— Так, Петров, так... На какие шиши гуляем?

Я молчу.

— В профком будет доложено. Голубчики. Хороши.

Тут Батон чего-то зашевелился в шкафу. Софья Павловна насторожилась, прислушалась, но всё стихло.

— Сейчас всем сидеть по своим комнатам, будете болтаться тут пьяные — сразу вызову милицию. Всё!

Опять шорохи и кричтение из шкафа. Она оглянулась, у двери, прислонившись к косяку, стоял Валера Воробьёв: убери косяк — упадёт. Из соседней комнаты неслось дружное: «Где ты, моя черноглазая, где?». Софья Павловна ринулась туда.

Я довёл Валеру до его комнаты, вернулся и запер дверь. Открыл шкаф — Батон, подтянув колени к подбородку, спокойно спал. Вытащили мы его с Васей, уложили на мою койку.

Я рухнул на пол и тут же уснул.

Альфонс

Меня лишили тринадцатой зарплаты, перенесли отпуск с июля на апрель. Батон куда-то пропал.

Появился недели через три. Чистый, бритый, сытый. Похохатывает.

— Остановился тут у вдовушки на зиму. И ей хорошо, и мне. Домик у неё свой, так крышу подчинил, дрова поколос. Ну и она ко мне отзывчивая, — рассказывал он мне и Подхомутову.

— Значит, в альфонсы заделался, — сказал Вася.

— Чего? — не понял Батон.

— Ну, альфонсами таких называют.

— Альфонс... А что? Хорошо! Я теперь Нюрке так и скажу — чтоб Альфонсом меня звала. Красиво!

Засиживаться Батон не стал и скоро ушёл.

— Я теперь человек семейный... до весны!

Сирота

В тот день я пришёл с работы поздно. Захожу в комнату и вижу: сидят Батон и Вася Подхомутов. На столе бутылка и кой-какая закуска.

На мою кровать брошена «лётная» куртка и шарф, у дверей ботинки новые стоят — видимо, вдова позаботилась.

— ... выстроили нас, и начальник — подполковник Жуков — век не забуду! — орёт: «Я вас научу свободу любить! Вы у меня узнаете, как кипежи поднимать!» И пошла работа — подгоняют лесовоз, а мы таскаем на себе лесины за сто метров и укладываем в штабель три метра высотой. Норму не выполнил — пайка вдвое урезается... Я ещё легко отделался — через месяц в больничку попал, а двое померли. — Батон сидел спиной к двери и не видел меня.

Вася подпёр кулаком голову, смотрел прямо на Батона и, кажется, готов был заплакать.

— Здорово, Батон! — подал я голос

— О-о! Са-а-ня! — Батон развёл руки и случайно сбил со стола бутылку, но успел подхватить её у самого пола и поставил на место.

Подхомутов поднял на меня глаза, хотел, видимо, что-то сказать, но только мыкнул, опустил голову на стол, затих.

Я увидел под столом ещё две, уже пустые, бутылки.

— Батон, ты почто Васю напоил? — в шутку спросил я.

— Васю?.. Да ты знаешь, что Вася вот такой мужик, — Батон поднял вверх большой палец. — Ты знаешь, что он сирота, детдомовский, как и я? — в голосе Батона слышалась обида.

Мне стало отчего-то стыдно.

На следующий день, в субботу, я собрался к матери в деревню. Батон попросился со мной. Поехали.

Мать встретила, как обычно: баня, обед с поллитровочкой, чай.

Я гляжу на Батона — оттаял мужик, Морщины на лбу разгладились вроде, и желваки по скулам не катаются.

Сидел он у окна перед самоваром. Посматривал на стены, где висели большие, старинные, в рамках фотографии: бабушка, дед, мать с отцом — жених и невеста. За рамку зеркала заложены открытки — поздравления с Новым годом и октябрьскими. В углу икона и лампада перед ней — это уже без меня появилось. Раньше икона эта в горнице висела, и я ни разу не видел, чтобы мать на неё молилась.

В общем, всё в доме, как обычно, знакомо мне с детства. Батон от меня отворачивается, в окно смотрит, увидел там что-то...

Погостили у матери, да через день обратно в город. Мне на работу надо было.

Шли по дороге к автобусной остановке, и Батон сказал:

— Счастливый ты, у тебя мать есть, живая. А я свою даже не помню.

И молчал до самого города.

Потом Батон куда-то пропал. Я уже думал, что он уехал из города. Но в конце марта он появился. Пришёл, как всегда, через окно.

— Ты откуда взялся, Батон? — радостно спросил я.

— Из-под снега вытаял. Всё, Саня, прощаться пришёл, уезжаю. Чувствую: ещё немного — прирасту здесь, корни пушу, а это не по мне. Я дорогу люблю, волю.

— Дождись Васю.

— Нет, пойду. Я ведь и билет купил. А чего? — деньги есть пока!

— Куда ж ты теперь?

— Страна большая.

— Провожу тебя.

— Не надо, Саня. Ну, давай пять! Ты хороший мужик. — Он протянул мне руку, и я крепко пожал её, хотел и обнять Батона, но он уже развернулся и шагнул за дверь.

— Привет Васе! — и пошёл по коридору к лестнице, ему уже не нужно было прятаться от вахтёрши.

Прошло много лет. Всё изменилось кругом. Изменилась моя жизнь, жизнь Васи Подхомутова. Наверное, изменилась как-то и жизнь Батона — вольного человека.

Неудача

«Ну и колбасит... ну и колбасит...» — Чепурин сунул голову под струю холодной воды, отфыркался. Не помогло. «Ну и колбасит...»

Словечко это — «колбасит», то есть мутит с похмелья — подцепил, он от кого-то из приятелей, и сейчас оно крутилось на языке, и казалось, что от него мутит ещё больше.

Ни капли спиртного в доме не было, он знал это точно и не пытался искать.

В который уж раз глянул на свои отличные, времён выступлений на Союзе, лыжи, и в который раз оставил мысль об их продаже.

Он кое-как оделся и вышел из квартиры. Лифт опять не работал, и Чепурин пошёл по лестнице с девятого этажа. Когда-то для тренировки, поднимался только пешком, а сейчас и спускаться было трудно, что-то ёкало внутри при каждом шаге, и бешено колотилось сердце. «Ну и колбасит...» Закусил сигаретину, но тут же выплюнул, не прикурив, такая тошнота подступила.

Благо — магазин, место сбора их бригады, рядом в пристройке к его дому.

Уже топчется на крыльце Васька Жлоб. И сразу видно, что тоже на мели. Бедолага.

— Есть чего? — вместо приветствия спросил Жлоб.

— Голяк!

Чепурин лихорадочно огляделся по сторонам. И не напрасно. У киоска стоял Дутов из тринадцатой квартиры. Как-то затаскивали этому Дутову рояль на четвёртый этаж. С тех пор Чепурин частенько перехватывал у него денег.

Дутов тоже его приметил, сунул в карман сигареты, сдачу и скоренько зашагал прочь. Но Чепурин не дал ему далеко уйти.

— Здорово, Степаныч! Как самочувствие?

— Нормально, — буркнул Дутов, отводя глаза.

— Я ведь рассчитался с тобой в тот раз? Долг отдал?

— Ну... — Дутов сделал попытку обойти его.

— Гну! — панибратски ответил Чепурин, приобнял за плечи, зашептал в ухо.

Дутов торопливо сунул ему деньги и почти побежал к дому.

Чепурин вернулся к магазину.

— За боярышником: на старт — внимание — марш!

Аптечный киоск в магазине, и Жлоб быстро протёрся к окошку продавца, обойдя очередь.

Похмелившись, они покурили. Жлоб сказал, что наклёвывается одно дело, но больше ничего не пояснил.

— Вечером скажу.

— Ну, добро.

Они разошлись.

Вернувшись домой, Чепурин заглянул в кухонный шкаф, нашёл чёрствый хлеб и яблоко. Подумал, что можно бы шкаф продать... Да кто купит такое старьё... Спортивные костюмы, «ветровки», кроссовки, лыжные шапочки, ботинки — всё отличного качества, давно продано. Даже медали загнал. Остались лыжи... Деньги-то нужны, а работы пока никакой.

И он решил.

Лыжи были в матерчатом чехле, и он не стал их из него доставать. Чего смотреть-то? Фирменные лыжи.

Прихватил их подмышку и двинул в спортшколу. «Кому-нибудь из тренеров предложу — с руками оторвут».

Двенадцать лет назад Сергей Чепурин стал чемпионом СССР по лыжным гонкам. Вошёл в сбор-

ную. А на тренировочном сборе к Чемпионату Мира схлестнулся с одним из тренеров...

Вечером после тренировки зашли втроём в магазинчик соседний, по бутылке пива взяли. А тут этот «старший помощник младшего тренера» — нарушаете, мол, режим. Ну, Чепурин — нет бы промолчать-то — сошло бы с рук — врезал ему:

— Не тебе бежать-то, а мне... — и дальше в том же духе.

И устроили показательный процесс — вылетел Сергей из сборной.

Вернулся он тогда домой, лыжи в дальний угол задвинул. Тренер его, ещё с детства, Иван Авенирыч, говорит: «Отдохни, Серёжа, успокойся. Через год опять Союз выиграешь, ещё и на Олимпиаде побежишь...» А через год и Союза-то не стало.

Сбережения у него тогда кой-какие были, да ещё мать была жива. Он и «отдыхал» два года. А потом взял и выступил на «Кубке Севера», да так, что всех «сборников» обогнал. Обогнать-то обогнал, да на том обгоне сердце надорвал. К врачам он не обращался, но сам знал, что всё — укатали его эти горки, и лыжи в угол задвинул уже навсегда.

Авенирыч звал тренером в спортшколу, но Чепурину не больно-то улыбалось с малышнёй за копейки возиться. Вот, если бы сборную России тренировать позвали... Но в сборную не звали.

Бригада их сколотилась из бывших спортсменов, из тех, что не стали тренерами, не подались в бандиты, не заделались в предприниматели. Работали грузчиками, а летом на строительстве гаражей. Работали хорошо — мужики-то всё крепкие — и зарабатывали хорошо. Но вскоре и попить многие стали. Уходить начали из бригады по разным причинам: кто не хотел спиваться, кто-то окончательно спивался, случайные люди стали появляться в их компании. И последнее время они уже перебивались, чем попало. И пили все, много...

Чепурин никак не думал, что встретит здесь Авенирыча, ему уж под семьдесят, давно пора отдыхать от трудов тренерских. А Иван Авенирыч сидел всё там же, в своей комнатухе, пропахшей скипидаром и лыжными мазями, со стенами, увешанными грамотами и фотографиями. Он колдовал над тисочками, с зажатым в них лыжным креплением.

Сергей хотел развернуться да уйти по-тихому, но старый тренер увидел его в приоткрытую дверь.

— Заходи, Серёжа, заходи... — идёт навстречу Чепурину, — заходи, чайку попьём, у меня, ты знаешь, всегда с мёдом. Сразу видно настоящего спортсмена — даже летом с лыжами... — Глаза под седыми бровями смеются. — Решил, значит, всё же на тренерскую работу? Пора, брат, пора...

— Здравствуй, Иван Авенирыч. Зашёл вот...

Чепурин сам себе противен стал. Уж сороковник стукнул, а как мальчишка оправдывается. И он сказал грубовато:

— Вот, Авенирыч, хочу лыжи продать.

Глаза под бровями погасли.

— Помню-помню, хорошие лыжи. Как ты бежал на них, помню...

— Не надо, Авенирыч.

— А нам твоих лыж не надо. Не предлагай тут никому.

Чепурин криво усмехнулся.

— Ну не надо, так не надо. Счастливо. Здоровья вам.

— И тебе того же, Серёжа... Заходи...

Чепурин шёл по улице. И ему казалось, что все смеются над ним из-за этих нелепых сейчас, летом, лыж.

Ему вдруг чётко представилось, что будет дальше: загонит он лыжи, выпьют, похмялятся... И однажды, когда он будет один в пустой квартире, откажет надорванное сердце... «Да оно ж всё равно однажды не выдержит... и всё же пожить-то ещё хочется... а всё из-за них...» И он хотел бросить в канаву ставшие ненавистными и ненужными лыжи... И увидел Нинку. Она хромала к нему на расшатанных каблучках.

— Серёженька, здравствуй...

А какие женщины у него бывали... Много их было. Но он не женился. Не хотел себя связывать. Думалось, что долго ещё будет денежным и сильным. И вот — Нинка, готовая отдаться любому за стакан бормотухи, Серёженькой называется. Да ведь, кажется, как-то по пьяни было с ней...

Хотел послать подальше, но вместо этого сунул ей в руки лыжи:

— На, продашь, они дорого стоят.

Оставив оторопевшую Нинку с лыжами в руках посреди улицы, он пошагал в спортшколу к Авенирычу.

А куда ещё ему было податься? Или в квартиру свою помирать, или к Авенирычу, и, может быть, выжить.

Они поговорили. Иван Авенирыч предложил работу тренера со старшей группой, со следующей недели. Он явно суетился, растрогался:

— Ну вот, Серёж, и хорошо, и молодец, я в тебя всегда верил. Может, тебе денюжат подкинуть?

Чепурин отказался. Он попил с Авенирычем чаю и пошёл домой. Думал о предстоящей работе, до начала которой оставалось три дня.

Жлоб поджидал его у подъезда.

— Дело, Серёга, есть дело...

— Всё. Никаких дел.

— Ты чё? Опупел? Верняк дело!

— Ну, чего там? — Чепурин решил выслушать его, чтоб отвязался.

— Москвичи приехали. Лес нужен. У тебя же в районе приятель на лесе сидит. Сведёшь их — и все дела. Получишь свои проценты от сделки. Ну, мне за наколочку отстегнёшь...

Сергей задумался. Дело-то, и, правда, верняк. И денюги нужны, не на вино, нет, как-то ведь надо дожить до первой зарплаты в спортшколе...

Утром приоделся получше. «Клиенты» ждали его в белоснежной «десятке», как и договаривались, в центре города, у памятника Ленину. Двое молодых, весёлых и нагловатых мужиков.

И Чепурин держался с ними весело и так же нагловато...

Свести их он решил с Лёшкой Поповым, директором леспромхоза в прошлом. Теперь леспромхоз закрыт, но лес-то валят и вывозят. И Лёха на своих «делянах» крепко сидит.

А когда-то с ним вместе начинали бегать, ещё на первенстве области. И, хотя Попов не достиг таких высот в спорте, как Чепурин, но друзьями они остались на всю жизнь. Когда Сергей ушёл из спорта, Алексей звал его к себе, но Чепурин из глупой гордости отказался.

Сергей попросил у одного из мужиков сотовый телефон, набрал номер Попова. Тот откликнулся сразу. Что за дело у Чепурина, понял с двух слов.

— Приезжайте, всё порешаем.

Чепурин представил, как скажет Попову, что вот — начинает тренировать, что пить завязал. Знал, что Лёшка порадуетя за него.

Всю дорогу, а ехали быстро, лихо, перешивались грубовато. Кто-то звонил на сотовый Артёму — крутоплечему и круглоголовому парню, он отвечал — в первый раз коротко, резко, во второй — с подобострастными нотками.

— Ты куда нас везёшь, Сусанин-герой? — спрашивал Олег, поглядывая на стоящий стеной вдоль шоссе лес, одной рукой держа руль, другой прикуривая.

— Идите вы... лесом, я сам заблудился! — в таком же тоне отвечал Чепурин.

Через три часа были в лесном посёлке — сплошь барачного вида типовые дома, лишь на въезде несколько настоящих деревенских изб.

В центре посёлка — двухэтажное здание из серого силикатного кирпича. Контора. Здесь и ждал их Попов.

Он обнял Сергея, пожал руки москвичам.

Гости сразу захотели «перетереть дело», а Чепурин Алексей провёл в столовую, находившуюся тут же на первом этаже, распорядился, чтобы его накормили.

Сергей глядел на своего друга и завидовал — сильный, здоровый, сразу видно, что хозяин здесь.

Алексей приглашал их ночевать, но москвичи заторопились. Были они явно довольны, возбуждены.

— Получи деньги с них и оставайся, — сказал Попов Сергею, когда докуривали последнюю сигарету перед отъездом. — Погости, отдохни, Серёж.

Так он это сказал, что Чепурин, было, и решился, но передумал. Не хотелось ему вот так — бедным родственником.

— Спасибо, Лёш, не могу. Тренировка завтра.

— А-а! Ну, тогда давай. Авенирычу поклон.

Они пожалы руки. Алексей, кивнув в сторону машины, спросил приглушённо:

— Не кинут тебя?

— Нет.

Неслись по трассе под сто сорок. Сергей старался не думать о страшной скорости, слушал блатные песенки, что крутили на магнитофоне ребята.

«Не зря мне папа говорил, что деньги любят счёт...»

«А деньги любят счёт, а деньги любят счёт...», — подпевал Артём.

— Верно, Серёга? — подмигнул он Чепурину.

Что-то нехорошее шевельнулось в душе у Сергея. Он сделал вид, что задремал.

Думал о предстоящей тренерской работе, о том, что начнёт новую жизнь и всё у него выправится, и к Алексею съездит.

— Держитесь! — рявкнул Олег, резко выруливая вправо и скидывая скорость. Мимо них, будто летучий голландец, пронеслась без огней, и казалось, без водителя, большая чёрная машина...

— Козёл! — сказал Олег.

— Урод! — подтвердил Артём.

Музыку выключили и молчали угрюмо.

Они подвезли Чепурина до самого дома, Артём подал ему деньги.

Жлоб, видно, дежурил, ждал.

Сергей отсчитал его долю.

— В магазин? — спросил Жлоб.

— Я пас, — ответил Сергей.

Жлоб удивлённо взглянул на него, но ничего больше не сказал.

Лифт опять не работал. А Сергей очень устал. Еле добрался до своей квартиры.

А когда вошёл, понял, что надо было остановиться этажом ниже, там у соседей есть телефон, и можно вызвать «скорую». Потому что сердце... сердце его... Он вспомнил, как бежал последние сотни метров до финиша на «Кубке Севера» и, держась за стену, пошёл вниз... Завтра тренировка...

Когда в понедельник он не пришёл на работу, Иван Авенирыч решил, что Чепурин опять запил, и окончательно отнёс его к своим педагогическим неудачам.

На берегу

Плотников сидел у костра. Звёзды уже высипали на небо, и луна была на своём месте. Чернела невдалеке стена леса. Белый «Запорожец» горбатился под одинокой осиной с беспокойной листвой. С реки тянуло влажным холодком, запахом ила, а от котелка, остывающего в траве, — наваристой ухой.

Нечасто удавалось Плотникову одному вырваться из города, отдышаться.

Он даже хлебнул из старой солдатской фляжки по такому случаю.

Искры внезапным салютом взметались к небу, сливались со звёздами и таяли. Вскрикивала в лесу птица.

Плотников сначала услышал, а потом и увидел идущего со стороны леса человека. Он был в длиннополой чёрной одежде, в чёрной же шапочке.

— Мир вам, — сказал.

— Здравствуйте, — ответил Плотников, понимая, что перед ним монах. Пригласил неуверенно, — присаживайтесь.

Монах сел на валежину, стянул ногу об ногу пыльные кирзовые сапоги, размотал портянки.

— Там река, — махнул рукой Плотников, и неожиданный гость, кивнув, пошёл босиком по холодной траве, и слышно было, как он плескался и фыркал.

Плотников был недоволен, что нарушено его одиночество, да ещё монахом, с которым и говорить-то, не знаешь, о чём. Но поднялся, сходил к машине и достал из рюкзака вторую ложку и пластмассовый стаканчик. Прихватил ещё чайник, спустился к реке чуть выше того места, где умывался монах, набрал в чайник воды и вернулся к костру.

Пришёл и монах, капли блестили в тёмной густой бороде.

— Чаю сделаем, — сказал Плотников, просто, чтобы что-то сказать.

Монах не ответил. Он опять сидел на валежине, глядел на огонь полуприкрытыми глазами.

Плотников установил над огнём железную треногу, повесил на крюк чайник

Затем поставил между собой и гостем котелок, снял с него крышку, и оттуда дохнуло густым рыбным духом. Хлеб и помидоры лежали уже нарезанные на куске клеёнки.

— Спаси Господи, — сказал монах, перекрестился и принялся за уху.

Плотников встряхнул фляжку:

— Будешь?

— Нет, спасибо, — монах покачал головой.

— А я приму. — Плеснул в стаканчик, выпил одним глотком и торопливо заел.

Гость всё молчал. А в Плотникове закипало раздражение. Он с вызовом спросил:

— Монах?

Незнакомец кивнул.

— Ну и как?

— Что? — монах вопросительно приподнял брови.

— Спас душу? — и, не дожидаясь ответа, продолжал, — я бы, может, тоже хотел так, ушёл — и одна забота: душу спасай, молись, — он говорил сбивчиво, торопливо, злясь уже на себя за эту торопливость, от этого ещё больше сбиваясь. — а работать? А семья...

— Простите меня, — произнёс вдруг монах, встал, подхватил свой вещмешок и ушёл в сторону.

Плотников выпил ещё из фляжки, остатки зачем-то плеснул в огонь, и на мгновение костёр взметнулся, растолкнул тьму и сразу опал, обессилел. Плотников поднялся и пошёл за монахом...

...Он стоял на коленях, склонившись, и Плотников сперва подумал, что он споткнулся и повредил ногу... В этот момент выглянула из-за тучи луна, и Плотников увидел перед ним икону, прислонённую к мешку. И он поспешно отвернулся, бесшумно ушёл. Лёг у прогоревшего костра, запахнулся бушлатом, долго ворочался, пока не забылся чутким сном. Но и во сне что-то говорил монаху, что-то втолковывал ему, о чём-то спрашивал, а тот всё молчал...

Утром он осмотрел округу, даже крикнул несколько раз. Монаха не было.

Вскоре Плотников собрался и уехал в город. ...Трепещет багровой листвою осина, путаются в жёсткой траве серебряные нитки паутины, тянет студёный ветерок.

Плотников стоит на берегу, смотрит на беспокойную воду. И пытается понять, что же произошло здесь, на этом месте месяц назад. Почему он никак не может забыть того монаха? Да был ли он? Может, приснился?

Вон кострище, валежина, на которой он сидел. Здесь он стоял перед иконой... Кто? Кто он такой?

Потрескивают дрова, шумит на недалёком перекате вода, вскрикивает птица в лесу... Плотников думает о монахе, о себе...

г. Вологда

ДиН ревью

Бийский вестник

№4, 2008, литературно-художественный, научный и историко-просветительский альманах г. Бийск, тираж 500 экз.

Дальний Восток

№6, ноябрь-декабрь 2008 российский литературный журнал г. Хабаровск, тираж 1300 экз.

Сибирские огни

№9-10, октябрь 2008, литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал г. Новосибирск, тираж 1500 экз.

Складчина

№3(32), ноябрь 2008, литературный альманах г. Омск, тираж 500 экз.

Огни Кузбасса

№5, 2008, литературный журнал г. Кемерово, тираж 900 экз.

Пластилинное счастье

Проза пятнадцатилетних г. Красноярск, 2008, тираж 1000 экз.

Нужные люди

Альманах студентов и выпускников кГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск, 2008, тираж 300 экз.

Михаил Стрельцов

Балкон
повести и рассказы
г. Красноярск, тираж 300 экз.

Вероника Шелленберг

В такой погожий вечер
Стихи для детей
г. Омск, тираж 100 экз.

Иду на честный разговор

Стихи и проза молодых
г. Омск, 2008, тираж 500 экз.

Игорь Тюленев

Альфа и Омега на цепи
Избранное, г. Москва, 2008, тираж 1000 экз.



Наталья Скаун Шашек и Машек

Муравчик

Нынешняя весна вывела из себя смиренного, как кастрированный бычок, Муравчика: вдруг он разботел, вдруг расправил плечи шире берегов! Это Муравчик-то?! — в нём сто лет подряд пескари со скуки дохли. Только и годен был Муравчик зимний навоз на себе вывозить, бабы половики стирать да ребятишкам пузо щекотать тихой, тёплой, грязноватой водичкой. Правда, неупорядоченные предания сохранили несколько буйных выходов Муравчика — как-то он свалил деревянный мост, затопил кузницу на берегу. Так вот и затюканный муж, бывает, подносит пару раз под нос жене своей кулак, вблизи носа сразу приобретающий опасный размер. И она помнит, стерва, долго помнит.

Последнее поколение приречных жителей от Муравчика ничего серьёзного, тем более угрожающего, не ожидало и потому оказалось в недоумении. Так и сидели в недоумении на крышах домов, глядя, как течение уносит из погребов их мелкую картошку с торчащими ростками. Дядя Вася шнырял на лодке, вылавливая посадочный материал и прочее плавучее имущество. С крыш его ругали воругой. Местно прибыл чрезвычайный человек — обругал местное начальство за покражу чрезвычайных денег и также спешно отбыл: сёл подтопило много, везде он был нужен позарез. Муравчик напирал. Талины, высовывавшие из воды макушки, вдруг скрылись совсем — как нырнули. Дядя Вася поймал круглобокую бревенчатую шуку. Казалось, наддаст ещё Муравчик, и в небе закружат чайки, забьёт о берег прибой, взмоют китовые фонтаны, и заплещут белые паруса. Запах Муравчиковой воды ощутило изменился — вместо тинного, навозного, спёрто-сладковатого стал солоноватым, острым — приторным. Жители в тоске и досаде плевали в ожившие Муравчиковы струи из чердачных проёмов. Приехали возбуждённые газетчики, кричали вопросы сидящим на крышах. Ветер относил слова по течению. Подплыл дядя Вася на лодке, ответил за всех одним словом, впрочем, непечатным. Через неделю все, кроме Муравчика, успокоились. Пострадавшие от наводнения переселились к родне со всей своей живностью: свиньями, кроликами, курами, коровами. Стало, конечно, тесно, и много скотины от того порезали. Сельсовет заверил, что всем утопленникам выплатят компенсацию. Да такую большую, что хватит на новый дом с новым телевизором и коровой. Утопленникам даже завидовали. «Везёт, — говорили, — как утопленникам!»

Муравчик меж тем пёр и пёр с невесть откуда взявшейся дури. Шуки дяде Васе попадались одна

за другой. А однажды в щетинке талин застряла белая шляпа. Шляпа приплыла не иначе, как из кино: белая, с петлистыми кружевами по полям и кружевными же бутонами у тульи. В жизни таких шляп, понятно, не носят. Кто ж такую всерьёз напялит? Шляпу бросились примерять сначала девчонки-соплячки, потом — жеманные девицы в резиновых сапогах, женщины тоже подходили, смеясь и смущаясь, — понарошку прикидывали на себя шляпу. «Как корове седло!» — комментировали мужики. Внутри шляпы был ярлычок. Кто-то прочитал: «Маде ин италу». Италу! Шляпу забрала многодетная мамаша Музалева для младшей конопатой Лильки на новогодний костюм Красной Шапочки. Сказала, что перекрасит луковой шелухой, и будет, как новая.

Следом за шляпой приплыл... господи, страшно выговорить — пароход! Утром проснулись — стоит на Муравчике, на боку написано «Линейный» ОЗ-МО № 136/746. Пароход (а может, и теплоход) был не новый: белая краска облупилась чешуйками, Африкой и обеими Америками расположились на боку ржавые пятна. Пароход не дудел. Людей на палубе не было.

Народ на берегу посвистел, поэзгэкал, с крыш помахал — на «Линейном» не ответили. Звякнуло что-то: то ли цепь, то ли ведро. Терпеть зуд любопытства не было никаких сил. И дядя Вася поплыл на лодке к самому «Линейному». С берега наблюдали: вот он, тужась, подплыл, постучал веслом о борт, на палубе появился человек в тельняшке и ватнике. Спросил что-то у дяди Васи, нагнувшись. Потом спустил дяде Васе лестницу. «Трап!» — кто-то восхищённо сказал в толпе. Дядя Вася поднялся, не оглядываясь, воровато как-то даже. И опять стало — никого. Дяди Васина осиротевшая лодка, шаркнув о бок корабля, поплыла, пустая, по Муравчику. Стоявшие на берегу односельчане всполошились.

— Васьк! — крикнул сосед дяди Васи — Саша-рыжий, — Васьк! Лодка уйдёт!!! Приспал там?!. Васьк!!!

Трое парней влупили вдоль берега догонять лодку. Сколько оставшиеся ни смотрели — дядя Вася на палубе не появился. «Мать родную за сто грамм продаст!» — осудил рыжий Саша. Лишь он упомянул сто грамм, все слотнули и с надеждой вперились в таинственное судно. Линейный тихо покачивался — прямо как пьяный.

— Да что же это такое?! — возмутилась пенсионерка Рачкова, — встали тут и молчат! Может, у них разрешения нет?

Председатель сельсовета маялся вместе со всеми от неведения, любопытства и мелкой, тиком подрагивающей тревоги.

— Ты — власть. Плыви, спрашивай, узнавай! — насел на председателя народ.

Жена председателя несогласно взревела: пробивая локтем дорогу, увлекла своего драгоценного борава с опасного берега. В спины им насмешливо свистели. Вдруг заиграла гармошка — на берег ввели Степанова. Из пятерых Степановых под руку попался младший Мишка. Вот его и волокли. Все Степановы играли на гармошке, каждого нового Степанова обучал игре предыдущий. Степановы начинали играть, когда их ещё не было видно из-за гармошки. К двенадцати-пятнадцати годам они достигали вершин мастерства, к двадцати — спивались на свадьбах и поминках. У каждого Степанова был свой музыкальный ритм. Старший Степанов пил через песню. Его уже не приглашали — было накладно. Второй Степанов играть и пить бросил. Служил у городского батюшки при храме и братьев, навещаясь домой, называл чертями. «Изыдьте!» — кричал на них, выгоняя из дома. И сидел потом в избе один, как сыч. Третий Степанов выпивал стопку строго через две песни. Его ещё терпели. Четвёртый Степанов мог вообще не пить во время игры, а мог выпить сразу после вступления и тут же свалиться. Был нестабилен, и от того мало востребован. Мишка сам подавал сигнал, когда требовалось поднести — начинал играть «Бесову мучу». Младшему Мишке сейчас было тридцать пять. Лопоухий, кривоногий Мишка улыбался просторным беззубым ртом и шарил на автопилоте «Варяга».

— Давай что-нибудь весёлое, — понукали его. — Весёлое и морское.

Мишка дал весёлое — «Капитан, капитан, улынитесь...». На Линейном стояла глухонемая тишина. На берегу нестойкие женщины начали приплясывать. Мишка заиграл «Еллоу сабмарин». Тут из укрытий предательски выползли сумерки и незаметно и плотно всех окружили. Подростки разжигали костёр. Наказав молодёжи следить за обстановкой на судне, взрослые стали расходиться. Тем более Мишка уже намекал об оплате «Бесовой мучей». Шли, обсуждали разные версии о пароходе. Одни говорили, что пароход прислали наблюдать за Муравчиком и, в случае необходимости, эвакуировать население. Дядю Васю эвакуировали первым. Подумали — нашли, что сходится: пароход большой, все влезут. Другие говорили, что пароход привёз компенсации утопленникам, и сейчас ведёт съёмку местности — выясняет масштаб бедствия. А дядю Васю опрашивают как потерпевшего. Как выяснят масштаб, так всем заплатят. И это было подходяще. Третьи говорили, что на пароходе прибыл неприкосновенный запас продовольствия и спирта от переохлаждения — случись перебой в снабжении, начнут выдавать. А пока помалкивают. И это правильно: народ, узнай он, что на пароходе гуманитарная помощь, потопит корыто к чёртовой матери. Потому и дядю Васю не отпускают — чтоб не разболтал. Кому было верить?

На следующее утро Линейный подбросил новую загадку — на борту его появилось не новое,

сероватое полотнище с выцветшими оранжевыми буквами — *принимаем*. И опять — никого, и ни звука.

— Васьк! — крикнул Саша-рыжий, — Васьк! Выйди, объясни людям. Васьк! Стыдно что ли морду опухшую показать?!

На пароходе смолчали. Только полотнище плескало на весеннем ветру. Народ шарил глазами в поисках председателя сельсовета. Сбегали к нему домой. Жена огрызнулась: болеет! Решили послать гонцов за участковым на Центральную. Гонцы уехали на ревушем, охрипшем за зиму мотоцикле «Урал». Их было пятеро. Массы столпились вдоль Муравчика в гнетущей неизвестности. На пароходе было беззвучно и безжизненно. Вдруг на берегу раздался мерный, слаженный топот — три брата Шпильмана: двое родных, один — им двоюродный, несли на себе лодку. За Шпильманами шла их мать и тётка бабка Эмма с двумя битком набитыми сумками. Содержимое сумок прикрывали номера районной газеты с помятыми фотолицами. Шпильманы бережно приладили лодку к воде, аккуратно перенесли в лодку сумки и Эмму. Старший Шпильман заговорщицки кивнул братьям и повёл добротный свой чёлн к пароходу. Односельчане нестройно замычали, требуя объяснений, но два оставшихся Шпильмана только сплонули в Муравчик. Все приклеились зенками к Шпильмановой лодке. Вот она подошла к пароходу, старший Шпильман постучал о борт веслом. Мигом образовался прежний мужик в телогрейке. Расторопно спустил трап. Эмма, боязливо подрагивая гузкой, стала подниматься. Мужик в телогрейке встретил её, как родную, — расширил приветственно руки. Эмма даже не глянула на родимый берег, где её, немчуру белоглазую, столько лет уважали. Сын ждал в лодке. Существо, обитающее на пароходе, подняло трап, а вместо трапа спустило трос с крюком на конце. Старший Шпильман надел на крюк обе сумки. И они, потирая боками облупленные борта, всплыли наверх. Шпильман покивал мужичку и отчалил.

— Немцем в Германию увозят! — догадался Сашка-рыжий. — Во, до чего додумались! Прямо из дома взяли под белы жабры. Это как же они теперь до Берлина поплывут? Через какое море?

— Тебе не один хрен? — ответил ему голос из толпы, — пусть гребут отсель. Фашисты! Ишь, за ними их правительство пароходы присылает, а нам — тони — не хоч.

— Пароход-то по-русски называется, — поправили обиженного, — наш, значит. А спасает немец... Вот всегда так — свои в последнюю очередь!

Шпильманы дипломатично смолчали. К ним подошли их запыхавшиеся жёны — у обеих было по две полные сумки. Шпильманы и жёны переглянулись, будто по Морзе отстучали.

— Побежали крысы на корабль, — обвинили в толпе (хотя крысы, как известно, бегут с кораблей, а не на. На корабли они всходят, согласно купленным билетам).

Вернулся старший Шпильман, перемигнулся с роднёй. Бабы подали ему торбы — сами, что удило, внутрь лодки не полезли. Шпильман сделал ещё один рейс к пароходу. Ему снова спустили крюк, снова забрали гроздь сумок.

— Сало! — ахнула Карпова-младшая, — у них в сумках сало — я разглядела. На пароходе сало принимают! Вот они и сдали потихоньку. А людям — ни слова. Всё себе, себе — жадормоты!

— А Эмма? — возразили.

— И Эмму на сало! — загоготал Саня-рыжий. — Немцы матку на сало сдали!

Берег поразил повальный хохот. Прибежали, вырывая на бегу друг у друга гармони, Степановы — подумали, что гуляют по-вчерашнему. Победивший Степанов (это оказался Серёга нестабильный) грянул «Читу-Маргариту».

— Да у меня этого сала в десять раз больше, чем у всех Шпилек, вместе взятых! — горячилась Карпова, — да я этим салом пять лодок завтра нагрузу!

— Эмму — на сало! Эмму — на сало! — скандировала молодёжь.

Шпильманы уже было собрались уносить лодку, как к ним подошли Маринка, Светка и Лидка — три самые красивые девки в Муравино. У каждой был трёхэтажный начёс, малиновыми пузырями надутые губы, у Маринки и Лидки — по внебрачному ребёнку на иждивении родителей. Родители не роптали. Маринкин отец устроил для дочери душ в бане, который она принимала (так и говорила: «Принимаю душ») каждый день. Папаша только успевал таскать ведрами воду в бочку на крыше. Лидка грядки не полола, к корове не подходила — ногти берегла, чтоб перелистывать ими умные книжки на диване. Светка училась заочно и засушивала букеты с корягами и ковылём, из которого приличные люди кисти делают. Разновозрастные муравинские мужчины добивались благосклонности Маринки, Светки и Лидки, за это изводили Маринку, Светку и Лидку разновозрастные муравинские женщины. Последняя действующая ведьма Муравино — девяностолетняя бабка Панка по просьбе заказчиц оплетала Маринку, Светку и Лидку чёрными нитками, вкалывала ржавые иголки им в заборы, сыпала могильной земли под порог. На берег Маринка, Светка и Лидка явились налегке, как туристки к автобусу. Непохоже было, чтоб они пришли сдавать сало. Пошептавшись со Шпильманами и их жёнами, Маринка, Светка и Лидка сели в лодку как три райских птицы на насест. Шпильман повёз драгоценный груз к пароходу. Берег наблюдал, не дыша. Степанову, чтоб он заткнулся, дали выпить из горла. Матрос в ватнике первой принял Маринку. И, все видели — все! — поцеловал у неё руку. Светке и Лидке тоже поцеловал.

— Б...во, — прошипела пенсионерка Рачкова.

За спинами раздался крик:

— Не пушу-у-у!!!

С Верхней улицы по проулку сбежали сёстры Метёлкины, а за ними гналась их мать Тамара Ивановна. Сёстры Метёлкины неслись с большим отрывом — мать накрывала их зычным матерщинным голосом, но ногами догнать не могла. Метёлкины выскочили к Муравчику, замахали руками Шпильмановой лодке.

— Вы-то куда? — рыкнул на них Сашка-рыжий, — таких, как вы, не берут.

— Откуда вы знаете? — огрызнулась клюквенно прыщавая Любка Метёлкина. — Ещё как берут! Написано — «принимаем».

Метёлкины сунули деньги крайней Шпильмановой жене и сиганули в лодку. Тут как раз подошла Тамара Ивановна, испускавшая последний дух.

— Попрут их, увидишь! — успокоил Тамару Ивановну Сашка-рыжий. — Не с их рылом...

— Я...те...пока...жу...ры...ло, — собралась с духом Тамара Ивановна.

«Гуд бай, Америка, о», — тоскливо заиграл Степанов — непредсказуемый. Шпильман устало грёб. Беда — вечерело. Детали могли выпасть из поля зрения. Ничего — разглядели. Матрос шлёпнул Любку Метёлкину по задку, а сестру поддержал за талию.

— Этот руки не целует, — злорадно отметила Рачкова.

— По задку так ещё лучше! — опротестовала Карпова-младшая.

— У меня девки честные, — заплакала отчего-то Тамара Ивановна.

Шпильман пригрёб назад, и на все вопросы только глупо помахал белыми, как капустница, ресницами.

— Всё принимают! — вещала как с горы свалившаяся тётя Катя — уборщица из магазина, — Излишки любые: масло топленое, шкуры, сало, перо, медь. Заготконтора у них на плаву. Отоварка японским товаром: куртками, кроссовками, магнитофонами.

— А девок почём берут? — съехидничал гнусавый голосок из самых густых сумерек.

— Девки до городу с ними доплывут — дороги ж нет. Размыло, — пояснила Катя. — Чего им, девкам, тут сидеть — киснуть? Пускай прошвырнутся. Или, может, приёмщицами к ним устроятся...

— А Эмма? — не сдавался сумеречный голос.

— Эмма за сало расчёта ждёт, а Васька пьёт с их капитаном, — нашлась уборщица.

Степанов заиграл «Группу крови на рукаве». Как и давеча, начались танцы, запылал костёр. Пора была добрым людям расходиться по домам, к телевизорам.

— Мать, давай твоё сало сдадим на японский магнитофон, — заискивал один голос.

— С тебя шкуру снять и сдать, — ругался другой.

— И не пароход это, а летающая тарелка, которая людей крадёт на опыты, — страшал третий. — Васька пропал, Эмма пропала, девки хорошие, молодые, сгинули. На опыты, а потом на органы.

— Милиционер завтра придет! — вынырнул из темноты циклопий глаз мотоцикла — вернулись с Центральной гонцы.

Утром на пароходе сменилось полотнище. Вместо «принимаем» висело такими же ржавыми буквами исполненное «Приветствуем участников!». Каких участников? Чего участников? — неизвестно. Тишина на борту: ни звука, ни человека. Тишина была и на берегу. Степановым запретили играть до выяснения обстоятельств. К одиннадцати часам прибыл с Центральной участковый. До того подтянутый — как за фуражку вздёрнутый. Участковый первым делом вызвал на берег симулянта председателя сельсовета с перевязанным

ухом, зубом ли, вторым делом — Шпильманов с лодкой. Старший Шпильман потребовал оплату за оба конца. Участковый выругал его за сопротивление властям. Председатель, укутав плотнее ухо или зуб, обречённо пал в Шпильманову лодку, участковый присел, подбоченившись. Его карман распахнулось табельное оружие, а сердце — отвага. Шпильману пришлось бить веслом дольше обычного. Матрос в ватнике не выходил.

— С девками развлекается! — прокомментировали под хи-хи на берегу.

Наконец, хмурый матрос вышел, подал трап. Председатель полез сразу, а участковый что-то ещё повыкрикивал в лодке (кажется, перечислил статьи, которые знал), потом тоже вскарабкался. Пароход как ненасытная утроба проглотил и местную власть с её правоохранительным органом.

— Каких им ещё участников надо? — заворчал Сашка-рыжий. — Может, участников войны? Штук пять у нас ещё наберётся.

— Стариков хоть пожалейте, — заплескала ручками бабушка в двух платках — исподнем белом и верхнем тёплом. — Пропадут ведь!

— Да их там ко-о-ормят! — возразил Сашка-рыжий.

«День победы, как он был от нас далёк!» — нестройно запели слабые, покхэживающие голоса. К берегу шли все пятеро ветеранов в правильной последовательности: впереди два пехотинца: один с Белорусского, другой — с Украинского фронта, а зади — трое бывших заградотрядовцев. Сопровождали праздничную колонну завклубом и Мишка Степанов с гармонью. Шпильман — презренный побеждённый немец об оплате даже не заикнулся, но предупредил, что повезёт в два рейса. Первыми сели нквдшники. Оставшиеся на берегу пехотинцы затагнули «Землянку». Односельчане подхватили. Матрос на пароходе выскочил ещё до прибытия лодки. Встал, вытянувшись, каждому отдал честь. А пехотинцев потом ещё и обнял.

На берегу смахнули слёзы.

— Хоть на пароходе покажутся, — разнюнилась завклубом. И добавила — перед смертью.

— Типун тебе! — плюнула в завклубиху Карпова.

На ходу вытирая о тощий зад большие, малиновые от мытья, руки, подлетела Катя-уборщица. Тощие её ножонки ёрзали в калошах от нетерпения.

— Где твои участники самодеятельности?! — набросилась она на завклубом. — На художественный смотр берут. Чё, не видишь?

— Не хотят люди — я неволить не буду! — огрызулась завклубом.

— А ты у людей спрашивала?! — взвилась Рачкова, — Я семь лет в хоре «Ветеран» пела. У меня сарафан лежит, на меня пошитый.

— И у меня! — поддержал пенсионерку другой дребезжащий голос.

— Что ли вот так — без репетиций, и поплывёте? Опозориться хотите? — упорствовала работница культурного очага.

— За вечер споёмся! — отрезала ей все пути Рачкова. — Мишка, «Деревеньку-колхозницу» знаешь?

Мишка откликнулся протяжной, как стон, мелодией.

— Иди-иди, — понукала завклубиху Рачкова, — тебе за это деньги платят.

На другой день с утра пораньше на берег потянулся хор «Ветеран» в сарафанах поверх демисезонных пальто, в коронах с блёстками поверх разноцветных вязаных шапок в мохеровых клочьях. Спешили на берег два бойца ограниченного контингента советских войск в Афганистане — два участника-афганца. Вид у них был, как у поднятых по тревоге, — собранный, сосредоточенно отточенный. Шёл участник ликвидации Чернобыльской аварии — инвалид без шитовидки, спасавшийся в Муравине травами — нёс в рюкзаке копну прошлогоднего сена. Негодующая мамаша волокла на берег двенадцатилетнего мальчика — участника районной олимпиады по математике, занявшего шестое место. Ранец хлопал его по худенькой спинке. Мать мысленно доругивалась с отцом пацана, не отпускаящим ребёнка. «А что он видит здесь?! — вскрикивала она — какие у него перспективы?!» Волоклись трое алкашей — в прошлом году они сдавали кровь, и у них были грамоты «Участнику донорского движения». Несколько с виду безучастных баб запоздало пёрли сумки с салом и топлёным маслом. Далеко впереди один из Степановых размашисто играл на гармонии «Крылатые качели». Вдруг качели оборвались. Отставшие увидели на берегу застывшую немую сцену — толпа участников, а парохода нет. Шпильман стоит, раззявив рот, калькулируя упущенную прибыль. Беззвучное «ту-ту» сделал «Линейный» ОЗ-мо № 136 / 746. Плач и стон полетели над Муравчиком. Плач и стон, и проклятья, и причитания о жизни коротенькой, простенькой, глупенькой — никому не нужной, никем не замеченной.

— Говорил я вам, что это была замаскированная летающая тарелка, а вы не верили! Вот вам — улетела! — захлёбывался Муравинский пророк. — Людей-то сколько пропало! Да каких людей! — милиционер, Васька, пятеро участников вов — отцы наши победители, девки — прости господа.

Трое Шпильманов прыгнули в свою крепкую лодку — бросились догонять пароход.

— Куда там! — кричал им в спины пророк. — Сопля тонка!

Васька обнаружился на другой день. Сказал, что был на рыбалке. Рыбы у него оказалось четыре ванны и всё крупная, отборная — аж хвосты свешивались. Довольная Васькина рожа была в чешуе, руки — в рыбьей холодной крови. Председатель сельсовета вернулся через неделю. Жена его сообщила, что лежал бедолага в больнице с осложнённым левым ухом. И теперь ему нельзя простужаться, подходить же к Муравчику и вовсе заказано. Милиционер оказался в командировке в Чечне и вернулся только через полгода. Целый и невредимый, представленный к награде за героизм. Пригодилась, значит, отвага. Хитроумная Эмма Шпильман оказалась в Германии в городе Мюнстере (сданного сала ей как раз хватило на билет в один конец), откуда теперь шлёт вызовы и евры своим детям. Маринка, Светка и Лидка оказались замужем. Лидка — так даже за писателем-французом. Сёстры Метёлкины

выучились: одна — на парикмахершу, другая — на маникюршу. Стригут теперь и малюют одних актрис и певец с моделями. Очередь к ним — через всю Красную площадь. Пятеро ветеранов воев отдохнули в Сочи — вернулись, как огурчики из морского рассола. Переглядываются, хихикают о своём в сморщенные кулачки. Компенсацию за подтопление выплатили лишь троим утопленникам — родне председателя сельсовета. И то оказалась она мизерной — пропить впору. Так и сделали.

Муравчик вошёл в берега, затих и прокис. Снова повёз на себе навоз, снова полощет полочки и щекочет ребятишкам подмышками. Все с нетерпением ждут возвращения «Линейного», хотя надежды мало. По преданиям, Муравчик разливается раз в сто с лишним лет.

Рената

Фёдор Михайлович помогал жене солить помидоры. Фёдор Михайлович из всех овощей выделял помидоры. Он прочитал в оздоровительном журнале, что помидоры — самый полезный для мужчин продукт. А Фёдор Михайлович был мужчина, и собирался им оставаться ещё не менее пятнадцати лет. Фёдор Михайлович должен был раскладывать по банкам приправы: чеснок, перец, лавровый лист, укроп. И всё это по ровному строгому счёту, чтоб не нарушить гармонии букета. Но Фёдор Михайлович то и дело сбивался, кричал на жену: «Сколько я перца в эту банку кинул?! Шесть или десять?! А сколько надо?! А душистого или горошком?! Что ты меня всё время путаешь!». И Фёдор Михайлович опрокидывал приправы из банки обратно на стол, горошинки с весёлым треском разбегались. Жена, как избавления, ждала какого-нибудь звонка, а звонка всё не было. Странно. Время было подходящее: грузовик сломан, ремонт недоделан, штат неполный, и всего-то неделя до начала учебного года. Самая пора вызвать директора училища на работу. Но директор путался в перце и лавровом листе и поедал один за другим приготовленные в засолку, ошпаренные помидоры. «Алёнка?! Бонжур?!» — выкрикивал он сорта. И никогда не угадывал.

Бестолковое лето к концу своему образумилось. Конец августа выдался такой, что хоть картины с него пиши. А тут ещё грибов повылазило. В ближайших и дальних лесах народу было больше, чем на улицах. По улицам же тихо перепархивал пух чертополоха, которому некого было полощить. Гуси взбитыми белками плавали по реке Верёвке. В иных торопливых огородах дзинькали ведра под ударами картошки — полнотелой в этом году, как кустодиевские купчихи, и в таких же ямочках. По вечерам на лавочках и остановках собиралась молодёжь — додруживала, долюбивала летние отношения. Звёзды таращились, силясь разгадать по расположению людей свои судьбы. Но много ли разглядишь в посёлке, где один фонарь на десяти душ населения? Пылко освещено вопреки запретам директора, было одно лишь профессиональное училище.

Так зрелищно сторожил единственное училище Вервеи Василий Евдокимович Мальков — дядя Вася. Дядя Вася с тоской думал о наступающем отопительном сезоне, о том, что снова придётся

ему спускаться в преисподнюю кочегарку. Училище образовалось из перестроенной церкви в результате следующих метаморфоз: церковь, сельсовет, школа, райсовет, дом пионеров, училище. Прицерковное кладбище видоизменялось следом: кладбище, площадь для митингов, каток, площадь для митингов с памятником Ленина, футбольное поле без Ленина, автодром. Возмущённое прошлое давало о себе знать. В печи кочегарки училища по ночам стонало и выло — являлись жаловаться души прежних жителей Вервеи, на могилах которых то маршировали, то митинговали, то играли в хоккей, то в футбол, то отработывали «восьмёрки». Истопники, послушав ночь-другую эти «ву-ву-ву» и «бу-бу-бу», не выдерживали, сбегали. Один только дядя Вася Мальков задержался на семь лет. Хотя пугаться и трепетать не перестал. Дядя Вася клялся, что уже разбирает слова печных завсегдатаев и даже различает их по голосам. Самым жалобным голоском обладала та самая «девчонка». Девчонку обнаружили, заводя в училище водопровод, — выкопали ковшиком маленький черепок с отпавшей от него косой. Дядю Васю черепок поразил белизной и округлостью, он его обтёр и утащил к себе в кочегарку. На следующий день Василий Евдокимович заболел жестоким высокоскоростным поносом, его сестра Наталья Евдокимовна определила, что причина в черепке той самой девчонки. Сестра велела освободиться от черепка, в противном случае ждать неминуемой смерти. Но дядю Васю уже увезли в больницу, в инфекционное отделение тюремного типа. Оттуда он звонил в училище, умоляя директора Фёдора Михайловича вынести из кочегарки черепок и предать его по всем правилам земле. Директор обещал, забывал, врал, вертелся — дядя Вася убывал на глазах. Тогда дядя Вася напихал в трусы полотенце и совершил из больницы побег. Что он сделал с черепком, неизвестно, но понос тут же унялся. Дядю Васю выписали. Врач сказал, что никакой инфекции он не нашёл, остаётся единственная версия — медвежья болезнь.

А два года назад в Вервею приезжали американцы с русским переводчиком. Американцы оказались представителями благотворительного фонда, что учредил в Америке купец, как утверждали гости, выдающийся земляк наших вервеинцев. В Вервее купца-земляка давно позабыли, да, честно говоря, и не помнили никогда. А он, получается, Вервею не забыл. Вервеинцам пришлось срочно лезть в архив. Там они кое-что узнали о купце Николае Митрофановиче Калямкине. Калямкин скупал дешёво и перепродавал дорого пшеницу. От избытка средств и прогрессивных намерений Калямкин построил в Вервее церковь и библиотеку (ныне — лаборатория ветеринарной станции). Революцию он воспринял правильно — сбежал от неё в одних подштанниках. Но — вот, что значит привычка! — в Америке Николай Митрофанович опять напал на пшеницу, вырастил на ней новый капитал и благотворительный фонд к нему в придачу. Детей у Николая Митрофановича не было. В завещании его велено через фонд поддерживать родную Вервею, а точнее церковь и библиотеку, но только в случае падения большевистского режима.

Выждав для надёжности дополнительных десять лет после того, как коммунизм вновь стал призраком без права бродить по Европе, представители фонда Калямкина явились в Вервею. И оказались в интереснейшем положении. Церкви не было. Вместо благочестивых бородатых прихожан с жёнами в платочках до бровей американцев встретили гогочущие юнцы и визжащие девицы во главе с краснеющим кудрявым директором с именем Фёдор Михайлович, но с фамилией не Достоевский, а какой-то Паранин. В библиотеке-лаборатории вообще жили белые мыши и кролики — две худые, корявые, какие-то суковатые тётки губили их крохотные бессмысленные души в лабораторных опытах. Местная власть пыталась объяснить гостям, что из себя представлял большевистский режим, почему при нём не держали церквей, а мышей разводили не иначе, как в библиотеках.

— Но ведь сейчас уже нет большевиков! — недоумевали американцы через переводчика, — почему вы сейчас не сделаете всё, как устроил вам Майкл Калямкин?

— А на какие средства?! — хватательно оживилась власть, — у нас нет денег даже на автобусную остановку.

Американцы попросили смету: сколько надо вервейским властям, чтоб из училища сделать обратно церковь, а из лаборатории — библиотеку. Ответ был готов на завтрашнее утро.

— Двести семьдесят миллионов евро! — объявил мэр Вервеи.

Американцы были оглоушены, как рыбы динамитом. Они так же выпучили глаза и открыли пустые рты. Они не ожидали, что вервейцы так лихо считают в валюте, которую и в глаза никогда не видели.

— Училище надо переносить, — убеждал мэр, — куда попало его не выгонишь. Это же наши дети. Значит, без строительства нового здания не обойтись. А библиотека ни к чему, — смилостивился мэр, — у нас уже есть. Для уважения Калямкина согласны на мемориальную доску на ветлаборатории. От лаборатории не будет — протрут к празднику, ну и ко дню рождения, когда оно у него там. Плюс тысяча евро к смете.

— Но почему евро?! — спросили поражённые американцы.

— Вы нас простите, конечно, — заулыбался мэр, — доллар ваш в последнее время сильно пошатывается.

Пошатываясь, отбыли и американцы. Они так и не склонились к какому-либо решению. Конечно, надо бы исполнить волю Майкла Калямкина, но это чревато гибелью фонда, из которого сотрудники черпали средства к существованию. Позже из Америки пришло письмо с сожалениями о том, что фонд не в состоянии немедленно аккумулировать необходимые средства, и полторы тысячи долларов на две мемориальные доски. Мэр города распорядился изготовить доски по две тысячи рублей каждая (вот так, не скупясь!), а письмо спрятал — через два года мэру корячились выборы. Потому мэр не стал разочаровывать жителей, а напротив, твёрдо обещал строительство училища, молодёжного центра и даже

бассейна за счёт «наших американских инвесторов». При этом мэр подчёркивал, что инвестиции возможны только под конкретного человека. Кто был этот конкретный человек, вервейцам следовало бы уже догадаться.

Тем временем директор училища Фёдор Михайлович рыскал по просторам пустырей — выбирал место под новое училище, выискивая подходящую «инфраструктуру». А дядя Вася решал непростой нравственный вопрос: должен ли он будет перейти кочегаром в новое училище без покойников, или ему следует остаться в старой кочегарке при восстановленной церкви? Помогла ему, как всегда, сестра Наталья Евдокимовна: «Раз церковь восстановят, то и голосов никаких не будет — все упокоятся с миром. Уж попы знают, как это делается». Дядя Вася поразился уму своей сестрицы и решил, что останется в прежней кочегарке. Потому что так ему ближе к дому.

А Фёдор Михайлович просыпал душистый горошек и выискивал его теперь с азартом охотника на мелкую дичь. Жене захотелось кинуть ему в лоб помидор, и ещё, ещё! Но зазвонил телефон, не дав терпению женщины лопнуть. Директора требовала завуч Носова. Сама озадаченная, завуч озадачила по вертикали Фёдора Михайловича: к ним в училище пришла устраиваться на работу женщина — русский-литература.

— Очень хорошо! — взрезвился директор, — очень кстати! Марь Пална уходит на пенсию.

— Уходит? — усмехнулась в телефон Носова, — вы же её уговорили остаться. Клялись, что она выглядит на сорок. Она поверила.

— Но силы-то ведь уже не те? — замялся директор.

— Думайте! — велела Носова, — А эта здесь сидит. Вас ждёт. Смотреть будете?

Директору очень, очень хотелось посмотреть. Он переоделся, не забыв галстук, причесал два раза свои пуховые кудри, напыскал на загривок туалетной воды.

— Там какая-то на работу просится, — Фёдор Михайлович произнёс это с интонацией «сил нет, как надоели, ходят и ходят».

Жена с пониманием кивнула — никто в училище не шёл, разве что выгнанные из школ алкоголики. Да ещё пенсионерки уютно просиживали в училище свою старость. Та же Мария Павловна в шестьдесят лет была, ей-богу, молодуха. Историчке Светлане Леонтьевне было семьдесят — свои коренные зубы она съела ещё на истории КПСС. И теперь без руководящей и направляющей плавала в историческом процессе, как бесхребетная медуза. Немка Эльза Генриховна была на год старше её, и уже начала заговариваться. Благо, на немецком языке. Никто не понимал.

Фёдор Михайлович полетел на зов, оставив жену наедине с её любимыми банками. Возле директорского кабинета сидела женщина, вставшая при виде Фёдора Михайловича. Она была высока — лицо в лицо с директором. И в этом её высоком лице плескалось и радужно пузырилось такое очевидное счастье, что Фёдор Михайлович захлебнулся от всплеска его. Раньше Фёдор Михайлович думал, что сразить может только красота, но здесь никакой красоты не было: мышинный

носик, лягушачий ротик. Что ж тогда это было? — какое-то неизвестное науке излучение.

— Рената Сергеевна, — представилась женщина и протянула руку — тёплую, длинную, мягкую, как лапа.

Директор ожил, расцвёл, показал училище, обрисовал перспективы, предложил отвезти на место будущего строительства — на все-все предполагаемые места, позвонил Марии Павловне и сухо объявил о наступившей пенсии. Женщина ушла, а он никак не мог себя унять: перебирал бумаги на столе, снимал и клал телефонную трубку, вскакивал к зеркалу.

— Взяли? — мрачно спросила заглянувшая Носова. — А я бы не взяла. Авантюристка. Трудовая вся исписана. Спрашиваю: «К кому сюда приехали?», отвечает: «Ни к кому. Из-за курорта. Вода у вас хорошая. Дочке пойдёт на пользу». И мужа нет!

Носова сделала длинную, извивающуюся змеёй паузу. Директор продолжал блаженно улыбаться.

— Пожалеете ещё! — предсказала Носова.

— А? — шевельнулся директор.

— Я пошла картошку копать. И завтра меня не будет. Мне надеяться не на кого, — объявила завуч.

У Нины Николаевны Носовой тоже не было мужа, и записей в трудовой стояло не меньше, но себя она авантюристкой не считала. Она была несчастная. У неё так сложилась жизнь. И продолжала складываться так, а никак не иначе. Этим летом женился на разведёнке с ребёнком единственный сын. Невестка взяла себе моду пережить свекрови в большом и малом. А возражения Нины Николаевны пресекала одной фразой: «Ваши педагогические приёмы поберегите для пэтэушников». Сын, вместо того, чтобы цыкать на жену, смеялся. Нина Николаевна, походя, небрежной рукой сняла с куста сирени использованный презерватив, бросила в урну. Отметила: и хорошо, что материал попал именно в презерватив и в урну, а не в стены этого училища через пятнадцать лет. Перед парадной дверью тёмно-зелёной пышной розой лежала коровья лепёха. Носова оглядела двор — вот и клумба повалена. Дядя Вася проворонил крупную рогатую скотину. Нина Николаевна с удовольствием ткнула бы сейчас Малькова в наглядное упущение, но его не было. Носовой стало стыдно за лепёшку перед новенькой учительницей. Дома у Нины Николаевны ярился телефон.

— Это как это понимать?! — набросилась на завуча Мария Павловна, ещё два часа назад бывшая сорокалетней и незаменимым преподавателем русского языка.

— Козлы мужики, — отделалась Нина Николаевна расхожей фразой и отвела трубку, чтобы визг не поцарапал ей лицо.

Вечером Носова поехала на окраину к бабе Вере. Баба Вера наводила порчу, присуху и остуду. Нина Николаевна решила использовать все три средства: испортить невестку, присушить её, испорченную, к бывшему мужу, а сына основательно остудить. В училище Нина Николаевна преподавала физику.

Дядя Вася сам поутру уткнулся в лепёшку, взвалил её на лопату и тут задумался: на кого бы он

эту лепёшку обрушил, представься ему такой (безусловно, анонимный!) случай. Дяди Васина рука онемела, пока он подбирал достойную кандидатуру. «Директор Фёдор Михайлович!» — решил, наконец, дядя Вася и в этот момент услышал «доброе утро!». Сбоку стояла женщина, при виде которой дядя Вася мысленно вывалил лепёшку на себя. И тут же заулыбался, понимая, что даже такому дяде Васе эта женщина была бы рада, как рада ему сейчас. Если бы он был щенком, то немедленно бы упал перед ней на спину, выпятив толстенный розовый животик с мокрой кисточкой.

— Рената Сергеевна. Новая учительница. Окна хочу в классе помыть, — сказала женщина.

В училище Ренату Сергеевну охарактеризовали шизанутой, внешность её оценили, как «ничего особенного», а имя признали извращением. Тем не менее Нина Николаевна поделилась с новой учительницей содержанием своей жизненной трагедии, а также результатами похода к бабе Вере. Дремучая старуха всё перепутала: остудила невестку ко всему живому, а бывшего её мужа присушила к сыну, который от этого совсем испортился. Встречается теперь с бывшим мужем, пьют и катают девок из училища. Следом за Носовой Ренате Сергеевне исповедались остальные дамы. Нежно полюбила Ренату Сергеевну привередливая техничка Тамара. <...>

После первой зарплаты директор намекнул новенькой о поляне, которую надо бы накрыть коллективу за вступление в его ряды.

— Ознакомьте меня с вашими традициями, — немедленно откликнулась Рената.

— Ящик водки мужикам, пять бутылок вина для женщин. Закуску несут все, кто на что способен. Профсоюз добавляет, если пойдёт масть, — разъяснил старший мастер.

Масть пошла! Бегали в магазин аж два раза. Идиотик (математик Игорь Иванович, имевший обыкновение ругать деток мягко, необидно, чем и заработал себе прозвище) принёс гитару и пел, как никогда. И шмеля мохнатого, и любовь — волшебную страну. Подыграл Ренате, она исполнила программное произведение Тургенева «Утро туманное, утро седое». Все аплодировали. Мрачно сидел и квасился в тарелку с кислыми огурцами один лишь Демченко — ненавистный мастер электриков с прозвищем Демон, которым он втайне гордился. Демон происходил из военных. До сих пор в нём сохранилась деревянность поз и речи. Вместо глаз и рта у него были отверстия: ротовое и глазные. Больше всего Демченко боялся, что убьёт током какого-нибудь пэтэушника, и он, Демон, «за всякое г... сядет». Ученики его едва могли отличить фазу от нуля. В этом их превосходили даже не обученные вороны, садящиеся покемарить исключительно на ноль. Он был разведён, со взрослой дочерью не общался, не помогал ей за то, что она его в чём-то когда-то посмела упрекнуть. С ним пыталась завести отношения бухгалтерша Валентина, но после первой же ночи сбежала. Демон хрипел, отдавал противоречивые команды. На прикроватной тумбочке торчал в гранёной вазе букет тряпичных роз. «Как на могилке!» — плюнула Валентина в вазу.

И вот этот Демченко Павел Петрович через пару дней после шумной, весёлой поляны уселся в учительской возле Ренаты Сергеевны, заполнявшей журнал, и принялся нудно и детально рассказывать свою биографию. Много внимания уделил он своим взаимоотношениям с бывшим командиром роты Рукосуевым, который был «не на своём месте». Рената Сергеевна время от времени оборачивала к Демону прыщущее счастьем лицо, и он, как голодный паук, тянул нить своих путаных историй дальше.

Выходка Демона подстегнула Идиотика. И он пошел в Ренате Сергеевне. Убеждал её принять участие в смотре художественной самодеятельности соло и дуэтом с самим Игорем Ивановичем. Идиотик тоже был практически холост. Его алкоголичка-жена, как он выражался, «смылилась». Но она была жива, пару раз в году выпадала Идиотику на голову, как кратковременные осадки. В прошлом и она была педагогом, потому выражала мужу неудовольствие результатами воспитания их сына-отличника. С сыном Идиотик всё время рвался куда-нибудь выбраться: то на лыжах, то за грибами. Но лыжи у него откладывались до грибов, а грибы — до лыж. Училищные дамы Идиотиком брезговали. Игорь Иванович был неопрятен, что подчёркивала борода. По очертаниям пятен на его костюме можно было преподавать географию. Некогда вязаный жилет его сел до размеров бюстгалтера. Но Рената Сергеевна и Идиотика облучила сияющими взглядами, ненадолго оторванными от тетрадок.

Училище помолодело и оживилось — назревал сериал — хоть не ходи домой к телевизору. Половина коллектива ставила на Идиотика, вторая — на Демона. Идиотиковы сторонники утверждали, что Игоря Ивановича надо только отмыть, постричь и постирать, и выйдет золото, в то время как Демона исправит могила. А Демоновы приспешники били рублём. Демон получал плюсом к зарплате военную пенсию и дом имел в двух уровнях. У него даже гладиолусы росли, а у Игоря Ивановича и картошка не водилась. Обе стороны заинтересовались и самой Ренатой Сергеевной: откуда, чья, где муж, почему разошлись? Зная Ренатины вкусы, можно было точнее спрогнозировать события и даже повернуть их в нужную сторону. Носова влезла разнуюхаться. Пришла, села и через пять минут, пригравшись от Ренатиного лица, рассказывала уже о новых злодеяниях невестки, которая, остыв к сыну, даже и варить ему перестала. А сын, испортившись с бывшим мужем, и ночевать уже не приходит. Оно бы и хорошо, но будет новый ребёнок. Невестка орёт, что отдаст его в детдом, а лучше сразу в ПТУ.

— Что?! — набросились на Нину Николаевну коллеги, — кто она такая?!

Нина Николаевна оглядела коллектив и, саму себя огорошив, выдала:

— Она — Калямкина внучка!

Ничего не подозревая о только что сделанном завучем открытии, Рената Сергеевна подалась домой. Во дворе её встретил дядя Вася.

— Хочу спросить как у грамотного человека, — приступил он, — привидения есть?

— Думаю, да! — заулыбалась Рената.

— Тогда прошу пожаловать ко мне в кочегарку в двенадцать часов ночи, — повёл рукой на железные двери дядя Вася, — если, конечно, не боитесь.

— Кого? Привидений? — уточнила учительница.

— Их, да. Ну и...мужчина я холостой, — признался кочегар.

Нина Николаевна с ужасом думала, как всё сошлось! Сначала эти американцы, а потом Рената. «Ни к кому!» — сказала она. Конечно, она внучка. Пусть и незаконная, но экспертизы сейчас очень дотошные, докажут хоть до седьмого колена. И тогда всё училище ей — два этажа, мастерские, столовая! Или компенсация. Неудивительно, что она так улыбается. Любой бы на её месте заулыбался на такой кусочек. Нина Николаевна бросилась домой, чтоб оттуда, из укрытия, позвонить директору. Носова была поражена своей догадкой и рвалась разить ею прочих. На облетевшем кусту висели трусики-узdeckи. Нина Николаевна машинально сунула их в карман.

— Калямкина?! — ахнул директор.

— А кто же ещё?! Всё сходится. Сначала американцы, потом она. Имя ненормальное, сама, сами знаете, прибабахнутая. Жить ей негде. А тут — площади. Живи — не хочу. Или компенсацию потребует. На такие миллионы в Москве можно квартиру купить. Да хоть в Нью-Йорке!

— Нет-нет, — бормотал директор, — она не такая. Я разбираюсь в людях. Она не из тех. Учебный год надо довести до конца, это все должны понимать. Я буду консультироваться.

Всполошив, вспушив директора, сама Носова успокоилась. Села в кресло, утёрла платком умный лоб женщины, преподающей сложную дисциплину. Это был не платок, а те самые трусы, снятые с куста. Нина Николаевна растопырила их на пальцах, силась по размеру узнать бесстыжую обладательницу. Обычно она не ошибалась.

«Калямкина — не Калямкина» калякали в коллективе. Рената Сергеевна не вникала. Как всегда сидела она, улыбаясь над тетрадками, будто видела в них что-то радостное, а не по сорок-шестьдесят ошибок на один лист среднестатистического сочинения. Волосы гладко убраны, оттопыренные уши горят чисто-алым светом. Рядом или Демон с биографией, или Идиотик со словами недавно обнаруженных романсов. Вот и дяде Васе басистый голос купца Агалакова (Мальков этот голос определил в купцы) посоветовал: ба-бу... ба-бу... ба-бу.

Перед новым годом в училище пришла мамаша учащейся Трохиной. Пышущая холодом одежд и жаром гнева, она проследовала прямо к директору. Мамаша жаловалась на учительницу Ренату Сергеевну за оскорбление семьи Трохиных, главным образом, сестры Трохиной, хоть она уже и не Трохина, а Пузырёва. Фёдор Михайлович вызвал Ренату. Трохина и ей объявила, что она всем покажет и всех привлечёт. Потребовала извинений себе и сестре — Рената легко дала, по обыкновению лучисто улыбаясь. После чего Трохина, напоследок всех покрыв и перекрыв, посоветовав директору «уволить эту долбанутую», захлопала дверьми в обратном порядке: директорский кабинет, приёмная, вестибюль, входная — самая тяжёлая. Дочка Трохиной Ира едва училась на техника-осеменятора. Рената Сергеевна протянула

Фёдору Михайловичу её скромное сочинение, которым только что размахивала Трохина-мать. Фёдор Михайлович прочёл:

— Сачиненее. «Естьли дабро?». Я считаю дабра нет. Мая мама гаварит дабро есть. Тётя Лена мамина систра делает нам дабро. Она атдаёт мне сваи вещи. Тётя Лена багатая. Они живут в горади. Уних есть склад на бази. Прадукты. Тётя Лена превозит нам на машине у дяди Лешы машина форт сваи вещи. Каторые ана ужэ ниносит. Они ей надаели. Брюки юпки легисы джынсы курки ковты. Тётя Лена малинькая. И нага у ние малинькая трицать шыстова размера. Я сначала была тожэ малинькая апатом выросла метрсемидесят пять. Типерь мне ничиво ниналазиит. Дажы ни застегиваица и кароткае. А тётя Лена фсе равно атдаёт мне сваи вещи. А мама гаварит чтоп я ей гаварила спасибо за дабро. А я ей гаварю луче дайти денёк я сама сибе на рынки куллоу па размеру я видила там такие брюки снизкай талией...

— Ужас, какая безграмотность! — вздохнул директор, — позанимайтесь с ней дополнительно. Прошу вас. И займитесь, наконец, стенгазетой.

Рената обещала. И с Ирой Трохиной позанималась, и стенгазету выпустила. Иногда к ней в училище приходила её собственная дочь Анфиска. Те же уши, носик и лягушачий рот, та же во весь лягушачий рот улыбка. Она была младше Идиотикова сына на два года — тот учился в десятом. Игорю Ивановичу намекали, дескать, пора бы и о сестрёнке для сына подумать. Идиотик думал — они с Ренатой разучивали «Под музыку Вивальди». «Об э-э-том и о то-о-ом» распевали в полутёмной рекреации после занятий. Демон стоял внизу под лестницей, догрызая от злости собственные зубы. Каждая спускавшаяся с лестницы коллега интересовалась, отчего Павел Петрович не идёт домой. Даже немка Эльза Генриховна прошипела: «Шнель-шнель, швайн». Через жёлтый луч дворового фонаря шёл снег: неторопливый, тучный — откормленный на небесных пастбищах. Голоса в дяди Васиной печке по-волчьих развывались на непогоду. Не дожидаясь новогоднего вечера с исполнением Вивальди, Демон ушёл в запой. Оттуда он позвонил Ренате и обозвал её б...ью. Тем же словом приветствовала Ренату и Идиотикова жена, явившаяся в училище прямо на новогоднюю ёлку, точно вредоносная Баба Яга. Жена была пьяна и безудержна. После Ренаты обрушилась на мужа, а у учащегося-механизатора Белогова потребовала дневник с четвертными оценками, приняв его за сына. Идиотику пришлось срочно вернуться к супружеским обязанностям: унимать и выволакивать растопырившую руки и ноги жену. Помогал ему старший мастер. В двери жену пронесли ребром, как морскую звезду. «Об этом и о том» не спелось.

Рената хотела уйти пораньше, но во дворе её остановил дядя Вася. Пора была, наконец, познаться с его приведениями.

— И-и-и-и-и-и!!! — тянуло в печке.

— Это девчонка, — пояснял дядя Вася, оглаживая в воздухе корявыми лапами как бы маленький черепок.

— Е-е-е-е-е-ей, е-е-е-е-е-ей, — подпевало девчонке.

— Тётка какая-то заполошная, — отмахнулся дядя Вася, — попадья, наверно.

— Ба-бу, ба-бу, ба-бу! — вступил солидный Агалаков.

— Купец Агалаков, — уважительно понизил голос кочегар Мальков, — будущее предсказывает.

Нина Николаевна замыкала училище после новогоднего вечера. Ей показалось, что в кочегарке у Малькова залиvisto хохочет молодая женщина. «Может, и правда у него там привидения? — задумалась Носова, — не всё ж на белую горячку сваливать».

И после нового года мастер электриков Демченко на работу не вышел. Директор сообщил — уехал на обследование в областной центр. Вскоре училище тихо закаркало: рак, рак, рак.

— Учебный год надо довести до конца, — заволновался Фёдор Михайлович, — электриков так не бросишь.

Демона мысленно и не без удовольствия похоронили. Странники партии Демона посетовали на Ренатину медлительность. Не щёлкай она клювом, говорили, получила бы домишко и ещё кое-что. Зато колесом колесилась Идиотикова грудь. На груди, к слову, было новое пятно — жена разбила Игорю Ивановичу нос, а он поздно и плохо застирал. Игорь Иванович объявил, что с женой он разводится. Все посмотрели на Ренату, а она — на всех. Как обычно посмотрела — пощекотала тёплыми лучиками и снова — в книжку. В пятницу она попросила Нину Николаевну присмотреть за Анфиской, а сама уехала на все выходные. Через неделю снова уехала. И тогда уже всё открылось — ездит чокнутая Рената к Демону в онкологию. Возит ему передачи и подтирает распущенные сопли. И есть от чего распустить — Демона в онкологии кастрировали! Как сказал по секрету Фёдор Михайлович завучу Носовой, подчистую. «Вот если бы он чаще употреблял помидоры, мы бы не искали сейчас нового мастера», — посетовал опечаленный директор. Нина Николаевна решила откровенно поговорить с Ренатой.

— Скажи-ка мне, Рената Сергеевна, как женщина женщине: зачем тебе нужен кастрированный мужик? — так начала она задушевный разговор.

Но задуманного разговора не получилось. Рената пожалала плечиками и по обыкновению блаженно заулыбалась.

— Через месяц внук родится, а семьи нет! — вздохнула Носова и выбросила в окно заслезившийся взгляд.

Тяжёлый, мокрый взгляд упал на двух пэтэушниц, куривших у остановки. «Голоухие, ляжки в одних колготках, юбки еле трусы прикрывают. Вот почему у нас такая низкая посещаемость в зимние месяцы», — вздохнула завуч.

Идиотик больше не сидел возле Ренаты с романсами. И вообще исключил Ренату из поля зрения. Взгляд его соскальзывал с Ренатиной гладкой головы, шарил по углам, норовя там забиться. Странники Демона приободрились: не щёлкает Рената клювом, овладевает, как положено, имуществом. Сам Демон вернулся в середине марта. Явился с первой раскисшей оттепелью.

Он, конечно, похудел и полимонел, но держался всё с той же деревянной прямизной.

— Демон как Демон — мужик как мужик, — определил старший мастер.

— А кого ты хотел увидеть? Бабу? — поинтересовалась Носова.

Все ждали дальнейшего развития отношений между Ренатой и Демоном, но никакого развития не было: жить к Демону Рената не перешла, о чём-то своём они никогда не разговаривали, даже сидел Демон возле Ренаты реже — видно, всю биографию уже рассказал. Умирать, судя по всему, он не собирался.

В апреле у Нины Николаевны родился внук. В соответствии с традициями Носова поставила коллективу ящик водки и пять бутылок вина. Идиотик и Рената, наконец, запели «Об этом и о том». На слова «заплакали сеньоры, их жёны и служанки, собаки на лежанках...» зарыдал до сих пор бывший вполне деревянным Демон и, грохоча ногами, бросился вниз по лестнице. Оборвав тонкий голос, беззвучно, как душа, полетела за ним Рената. Идиотик потянул песню один, но тоже бросил, скомкал. Нина Николаевна тихо хныкала.

— Я во всё виновата, — призналась она, — это я всё натворила. Сирота родился. И-и-и-и, — заныла Носова, как девчонка в печи.

Профсоюз в этот раз сэкономил — пьянка не удалась. На другой день Рената явилась с густо замазанной ссадиной на скуле. Но улыбалась. Демон опять одеревенел. «Хорошие люди умирают, а всякое дерьмо живёт», — отчётливо произнесла, как на машинке отстучала, Носова. Всем было тяжело. Будто закопали ненавистного покойника, а он самовольно откопался, ходит теперь бесформенный, гниющий, и неизвестно, что у него на неживом-немертвом уме.

— Хорошие новости! — вскоре объявил Идиотик — ненормально радостный, — сосед моего брата, оказывается, хирург в онкологии. Вот так люди в городе живут рядом годами, а потом вдруг знакомятся возле мусорного бака, как бомжи. Так вот этот хирург, Семён Игнатьевич, уверяет, что смерть нашему Павлу Петровичу не грозит. Опухоль его была капсулированная, выжгли её дотла облучением, всё, что надо отрезали. Анализы отличные. Кровь, моча — в норме! Сто лет проживёт. А мы боялись! А мы волновались! Мы просто места себе не находили!

Демона, чтоб порадоваться, не было. Учительская тягостно вздохнула. Одна лишь Рената присияла.

— Нас переживёт! — выкрикнул Идиотик, — и вас, Рената Сергеевна!

Рената Сергеевна покивала в полном на то согласии. Идиотик всплеснул руками и выскочил вон. Он влетел в свой класс, сообщил бухгалтершам, что математики не будет никогда. Не надевая куртки, вырвался на улицу, зашагал прямо по лужам, так что брызги запрыгали, соревнуясь, какая клякса сядет на брюки выше. Фёдор Михайлович видел из окна этот сумасшедший исход, но почему-то не остановил. О чём ему позже пришлось пожалеть. Придя домой, Игорь Иванович повесился. Сгоряча, второпях, на скорую руку, не оставив положенного в таких случаях

письма. Несколько минутами позже вернулся из школы Идиотиков сын и ни капли не растерялся — папу вытащил, скорую вызвал. Игоря Ивановича повезли в больницу. Скорая надолго застряла на непроезжей улице. Дёргалась, буксуя, беспомощно рычала — мёртвый очнётся, очнулся и Игорь Иванович.

Первой к нему попала Рената Сергеевна. Идиотик лежал укрытый простынёй до подбородка. На лице его было гордое удовлетворение. Как если бы трус-человек на спор пообещал, что прыгнет с парашютом, и прыгнул. Говорить он не мог или не хотел. Рената гладила его по голове, низко светя своими бессмысленно счастливыми глазами. Тогда он вытащил из-под простыни руки и прижал Ренату к себе. Слишком уж било из её глаз — до рези его собственных слёз.

— Учебный год надо довести до конца! — напала Фёдор Михайлович на Носову, будто это она устроила сначала рак Демону, а потом Идиотиково покушение на самоубийство. Директор ещё не знал, какой сюрприз ждёт его впереди.

Идиотик вернулся накануне Пасхи. Был он в чистом костюме, в новой рубашке и без бороды. Побритого места Игорь Иванович стыдился, как неприличного, — прикрывал его ладошкой. Правду говорили его приверженцы: отмой, отстирай, и будет золото. Идиотик без пятен сиял. Солнце тоже сияло, хоть и с пятнами. В прошлом году Фёдор Михайлович велел обкорнать тополя, чтоб не застали. Теперь тополя выглядели, как люди, у которых отрезали руки, а пальцам дали расти прямо из туловищ. Зато в учительской на всех трёх подоконниках процветала рассада — учителя использовали солнечное место в личных целях. Ренате тоже предлагали братские тридцать сантиметров под помидоры-перцы (относительно сортов помидоров всех консультировал Фёдор Михайлович: «Алёнка! Бонжур!»), но она отказалась. После Пасхи Рената в училище не появилась. Техничка Тамара принесла от Ренаты письмо для Фёдора Михайловича. В записке Рената просила прощения за своё вынужденное бегство, трудовую книжку обещала забрать позже, как только определится с дальнейшей судьбой. За что-то непонятное благодарила, перевозносила Верею, как «тихое, чудесное место», а коллег — «как замечательных, добрых людей».

— Учебный год! — ахнул директор.

— Точно Калямкина! — подытожила Носова, — всё пронюхала и смылась. Ждите теперь официального сообщения.

Учебный год закончился без Ренаты. И без Ренаты же начался новый. Марь Палну снова убедили в её незаменимости и сорокалетию. Кастрированный Демон и Идиотик, лишённый бороды, остались на своих прежних местах, об увольнении заявил лишь дядя Вася. Но дяди Васин уход уж точно не мог повлиять на образовательный процесс, поэтому Фёдор Михайлович легко согласился расстаться с простым кочегаром. Всё лето Фёдор Михайлович ждал начала строительства училища, ходил к мэру, тот обещал, но как-то резиново, с оттяжкой. И помидоры в этом году не уродились. Напала какая-то болезнь. Хоть плачь. Всего восемнадцать банок. Нина Николаевна

нянчила внука. У внука была грыжа и испуг — его возили лечить к бабе Вере. О Ренате Сергеевне Носова ничего не знала. Никто не знал. Ни одному из добрых замечательных людей Рената знака не подала. Трудовая книжка её лежала в училище. Фонд Калямкина в Америке помалкивал: ничего не предлагал, ничего не забирал — никаких сообщений. В конце сентября к директору в кабинет прошёл неместный немолодой человек. Он был, скорее, бритым, чем стриженным, желтоватым и подсохшим, как сухофрукт. Рубашка на нём морщилась новая — рукава с залежалыми складками. Носова сунулась следом. Человек искал Ренату, и чуть ни до слёз опечалился, когда узнал, что здесь её нет.

— А вы ей кто? — не утерпела Нина Николаевна.

— Да никто, — замылся человек, — а так-то я Николай. Я объявление писал в газету, хотел с женщиной познакомиться. Она мне ответила. И целый год потом писала. Даже со стихами было. Две посылки отправила. Всё, что я просил. Я так надеялся. Думал, откинусь, есть, к кому пойти. Я по письмам видел, что она хорошая женщина.

Директор и завуч в этом месте дружно кивнули.

— Вот я откинулся, — продолжал Николай, — а её нет. И писем не было три месяца. Вы не знаете, куда она переехала?

Директор и завуч синхронно-отрицательно повертели головами. Николай извинился и подался прочь. Во дворе он подошёл к дядя Васе, попросил прикурить. Сел на корточки, показав в оттопыренном вороте рубахи серую незагорелую спину. Рядом с ним осторожно опустился, нашарив сухое место, жидкий берёзовый лист. Тополя пахли горьким микстурным запахом, как в аптеке.

— Ты коچهгаром пришёл устраиваться? — узнал дядя Вася птицу похожего с ним полёта, — тут привидения, учти. Я должен предупредить.

Николай секунду подумал, но от места отказался.

— А чего? — пристал дядя Вася, присаживаясь рядом, — тебе ли выбирать? Вышел же только — я вижу. Ты их не бойся, они плохого не сделают. Повеют-повеют и всё. Среди них даже понимающие есть. Купец, например. Всё, что ни скажет, сбывается. К нему прислушивайся. Зарплата хорошая. Две ставки. Сторожем ещё. Соглашайся. Мне срочно ехать надо. Баба у меня сбежала.

— У меня тоже, — плюнул Николай.

— Давай по очереди, — предложил дядя Вася, — сначала я найду свою, потом ты. Ну никто в эту коچهгарку не идёт! Хоть убей их!

Сын Игоря Ивановича нашёл в своём рюкзаке ту самую папину записку, перечитал и сжёг, запалив от сигареты. Текст он запомнил. Он был мальчик-отличник.

— Рената! Хотел отрубить себе левую руку — тогда б ты меня, калеку, точно полюбила, но не смог. Это технически трудно. Чёрт с тобой, бессмысленная женщина! Няньчись с кем хочешь. Найди себе больного *спидом!!!* И целуйся с ним взапрос!!! Я пошёл, репетиций не будет. Улыбайся, Рената! Улыбайся на моих поминках! Тебе это очень идёт!!!

Сын усмехнулся: такая белиберда спасла папину жизнь. Из-за неё меньше провисел. Везучий папа, но такой дурак.

Фирмачи

...Фотоаппарат сам выскочил из рук (да это точно было самоубийство! — я свидетель) и сам себя расчленил на мраморном полу. Я бы его собрал, но тут выскочил Шука — старший продавец. Разошелся он по этому Кодаку как по родному зверски убиенному отцу. «Ах, профессиональный, ах, сколько пикселей, ах какой зум!» Шука себя считает фотографом — снимает на крыше, на свалках, на стройках голых баб. А я до сих пор не знаю, куда в фотоаппарат память всовывать, а куда — батарейку. Меня не этому пять лет учили... да какая разница, чему меня учили?! Я — безопра: без опыта работы. И должен был радоваться, что попал в этот салон. Я и радовался. Честно. Но фотоаппарат сам упал. Надоело ему в витрине мшеть за двадцать пять штук. Вон как Шукин стонет. Выгонят... Да мне всё равно. Задолбал этот Шука своими пикселями. Ну, поплачь ещё, поплачь...

Дениса Лепёхина, по-дружески Лепёху, точно выгнали из салона. После всех расчётов, он остался должен ровно восемнадцать тысяч. Лепёха сильно не расстроился, что выгнали. В таком возрасте от потери работы не плачут. Лепёха разослал знакомым смс-ку: «грохнул фотик за 25, выгнали, должен 18», и ждал, кто что ответит. Ответил один Сёма — троюродный брат Андрей Семёнов, остальные, видно, подумали, что Лепёха денег просит. А Сёма обрадовался — ему продавец на кур был нужен, сам он уже устал стоять, да и статус не тот. Сёма продавал кур на рынке. Брал на фабрике по шестьдесят, продавал по сто. «Куры, куры! Полезные отечественные куры! Свежие куры!» Куры шли хорошо. Сёма машину купил и сразу как-то устал. Надоело ему на рынке орать. Он позвал Лепёху. В первый же день Лепёха осознал, насколько приятнее продавать фотоаппараты: в тепле, руки чистые, публика приличная, интеллигентная, можно сказать. На рынке ж было холодно, куры топырились голые, мёрзлые. Что-то в них было гинекологическое. Тётки тыкали в них такими же, как куры, окоченевшими пальцами. Бабка в жёлтом берете углядела пеньки от перьев на голом треугольном основании куриного хвоста, потребовала, чтоб Лепёха устранил дефект. Лепёха не знал, как вытащить пеньки из мёрзлой куриной задницы. Даже зубами зря подёргал. Бабка раскричалась, разопилась — сладострастно, как павлин.

Сёма рассчитался в конце трудового дня, сумма почти примирила Лепёху с курицами. «Всё равно это временно», — решил он. Спросил у Сёмы, как перья из хвостов удалять. «Да ты сразу всем курам выдерни плоскогубцами или ножницами сосриги. Я об этом не парился. Одна не купит — другая возьмёт», — поделился опытом Сёма — куры же нарасхват. Это тебе не фотоаппараты».

Лепёха взял у матери зингеровские маникюрные ножницы, подравнял, у кого торчало. Второй день на рынке оказался теплее, снег потихоньку парашютировал, рядом китаянка лыбилась, стругала морковку на корейский салат (тут же и тёрки продавала). Куры опять хорошо пошли. Место у Сёмы уже прикормленное: валит народ за курами, не глядя. Да и Лепёха освоился, приговаривает: «А вот кому надо — курочка ряба!

Русские куры для красивой фигуры». Ну, и прочее. Лепёха как мух снег от кур отгоняет, по сторонам успеваешь мониторинг делать. Девки подходят, заметил. Одна подлиннее, другая — потолще.

— Недавно стоишь? — спросила длинная. — На Сёму работаешь? А мы с вещевого. Я с колготок.

— А я — с трусов, — пискнула полненькая.

— Дай курицу в долг, — взялась за тушку длинная, — нас тут все знают, мы отдадим. Я — Вера с колготок. А она — Надя, с трусов.

У Веры с колготок была бородавка возле расклёшенного носа, а у Нади с трусов не было одного зуба сбоку. Лепёха дал им курицу.

Вечером Лепёха вручил Сёме выручку, предупредил, что одна туша в долгах. Сёме это очень не понравилось. Сёма показал на лице свой статус и высчитал с Лепёхиной доли за растраченную курицу. «Отдадут твои колготки, восполнишь», — буркнул он. К расстроеному Лепёхе подошла улыбчивая китайка и протянула пакетик мёрзлой, струганной в опилки морковки: «Салата делай! Вкусна!».

Так Лепёха отстоял ещё два дня. На третий явилась Вера с колготок, отдала за курицу сотню.

— Чего к нам не заходишь? — спросила недовольно.

— А мне к вам зачем? — удивился Лепёха, — мне колготок с трусами не надо.

— Девушке своей подаришь. Скоро новый год, — напомнила Вера, — девушка-то у тебя есть?

Лепёха оглядел накрашенную, как индеец, Веру, соврал, не моргнув:

— Есть.

— Ты нам с Надькой на новый год пожирнее курицу отложи. Побольше, — потрясла Вера руками у груди, — понимаешь? А девушка твоя какие модельки любит? С открытой попой или закрытой?

— С открытой, — решил Лепёха.

— Я тоже с открытой люблю! — обрадовалась Вера, — только, говорят, от них геморрой. Не знаю, носить уметь надо. Ты заходи — у Надьки классные модельки есть. С губками. Ночью светятся. Сорок рублей всего по оптовке.

Лепёха обещал зайти. Через прилавок мужик в камуфляже продавал картошку. Каждая картошина у него была вымыта и одета в белую сетчатую упаковку от яблок. У таджиков во «Фруктах», наверное, насобирал. Военный продавал картошку в белых мундирах поштучно, как киви. Пять рублей штука. Тётки ругались, что дорого. Мужик в ответ советовал выращивать картошку самостоятельно. На подоконниках. Там же и навоз разбрасывать. За мужиком продавали свежемороженую рыбу: серо-белые вонючие тушки. Первой разбирали самую дешёвую рыбу для кошек. «Кошкам нет! Кошкам нет!» — кричала тогда продавщица. Прямо как адрес в Интернете. Китайку — морковянку звали Света. Настоящее китайское имя она скрывала. Лепёха не мог понять, что Света главным образом продаёт: тёртую морковку или сами тёрки? Продавала она бессистемно и то, и другое. Примерно через каждые полтора часа стругания к Свете подходила молчаливая соплеменница и уносила непроданную расчленившую морковь в харчевню «Китайская кухня.

Хо-ро-шо». Света улыбалась Лепёхе во всю ширь не узкого китайского лица. И он ей улыбался как коллеге по работе.

Сёма предвкушал повышение спроса на кур перед новым годом, строил планы по открытию ещё одного куриного места на другом рынке — филиала. Лепёха прикидывал, что и фотоаппараты сейчас здорово пошли — берут на подарки. Но что ему теперь до фотоаппаратов! Там заправляет Щука, вихляясь вокруг клиентов, как рыба в воде. У Щуки, кроме фотографии, страсть к оригинальным галстукам. Лена из проявки-печати как-то сказала, что Щуке вовсе необязательно самому идти к психиатру, достаточно выслать по почте галстук, и диагноз получить тоже по почте. Можно даже по электронной.

На рынке галстуков никто не носит. В том числе и Сёма. А Лепёха и тётка с мороженой рыбы надевают белые длинные фартуки. Перед новым годом рынок завалили сувенирами наступающего зверя. Сёма жалел, что зверь в этот раз — не петух, была бы лишняя реклама и спрос. Со всех сторон торчали радостные мышинные зубы, крысиные хвосты свисали из игрушечных лавчонок. Мыши пищали исковерканными голосами «Неуклюжи по лужам». По всему рынку натянули разноцветных шмыгающих огоньков, мишуры в руку толщиной. Тётя Галя-чебуречница нацепила красный колпак (нос у неё всегда был красный). И даже Сёма поставил возле кур маленькую ёлочку, моргающую от двух батареек. От синих и зелёных всполохов на гладкие ляжки кур падали трупные пятна. Заходили Вера с Надей. Надя ловко растянула на пальцах трусы-узечки с губками, придал им объём девушки. Лепёха отказался. Девчонки сказали, что он — дурак, что себе они уже такие купили, и что тридцатого в китайской харчевне соберутся «свои» с рынка на корпоративчик. Лепёха тоже свой и может приходиться. Но, понятно, без девушки. Света, пока девки растягивали трусы, покрошила вместе с морковкой палец. Лепёха оторвал от фартука полоску, стал перевязывать раненую, истекающую кровью китайянку. Вера с Надей и трусами удалилась, напомнив в Лепёхину спину: «Тридцатого! В семь!».

— Молодой человек! — позвал Лепёху принципиальный голос, привыкший к послушанию.

Перед курами стояла дама в шубе, поджав ручки в тонких перчатках и губки в розовой помаде.

— Денис! — поразились дама, — ты что здесь делаешь?!

— Здравствуйте, Лариса Аркадьевна! — Лепёха без всякого удовольствия узнал маму одноклассника Шурика Климина и свою учительницу английского плюс классное руководство в одном очкастом лице.

— Ты же учился! — напомнила Лариса Аркадьевна. — Учился! — повторила она заклятые, изгнанные необразованных бесов.

— Да всё нормально, — поспешил утешить её Лепёха, — учился, отучился. На работу никуда не берут. Безопра.

— Кто?! — ужаснулась англичанка.

— Без опыта работы. А жить-то надо. Маме помогать, — соврал Лепёха. — Как Шурик?

Тут Лариса Аркадьевна набрала воздуха, сколько влезло в её нулевую грудь, и зашла в экстазе: Шурик... Европа... Шурик... программист... Вена... Шурик... Париж... снова Шурик... Прага... опять Шурик... Шурик везде... приезжает на новый год. Таким образом, для встречи великолепного Шурика Ларисе Аркадьевне требуется нежиренькая, но сытная, не очень большая, но удобная курочка.

Лариса Аркадьевна продолжала кудахтать, пока Лепёха выбирал ей курицу с заданными параметрами. Лепёха вытащил тушку с игриво скрещёнными льяжками, остриг волосинку с левого крыла, уложил курицу в пакет с портретом крысы, поздравил покупательницу с наступающим новым годом. Лариса Аркадьевна потребовала номер Лепёхиного телефона. «Чтоб Шурик немедленно позвонил, как только прилетит. Вы же старые друзья, Денис. Встретитесь. Будет, о чём поговорить».

Лепёхиным другом Шурик не был. Сын классного руководителя другом не мог быть вообще никому. Тем более Шурик учил английский в тиши трёхкомнатной квартиры, а Лепёха тяготел к родному языку, особенно к его ненормативной части, во дворе у гаражей. Понятно: Лариса Аркадьевна собирает массовку для спектакля «Сын из Европы — неудачники из ж...пы». И Лепёха, само собой, не пойдёт. Лариса Аркадьевна помахала ручкой в тесной перчатке и устремила вон, не давая полам ухоженной шубы соприкоснуться с текущими рядовыми прохожими.

— Дэнис! Спасибо! — помахала перевязанным пальцем Света. Она уходила.

Дальнейшая её работа была бы уже антирекламой тёркам и морковкам.

Лепёха проснулся утром тридцать первого декабря. Утро для него наступило ровно в четырнадцать часов двадцать минут. Лепёха внимательно осмотрел лицо. Заметных разрушений на нём не было. Так, общая примятость. Кажется, вчера его и не били. Только собирались. Из китайской кухни его вывез Сёма. Сёма ли? Перед глазами с укором встал какой-то грустный китаец. Света? Нет, Света девушка. Со Светой он танцевал. А Вера показывала стриптиз до тех самых уздечек. По сорок рублей. Еда там была ужасно китайская. И Света кормила его корейской морковкой. Там было очень много Свет. Кто же привёз его домой? Что за ад в желудке! — жарят, пекут в нём, вертят на вертеле...

Мякнул телефон, из которого раздался радостный незнакомый голос: «Денис? Это Шурик Климин. Я прилетел! Собираемся у меня в девять. Наши будут. Адрес помнишь?» «Да», — ответил Лепёха на вопрос об адресе. «Ждём», — отрубился Шурик Климин. «Мы сегодня до вечера работаем, — Шука как в очереди стоял, — деньги завези. Те, что за фотоаппарат должен. Ты же не хочешь новый год с долгами начинать? Плохая примета. Только скорее давай, у нас в семь корпоративчик».

Лепёха проверил карманы. У него было шесть тысяч с копейками. В салоне с него в тот раз вычли семь. Неужели не хватило на ремонт? Лепёха поехал в салон. Начинать год с долгами ему почему-то не хотелось. И деньги за фотоаппарат отдавать почему-то тоже. Троллейбус хорошо расстря

Лепёхину голову, из которой, как чёртики из табакерки, начали выскакивать уже связанные и отчётливые воспоминания. В китайскую кухню набились с вещевого и пищевого рынков. Сёма был с девушкой в съехавших с попы джинсах. Труссы на девушке, как потом определила Надя, были не с рынка — «точно не наша моделька». Всех окружающих Сёма представлял девушке как продавцов. Выходило, что всё это Сёмины продавцы. Девушка сразу стала смотреть свысока. На Лепёхин привет не ответила. За Верой и Надей ухаживал Рустам — мужская обувь «больших, «э, смотри», размеров». Он их шумно ревновал и не разрешал эмиграцию за другие столы. Свету китайцы не пускали к Лепёхе. Но она как-то пробилась. И когда подошла Вера, Света уже кормила Лепёху морковкой собственного изготовления. Плясали под восточную музыку. Вера устроила тот самый стриптиз, а Надя — танец живота. Живот, набитый китайской едой, дрожал, как отечественный студень. От китаянки Светы пахло иначе, чем от русских девушек. Денис вспомнил: таким запахом несёт из павильона с языкастым драконом, где колосятся тоненькие камышинки курительных палочек. По неведомой Лепёхе причине два рынка начали драться. Завизжала Сёмина барышня. Тогда Света вывела Лепёху к синей «Мазде», и грустный китаец отвёз Лепёху домой за триста рублей. Китаец всю дорогу агукнул по-своему, наверное, матерился.

В салоне к Лепёхе хищно бросился Шука. На Шуке была малиновая — в цвет крысиного года, рубашка, которую душил зелёный галстук в яичных смятых желтках с белковыми кругами. За Шукиной спиной в витрине на прежнем месте лежал реанимированный самоубийца «Кодак», но уже за пятнадцать тысяч. Объектив фотоаппарата смотрел исподлобья: тоскливо и упрямо — «всё равно не удержите».

— Так вот же он! — показал Лепёха, — за что платить? Или вы погулять решили на мои деньги?

Лепёха повернулся и пошёл прочь, чуть не сбив с ног проявку-печатку Лену в красном первомайском платке.

— Ты, говорят, кур продаёшь?! — крикнул вслед Шука. — В суд на тебя подадим!

Часа два Лепёха слонялся по городу. Город редел на глазах. Надо было и Лепёхе куда-то определиться. «А, пойду и скажу им всё! Пусть не радуются», — разозлился Лепёха и пошёл к Климиним. Он решил рассказать Шурику о курах, как они, мёрзлые, норовят выскользнуть из очоленевших рук. Прямо как фотоаппараты за двадцать пять тысяч. Зато куры и судьба у него отечественные.

Шурик Климин сам ему открыл. Никаких парижских отпечатков на Шурике не было. Появилась ранняя лысина. Ещё, кажется, потолстели линзы в очках. Сам он так и остался худым, навеки освобождённым от физкультуры. Никто больше к Климину не пришёл. Пришлось им есть Сёмину курицу троём: Шурику, Лепёхе и Ларисе Аркадьевне. Лариса Аркадьевна засыпала Шурика наводящими европейскими вопросами, Шурик отвечал неохотно. Да, живут люди, улицы чистые, в подъездах не мочатся, транспорт ходит, молодёжь раскованная. Шурик показал в ноутбуке фотографии с громоздкой архитектурой за спиной.

Столько кирпичей, собравшихся в одну массовку, Лепёха в жизни не видел. «Собор Святого Витта, — назвал один такой задник Шурик, — объективом не ухватишь. Только лёжа».

После полуночи и второй бутылки европейского бальзама Климин разговорился. А Лепёха заслушался. Шурик Климин заклинал Дениса Лепёхина бросить эту примитивную, однолесточную жизнь и ехать в Шенген. Шурик сам всё оформит, от Дениса нужны только доверенности на открытие фирмы. Фирма — самый верный путь, это называется бизнес-иммиграция. Капиталу надо всего ничего — 200 тысяч, по десять тысяч с носа. Итого с Лепёхи — найти двадцать учредителей. С каждого — десятка и плюс по десятке Климину за хлопоты и оформление. И всё! Европа!!! Во все стороны. Хочешь — в Париж, хочешь — в Лиссабон.

Утро первого января наступило для Лепёхи снова ровно в четырнадцать двадцать (биологические часы перешли на праздничное время). В голове в этот раз хорошо сохранились цифры: двадцать умножить на десять, плюс по десятке Климину. Двадцать тысяч на курах будут за полтора месяца. И что? Подробности бизнес-иммиграции заслонял неохватным каменным телом собор святого... Как его? — Вити?

— Деня, — тихо позвала мама в щель двери, — встань, поешь горячего. Вчера у нас Гришины были, тётя Валя тебе работу предлагает. Контролёром. Страшно на этом рынке. Сопьёшься...

— Меня Климин в Европу зовёт, — буркнул Лепёха, — Сашка Климин — классной нашей сын.

— В Европу?! — ахнула мама, — давай я тебе сюда поесть принесу. Горячего. А курочку будешь?

Сёма выгнал Лепёху на работу перед Рождеством.

— Это же куры, не гуси! — заспорил Лепёха.

— Высшая категория, — обиделся Сёма, — чем тебе не гусь? Для малообеспеченных слоёв населения. Я специально с запасом брал. С душком, заразы, попались, надо, пока праздники, расписать.

Сёма, закружившись в праздничной атмосфере, совсем забыл про запасных кур. И дома три дня не ночевал. Коробки остались стоять в прихожей. Куры предались, было, естественному разложению. И тут их снова заморозили и вытащили на рынок во главе с Лепёхой. Вещевой рынок вообще не работал, на пищевом стояли стойкий оловянный военный с картошкой, незнакомая бабуся с кислой даже на вид капустой в банках, редко хлопала дверями два-три фруктовых таджикских павильона. «Хо-ро-шо» была заперта. Покупатели появились только после обеда (и зачем было к десяти переться?!). У бабки разобрали всю капусту.

— Тухлые? — повела носом тётка над Лепёхиными курами, — совести нет!

— Куры свежие, отечественные, — вяло отрегировал Лепёха.

— А от самого перегаром несёт, — добавила тётка.

К четырём часам Лепёха сбыл лишь две тушки.

— Плохо, — обругал его Сёма, — с зарплаты вычту.

— Ищи другого продавца, — обиделся Лепёха, — я в Европу уезжаю. Бизнес-иммиграция.

И тут с Сёминога лица поползла вниз губа. Прямо как джинсы с попы его дорогой подруги.

Шурик Климин оставил подробный план действий по бизнес-иммиграции. И первым пунктом в этом плане стояло: набрать двадцать (зачёркнуто), девятнадцать лохов. Лепёха, помучив с неделю заискивающего Сёму, предложил брату-работодателю первому вступить в ряды учредителей. «И всего двадцатка?! — восхитился Сёма, — а Полину можно? За двоих плачу». Лепёха тогда позволил своей бывшей подруге Марине: «Хочешь в Европу?» Марина послала Лепёху в рифму. Что ж, он пошёл к Вере и Наде.

— На рынке будет торговать? — уточнила Вера. — Интересно, какие там размеры? Наверное, двойки одни, в крайнем случае, тройки.

— Я без Рустама не поеду, — заявила Надя. — У нас серьёзно.

Лепёха пометил себе пятерых лохов. Надо было ещё четырнадцать. Девки разнесли новость, как инфекцию — воздушно-капельным путём. Оба рынка: пищевой и вещевой истерзались, решая: ехать — не ехать? Вдруг все заговорили о курсе евро и принялись за этим курсом с подозрением следить. Куда он, зараза, клонит? Лепёха, забравшись с ногами на прилавок, как Ленин с броневика вещал: «Чистота, транспорт ходит, в подъездах не мочатся, пиво классное, дешёвое, архитектура в объектив не влазит!» Снизу на него, широко растопырив глаза, смотрела восхищённая Света.

— Паспорта! Деньга! — сунула она ему пакет, только он слез.

Света оказалась девятнадцатым, последним учредителем.

Вторым пунктом в Шуриковом плане значилось: «Собрать со всех учредителей доверенности по образцу». Первая группа учредителей проследовала к нотариусу. Уточнив, сколько ещё учредителей ожидается, нотариус Баранова вывесила на дверях объявление: «В марте месяце нотариус вести приём посетителей не будет. Работа с учредителями европейских фирм». Надя заявила, что ей теперь срочно надо вставить недостающий зуб, а Вера записалась на лазерное удаление бородавки. Сёмина Полина вытрясла с Сёмы деньги на отбеливание, наращивание, перманентный макияж и полную экипировку из бутика «Модерн». Рустам заказал переговоры с роднёй, это тоже были немалые затраты, судя по количеству родни с решающим и совещательным голосом. Миша — турецкая кожа — бросился сдавать павильон в аренду. Парикмахерша — Полинина подруга (разве могла такая девушка ехать без своего парикмахера?) — записалась на курсы «Креативная европейская стрижка».

— Это Шукин, — неразборчиво соединил телефон. Лепёха Шуку не узнал — Шукин голос дрожал, как заливной, — Денис, у тебя на фирме места не будет? Ты меня знаешь, я в своей области профессионал.

— Ты же хотел в суд на меня подать, — напомнил Лепёхин, — забыл, что ли?

— Я здесь ничего не решаю, — заскользил Шука, — как Эдуард скажет. Он с меня тоже

десятку снял. Прикинь, за тот же самый фотоаппарат. Закодированный какой-то...

— Молодец, — похвалил Лепёха настырный «Кодак», — ну, если кто-нибудь из наших откажется, сообщу.

У фирмачей, так их прозвали на обоих рынках, прошло собрание возле кур. Ведь третий пункт плана Шурика Климина гласил: «Выбери одного придурка руководителем фирмы. Желательно какого-нибудь чпшку. Чтоб врубался в коммерческий разговор. Возьми с него согласие по образцу». Лепёха был демократом, потому вынес вопрос о руководстве фирмы на собрание учредителей. Но сам предложил кандидатуру Андрея Валерьевича Семёнова.

— Сёму! Сёму! Сёму! — запрыгали лёгкие, поху-девшие на кремлёвской диете девчонки.

— Рустама!!! — завизжала Надя с трусов.

Пацаны тоже поддержали Сёму. И Сёма, зардевшийся, польщённый доверием, обещал учредителям, что всё будет тип-топ — Европа вздрогнет. Сёмин статус повышался на глазах. Все разошлись с большим уважением к избранному руководителю. Тут только Лепёха заметил, что Света плочет в оранжевые морковные лохмотья.

— Лэпоха нада, Лэпоха! — рыдала она. — Сиома дурак! Казиол!

Бумаги ушли высокоскоростной почтой, а деньги — международным банковским переводом. Шурик сообщил, что всё в порядке. Можно записываться в консульство на приём. Дальнейшую инструкцию и документы на зарегистрированную фирму Шурик обещал выслать через две недели. Фирмачи охнули — Европа горячо дохнула им в лицо. Это всё оказалось правдой! Лепёха положил перед собой список учредителей и через два дня сплоского нудного «занято», дозвонившись до консульства, читал:

— Семёнов Андрей Валерьевич, Лепёхин Денис Сергеевич... Глущенко Надежда Григорьевна... Маркгарян Рустам Суренович... диктую по слогам: Марк-га-рян... Шунь Туань... диктую по буквам...

Проводины фирмачей в консульство отмечали в китайской кухне «Хо-ро-шо». Сёма в качестве руководителя фирмы сказал речь:

— Мы уезжаем. У нас всё будет тип-топ. Давайте за это. Рустам, наливай девчонкам. Миха, Лепёха, что вы, как на похоронах?

Лепёха проснулся на следующий день утром и даже не посмотрел, во сколько утро в этот раз началось. Перед его опухшим взглядом висела полтора на три метра картина: Сёма обнимает китаянку Свету со словами: «Эх, берёза-берёза ты белая, я ж скачуга по тебе буду, понимаешь?» Лепёха сморгнул, картина поменялась. Теперь на Лепёху жалобно смотрел китаец — водитель синей «Мазды», он предлагал ехать домой. Быстро и бес-платно. Как всегда в поганую минуту душевной тревоги, заволзился телефон. Радостно забулькал Щукин голос:

— У вас вчера драка была — Рустама в милицию забрали. Можно на его место? Ты говорил, если освободится. Вы же завтра едете? Рустам твой точно не выйдет, а у меня всё готово.

Лепёха выключил телефон. Пошёл собирать сумку. В инструкции Шурика Климина было

написано: «Вы едете в консульство подавать документы на получение визы. С собой ничего, кроме денег и документов, не брать. Это ещё не совсем. Выучите название фирмы, юридический адрес и виды деятельности». Лепёха пролистал присланные Шуриком бумажки. Все они были на неизвестном Лепёхе языке — без малейшего намёка на тот английский, что преподавали Денису Лепёхину Шурикова мама и вуз. Где там было название фирмы, где адрес — непонятно. «В консульстве свой-то язык, наверно, поймут», — решил Лепёха.

Одиннадцатый вагон почти целиком был занят фирмачами с двух рынков. В их багаже стеклян-но дзынькало. Последними пришли Рустам и Надя. У Рустама под глазом сияла ярко-розовая выпуклость. У Нади из кармана торчал тональный крем.

— Хатели... — мрачно процедил Рустам, зале-зая в вагон.

Руководитель фирмы Сёма устроил пере-кличку. Все были на месте. Многие голоса зву-чали печально, со слезой. Лепёхе показалось: на перроне мелькнуло фиолетово-лимонное пятно на зеленоватой щучьей груди. Столики откинули, накрыли, налили. Поезд задвигал ходульными суставами и пошёл разболтанной походкой.

— Всем надо выучить название фирмы, адрес и что будем делать! — бросился по проходу Лепёха.

— Сядь, — велел ему Миша-турецкая кожа, — посмотри в окно. Это твоя родина. Запомни её. Ты её больше никогда не увидишь. Ты хоть пони-маешь это?!

Окно вагона печатало виды пригорода. Весна там как раз затеяла генеральную уборку: стояли лужи, валялся мусор.

— Почему не увижу? — не поверил Лепёха, — мы же только на визу подавать. Нам ещё ждать потом три месяца.

— Нить рвётся сейчас, — махнул — обрубил рукой Миша.

Света разносила по вагону оранжевые банки с салатом. Пожилая, заезженная проводница спро-сила: — И куда вы такой делегацией едете?

— Родину продавать, — пояснил Рустам, нали-вая и ей в гранёный стакан с подстаканником, железным, как сама железная дорога.

Консульство оказалось огромным, почти как тот собор на фотографии. Флаг на консульстве свесил крылья, и не было понятно, чьей же он страны. Ну да плохую страну разборчивый Кли-мин не подсунил бы. Запускать начали по двое, шмоная с пяток до макушки прибором. У дев-чонок забрали помаду. «Пластид, да?» — пошу-тил Рустам, на которого охранник тут же сделал стойку бровями. На собеседование вызвали Сёму. Перед тем Лепёха снова поупрашивал его вы-учить хотя бы название фирмы.

— Там же всё написано! — солидно показал Сёма на окошко, куда засосало их документы.

Сёмы долго не было, но вышел он довольный, с обычным статусом на лице. Больше никого не вызывали. Велели ожидать положенный срок.

— Свобода! — заорала на улице Вера, похоро-шевшая без бородавки.

— Здравствуй, Родина! — крикнул следом чей-то мужской учредительский голос.

— Ой, как дома хорошо, — запищала Надя, — да же, Рустамчик?

Все запрыгали, как дети, бросились обниматься, целовать друг другу родные лица. Русские, хохляцкие, армянские, китайские...

— А он меня спрашивает: «Чем вы будете заниматься?!» — разгорячился в гуще учредителей Сёма, — а я ему: «Курами! Берёшь на фабрике по шестьдесят, продаёшь по сто! Верня-а-ак!!!»

На втором этаже консульства, в угловом кабинете, две молодые сотрудницы приводили в чувство пожилого вице-консула. В переводе многие экспрессивные выражения господина вице-консула не уцелели, не могут быть точно переданы интонации, колыхания потрясённого тела, вопли, всхлипы, всплески рук, поспешные глотки воды, внезапный смех его, наконец, стоны и тихий шепчущий скулёж. Жаль, но... что имеем:

— Я его спрашиваю: как название фирмы? Он мне: да там всё написано. Я: а адрес? Он: и адрес там же, читайте. Улыбается, Иезус Мария! Чем, спрашиваю, планируете заниматься? Он: курами! Курами!!! У них в документах написано — недвижимостью!!! А недвижимостью? — намекаю уже. Нет, курами, говорит, выгодно. Берёшь мороженных по шестьдесят, продаёшь по сто. Летом дороже. Я не понял, почему летом дороже — у них летом тепло бывает, поэтому, кажется. Язык, интересуюсь (я обязан же!), знаете? Он опять улыбается: какой? Иезус Мария!.. Тогда я его спросил, в какую страну он, вообще, едет? И что он мне ответил?! А?! — в Шенген... И с ним ещё девятнадцать человек. Иезус Мария!

...В визе нам отказали. Причину мы не узнали, потому что она была на их языке. Шурик Климин обругал нас дебилами. Особенно Сёму. Говорил я ему: учи название с адресом. А он «куры, куры! Верняк!». Наши повозмущались, конечно, но скоро забыли. Все стоят на своих пищевых и вещевых местах. Похудевшие, правда, с зубами и без бородавок. Один Миша сдал павильон и занялся перевозками. Ему так больше нравится. Втянулся ездить. У парикмахерши Полининой после курсов сразу клиентов прибавилось. Да она и врёт к тому же, что в Европе была. Где она была?! — в консульстве только. Полина ушла от Сёмы. После такого апгрейда нашла побогаче. Сёма продаёт кур. Сам теперь. Я-то уехал. У Светы там оказались родственники — Светиново папы родной брат. Они нам сделали вызов. Теперь мы живём в красивой европейской столице с памятниками Юнеско, работаем в китайском ресторане. Я — официантом, разношу «курже на кари» (это жареная курица с перцем), а Света — трёт морковку по-корейски. Здесь действительно чисто, транспорт ходит секунда в секунду, в подъездах не мочатся, вкусное пиво. Мама очень рада за меня. И пусть теперь Шукин усохнет от зависти!

Шашек и Машек

В обед сходил по маленькому дождь, после него осталось серо и сыро. Посетителей не было. Туристы (а у нас харчуются одни туристы) предпочли сегодня душевные рестораны в центре. На реке хорошо только в жару. А жары больше не будет — сентябрь. Надо искать другую работу. Прошёл по

реке катер, тихо забаяюкал нашу посудину. Зыбкость и неуверенность в ногах — моё всегдашнее состояние. И настроение. Три месяца прошли, а мне всё зыбче и зыбче. Качает даже в постели под одеялом. И впечатлений нет, чтоб отчитаться Боре. В первые дни я всё записывала в тетрадку, боялась упустить слабейший оттенок, запах, звук. Первая моя запись была: «В аэропорту растёт тысячелистник». Меня поразил тысячелистник в пяти тысячах километров от дома. По моим представлениям, здесь не должно было быть ничего и никого знакомого. А был даже репей. Правда, мордатей нашего. Сытый такой репей, кормленный. Запах аблок с корицей, лепестки роз, на капанные на брусчатку, баклажановые негры. По договорённости я обо всём писала Боре. И вот Боря, как вампир, высосал из меня все впечатления. Сейчас встану и пойду смотреть на реку. Попробую описать Боре, какая сегодня река. Дрожащая, подергивающая серозелёной кожей. Хотя река ему, наверно, ни к чему, раз он пишет о маньяках. Мне сдаётся, ему нужней рыжие щетины пустырей, кишечные тепло-трассы, ржавые задворки гаражей, разросшиеся грибницы дач — самые маньячные места, которых у нас там в избытке. Но он говорит, давай местный колорит. Боря задумался о маньяках в международном масштабе. Он вообще-то талант, Боря...

Думала, на набережной ни души, а там целых две. Влюблённые, наверно. Надо уйти. Неудобно глазеть. Кормят лебедей. Лебеди здесь оказались не такими, какими я их представляла. Я думала, они ангелы, тихо скользящие по зеркальным водам, а оказалось — те ещё черти: шипят, дерутся, обижают уток. Глаза их длинно подвешены чёрным. Действуют кучно, настырно, руководит бандой вожак. Ему достаются почти все подачки умиленных туристов. Налопается глavarь, урвут по кусочку остальные члены группировки. Утки выживают за счёт манёвренности. Выныривают у лебедей между лап. А лапы-то, лапы! Как вёсла. Влюблённые быстро скормили свой скромный ролик. Стая стоит на воде, ждёт добавки. Утки работают лапами на холостом ходу. Вдруг парень резко побежал прочь от девушки, широко запрыгал по лестнице. Лестница крутая, деревянная, щелястая — японцы в восторге от такого экологически правильного изделия, а вот девушка зацепилась каблучком. Сразу видно, русская — местные каблучки не носят. «Козёл!» — так родно крикнула. Местные говорят козел. И это у них не ругательство, а пиво, ругательство «волэ». Русская вернулась к воде. Присела. Её красное пальто отразилось в реке, будто девушка распустила в воде алую акварель. Главный лебедь столбом напряг шею. Девчонка вытащила из рюкзака красное яблоко, стала откусывать и бросать лебедям. Лебеди хватили и яблоко. Помнится, один раз вожак проглотил тлеющий окурок. А красиво: девушка в красном коротком пальтишке, красное яблоко, белые лебеди на красном отражении... Опишу Боре. Может, эта девушка сгодится ему в жертвы маньяка. Поругалась с парнем. Тоже, видно, русский.

Включила на кухне чайник. Тишина. Вся посуда перемыта. Вернее, незапачкана. Официанты Ленка и Пёпа разгадывают сканворд. Я бы им помогла,

если бы знала язык, но я не знаю. Я посудомойка с бизнес-визой. С Борей я познакомилась в общепитии над телом, которое мы жалко и тщетно старались реанимировать толчками в грудь и пыхтением в лицо (мы по очереди сбежали к телу). Точнее, мы познакомились, когда тело увезла скорая. Тогда он нашёл мою комнату и спросил, как меня зовут. И я его разглядела: здоровый рыжий битюг с лицом малыша-плохиша, любителя бочек варений и корзин печений.

— Что предлагаешь делать? — спросил Боря, — Скорая ехала сорок минут. Сердце не дождалось и умерло. А кто тебе этот пацан? Был.

Того пацана я видела первый раз. Пацаном я его вообще не видела — только телом. Должно быть, он, как Боря, был абитуриентом. Боря поступал на филфак, уверенно сливая не с любимыми глаголами. Кстати, здесь так и пишут. Боря отслужил в воздушном десанте, и ему, по его признанию, отшибло голову. Наверное, Борю приняли по инвалидности. Боря явился на первый курс, как слон в посудную лавку — там, как обычно, было много фарфорово хрупких, бледненьких девочек и бьющегося стекла очков. Боря трогал девочек за холодные лапки и мягкие розовые ушки — умилялся.

Наш шеф пан Кубка разрешил идти домой. Лицо у него разгорелось, рдеет, предвкушает какое-то удовольствие или просто холодное пиво. Пан Кубка пощёлкивает подтяжками по круглому брюшку, подстёгивает нас скорей уходить. Идём-идём. Русская так и сидела у воды, покинутая даже лебедями (лебеди уплыли позировать к мосту — вспышки фотоаппаратов сверкали как сварка). На её рюкзаке болталось штук пять мягких игрушек — здесь такая мода, но всё же не в таких количествах. Девушка подняла на меня недавно поплававшее лицо: солоно промытые глаза, раскисший розовый нос, открытый рот — заплаканные дышат ртом, оттого у них такой глупо — беспомощный вид. «Не надо с ней заговаривать», — посоветовала я себе.

— Не сидите у воды, — посоветовала я ей, — здесь сыро, ветрено. Простудитесь.

— Я заблудилась, — пожаловалась она.

То, что к ней обратились на родном языке, ни порадовало её, ни поразило.

Странно было слышать «заблудилась» от человека, просидевшего неподвижно полтора часа. Блудят, по-моему, это когда ходят, а не сидят. Девушка не знала ни адреса, где она живёт, ни примет, ни даже линии метро. Она пришла с Сашей, а Саша её бросил. Да, я видела. Он от неё нагло убежал. Девушка при мне набрала Сашин номер, он коротко ответил: «Да пошла ты в задницу!». Потом просто не брал трубку. «Вот видишь, заговорила, и сразу столько проблем!» — пришло сообщение из рационального отдела мозга в нерациональный. Тогда я переписала у девушки Сашин номер и позвонила уже со своего телефона.

— Саша, — не дала я ему опомниться, — тут ваша девушка заблудилась на набережной.

— Она — не моя девушка, — подумав, ответил Саша.

— Вы знаете девушку в красном пальто? Она заблудилась. Куда ей идти, не подскажете?

— Я уже ей сказал, — не сдавался Саша.

— Объясните мне, как ей ехать, я провожу её до остановки.

— Она всё равно не доедет. Надо пересаживаться на трамвай. Эта debilka не доедет.

Наконец, Саша смилостивился и объяснил, куда везти девушку. Везти было неудобно — другая линия, потом ещё трамвай. «Расхлёбывай-расхлёбывай», — пришёл второй немой укор. Девушка во всё время переговоров с Сашей стояла безучастно, так и не захлопнув рта. По лестнице она поднималась впереди меня. Перед моим носом подпрыгивали и покачивались: золотистый жираф, пузатая зебра, божья коровка в крупный горох, обезьяна с извилистыми конечностями, крот — неунывающий герой местного мультсериала. Были ещё значки — улыбающиеся на разный манер жёлтые лица, похожие на примелькавшихся за лето японцев. Потом я пошла вперёд, а девушка то и дело отставала. Я посоветовала ей купить кроссовки. Пусть с пальто. Здесь так носят. Здесь много чего носят. Летом я встречала женщин с густо шерстяными небритыми ногами. И ничего — улыбались. В метро у нас из-под носа сныслел поезд. Мы сели на скамейку. Девушка сняла рюкзак и, оживившись, представила мне свои игрушки: жираф Женя, обезьянка Чита-Дрита... Саму её звали Маша. Она училась или должна была начать учиться на каких-то курсах. Я любопытствовала, не язык ли она собирается изучать, и Маша снова открыла рот, старательно, было, захлопнутый. Я думала, она спросит, какой язык я имею в виду. Но Маша промолчала, и слава богу. Я не мастерица беседовать с такими Машами. У меня был печальный опыт. Я брала на весенние каникулы девочку-подростка из детдома. Сумрачная девочка Таня Фёдорова попросила разрешения включить музыку. Такой громкой музыки я никогда в жизни не слышала: бум-па-бум-па-бум-па-бум. Ни о каких задушевных разговорах не могло быть и речи, докричаться бы к столу. С отрешённым лицом, как мантру, девочка моя повторяла за певцом: «Я знаю точно невозможное возможно, я знаю точно невозможное возможно». Я пыталась вытащить её на прогулку, в гости — там были её ровесники, но она, влипнув в диван, говорила, что хочет только слушать музыку. Благо, спала она до двух часов дня — иначе бы я сошла с ума от «бум-па-бум-па». Правда, в какой-то момент мне захотелось разбить магнитофон и зажать Тане Фёдоровой рот обеими ладошками. Нельзя таким, как я, давать детей. Я с ними не умею. Хотела научиться, теперь стыдно вспоминать.

— Нравится город? — спросила у Маши (мы уже минут двадцать герметично молчали).

Маша кивнула открытым ртом. Совершенно русская девочка: русая, нос кучкой, простодырный рот, пушистая бородавка на щеке. Как она сюда попала? «Не надо ничего спрашивать!» — острый внутренний голос, оттого, видно, такой умный, что живёт внутри — в тепле и тьме, и с холодной, освещённой действительностью не соприкасается.

— Откуда ты приехала? — спросила я.

Маша назвала неизвестное мне имя населённого пункта, я не стала уточнять, где это. Не из Москвы, и ладно. Москвичам здесь не нравится,

много раз от них слышала. Темп не тот. А какой у них в Москве может быть темп в таких-то пробках? Здесь пробок нет. И темпа нет. Мы приехали. Тут уж Маша вспомнила дорогу — через два дома до третьего. В этом третьем доме был магазин игрушек — колыбель жирафов и зебр, подвешенных на Машином рюкзаке. Маша, открыв рот больше обычного, уставилась в витрину. В витрине висели куклы-марионетки: ведьма на метле, разбойник, звездочёт и вечная пара неразлучных клоунов — Шашек и Машек. Мне стало смешно: Шашек и Машек — мои новые знакомые! Маша с удивлением обернулась ко мне.

— Я пойду, не ссорьтесь больше, — попрощалась я.

С остановки я видела, как Маша, точно зомби, вошла в магазин. Удобно наблюдать за человеком, носящим красное пальто. Эту мысль надо написать Боре. Может, он использует её в маньяках. Жертва надела красное пальто, сама себя пометила, глупая, сама себя обрекла. Боря взял с меня честное слово, что я никому не проговорюсь об идее его романа. Смешно, кому я могу проговориться, не зная языка? — пану Кубке, Ленке, Пепе, поварихе Марцеле? Идея его романа: маньяк — охотник на маньяков! Боря уверен, что возьмёт с таким романом Букера, а следом и Нобеля. Вообще-то, он талант, Боря...

«Привет, Борька-свин! С тех пор, как мы нашлись на Одноклассниках, я потеряла покой. С тобой вернулась моя свеженькая, глупенькая юность. Вчера я подстриглась. Совсем коротко и с наивной чёлочкой, все говорят, мне идёт (смотри прикрепленный файл). Сравни с моим летним снимком, где длинные волосы (это мы с Вовиком в Египте). Как мне лучше? Твоё мнение? Странно, что ты не помнишь Вовика. Вовик тебя помнит. Все мы, девочки, были влюблены в тебя, а вышли замуж за юристов. Роковое соседство двух факультетов! Короче, я ошиблась. Могу тебе в этом признаться. Я думала, у Вовика больше честолюбия, но он до сих пор судья в райцентре, и большего ему не надо. Хотя предложения были. Мой отец (помнишь моего папу? — ведь ты же бывал у нас дома) много раз пытался его устроить. Но мы никому не хотим быть обязанными! У нас такие принципы! В результате не жизнь, а прозябание. Да, я могу в этом признаться. Зарплата у него, конечно, хорошая, да и я получаю неплохо (всё-таки замредактора и могла бы давно стать редактором, но мне неинтересны хозяйственные дела, я человек творческий). Есть дом двухэтажный, дача у моря, две машины, недавно купили глассер, но адекватного общения нет. Всё так мелко, неинтересно. Сплетни, сплетни, дрязги. Помнишь, как мы болтали ночи напролёт? Все играли на гитарах, пели, все были поэты. И я была поэтом, Борька! Сейчас перечитываю свои стихи и плачу — сколько я потеряла. Ведь могла бы быть совсем другая жизнь. Я завидую тебе, свин, ты — писатель. Конечно, я с удовольствием помогу тебе в твоей работе. Случаев у нас бывает много. Недавно один псих убил целую семью: брата, его жену, их месячного сына выбросил на улицу на мороз, а над девочкой надругался. Это наша жизнь, Борька!

Бери — готовый сюжет. Могу стащить для тебя уголовное дело. Жена судьи крадёт уголовное дело — легко! Рассматривал краевой судья, если б мой Вовик был поумнее, сам бы давно был краевым судьёй. Кстати, председатель нашего суда Леонид Иванович тоже личность своеобразная. По-моему, он рехнулся после смерти сына (тоже можешь вставить интересный эпизодец). У него был единственный сын Саша. Знаешь эту золотую молодёжь? — полная свобода, деньги, крутые тачки, телефоны, девочки, травку покуриваем или что-то даже покалываем (не знаю точно, но так говорят). Леонид Иванович своему дорожному Саше сделал визу за границу, чтоб он там учился. Он и здесь-то учиться не мог, но таким везде дорога. Наш прокурор сразу свою дочку отправлять бросился. Что крестьяне, то и обезьяне. Дочка вообще тупица полная. Ну вот, перед отъездом они поехали в пригородный кабак отметить это дело. Напились там, накурились и назад. Саша этот был за рулём. Ночь, дождь ещё тогда прошёл. И он пьяный, обкуранный. Перевернулись. «Пежо» разбил и сам насмерть. Остальные так себе — поцарапались. Понятно, горе. Леонид Иванович рыдает. На похоронах человек триста было. Даже краевые судьи были. Похоронили. И тут Леонид Иванович решает за границу не отменять, а отправить туда друга погибшего Саши — тоже Сашу, но из бедной семьи, вообще, никчёмная семья. «Золотые» молодые его вместо шута в компании держали, и, говорят, ещё и сексуально использовали. Да-да, Борька, готовый эпизод. Сын председателя нашего и использовал. Как этот шут Саша на поминках рыдал, прямо, как девушка! Всем сразу всё понятно стало. Простая семья вместо того, чтоб обрадоваться, стала умолять их Сашу не трогать. Магь, Вова мой рассказывал, лично приходила к Леониду Ивановичу, просила не привлекать. Так и выразилась. Мы все смеялись. Но нашему, если в башку втемяшится, — кувалдой не выбьешь. Сашу этого быстро оформили, заграничный паспорт, пластиковую карточку ему завели и ту-ту вместе с прокурорской дочкой! Да на такую зарплату, как наш председатель суда получает, можно семерых за границей содержать. Я бы тоже за границу поехала. Не в Турцию или Египет, а в настоящую. В Париж, например. Мы бы с тобой гуляли по узким улочкам... Я сказала «с тобой»? Прости, Борька, вырвалось. Я не в себе последнее время. Где мы можем встретиться в городе, я часто там бываю. Посидим за рюмочкой? Повспоминаем?»

Я живу в пансионе на тихой крутой улочке. Крутая здесь означает гору, а не статус. Она так и называется Крч. То есть Круча. Легко спускаться домой, тяжело выбираться из дома. По обеим сторонам улицы одинаковые двухэтажные коттеджи. Вторые этажи — мансарды. На стёклах окон лежат яблоки или абрикосы — у кого что. Когда я прилетела, были зелёные зародышевые сосочки, а сейчас здоровые зелёные плоды. Кажется, стекло треснет, и яблоки просыплются в комнату. Засыплют её всю вместе со мной. Я люблю яблоки. Яблоко — переплод, всё-таки им, а не каким-нибудь там персиком, соблазнилась Ева. На нашем этаже четыре

комнаты. Самая дорогая — Элишки-покойницы. Хозяйка боялась: после того, как Элишка отравилась таблетками, никто её комнату брать не захочет, снизила цену, но брали, наоборот, нарасхват. Особенно туристы. Это уже была не просто пустая комната, а комната с какой-никакой историей. Сразу все стали слышать по ночам стоны, стучи, а кто-то до того допил, что увидел и саму Элишку — совершенно голое привидение блондинки. Хотя Элишка, по описаниям хозяйки, была круглой темноволосой коротышкой, расставшейся с жизнью из-за неразделённой любви. Были и другие варианты: не сдала сессию, не дал денег отчим, нащупала опухоль в груди. Но раз паны туристы хотят голую блондинку, пусть. Пани Веверкова с ними совершенно согласна. Наша хозяйка подумывает взять в полиции справку о смерти Элишки и поместить на двери комнаты в рамочке. Для солидности и достоверности. Чтоб другие хозяйки не думали, будто пани Веверкова рассказывает сказки из-за денег. Пани Веверкова кристально честная и хрустально чистоплотная. В двух комнатах живут более-менее постоянные жильцы, а Элишкину и семейную комнаты вечно занимают туристы. От них много шума, луж в ванной и бутылок на кухне. Я писала про Элишку Боре, но самоубийцы ему неинтересны. Они вялые и пассивные, другое дело активные энергичные маньяки. Сегодня я вернулась пораньше, хоть и провожала Машека к Шашеку. Во дворе соседнего дома сидит в кресле дед-инвалид. Выглядит мокрым. Похоже, его не убрали из-под дождя. Машет мне. Он всегда машет мне, а я ему. Может, вкатить его в дом? Хотя это чужой дед, чужой дом, чужая жизнь. Иногда мне остро кажется, что дед ходит. Это Боря заразил меня маниакальной подозрительностью. Поужинаю и схожу к метро купить газету. Надо искать новую работу. Обретать твердь под ногами, на нашей посудине очень качает.

Боря перебирал своими крепкими лапами хрупких сокурсниц, а мы, общежитские, его кормили, стирали его пожитки, лечили его хронический бронхит. Как-то к его дню рождения (кстати, скоро — в октябре) мы наготовили стол и подарков. Таня связала красный шарф на бронхит, Ольга сшила жилет, а я нарисовала стенгазету с поздравительными стишками. Ну вот, стол был накрыт, воздушные шары с сексуальным запахом резины развешаны — мы пошли переодеваться и краситься. Вернулись и застыли в дверях, как три раскрашенные остолопицы: за нашим столом визжала компания неизвестных девиц, и во главе их хохотал Боря в красном шарфе и шерифском жилете. Для нас мест не было, Боря смотрел вопросительно-наивно: вы что-то хотели? Мы не хотели его больше видеть и знать! И этот рыжий двухметровый лис со свиным именем и поведением на другой день удивлялся, с чего бы это вдруг мы испортили ему праздник? Через две недели он пригласил нас в ресторан в качестве компенсации. Ни одна из нас в ресторане не бывала. Тем более, по приглашению парня. Хоть и одного на троих. Мы опять нарядились и накрашились. Боря ахал и жмурился всю дорогу, дескать, он недостойн таких прекрасных девушек. Он привёл нас

в рыбный ресторан «Уха». Танька робко пискнула, что рыбу-то как раз она и ненавидит (мы с Ольгой промолчали, хоть и были с ней солидарны). Боря уверил, что рыбой здесь и не пахнет, и заказал четыре порции костей в сухих деревянных обрубках. Панировка была как опилки. Под рывжей корочкой фри просматривалась картофельная синева. Морс был кислый. Боря выпил водки.

— Это разве рыба? — вздохнул он, — я жил в Одессе, вот там рыба. Шаланды, полные кефали, это — не сказка.

Боря досыта накормил нас одесскими байками (они хорошо глотались, поскольку были пережжёваны на сто рядов) и отошёл в туалет на минутку. Через полчаса вокруг нашего стола закружилась встревоженная официантка, сужая и сужая круги. Короче, мы заплатили за несъеденную рыбу и Борькину водку. У нас еле-еле хватило денег, официантка нервнo сглаживала, следя за нашими судорожными, трясуцимися подсчётами. Боря появился через неделю и опять удивлялся: почему мы его не дождались, ведь он только немного задержался, встретив друга из Дудинки — самого северного города земли, где Боря тоже неоднократно жил. И где тоже водится приличная рыба, не то, что та, в «Ухе».

Деда со двора незаметно убрали. Или всё-таки сам сбежал? Сосед напротив поливает цветы. В чиновничьем синем костюме, в галстукe, поливает из жёлтой лейки. Костюм ещё куда ни шло, но ведь дождь! Как бы рассмотреть: похож сосед на маньяка? Опять забыла надеть очки. Газета кишит вакансиями, но все они в торговой сфере. А это уже ступенью выше, чем посудомойка. Язык надо знать прилично. Торговля — разговорный жанр. Моя соседка по пансиону как раз работает продавщицей. Исключительно в магазинах русских хозяев. Сами они языка не знают, а разнеженных местных нанимать опасаются, такой гибрид как Катя, — русская со знанием языка им как раз и нужен. Катя куражится над двумя хозяевами, как хочет, работу меняет раз в два месяца, неуклонно приближаясь к центру города — к заветным сувенирным лавкам. Чтоб никакой колбасы! Я беру у Кати уроки, но до прилавка мне ещё далеко. Я опять много пишу к себе в тетрадь, но совсем мало Боре. Боря задаёт мне наводящие вопросы: какие здесь марки машин, как одеваются, что пьют, едят, какие у людей привычки и странности? Он добивается эффекта присутствия. Взял бы и купил путёвку на десять дней, невеликие деньги. Эффект был бы полный. А хотела бы я встретить Бору здесь, живьём? Честно — нет. Как я уже говорила, ничего и никого знакомого!

Я опять увидела Машека в красном пальто! Не прошло и трёх дней. В субботу я поехала в зоопарк. Раньше я ненавидела цирки и зоопарки, а здешний зоопарк полюбила. Здесь так много детей. Родители с ними терпеливы и милы — никаких окриков, тычков. Кажется, так просто вести человеческого детёныша за маленькую тёплую лапку, а я вот не веду. Удивительно, самыми недостижимыми для людей чаще всего оказываются самые обыкновенные вещи. Маша в красном пальто стояла возле белого медведя. Блаженно расплющила лицо о стекло, за которым в воде плескался зверь.

Медведь то и дело проплывал мимо Машиного лица, щекоча своей желтоватой шерстью стекло с обратной стороны — красовался. Маша млела. Думала, наверное, как бы хорошо было нацепить такого медведя на свой рюкзак. Ага, на рюкзаке её повисла очередная добыча — изумрудный крокодил с ироничной улыбкой. Скоро звери совершенно облепят Машин рюкзак и, вполне возможно, саму Машу. Игрушечные птицы совьют гнёзда в её волосах, высидят игрушечных птенцов из игрушечных яиц. Игрушечные звери нароеют нор в её карманах и за пазухой, выведут игрушечное плюшевое потомство.

— Привет! А где Саша? — спросила я, секунду назад подумав: «Вот только не надо её окликать».

Маша открыла рот, посмотрела по сторонам, сообщила, что Саша где-то здесь. Устав стоя любоваться медведем, мы полюбовались им сидя, потом просто разглядывали людей. Саши не было. Я предложила посмотреть жирафов. Жирафы тоже восхитили Машу. У жирафов были густые женские ресницы. Маша повисла на перилах, норовя свалиться вниз, на рога какому-нибудь из них. Потом мы смотрели игуан, крокодилов, фламинго. Маше всё-всё нравилось до детского счастливого визга. Всех она разглядывала с выражением, замеченным мною возле витрины магазина игрушек. Я предложила ехать в город, не дожидаясь Саши (наверняка он снова удрал).

— Понравился зоопарк? — глупо спросила у Маши, как у ребёнка.

Она в ответ затрясла головой. Почаще бы ей мыть волосы. Да и на пальто забурело пятно. Неужоженное дитя без мамы. Я проводила её только до трамвая, дальше она поехала сама. Расплющила лицо и ладони на заднем стекле, как в зоопарке перед медведем. Надо было ей сунуть в карман пальто записку с адресом на случай, если Саша снова её бросит. А он её бросит, конечно. Может, у них такая игра? Сумасшедшая парочка. Шашек и Машек.

«Привет, поросёнок! Почему это ты решил, что я тебя дразню?! Вовсе я не дразню, в следующий вторник точно буду в городе. Где встретимся? Мне всё равно, где. Я на машине. Значит, мой Вова похож на плешивого хомяка? А вот птичку нашу попрошу не обижать! Почему тогда ты не написал, на кого похожа я? Это даже хамство с твоей стороны — не сделать женщине комплимента. Хотя ты всегда был такой свин. Происшествий пока никаких. Ну, бабушку топором зарубили. Вот так жила одинокая бабушка, копила в чулке пенсию, и тут нашёлся какой-то Раскольников — слесарь с газового участка, он к ней в этот день заходил. Говорит, заявка от неё была, плитку чинил, не убивал, конечно. Вова уверен: до суда доведут как по маслу. Хочешь, схожу сфотографирую для тебя этого слесаря. Морда у него подходящая. Готовый типаж. Уж меня-то в КПЗ пропустят».

Леонид Иванович наш по-прежнему носится с этим гомиком Сашей. Ему, оказывается, приходят отчёты с результатами Сашиних тестов. Леонид Иванович даже делится с коллективом. Такой благодетель, куда деваться. Все уже смеются у него за спиной: «Невестку содержит!». А прокурор

помалкивает, как там его доченька. Не была бы она дочкой прокурора, училась бы в коррекционной школе. Ладно бы ещё симпатичная была, мужчины часто женятся на красивых дурах, но там и этого нет. Просто плюгавенькая, кривоногонькая девчонка. Полное ничтожество.

Разве я не написала тебе о детях? Классически, двое. Мальчик и девочка. К сожалению, пошли не в меня. Никаких творческих способностей. Но зато они реалисты, крепко стоят на ногах, уже умеют просчитывать эту жизнь. Из них получатся толковые юристы. А мы с тобой, Борька, неисправимые романтики! Я тут покопалась в старых стихах, выбрала кое-что (см. прикрепленный файл). Ты же всех знаешь, всю эту литературную тусовку, пристрой куда-нибудь по нашей старой дружбе. В какой-нибудь самый толстый журнал. А может, мне сборник выпустить? Что ты мне посоветуешь? Хотя для сборника у меня маловато, но я пороботаю в выходные и, глядишь, выдам на гора пар тройку шедевров. Меня сейчас как раз посетила муза или муз (рыжий и немного толстый). Пиши, где мы встретимся. Я спокойно могу выписать командировку на два-три дня. А если ты будешь вести себя хорошо, то я запишусь на креативные месячные курсы».

Ветер всю ночь катал по крыше яблоки, как бильярдные шары. Стекло, как ни странно, выдержало, не лопнуло. Снова снились длинные, косматые сны. Не распутать утром, как ни бейся. Вот, что я тут поняла: сны не могут сразу начать сниться, как выражается Боря, с местным колоритом. Ты уже здесь, а твои сны ещё разворачиваются в покинутом месте, в привычной для души обстановке. Душе для переезда надо гораздо больше времени, чем телу. Тело это делает мгновенно — пять-шесть часов на самолёте, и готово, а душа осваивается месяц, два, много больше. В моих здешних снах только-только начали появляться местные люди (новые люди быстрее проникают в сны, чем новые мосты, лестницы, памятники. Ещё бы! — люди подвижнее статуи). Приснился, например, пан Кубка на маминой кухне. Мама спешила с обедом, а пан Кубка подстёгивал подтяжками свою утробу. Ветер так и не унялся за ночь. Здесь, не приседая, носятся ветра — играют в догонялки. Потому не надо думать о причёске. Достаточно просто вымыть голову. Сквозняки в метро делают одну укладку, ветер на улице — другую, порыв на реке всё поставит дыбом. Дед в коляске слабо махнул рукой — руку опрокинул ветер, слабо крикнул — ветер оборвал его «добрый день», как лист календаря. Еле поднялась в Кручу — ветер настойчиво пихал обратно домой. Сегодня будет сильно качать на реке, по-моему, у меня развивается морская болезнь. Меня всё время подташнивает. Моё состояние легко можно было бы объяснить тоской по родине, но тоски на самом деле нет. Однажды мне захотелось из одной жизни выкроить две, а, может, и три (ведь неизвестно, чем это всё закончится. Может Африкой, может Мексикой). Ведь жаль родиться на целой планете и сжать её в одну точку: в один какой-нибудь городишко. Как если бы у вас была огромная прекрасная квартира, а вы бы всю жизнь простояли в углу в детской лицом

к стене, разглядывая надоевший узор на обоях: дом, остановка, работа. Будь моя воля, я бы объездила все страны мира раздавать молодым билеты на самолёты, поезда, корабли и давать им время объехать Землю, почувствовать себя землянами и, значит, не чужимы друг другу людьми. Однажды мне приснилось: я лечу сквозь космос маленькой ледяной горошиной (вспышки и полосы огней по сторонам). И только одна мысль в моей горошине: где мой дом? Где мой дом?! Мне надо было вспомнить, где мой дом, я чувствовала, как сжимается, истончается, уменьшется от отчаяния горошина. «Галактика Млечный путь, — вспомнила я, — созвездие Льва!» Дальше пошло легче: Солнце, Солнечная система, Земля. Я, горошина, летела навстречу Земле — маленькой, но уже тёплой точке. На всякий случай я заучила «домашний адрес» и теперь понятие адреса у меня шире. Никто не верит, что я здесь работаю посудомойкой. Подозревают в хорошо скрываемых деньгах и мужьях. У меня и там этого не было, с чего было этому взяться здесь?

Не иначе ветер нагнал к нам на посудину едков. Еле накормили. Пришлось помогать Марцелю резать лук. Наш фирменный гуляш подаётся с большим количеством сырого синего лука. После работы я решила пройтись по Старому городу — погреться, поотираться возле его потёртых камней. Вот и статуи подставили солнцу каменные спины, на их каменных лицах — блаженство. Возле сувенирной лавчонки с глиняными свистками и дудками прямо на булыжниках мостовой расселись туристы, большей частью, конечно, японцы с недремлющими глазами фотоаппаратов. Уличные артисты давали представление: марионетка-скелет-дженгльмен в цилиндре играл на пианино, а марионетка-скелет-дама в розовой пачке и с розой на черепе пела песенку, пританцовывая всеми своими костями. Очень милая пара. Я засмотрелась и заслушалась. Пианино продолжило играть самостоятельно, и куклы заклацали костями финальный канкан. Кац-кац-кац-кац... Японцы усердно хлопали. Кто же тогда щёлкал их фотоаппаратами?

— Пошли отсюда, — велел за спиной сердитый русский голос.

Я не оглядываюсь на русские голоса. Я даже ухом не веду ни на сердитые, ни на ласковые русские голоса. А когда всё-таки повела, за спиной обнаружила Машу в красном пальто. Какими тесными бывают эти миллионные города. Один артист прошёл вдоль рядов со шляпой, скелеты в это время раскланивались. Я положила монетку, японцы поголовно рассчитались за зрелище. Некоторые из них встали, другие остались смотреть второй номер. Я предложила Маше сесть (она опять была на каблуках), и она с радостью уселась на голые камни. В русых её, вечно сальных волосах не было даже пробора, но серёжки в ушах светились дорогие. Может, даже и бриллиантовые. На лямке рюкзака (места критически не хватало) был прищипан ангел с атласными пухлыми крылышками. Маша зачислила ангела в своё звериное царство. Длинноногие жираф и зебра устало свесили лапы на мостовую. Черепушка запела голосом Лайзы Минелли «Кабаре», Черепок

повернулся к ней боком. Слышно было, как постукивает челюсть Черепушки и сухонькие клавиши немой пианолы (звук в горло улицы шёл из колонок). Фотоаппараты японцев полыхали почти без остановки. Машиного лица я не видела, но заподозрила, что рот у неё открыт. Я потихоньку вышла из круга зрителей и скорей свернула в Еврейский квартал, где уж точно не могло быть никаких Саш и Маш. Три старухи продавали прямо на улице старое еврейское барахло. Мне понравились колокольчики у крайней, я купила их звук: тоненький, хлипенький, жалобный — в юбках колокольчиков уже завелась ржавчина. Бабка, как могла, рассказала, а я, как смогла, поняла, что колокольчики эти списаны со службы в синагоге.

— Какая была их работа? — коряво поинтересовалась я.

Старая еврейка что-то длинно и красиво пояснила, из чего я урвала на слух лишь кое-что: эти колокольчики напоминали евреям о Боге, когда евреи, не дай бог, забывали. То есть работали, как сигнализация. И я пошла с приобретённой сигнализацией прочь, позвякивая ею, чтобы Бог не забывал обо мне. Золото, золото, золото зажжённых фонарей. Золотые гнутые монеты на воде.

«Чмок-чмок в мой любимый розовый пяточок! Представь, я явилась домой, как ни в чём не бывало. Не подозревала в себе такого цинизма. Даже отругала своего хомяка за беспорядок. Он и правда быстро опускается. Грязная посуда, разбросанная обувь — я чуть ни разрыдалась от всего этого. Это не моя жизнь, Борька, это совсем не моя жизнь!!! Как можно было так жестоко, глупо ошибиться?! Ленка Хворостова уже в Америке, Лизка Кац — в Израиле, а я в дыре, в дыре, в дыре!!! Наша встреча была глотком воздуха. Я понимаю, всё очень непросто. У меня семья, у тебя — у тебя вечно чёрт знает что, Борька! Ты так мне и не ответил, есть ли у тебя хотя бы дети? Ладно, бабы, но уж детям-то ты должен вести счёт! Тебе нужно сменить имидж, Борька. Что-нибудь солидное. Я знаю один хороший бутик, в следующий раз сходим. Ты невозможен в этих джинсах и курточке. Тебя не будут воспринимать серьёзным писателем, если ты будешь ходить, как оборванец. Почему бы тебе не курить трубку? Это очень интересно. Кто-то из писателей курил. Не помню. Какой-то француз. Мне тоже надо встряхнуться, что-то обновить. Хотя бы для города. Это здесь я руководящая железная леди, а там я ещё девушка, поэтесса. Я безумно-безумно рада, что мои стихи подошли. Как я могла забросить их на столько лет?! Какое наваждение напало на меня?! Вот, что должно было стать смыслом моей жизни: творчество и любовь. Хотя, как ты говоришь, ещё не поздно. Сразу тебе скажу, Борька, не может быть и речи, чтобы я ушла от хомяка. У нас дети, ты этого не понимаешь. Детям нужна репутация, детям нужны мать и отец, каким бы неинтересным он ни был. Так что нам остаются только вторники — глотки воздуха свободы. Курсы тоже не отменяются, я непременно подыщу какие-нибудь подлиннее. Наша гримза никуда не денется, отстегнёт, как миленькая. Боже! Сколько Леонид Иванович тратит на этого никчемного Сашу! Моя

знакомая работает в банке, рассказывает просто о сумасшедших суммах. Этот Саша живёт в отдельной квартире в центре города, учится на самых дорогих курсах, а потом ему оплатят поступление в старейший европейский университет! Какому-то ничтожеству! Гомику! Ладно прокурор, он хоть свою родную дуру кормит, а этот-то с чего?! У нас тут говорят, что Леонид Иванович сам Сашей не брезговал. Это просто готовый сексуальный маньяк для тебя! Вот тебе и сюжеты. А так больше никаких новостей. Два брата забили по пьянке мать — отмечали её день рождения. Известная семья — все уроды и пьяницы, включая мамашу. За что боролась, на то и напоролась.

Люблю тебя, целую, свинёнок! Всё-таки ты прав: лучше издать сборник, чем унижаться по журналам, доказывая всяким тупицам, что такое поэзия. Кто сейчас понимает в поэзии? Конечно, лучше издать сборник. Назову его «Женское сердце», как думаешь? Читатель, открывая «Женское сердце», открывает... женское сердце. Каламбур! Дарю, если хочешь».

— Что ты предлагаешь делать?! — настойчиво повторил Боря, когда скорая увезла тело.

Я не знала, что делать. У меня на руках впервые умер такой же, как я, человек. Я предложила Боре написать разгромную статью в газету. Нам нужны были факты и комментарии. Тогда я попросила у знакомого старшекурсника, уже подрабатывавшего в газете, его корреспондентские корочки. С чужим удостоверением, одним на двоих, мы с Борей пошли по инстанциям. Удивительное дело, нас везде пускали. Я старательно держала корочки вверх ногами, чтобы несходство не так бросалось в глаза. Никто в эти корочки даже не заглядывал. Начальник станции скорой помощи мягко, но настойчиво гнул к неправильно сформулированному вызову. Дескать, это мы, студенты, попутали сердечный приступ с родами. Я записывала речи начальника в блокнот, радуясь, что не надо смотреть в глаза, а Боря забивал кулаком в стол начальника сваи своих контраргументов, резал стальным голосом «преступная халатность, уголовное дело». Я себя чувствовала Лжедмитрием, а Боря себя чувствовал великолепно. Фельдшерницу, приезжавшую на вызов, он в два счёта довёл до истерики:

— И как вы после этого будете жить?! — кричал двухметровый Боря на полтора растерянных испуганных метра, — Парню было семнадцать лет! У него мать осталась, девушка! Из-за ваших сорока минут рухнул целый мир с мечтами и надеждами!

Фельдшерница лепетала об обширном инфаркте, врождённом пороке сердца. Боря бил её по щекам фразами:

— Убийца в белом халате! Смерть на колёсиках!

Девушка зарыдала, завозила головой по клизменной клеёнке стола.

— Живите теперь, если сможете! — нокаутировал Боря фельдшерницу, и мы вышли из медицинского ледника приёмного покоя в разгорячённый и рыжеватый, как Боря, август.

Статью писала я, носила в редакцию я, её взяли, но не напечатали. Боря грозил, что раз-

несёт всю редакционную курятню, но так и не разнёс. Заигрался с маленькими однокурсниками.

Как ни странно, женился он не на филологине, а на взрослой еврейской девушке с биохимического факультета, преподавательской дочке. Молодость ещё держала Юлю в жёстких рамках стройности, но было совершенно ясно: лишь только Юля родит, выстрелит грудь и попа, потечёт подбородками личико. Юлины родители порхающими интеллигентными взорами оглядели будущего зятя и пришли к заключению: «Если Юля хочет получить такой опыт, пусть получит. Ничего страшного». И, действительно, ничего страшного не случилось: Юля родила сына, ушла от Бори, вышла замуж за американца. Преподаёт в американском колледже химию. Ни на грамм не потолстела. Теперь она Джулия. Совсем другой, американский человек.

Борька так и недоучился. Пошёл работать на телевидение в криминальные новости. Зрителей забавляли его свежие, нешаблонные обороты: «Труп вывернут, как чулок, кишками наружу», «Красное море — ничто по сравнению с той лужей, что натекла из простреленного черепа убитого», «Девушку изнасиловали с особой камасутровской жестокостью». Борька был популярен. Получил даже репортёрскую премию. Жил Борька везде, откуда не гнали. Гнать начинали скоро. Но две университетские девятиэтажки были достаточным ареалом для прокорма такого хищника, как Боря.

Писать он начал раньше, чем работать на телевидении. Удивительно: тексты его состояли совсем из других слов, нежели речь. Я даже думала, не списывает ли он их где. Однажды Боря читал нам рассказ о любви двух исследователей на космическом корабле. Вместо того, чтобы мирно спать в анабиозе, они проснулись и занялись любовью. Недремлющий командир, обречённый на смерть (таких командиров было в запасе ровно пятьдесят), высадил нарушителей на необитаемой планете. Планета оказалась пригодной для обитания — этакий Эдем для Адама и Евы. Но там была слишком большая сила притяжения, и почему-то нельзя было разговаривать. Адаму и Еве оставалось только лежать и молчать. И вот они лежат, молчат, плачут, и сквозь слёзы высматривают какой-нибудь космический кораблик, чтоб он их подобрал. Очень грустная история. Все девчонки рыдали. Борька и вправду талант...

Я опять забыла купить газету! Придётся возвращаться к метро. Схожу вечером, в собачий час. Примерно с восьми до девяти хозяева выгуливают собак. Собаки сытые и игривые, как дети. Хозяйева с ними разговаривают. Мне трудно понять, о чём. Кажется, рассказывают, как прошёл день на работе. У нашей пани Веверковой не пёс, а кот. Кот сутками сидит на излюбленном подоконнике и круглит глаза и спину, если на абрикос приседает птичка. Хотя он уже в таком возрасте, когда котам не нужны ни кошки, ни мышки. Катя завела себе ухажёра. Местного. С ума сойти! — он за ней заезжает в девять. Так она выйдет замуж и в два счёта станет гражданкой. Катя обещает устроить меня в магазин к её знакомым русским. Катя красится перед свиданием, а я ухожу за газетой. Утром её раздадут бесплатно, но рано — я встаю позже. Не вставать же на час раньше из-за газеты.

Я купила газету. Первым делом просмотрела вакансии: торговля, уборка, уход за больными стариками, наклеивание этикеток на товары. Последнее меня заинтересовало как переходный этап к прилавку. Этикетки научат быстрее Катю, тем более Кате уже не до меня. Я перевернула газету. На первой полосе о чём-то кричал красный заголовок. Языковой барьер задержал удар, но не смягчил, не отменил. Я поняла, что там было написано: «Обнаружено тело девушки без головы!». Самое страшное содержалось в подзаголовке: «красное пальто», «иностранка». Газета тряслась в руках, на строчки капали крупные капли, мешали понимать текст. Неужели это я успела заплакать? Нет, дождь. Я стою на улице. Катя уже уехала. Да она и не умеет читать — только говорить. Пани Веверкова читать умеет, но я её не пойму. Что там, Господи, написано?! Я ушла от дождя назад в метро, но кроме того, что девушке-иностранке в красном пальто отрезали голову, мне ничего не удалось понять. Ясно было одно: я виновата, я по-скотски виновата! Мысль материальна. Я воображала Машу жертвой, и она ею стала. Я накаркала, накликала беду на эту безголовую Машу, боже! — она теперь и правда безголовая. А научил, охотник, науськал меня Боря! Мерзкий маньяк — охотник на маньяков! Я выхватила телефон и заорала, не дослушав его весёленького приветя. Меня потрясло спокойствие Бориного голоса после всего, что я ему накричала в его толстое конопатое ухо.

— Иди в полицию! — командовал Боря, — Опознай сначала труп, потом мне расскажешь.

Он отключился. Взять бы и запереть всех этих клепальщиков детективов в морге, набитом трупами — в мире, который они сотворили своим большим воображением! Я представила известную детективную мастеричу в морге. Ей холодно, страшно, она плачет, скребёт беспомощными коготками по стальной обшивке. Плохо пахнет, её тошнит. Носом их, носом! Я пошла домой на гибких, резиновых ногах, качавших меня из стороны в сторону. Я боялась упасть и покаться с Кручи кубарем. Катя не вернулась. В комнате Элишки хохотала женщина, бас — бес, её смешивший, был едва слышен. «Машу убил Саша», — объявила первая мысль. «У меня есть Сашин номер. Сейчас позвоню и спрошу». «Да он уже арестован, дура! И телефон у него забрали», — сцепилась с ней вторая. «А вот и проверю». «Да, конечно, проверь. Скажи: я тут по поводу смерти Маши, вычитала в газете, уж не ты ли, Саша? Я знаю, она была тебе в тягость. Ты грубил ей, бросал её. Конечно, хотел её смерти». «Он скажет: да что вы?! А завтра выследит тебя и отрежет твою глупую голову». «Мою-то за что?!» «А чтоб не болтала!». «Я завтра пойду в полицию и расскажу про Сашу». «Сходи-сходи». «А сейчас наберу его номер». «Набери-набери. Он поймёт, что его вычислили. Набери». «Куда я подевала телефон? Неужели выронила в метро?» «Да вон он, в сумке». «Нет, я засыпаю». «Никакой Боря не талант. Он сам маньяк...»

«Не могу даже написать «доброе утро», потому что целую ночь не спала — читала твою дискету. Борька, ты гений!!! Это так необыкновенно здорово. Меня всю трясёт. Ничего подобного никогда

не читала. Конечно, надо всё это издать. Немедленно, слышишь, Свин?! Кому ты отдал мои стихи? Надеюсь, он не будет соваться туда с исправлениями? Не исключено, что я пропустила какую-нибудь запятую, но сам текст я не хочу трогать. Ему ещё и платить надо? Не понимаю, Боря, за что?! За то, что он поставит пару-тройку запятых или тире? Я же говорю: текст нельзя менять. Ты меня поймёшь как автор автора. Смотри, если я увижу там хоть одно исправление в тексте, я очень на тебя обижусь. И не приеду во вторник. Будешь знать. Обложку я хочу совсем простую. Но со вкусом. Раз это сердце, то пусть будет красная обложка, и по ней золотыми буквами «Сердце женщины». Или чёрными буквами — ведь в сердце женщины всегда есть тайна. Можно набросать тонкий женский профиль (не обижусь, если это будет мой). Ещё я бы хотела сделать надпись: «Посвящается...». Или так уже не пишут? Поручаю тебе настроить мою биографию. Я, как тебе известно, — поэтесса, и в прозе не сильна. Проза, Борька, твоя стихия. Выглядеть должно примерно так: стихи пишет с раннего детства, печаталась в школьной газете, окончила филологический факультет, всё это время писала, работа в газете, похвальная грамота от управления печати, темы: любовь, всё прекрасное, чувства. Есть семья, дети. Увлечения: путешествия, общение. Любимый писатель... не знаю, напиши кого-нибудь помоднее, чтоб не выглядеть деревенщиной с каким-нибудь Пушкиным. Ты в этом лучше разбираешься, да и читать мне, если честно, некогда. Вот ещё проблема — фотография! Мои молодые снимки не очень качественные. А быть тридцатилетней на обложке я не хочу, как бы ты ни убеждал меня, что выгляжу на двадцать. Вот тут я подобрала десять фотографий (см. прикреплённые файлы), давай теперь вместе выберем одну. Я голосую за ту, что с шалью (что-то в этом Ахматовское). Или вот ещё в кресле с ногами. Единственный вопрос: поэтессам можно иметь такие ноги? Теперь предавай ты. Потом фотографию надо будет как следует обработать в компьютере. Отдай хорошим специалистам. Ну, там личико подтянуть, губки поддуть — они это умеют. Хочу, чтоб было не хуже, чем в «Плейбое». В нашей газете мне фото не обработают — не тот уровень. К слову, мой хомяк всячески поддерживает моё начинание, готов оплатить любые расходы. Каким глазами он на меня смотрит! — разглядел, наконец, что за женщина с ним рядом. Представляю, какой визг поднимется в нашей дыре, когда выйдет сборник! Хотя вряд ли они что-то поймут в творчестве.

А я, например, не могу понять, как можно покупать семнадцатилетнему сопляку квартиру в Европе! Леонид Иванович покупает любимому Сашеньке. Значит, и прокурор своей купит. Мой хомяк говорит, что Саша и Маша — для отвода глаз, что наш председатель и прокурор просто выводят деньги за границу, скупают недвижимость. Мы тут с Вовой подумали и решили: пусть и наш Денис едет. Он всего там добьётся своим умом.

Смотри же фото!!! Там есть одно такое... не для сборника — для моего любимого поросёнка!»

Утром я пришла в ресторан — там было очень холодно, пан Кубка надел свитер и стал Кубкой в кубе. Я объясняла ему, что мне надо идти в полицию по поводу убитой русской девушки. Показала пану Кубке газету. Он испуганно уставился на меня. Я повторила: надо в полицию, не зная слова «опознать», выразилась «познакомиться с мёртвым телом». Пан Кубка кивнул, из щелей его глаз тянуло сквозняком неприязни к убитым и ещё живым русским девушкам. Я пообещала скоро вернуться. Выбралась по лестнице наверх и задумалась: куда теперь? Кроме полиции по делам иностранцев я не знала никакой другой. Я пошла прямо, выглядывая по сторонам полицейский участок. Так я прошла до самого конца улицы. Передо мной была площадь — всё равно, что тупик. Куда теперь? По площади кружили кареты — катались туристы. У лошадей под хвостами были привешены прямо-таки элегантные кошельки. В рукаве соседней улицы полицейский штрафовал водителя за парковку. Я подошла к полицейскому, протянула вчерашнюю газету. Сказала ему, что знаю девушку. Он коротко поговорил по радию, подъехала полицейская машина. Со стороны это, наверно, выглядело, как мой арест. В машине меня ни о чём не спросили, отвезли в участок, усадили в коридоре на мягкий диван. Я составляла в голове фразы — ответы на возможные вопросы. Вышел молодой человек в костюме, присел рядом. Я протянула ему газету, сказала, что знаю девушку в красном пальто. Это Маша, русская.

— Русская? — переспросил он и замотал головой. — Нет. Совершенно точно — убитая вьетнамка.

— Вьетнамка? — переспросила я. — Моя знакомая русская. У неё красное пальто, игрушки на рюкзаке, — я старательно перечисляла — жирафа, опице, крокодил, кртэк... Рот всегда открыт, в ушах — дорогие серёжки (с тела я переключилась на голову, не зная, есть у них её голова или нет).

— Вьетнамка! — подтвердил — перебил полицейский.

Поблагодарил и оставил меня на диване. Я вышла из участка, не имея представления, где я теперь нахожусь. Я заблудилась, как Маша. Это, оказывается, не Маша! С облегчения и одновременно от злости я нажала Сашин номер. Ответил сонный хриплый голос.

— Где Маша? — поинтересовалась я сурово, как мать, — что она сейчас делает?

— Откуда я знаю! — ругнулся клоун Шашек, — таскается с кем-нибудь! Если она вам нужна, забирайте жить к себе. Вы ведь лесбиянка, да?

Я затребовала Машин телефонный номер. Мне во что бы то ни стало надо было услышать Машин голос из головы, крепко сидящей на туловище.

— Алё! — прогнусавило в трубке.

— Маша, ты где?

Заскрипела, захрипела, загудела мотором пауза. Слышно было, Маша едет.

— Не знаю, — призналась она, — в автобусе. А вы кто?

Я не стала ей объяснять. Да она бы и не поняла. На остановке в расписании я выискала трамвай, идущий в понятную мне сторону. И тут позвонил Боря.

— Была в полиции? — спросил деловито, сухо, будто он был моим патроном.

— Иди ты, Боря, в задницу! — посоветовала я старому дорожному другу.

Как хорошо, что больше не надо ему писать. Какое облегчение, что людям не надо представлять маньяками или их жертвами. Мой сосед поливает цветы в дождь и в костюме, потому что он живёт по привычке, а не по смыслу. Дед в инвалидном кресле не встаёт с него по ночам, чтоб нападать из-за угла на пьяных русских туристов, скребущихся в дверь пансионата. Катю увозит в машине не сексуальный извращенец, норовящий её поинтереснее убить, а обыкновенный плеши-вый Либор. А я пойду в супермаркет клеить этикетки! «Что это ты так возликовала? — вдруг опомнилась я, — какой-то девушке в красном пальто всё равно ведь отрезали голову! Но в том и облегчение, что «какой-то девушке», а не конкретной вот этой. По-настоящему страшна только та смерть, что имеет знакомое лицо».

В парке толсто-толсто листьев. Их пока не убивают, ждут, чтоб люди, их дети и собаки наигрались, навалялись в листьях досыта. Бабушка собирает каштаны в белый мешочек. Я знаю эту бабушку. Она каждый день стоит на одной из битком набитых туристических улиц в стенной нише, как статуя. В руках её всегда одна трогательно стройная полураспустившаяся розочка в хрустящей тонкой бумажке. Да и сама старая пани — сплошное умиление. Серебряные кудряшки из-под серой шляпки, опрятный кремовый костюмчик, детские туфельки с перепонками. Таким ангелом смотрит на прохожих. Катя однажды хотела её сфотографировать, вот тогда я и ознакомилась с основным набором местных ругательств. Бабуля зорко следит, чтоб её не щёлкали. Щёлкать её можно только за отдельную плату. Сейчас собирает каштаны. Нажарит и будет продавать с сиротским видом. Каштаны невкусные. Розы, значит, отходят. Холодно для роз. Яблоки больше не лежат на стекле в потолке моей комнаты. Как-то незаметно пани Веверкова провернула сбор урожая. Неужто она сама ползала на крышу? Такая дородная пани. Или её сын юрист — розовые и изумрудные рубашки? Хотела бы я это видеть. Катя съехала к Либору. Комната целиком моя.

Не писала больше месяца. Сорок четыре дня! По ночам — этикетки, днём — спать, вечером кое-как есть, опять этикетки и ценники. Зато продвигается язык. Хотя в нашей бригаде все иностранки, кстати, есть и вьетнамки. Ночью мы, муравьи и пчёлы, наполняем соты едой, люди днём опустошают их дочиста. И опять мы укладываем и строим башни яств. Утрами я часто выхожу в туман. Иду по улицам, укутанная в его толстые одеяла. Порой кажется: вот сейчас из тумана проявится подъезд маминого дома или речка возле нашей дачи. Встретишь одинокого раннего человека и думаешь: кто он? Из какой страны? На кого похож? На лице у него ничего не написано — человек и всё. И тогда наяву охватывает тот космический страх: «Где я? Где мой дом?». Свет фонарей в тумане кажется пушистым. Жёлтым и пушистым, как цыплёнок. Целые выводки цыплят.

В городе зарождается Рождество. Нет никаких откровенных примет его: ёлок, огней, Санта Клаусов, ещё оно не названо по имени, но механизмы его уже запущены. Как это говорится? — витает в воздухе. Запах города изменился. В нём стало больше корицы, мёда, кофе — всего ароматного и горячего. Запах города стал похож на аромат домашнего уюта. И прохожие улыбаются, как родственники. Пани Веверкова крутит ручки на батареях отопления. Вид у неё, как у настройщика роялей. Пани Веверкова ищет приятный её постояльцам градус — среднее арифметическое для четырёх комнат. В собачий час, как раз когда я ухожу на работу, псы выходят гулять в курточках с капюшонами, в стёганных жилетках. Слабый мороз слегка подмораживает звуки, покрывает их тонкой ледяной корочкой, отчего они становятся звонче. Летний трамвайный дзинь и дзинь в начале зимы — два разных звука. Чего бы мне подарить себе на Рождество? Пани Веверковой я подарю коврик в ванную комнату. Она оценит.

Утром я, усталый рабочий муравей, выползла из супермаркета. Как тянет спать в метро! Метро — это большая уютная нора. В трамваях зато не тянет. Трамвай дребезжит, как будильник. Я стояла на остановке у метро, ждала свой трамвай. В ларьке продавали свежую выпечку, но лень было пройти до ларька десять метров. Не буду пить чай — упаду, как только приеду. Поодаль остановился экскурсионный двухэтажный автобус с простенькой надписью «Париж». Из автобуса вышли два парня и Маша в красном пальто. Юноши шли впереди и так, не оборачиваясь на Машу, быстро спустились в метро. Можно было подумать, что они совершенно не знакомые с Машей люди, если бы она не попыталась за ними побегать. Даже рот открыла для крика, но не крикнула. Был ли там Саша? — не разглядела. Шашека я совершенно не помнила. Я и видела-то его один раз мельком, когда он бежал от Машека по лестнице. Маша заозиралась по сторонам. «Ну её!» — сказал я изнутри, и я же снаружи полностью согласилась. Опустила лицо под капюшонам. Возле моего улёгтого в землю взгляда растерянно прошли Машины каблукки. Через минуту меня подхватил трамвай. Из него я видела, как Маша, открыв рот (валил пар), пялилась на расписание. Ничего в ней не изменилось. Может, стало больше игрушек? — не разглядеть. Да вот ещё на шее заболтался длинный розовый шарф.

«Боря! Это совсем не то, чего я ожидала! Весь текст переправлен, испорчен. Ведь я тебе предупреждала: ничего не трогать! Это принципиально, Боря! Сходи к этому уроду и скажи, чтоб вернул всё, как было. Если он такой умный, пусть напишет свой сборник. Я думаю, пятьсот экземпляров много, пусть будет сто. Мне не нужна широкая известность, пусть книга достанется только самым близким людям. Я, конечно, проведу презентацию, но разбрасываться моей книгой направо и налево не стану. Нечего метать бисер. Я хочу, чтоб у меня на презентации был рояль, свечи, живые цветы и обязательно кто-нибудь из центральной газеты. Ты их там всех знаешь, договорись с кем-нибудь, да хоть с Быковичем. Видный мужчина и пишет неплохо. Думаю, будут и из краевого суда. Что

посоветуешь читать на презентации? «Сердце женщины», думаю. Да? Фотография меня устривает, только надо убрать тени с шеи. Чтоб была совсем-совсем белая шея, без пятен. А то кажется, будто меня душили. Нет, Боря, я не хочу в Дездемоны. Свой автограф высылаю (см. прикрепленный файл). То, что я обещала тебе дать на издание твоего романа, ты получишь. Но не сейчас, Борька, немножечко позже. Мы с хомяком решили свозить своих птенцов в Европу — пусть оглядятся: подходит им это или нет. Так что свободных денег не будет до февраля.

Ты представляешь?! Саша вернулся! Этот наглец вернулся — рожа тлякой. Леониду Ивановичу сказал, что приехал на каникулы, а родители его кругом разболтали, что насовсем. Что ни капельки их сыну там не понравилось, что плевал он на эту учёбу и Европу. А чего Леонид Иванович хотел от этих колхозников?! За что боролся, на то и напоролся! Нашёл, кого облагодетельствовать! Ясно было сразу, что не в коня корм. Этот Саша теперь таким наглцом прохаживается. Курточка на нём, штаны, колпак заграничные. Ни у кого здесь таких нет. На рюкзак погремущки, цепи брякают. Все за ним, как дураки, ходят, девушки на нём штабелями висят. Я своей Янке сказала: «Только попробуй, только подойди к нему! Глаза выцарапаю». Прошлой ночью у Леонида Ивановича на гараже (гараж у него на две машины, ворота автоматические, мы себе тоже такие ставим) написали из баллончика жирное слово не по-русски. Смотри какое: *buzerant*. Мой Денис сказал (они, молодые, всё это быстро разнохивают друг от друга), что это самое страшное ругательство, и написал его Саша с друзьями. Ничего не скажешь — отблагодарил! Он и про Машу, это дочка прокурорская, всё разболтал. Вовсе она там не учится, пошла по рукам как самая настоящая потаскушка. Ужас! Съездили детки в Европу.

Мы хотим купить новую видеокамеру, чтобы всё-всё там заснять. Приеду — покажу. Не знаю ещё, как туда одеться. Шуб и каблучков, говорят, там не носят. А у меня ничего другого нет. Я вообще не представляю, как это ходить без каблучков? Как мужик, что ли? С лысьми пятками? Во вторник, к сожалению, не увидимся. Мне надо кое-что прикупить в дорогу. Беру с собой Янку. Устроим с ней шопинг! Ты ведь не сердись, Свин? Умоляю, застав твоего редактора все мои буквы и строчки поставить на место (пусть они на его взгляд корявые, но Я так хочу)».

Ну вот, душа переехала — стали сниться местные сны. Уже и во сне я хожу по здешним улицам. Хожу почему-то летом — во времени моего приезда, а сейчас уже канун Рождества. Я купила на рождественском базаре шарманку. Крутишь за ручку — тенькает мелодию любви. Медленно крутишь — долгая любовь, быстро — короткая. Купила двух марионеток — Шашека и Машека. Научу их танцевать под шарманку. Выйдем с ними на какой-нибудь свободный пятачок и запляшем перед туристами. Глупости, конечно. Ничего мы не запляшем — они у меня маленькие, их не будет видно. На больших кукол у меня нет денег. Катя вернулась от Либора. Надо бы и

ей купить какой-нибудь сувенир. Катя говорит, что они с Либором — люди с разными менталитетами и темпераментами. И к тому же вмешалась Либорова мама. Когда мы с пани Веверковой наряжали калитку, позвонил Боря. Сам позвонил уже во второй раз! Заорал во всю свою литровую глотку: «Ну-ка скажи мне, кто такой buzerant?!» И пани Веверкова, конечно, услышала. Встопорщила щипанные брови. Я отошла в сторону, перевела Боре: «Не ори, это педераст. Ты, наверное, хотел поздравить меня с наступающим Рождеством?!» — намекнула ему. Ничего подобного он не хотел. Гыгыкнул и отключился. Вот и думай, откуда он знает такие слова? Неужели я где-то проболталась?

Наши общежития стояли в сосновом бору. К остановке мы ходили по бетонной тропинке, на куски разодранной мощными корнями. В соснах жили белки — суетливые попрошайки. Летом лес кишел извращенцами, пугавшими студентов своими причиндалами. Близорукость надёжно охраняла мою невинность, но всё ж было гадко. Однажды по тропинке шла беременная Борина Юля. Шла она в наше общежитие разыскивать своего милого. И тут перед ней, еврейской интеллигентной девушкой, пожилой невзрачный мужчина, похожий на преподавателя, распахнул жёлтый румынский плащ (плащей этих навезли в Цум горы, они даже не стали дефицитом). Юля закричала, побежала, выдохлась на лестнице, и на седьмом этаже уже только стонала и охала. Мигом явившийся Борька показательно разъярился, скинул с себя штаны и затребовал Ольгину юбку.

Юбка еле налезла — Боря вырвал замок. Мы бросились искать Боре кофту (подошёл мой чёрный новогодний пузырь с оранжевыми воланами), и что-нибудь женское на голову. Юля уже не стонала-охала — она хохотала-клокотала, как клуша или кликуша. На голову Боре надели красный берет. Вещь это была напрасная, случайно, бестолково купленная. И вот пригодилась. Всё! Мы обессилели от хохота. Мы задыхались от хохота. Жаль, у нас не было кислородной подушки — сколько нервных клеток погибло от удушья. Боря — центнеровая Красная Шапочка бросился в лес, топоча по лестнице слоновьими ногами. Он намеревался ловить извращенцев на живца и калечить своей страшной дланью на месте. Видно, тогда у него и родился замысел его нобелевского романа. Но ни один извращенец не клюнул на такую воздушную, по мнению Бори, и десантную по факту девушку. Боря долго и настойчиво бродил в лесах (Юля не дождалась его — вернулась к родителям), его двухметровую фигуру в юбке и красном берете видела половина университета. Старшекурсник — корреспондент, что давал мне свои корочки на другой день поинтересовался: «Это правда, что Боря?..». И то самое слово, которым Боря сегодня напугал пани Веверкову. От таких воспоминаний я расхохоталась. А пани Веверкова так и стояла в растерянности с распутанной гирляндой. Я показала ей руками, что нужен удлинитель. Сосед напротив уже украсил разноцветными огнями два своих абрикоса, принялся за сливу. У нас с пани Веверковой получилось не хуже.

п. Балахта



Владимир Блинов

Сказки дедушки Блинова

124

Библиотека современного рассказа

Турунтаев и Евтушенко

В те годы слава Евгения Евтушенко гремела на весь СССР. Встреча свердловских литераторов со знаменитым поэтом проходила в Союзе писателей, на Пушкина, 12. Выступил ответственный секретарь свердловских писателей Лев Сорокин. Выступил и почётный московский гость. Начали читать стихи по кругу, на столах появились и «Столичная», и шампанское.

Владимир Турунтаев, сидевший в углу большой комнаты, заметил, что Евтушенко время от времени пристально смотрит в его сторону, надолго задерживает взгляд, дружески улыбается.

«Наверное, спутал с кем-то?» — скромно подумал уральский писатель.

Однако Евтушенко вновь бросил взгляд в его сторону и даже послал воздушный поцелуй, отчего Турунтаев зарделся.

«Может, прочитал в журнале „Урал“ мой очерк о хлеборобах Кургана? — начал было догадываться Турунтаев. — Ну, конечно, очерк смелый, совсем в духе бунтарских стихов Евтушенко...».

И тут Евтушенко поднимается со стула и произносит тост:

— Я хочу выпить за всех. Я очень рад гостеприимству и нашему знакомству. Но особенно дорог мне в вашем городе вот этот человек, — и указал фужером в сторону Турунтаева. — Я думаю, вы не будете возражать, если мы выпьем именно за него. Он достоин этого!

У Владимира Турунтаева аж дыхание спёрло. А московский гость уже шёл к нему, широко раскинув длинные руки для объятия.

Что делать? Так приходит слава. Владимир тоже поднялся и уже приготовился произнести «алаверды», как Евтушенко склонился и... обнял сидевшую рядом с Турунтаевым маленькую кругленькую пожилую женщину — Беллу Абрамовну Дижур, мать скульптора Эрнста Неизвестного, с которым Евтушенко был дружен.

— Я и подумал, что спутал с кем-то, — крикнул от досады очеркист и потянулся за бутербродом.

По морям, по волнам

Станислав Чайкин в молодые годы служил на флоте. Но и став писателем, уже в возрасте, не забывал натягивать тельняшку и ходил с полурасстегнутым воротом: знай наших, флотских!

Однажды Станислав Чайкин и другой прозаик, Владимир Турунтаев, оказались в Москве, они были командированы на совещание, где рассматривались планы издания приключенческой и фантастической литературы... До начала совещания оставалось не более часа. Турунтаев вышел в

коридор гостиницы. И что же он видит: навстречу ему, держась за стенку, движется Чайкин.

— Слава, ты чего это? Ты же пьян вдрабадан! — замахал Турунтаев длинными пальцами перед носом товарища.

— Ия? — ухмыльнулся Чайкин, закатывая глаза. — Ничуть!

— Да как же ничуть? Как же ничуть, когда ты, дурило, лыка не вяжешь! До совещания меньше часа. Мы всё провалим! Ни один уральский писатель не попадёт в план! Ты о чём думал, когда надирался? Ты с кем пил?

— Ия? Ни с кем... Ты считаешь, что я того... перебрал? Н-да, не-хо-ро-шо, хе...я получается. Но... мы это... щас. Где туалет?

Турунтаев помог дойти Чайкину до туалета и остался ждать его в коридоре. Тербил руки, хватался за голову и даже вскрикивал, пугая горничную:

— Что будет? Что будет?!

Так он нервно прохаживался по коридору, Чайкина нет пять минут, десять, пятнадцать... Да что он, уснул там, небось?..

И Владимир Турунтаев решительно вошёл в уборную. Прислушался. За дверцей одной из кабин журчала вода и раздавались мелодичные звуки. Владимир решительно дёрнул за ручку. И что же предстало его взору! На коленях перед унитазом стоял писатель Станислав Чайкин. Голову он опустил на дно унитаза. И, выждав, пока в очередной раз наполнится сливной бачок, дёргал за рычаг. Бурная струя воды ударила ему в голову, а после, дожидаясь нового наполнения бачка, Станислав исполнял довольно приятным баритоном:

— По морям, по волнам, ныне здесь, завтра там, по морям-морям, морям-морям, эх!..

Новый мощный водопад омыл его головушку! Так продолжалось раза четыре. Чайкин перестал петь. А Турунтаев, поаплодировав солисту, сказал:

— Ну, хватит валять дурака! Пора ехать на совещание! Только тебе не стоит там появляться, особенно подниматься на трибуну. Справлюсь как-нибудь один.

Чайкин встал на ноги. Вытер лицо ладонями. И припал к груди Турунтаева. Мокрый вид его оставлял желать лучшего. Но взгляд был вполне... И главное — он не качался.

На совещании он выступал довольно сносно. А в перерыве Турунтаев увидел его беседующим с писателем Вайнером, от которого многое зависело в утверждении издательского плана Союза писателей. Турунтаев приблизился к ним.

И почувствовал мощный выхлоп алкоголя! Он осторожно принюхался. И понял, что запах исходит не от Чайкина.

Невесёлая история

У Бориса Путилова в эмалированном тазу жила жаба. А сам Путилов жил в ящике — небольшой комнате общежития влк (Высших литературных курсов) в Москве. Откуда жаба взялась в его комнате, он понятия не имел, вернее — не мог припомнить. Главное, что и ему, и ей было в те поры одиноко и безденежно. Оттого, наверное, и отношения сложились добрыми. В чём-то сожительница стала даже редактором Путилова или его соавтором. Когда, например, Борис печатал на разбитой машинке очередной очерк о тружениках Качканара, а работа не спорилась, жаба ложилась на дно, замирала. Как только появлялось удачное место, яркая метафора, верная бытовая деталь, она тут же выныривала и издавала, шлёпая губами, одобряющий звук.

Порой недоумевавшие соседи наблюдали: слушатель с Урала начинал прыгать по комнате, как сумасшедший. Думали, в баскетбол, что ли, сам с собой играет? А это он ловил мух для жабы: надо же было её чем-то кормить. Мух было много. Вскоре к кормёжке животного приступили сердобольные слушательницы влк, хотя Борис подозревал: жаба — это лишь повод; на самом деле слушательницам нравятся не царевна-лягушка, а он — талантливый и красавец.

Однажды Путилов пожаловался жабе на то, что нет даже трёшки на опохмелку, и что он ей завидует по этому случаю.

— Вот если бы ты была золотой рыбкой, — ворчал Путилов, — другое дело, но ты просто жаба.

При этих словах жаба медленно закрывала глаза.

И в тот миг — о чудо! — распахивается дверь и в комнату влетает — кто бы вы думали? — Гришка Варшавский, поэт, фронтовик, автор замечательной песни «Если вы не были в Свердловске».

И с ним ещё какой-то парнишка с Урала. Из кармана земляка торчали два горлышка поллитровок. Ну, обнялись, поздоровались. Тут же Борис смахнул на пол очерк о качканарцах, освободил стол, распечатал бутылки. И началось!

Не успели наговориться — бутылки выпиты. Григорий Варшавский достаёт из пистончика пятёрку, и Путилов, как хозяин, отправляется в магазин. Там берёт «огнетушитель» (большая бутылка 0,75 литра, обычно с ординарным розовым портвейном, «чернилами»), палку чайной колбасы, буханку хлеба. И — трусой назад.

...Бежит мимо кухни. Оттуда вкусно пахло жареным. Влетает в свою комнату, ставит покупки на стол и видит — Варшавский что-то дожёвывает, причмокивая. А в руках у него — маленькая белая косточка.

— Что вы едите? — спросил ничего не подозревавший Путилов.

— О, Боб! Это французский деликатес. Попробуй. Вкусно?.. То-то же! Французы знают толк в еде.

И только тут до Бориса дошло, что они — жабу. Живьём! На чужом подсолнечном масле... зажали?

— Сволочи, — вздохнул Путилов и налил себе полный стакан. — За упокой, — добавил грустно, не чокаясь.

...Интересно, вспоминал ли Григорий Абрамович Варшавский, пребывая в эмиграции, сидя в парижском ресторане «Шехерезада» и закусывая жульеном из лягушачьих окорочков, того золотисто-зелёного соавтора и сожительницу Путилова, которую он смаковал в общежитии влк? Едва ли.

Тёзка-крысоид

Борис Анатольевич Путилов, писатель, не раз давал рекомендации молодым сочинителям для вступления в профессиональный Союз. На этот раз ему предстояло благословить обворожительную, пышнотелую, кареокую Анну Кирьянову, прозаика яркого, ироничного.

В автобиографических повествованиях ирония и самоирония А. Я. Кирьяновой доходят до того, что она не щадит ни дальних предков, ни ближних, ни себя самоё. Например, смакуя давний эпизод, может припомнить, как она, Анечка, пятилетней девочкой гуляла по бульвару с дедушкой, отставным полковником, и дедушка просил внучку быстро и незаметно подбирать чинарики, валявшиеся вдоль тротуара. Анечку игра забавляла, она старалась найти окурки подлиннее, дедушка хваливал смышлённую девчужку, а то беда: сварливая жёнушка не то, что на кружку пива с «прицепом» не даст, — на курево, скарденая, жалеет...

Б. А. Путилов, готовя основательную рекомендацию, решил перечистить повесть А. Кирьяновой и, к радости, узнал в одном её герое своего старого доброго знакомого. Это тоже был дедушка Ани, однако не тот полковник, о которого бабушка вытирала тромбофлебитные ноги, а другой дедушка — физиолог, доктор биологических наук, заведующий проблемной лабораторией.

В эту-то лабораторию и повадился в кои-то поры Борис Анатольевич. И не без основания.

Вспомнилось, лаборатория была особенная. В ней — дедушка А. Кирьяновой, впрочем, тогда ещё не дедушка, ибо на свете не было не только замечательной писательницы, но даже девочки с алым бантом, собирающей в карман окурки для другого дедушки. Назовём ещё не дедушку Антоном Семёновичем, или просто Учёным. Учёный проводил оригинальные эксперименты: он добавлял в пищу и питьё подопытным крысам спирт, чем доводил бедных грызунов до явного алкоголизма. А затем, подобно жене другого Аниного дедушки, не давал крысам ни грамма алкоголя, измерял им температуру тела и давление: наблюдал, скоро ли животные отвыкнут от пагубного пристрастия.

Причём же здесь Б. А. Путилов, журналист и писатель, и крысиная лаборатория, спросите вы? Может быть, БАП хотел написать очередной очерк для «Уральского рабочего», как написал целую книгу об академике Вонсовском? Отнюдь! Путилов приходил к доброму Учёному опохмеляться!

Спирту для экспериментов выписывалось в достатке, учесть его ревизорам было практически невозможно, ведь если для опьянения человека, например, Бориса Анатольевича, требуется от 400 (если без закуски) до 700 граммов (с плавленным сырком «Дружба»), то никто в мире не знает, сколько может вмазать крыса-алкоголик.

...Познакомились писатель и Учёный в парной бани, что на улице Куйбышева, и, навестив как-то нового друга в его лаборатории, Борис Анатольевич понял, что здесь он всегда сможет найти спасение. За счёт неучтённого медикаментозного спирта. Признаться, и Учёному было весьма приятно пребывать в обществе литератора, тем более, последний утверждал, что он лучший прозаик РСФСР.

— Почему только России, — любопытствовал физиолог, — а не СССР?

— А в республиках мне вообще нет конкурентов! — махал левой рукой Борис Путилов, одновременно правой намахивая очередную мензурку. Надо честно признать, писатель не нагелл, не был навязчивым и набегал в секретную лабораторию лишь с ба-а-льшого бодуна.

В очередной такой случай, на грани «белочки», Борис направлялся шаркающей пробежкой в заветную лабораторию. Тут необходимо отметить — в крысином семействе после очередного, запланированного Учёным, длительного алкогольного загула, начиналась «неделя трезвости» с введением особых инъекций, якобы отбивающих тягу к алкоголю. Впоследствии на основе статистических данных метод Учёного предполагалось внедрить в наркологическом корпусе Агафуровских дач, испытать на «алконавтах», свозимых из столицы Урала.

Итак, крысы были в недельной завязке. В это время открывается дверь и в лабораторию входит писатель Путилов в пальто, накинутом на голубую майку. Крысы и раньше его недолюбливали, догадываясь, что он порой выпивал то, что полагалось им, крысам, по плану научных исследований и по показателям социалистического соревнования (экономия государственных средств).

На этот раз крысы встретили Бориса Путилова как своего спасителя. Выхлоп от него был столь интенсивен, что достиг самых дальних клеток, стоящих вдоль узкого коридора.

Борис вошёл и опешил: на него с двух сторон горящими глазами жадно взирало множество крыс. Их взгляды, писк, и, казалось, требовательный нечеловеческий голос просил, умолял, требовал: «Дай, дай, налеяй, дружище!».

Вдруг щёлкнула щеколда дальней клетки, где в числе перспективных пациентов проживал самый старый, опытный самец-алкоголик, названный Учёным в честь нового друга Борисом. Ушлый Борис-крысоид острым когтем ловко поддел щеколду, решётчатая дверца с визгом распахнулась и... дюжина крыс с красными жадными глазами устремилась на лучшего прозаика РСФСР. Борис Анатольевич Путилов попятился, запнулся за порожек, опрокинулся на спину. Хотел было кричать, звать на помощь. Но во рту не было не только голоса, даже слюны. К тому же и хозяин в лаборатории отсутствовал. Тусклым сознанием

Борис Анатольевич припомнил: банный день. С усилием, преодолевая напор бешеных тварей, он прикрыл дверь и поплёлся домой с единственной надеждой, что жена не обнаружила за 10-тым собранием сочинений Горького (тот, говорят, по литрухе мог оприходовать, не случаен и псевдоним, куда смешнее было бы назваться Макс Трезвый или Алексей Сладкий), пару фунфыриков со спиртовым настоем боярышника.

Фунфыри оказались на месте, ворчащая жена — на кухне, Борис прокандыбачил в свой рабочий кабинет, натрюнчал в стопку из первого фунфырика, сунул руку в карман пальто, где был припасён кусочек краковской колбасы... и чуть не вскрикнул! Из кармана выглядывал крупный самец, вожак крысиного племени, его тёзка Борис. Что делать? Борис-писатель вытряхнул из пепельницы окурки «Казбека» в цветочный горшок, плеснул спиртного Борису-крысоиду, немного разбавив водой:

— Пей, братишка!

— Спасибо, старик, — ответил вождь, с глазами, горящими рубиновым цветом. — Спасибо, трубы, понял, горят!

И начал, не чокаясь, лакать маленьким розовым язычком вождельное пойло из пепельницы.

Вот такая история вспомнилась Борису Анатольевичу Путилову, когда он писал рекомендацию для вступления в Союз писателей екатеринбургской красавице Анне Кирыновой.

Кто кого пересидит?

Геннадий Бокарев, молодой, но уже прославившийся драматург, и киносценарист Валентин Ежов вошли в цдл. В баре Ежова узнали и тут же пригласили за столик, где сидели модные в ту пору поэты Стелла Нахапетова, Андриевский и Тожественский. Подсели. Шутки, разговоры, стихи. Да ещё вскоре подкатил шарообразный усатый Григорий Разведян. Пир пошёл горой, поздравления свежеспечённому лауреату Государственной премии Валентину Ежову...

Потом кто-то, кажется, Андриевский встал и произнёс тост за надежду русской поэзии Стеллу Нахапетову. Подняли бокалы, вскочили, похвалы в адрес поэтессы, пожелания новых гениальных стихов и книг... Стелла была сильно под газом, как всегда. И вскоре её поднимают из-за стола и отправляют на такси домой.

Только она уходит, Тожественский в задумчивости произносит:

— Вот тебе и надежда поэзии... Вы видели, до какого состояния она доходит, до состояния, можно сказать, Фиджержальда. Не пишет ничего, да и прошлые её заслуги ты, старик, извини, преувеличиваешь...

— Да, я уж так, по старой дружбе, — признался Андриевский.

Снова все пьют, говорят о том, о сём... Тожественский встаёт во весь немалый рост и произносит с пафосом:

— Вот за кого бы я выпил, так это за Андриевского, человека, который прокладывает новые пути не только в отечественной, но и в мировой поэзии!

— О, конечно, же! — подхватывают гостующего друга и пьют за Андриевского.

Андриевский с сутулостью классика улыбается, жмёт всем руки, пьёт на посошок, идёт к выходу. Ещё не скрылась его спина, а Разведян говорит в полголоса:

— Вот кто действительно подавал надежды... Но что осталось? Самопародия какая-то, выкрутасы немолодого козла на фигурных конёчках?

Все, и Тождественский тоже, согласно кивают: да-да, куда подевался талант?... Вот у кого талант не увядает, а развивается по восходящей, так это у Тождественского! И кто-то предлагает выпить за его «нетленку», за новую поэму «Десять тысяч шагов вокруг Красной площади». Все дружно пьют до дна и просят прочитать что-нибудь свеженькое. Тождественский делается серьёзным и, по-рачьи тараща глаза, читает отрывок из поэмы.

— Вот это действительно вклад в мировую поэзию! — аплодируют ему. — Разве сравнишь с поверхностными версификациями «Ленинской лесопильни» или с «Исключением Казанского бунтаря», а? — Разведян обводит застолье нетрезвыми взглядам.

Трудно не согласиться с поэтом-фронтовиком.

Но вот и Тождественскому пора уходить. Издали он ещё машет приветственной рукой собутельникам и уходит. А Разведян говорит Ежову вдруг протрезвевшим голосом:

— Ну что, Валя, давай выпьем за тебя. Что там всякие Габриловичи, Антониони, Тарковские, ты у нас — настоящий поэт кинематографа, ты величайший...

— Э-э-э, постой, Григол, — улыбается и машет пальцем Ежов. — Ты, Гриша, меня сегодня не пересядешь. Я уйду последним!

Геннадий Бокарев, молодой, но уже прославившийся драматург, постигая московскую богему, трясёт упрямым чубом, разливая по опустевшим фужерам... Все трое смеются и выпивают просто за здоровье.

Ноги

Арсен Титов, получивший гонорар за роман «Одинокое моё счастье», решил обновить свой гардероб. А начать стоило с зимних ботинок. Старые-то совсем приносились.

Пошёл Арсен в ближайший магазин. И к своему изумлению и радости, увидел, что магазинчик принадлежит нашему брату — поэту Вадиму Осипову и его супруге Ольге. Уж они-то помогут подобрать то, что надо!

Вадим познакомил Арсена с молоденькой продавщицей и попросил её внимательно отнестись к покупателю. После долгих объяснений с продавщицей и упорных, придиричьих примерок, Арсен, наконец, решился и заплатил за пару чёрных китайских ботинок, правда, грубоватых, напоминавших модели советской фабрики «Уралобувь», но зато тёплых и добротных. В общем, дёшево и сердито!

Однако через день Арсен вновь вплыл на раздутых парусах своих усов в магазин. И — прямо к директору:

— Вадим Вениаминович, произошло недоразумение: ваша продавщица всучила мне два одинаковых ботинка!

Вадим Осипов раскрыл коробку и обнаружил два ботинка, и оба — на правую ногу! Как же так? Может, что-то перепутали? Он призвал на совет Ольгу и помощницу. И сообща они вспомнили: всю неделю в магазин заходил колченогий, бомжик на деревянной ноге. Он-то, видимо, и смухлевал, ухватив две пары обуви, одну — на сейчас, другую — впрок. Вадим успокоил Арсена и тут же приказал поменять один правый ботинок на левый.

— Нет-нет, — замахал руками автор «Одинокое счастья», — вы меня не поняли. То, что оба ботинка правых, — это ничего, это мне даже больше подходит. Но я ведь просил девушку продать мне ботинки разного размера.

Тут произошла некая заминка. Все переглянулись. И растерянно заулыбались: как так?

— Видите ли, — начал писатель монолог, держа в растопыренных руках пару китайских ботинок и, как гусь лапчатый, вышагивая красными носками по льдистому мраморному полу, — видите ли, тут особая ситуация. Дело в том, что с рождения у меня ноги разного размера, правая — тридцать девятого, а левая — почти сорок второго. Что? Нет, с рождения размеры были другими, но тоже разными, а к четырнадцати годам установились такие параметры, которые и останутся, видимо, до выхода на незаслуженный отдых — шутка! — а там уж не до размеров. Извольте удостовериться, — прозаик стянул носок, и все увидели розовые пальчики с аккуратно подрезанными ногтями, — это левая нога, унаследовавшая шифр ДНК от моего русского прадеда...

— Арсен Борисыч, — сказала сердобольная Ольга Осипова, которой розовые пальцы писателя напомнили дёсны беззубого внука, — Арсен Борисыч Титов, вы бы надели тапочки, пол холодный, простудитесь...

— Нет-нет, я никогда не болею, — соврал Титов и даже не покраснел.

— Запачкаете ноги, столько посетителей, не успеваем подтирать пол.

— Не обращайтесь внимания! А то, что запачкаю, так у нас в новом доме всё равно водопровод не работает... Итак, — продолжал он, — левая, сорок вторая, а правая — тридцать девятая, — генетическое наследие бабушки-грузинки. Приходится приспосабливаться. Ношу ботинки сорок второго. Одна нога в тесноте, так что приходится обрезать ногти аж до мяса. Другая же болтается, как мутовка в квашонке.

— Ты, наверное, набиваешь носок ватой? — сообразил догадливый поэт Вадим Осипов, он же директор лучшего на Синих камнях обувного магазина.

— Зачем ватой? Всё совершается естественным путём. Я никогда не остираю ногтей на правой ноге. Они растут, загигаются, завиваются, переплетаются, и образуется своеобразное ногтевое копыто, заполняющее пространство большого ботинка. Вата может скатываться, увлажняться. А представьте себе, вдруг она вывалится, когда ты пришёл в гости к девушке и начал разуваться!

Нет, натуральное ногтевое заполнение куда удобнее и надёжнее. Да и экономичнее! Не приходится тратиться на вату.

На какое-то мгновение все призадумались, притихли. Казалось, было слышно, как пошевеливаются, шуршат и даже попискивают кудрявые ногти внутри так и неснятого пурпурного носка с правой, малой ноги писателя.

— А тут мне, можно сказать, повезло, — снова оживился Арсен. — Как-никак знакомые, друзья-коллеги. Думаю, наконец-то, смогу приобрести два разных ботинка. Тогда и ногти можно будет ликвидировать на меньшенькой...

— Арсен, о чём речь! — воскликнул Осипов. — Да мы для тебя...

И тут же приказал продавщице подобрать покупателю необходимую обувь.

...Вадим и Ольга стояли, обнявшись, и наблюдали сквозь незамёрзшее витринное стекло, как автор, воспевавший одинокое счастье, удерживая равновесие на обледенелом тротуаре, покрытом «чернецкими плитками», удалялся в направлении высотки, где он недавно получил квартиру. Чёрные брючины, красные носки, блестящие китайские ботинки...

— «На красных лапах гусь проворный, задував плыть по лону вод, ступает медленно на лёд, идёт и падает...» — произнёс Осипов, припомнив типичную ошибку школьной декламации.

— Вадим, это, конечно, хорошо, что мы помогли товарищу, но теперь придётся кому-то сплавить два разных по размеру ботинка или взять расходы на себя...

— Подумаешь! — вздохнул Вадим. — Зато помогли хорошему писателю!

— А что как и другие члены Союза пойдут к нам с подобными просьбами?

— Ты что, думаешь, у всех писателей разные ноги? — неуверенно проговорил директор магазина.

И непроизвольно посмотрел на свои ботинки: ему явно померещилось, как ногти правой ноги упёрлись в носок, и ногу стало ужасно сдавливать.

Он отёр пот с сократовского лба и ухмыльнулся, подумал сам о себе: ужасно впечатлительный народ — эти поэты. Ухмылка, однако, тут же сошла с лица — Осипов заметил, как из правого ботинка показался бледно-лиловый ноготь, похожий на росток картошки. Не обнаруживая тревоги, Вадим Вениаминович захромал в сторону своего кабинета.

Претендент

Майя Петровна Никулина свила на своей кухне поэтическое гнездо. Многие из него вылетели, многих пернатых выкормила Майя и выпустила в самостоятельный полёт...

Однажды, когда Майя Петровна уже заснула первым сладким сном, в дверь робко ударили кулаком. И раз, и другой. Майя Петровна накинула халат и открыла дверь. В дверном проёме, как в багетной раме, нарисовался красавец Юра Казарин. В новой джинсовке и с извинительной улыбкой на половецком лице. На согнутой руке Казарина висел серый плащ, изрядно помятый и вымазанный золотисто-охристой глиной.

— Проходи, Юра, — протирая заспанные глаза, произнесла наставница екатеринбургских поэтов.

Казарин прошёл на поэтическую кухню и небрежно бросил плащ на старое прокуренное кресло. Вошедшая вслед Никулина отметила без особого удивления: на спинке стула висел вовсе не серый плащ, измазанный глиной, а поэт Александр Верников. Из кармана плаща, вернее Александра Верникова, вывалились белые листы прекрасной финской бумаги.

Пока Казарин, провалившись в другое кресло, шумно дышал ноздрями и крутил болгарскую сигарету в ожидании традиционного ночного кофе, Майя Петровна подняла с пола листы и, окончательно освободившись от чар Морфея, прочла строки, отпечатанные на машинке:

«Александр Верников. Речь на вручении Нобелевской премии 2002 года (тезисы)».

Обкомовский коньяк

...На встречу с Первым был приглашён писательский актив во главе со Львом Сорокиным, бывшим в то время Ответственным секретарём Свердловской писательской организации. Писатели, волнуясь, пошучивая, ожидали в зале заседаний: когда же появится Борис Николаевич. Почти каждый принёс в подарок книгу — как бы творческий отчёт. Встреча была приурочена к 50-летию Союза писателей СССР. Однако на столах была только минералка, карандаши, листы белой бумаги. Значит, ни выпивки, ни чая не предусматривалось...

Вошёл Первый. Все встали, и он, здороваясь с каждым за руку, некоторых, узнавая, называл по имени-отчеству: — Здравствуйте, Лев Леонидович!.. Здравствуйте, Борис Степанович... Приветствую, Геннадий Кузьмич!.. Вадим Кузьмич!

Б. Н. довольно долго рассказывал о хозяйственных планах и свершениях. Видно, что он вполне владел материалом, сыпал цифрами, процентами, темпами и достижениями. Потом кратко поговорил о современной литературе. Кстати, процитировал опубликованное в журнале «Урал» стихотворение, в котором повествовалось, как из занюханной столовки с помощью цветочков и уюты создали достойное заведение, даже алкоголики обомлели. Вот так должны помогать нам писатели, умелым пером воспитывать нового человека, резюмировал Б. Н.

Однако надежда на то, что по завершении встречи состоится застолье с коньяком, водочкой «Посольской», икрой и прочими обкомовскими яствами, увы, рушилась. И тогда один из писателей, когда уже все собирались покинуть кабинет Первого, провёл рукой по белоснежной шевелюре и решил:

— Борис Николаевич, можно ещё один вопрос, одну просьбу?..

Писательский руководитель Лев Сорокин вспыхнул, как маков цвет: опять что-нибудь несусветное выкинет Метелица (будем так называть седовласого), от него всего можно ожидать — лагеря прошёл, да и характером крут. И он, Лев Леонидович, даже притронулся к плечу Метелицы и умоляюще поглядел на него, дескать, не

надо, всё уже обсудили. Однако Метелица снял с плеча длань начальника и продолжил:

— Борис Николаевич, я к вам как мужчина к мужчине. И не только от себя...

— Говорите-говорите, — позволил Ельцин.

— Понимаете, Борис Николаевич, писательский труд требует определённого психического напряжения, приходится изображать в художественном произведении и семейные драмы, и производственные коллизии, в детективах — даже убийства. Писатель перевоплощается, входит в образ, но ведь как-то надо и выйти из образа. Вот и приходится выпить рюмку-две, иногда и побольше. В зависимости от сюжета. Ну, и сами понимаете, можно нарваться на неприятности. Идешь по улице, обдумываешь новый роман, а тебя — хватъ милиции и — в вытрезвитель! Да ещё и сообщают по месту службы, позорят в стенгазете...

— Понимаю, — тряхнул чубом Ельцин и криво ухмыльнулся, — и что вы предлагаете?

— Я прошу вас, Борис Николаевич, от имени нашей писательской братии, дайте указание милиции, чтобы нас не преследовали и не бросали в вытрезвители, если мы рюмку-другую...

— Ван Ваныч, — подозвал помощника Ельцин, — сегодня же свяжите меня с Князьевым, пусть подготовит по Управлению милиции следующее решение... Надо уважать не только труд писателя, но и его отдых.

Что говорить, многие из нас в ту пору (да только ли в ту?) любили расслабиться. И аз грешный. Только мне приходилось делать это в меру или за домашним столом: членского билета Союза писателей у меня ещё не было. Метелица же торжествовал! И нередко добрейшая официантка Тося вызывала милицию прямо в кафе Дома работников культуры по просьбе самого Метелицы. Быстро ко входу подкатывала милицейская мотоциклетка. Метелицу брали под белы ручки, усаживали в коляску. И долго по ночному городу раздавался его разудалый голос, исполнявший песню, созданную Евгением Родыгиным и поэтом Григорием Варшавским: «Рассвет встаёт над городом, заря светлым-светло...».

— Вам куда сегодня, товарищ писатель? — вежливо допрашивал Метелицу милиционер-водила.

Дело в том, что каждый раз Метелица называл разные адреса: чтобы окончательно исправить ошибку недельной трезвости своего труда, он направлялся обычно то к писателю Филипповичу, то к Шерману, то к милейшему Валере Климушкину. При этом не помня в точности их адресов...

— Как любо всё и дорого, и на сердце тепло, — подпевал баском милиционер, нажимая на газ.

Хуже получилось однажды у писателя Щ. Уже знал его участковый. Обнаруживая нетвёрдо стоящего высоченного человека возле старого тополя, мильтон, недовольно бурча «опять эти писатели», всё же доводил Щ. до его подъезда: постановление начальника у вд надлежало выполнять, тем более, все знали, что принято оно по указанию Самого!

В тот раз Щ., смазавши утомлённый организм в заветном кафе, надеялся, что никто его не арестует, и он вовремя доберётся до дому. Однако по дороге его поприжало, ибо сегодня он оттянулся

не только водочкой, но ещё и «обкомовским коньяком» (настойкой боярышника) да ещё и — вот этого не следовало делать! — приласкал мочевой пузырь «Жигулёвским». Требовалось отлить. Однако вокруг — немногочисленный народ, и все, как назло или на радость, женщины.

По улице проходила довольно глубокая траншея для укладки газопровода. И Щ., припомнив детские шалости на ледяной катушке, мигом съехал по крутому склону. Сделав своё дело, он попытался вылезти на дневную поверхность, но не тут-то было. Глинистый склон после осеннего дождика казался намыленным. И Щ. несколько раз скатывался, сползал вниз. Он не оставлял попыток, стыдно было бывшему альпинисту, бравшему вершины Кавказа, не одолеть какую-то коварную канаву. В конце концов руки, лицо и шея Щ. были настолько измазаны шоколадной глиной, что он стал похож на мулата.

И тут — о, счастье! — он услышал знакомый голос участкового:

— Давай лапу!

Оказавшись на поверхности, Щ. счастливо засмеялся и хотел было обнять участкового, как родного. Но тот испуганно отстранился, увидев перед собой подозрительного «эфиопа»: на его участке иностранцев не проживало.

— Да я... то, роман, понимаешь ли...

— Роман? Имя Роман, а фамилия? Ваши документы!

— Да не Роман я, а мы новый роман обмывали. Не узнал, что ли? Про указ самого Ельцина забыл? — неожиданно для самого себя рывкнул Щ. и сунул под нос мента краснокожий билет с портретом Ильича и с золотым теснением «Союз писателей СССР».

Увидев знакомые корочки и распознав голос Щ., мильтон даже обрадовался: не придётся возиться с иностранцем, проживающим без прописки. Брезгливо поддерживая Щ. за локоть, он повёл его домой. Вот и знакомый подъезд. Лифт, конечно, не работал. Пришлось вновь штурмовать вершину, на этот раз лестницу.

Олюшка, молодая жена писателя Щ., открыла дверь.

— Ваш? — рыгнул участковый.

Видя перед собой довольно симпатичного мулата, беззубо и виновато улыбающегося и кокетливо игравшего глазами, Олюшка честно сказала:

— Что значит «ваш»? Первый раз вижу, у нас такие не проживают.

Выскочивший из-за её спины белокурый сын Ванечка радостно закричал:

— Папа, папа пришёл!

Как он узнал в Щ. родного отца, до сих пор остаётся загадкой.

P. S.

Кстати, руководителю екатеринбургских писателей стоило бы обратиться в компетентные органы и восстановить достопамятное постановление, чтобы обкомовская льгота действовала и в XXI веке: ведь её никто не отменял.

г. Екатеринбург

Екатерина Вихрева Всё говорит, что ты жив



Город людьми переполнен,
И несказанно пуст.
В попытках развить силу воли
Бросаюсь в терновый куст.

Пишу на ходу на листочках,
Вырванных из души,
В попытках сделать чуть больше,
Чем мне дано совершить.

В холодных N-sk'их кварталах,
В гулких тоннелях метро —
В попытках понять, чем я стала,
Влюбившись в своё ремесло

Исчерпывать дело словами,
Как ложкой — вчерашний кефир.
В попытках коснуться руками,
Почувствовать этот мир —

Всегда терпеть поражение,
Всегда тонуть, не доплыв
К поверхности снов, где движение,
И всё говорит, что ты жив.

А здесь только ветер осенний,
И уличный музыкант
Смеётся над нами над всеми,
Фортуне подставив карман.

Песенка

Мой муж, он смуглый, как пират,
И как пират влюблён.
В меня ли? Кто их разберёт,
Романтиков из волн.

Он любит, может, не меня,
А девушку из грёз,
А я — меня он взял с собой
Ведь хуже не нашлось.

Мой муж, он гордый, как король,
И добрый, как силач.
В его руках моя душа,
Мой смех и горький плач.

Мой муж, он смелый, как дитя,
И мудрый, как старик.
А я — меня он взял с собой,
Ведь наш корабль велик.



Кто бы взял за руку, вывел на свет.
Сказал бы, что смерти и страха нет.
Выломал дверцу бы, выпустил птиц.
Лети.



Провинция встречает холодом. В запястьях фонарей
Вцепляется туман. В какой-то мере
Здесь твой театр и ты среди людей
На сцене, на балконе и в партере, —

Неважно... Главное — свои.
Ты здесь — единственна, а там — одна из многих,
Там — просто люди на куске земли,
А здесь светила и под ними — боги.

И ты играешь всем, и пусть тебе — никто,
Но и в толпе знакомые все лица,
Ты отражаешь свет, ты — зеркало в пустом
проёме, где сквозняк остановился

Заполнить на мгновение пустоту,
Пока ты их глазами на себя смотрела
(ты видела себя и знала красоту)...
А там — ты в контуре из мела,

Ненужная другим, невстреченная ими,
Одна в столице, в целом — но не часть,
Без имени, да и на что там имя,
Где некому и некого встречать?...



Девочки с прокуренными нервами,
Мальчики с неженской судьбой,
Сколько же здесь вас, что были первыми,
Так и не успев побыть собой.

Злые слёзы, щегольские шарфики,
Матерные речи и стихи.
Сколько было вам, седые аватарщики,
Когда вы помирали от тоски

С сотнями друзей и комментаторов, —
Облака, укравшие штаны.
Боже! Ты не милосерден к аффтару:
В аське icon с левой стороны.



Я слишком увлеклась мимикрией
И, кажется, рассеялась в среду.
Я научилась принимать религии,
Но вот свою упорно не найду.

Я рисовала кошек и кораблики,
И плавала, самой не по себе.
Я раздавала хлебы и отмахалась саблями,
Друзей и недругов собравши на обед.

Я уникальна, как хамелеон на палочке,
Я выдающийся специалист
По тем из Белоснежек и Русалочек
Которых Принцы просят «Отвали...».

Наталья Леонтьева Заклинания

Памяти друга

1.

Как страстно ты её желал.
Смежились веки.
Ты обманул, ты обещал:
«Твой друг навеки!»

Скажи, ты думал или нет —
ещё под кожей —
о том, что этот белый свет
всего дороже?

О тех, кто ближе и родней
в жилой пустыне:
о матери, и о жене,
отце и сыне?

Скажи, ты думал обо мне,
подруге бедной,
о страшной пред тобой вине
в любви бесследной?

Я вправе говорить с тобой?
Пришла... спросила...
Как пахнет скошенной травой
в ответ могила.

3.

...я буду качаться в вагоне
и пиво с попучицей пить,
и жадно курить на перроне,
взятяг торопливо курить,
трепаться, травить анекдоты,
в окно терпеливо смотреть,
и долго, даваясь от зевоты,
выслушивать сальный ответ,
и думать с надеждой на встречу:
«Не встретимся мы. Никогда
Не встретимся. Друг мой далече.
Не ходят туда поезда».

5.

Что делать в Петербурге? — Умер Блок.
А в Екатеринбурге умер Рыжий.
Какой-то хрен в очках назло нам выжил,
труп Пушкина на санках приволок.

Что? — такова поэзия сама?
Она со смертью только обретает
того, кто в облаках теперь витает,
для тех, кто жив, но выжил из ума?

А ну-ка, взгромоздим на пьедестал
их коллективный бюст во весь огромный
литературный рост. Стой, монстр нескромный,
на зависть всем, кто влезть туда мечтал.

2.

я кричала в трубку люблю тебя! я любила тебя как тыщи
миллионы братьев сестёр читателей — вот они! никогда не смогут
а теперь? осталось прийти на безымянное — так ты хотел? — кладбище
землю неверными пальцами над тобою землю рыдая трогать.

что ты сделал с собой чудовище ты прекрасное?! что ты выдумал
беспардонный ублюдок никакой меры ни в чём не знающий?!
ну? смерть — та уже какой ты видел её до того как увидел её?
или — та ещё?

умоляю не надо идиоты глупцы придурки прошу не надо!
жизнь не киносеанс чтоб покидать несравненную добровольно
есть одна лишь единственная одна но бесценная есть улада —
плакать петь любить! вам этого мало? этого — не довольно?

ну напейся ещё раз и выбей эту дурь из такого же эгоиста
на ладони его сигаретой выжги сердце здесь был я в натуре ваще
никогда слышишь не смей забывать своего ребёнка взгляд чистый!
не отпуская ладошки его дрожащей!

«...пусть он будет нашим Раем...»
из письма Б.Р.

4.

Не доехать до тебя — там расстояние
километрами не меряют, а сиянье,
над твоею что стоит над головою,
не измерить в киловаттах нам с тобою.

Надо жить и всё такое... Жить, дружище!
А теперь мы только пицца-вкуснотища.
Ты — червям, а я — людям: одна бодяга.
Где, скажи, теперь душа твоя, бродяга?

У Канавки, верно, Зимней? Скоро лето.
Вновь пришла пора в град Питер брать билеты,
чтоб при жизни побывать в Раю поэта,
говорившего про это это это

6.

Как избавиться мне от твоей любви?
Как забыть, что с тобой мы почти «кенты»?
Улыбнись в слезах: не зови, зови —
не услышишь ты, не вернёшься ты.

Возводить покойников на пьедестал —
головокружительное занятие!
Ясно мне теперь, кем для них ты стал.
кем ты был для них — не понять мне.

«О бандитах пишуший» гений-поэт?
Иль ещё один золотой дурачок,
добровольно покинувший этот свет,
петлю набросивши на крючок?

Взгляд лучезарный свой отведи
от детей ничтожных без-тебя-дня.
Пойми, я такая же — не гляди! —
как они. Прости! Не люби меня!

131

7.
Мне снились фотографии, которых
на самом деле нет, где я и ты,
где мы с тобой в обнимку. Нет, вернее,
меня ты прижимаешь за плечо
к себе так крепко: «Ну же! Не тушуйся!
Ведь ты — мой друг? Ведь мы с тобой — друзья!»
И это — «Антибукер», то есть — после,
иль «Северная» — чтоб её! — «Пальмира».
И ты в своём единственном костюме
коричневом и в галстукке, который
под тяжестью твоею оборвался...
А я просила, так тебя просила:
«Приснись мне, Боря! Боренька, приснись!»
А мне всё снились фото, фото, фото,
которые мы сделать не успели...

8.
До сих пор, вспоминая тебя, я порой начинаю плакать.
Горе вонзается в сердце в самых неподходящих местах:
вот я с куском во рту, слёзы в суп продолжают капать,
вот в тёплую ванну ложусь, чтоб издать восторженно «ах!»,
а из груди, изнутри души моей, не забывшей
теплоту твоих слов и колкость, и в голосе просьбы исполнить,
вырывается горькое «О-о!», и, сидя в воде остывшей,
я молю: «Из числа скорбящих уволь же меня, уволь!»

Я хочу тебя помнить, и я совсем не хочу тебя помнить.
Потому что дороже этих воспоминаний нет и больше нет.
Но как бы я ни просила, ты не в силах просьбы исполнить.
Сколько лет без тебя придётся здесь прожить! Сколько зим и лет!
Так и хочется крикнуть: «Хватит! Брось душить, Борис! Возвращайся!
Без тебя так плохо, так плохо... Я тебе всё пишу... прочту,
если хочешь, по телефону... что снова пора прощаться?»
Осталось сказать всего лишь «я люблю тебя». В пустоту.

Памяти Леонида Шевченко

Прячущие в скорлупе иронии, трёпа, стёба
тела свои нежность, любовь и жалость,
чтоб никто — руками, никто и не видел чтобы,
что от них, бедняжек, ещё у неё осталось,
но — существующие, неуклюже переползают
от слов — к самому поэту. Зачем так поздно?
Он держал её за руку, говоря: «Лишь подьезды знают,
как однажды под утро искал тебя... Я серьёзно».

Гадкий Пацан, бейсболка козырьком на затылке,
Ловец, распростёрший руки, душа наизнанку,
боящийся непризнания, сам на признанья пылкий,
найди ту самую дверь, войди в неё спозаранку.
«...как я искал тебя...» под Армстронга или Пресли,
Курёхина, Башлачёва, или, ну хочешь, Цоя —
пей, танцуй, цитируй, развальясь в кресле,
что-нибудь. Но только не — «учили умирать стоя»!

Но под утро замкнуты все двери глаза, калитки.
«Я тебя не нашёл», — с улыбкой сказал усталой.
И слеза сползает медленнее улитки
в хрупкой броне вины и нежности запоздалой.

Метрограм

из конца в конец
побежит трамвай
хоть роман читай
хоть в окно зевай

а на том конце
ждут меня друзья
не приехать к ним
ну никак нельзя

никаких преград
в этом деле нет
сяду в метрограм
да куплю билет

да куплю билет
лишь за три рубля
чтобы те рубли
не пропали зря

и поеду я
пересадок без
не за страх-нужду
а за интерес

за мою любовь
да за их печаль...
Всё никак я не
себерусь. А жаль.

Заклинание

«Я буду жить на Средиземноморье...»
«Я буду жить на Средиземноморье...»

«Я буду жить на Средиземноморье
и с собственного острова взирать
на чёрные дымящиеся волны,
себя не ощущая Пенелопой,
скорей, её загадочным потомком
иль безызвестным предком отдалённым,
что, может быть, вернее во сто крат.

Я буду жить невероятно долго,
так долго, что устанут даже камни
следить за продолженьем этой жизни, —
деревья, птицы, травы, облака...
Я буду там. Карабкаться по скалам
береговым, и лакомиться сыром
и пить вино, и прятаться от солнца
полуденного в собственном саду

я буду. Собирать дрова зимою
я буду, собирать ракушки летом
на том же побережье... А оливки
придётся собирать три раза в год.
я буду очень-очень одинока,
всех пережив, кого я так любила,
всех сохранив в своём надёжном сердце,
я стану счастлива, как никогда!

И вот тогда меня волна накроет,
похожая на волны Санторина,
когда прилягу отдохнуть под лавром —
клянусь! под лавром! — в собственном саду».

Откуда всё это взялось? С чего бы?
Ведь за окном снега, вороны, стужа,
безликие панельные жилища
и будущее, вписанное в них.
Что ж в голове моей клокочут строки:
«Я буду жить на Средиземноморье!
Я буду жить на Средиземноморье
и с собственного острова взирать!»

Пробуждаясь

...и птичьих голосов шары хрустальные
в проснувшихся ветвях катает утро...
Песнь песней здесь, жизнь жизнью изначальная,
блаженство лета это, счастья сутра.
...и первым солнечным лучом беременна
туманная оконная завеса.
Её бока щекочет неуверенно
лиственной шуршащий взбалмошный повеса.
...и как же мило мне в постели нежиться,
гадая: явь ли вижу, сны ль сакральные?
Любви и смерти нет ещё, мне кажется,
лишь птичьих голосов шары хрустальные...

Аттракцион

Так вот она — карусель,
сияющая в ночи,
с которой, уж если сел,
живому не соскочить.
Она всё быстрее кружит
и не улучшить момент.
У Музы в руке дрожит
сверкающий инструмент.
Ты, верящий в свой билет
входной, созерцать готов
фонтаны из вскрытых вен
и взрезанных животов?
Ты в курсе, какой потом —
по факту — оплатишь счёт?
Ты думаешь не о том!
Ещё поворот. Ещё.
Ты знаешь, что эта жизнь —
забава лихих богов?
Попробуй-ка, выдержишь
все девять её кругов.
Ты веришь, что это всё
твой выдержит организм?
Скрипит её колесо
зубастое, механизм
не музыку горних сфер
рождает — загробный рык.
Не слышишь? Тогда поверь.
Тот спрыгнул, порвав кадык,
на полном ходу. Другой
был сброшен. Его висок
пульсирующий, живой
безжалостно был пробит.
К дубинке прилип, присох
запёкшийся волосок.
У Музы-карги в глазах
кровавых от слёз рябит.
Смертельная карусель
опять прибавляет ход.
Ещё один оборот.
Ещё один оборот.
Визжит, словно злая дрель.
Ужасен её улов.
Стреляет её свирель
из чёрных семи стволов.

А Муза играет на
свистящей своей косе,
неведомо чья жена,
Поэзия, карусель.

г. Волгоград

Феликс Чечик

Обнаруженная двушка

Синий якорь на запястье
и вразвалочку душа,
и разбитая «на счастье»
жизнь — не стоит ни гроша.

От того ли, что бездонна
и зловонна пустота.
И мотает срок Иона
в мрачном карцере кита.

Разбежался... А если рискнуть?
Разбежался и прыгнул! Отныне
мне чужбинное небо по грудь
навсегда растворённое в Пине.

По пустынному небу бреду,
облака раздвигаю руками
и шепчу имя Бога в бреду,
как шептала Марина на Каме.

Я исчез, растворился
и не стало меня:
речка в зёрнышке риса,
лёд в объятых огня.

Речь в безмолвном потоке,
темнота в тишине...
И все люди в итоге
растворились во мне.

Дембельский альбом

1.
Засыпаю на ходу.
Сплю, но ходу не сбавляю.
Я иду, иду, иду
строевым по Забайкалью.

Левой, правой, левой, пра...
Сплю в неведенье счастливым.
Ангелы, как прапора,
запивают водку пивом.

Слева — сопки. Справа — степь.
Впереди и сзади — волки.
Четверть века. Не успеть
в часть свою из самоволки.

Я иду, иду, иду,
день и ночь без перекура.
И, как лампочку, звезду
погасила пуля-дура.

4.
Я два года отрубил, —
ду-ду-ду,
в Красной Армии я был, —
не в аду.

Ад крошечный был во мне,
а не в ней.
На войне, как на войне.
На войне?

Не понятно: «кто — кого»
победил.
Не осталось никого,
я один.

2.
Я не вернусь из самоволки, —
я выполнил священный долг.
Лежу себе на третьей полке,
поплёвывая в потолок.

Я отрубил два года с гаком,
я заварил навечно люк.
Пусть снится по ночам салагам
начальник штаба Вергелюк.

С меня довольно. Сыт по горло.
Пускай другие, а не я
в эпоху колы и попкорна
зубрят урок Небытия.

Лежу себе на третьей полке,
гипнотизирую плевок,
а по вагону рыщут волки
зубами щёлк.

5.
За полётом шмеля, но под музыку Шнитке
дачным летом, в июле, следить не дыша;
ни к селу и ни к городу белые нитки
вдруг припомнить на тёмно-зелёном %ш.

Ни к селу и ни к городу, а к Забайкалью
возвращаюсь... Вернулся... Никак не вернусь.
Минус лето — дождливое только в начале
и ни капли в течение месяца — плюс.

И шмелиная музыка белой метели,
и Альфред, и Германия, и дембеля.
Словно в детстве далёком, сойдя с карусели,
потерял ощущение реальности я.

Всё смешалось, включая пространство и время.
Обнажается суть. Отступает жара.
Полночь. Дети уснули. Луна сквозь деревья
освещает бессонную ночь до утра.

3.
То сено, то солома.
Да на краю земли.
А в это время дома
невесту увели.

Невесту уводили,
как лошадь со двора,
когда меня будили
пинками прапора.

Когда я мёрз в нтоте
и проклинал %ш,
она по зову плоти
заржала и ушла.

Гори печаль, как спичка,
лети тоска в огонь.
Ефрейторская лычка
скатилась на погон.

растаяли знаки которые «пре»
пеняя теперь на меня
как путник в ночи и как снег в ноябре
как хворост в объятых огня

слова растерялись не зная куда
идти очерёдность забыв
уселись как вороны на провода
и перевирают мотив

Подтверди бесшабашность свою,
по возможности честно и быстро,
и у бездны постой на краю
с элегантною эквилибриста.

Руки в стороны — смейся и пой,
и звучи, как «парижская нота»,
чтоб потом навсегда с головой
погрузиться в родное болото.

По небесной по брусчатке,
не к кому-то, а ко мне,
«Ворошилов на лошадке
и Будённый на коне».

Скачут, скачут днём и ночью,
через годы и века.
И закат, как стая волчья,
окровавил облака.

А ты не слышишь и не видишь,
что «синим пламенем горит»,
но смотришь свысока, как идиш
с ухмылкой смотрит на иврит.

А ты не видишь и не слышишь,
что жизнь сквозь пальцы утекла,
и через раз, как рыба, дышишь
из-под январского стекла.

Засыпаю без задних
и передних — точь-в-точь,
как измученный всадник,
проскакавший всю ночь.

Просыпаюсь в тревоге,
вперемешку с тоской.
Перепутались ноги,
и не знаю, с какой.

обнаруженная двушка
через много-много лет
одичавшая зверушка
ненавидящая свет
пролежала четверть века
за подкладкой пиджака
и убила человека
невозможностью звонка

Ничего мне не жалко для сына,
всё останется только ему:
обжигающий шёпот хамсина
и прибор усыпляющий тьму,
и отсутствие мокрой сирени
и туманного молока.
Всё, включая песочное время
бесконечного слова «пока».

Израиль

ДиН память

Каролина Павлова
Я не из тех...

Да, много было нас, младенческих подруг;
На детском празднике сойдёмся мы, бывало,
И нашей радостью гремела долго зала,
И с звонким хохотом наш расставался круг.

И мы не верили ни грусти, ни бедам,
Навстречу жизни шли толпою светлоокой;
Блистал пред нами мир роскошный и широкой,
И всё, что было в нём, принадлежало нам.

Да, много было нас, — и где тот светлый рой?..
О, каждая из нас узнала жизни бремя,
И небылицею то называет время,
И помнит о себе, как будто о чужой.

Я не из тех, которых слово
Всегда смиренно, как их взор,
Чьё снисхождение готово
Загладить каждый приговор.

Я не из тех, чья мысль не смеет
Облечься в искреннюю речь,
Чей разум всех привлечь умеет
И все сношения сберечь,

Которые так осторожно
Владеют фразой пустой
И, ведая, что всё в них ложно,
Всечасно смотрят за собой.

135

Каролина Павлова ■ Я не из тех...



Евгений Лесин В замедленном кино

136

ДиНСТИХИ

~
Вот кошка приготовилась к прыжку.
Выслеживает, видимо, кого-то.
Не буду прерывать её охоту.
Пусть оторвёт кому-нибудь башку.

Что делать, если хищница права?
Не надо потому что клювом щёлкать.
У нас в лесу одни сплошные волки.
Вас ждёт гостеприимная Москва.

Работник похоронного бюро
Вот так же ждёт своих гостей незваных.
Не плачьте в кабаках и ресторанах,
А плачьте в обезумевшем метро.

~
То девяностые лихие,
То нулевые, корень зла.
Они такие и сякие,
Мы отвечаем за козла.

Они находят, мы теряем.
Они совсем не дураки.
А мы целуемся с трамваем
И засыпаем у реки.

Летают чайки над водою,
Не замечая красоты.
Мы и они... Да ну, пустое.
Есть только я и только ты.

~
Пьяные машинисты ведут состав.
Пассажиры в метро уснули, устав.
Солдаты выучили присягу, устав.
И ты давай сосчитай до ста.

Пьяные машинисты песни поют.
Птицы лысого в лысину клюют.
Голые бабы уснуть не дадут.
А я хожу и песни пою.

~
Мери Поппинс живёт на Вишнёвой
Улице. В доме номер 17.
Наблюдая за летающей коровой,
Начинает смеяться.

Мери Поппинс живёт в Тушине
Её разыскать — дело плёвое.
Она читает Владимира Бушина,
Ею гордится улица Вишнёвая

Она любит разливное пиво.
Берёт его в магазине продуктовым.
Она выглядит очень красиво,
Гуляя по улицам Вишнёвым.

Ведь Вишнёвая улица имеется
Во всех сказочных городах планеты.
Мери Поппинс на солнышке греется,
Раздаёт алкоголикам конфеты.

Вчера она над Тушиным летала.
Сегодня покупает помидоры-черри.
Выйди на берег Деривационного канала
И ты обязательно встретишь Мери.

~
Не храм, не цех, сплошная свалка
Планета наша. И давно
Живём ни шатко и ни валко,
А как в замедленном кино.

Бредём по Химкам и Ла Манчам,
Где рыцарей и мельниц нет.
И называют бизнес-ланчем
Советский комплексный обед.



Говорят, существует где-то там далеко в океане
Место, которое посильней, чем сталинское Политбюро.
То не злая жена на диване, и не левое Вазисубани,
А подводное кладбище старых вагонов метро.

Их туда опускают. И на дне, словно Пепел и Сатин,
Они тихо гниют, умирая и глядя в глаза обезумевших рыб.
Им бы снова на рельсы. Но нет. Только чайки кружатся в пассате.
И у стен Мавзолея Солженицын встаёт из-под глыб.

Умирают вагоны метро. Но пока ещё цело хоть что-то,
К ним утопленники спешат, чтобы в самый последний раз
Прокагиться. Так старый палач бережёт свою маленькую гарроту,
А хороший стрелок попадёт кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Очень ценятся машинисты в добром мире подводном.
Они даже в жилете спасательном улыбаются ласково и хитро.
Потому что спасаться не надо. А надо спускаться свободно
На подводное кладбище старых вагонов метро.



А вот если бы нашёлся спонсор
Очень хороший спонсор
Устроил бы Большой Космический Фестиваль Современной
Актуальной Поэзии
То есть собрал всех современных актуальных поэтов
И как философов на философском корабле
Отправил бы их на космическом
Годик-другой полетать
И стихи почитать друг другу
Они были бы очень довольны
Наконец-то смогли б разобраться что такое Современная
Актуальная Поэзия
Прилетели бы через год-другой
А на земле прошло 50
И они уже ни хрена не актуальны
А все читают Джека Алтаузена
И Вадима Цыганова
Дарья Донцова объявлена святой
Потому что её книги читает Господь Бог
Да, Господь Бог есть
Учёные сначала доказали его существование (Нобелевская премия по физике)
А потом китайцы его сделали (Нобелевская премия мира)
Да честно говоря и не делали-то особо
Просто когда китайцев стало 50 миллиардов
Они сказали — мы и есть Бог.
И никто не стал возражать.
Некому было возражать.
За половую связь человека с человеком — смертная казнь
Турникеты в метро сделаны из железных острых пластин
Идёшь без билета — тебе отрубуют ноги
Все автомобили — биоавтомобили
На газированной воде с сиропом
По проекту Винтика и Шпунтика.
Все дома — исключительно вертящиеся
По проекту знаменитого архитектора Вертибутылкина
(тут должно быть ещё строчек пятнадцать-двадцать про будущее но думаю вы и сами легко справитесь).
Счастье — скажете?
Рай земной?
Да разумеется.
Вот только современные актуальные поэты
Будут ни хрена не актуальны
И конечно же жить в таком мире
Сплошной кошмар.

Русские святые

Гудят сирены со всех сторон.
И ты скорей подыграй.
За то, что был когда-то казнён
Кровавый царь Николай.

Нельзя казнить. Пусть живёт любой.
И Сталин. И Чан-кай-ши.
Они ведут людей на убой,
А ты давай не спеши.

Ведь ты не бог, ты из наших мест.
Не трогай же палачей.
Лишь тот, кто любит священный крест,
Тот любит и жар печей.

Давай, Россия, вставай с колен,
Тебе пора под конвой.
Парад Победы у красных стен.
Звериный оскал и вой.

Они идут, и Колонный зал
Дрожит от их тучных тел.
Усатый в Тушино приезжал,
Бровастый не захотел.

День авиации, славный день.
И памятник Ильичу.
Но закрывает Лысого тень.
Палач спешит к палачу.

Марина Мнишек гуляла здесь,
Теперь же Сталин стоит.
Ему салюты, а также честь,
И бодрый парадный вид.

Он царь горы, и он царь зверей,
И очень доволен он,
Ведь Ленин заперт им в мавзолей,
А Лениным царь казнён.

Из них никто не достоин жить.
Но повторю сто крат:
Не нам решать — перерезать нить
Или пускай смердят.

Опять встаёт над Москвой заря,
Но сколько ты ни кричи,
Убили Кейтеля и царя
Такие же палачи.

И пусть решает один за всех
И мёртвые мстят живым.
Зато включён закадровый смех
И царь объявлен святым.

Колокола гудят и авто,
Очередной пошёл.
Они святые, а мы никто,
И нам без них хорошо.

г. Москва

Елена Гешелина Прекрасный возраст

Он улыбался,
смеялся,
шутил,
подарил мне коробку,
перевязанную розовой лентой,
и сказал: «Позвони вечером».

Вечером
заплаканная и постаревшая мать
рассказала:
«Прихожу,
а он — в петле,
смотрит на меня,
а глаза — ярко-синие,
как небо,
и улыбается».

А в коробке с розовой лентой
был его портрет:
он смотрел
ярко-синими, как вечность, глазами,
и улыбался.

Двадцать пять. Я — последний патрон в обойме.
Меня оставляют на крайний случай.
Запасной игрок всех полей футбольных,
Мой удар ничему игроков не научит.

Двадцать пять. Я — актриса второго плана,
О чьей роли скажут, когда *не станет*.
Двадцать пять. Я — развязка плохого романа.
К середине всё ясно. Я — фи́га в кармане,

Последний шанс, последняя капля,
Продолбившая всё-таки чёртов камень.
Я — на чёрный день, про запас, на закуску,
Я — последняя в списке. Но *я над* вами.

Двадцать пять. Четверть века! Прекрасный возраст!
Рано умирать, безумствовать — поздно.
Навсегда расстаёмся с тобою, юность!
Может, встретимся — в стихах или прозе.

г. Барнаул

Алексей Журавлёв Распродажа



Харон

На глади Стикса не найти следа,
В реке забвенья тяжела вода.
Цвета и звуки, слёзы и молитвы
В холодных водах канут навсегда.

Торжественно-печален скорбный путь
Туда, где мыслям суждено уснуть.
Харон молчит, он не даёт ответов.
На вёслах капли тяжелы, как ртуть.

Не плещут волны, не журчит поток...
Ладя скользит на западо-восток,
Подвластная единственно Харону,
Чей взгляд печален, понимающ, строг.

Искусной ложью не спастись лжецу,
Коварство не поможет подлецу,
Слова пусты, теряет силу золото,
А страх не ведом вечному грёбцу.

Ему ни стул не нужен, ни кровать, —
Он просто не умеет уставать.
Он знает что-то, что не знают боги,
Но на богов Харону наплевать.

Последний враг наш и последний друг,
Неясным жестом неустанных рук
Он дарит нам последнюю надежду
На то, что лодка развернётся вдруг.

На берегу у призрачной реки
Никто не встретит, не подаст руки:
Последний путь проходят в одиночку
На равных мудрецы и дураки.

Но гений, дурень, просто имярек,
В конце концов сойдя на этот брег,
Харону благодарны за надежду,
Хоть сбывься ей не суждено вовек.

Ночь, автомобиль, двое

Четверть шестого... Почти рассвело...
И, возникая неслышно из ночи,
Тычется дождь в лобовое стекло,
Словно скулящий у двери щеночек.

Шепчет обиженно что-то во тьму,
Ходит вокруг, барабанит по крыше, —
Просит, чтоб дверь отворили ему.
Тише, дружок, я прошу тебя: тише!

Будет сердиться, не надо стучать,
Ты не мешай нам вдвоём помолчать.

Дракон

Я — плоть от плоти древних драконов,
Я мудр и могуч, живу на пределе,
Но в силу вздорных земных законов
Я вынужден мучиться в вашем теле.

Храня от будущих притязаний
Давно забытые рубежи,
Я трачу силу драконьих знаний
На то, чтоб вы продолжали жить:

Гашу закаты, включаю рассветы,
Прорехи в ткани миров лагаю,
Стараясь не вспоминать при этом
Что я дракон и что я летаю.

Ведь я-то волен шагнуть с балкона —
И встретить крыльями шквал неистовый...
Но я — потомок древних драконов,
А нам, драконам, ведома истина:

Ведь вы, бредущие сквозь потёмки
От века к веку в поисках света,
Вы все — драконов былых потомки!
Вы просто ещё не вспомнили это.

Про крыс

Рёбра круша, седовласые воины
Бьются в кораблик, обманчиво хрупкий,
Люди угрюмо лагают пробоины
Тем, что осталось от мачты и рубки,
Спины и связки срывая у борта
И поминая кто бога, кто чёрта.

Вот и настали мгновения судные,
Вот и старуха с косой у порога...
Крысы бегут с обречённой посудыны,
Вверив судьбишки крысиному богу.
Тот предложил бы тропинки сухие,
Только куда ему — против стихии!

Воины-волны вздымаются яростно,
В пенных объятьях терзая нахала,
Рубку обрушив, и мачту, и парус, но
Люди — не крысы! И войско устало,
Сникло, увяло под хлопьями пены,
За горизонт отступив постепенно.

Судно, лишившись оснастки и грации,
Грузно осело — и всё же там праздник!
Грустный Создатель сменил декорации,
Бурю и тучи упрятав в запасник:
Он бы помог, если б люди просили,
Но — не востребован! Хоть и всемогущ...

Распродажа

Гвоздь межсезонья, намёк на идею картины,
Буквица от застоявшегося метранпажа,
Малая кочка на серых равнинах рутины —
Граждане люди, сегодня у нас распродажа!

Сто миллионов веков выползая на сушу,
Ласты отбросив и вырастив ноги из попы,
Я заслужил постепенно бессмертную душу
И приобрёл уникальнейший жизненный опыт.

Не пригодился! Не ценится опыт замшелый
В мире зелёных рублей, мерседесов и пиццы.
Вот, предлагаю, не битый, практически целый...
Граждане люди, купите, авось пригодится!

Есть ещё принципы. Тоже товарищ неслабый:
Холил, лелеял, настаивал на идеалах,
Не поступился ни разу ни с другом, ни с бабой.
Сам бы носил, только проку от принципов мало:

Ложь и предательство встретив, не шествовал мимо,
Всех подлецов называл подлецами открыто,
А в результате практически непобедимый
Принципиально стою у обломков корыта.

Или, к примеру, багаж нерастраченных знаний,
Что по крупичкам, по зёрнышку, ночью и днём...
Ныне в природе царит беспредел шарлатаний,
Маги в цене, даже если тупы, как полено.

Выпускники мгу и престижной Сорбонны
Порчу изводят, усердно махая кадиллом.
Им багажи ни к чему, без того при зелёных.
Граждане люди, купите! Ведь знания — сила!

Кстати, о деньгах... Не надо ни баксов, ни евро,
Мне мягкотелость излишнюю смывать бы под душем,
Мне бы стальные, железобетонные нервы,
Что позволяют, не морщась, топтаться по душам,

Мне бы цинизма чуток и амбиций довесом,
Мне бы уменья лежачих пинать сапогами,
Мне б мою душу продать предприимчивым бесам —
И на проценты от сделки махнуть на Багамы.

Но и душа моя вряд ли кому-то нужна...
Блин! Распродажа закончена, шли бы вы на!..

Менторское

Труссы, бывает, выигрывают сражения,
Если прижало и некому сдать на милость.
Угол падения равен углу отражения,
Если, конечно, упавшее отразилось.

Нету святых, у любого найдутся изъяны,
Тех же отшельников очень не любят акриды,
В каждом из нас перемешаны ини и яны,
Комплексы, мании, фобии, просто обиды.

Мы непохожи, мы разные. Так было. Так будет.
Это экзамен на зрелость, предложенный свыше:
Сможем ли мы, восхитительно разные люди,
В нашей несхожести всё же друг друга услышать?

Про реку

Одна река, влюбившись в океан,
К нему спешила, валуны корчужа,
В него впадала, берегов не чуя, —
И век за веком длился их роман.

Но как-то раз, незнамо почему,
Обиделась подружка океана —
И заревела громче урагана,
И возжелала отомстить ему.

Безмерно ненавидя и любя
(Избави бог столкнуться ненароком!),
Она скалу обрушила потоком,
Себе самой загородив себя, —

И потекла куда глядит волна,
Блуждая по ущельям и полянам,
Всё дальше уходя от океана
В стремленьи отомстить ему сполна.

Бывали встречи на её пути:
То в пруд какой впадала мимолётом,
То в озеро... бывало, и в болото, —
И всё не удавалось ей найти

Достойного приюта между скал.
Вот море бы, где пальмы, баобабы.
Не Чёрное — Азовское хотя бы,
Хотя бы просто — озеро Байкал...

И вдруг — о чудо! — бег её волны
Был встречен нежным океанским валом.
Да-да — она сюда уже впадала,
И даже, в общем, с той же стороны.

А он шутя подтрунивал над ней:
«Ну что, не одолеть водораздела?
Скакать по скалам — разве речек дело?
От этих скачек лишь вода мутней!»

И в брызгах слёз в любимый океан
Река рванулась, берегов не чуя,
И там... ну, об интимном промолчу я...
И снова продолжался их роман.

Лишь иногда строптивые ветра
Шушукались слегка за их спиной...

Зачем я это написал? Вчера
Она ушла, поссорившись со мною.

Дождь

Тишина на импульсы разъята,
Зябко ёжится промокший лес.
Дождь идёт по лезвию заката,
Горизонт держа наперевес.

Нам ниспосланный зачем-то свыше,
Колобродит сутки напролёт,
И его нисколько не колышет,
Что он падает, а не идёт.

Бабье лето

Природа, небрежно играя с горящим закатом,
Устроила как-то в лесу, абсолютно случайно,
Пожар небольшой — и встревожилась необычайно,
И стала его торопливо тушить. Да куда там!

Пожар разгорался, покорно деревья пылали,
И дымно клубились тяжёлые тучи над лесом,
И ветер стонал и метался дурашливым бесом,
Швыряя холодные искры в промокшие дали.

Природа смирилась. Из серой скорлупки рассвета
Проклонулось солнце — и сгнули тучи бесследно,
И ветер с разбойничьим свистом умчал им вослед, но
Недолго, недолог триумф уходящего лета.

Уж скоро по-бабьи зайдётся слезами природа,
Наохлятся избы, как мокрые серые птицы.
И в долгие ночи мне будут навязчиво сниться
То бабьего лета обман, то ушедшие годы.

Про Змея-Горыныча

Я — Змей-Горыныч. Который в книжке.
Дракон трёхглавый. Внушаю страх.
Но жутко развитые детишки
В меня не верят уже в яслях.

Звезда моя догорит, мерцающая:
Не superstar я, не Джек-потрошитель.
К тому же боюсь меча-кладенца я,
Ещё страшнее — огнетушитель.

Зверьки обижают — меня, дракона! —
Хамят, грубят, не пускают в лес.
Намедни ёж обозвал вороной,
Му-ти-ро-вавшей возле АЭС.

А те же лисы... Вредней шакалов!
Ни дня единого, чтоб без стресса!
А если дунуть огнём в нахалов —
Пожарник пеной зальёт пол-леса.

Лесок, конечно, весьма отвратный,
Но мне везде бы жилось непросто:
Дракон я мало-увы!-форматный,
Во мне пятьдесят сантиметров роста.

Такой вот как бы каприз природы...
А впрочем, все мы чуть-чуть уроды!..

Морское

Если хляби разверзлись
И ринулись вниз небеса,
Если бездна оскалила волны
Под хлопьями пены,
Наше место — на рее...
Кому-то — крепить паруса,
А кому-то — язык на плечо —
Остывать постепенно.

Есть порядок вещей,
От которого не убежать,
Ни забившись в трюма,
Ни забравшись на марс или ванты.
Неизбежно любой
Достигает того рубежа,
Где — никак в одиночку,
Где не обойтись без команды.

И тогда свою сущность
Деньгами и славой не мерь,
Ни богатством, ни чином
Не сделать команду добрее.
Лишь тогда понимаешь,
Чего ты достоин теперь:
Поднимать паруса —
Или глупо болтаться на рее.



Меж весной и летом, на ложе из листьев зелёных,
Выбирал ветерок для ночлега помягче местечко.
Сделай доброе дело, пожалуйста, ветер-гулёна,
Отнеси моей милой три вечных заветных словечка.

Ты шепни ей на ушко, мол, любит, надеется, верит,
Расскажи ей, как мне без любимой моей одиноко,
Поцелуй за меня, проводи, если сможешь, до двери
И, пока засыпает она, подежурь возле окон.

Огради её сны от печали хотя б на немножко,
От тоски защиты, от недопониманья и фальши.
А потом, на обратном пути, постучи мне в окошко,
Передай от любимой ответ — и лети себе дальше.

г. Красноярск



Зоя Волынщикова Поэты по вызову

142
Дни дебют

В нашем достаточно прозаическом мире поэтам приходится нелегко. Особенно в книжных магазинах.

Продавец явно в чём-то подозревал Джона — поэт ощутил это, когда подошёл к полке с детективами: и теперь размышлял, уйти ли ему сразу или наплевать на прозорливость ушлого торговца.

Наверно, он всё-таки ушёл бы, но возле самого выхода в его поле зрения попал паренёк, словно вышедший из семьи аристократов конца девятнадцатого века — и до Джона дошло, что подозрения направлены на самом деле на этого юношу.

Он остановился, делая вид, что читает корешки философов.

— Извините, — тихим, но мужественным тенорком обратился к продавцу парень, — у вас нет...

— У нас есть всё, молодой человек! Акунин, Донцова — все произведения по самым низким ценам! Вам нужно что-то более эксклюзивное? Мы можем предложить вам всех классиков русской и зарубежной прозы: Булгаков, Акутагава, Толстой, Достоевский! Или...вы ищете что-нибудь ещё более редкое?

Джон во время этой речи выбрал томик потолще. Оказался Шопенгауэр.

— Да, знаете...мне бы какого-нибудь...поэта.

— Да ты извращенец, сукин сын! Не подходи ко мне — убью! — заверещал продавец, отвлекая внимание от красной кнопки, на которую не успел нажать из-за Шопенгауэра.

— Беги, кретин! — заорал Джон на бегу бедняге, хватая его за ворот и увлекая за собой.

Никто из покупателей не успел сообразить, как остановить поэтов, охранника же Джон нейтрализовал Кантом.

— Ты дурак, что ли? — спокойно спросил Джон, когда они оказались в безопасности и отдышались.

— Я поэт.

— Лучше бы тебе не кричать об этом везде. Тебя только что чуть не убили — ты что, не понял? Это всё равно, что прийти в церковь или военкомат и выкрикивать лозунги геев.

Паренёк заметно съёжился при упоминании о военкомате, его ясные светлые глаза вспыхнули паникой.

— Спасибо тебе, — пробормотал он на грани слышимости.

— Всегда пожалуйста, — усмехнулся Джон, — как зовут-то тебя, поэт?

— Ося.

— Я Джон.

Они остановились на перекрёстке перед потоком машин, и Ося наконец смог подробно

рассмотреть своего спасителя. Он был на полголовы выше его самого — впрочем, в этом не было ничего необычного, поскольку при его росте практически все люди оказывались выше него. В Джоне вообще не было ничего необычного, за исключением блестящих неопределённого цвета глаз под низко надвинутой шляпой. От его угрюмой сутулой фигуры веяло какой-то мрачной решимостью.

Нужно было как-то перейти дорогу, только не так, как попытались четверо эмо с противоположной стороны: воспользовавшись промежутком, им повезло дойти до середины, но теперь уворачиваться от машин становилось намного сложнее. По щекам у них обильно текли слёзы, они умоляли пощадить, один даже упал на колени...

— Надо их спасти! — вскрикнул Ося.

— Интересно как, — схватив за рукав, остановил его Джон...

Но тут одного из эмо всё же сбила «Волга» — в близком рёве двигателя потонули слова Джона — Ося, с застывшим от ужаса лицом, резко толкнул его вперёд — маршрутку, метившую в зазевавшихся поэтов, разрезал пополам столб. В полминуты движение закристаллизовалось: сколько хватало глаз, всё врзались и врзались друг в друга автомобили. Пора было смываться.

Эмо рыдали в голос над умирающим товарищем, катались в беспамятстве по мокрому асфальту, не покидая его одного в мире слёз.

— Кажется, мы квиты, — заметил Ося, обнимая друга, — а куда мы, кстати, идём?

— Об этом не здесь, — кивком указал тот за угол — там скины били кришнаитов. Один уже валялся в крови, синий. От недобитого слышалось: «возлюбленный брат мой», перекрываемое матами бритоголовых.

— Всё-таки странно, что наиболее ценным становится умение быстро бегать, — задумчиво пробормотал Джон.

Ося не отвечал. Он с наивным восхищением смотрел по сторонам и всюду видел жизнь, нелепую в своей бессмысленности, но прекрасную по форме. Смешно прыгала под ветром рекламная растяжка, электрический свет одинаково отражался в тёмной воде и в мокром асфальте, собака убегала от стаи бомжей, нацисты гнались за узбеками... Но главное: всю эту чудовищную машину двигали люди — они спешили куда-то, убегали или догоняли, кричали и убивали друг друга, все что-нибудь требовали, любили, и всё это было ради чего-то, во всём был какой-то непознаваемый смысл... Ося подумал, что в этой форме вещей, наверно, и заключается та самая поэзия, которую он так искал.

Джон шёл взвинченно, злобно пиная валявшиеся картонные стаканы и коробки, разлетавшиеся под его ногами. Он пытался понять, где он допустил ту промашку, из-за которой его вычислили и теперь наверняка убьют.

Луна следила за ними своим багровым ненавидящим взглядом.

— Ты никогда не замечал, что нас окружают знаки, которые ничего не обозначают? — внезапно спросил он спутника. По совсем ещё мальчишескому Осиному лицу, казалось, блуждала истина, она светилась фонарём в глазах, расправляла брови как крылья.

— Но тогда придётся признать, что и нас с тобой нет вовсе, — ответил он.

— То есть как?

— Ну... человек — это ведь чаще знак, чем факт!

— Вот как... а ведь знаешь, это могло бы объяснить многое, — согласился Джон, — Видимо, затем и нужна поэзия — должно же что-то возвращать вещам их содержимое.

— Да, — просто сказал Ося, — я как раз и ищу её.

Джон помолчал. Было заметно, что он колеблется: его взгляд безуспешно искал максимально далёкую точку пространства, в которой мог бы успокоиться, как книга в руках букиниста. Он снова посмотрел на Осю. Вздохнул.

— Я знаю, где можно найти сборники настоящих поэтов, — наконец сказал он и назвал место, — только я там никогда не был.

— Значит, мы пойдём туда вместе.

Внезапный порыв ветра сбил поэтов с ног. Ося подумал, что это должно что-то значить. «Значит, не зря меня так часто убивали во снах, — подумал Джон, — по крайней мере, я примерно знаю, как это будет».

— В нашем прозаическом мире поэтам не место, Джонни, — ласково и насмешливо сообщил сверху хриплый баритон.

Прицелы калашей таким образом устроены, что их нельзя не чувствовать затылком, если лежишь на мокром асфальте и думаешь о смысле бытия.

Смешно всегда встречать опасность лицом к лицу, если знаешь, что это будет стоить жизни. Но теперь Джон надеялся, что сможет отвлечь внимание убийц на себя, а Осе в это время удастся спастись. Перед глазами сияли непонятные точки, и он удивился, почему это звёзды так близко. Но стоило перевернуться на спину и попытаться встать, как звёзды оказались лампочками.

Смешно встречать опасность лицом к лицу, если жизнь — цена вопроса. Ося знал только одно: смысл смерти даёт лишь то, что даёт смысл жизни.

— Джонни... Ты достал меня, придурок, — всё так же ласково повторил киллер.

Две коротких очереди вспороли мутную тишину.

— Хм... чего только в голову не придёт, — чуть слышно усмехнулся Джон, платя в кассу за сборник Бродского.

Когда он вышел из книжного, с неба падали реденькие капли дождя.

А ведь шрамы от пуль, наверное, останутся на всю жизнь — подумалось ему.

Ватная тишина взорвалась несколькими очередями. Их мёртвые тела долго лежали над водой на мосту. О чём думали люди, пьющие эту воду... Луна, насытившись их плотью, стала нежно-оранжевой. Но даже она не могла заметить горячей крови, тонкой струйкой стёкшей в реку.

г. Зеленогорск

Наталья Копейкина Тополинный пух

Пушинки кружились по сложной системе,
В ней логика, ритм и своя красота.
Они танцевали на странной арене,
Потом улетали, стремясь в никуда.
А может, системы и не было. Значит
Они представляли собою Ничто:
Тот хаос, который, так или иначе,
Сидит внутри нас, намекая на то,
Что мы часть Судьбы, часть потока без цели
(Раз цель непонятная, значит — не цель),
И если в потоке мы все ж уцелели,
То это не значит, что утром постель,
В которую ночью легли, будет той же;
И это не значит, что мир каждый раз
В мгновение одно создаваться не может,
Пока мы моргаем, к примеру. У нас
Ведь нет никогда никаких доказательств
Чего бы то ни было. Значит — увь! —
Купайся в том хаосе без обязательств,
Ищи красоту или просто плыви.



Александр Мирро

Заметка о рождении и смерти

Простая вещь

Андрей всегда просыпался рано, так чтобы оставалось время на задумчивый завтрак и продолжительные зевки. Чтобы можно было спокойно потягиваться и долго чистить зубы. И не чувствовать тревожного покалывания в районе переносицы, оттого что опаздываешь. И чтобы не звенели и не шипели за спиной подгоняющие фразы полусонной матери, которая уходила на работу на час позже Андрея. Вся эта суета с торпливыми сборами всегда раздражала Андрея, и он старался соблюдать ритуал. Но получалось не всегда.

Чаще получалось не всегда, когда он ещё учился в университете, а не переставлял папки с документами с места на место и не замирал сосредоточенно над составлением отчётов.

Андрей убирал одним заученным движением чёлку со лба — его волосы иногда напоминали солому, сухие с виду и непримиримые в отношении укладок и причёсок. Как-то он увлёкся парикмахерским делом и даже одно время посещал соответствующие курсы. Всё закончилось очень быстро. Почему, Андрей и сам не знал. После этого на вопрос «что у тебя на голове?» он неизменно отвечал: «Отсутствие причёски, тоже причёска». И был доволен этим ответом.

С трудом уложив (или скорее усердно прилизав) свои соломенные волосы, Андрей терпеливо чистил ботинки, туфли или кроссовки (в зависимости от погоды или настроения) и, молча, выходил из квартиры. Он любил идти до работы пешком, но если опаздывал, то трясся в дырявых пыльных автобусах.

Андрея устраивала работа, хотя временами утомляла своей монотонностью. Постепенно он научился устало и в то же время важно говорить о своей работе, его широкое мягкое лицо при этом было спокойным и бледным, а взгляд светло-голубых глаз серьёзным. Деловитым тоном Андрей сообщал своему другу Роману какие-то скучные детали, связанные с работой его компании, взрываясь под конец фраз своим постоянным «Придурки!» И вздыхал. Махал рукой или смеялся, морща при этом нос.

У Андрея было мало друзей, но, неспешно гуляя по выходным или возвращаясь с работы, он часто здоровался с людьми на улице. Это были знакомые, знакомые знакомых, знакомые его родителей. Он жил в тесном городе. В университете он познакомился с коренастым парнем по имени Роман, с которым общался и после окончания учёбы. Учась в университете, они часто не ходили на важные

экзамены. Но отнюдь не из-за того, что были не готовы. А, скорее всего, от излишних волнений.

Они всю ночь зубрили, а потом стояли с красными глазами и опухшими небритыми лицами вместе с другими нервными студентами, пустыми глазами смотрели на страницы учебников и в последнюю минуту сбежали, уповая на пересдачу. Так всё и было. Андрею трудно давалась английская стилистика и германская филология. В общем, он с Романом до третьего курса любил больше появляться на пересдачах. А потом его отчислили. Но он старался. Пришлось идти в сельскохозяйственный институт.

— Коров считать будешь, — издевался Роман. Но Андрей добродушно смеялся в ответ и, всё-таки, доучился до диплома.

В то время он редко видел Романа, а случайные встречи с другими бывшими однокурсниками по филфаку ограничивались парой неловких и равнодушных фраз. Что касается однокурсниц, то, сталкиваясь с ними, Андрей смущённо улыбался или нервно смеялся и не знал, что сказать. Перечисление имён знакомых, фамилий преподавателей (особенно не любимых) и неловкое молчание.

Оказавшись в другом заведении (более просторном и холодном), где рассказывали больше об экономических проблемах и трудностях сельского хозяйства, учёба на филфаке виделась Андрею чем-то далёким и почти забытым. И случайные встречи с лицами из филфака только подтверждали это, хоть и радовали его на мгновение.

Иногда Андрею казалось, что нет ничего бессмысленной учёбы. И Роман постоянно ему об этом твердил. Роман вообще был склонен к критике всех и вся. В особенности, учебной системы. И после того как его отчислили, Андрей слышал от него только желчные ругательства и жалобы. Он любил искать виноватых и бесконечно строил путанные планы мести. Но потом его восстановили, и он переключился на другую тему.

Так они и шли вдвоём по городу, мимо площадей, по широкому проспекту, обвиняли филфак во всех грехах, нудно спорили и грезили об идеальной системе образования (где-нибудь в Америке или в Европе).

Андрей жил с матерью, отцом и младшим братом. Привычная небольшая семья, хотя постоянно в разных уголках страны обнаруживались родственники. Его единственная двоюродная сестра и её родители иногда заходили на ужин и засиживались допоздна. Сестра была говорлива, звонко смеялась и любила саркастично подкалывать

Андрея. У неё были тонкие черты лица и дерзкий взгляд карих глаз. Андрея иногда смущал этот взгляд, и он лишь глуповато улыбался в ответ. Все пили недорогое вино, сок и чай, ели прямоугольные конфеты из плоских коробок и весело болтали. Тётя Андрея размахивала своими тонкими руками и жаловалась на зубы. Дядя Андрея бубнил в седеющие усы и гневно охал. Мать Андрея, откинувшись на спинку стула и чуть отодвинувшись, мелодичным голосом объясняла, как делать овсяный кисель и бороться с мигренью. Отец Андрея всё больше молчал и хитро посмеивался, дымя сигаретами. Младший брат Андрея носился по квартире, набив рот шоколадом, или цепенел перед компьютером, разинув рот.

Работать в офисе Андрей стал сразу после завершения учёбы, даже не заметив этого перехода. Родители подгоняли, да и самому хотелось чем-то заняться. Иметь собственные деньги и забыть ворчанья родителей.

Андрей плёлся с работы домой, грустно перебирая своими полноватыми ногами, и спешил по утрам — лицо его тогда было сосредоточенным, а временами растерянным. Ему нравилось ходить пешком, но зимой приходилось мёрзнуть на остановках и втискиваться меж тел, одетых в толстые шубы.

Андрей любил кино, особенно фильмы с Робертом де Ниро. Восхищался Мартином Скорсезе. Он ходил в кинотеатры один или с Романом или изредка с кем-то ещё. Иногда вся его семья выбиралась полным составом на просмотр какой-нибудь шумной российской новинки или на голливудский фильм с орущими детьми и рождественскими декорациями.

Дома, после работы Андрей традиционно ужинал и отправлялся смотреть телевизор. Он сидел в кресле и устало спорил с матерью или отцом о том, какую программу лучше оставить. В итоге всегда выигрывал спор младший брат. Андрей охал, вздыхал и запирался в своей комнате, где рассеянно осматривал полки с книгами и стол, потом кровать. Затем чаще ложился и дремал, иногда просиживал допоздна за компьютером, лихорадочно составляя отчёт или какой-нибудь путаный документ. К книгам он редко прикасался.

Однажды Роман предложил поиграть в бильярд. И Андрей не сразу, но согласился. Вскоре он уже не мог оторваться от зелёного сукна и гладких киев. Глаза Андрея загорались, и он был готов загонять шары в лузы несколько часов подряд. Роман при этом неустанно пил пиво и предлагал его Андрею, но Андрей также неустанно отказывался. Крепкие напитки он предпочитал не замечать. Он как-то ни разу не пробовал (или пробовал, но не помнил этого), и выпивка с её ритуалами не входила в его интересы. Он сам не знал, почему, но не старался это узнать. И никто никогда не видел его пьющим.

Роман иногда втягивал Андрея в нелепые интриги со свиданиями. Андрей вяло сопротивлялся, но в итоге оказывался участником какого-то непонятного ему действия. Девушки хихикали, подкалывали, молчали, призывно смотрели, чего-то ждали, капризничали. А Роман с Андреем всё больше шептались между собой и не смешно острили. Ни Роман, ни Андрей не

способны были владеть ситуацией. Один раз Андрей неудачно пошутил насчёт полноты одной некрасивой девушки (он сам не понимал, как это у него вырвалось), и вся компания погрузилась в едкую тишину. Андрей залился краской и пытался выкарабкаться, рассказав сцену из собственного детства, забавную на его взгляд. Но тишина стала ещё более раздражительной и колкой. В общем, расстались все быстро.

Роман много раз корил Андрея за разные случаи, когда тот, как говорил Роман, портил всю малину. Андрей лишь смеялся, трясясь всем телом. Его было сложно вывести из себя. Вся его мягкая округлая фигура была безмятежна, и лицо больше было усталым и равнодушным. Но это казалось лишь на первый взгляд. Просто у Андрея были свои степени нетерпения.

Роман и Андрей могли спорить бесконечно и бесцельно, по дороге с работы или просто прогуливаясь. Андрей устало слушал, вставляя лишь равнодушные реплики, а Роман всё больше распался и всё твердил: «Ясно же, как день!» или «Я тебе говорю — так и будет!»

Иногда Андрей ходил в театр, но особого восторга не испытывал от этих походов. Однажды он смотрел балет с одним знакомым. Вздыхая и охая, он уныло критиковал всё происходящее, а знакомый бодро кивал — ему тоже не нравилось. Андрей говорил, что любит Джузеппе Верди, но сам слушал его только по радио и всего один раз. Когда Роман пытался навязывать Андрею свои музыкальные вкусы, Андрей восхищённо повторял — «Вот Джузеппе Верди, это да, это я понимаю!» Он хотел найти диски с музыкой итальянского композитора, но что-то ему постоянно мешало. В конце концов, он забыл об этом.

— Пора уже жениться, Андрей, — говорила ему мать, прищурено посматривая на него.

Андрей всегда чувствовал себя неловко в этот момент, что-то бормотал, тихо возмущался или пропускал мимо ушей. Он знал, что когда-то женится, но не представлял каким образом. Детали этого дела его тяготили. Он думал, что всё получится само собой.

В итоге его стали усердно знакомить с дочками коллег по работе и с дочками старых друзей семьи. Но Андрею нравилась его двоюродная сестра. Ещё он вспоминал об одной однокурснице, с которой у него было нечто вроде несурзанаго романа.

Романа Андрей не посвящал в свою личную жизнь. Тот даже не был у Андрея дома. Роман по-разному толковал недомолвки и упорное молчание Андрея. Андрей любил затуманивать собственную персону, хотя до Романа ему было далеко — тот мифологизировал без остановки.

Как-то Роман, увидев несколько светлых малышей, бегущих рядом с миловидной мамой, громко упрёкнул Андрея, — «Вот, Андрей, расплодил детишек!» Андрей смутился, покраснев до ушей. Миловидная и молодая мама всё слышала и смотрела на них со странным выражением лица. Роман тихо трясясь от смеха. Такие остроты друг Андрея проделывал постоянно. Невозмутность и наивность Андрея соблазняли знакомых на розыгрыши и вульгарные шутки в его адрес.

Постепенно Андрей привык к размеренному графику своей взрослой жизни. А потом эта размеренность стала его тяготить, он всё больше уставал и жаловался. Возможностей для безудержных трат в городе практически не было. Да и Андрей почти ничего не покупал. Вещи он носил по несколько лет. Носил джинсы, купленные после окончания школы, рубашку, подаренную матерью после поступления в университет. Хотя он любил выбирать в магазине ботинки и туфли, хвастался своей спортивной обувью и внимательно чистил свои вещи.

Андрей иногда сидел с Романом в тёмном маленьком кафе, где подавали мороженое и один сорт кофе с разными названиями. Это было детское кафе, но там почему-то постоянно орал не трезвые молодые люди и истерично ругались девушки.

Когда в центре города один толстый турок (знакомый Андрея по филфаку) открыл другое кафе — семейное и крохотное, Андрей стал заходить туда. Он пил чай с лимоном и выслушивал монологи Романа. Они всегда долго решали, что брать и кто будет платить. Оба любили шоколадные пирожные, но когда сидели вдвоём брали их нечасто.

Ссорился с друзьями Андрей редко. Практически никогда. Монотонные перебранки с матерью заканчивались поражением Андрея, в завершении он только краснел и твердил «Ну, конечно, ну, конечно!» С отцом Андрей общался, словно стоял на противоположной стороне улицы, с трудом улавливая сквозь шум проезжающих машин адресованные ему слова. С Романом у Андрея случались нелепые недопонимания — они просто холодно расставались, но потом Роман звонил и бодрым голосом звал Андрея поиграть в бильярд или посидеть в кафе.

За все 26 лет своей жизни Андрей ни разу не участвовал в неприятных сценах с пылкими взаимными оскорблениями — он вообще старался избегать прямых столкновений с кем-либо, тем более, никогда не дрался. Хотя с ним иногда приключались мелкие эксцентричные несуразицы. Один раз его облил грязью с ног до головы проезжающий автобус, а шёл он на экзамен — пришлось возвращаться домой. Он старался идти дворами, чтобы не провоцировать прохожих на излишнее любопытство. Только устроившись на работу, он как-то пролил липкий кофе на важные бумаги с печатью и подписями. После этого на работе к нему стали ещё больше придираться и требовали всё переделывать по несколько раз. Но один случай Андрей пересказывал знакомым не один раз. Он шёл по центральной площади в солнечный день и решил постоять возле фонтана, где собралось множество голубей. Это были облезлые пыльные птицы. Андрей стал их кормить булочками, которые купил по пути в киоске. Голуби сразу начали слетаться к нему, смело садились на руки и рьяно кромсали булочки. Сначала ему было весело, но вскоре Андрей забеспокоился, так как голубей слеталось всё больше, они собрались вокруг него живым клокочущим кольцом. Один резвый голубь даже топтался на голове Андрея. Он испугался, поскольку булочки почти исчезли из его рук, а голуби не переставали

клевать. Он уже собирался позвать на помощь, как кто-то пробежал рядом с ним и засмеялся. Половина птиц разлетелась, и тогда Андрей смог вырваться. Вредные птицы нехотя отскакивали. Андрей шёл домой бледный и нервно посмеивался над нелепостью происшедшего.

Как-то он сидел на облезлой скамейке с Романом, они перебрасывались обрывками фраз и грели руки в карманах курток. Ветер разносил бумагу и шевелил осенние листья. На дальней скамейке резко смеялись молодые люди. «Эх», — вздохнул Роман. «Что-то надо делать. Да?» — Задумчиво спросил он и посмотрел на Андрея. Андрей скривился и что-то промычал. Роман достал пачку сигарет. Андрей не курил, поэтому молча разглядывал прохожих. Потом они разошлись по домам.

Последнее время Роман появлялся с девушкой, а Андрею стал наскучивать бильярд. Они встречались всё реже. Выходные Андрей проводил на даче, а завтракал всё больше овсяными хлопьями. Идя по утрам на работу, он стал чаще думать о том, чтобы уехать из города.

Заметка о рождении и смерти

Бббббр... имам...омар... арабика...

Шшш...шшшшшш...

Шипение эспрессо-машин, а дальше — чёрный и прозрачный взгляд кофе. Чёрный напиток спартацев вновь дурит голову. Сплошная чехарда мыслей.

Арабика — самый дорогой сорт кофейного дерева. Дервиш Омар, да будет благословен твой род. Чёрное, как торф, лицо араба-отшельника устремлено в небо. Палящий зной Аравии и неблагодарность жителей. Дервиш скрывается в пустыне.

Голод. Жажда. Он находит странные кусты с непонятными ягодами. По глупости съедает и бодрствует два дня подряд, не чувствуя никакой усталости.

Другая версия. Нищий, бродяга, он же дервиш, видит и слышит сладкоголосую птицу на дереве. Причина видения — голод. Прелестная злая фата-моргана в зное аравийского полуострова. Бедный дервиш опрометчиво лезет на дерево и не находит птицы, лишь странные зеленоватые ягоды.

Вздохнув, он срывает плоды и уносит в пещеру. Там он обливает неизвестные ягоды кипятком. И...

Исцеляется от всех своих недугов, вымышленных и не совсем.

Легенда так себе.

А кто это говорит?

Это бормочет человек с двухдневной щетиной и дрожащими пальцами, меж которых торчит сигарета. Меня зовут... Je sui... мадам Бовари, Лао Цзы, Жан-Жак или Иван. Всё-таки сентябрь. Да, январь. Хаос мыслей вас не должен беспокоить, меня он точно не беспокоит — я привык к самому себе. Давно пора сменить позу.

Рядом со мной сидит — за другим столиком (да, мы находимся в кафе) — крепкий седовласый тип, который усердно что-то читает, а его кофе (чёрт бы его побрал!) остывает. Мы с ним знакомы. Его зовут Иннокентий. Он приходит в это кафе раз в неделю, скажем, в Пятницу, в два часа дня. Как часы. У меня своих нет.

Он каждый раз приходит с новой книжкой. В мягком переплёте. Издательство «Азбука». По-моему, он перечитал весь двадцатый век. Сотни часов и сотни километров бумаги. А сколько литров кофе? Можно убить стадо слонов таким количеством кофеина.

Мы всегда долго сидим. Мечтаем. Девушка с выученным наизусть взглядом механически разламывает вилкой кусок творожного торта. Она из тех, для кого такой ритуал — верх буржуазности. И её низ. Тупо посматривая в окно и вытирая губы салфеткой. И так каждый день. Как часы.

Гогот за дальним от меня столиком. Трясутся от смеха два студента, две громоздких тётки в лимонных поло.

Пришёл мой друг — Джон. Хотя Иван. Иона-Джон. Всегда заносило в определённые места. К примеру, сейчас он ринулся в туалет. Ни привет, ни ответа. Он любит читать конституцию в оригинале, объясняя всем и каждому, что это сборник реалистических рассказов. Не более того.

Шшшшшш... шипение эспрессо-машин. Топот речи в лабиринтах дыма.

Да, да. Я продолжу об Арабике. Это древний сорт кофе. То есть дерева. С одного дерева — урожай небогатый. Шесть кг плодов. Из этих шести получается один кг зёрен. Так ли это? Адская статистика. Сотни людей в сотнях контор ведут ежедневные подсчёты. Кто родился, кто умер. Сколько появилось на свет, сколько отправилось на тот. Так и с кофейными деревьями. Они нежные и терпеливые. Как люди.

Беру ложечку и погружаю её в меланж. Так назывался раньше венский кофе, близкий родственник капучино. Монахи вырастают в одну чёрную массу. Капучино. И всё тут.

Помню одного странного господина, который приходил в это гротескное кафе и громким басом делал сумбурный заказ. При этом нелепо жестикулировал. А руки его были огромными, мясистыми. Каждая, словно окорок. Он говорил: *мне вот это, это, это, то, то, вот это, нет не это, а это, вот то и там то, это, потом это, нет не это, а это, да не то, а это, вы глухой, вот это это то не то это затем то и другое.* А ему отвечали: нет **другого**. Он возмущался: как нет **другого**? Ему повторяли, что **другого** нет. Он не понимал, ругался, размахивал опасно руками и всё повторял — как же так, нет **другого**, всё время сюда хожу, и было другое, а теперь нет!

Пределов его искреннему возмущению и удивлению просто не было.

Я сижу здесь уже два или три дня, но по слякоти на пороге кафе, по узорам следов от ботинок, по отчаянно сторбленной спине студента-филолога, дующего в чашку, по выражению лица старикануса Иннокентия, по кашлю официантки и стону посуды, выпавшей из слабых женских рук, — по всем нелепым и исчезающим признакам я понимаю, что прошла неделя, не меньше. Разыгрывать этот спектакль — моё утешение. Время тянется и равно довольному урчанию в желудке. Я в райском месте, как видите.

Я могу быть оправдан в ваших глазах, если вы спросите, зачем я грею зад в этом гротескном раю. Всё очень просто — я жду свою девушку. Её зовут

Инна. Она студентка медицинского факультета и блондинка. Сейчас она придёт, и мы будем разговаривать. Беседу будет вести она, а я буду внимательно слушать. Она сложит свои ухоженные руки на колени, изредка будет хвататься за моё колено и дергать его. В пылу беседы, как я понимаю.

Она жалуется на свою страсть к сладкому. Однажды она съела при мне целый торт. Это был волшебный торт-суфле. Она требовала от меня, чтобы я забрал его подальше и спрятал. Называла садистом и мазохистом разом. Я обычно делаю кислую мину и едко посмеиваюсь. И пускаю ей в лицо знак вопроса из табачного дыма. Наверное, я действительно садист?

Всё-таки я убирал торт недалеко, так чтобы она могла заметить его мягкие очертания хотя бы краем глаза. И снова вопли и жалобы. Бесконечная самокритика.

Она скоро придёт, а пока вернёмся к шипению. Шшшшшшшш... вновь и вновь. Тишина, покашливания, скрип, смешок, возглас, реплика, сопение Иннокентия. Шелест «Азбуки».

Кофе есть кофе есть кофе...

И в чашке кофе видеть мир.

В семнадцатом веке врачи прописывали кофе всем и каждому. Он излечит от всего! Сомма Великого Прихода! Просперо Альпини, итальянский ботаник, говорит, что чудесный отвар из странных зёрен прекращает менструальные боли.

Перст Указующий, и указывает он в чашку с тёмной жидкостью. Озарись! Приди к осознанию Божьей Благодати!

Я уже озарён. Я иду. Примерно двести лет назад в нормандском кафе после глотка кофе-глясе (с кальвадосом) бедному хроникёру казалось, что его ударили обухом топора по голове, а в глотку вонзили штопор.

Не знаешь, кого благодарить? Кому пожать руку за открытие сказочного дерева? Кто принёс его в Аравию? А кто стал жарить зелёные плоды? В этом отношении мы — дикари в ожидании бесконечного рассвета.

Пытаюсь вообразить себя эфиопом, жующим сырые кофейные зёрна. Нужно тщательно их пережёвывать для пушщего эффекта — уснуть трудно, зато усталости в долгих походах не предвидится. С удивлением думаю о том, как я — всё ещё в маске эфиопа — толку плоды-костянки кофе и смешиваю их с животным жиром, и получаю из этой массы в итоге странный шарик.

Эфиопы передрались бы за лишний кусок такой пищи. Но это было в прошлом. Их кофейнями были костры, вокруг которых они усаживались. Кофейные экстракты-шарики передавались из рук соплеменника. Идиллия.

Иона-Джон торопливо сообщает мне что-то на ухо. Я думаю о странноватом человеке средних лет с маленькой бородкой и залысинами. Он спешит и неуверенно прыгает через лужи. В моём воображении он покашливает и озирается — это рефлекс будущего вождя социализма. Он заходит в Café Central. Знаменитое венское кафе — пристанище русских революционеров.

Легенды не уместятся в маленькой чашке эспрессо.

Мой старый друг, размахивая своими длинными руками, рассказывал о самом вкуснейшем кофе в своей жизни, которое он попробовал в венском кафе Dommauer — старом, как либерализм. А подруга пережила кофейный катарсис в простой бразильской деревушке.

История с прыгающими козами бедняги-пастуха: «Прошу вас, помогите! Я не знаю, что с моими козами? Они бодрствуют всю ночь, шумят, прыгают...»

Имам узнал причину. Пусть земля ему будет поухом.

Поговорим лучше о сортах, о запахах, о болезнях, о губах, измазанных в пирожном, о дыме, о дрожащих пальцах, о жёлтых зубах, о газах, о человеческой глупости.

Или же не стоит? Всё это вмещает кафе. Я плыву по течению взглядов, не вижу разницы в днях и ночах. Вся жизнь передо мной. А за порогом смерть.

Излишки кофеина. Честертон превозносил вино и любовь, я отвечу — кофе и любовь! Прекрасная Елена утешала свои печали в бодрящем напитке. Семена раздора! Ветхий Завет глаголет о сушёных зёрнах. Чин-чин, Иона-Джон.

Мы стукаемся чашками с Иваном, зрители с интересом за нами наблюдают. Мы патетически отпиваем по глотку, держа осанку. Кровь станет чёрной.

Мои глаза бегают, словно во сне. Симптомы фантастической шизофрении. Цвета раскрывают свою суть. Мне не охватить всё пространство этого Сада Гесперид. Кто-то прикуривает сигарету, торчащую у меня во рту. Воскурим фимиам передвижениям прелестных богинь в райских кушах. Сияющие, как солнце, сливки сливаются с чёрной плотью кофе, образуя эзотерический цвет. Кто-то выбивает дымящуюся сигарету у меня изо рта. Я смеюсь. Мой трескучий голос привлекает внимание посетителей. Я обсуждаю с кем-то непостижимую красоту этого Острова Блаженных, эту мечту Эпикура. Всё ясно, как день.

Земля Уттарактуру, неужели это ты? Слезы застилают мне взор. Однако вскоре понимаю, что это пот. Мне жарко. Пульс африканским ритмом откликается в голове.

Шшшшшш... шипение эспрессо-машины.

Как же объяснить те миллионы красок, то сияние от каждой вещи, те медленные па официанток или голоса, застывающие в абракадабре. В зеркалах туалета — топазы, каким образом? Я чуть ли не парю над головами, мне не нужен стул и стол. Но они, словно расплавлены, как будто сливаешься с ними, и становится тепло. Обилие красок, которое становится трудно выносить.

Я вскакиваю и восклицаю — Теренс Маккена внёс кофе в свой личный список наркотических веществ, наряду с телевидением!

Зрители аплодируют, я сажусь обратно. Не поверим «зелёному» Маккене. Он ушёл. Иван погружает моё лицо в раковину, полную ледяной воды. Зачем? Какие вопросы ещё неведомы мне?

Мы снова сидим на мягких стульях. Культура кофе темна и скрыта от глаз обывателя. Чёрные жители Конго жарятся на плантациях. Иннокентий пьёт кофе, и высокий негр падает в обморок, срывая ветки с листьями.

Лист абсолютно чист. Я хотел написать об истории кофе, но мой разум полон дыма и чёрных негритят с увеличенными животами. Покалывание в районе левой подмышки. Соматические передеряги.

Неужели прекрасная Елена не появится сегодня вечером? Иона-Джон пререкается с официантом — между ними стойка с десертами.

Сколько усилий требуется, чтобы допить этот кофе? Кремовая чашка стала необъяснимо тяжёлой — с трудом отрываю её от стола и подношу к губам. Ощущаю прилив свинца в шее, потом в затылке. Тяжесть во всём теле, кажется, я стал камнем.

Был бы аллергиком, не стал бы кофеманом. Иван чуть ли не дышит мне в лицо — серо-красные щёки приближаются ко мне, и чёрные губы готовятся меня поглотить.

Поехать в Бразилию, гнуть спину на плантациях — искупить коллективную вину. Для начала неплохо. Возвращаться в прогнившую хижину, мучиться от головных болей, выпивать крепкий кофе, приготовленный беззубой негритянкой в засаленном сарафане. И ходить всю ночь с раскрытыми глазами, слушая цикад. А потом меня отвезут в городскую больницу с воспалением лёгких или с приступом малярии.

Будут нести на хрупких носилках мимо низких домов, прыгая через лужи, и высокие негры будут задумчиво провожать взглядом...

Спокойствие или кататония?

Кто-то кричит мне, что будущее за Старбакс — за ухоженными безликими кафе. *Я брал там капучино, в нём было столько пены! В самый раз для хорошего бритья!* — продолжает кто-то кричать.

Мы здесь сидим, чтобы нас не настигло обыкновенное безумие. Выйдешь за дверь и... *лучше не выходить.*

Надо выбираться из душной атмосферы, из этих окрашенных в кофейный цвет стен, сквозь дым и резкий смех, минуя сотню глаз. История кофе — это рассказ кофемана, полный дрожащих пальцев и потоков слюны.

Я получил страх, мама.

Меня выносят, схватив за руки, мои прекрасные друзья. Порция солнечного света. Я слепну и падаю на сухой асфальт. Мы возвращаемся в обыкновенное безумие. Всегда так. *Так.*

г. Москва

Людмила Куликова Голубое небо, золотое солнце

Свиделись

В новой квартире пахло влажными обоями. Запах был приятен. Он связывался с уверенностью в завтрашнем дне, надёжностью и чувством владения семьюдесятью квадратными метрами жилой площади. Впервые за долгие годы скитания по съёмным квартирам отпустил Толика подспудный страх быть выселенным по прихоти хозяев. Даже многодневная нервотрёпка при подготовке к переезду не смогла испортить ему приподнятого настроения. С обретением квартиры показалось Толику, что он застолбил место на земном шаре и теперь никогда не умрёт.

По случаю новоселья Аня испекла рыбный пирог с яйцом и зелёным лучком. Поставила его на середину стола, за которым собралась семья Титовых: отец, мать да четверо ребятшек. Аня раскраснелась, хозяйничая; разливала чай, нарезала куски, шутила с детьми. Дети звенели ложками о чашки, размешивая сахар, и с нетерпением поглядывали на поблёскивающий коричневой коркой рыбник. Толик смотрел на семью и был счастлив. «Как в детстве у мамы», — неожиданно подумал он и почувствовал, как только что переживаемое счастье затуманилось и потеряло лоск, будто червячок поселился в совершенном яблоке. Начал вспоминать, когда последний раз писал матери. Кажется, в год рождения первенца. Сейчас Алёшке тринадцать. Виделся с матерью сразу после армии, потом уехал за тридевять земель на стройку. С их последнего свидания прошло двадцать четыре года.

— Налетай! — задорно призвала Аня, села на стул и отхлебнула несколько глотков чая. Сынишки зачавкали, озорно переглядываясь и перемигиваясь, захлопали ртами, втягивая горячий янтарный напиток, и заёрзали на стульях. Оживление за столом немного расслабило Толика, он с благодарностью принял у жены большой кусок пирога и стал не спеша есть.

— Анют, а где синяя папка с письмами?

— Я ещё три картонных коробки не разобрала. Наверное, в одной из них.

— Найди мне её.

— Срочно надо или подождёшь?

— Срочно.

Ребятишки уминали по второму куску, Аня подливала в чашки, улыбкой откликаясь на весёлый детский гомон. Титовы дружно доели и допили. Первая трапеза в новой квартире оказалась невероятно вкусной и укрепила ощущение счастья.

Спустя час сидел Толик за кухонным столом и просматривал содержимое папки. В ней хранились несколько писем от сослуживцев, штук двадцать

армейских фотографий и весточка от мамы. Когда он уходил в армию, матери исполнилось пятьдесят. Она писала ему длинные послания, перечисляя деревенские новости и какие-то мировые сенсации, шутила по-простому, по-бабьему и неизменно заканчивала своим обычным: «Сыночку Толеньке от мамы Оленьки». Молодого солдата раздражали эти письма, он их прочитывал бегом, рвал на мелкие куски и выбрасывал в урну. Интересней читать письма от девчонок, которые сотнями доставляла армейская почта на имя «самого красивого» или «самого весёлого» солдата. Толик пожалел сейчас о тех уничтоженных письмах. Сердце будто в размерах уменьшилось — до чего неприятное чувство сжало его. Он взял в руки единственное сохранённое письмо матери, оставшееся с давних времён. Развернул. «Здравствуй, дорогой сынок Толик. Дошла до меня весть, что твой отец, от которого ты родился, помер. Уж и не помнишь его, поди. Малой ты был, когда он нас оставил. Так папаня твой и не удосужился сынка увидеть, а ведь ты ему кровный. И я тебя уж столько лет не вижу. Не знаю, свидимся ли ещё». А внизу добавлено: «Сыну Толе от мамы Оли». Присказку поменяла, — отметил про себя Титов.

— Анют, отпустишь меня? Мать надо навестить.

— Как не вовремя! Столько работы в квартире и денег на поездку нет — всё переезд сожрал.

— Что, совсем нет?

— Нет. Я зарплату получу через две недели, твои отпускные на ремонт квартиры ушли, получка у тебя только через месяц. Едва на еду до моей зарплаты хватит.

— Значит, у Симоновых надо в долг брать.

— Что ж так приспичило? Столько лет словом не вспоминал и вдруг — «поеду»! А мне одной с четырьмя бойцами по детсадам-школам мотаться и на работу успевать бегать.

— Чувство у меня нехорошее, Анют. Отпусти! С детьми попрошу Любу Симонову пособить. Если уж брать в долг, то — по полной. А, Анют?

— Да езжай уж, горемыка! — Аня обняла мужа, прижалась щекой к его щеке, постояла так немного и пошла в комнаты, тешась мыслями об улучшении семейного быта.

Дорога заняла три тягучих дня. Толику странно было думать, что он едет домой, к маме. Столько лет не был в этих краях! Добирался сначала поездом, потом автобусом, на попутке и пешком. Он преодолевал последние сотни метров, ведущие к родной избе. Шёл странной походкой — на ватных ногах, часто вздыхал полной грудью, пытаясь

уменьшить волнение, и внимательно смотрел окрест. Деревня изменилась. Обветшали и вросли в землю избы. Все постройки были одного цвета — серого. Кое-где ровными грядками зеленели огороды, но в основном — запустенье, безрадостное, вымороженное отчаянием. С трудом узнал родительский двор, подошёл к выгнутому дугой штатетнику, толкнул калитку, сделал несколько шагов и остановился посреди небольшого подворья. Огляделся, вздохнул ещё раз, прошагал к избе и ступил на порог. Дверь оказалась незапертой. Пересёк сени, торкнул ещё одну дверь и вошёл в сумрак горницы.

— Есть кто живой? — спросил тихо.

— А как же! Я живая, — раздался голос из чернеющего угла.

Глаза Толика скоро привыкли к темноте, и он различил фигуру старушки, примостившуюся на краю кровати.

Толик опустил рюкзак на пол и присел на скамью.

— Из собеса будете? — спросила мать.

— Нет.

— Летом привезли чурки и, уж месяц, поди жду, когда кого-нибудь пришлют дров наколоть и в сени перенести. В прошлом году зима была суровая, еле дотянула, думала, заиндеею в ледяной избе. Эту зиму ожидаем слабую, но без дров и мягкая зима жёстко постелит.

— Давайте я вам дров наколю! — вскочил Толик, неожиданно для себя назвав мать на «вы».

— Сиди. Успеется. Чай, по другому делу пришёл. Чует моё сердце, что снова про пенсию новость плохую принёс. Мародёрствуют начальники. Зачем у бабки последнее отбирать? Ить той пенсии с гулькин нос.

— А на что вы живёте?

— Из собеса шефствуют надо мной. Раз в неделю приезжают, хлеба и молока привозят. А когда и крупы с маргарином. Мало, конечно. Да я экономная, тяну до следующего раза.

— А чем вы занимаетесь?

— Что?

— Что делаете?

— Сижу.

— Нет, я не про то, что вы сейчас делаете. Я про то, чем вы каждый день занимаетесь?

— Сижу. Что ещё делать? А ты по какому делу, мил человек?

На чьём-то дворе залаяла собака, кудахтнула курица, а с неба донёсся гул летящего над облаками самолёта.

— Сын я ваш, Ольга Герасимовна.

— Сы-ы-ын? — недоверчиво протянула старушка, — Нету у меня сына. Пропал он.

— Как пропал?! Вот он я! Неужто не узнаете? Посмотрите внимательно.

— А мне теперь смотри-не смотри — всё одно. Слепла я.

— Как — ослепли?!

— А вот так. Не вижу ничего. В темноте живу. Уж приноровилась да и экономия опять же — электричество не трачу. Другие копеечку за свет отдают, а у меня копеечек нету. Правильно Господь

рассудил: чем государству за электричество задалживать, лучше пусть бабка ослепнет.

— Я выйду на минутку?

— А чего ж, выходи.

Серо, неприглядно и бесприютно выглядело подворье. Подул ветер и охолодил слёзы на щеках взрослого сына. Завыл бы мужик, да постеснялся чувства оголить. Скрипнул зубами, вытер слёзы рукавом, высморкался в сторону и пошёл к сараю. Там увидел гору берёзовых чурок. В сарае отыскал топор, выбрал чурку покрупнее и начал колоть на ней дрова.

С работой Толик справился к вечеру. Дрова ровнёхонько уложил по обе стороны просторных сеней, взял несколько поленьев и затопил печь.

— А кто вам печь растапливает? — так и не решаясь назвать старушку мамой, поинтересовался Толик.

— Сама. У меня на пальцах за столько лет короста от ожогов образовалась, так что если суну руку в пламя, то уже не больно.

Разогрели еду в кастрюльке, на раскалённые круги печной плиты поставили чайник. Ольга Герасимовна стояла у стола и накладывала в тарелки кашу. Толик окинул взглядом её фигуру и поразился изменениям. Худенькая, седая, беззубая старая женщина небольшого росточка с невидящими глазами, улыбающимся лицом и обожжёнными пальцами была его мамой. Он спинным мозгом ощутил течение времени, а взглядом успел уловить, как начинают облекнуть очертания фигуры матери, истекая в небытие. Толик мотнул головой, прогоняя видение, и спросил:

— Я переночую у вас?

— А чего ж, ночуй.

После ужина отправился Толик в боковую комнатёнку на старый диван. Лампу не стал зажигать, нашарил в потёмках одеяло, лёг не раздеваясь, укрылся по самый подбородок и крепко задувался. Не затем он сюда приехал, чтоб каши отведать. Рассказать бы ей про все его заботы, про то, как гробился на тяжёлых работах — себя не жалел, чтоб лишнюю копейку иметь. Как прежде, чем жениться, денег поднакопил на шикарную свадьбу и на машину — завидным женихом был. Пахал по две-три смены, хватало и на оплату съёмных квартир, и на шубу молодой жене и на кооператив откладывал. На море семью возил и не раз. Четверых сыновей родил, и у каждого — своя сберкнижка на образование. Квартиру купил, наконец. Большую, просторную. Не просто так всё далось, ох, не просто! Толик долго ворочался с боку на бок, вздыхал, кашлял, потом поднялся рывком и пошёл наощупь в горницу. На фоне светлеющего окошка увидел чёрный силуэт матери, сидящей в своей извечной позе на краю кровати.

— Не спите?

— Не сплю.

Он набрал воздух в лёгкие, чтоб одним махом выложить матери историю своей трудной жизни, как вдруг услышал:

— Я ить не знаю, кто ты такой. Помирать не боюсь, смерти каждый день жду. Господь не торопит меня забирать, и ты Его не торопи.

— Зря вы так. Ничего плохого я вам не сделаю... Как мне доказать, что я ваш сын?

— Зачем доказывать? Сыновья — они о родителях пекутся, так же, как родители о них когда-то пеклись. Я своего до самой армии пестовала. В девятнадцать призвали его. Пока был в армии, письма писала, думами была с ним. А после армии приехал на два дня, с тех пор его не видела. Знаю, что сынок у него родился.

— Теперь уже четверо.

— Воон как! А ты откуда знаешь?

— Ольга Герасимовна, я, я — сын ваш. Помните, когда мне пять лет исполнилось, вы щенка подарили? Я его вечером с собой в постель брал, а вы ругались.

— Нет, не помню.

— А вот шрам на локте. Потрогайте! Вы обед готовили, а я под руками вертелся и нечаянно прилонился к раскаленной кочерге. Вы мне несколько дней маслом подсолнечным ожог смазывали.

— Не помню.

— А друга моего Ваську Петренко помните? Он тоже безотцовщиной был. С матерью его, правда, вы не ладили.

— Не помню, мил человек.

— Да как же так! Я и лицом на вас похож. Я — сын ваш, а вы — мать моя.

У старушки дрогнули веки. Толик не видел этого — темнота надёжно скрывала выражение лица матери.

— Однажды я влюбился. Мне было четырнадцать, а ей двенадцать. Я привёл «невесту» домой и сказал, что теперь она будет жить с нами. Вы прогнали «невесту» и отлупили меня. Помните?.. Неужели ничего не помните? Как же так — забыть такое!.. Я заберу вас к себе.

— Нет, мил человек, мне здесь привычнее. Я хоть и слепа, но каждый уголок знаю, каждую стеночку. Ты иди спать, не тревожься. Утром поедешь.

Толик проснулся с большой головой. Не думал, что так повидается с матерью. Ожидал чуть ли не праздничной суеты, слёз радости, ахов и охов. А оно, вишь, как получилось. Не признала мать сына своего. Ехал сюда с тяжёлым сердцем, а уезжает с глыбой на душе. Что-то подсказывало ему, повиниться надо перед матерью, но не чувствовал сын вины своей перед нею, значит, и каяться было не в чем. От чая, предложенного матерью, отказался. Закинул рюкзак на плечо, подошёл к ней, не решаясь обнять на прощанье. Всмотривался в морщинистое лицо и чувствовал, как слёзы наворачиваются на глаза.

— Поехал я.

— Доброго пути.

Ступил на подворье, оглянулся. В окне увидел мать. Лицо её казалось печальным. Отворил калитку и зашагал широким шагом по улице в сторону околицы. Чем дальше уходил от деревни, тем легче становилось. Чикнул воображаемым ножом, отрезал широкий ломоть жизненного хлеба, бросил его на дорогу и сразу же успокоился. «У каждого своя судьба. А мне семью поднимать надо», — сказал сам себе Толик и зашагал

ещё быстрее, мысленно отправляясь туда, где был его дом, жена и дети.

Ольга Герасимовна долго сидела на своём посту у окна. Ни разу не шелохнулась. Наконец, произнесла:

— Вот и свиделись, сынок. Успел-таки.

Голубое небо, золотое солнце

Дивное, дивное украинское село. Раскинулось на холмах, прорезанное блестящей речкой. На одном берегу — ивы и дубы. Держали траву под тенью. Здесь рыбаки чувствовали себя привольно. Теперь с удочкой не посидишь — река, как и поля, колхозу принадлежит. Поймаешь рыбки — поймают и тебя, осудят, в лагеря отправят. Легче думать, что рыба в Ущице не водится. В болотистой пойме реки, сплошь покрытой камышами и осокой, даже раков ловить запрещалось. Другой берег холмом горбатился. Там в прежние времена под присмотром босоногих детей паслись стаками гуси и утки. Этой весной домашней птицы по дворам не осталось — что не конфисковали, то за зиму съели. Холм зарастал чертополохом, колючками перекати-поле и бурьяном. В небольшом отдалении от берега по обе стороны реки стояли белёные хаты-мазанки. С наступлением мая никто их не подновлял, и сквозь сероватый слой извёстки просвечивалась бурая глина.

Над хатами голубело небо. Соломенные крыши желтели, освещённые солнцем. Посреди села сиротливой жердью высились колодезный журавель¹. Слушал странную тишину и вспоминал былое время, когда без устали кланялся каждой молодухе, пришедшей по воду. Иной раз вокруг него собиралось до десятка хозяюшек. Трещали, хохотали, перешёптывались и успевали в свою хату в избытке воды наносить. В каждой — по семь — десять ртов вместе со стариками. Сварить, постирать, скотину напоить, ребятишек выкупать — на всё хватало. Сильные были молодухи, крепкие. Высок журавель, обозревает село, вздыхает скрипуче: куда люди подевались? Солнце поднялось высоко, золотит день июньский. А в хатах — горе чёрное второй год. Плач и вой уже не слышатся — отревели, отрыдали. Сил нет. Оставшиеся в живых говорят тихо, а то и вовсе молчат. Голодный мор опустошал сёла. А кое-где на высоких стрехах² гнездились аисты и вселяли надежду в отчаявшиеся сердца.

Одарка смотрела неотрывно на свёкра, лежащего на топчане. Четверо из пяти её детей, исхудавшие, притихшие, сидели рядком на шаткой скамье. Старик оказался живучей мужа. Филипп, успев обменять на хлеб всё, чем владела, не вынес горя разорения и постоянного недоедания. Быстро угасал, темнел кожей. Однажды лёг спать, тяжело вздыхая, а утром, солнечным утром, нашла его жинка бездыханным. «Вже краще б ти в цей проклятий колгосп записався-а-а-а!»³ — завывла протяжно Одарка. Заревели на разные голоса дети, разбуженные материнским истошным криком.

1 Колодезный журавль, длинный шест, служащий рычагом при подъёме воды из колодца.

2 Крыша, кровля избы, хаты (обычно соломенная)

3 Уж лучше бы ты в этот проклятый колхоз записался!

Старшенькая Аня спрыгнула с полатей, поняла в чём дело, подбежала к отцу, сжала его ладони: «Тато, татко! Як же я вас кохала-а-а-а!»⁴

Отголосив по кормильцу, собрали его в последний путь. На кладбище тянули покойника, завернув в простыню, впятером: мать — впереди, дети позади — по бокам. Трёхлетка Гриша держался за папкин рукав. Опустили в общую яму, бросили чуток земли, постояли молча и ушли. Ночью убивалась Одарка по мужу и годовалому Андрейке, проклиная жизнь и советскую власть. Она ещё помнила запах темечка младшенького. Закроет глаза и вдыхает, как будто он здесь, рядом с ней лежит, губами причмокивает. А молоко перегорело, кормить нечем. Вспомнила, как, обезумев от истошного голодного крика последыша, кинулась на край села к Вязовецким. У них корова, может, сжалются, дадут молока. Сжалились. Дали целую кружку. Разбавляла водой, растянула на сутки. А как кончилось, снова кричал младенец. Одарка сунула ему большой палец левой руки, а правой прижимала к пустой груди. Ребёнок сосал его, как соску несколько дней. Всю плоть высосал, до самой кости. Поистине, соками своими питала. Потом застих, только посапывал, пока вовсе дышать не перестал. Андрейка открыл счёт их потерь.

В иных семьях некому было своих хоронить. Трупы пухли и смердели почти в каждой хате. Туда приходила похоронная бригада. Одарка слёзно вымолила, и её включили в бригаду. За выполненную норму захороненных получали паёк, за невыполненную — половину. Кормила детей зарплатным, самой доставались крошки.

Свёкор уже не жилец, но ещё дышит и смотрит в потолок, изредка моргая. Хлеба она ему больше не выделяла, только воды из ковшика. Теперь сидела перед ним, умоляя:

— Та вмирайте вже швидше, тату!⁵

Заберут его на погост сегодня, получит Одарка полный паёк, нет — надо снова посылать детей в поле — хоть что-то им перепадёт за тяжёлую работу на солнцепёке. Только бы выдюжили.

— Ганю, біжи до бригадира, хай приходять діда забирати. Немає більше моєї змоги!⁶

Девятилетняя Аня поднялась и медленно побрела на соседний двор.

Невестка склонилась над стариком. Прошептала отрешённо:

— Пробачте, тату. Вам все одно на той світ пора, а діткам вижити треба.⁷

Свёкра отнесли на носилках, положили на кладбищенском дворе рядом с такими же безнадежными. Три-четыре дня — и их можно закапывать. Одарка направилась к хате бывшего головы с ильрады.⁸ Сквозь густую зелень платанов, растущих у ограды, светилась она побеленными стенами. Старику приходилось туго. Селяне вымирали, а он не позволял себе слабости. Ответственность удерживала его на земле. Каждого умершего записывал в большую книгу. Раньше такие при церквях хранились. Кто женился, кто развёлся, кто родился и скончался — о каждом помечено. Время берёзовых почек кончилось. Наступил сезон крапивы. Но желудок деда больше не принимал траву. Его ввало тёмно-зелёной жидкостью. Крапива обезвожила и без того худосочное тело. Чувствовал, осталось ему немного, а передать книгу некому. Сельская интеллигенция вовремя по городам попряталась, остались одни безграмотные, да и тех по пальцем пересчитать можно.

Сквозной ветерок колыхал драную марлю над входом. Голова сидел перед иконами, безучастный, с закрытыми глазами. Одарка попросила с порога:

— Запишіть в церковну книгу: Архип Непийвода помер 5 червня 1932 року.⁹

— Запишу. А ти молися. Молися Матері Божої. Сплізно молитимемося, прийде порятунок.¹⁰

— Що товчу з цих молитов! Чому вона небіжчиків Пилипа та Андрійка не врятувала? Дітей їй не жаль? Свого сина віддала на наругу. Тепер моїх черга?¹¹

— Сина свого віддала, щоб люди жили вічно.¹² — снова прикрыв глаза.

— Та не брешіть! Все село вимерло. Їжте вашу вічність замість хліба! Чужі думки вселяєте — католицькі.¹³

— Змирися. Покайся. І житимеш вічно.¹⁴

— Тьфу! — в сердцах сплюнула Одарка и вышла во двор.

Солнце подбирало лучи за горизонт, небо выкрашивалось синькой. Старшенькая Аня принесла в подоле ежа. Своих двух кошек и собаку они съели зимой, когда был жив отец. Близнецы Ира и Надя — по охапке клевера. Значит, сегодня будет мясной суп. Маленький Гриша растягивал рот в беззубой улыбке, радовался предстоящему ужину.

— Літо врятує нас, не ікона.¹⁵ — ворчала Одарка.

И лето спасало их. Смысл жизни свёлся к добыче пропитания. Постоянно есть траву оказалось невозможным. Болели животы, одолевал понос. Нужна твёрдая пища. Дочери шли побираться по дворам в соседние сёла. Но и там людей косил мор. Возвращались усталые, грязные, с кусочком сухарика для мамы. Свои мизерные подачки съедали на месте. Маленький Гриша оставался дома, привязанный за верёвку к ножке тяжёлого деревянного стола.

Девочки искали в траве под ивами и дубами подходящую живность. Уже и лягушек ударяли камнем по голове и складывали в торбинку,¹⁶ улиток клали сверху. Варили суп из гадов. Детьями постепенно овладела апатия. Для выражения

4 Папа, папочка! Как же я вас любила!

5 Умирайте уж побыстрее, отец!

6 Аня, беги к бригадиру, пусть приходят деда забирать. Нет больше мочи!

7 Простите, отец. Вам всё равно на тот свет пора, а деткам выжить надо.

8 Председателя сельсовета.

9 Запишите в церковную книгу. Дед Архип Непейвода умер 5 июня 1932 года.

10 Запишу. А ты молись. Молись Матери Божьей. Будем сообща молиться, придёт спасение.

11 Что толку с этих молитв! Почему она покойных Филиппа и Андрейку не спасла? Детей ей не жалко?! Своего сына отдала на поругание. Теперь моих очередь?

12 Сына своего отдала, чтоб люди жили вечно.

13 Не врите! Всё село вымерло. Ешьте вашу вечность вместо хлеба! Чужие мысли внушаете — католические.

эмоций нужна энергия, а её не доставало. В начале августа кончились в хате спички. Разжигать печь стало нечем.

Тельце братика с каждым днём усыхало, а голова увеличивалась. Он протянул до сентября. Вслед за ним неожиданно ослабела Надя, хотя выглядела крепче своей сёстры-близняшки. Лежала на дедовом топчане, а над ней мать, как курица над цыплёнком:

— Донечку, потерпи трішки, я що-небудь придумаю.¹⁷

— Не треба нічого. Беріть, мамо, шматочок хлібчика. Це я для вас приховала, — Надя вытасила из кармашка фартука сухарик с ноготок и протянула Одарке. — Я вже померти хочу.¹⁸

Одарка и сама бы легла на лавку умирать, а кто же оставшихся двоих вытянет?

Осень выдалась тёплая. Высокое синее безоблачное небо контрастно оттеняло желтеющую листву деревьев. Солнце добавляло ей прозрачности. Лёгкий ветерок распространял по селу трупный смрад. Живых остались единицы, мёртвых — сотни. За два года зажиточное украинское село постигло запустенье, а на территории кладбища образовалась огромная братская могила. Надю положили на тела односельчан. Закапывать могилу не было смысла, каждый день подносили новых покойников. Вороны расхаживали по трупам, выдёргивая клювом куски кожи. Их расплодилось несметное количество. Кладбище стало самым шумным местом. А в стороне от него, куда не доносилось карканье, господствовала тишина бабьего лета, приукрашенного золотом осеннего солнца.

Одарка страшилась ночей. Голод отпугивал сон и приманивал дурные мысли. Страх тюрьмы и страх за судьбу детей, если они останутся круглыми сиротами, удерживал от воровства и убийства. Она исподлобья зло поглядывала на небольшую икону Божьей Матери в тёмном углу и шептала:

— За що? За що такі муки моїм діточкам? Чому ти не зберегла Гриця і Надійку?.. Де твоя влада, га? Де милосердя і любов?... А-а-а-а, я зрозуміла! Ти не всесильна, ти — ніхто. Нагодуй нас! Зроби диво!.. Що, не можеш? Брехуха!.. Ти дивисься байдуже, як вмирають люди, як гине моя сім'я, діти. Ти — просто малюнок! Будь ти проклята, нещадна!¹⁹

Утром растормошила Одарка дочек:

— Ганю, Яринка, йдіть в районний центр. Там, я чула, є дитячий будинок. Скажете, що сироти круглі. Ось вам в дорогу трохи хліба і глечик²⁰ з водою. Йдіть, інакше не врятуєте ся.²¹

Молча собрались. Мать завязала им платки, перекрестила. Проводила за калитку, подтолкнула в спину:

— З богом! — И вернулась в хату.

Теперь можно лечь и ни о чём не беспокоиться. Скоро зима. Одарка не знала, что лучше: умереть от голода или от холода? Сколько селян переходила за эти месяцы! Своих — пятеро, а остальных — без счёта. Где они теперь? На небесах? А где небеса? С телами всё было ясно. Лежат они навалом — бесхозные скелеты, обтянутые кожей. А души? В живом теле руками-ногами кто двигает?

Глазами кто водит? Кто говорит и дышит? Кто любит, кто плачет, кто ругается? Кто чувствует боль? Кто смеётся? Куда оно подевалось? Неужели к Богу поднялось? И кто они перед Богом — жертвы? Великомученики? Или глупцы, не сумевшие противостоять банде обирателей в униформе? В соседнем селе собственных младенцев поедали, прости господи! Простится ли? Находились и такие, что на базаре человеческое мясо продавали. И такие, кто покупали. Вот с наступлением зимы и начнётся, когда всё снегом укроет и льдом схватит. Ни травинки, ни былинки. Одарка поднесла большой палец левой руки в глазам. Рана затянулась. Она, конечно, может, как Андрейка, собственными соками питаться. Надолго ли хватит тех соков? Нужно ли душе питание, когда она разуверилась в мире, в людях, в жизни, когда она несчастна? Где искать такой душе успокоения?

— Мати, мати! Навіщо народила мене на цей світ? Краще б ти мене у купелі втопила, краще б я захлинулася святою водою при хрещенні, щоб не бачити смертей чоловіка мого й дітей моїх!.. Господи Христу, врятуй душі наші! На тебе одна надія і в тобі вірада! Чи не я ставила свічки під хрестом твоїм, чи не я чесно трудилася на цій землі? Змилуйся! Не дай душі так старадать, як тілу. Пробач гріхи мої!²² — Одарка прошептала молитву освобождения и ощутила невероятную лёгкость. Поднялась с лавки, вышла из хаты. Встала на крыльце, вдохнула прохладный воздух, прищурилась на небо. Синее-синее, без конца и края, с ослепительным солнцем посередине, ширилось над селом, обволакивая его тёплым светом. Последние дни осени.

— Все пройде, а небо і сонце залишаться,²³ — Одарка села на ступеньки, закрыла глаза и улыбнулась.

Фризойтэ, Германия

14 Смирись. Покаяйся. И будешь жить вечно.

15 Лето спасёт нас, не икона.

16 Небольшая холщовая сумка

17 Доченька, потерпи немножко, я что-нибудь придумаю.

18 Не надо ничего. Возьмите, мама, кусочек хлебушка. Это я для вас припрятала. Я уже умереть хочу.

19 За что? За что такие мучения моим деточкам? Почему ты не уберегла Гришу и Надюшку?.. Где твоя власть, а? Где милосердие и любовь?.. А-а-а-а, я поняла! Ты не всесильна, ты никто. Накорми нас! Сделай чудо!.. Что, не можешь? Лгунья!.. Ты смотришь равнодушно, как умирают люди, как погибает моя семья, дети. Ты — просто картинка! Будь ты проклята, беспощадная!

20 Глиняный кувшин с узким горлом.

21 Аня, Иринка, идите в районный центр. Там, я слышала, есть детский дом. Скажете, что сироты круглые. Вот вам в дорогу немного хлеба и глечик с водой. Идите, иначе не спасётесь.

22 Мама, мама! Зачем родила меня на этот свет? Лучше б ты меня в купели утопила, лучше б я захлебнулась святой водой при крещении, чтоб не видеть смертей мужа моего и детей моих!.. Господь Христос, спаси души наши! На тебя одна надежда и в тебе отрада! Не я ли ставила свечи под крестом твоим, не я ли честно трудилась на этой земле? Змилуйся! Не дай душе так страдать, как телу. Прости грехи мои!

23 Всё пройдёт, а небо и солнце останутся.



Олег Алёхин

Заэкранные хохотуны

154

Библиотека современного рассказа

Два главных героя комедийного телесериала «Побейся лбом о воздух» зашли в ресторан, чтобы обсудить возникшие между ними разногласия. Они заняли столик, облагодетельствовали официантку внушительным заказом и приступили к важному сценическому диалогу. Один из них сделал очень тонкое жизненное наблюдение о женщинах, в том смысле, что все они дуры. Сочтя это шуткой, незримая аудитория, загадочным образом расположившаяся где-то между действующими лицами сериала и телезрителями, одобрительно взгоготнула. Второй герой энергично поддержал животрепещущую тему, прозрачно намекнув собеседнику на его новое увлечение; гоголь усилился. Оскорблённый донжуан, следуя приземлённому образу мысли сценаристов, дал обидчику отпор путём меткого броска бисквитным пирожным в центральную часть глумливой физиономии оппонента. Заэкранные дауны пришли в такое гомерическое неистовство, что некоторое время даже заглушали своим непотребным ржанием продолжавшийся содержательный диалог двух главных героев...

Все, кто находился в палате, делали ставки: сколько герои просидят в ресторане, — три серии или пять. Мой сосед справа, считавший себя знатоком сериалов, заявил, что, судя по глубине решаемой проблемы (вернее, её отсутствию) и количеству заказанной выпивки, они покинут ресторан не раньше, чем через восемь серий. Палата выразила сомнение относительно такого большого срока, но авторитетный сосед указал всем на объём произведения, — 500 часов.

— При такой продолжительности, — сказал он, — и отсутствию динамики развития сюжета, этот шедевр мирового искусства можно было бы снимать в режиме реального времени.

— Это как? — спросили мы.

— А так. Набрать команду недалёких болванов, запереть их в одном павильоне и снимать круглые сутки без всякого сценария.

— Тогда это будет уже не сериал, а реалити-шоу, — возразили мы.

— А вы ещё улавливаете разницу?! — мило удивился сосед.

— Во всяком случае, юмора там поубавится, — заметил кто-то.

— Ошибаетесь, — не согласился сосед. — Юмора там станет значительно больше! Если, конечно, беспристрастно оценивать идиотизм поставленной организаторами задачи. Ведь все реалити-шоу — это максимально возможное приближение к нашей жизни. Что может быть смешнее?..

Утренний обход врачей прервал наши дебаты. Зав. отделением остановился возле моей кровати и, как мне показалось, преувеличенно любезно стал расспрашивать меня о самочувствии. Улучив момент, я так же, преувеличенно бодро, спросил его:

— Ну и как мои дела, доктор?

— Результаты биопсии будут готовы завтра. Посмотрим...

Моему соседу справа он сказал, что химиотерапия прошла успешно, лейкоциты в норме и что он, со спокойной совестью, может готовиться к выписке. Мой сосед долго тряс доктору руку и изливался в благодарностях.

— Когда я буду депутатом в Госдуме, — пообещал он в заключение, — я возьму шефство над вашей клиникой.

После того, как местные светила покинули нас, сосед достал из-под подушки плоскую фляжку с коньяком.

— Спрыснем это дело, — предложил он. Я покачал головой.

— Пожалуй, воздержусь.

— Бросьте, — весело сказал сосед. — Вопрос жизни и смерти — самый бессмысленный из всех человеческих вопросов.

Замечание прозвучало столь легкомысленно, что я даже не обиделся.

— Конечно. Вы уже можете рассуждать об этом отвлечённо.

— Почему бы и нет. Я прошёл собеседование, вернее тест на профпригодность... Так что можете меня поздравить, — я зачислен в группу сценаристов сериала.

— Какого сериала? — спросил я машинально.

— Самого грандиозного в мире сериала, — загогощики подмигнул мне сосед. — Имя ему — «Горе от ума».

— По Грибоедову, что ли?

— По жизни.

Я не нашёл, что на это можно ответить, и потянулся за книгой.

— Нет, подождите, — остановил меня сосед. — Я вам расскажу.

И он рассказал. Оказывается, нашу планету, вместе с Лунной, создали искусственно, как павильон для съёмок научно-популярной телепрограммы «Жизнь террариума». Когда эпоха динозавров достигла расцвета, площадку вместе с декорациями арендовала на время другая студия, осуществлявшая проект остросюжетного боевика, что-то вроде нашего «Парка Юрского периода»; сюда понагнали пару тысяч вооружённых до зубов маньяков, которые довольно быстро отправили

всех динозавров в палеонтологическую летопись (до сих пор учёные находят черепа чудовищ с необъяснимыми отверстиями во лбу). Научно-популярная программа возобновилась, но теперь уже под названием «Жизнь животных». На этот раз она просуществовала не долго, поскольку рейтинги её постоянно падали. В конце плейстоцена крупная межгалактическая корпорация визуальных развлечений выкупила нерентабельный павильон и поставила на нём что-то похожее на реалити-шоу с участием разумных обезьян. Это был удачный замысел, — невинные животные, обременённые мыслительным аппаратом, корчат из себя божественную сущность, — и сериал пошёл.

Некоторое время я изучал воодушевлённое лицо рассказчика.

— Ваш бред не доказуем, — сказал я, наконец.

— Конечно, не доказуем. Как и первичность материи или сознания, или существование Бога. Это вопрос личных убеждений.

— И что вам даёт такое странное убеждение?

— При благоприятном стечении обстоятельств — бессмертие.

Я вздохнул.

— Вы много пьёте.

— Послушайте, — не отставал сосед. — Бредовых теорий полно, но все они ничего не стоят, если отрицают очевидные факты или у них обнаруживаются внутренние логические противоречия. Попробуйте уничтожить мою теорию этим оружием. Клянусь, я брошу пить!

Я рассердился и решил, что сделаю это в два счёта.

— Ну, хорошо. Каков жанр этого вашего сериала?

— Безусловно, комедия, — тут же ответил рассказчик. Я приподнял брови.

— Что можно найти смешного в нашей серой, унылой жизни?

— Главным образом, это период войн и крупных социальных катастроф. Но такое случается редко. В большинстве случаев эфирное время занято сюжетами преднамеренных убийств, являющихся следствием попрания человеческих прав и моральной деградации личности, а так же фактами лжи, лицемерия, подхалимства, воровства, сексуальным насилием и развращением нравственности, — короче, всем тем, что нас отличает от животных.

Я даже оторопел от такого идиотизма.

— А вы не находите, что здесь налицо логическое противоречие в купе с отрицанием очевидных фактов? — спросил я.

— Отнюдь! Вам это не кажется смешным, потому что вы сам герой сериала. Но возьмите хотя бы телепроект, который мы сейчас смотрели. Один герой оскорбил другого, а тот залепил ему в глаз пирожным, прямо, как Чарли Чаплин. Очень конструктивно! У зрителей повальный хохот, хотя, если задуматься, ничего смешного здесь нет. Эти люди решают свои злободневные проблемы в том ключе, который предложили им сценаристы. Они не виноваты в том, что поступают подобным образом, и уж тем более, в этом конфликте, им не до смеха. А вот мы с бескорыстной чёрствостью

ржём над их несчастьями, словно не имеем с ними ничего общего. Невольно возникает вопрос: если нам это позволено, почему бы тогда какой-нибудь инопланетной цивилизации, — более развитой и гуманной, — не посмеяться над такой абсурдной нелепостью, как жестокое и бессмысленное унижение человека человеком?! Разве не смешно?

— Нет. В мире много и порядочных людей.

— Много. А вы не изучали статистику смертности населения по категориям нравственности? Впрочем, конечно, нет. Но даже ваш жизненный опыт должен вам подсказывать, что люди порядочные и высоконравственные живут, как правило, значительно меньше, чем подлецы, негодяи и циники. Спрашивается, откуда такая несправедливость? А она всё оттуда же, из сериала. Добродетель скучна, и уж тем более не может служить предметом пошловатых спекуляций. Таких героев убирают из сериала.

— А дети? — спросил я. — Детская смертность. Это же не реализованные личности. Почему они умирают?

— Ошибаетесь, реализованные. Характер и наклонности задаются человеку при зачатии психогенетическим механизмом компоновки матрицы. Это необходимый фундамент, на базе которого строится весь дальнейший фенотип. Если матрица сложилась логически завершённой и устойчивой, то она имеет слишком узкий спектр реализации своих возможностей. Человек вырастает, если так можно выразиться, очень правильным или, наоборот, очень не правильным, но в любом случае, — ограниченным и предсказуемым. Такие люди не укладываются в рамки гибкого противостояния сюжетной линии. Они не интересны: это ведь невыразимая скука быть абсолютно положительным или абсолютно отрицательным героем. Меня, например, от этого тошнит.

— О какой сюжетной линии вы всё время говорите? — спросил я. — Положим, я могу допустить, что какие-то там пресловутые инопланетяне снимают меня скрытой камерой. Да и флаг им в руки! Но при чём тут сюжетная линия?

— Это условное понятие. То, что происходит на Земле, несколько отличается от тех технических приёмов, которые используют создатели телешоу. В сериале есть концепция и сценарий, — все учат роли. В реалити-шоу есть только концепция, но участники знают, что их снимают и стараются развить концепцию кто во что горазд. Люди же, вроде вас, не знают ни своих ролей, ни концепции, ни того, что они являются объектом чьего-то наблюдения. Соответственно, они максимально естественны. Но, не имея никаких целей, мир превратился бы в хаос. Он не может существовать без указующего направления движения. И вот тогда на сцену выходят сценаристы. Это полулюди-полуинопланетяне, в том смысле, что они знают вкусы потребительской аудитории. Но сценаристы это особые; их называют «заэкранными хохотунами». Они не пишут ролей. Они создают законы (как правило, несовершенные), и на их основе провоцируют конфликтные ситуации между различными слоями общества и даже целыми государствами. Наши с вами законы,

включая конституцию, — это и есть сюжетная линия сериала.

— Есть ещё закон совести, не зависящий от законов государства — вставил я недовольно.

— Есть. Вот он-то как раз и вступает в противоречие с сюжетной линией. Слышали, наверное, жалобы авторов на то, что их герои не хотят подчиняться воле создателя? Здесь это тоже имеет место. Но если уж вы тем или иным способом заставили сотни, тысячи и даже миллионы людей соблюдать созданные вами законы, значит, вы профессиональный сценарист. Значит, вы смогли задушить в человеке свободу воли и тем самым подняли рейтинг своего теле-шоу на новый уровень комизма.

— Дикость какая-то!

— Да, дикость, но опять же, с вашей точки зрения. А примеров ей, между тем, полно, на любом историческом отрезке времени. Взять хотя бы Гитлера. Великолепный сценарист! Он вдохнул в теорию расизма новую жизнь, заставив поверить миллионы людей в то, что они исключительный, самый совершенный продукт эволюции и у них есть мессия. Как тут не хлопаться в ладоши от умиления?! И Сталин хорош, — породил в человеке рабскую психологию. Думаете, он заботился о благе народа? Бросьте! Никто и никогда не заботится о благе народа. Проявлять заботу о соотечественниках — это не смешно! Вот сценаристы-напарники Вашингтон и Линкольн развязали в Америке гражданскую войну, а ведь могли урегулировать проблему и мирным путём. Но без войны — разве это комедия?! Любопытно правитель спит и видит, как бы обессмертить себя какой-нибудь выдающейся, кровавой резнёй во имя добра и справедливости (несправедливых войн просто не бывает, — вы знаете об этом?). Из современников большие надежды подают Бин Ладен и группа Чеченских сценаристов, но их творения пока не масштабны. Посмотрим, что будет дальше, особенно в свете назревающего ближневосточного кризиса. Вообще говоря, попахивает Третьей мировой, — сосед в очередной раз приложился к фляжке и взглянул на меня, ожидая возражений. Дискутировать мне как-то расхотелось.

— А знаете, кто был самый непревзойдённый «закранный хохотун» всех времён и народов? — продолжал сосед. — Вы мне не поверите... Иисус Христос! Вот человек, который дал людям настолько простые и настолько невыполнимые законы, что многие народы до сих пор упрямо пытаются им следовать! Заметьте, не нарушать и не соблюдать, как обычно принято поступать с законами, а именно «пытаться следовать»! Причём, добровольно. Гениальная сюжетная линия! Ислам, буддизм, — это, конечно, тоже хорошо, но христианство просто шедевр нравственного издевательства над человечеством... Знаете притчу про упрямого осла? Осёл не хотел идти вперёд. Тогда погонщик привязал к хвостинке морковку и укрепил хвостинку так, чтобы морковка всё время болталась перед носом упрямого осла. С тех пор осёл всегда идёт навстречу морковке. Возможно, он догадывается, что его бесовски обманывают, но желание вкусить райский плод слишком велико... Мне кажется, эта

притча должна быть помещена в качестве эпиграфа к Библии. Ведь что, по сути дела, предлагает нам религия: вы соблюдаете такие-то и такие-то законы, а взамен вам даётся бессмертие на лоне Райского сада. Улавливаете, что это такое? Это самый откровенный, а главное беспронимчивый шантаж, о котором я когда-либо слышал. Кто же не хочет бессмертия? Все хотят! Вот и лезут из кожи вон, пытаясь соблюдать эти «несоблюдаемые» заповеди. Объясните мне, дураку, как можно не противиться злу насилием, если в нашем теле сидит обыкновенная, приземлённая макака, которая хочет жрать, размножаться и властвовать?! Даже если посвятить всю свою жизнь тому, чтобы ежесекундно пытаться обуздать её плотские порывы, то всё равно, где гарантия того, что бессмертие и Райские кущи действительно существуют? Таких гарантий нет и быть не может. И тогда невольно возникает вопрос: а отчего весь этот ажиотаж вокруг спасения души? Не знаете? А я вам скажу. От большого ума это происходит, от той самой обезьяньей черепушки, в которую гениальный сценарист Христос вложил одну простенькую схоластическую думу, чтобы все её думали и терзались сомнениями. Этот юмор будет поинтеллектуальнее братоубийственных войн, поэтому он до сих пор и не сходит с экранов сериала, и рейтинги у него растут из века в век. Люди боятся смерти и жаждут бессмертия. Только ослеплённые безумием садомазохисты будут утверждать, будто они стремятся к духовному совершенству. Это ложь! Любое религиозное побуждение — это, прежде всего, страх перед наказанием и ожидание благ. Гитлер и Сталин со своим тоталитарным милитаризмом здесь и рядом не стояли! Христос — единственный гений насмехательства.

Я порядком утомился слушать эту атеистическую пропаганду.

— Значит, бессмертия нет? — спросил я.

— Ну почему же, нет. Есть. Только даётся оно не праведникам, а грешникам.

— То есть сценаристам, — догадался я.

— Вот именно. Закранным хохотунам. Тем, кто создаёт законы бытия и проводит в жизнь свою гуманную политику, нацеленную на всеобщее благо. Вот они и обретут бессмертие.

— И вы собираетесь пополнить их славные ряды? — сказал я брезгливо.

— Почему нет? Мне предложили, и я рискнул. Это ведь не просто — стать сценаристом. Мне пришлось сделать себе инъекцию онкогенного вируса, дожидаться третьей стадии рака, когда метастазы стали распространяться по лимфатическим узлам, и только тогда лечь на операцию.

— Вы ненормальный, — вставил я.

— Это стандартная процедура «приёма на работу», — сказал сосед. — Все известные политики через неё прошли. Если, по мнению продюсеров, я чего-то стою, они дадут мне жить и помогут для начала попасть в Госдуму.

— Так вы не шутили насчёт Думы? — усомнился я.

— А что? — иронически прищурился сосед. — Вы полагаете, что в Думе одни кретины собирались? Нет. Это далеко не кретины. Это будущие «закранные хохотуны» пробуют там свои

сюжетные линии. По большому счёту Дума в России не что иное, как Дом Творчества для начинающих сценаристов. Чем нелепей закон они там принимают, тем больше у них шансов продвигаться в высшие эшелоны власти и изменить мир в худшую сторону.

— Откуда в вас столько ненависти? — поразился я. Сосед усмехнулся.

— Зная людей, я испытываю к ним глубокое чувство презрения, как к виду. Любое живое существо намного разумнее и гуманнее человека, потому что живёт оно не по социальным законам, придуманным сценаристами, а по законам природы. Человек — искусственное образование, синтез полуживотного-полубога, то есть, по сути, нравственный калека, юродивый, шут гороховый, — называйте, как хотите, — созданный для увеселения какой-то невзыскательной аудитории. Почему я должен относиться к нему с почтением?!

Подшло время обеда. Мы сходили в столовую, потом я решил прогуляться по больничному парку. Когда я вернулся в палату, сосед уже не было. Весь день я отвлекал себя разными занятиями, но ночью в голову полезли тревожные думы. Разумеется, я поставил соседу диагноз — шизофрения. Нет никакого сериала и никаких «заэкранных хохотунов». Всё это бред сумеречного воображения больного человека. Беспокоило меня

другое, а именно то, что этот бред был логически продуман и убедителен. Что мешает человеку с таким мировосприятием просочиться в Госдуму и творить там свои антигуманные законы? Кстати говоря, наблюдения показывают, что в Думе уже полно таких людей, если исходить из абсурдности их поведения. Политика — это ведь не призвание, это болезнь. Нами правят больные?

Моё настроение непоправимо испортилось; я уже даже начал подумывать о коньяке. Пока я анализировал нарисованную соседом картину, мне вдруг пришло в голову, что моё появление в больнице, возможно, тоже было не случайным. Это было глупо и нелепо, но я ничего не мог с собой поделать. Где-то в подсознании меня неотступно преследовала мысль, что меня, возможно, тоже тестируют на актёрскую профпригодность.

Если я окажусь человеком порядочным и высоко нравственным, то меня уберут из этого лицемерного сериала, а если подлецом, негодяем и циником, то я останусь жить. Осознавать это было невыразимо тоскливо.

Утром все смотрели продолжение телесериала «Побейся лбом о воздух». Один из героев сел мимо стула, уронив на себя пиалу со сливками. Палата ухахатывалась.

Утренний обход врачей я встретил с какой-то кислой рассеянностью в душе.

г. Балашиха

ДиН память

Юлия Жадовская

Не склоню свободной головы



Нет, никогда поклонничеством низким
Я покровительства и славы не куплю,
И лести я ни дальним и ни близким
Из уст моих постыдно не пролью.
Пред тем, что я всегда глубоко презирала,
Пред чем порой дрожат достойные, — увы! —
Пред знатью гордою, пред роскошью нахала
Я не склоню свободной головы.
Пройду своим путём, хоть горестно, но честно,
Любя свою страну, любя родной народ,
И, может быть, к моей могиле неизвестной
Бедняк или друг со вздохом подойдёт;
На то, что скажет он, на то, о чём помыслит,
Я, верно, отзовусь бессмертной душой...
Нет, верьте, лживый свет не знает и не смыслит,
Какое счастье быть всегда самим собой!..

Прочтя стихотворения молодой женщины

Опять отзыв печальной сказки,
Нам всем знакомой с давних пор,
Надежд бессмысленные ласки
И жизни строгий приговор.

Увы! души пустые думы!
Младых восторгов плен и прах!
Любили все одну звезду мы
В неспостижимых небесах!

И все, волнуясь, искали
Мы сновиденья своего;
И нам, утихшим, жаль едва ли,
Что ужились мы без него.

157



Александр Рыбин Хант Юра

Нужно быть действительно безумным, чтобы любить

В Этом городе новые ветры. Они сырые, они пахнут крышами и дорогами. Они гонят зиму из Этого города...

Укрывшись ночным светом и пушистым одеялом, я лежу между Этим городом и Космосом. Рядом со мной Она. Она спит...

Меня не интересует Её прошлое. Не интересует Её будущее. Но больше всего на свете я хочу, чтобы Её настоящее принадлежало двоим,

только двоим
двоим и всё.

Я хочу, чтобы Её настоящее принадлежало только Ей и мне.

И пока мне везёт...

В Космосе танцуют боги, танцуют духи. Демоны подгоняют кометы и поджигают им хвосты. Амон Ра на трёхмачтовом корабле направляется к кольцам Сатурна. Он собирается украсть одно из колец, чтобы затем подарить его Афине Палладе.

В Этом городе ледяные скульптуры едят мороженое. Таксикупаются в бассейнах с горячим кофе. Памятники собрались на набережной Томи и обсуждают предстоящее утро...

Я пью Её сны. Они смешиваются с моей кровью. Незаметно для Неё вылезая из-под одеяла. Аккуратно вдвое складываю ночной свет и накидываю его Ей на голову. Надрезаю кожу на указательном пальце своей правой руки. По каплям истекаю чудесной смесью крови и снов. Указательным пальцем правой руки рисую на стенах дома, где живёт наше настоящее. У нас появляется своё небо цвета ультрамарин с белилами. У нас появляются друзья-художники, друзья-писатели, друзья-музыканты. У нас появляются часы, которые удерживают настоящее на месте и не позволяют ему стать прошлым...

Возвращаюсь к Ней, горячей и мягкой...

Она просыпается. Одеяло сползает с меня, как занавес со сцены...

Актёры неподвижно ждут реакции зрителей. Зрители восхищённо громко аплодируют. Мгновение, другое — на сцену летят букеты цветов. Актёры оживают, поймав несколько букетов, рвут их и осыпают себя лепестками. Затем выстраиваются «клином» и медленно двигаются в зал. Зрители цепляются за руки и ноги актёров. Воздуха не хватает всем участникам действия. По стенам скатываются влажные капли.

Сверху, с балкона, за происходящим наблюдает ангел с крыльями вместо рук и горящими свечами вместо глаз. Он тихо напевает что-то из Radiohead...

«Клин» распадается. Где актёры? Где зрители? Где представление? Где внимание? Занавес падает с потолка. Ещё несколько секунд под ним что-то дрожит, затем полный покой. Занавес превращается в море во время шторма...

...Я курю, поднявшись на локтях, а Она рассказывает о рыбах, в которых тоскуют моря. Она читала о таких рыбах во сне. Три дня назад. А день назад Ей снились собаки в австралийской пустыне. Я напускаю дым в Её рассказы...

Она резко меняет тему. Так резко, что у меня вываливается из пальцев недокурная сигарета. Она говорит: «Жизнь — это мотылёк, потому что она стремится к свету».

...Сигарета катится по полу...

Она говорит: «Моя жизнь стремится к яркому ослепительному свету. К свету, который согреет и проглотит тени моих страхов».

...На полу разбросаны книги, рисунки, рукописи, музыкальные инструменты. Сигарета закатилась на один из рисунков...

Она говорит: «Я много раз видела свет в других мужчинах. Но всякий раз, когда я пыталась укутаться в их свет, он оказывался просто словом. Словом из четырёх твёрдых букв. А в буквы невозможно укутаться. Из них можно только построить стены, а потом жить за стенами. Но мне нужен мир. Мне нужен мир и свет, согревающий и спасающий. Сейчас мне кажется, что я вижу свет в тебе».

...Начинается пожар. Рисунки, книги, рукописи, музыкальные инструменты дразнят потолок оранжевыми, синими и зелёными языками...

Она замечает на моём теле остров. Потом ещё один. Губами она изучает их рельеф. Я говорю ей про пожар, но Она мне не верит. «Не надо мешать географическим ласкам», — говорит Она.

Огонь разбивает окна и выпрыгивает на улицу. Я вижу, как он оставляет чёрные следы на снегу... «Пойдём, я подарю тебе Этот город», — говорю я Ей...

Одеваемся. Один одевает другого. Один укутывает другого...

Наше настоящее, забравшись на спину ангела, летит через Этот город...

Ангел по-прежнему напевает что-то из Radiohead...

Этот город родился из смерти, на Крайнем Севере, недалеко от того места, где Ледовитый Океан пьёт реку Обь. Пять тысяч лет назад охотники с каменными, остро заточенными руками убили огромного мамонта. Утащить животное на место своего постоянного поселения они не

смогли — такое тяжёлое и большое оно было. Вместе с жёнами и детьми они основали новое поселение возле мамонта. Их солнце восходило между грязно-белых бивней, а заходило за густую, словно тайга, шерсть.

Две тысячи лет назад в верховья Оби пришло племя людей с глиняными лицами. Они называли себя «настоящие люди». «Настоящие люди» ели сырую рыбу и сырое мясо. Они умели разговаривать с животными и растениями. Этот город испугался «настоящих людей». Встал на 15 тысяч своих ног и отправился на юг. Километры и годы складывались — из них состояла дорога.

...До Неё в моей жизни была женщина, полная Её противоположность. До Неё была Другая женщина. Между мной и Другой женщиной были дикие

ужасно прекрасные
нервные отношения.

Кровоточащие и слезоточащие отношения.

Я и Другая женщина пожирали друг друга. Вдохновляли и уничтожали друг друга.

Мы обладали диким и нервным счастьем.

Но Другая женщина устала. Она захотела покоя, который может дать только смерть. И она умерла. Она легла на дно двухметровой в глубину могилы и сожгла себя. Пепел Другой женщины долго стучался в моё сердце. Чтобы успокоить пепел и себя, я написал некролог, который начинался так: «Другая женщина говорила, что перегрызёт ради меня горные хребты и выдавит лаву из потухших вулканов. Но... *но* перерубило её пополам, *но* четвертовало её, *но* обрило её налысо и вскрыло вены. Но — жестокое и немое, глухое и безглазое...»

...Вместе с Ней я могу обладать только одним счастьем — красивым счастьем. Счастьем, описанным в эпоху романтизма, воспетым русскими поэтами Золотого века. Счастьем, как его понимают приуральские ненцы.¹ Нервное и дикое счастье не для Неё. Потому что у Неё отсутствуют нервы, их заменяют тонкий слух и нежные губы. Потому что Она не умеет скакать сквозь метель или песчаную бурю на необъезженном облаке. Зато Она умеет очень убедительно рассказывать о слиянии двух душ...

Она говорит: «Если у тебя было счастье до меня, то забудь его. Счастье, которое было, недостойно мыслей и переживаний. Только счастье, которое есть, должно волновать человека. Тем более такого человека, как ты» Она делает два смысловых ударения: на словах «было» и «есть». Смысловые ударения рикошетят от стен близлежащих домов, царапают загазованный воздух и улетают в недоступную моим глазам даль...

История Этого города вновь лезет под руку, требует, чтобы записали накопленные ею века...

Четыре столетия назад Этот город нашёл спокойное и красивое место на берегу Томи. Он удобно расселся на холме. Сложил себе из древесной коры юрту. Невысокую, но большую по площади. Все три тысячи ног Этого города — за время путешествия часть ног потерялась — умищались в юрте.²

Спокойно и уютно было в юрте.

По солнечному свету очередного дня очередного лета приплыли мои предки. Приплыли на

деревянной ладье. На носу ладьи — фигура змея жалящего воздух. Мои предки построили из прямых, тупых и острых углов крепость. Переселили Этот город в крепость. Оставили в крепости своих детей, как обещание когда-нибудь вернуться, и уплыли вслед за закатом.

В окружении углов Этот город почувствовал себя совсем спокойно, совсем уютно. За считанные годы обрюзг, обленился, перестал мечтать, что снова отправится в долгое путешествие. Зато стал много читать, писать, занялся музицированием и изучением фундаментальных наук.

...Снегопады сменялись дождями. Дожди — грозами. Облака то толстели, то худели. Маету сменял май. Декады закрывал декабрь.

...Этот город начал расти изнутри во вне.

...В Этот город я приехал автостопом. Приехал пыльный и покрытый толстым слоем загара. Она пришла в Этот город с Востока. Черноволосяя и краглазая, как и подобает пришедшей с Востока.

...Я встретил Её на склоне зимы, в домике из зелёных брёвен.

Она расстреляла меня взглядами. Я, тяжело раненный, повалился на Её руки. Заклинаниями на древнем языке и красочными яркими снами Она излечила меня.

Я

и

Она

стали

Мы

Желания каждого из нас круто разворачивались. Оставался на языке лёгкий горьковатый привкус от того, что могло бы случиться, но точно уже никогда не случится.

Рука в руке.

Имя в имени.

Мысли мои в тебе.

Ты в моих мыслях.

Часто бывает больно от того,

что ты открываешь дверь

на улицу,

а надо

открыть меня.

.....
(Здесь я молчу, и Она молчит.

Потому что здесь нам очень надо помолчать...)

...Я смотрю на Неё, и у меня возникает желание взорвать окружающий мир. По-настоящему взорвать. Чтобы осколки в разные стороны. Чтобы огонь плавил металл и стекло. Чтобы чужие лица лопались. А затем руины, руины, руины, и утренний туман стелился бы между ними. Ведь окружающий мир мешаает мне смотреть на Неё. Окружающий мир то и дело отрывает моё внимание

1 Здесь автор имеет в виду поговорку приуральских ненцев: «Нгарка нэ” хбия то” мяд». В литературном переводе на русский это значит: «Счастье — это состояние человека, когда он находится в самую темную ночь и тепло в самый лютый мороз». Примечание ненецкого редактора.

2 Остатки первой юрты Этого города в начале 2008 года нашли новосибирские археологи. Они нашли их в книгах, написанных приблизительно в XVII веке. Книги хранились в подвале здания, где в 20-ые годы XX века находилось управление ОГПУ по Алтайскому краю. Примечание краеведа.

от Неё. То нужда, то дела, то вот гудки автомобилей. А мне бы просто смотреть на Неё, и чтобы Вечность давила со всех сторон. Я говорю: «Давай перевернём Этот город кверху тормашками. Пусть у нас под ногами будет тысячелетняя глина, пусть вместо близлежащих домов и зданий будут миллионлетние камни, давай?» Она сладко потягивается и берёт меня в руки, словно флейту. Она играет на мне музыку, всю прелесть которой я пойму ещё очень нескоро...

Сыпется снег. Автомобили и прохожие перемальвают его в грязь. Улицы быстро становятся жидкими и неудобными. Верный знак, что нам пора вернуться в домик из зелёных брёвен. Где мы встретились. Где музыка, где краски, кисти, рукописи, книги. Там мы демиурги. Там сыпется снег, только когда мы захотим. Там наше настоящее чувствует себя в абсолютной безопасности...

И снова конец, и снова начало. Мы часто дышим. Одариваем друг друга улыбками и лёгкими поцелуями. На нас пристально смотрят глаза картин, картины глаз, картины, глаза. Они не осуждают нас. Они восхищаются нами, даже немного завидуют. Ангел, напевающий Radiohead, стоит на потолке. Огонь в его глазах дрожит. Кажется, ангел в чём-то неуверен. Я поднимаюсь на локтях, чтобы задать ему вопрос. Но не успеваю. Ангел выбегает в другую комнату. Вскрываю, гонюсь за ним. Она кричит мне вслед, Она прекрасно обнажённая: «Ты куда? А я?» Её нагота, Её ночные фантазии, Её верность, наше настоящее царапают мою спину. В затылок вворачиваются шурупы. Оркестр играет «Прощание славянки». По стенам стекают солёные ручьи. Пол качается, будто палуба корабля в шторм. Индийская богиня Кама отрывает себе голову и играет ею в футбол. Мёртвые птицы падают за окном. Пассажиры поезда сходят с рельсов. В Африке наступает засуха. В Австралию циклоны приносят сорокаградусные морозы. Китайцы заживо съедают последних панд. Великие книги больше никому не нужны, они гниют на свалках и помойках, их жрут серые скользкие черви. Юпитер теряет силу притяжения, его спутники разлетаются по Солнечной системе. Чёрные дыры засасывают Туманность Андромеды. Вселенная перестаёт расширяться и начинает сжиматься...

Отрезаю себе указательный палец на правой руке, бросаю его в Её распахнутое настёжь сердце — это моя клятва вернуться...

В другой комнате пустыня. Беру посох и ухожу в пустыню. Сорок лет веду сам себя по барханам и сопкам. Сорок лет без воды и без людей. Однажды ангел является ко мне. Он не напевает песни Radiohead. Вместо свечей в его глазах каменные таблички. На табличках одно и то же предложение. На табличках написано: «Надо быть действительно безумным, чтобы любить»...

Она ждёт меня сорок лет. Она верит мне сорок лет, поэтому совсем не стареет. Она по-прежнему выглядит и чувствует так же, как и сорок лет назад. Её старость боится Её верности. Это последнее, что я хочу написать здесь.

весна, год 2008 от рождества Христова, город Томск,
Она обнажённо спит, а я снова пью Её сны

Хант Юра

Никто не думал, что так получится. Никто просто ехал в троллейбусе по проспекту Ленина. Подсчитывал количество собственных удач и неудач на текущей неделе. Удач было немного, они все умещались на ладони левой руки. Но всё же удач было больше, чем неудач. Никто бережно завернул удачи в оранжевый платок и спрятал во внутренний карман куртки. Неудачи он выбросил в открытое окно троллейбуса. Они рассыпались по проезжей части. Машины и автобусы размазывали их по асфальту. Но Никто уже не видел этого. Он рассматривал пассажиров в троллейбусе. Молодые, старые лица, лица, прикрытые мыслями, лица, испачканные заботами. Никто скользил взглядом по лицам, как скользят по крутой горке на санях.

— Джжжтршшш, — троллейбус резко остановился. Пассажиры хором уставились в окна.

Весна...

Весна...

Весна!!!...

Весна преградила дорогу троллейбусу. Тёплая, в тонких одеждах, с птичьими перьями в волосах Весна.

— Откройте, откройте мне дверь! — кричал Никто через весь салон водителю.

— Пффшшш, — двери открылись.

... Это было на проспекте Ленина, напротив Городского сада. Никто с головой и ногами окунулся в Весну. Он совершенно перестал думать о мировой и государственной политике, а слышал только голос Весны и биение собственного сердца — биение его сердца походило на землетрясение. Никто несколько раз пытался описать хотя бы часть своего восхищения и восторга от Весны. Но не получалось. Не хватало слов, нот, красок. Весенними ночами, в редкие спокойные минуты, Никто, лёжа на спине, беспомощно стонал от того, что не хватает слов, нот и красок.

— Что с тобой? — спрашивала Весна. Но не хватало слов, нот и красок. Вместо ответов Никто кусал Весну губами за щиколотки. Вместо ответов он был горячим и влажным с ней. Вместо ответов он прятался в её волосах. Волосы Весны — зелёная, свежелиственная и чудеснопахнущая тайга. Однажды Никто заблудился в её волосах. Он блуждал много дней один. Звал кого-нибудь, хоть кого-нибудь, кто бы вывел его из тайги. Вывел обратно в город, на проспект Ленина, на Иркутский тракт — да всё равно куда, лишь бы вывел обратно в город.

...Кем-нибудь оказался охотник, хант по имени Юра. Малорослый, коренастый, с глазами, вмещающими семь небес. На ногах высокие резиновые сапоги, чтобы в любой реке найти брод. За плечами в потёртых заплатках рюкзак и одноствольное ружьё.¹

Юра долго молчал, встретив Никто. Никто не мог произнести ни единого слова, ни единого междометия от волнения. Руки тряслись, ещё ему казалось, что голова его вот-вот отломится от шеи, упадёт на землю и покатится.

— У тебя есть водка? — наконец спросил Юра.

— Водка, водка... вооод-ка

— Ты с ума, что ли, сошёл тут от одиночества?

— Водки нет у меня. Как мне отсюда выйти? Скажи мне. Скажи. Я заблудился. Я потерялся. Мне надо найти город. Мой город. Понимаешь. Я тут один. А город, он там. Мне туда надо, я...

Юра внимательно слушал и смотрел сквозь Никто.

— Я тут долго блуждаю. Всё тут непонятными языками отвергает меня. Я не понимаю, зачем, как. Мне надо, надо мне...

Юра сел на землю. Подложил одну ногу под себя, другую, согнув, выставил перед собой.

От спокойствия охотника у Никто свело скулы. Из его рта бесшумно высыпались невысказанные слова отчаяния и бессилия.

Из чехла на поясе Юра достал нож. Лезвие разбрасывало солнечных зайчиков по сторонам. Один зайчик попал в глаза Никто. Никто зажмурился. Когда открыл глаза, то оказался на берегу реки. Сидел, прислонившись спиной к невысокой ели. Рядом Юра копался в рюкзаке. Река, тёмно-зелёная, манила, шептала ласково: «Шшш-шшшшшш».

— Не верь шёпоту реки, — сказал хант, не отвлекаясь от дела, — она если обнимет, то отпустить не захочет. Будет играть тобой. А когда ты ей понадобишься, отдаст своим детям — духам воды. Дети у неё жестокие: могут глаз выколоть, могут руку оторвать — только посмеются.

— Что это за река?

— Полуй называется. Слышал о такой реке?

— Нет. Я жил в городе на реке Томь. А ты про такую реку слышал?

— Нет. Расскажи мне про свой город: какой он, как там живут.

— В моём городе нет ночи. День делится на часы. На рабочие часы и часы отдыха. Кирпичных зданий там больше, чем деревьев. Там есть цвета и вещи такие же сложные, как человеческий разум. В моём городе есть книги, концерты, картины, кино...

— В твоём городе ловят рыбу, — Юра оборвал речь Никто.

— Ловят, но не для того, чтобы есть, а чтобы отдохнуть. На удочку ловят. Ты умеешь ловить рыбу удочкой?

— Мужчины-ханты ловят рыбу сетями. Женщинам-ханты ловить рыбу не нравится — они боятся, что от живой рыбы заразятся молчанием. Зато женщины-ханты ловко ловят на свои косы мужчин, — Юра хмыкнул.

...Река Полуй текла сквозь тайгу, текла сквозь реку Обь, сквозь тундру, сквозь Ледовитый океан.

Река Полуй текла сквозь Никто.

Юра сел в длинную деревянную лодку-бударку и поплыл по Полую.

...Никто страдал,

очень страдал,

страдал без тихих шагов Весны по утрам,

без её привычки петь, стоя на балконе,

без её чёрного-чёрного неба и белой Луны по ночам.

Никто так страдал, как страдают горы без дождей — горы сохнут, крошатся, медленно, но неуклонно превращаются в пыль.

Никто страдал и видел в снах рыб.² Рыбы разговаривали между собой тишиной...

...Проплывая сквозь Никто, хант крикнул: «Каууууу!»...

...Никто услышал ханта и прыгнул к нему в лодку...

— Тут святое место, — сказал Юра, когда они причалили к безжизненному коричневому мысу, — здесь надо заплатить дань местным духам.

Юра достал из рюкзака спирт, вылил его на землю и поджёг. Ветер налетел на огонь, схватил его и унёс в тайгу, начинавшуюся у основания мыса.

— Духи приняли нашу дань. Можно идти.

Тайга кусалась комарами. Цеплялась за одежду ветвями.

Шаги хрустели или чавкали.

Солнце катилось по верхушкам деревьев. То слева направо, то справа налево, то назад, то вперёд.

Было сухо и душно.

Это была другая тайга, совсем не похожая на ту, по которой Никто долго блуждал один.

...Привал: костёр, чай, кусок сушёного мяса, сухари. Путники по-турецки сидели один напротив другого.

— У тебя есть друзья? — спросил Никто, поев.

— Духи — мои первые друзья, — ответил Юра.

— Они могут быть моими друзьями?

— Могут. Но с ними тебя должен познакомить тот, кого они уже хорошо знают. Если ты один встретишь духа, то тебе не стоит вступать с ним в разговор. Ты можешь сказать что-нибудь, что разозлит духа. Поэтому лучше повернись вокруг себя против движения солнца и ступай дальше.

— Где живут духи?

— Они живут везде. Под твоими ногами. На деревьях... В глазах оленей тоже живут духи... Тебе трудно меня понять. Поживи здесь хотя бы лет 20, тогда ты лучше будешь меня понимать. Сейчас ты понимаешь всё по-своему, по-городскому... По-русски.

...Пришла ночь. Смыла горизонт.

— Теперь крепче наступай — дорога вверх поведёт, — сказал Юра, — в один чум зайдём.

Деревья спрятались в собственные тени — совсем не видно. Тьма, тьма, тьма. В такой тьме и слова можно найти только на ощупь. Несколько Никто нащупал.

— Долго идти?

— Недолго, скоро придём.

Пользуясь тьмой, время лазило по карманам путников — пыталось что-то украсть.

— Так сколько идти? — настаивал Никто.

— Недалеко. Хант никогда не говорит, что дорога длинная, беду можно накликасть. Иди и дойдём.

Луна тонкая и острая — бери и брейся — спускалась всё ниже и ниже. Когда она оказалась справа внизу, Юра сказал: «Вон чум, видишь?»

Прошли ещё с полчаса, и Никто действительно увидел среди черноты серый конус.

- 1 У хантов, как известно, семь небес, а не одно, как у русских. Юра был настоящим хантом: и по крови, и по вере, — поэтому в его глазах умещалось семь небес. Примечание редактора-ханты.
- 2 Таких рыб Никто видел в снах. Примечание автора, написавшего автора «Ханта Юры».

Залаляли собаки. Близко они не подбегали, лаяли на безопасном для себя расстоянии.

Входной полог чума отодвинулся чуть в сторону. Появилась голова, за ней пятно света.

Юра что-то сказал на хантыйском. Голова ответила — мягкий, как хвоя кедра, мужской голос.

Юра и Никто зашли в чум. В чуме светло и дымно от горящего очага. Вокруг очага пять хантов: муж, жена, две дочки и сын. По стенам бегают и прыгают тени.

Полилась хантыйская речь. Скорая, круглая. Будто камешки перекатываются по дну сильной реки. Женщина подала мужчинам стол с чаем, сухарями, сливочным маслом и сгущёнкой.

Свет от очага через верхнее отверстие чума падал во тьму.

Дети примолкшие и любопытные. Узкими глазами разжёвывали высокого и широкоглазого Никто.

С улицы забежала собака и развалилась у ног хозяина. Камешки, камешки перекатывались по столу, по огню, по оленьим шкурам, настеленным вдоль стен, по ногам, по лицам...

Было ещё темно, когда Юра и Никто снова вышли в дорогу.

— Эта семья — твои родственники? — спросил Никто.

— Нет. Это небесные ханты. Имён их ты не поймёшь. Их чум можно найти только ночью, когда они разжигают огонь... Много небесных хантов. Ночью они разжигают в своих чумах огонь. Он хорошо виден через верхнее отверстие чума внизу, на земле. Русские называют этот огонь звёздами... Нам надо успеть вернуться в тайгу до рассвета, а то при свете не найдём дороги отсюда туда.

...Той ночью Никто не спалили рыбы. Той ночью в его сне проросла трава. По траве скакали на чёрных конях японцы. Один из них подскочил к самому краю сна и сказал: «Мы ждём тебя». Никто выскочил из сна в явь — фраза японца его напугала. Первый тусклый свет нового дня пробивался сквозь кроны к земле. Никто вытаскивал и убирал обратно вещи из карманов. Таким образом успокаивался и понемногу забывал сон. Жёлтая коробка для сигар, в ней хранился только аромат сигар. Листки с цитатами из понравившихся когда-то пьес. Монеты с гербами. Много монет — на каждой свой герб...

...Консервные банки с мясом или овощами не умещались в рюкзаке Юры. Но зато там хватало места для рыболовной сети с мелкой ячейкой, для патронов. Сеть и ружьё кормили ханта в дороге. Если он ставил сеть, то обязательно вытаскивал рыбу. Заряжал ружьё — обязательно подстреливал птицу или зайца.

— Ты очень удачливый охотник и рыболов, — Никто.

— Учился у хороших охотников. У сихиртя.

— Сихиртя?

— Сихиртя — это маленькие люди. У них маленькие руки, маленькие ноги, маленькие лица. Я слышал, что такие люди живут в других краях, их ещё называют там как-то... Забыл, как называют.

— Гномы?

— Ага, гномы. Они тут жили до хантов и по соседству жили, где теперь ненцы. Они умели разговаривать на языке животных, на языке деревьев, воды и огня. Когда пришли ханты, а потом и ненцы, гномы испугались. Они испугались того, что пришедшие разговаривают на незнакомом для них языке. Это ненцы называли гномов сихиртя. Ненецкое слово, ага. Сихиртя ушли под землю. Иногда они выходят на поверхность. По ночам только выходят, потому что совсем отвыкли за долгие годы от солнечного света. Солнечный свет может ослепить сихиртя навсегда.

— Сихиртя твои друзья?

— Я умею с ними разговаривать. Иногда, встретившись, мы разговариваем всю ночь напролёт. Они меня научили понимать тайгу.

...Город, где жил Никто, наполнялся новым светом, примерял новые украшения. Веселился. Танцевал. Пил вино и знакомился с симпатичными девушками. Играл на флейтах, гитарах, барабанах.

Без Никто. В голове Никто.

Весна Никто улыбалась прохожим. Гуляла по закатам. Учила детей составлять радуги из цветных пластмассовых кубиков.

Без Никто. В голове Никто...

— Куда мы идём? — спросил Никто.

— Мы идём, чтобы время не остановилось. Если оно остановится, то обязательно упадёт на нас и раздавит.

— Мне надо в город. Отведи меня туда, откуда я смогу вернуться в свой город.

— Зачем ты хочешь вернуться в город?

— Город — мой дом.

— Оставайся здесь. Ты уже почти стал частью этого мира. Этот мир почти стал домом для тебя.

— В городе я точно знаю, кому и зачем нужен.

— Здесь ты нужен сам себе.

— Помоги мне вернуться в город.

...Птичьи голоса расправили крылья и полетели искать рассвет.

Юра пообещал, что выведет к посёлку. В посёлке живут и верят в своих богов ханты. В посёлке есть моторные лодки. На моторной лодке часа за три можно доехать до столицы Крайнего Севера — так сказал Юра. А из столицы Крайнего Севера можно попасть в любой город — это отлично знал Никто.

Путники вышли на заброшенную железную дорогу. Рельсы были покрыты ржым забвением. Шпалы рассохлись от ненужности.

— Мёртвая дорога, — так её называют местные ханты, — сказал Юра, — её строили мертвецы. Когда достроили, то ушли под землю. Иногда кто-нибудь из мертвецов выходит, чтобы проверить: не ломают ли живые их дорогу.

Никто подобрал железнодорожный костыль. Шершавый, холодный, казавшийся более прочным, чем десятки лет.

— У Мёртвой дороги нельзя ничего брать, — сказал Юра, его глаза стали совсем узкими: пугающие чёрные щёлочки, — мертвецы обязательно придут и заберут своё обратно. А могут и кого-нибудь из живых с собой взять. Рядом с Мёртвой дорогой несколько лет назад жили двое русских: муж и жена. Не знаю, уж чего там случилось, — но они уехали. Далеко, в город. Люди говорят, что они у Мёртвой дороги какой-то клад забрали. Через

пару месяцев жену нашли повесившейся, а потом и муж застрелился.

Никто незаметно для Юры спрятал костыль в карман куртки.

На железной дороге было тихо. Пару шагов в сторону, и слух заполняли звуки таёжной жизни.

Весь полярный день путники шагали по Мёртвой дороге.

Мёртвая дорога заканчивалась у хантыйской деревни. Избы со стороны Мёртвой дороги были

ветхие и покосившиеся. У них не было хозяев. Живых хозяев не было.

...Когда Никто вернулся в город, Весна уже умерла. На улицах лежало её тело, разложившееся на мокрые и холодные дни и простывшие разговоры. Глаза и чувства Весны стогрели в краках Осени.

...Вернувшись в город, Никто поискал в карманах железнодорожный костыль. Но не нашёл...

Горный Алтай

ДиН память

Марк Сергеев Ностальгия

Ностальгия

Всё меньше деревянных городов,
всё более — из железобетона,
по улицам, текущим монотонно,
всё менее заборов и садов.
И аромат черёмухи исчез,
и дышит смесь бензина и метана,
и облаков небесная сметана
течёт крутым дымам наперерез.
Прошёл асфальт по детству моему,
исчез мой дом — как будто не бывало,
нет городского дивного квартала,
где было всё по сердцу, по уму.
Сад памяти подрублен на корню
неумолимым веком сумасбродным.
И в городе родном стою безродный...
Кого винить? Себя же и виню!
Из веку — то вблизи, а то вдали
за всё на свете виноватых ищем...
Как поздно мы приходим к пепелищам,
к своим корням, что сами мы сожгли.



Дождём омоченная пашня —
черным-черна...
Но вот верхушка телебашни
уже видна.
И тракт, раскрученный, как ворот,
связав миры,
внезапно перелился в город,
слетев с горы.
Но город, кладкою рябою
закрыв простор,
не знает: я привёз с собою
изломы гор.
И дома — в каменной коробке,
где сквозняки,
тайком рассматриваю тропки
и блеск реки.
И наплывает на обои,
и рвёт их вдрызг
волна байкальского приборя
в блистанье брызг.



Чем выше в гору — тем Байкал видней,
Вдали вода прозрачность потеряла
и кажется мерцанием метала,
что выплавлен из наших дум и дней.

Чем выше в гору — тем видней окрест,
всю суетливость погасили воды,
возник мираж простора и свободы,
как испытанье, как особый жест.

Душа, трудись, душа, ищи ответ. —
уступы круты, кислород разрежен. —
но если мы наросты не разрежем —
то счастья пет нам и спасенья пет.

Чем выше в гору — тем всё реже лес.
И глаз с тебя природа не спускает,
и чистота святая возникает
от близости Байкала и небес.



...Ты чай покруче завари
да окна затвори,
о нас забудет до зари
посёлок Залари.
О глаз твоих безмолвный зов,
о нежности крыло!
Как мне известны — до азов —
твой холод и тепло!
И губ твоих нежданный суд,
и слов глухая тьма...
Потом, как зёрна, прорастут
сквозь темноту дома.
потом проклонется рассвет.
И, растворив окно,
мы удивимся:
ночи нет.
а дождь
утих
давно.

163

Марк Сергеев ■ Ностальгия



Татьяна Масс Деревня Порубежье

Жезла жизни

В мастерской жёлтый солнечный свет падает из всех окон. В лучах — мириады пылинок, которые не собираются оседать на пол и на свежие холсты. В раме окна тоже картина — мощёная мостовая старого прибалтийского города, разноцветные маленькие дома — как приготовленная декорация в средневековом спектакле о той единственной роковой любви, горше и слаще которой нет на свете.

— Эта тебе нравится? — спрашивает муж, прищуриваясь на среднего размера холст. Жена впиивается в новый натюрморт — вытянутые сосуды, старый кофейник, копчёная рыба. Всё старое, потрескавшееся, изношенное, в тёмных коричневых тонах. Отдаёт Шемякиным, альбом которого он привёз недавно из Питера.

Она спрашивает: «Почему ты любишь смотреть на старые лица?»

— А ты всё светленькое такое предпочитаешь?

Почувствовав его обиду, она отмечает это подозрение в пристрастии к банальному светлому:

— Нет, мне нравится тёмное — *Брак!* Помнишь, мы смотрели в Эрмитаже — натюрморты с чёрной рыбой?

— Но ты всё же любишь цветочки — не сдаётся он.

— Смотря какие — не уступает она. Если уступит, он потом долго будет звать её любительницей цветочков. Он никогда не прощает таких важных мелочей.

Разговора о его последних работах не получается. Сегодня он увозит их в Питер продавать.

Обычно лучшие работы он сдавал в частные галереи, другие продавал сам. Для этого в центре Питера, у решётки Екатерининского сада, абонировал стенд и выставлял на нём свои холсты. Чаще всего покупателями были иностранные туристы, который предпочитали не морочиться обменом валюты и платили «зелёными». Раньше Вадим учился в Питере в Репинке — в Академии Художеств, и поэтому любил туда ездить, отмечая встречи с бывшими однокурсниками, напоказ пьяными художниками, разговорами об искусстве и о политике.

Он бы и подольше задерживался бы там, у своих друзей, но Татьяна, его жена, требовала примотра, как он считал.

— А ты что тут собираешься делать? Опять лицо намажешь и в редакцию байки строчить? — как бы между прочим, спокойно спрашивает он. Он никогда не показывает открыто своей ревности, прикрываясь нелюбовью к газетам вообще.

— Я лицо крашу не для того, чтоб кого-то закаркать! Я не могу ненакрашенная выйти из дома! — терпеливо говорит она и при этом думает, что это звучит наивно, это не на том уровне, на каком нужно говорить им между собой. Она пишет серьёзные статьи, встречается в парламенте с политиками от партий любого толка — националистами, коммунистами, фашистами. Там её речь кажется умнее и продуманнее. С мужем она говорит, как с глухим, — чётко, громко, простыми фразами!

При этом она умирает от любви к нему. И терпеливо принимает все его ревнивые выпады, пытаюсь каждый раз объяснить их беспочвенность. Она горит на этом медленном огне уже 3-ий год, понимая, что жить так всегда невозможно. Однажды после очередной ссоры, когда она сидела в пустом кабинете в Доме Прессы и пыталась писать свой материал, вдруг позвонил муж и сказал, что больше не может жить без неё. Через две минуты она была уже внизу на остановке.

В переполненном троллейбусе она ощутила внезапный прилив любви ко всем людям — всех ей стало отчего-то так жалко, что даже в носу защипало. Все люди, окружавшие её в тот миг, показались ей обездоленными, несогретыми, не любимыми никем. Их уставшие лица говорили о безнадежности всех человеческих усилий обрести чью-то любовь. А она была любима... В толчее пассажиров она считала минуты до встречи с ним в его пыльной мастерской в центре города, и вдруг в её голове пронеслось ясное воспоминание — точно так же она спешила к нему месяца три назад после ссоры, и примирение тогда было таким полным, что, казалось, больше им уже просто не о чем было спорить. Но вскоре они опять поссорились, и вот опять она спешила к нему в мастерскую для полного примирения.

— Значит, это повторится ещё не раз! — как будто ужалила её мысль. — А может ему нравится жить на таком адреналине? — и это открытие поселилось в ней первой бабьей мудрой усталостью.

Он паковал холсты, она помогала ему обвязывать их верёвочкой, но он отбирал картины у неё и делал эту же операцию точнее. Она не могла отвести взгляда от его небольших умных рук. Она любовалась и его руками, и его жестами — особенно, когда он курил. Когда она смотрела, как он прищуривается, разговаривает, курит, смеётся, она растворялась в нём и даже дышать начинала реже. Он невысокий складной, с длинными волосами, и бородой, которая доводит до слёз его бабуску.

— Вадик, сбрей бороду! — умоляет худенькая старушка, и гладит высохшей морщинистой рукой его по плечу, чтоб не разозлить.

— Бабуля, отстань! — мягко ворчит её внук, и если в голосе его слышится нетерпение, бабушка отступает.

Если нет, она ещё немного уговаривает его, и между ними обычно происходит при этом такой обмен понимания и любви, что Таня немного ревнует, чувствуя себя лишней в этой пьесе.

На прощанье на вокзале она чуть не заплакала. А он поцеловал её крепко, и глядя в глаза, попросил:

— Танька, обещай мне не ходить в редакцию эти шесть дней. Можешь это сделать для меня?

Она — как под гипнозом — пообещала: Ок, Я буду дома, я заболею.

Вернувшись с вокзала, Таня закрылась дома на шесть дней. Перед этим она накупила хлеба и сигарет и позвонила редактору газеты, предупредить, что заболела, Редактор уже как-то и так криво смотрел на неё в последнее время, а в этот раз и вообще говорил очень с ней холодно.

— Ну и хрен с ним! Мне всё равно — успокоила себя она. Я и вправду себя как то неважно чувствую!

Она смотрела телевизор, курила, пыталась звонить подругам, но все были на работе.

Таня достала из кладовки вязальную машину «Северянка», которую он купил ей несколько месяцев назад. У него — её мужа — была мечта: жена домохозяйка. А она, чувствуя свою вину перед ним, всегда скучала дома. Ей было мало кухонных дел, она была отзывчива к чужим проблемам — факультет журналистики МГУ приучил к некоторой социальности — и ей постоянно нужно что то делать для людей — помогать сирым и убогим, разоблачать каких-нибудь мерзавцев.

— Просто так жить и жрать я не могу! — однажды кричала она ему на какой то пьяной вечерине, приняв грамм 200 дорогого коньяку. Вечеринка эта проходила в Академии Художеств, и Вадим, глядя, какими глазами провожают его жену студенты и преподаватели, поклялся никогда больше не приводить сюда свою жену. А она ничего особенного не заметила. Видела только его. Даже когда разговаривала с другими.

Он был гениальным художником — и в этой прибалтийской республике, куда она приехала из Москвы из-за него — ей часто говорили о его необыкновенном таланте колориста, и ей это причиняло боль. То ли она понимала, что его предназначение выше, чем её байки для республиканской ежедневной газеты, то ли боялась, что не справится с этой исторической ролью жены гения?

Она решила связать ему джемпер. Закрывшись, как в тюрьме, в собственном доме, установила вязальную машину, смазала её маслом и принялась перематывать шерсть из мотков в клубки. Электрическая перемотка на машине не работала, ей пришлось перематывать вручную. Для этого подошли ножки маленькой табуретки, на которой она растянула моток.

Разматывая шерсть, она вспомнила кадр из фильма по повести Тургенева «Первая любовь»:

там барышня мотала клубки с помощью своих многочисленных поклонников.

Какая-то обида пронеслась было в воздухе, потому что Таня была тоже красива — это ей говорили те, у кого она брала интервью, режиссёр с киностудии, пожилой усталый человек, который недавно поработал с известной красавицей киноактрисой, сказал, что Таня в кадре смотрелась бы лучше. И его редакторша — мудрая пожилая еврейка — тоже сказала, что Таня очень красивая, что она должна была бы стать актрисой, а не журналисткой. В университете её снимал известный фоторепортёр, чтобы продать её лицо в какой-то модный журнал, но Вадим это дело запретил строго-настрою. Сам он не рисовал её, но его профессор заметил, что во всех портретах, которые делает Вадим, видно лицо Тани.

— У этой барышни не было Вадьки! — развеяла свою обиду Таня.

Вот он как раз и звонит:

— Милая, как ты? — Боже, какой любимый голос!

Она тут же зарядилась от него энергией на десять таких клубков!

— Ты доехал? — Слова простые, а её голос звенит и искрится.

— Ты дома?

— Да!

— Я проверю ещё попозже!

— Я свяжу ему самый красивый джемпер на свете — решила Таня. Она открыла альбомы с его любимым Босхом, Брейглем, малыми голландцами, выбирая цвета и композиции, которые ему обязательно понравятся.

Жухловатые тона — красный, жёлтый, зелёный в полосу и разбавлю серым, чтоб не было так разноцветно — в конце концов решила она. Все цвета у неё были, кроме жухлого зелёного.

Пришлось распустить свой свитер, который она связала ещё в Москве по выкройке из «Бурды Моден».

Вся эта суета с нитками затянулась до вечера, Таня легла спать поздно, поговорив ещё раз с мужем, позвонившим около 11 ночи.

Серое утро балтийской зимы застало её за работой — времени было не так уж много.

Конечно, для какой-нибудь там опытной вязальщицы связать один джемпер на машине — это дело одно. А для неё — читающей по инструкции метод соединения вязальных петель на машине *Северянка* — это уж совсем другое дело. Если вспомнить мамину поговорку, что у нашей Тани руки не из того места выросли, то оставшихся пять дней на самый красивый джемпер, это рискованно. Можно просто не успеть!

Она вязала, вязала, иногда снимала, перевязывала, придумывала новое, например, петли для трёх пуговиц на широкой планке впереди у кругло вывязанного горла. Так и прошёл день, озаменованный телефонными звонками мужа и редакторши отдела социальных проблем, Натальи Севидовой.

— Ты скоро выйдешь? — спросила Наталья

— А что?

— Есть интересная командировка — это по твоему материалу о монархистах. У них съезд в Москве намечается, редколлегия решила послать тебя.

— Когда? — загорелась Таня

— Послезавтра съезд, а завтра вечером нужно выезжать.

— Я не могу — после паузы ответила Таня.

Положив трубку, она схватилась за вязание с такой горячностью, что порвала сразу несколько петель кареткой.

Разбираясь, поняла, что устала, включила телевизор. По российским новостям передавали про готовящийся съезд монархической партии. Мелькнуло в кадре несколько знакомых лиц. Два месяца назад она привезла из Москвы интервью с председателем этой партии Энгельгардтом Юрковым. Материал был перепечатан несколькими центральными изданиями и зарубежным *Русским словом*. Поэтому Таня стала специалистом по монархистам, а заодно и другим неформальным партиям, в своей газете.

Ей очень хотелось поехать, опять впасть в этот сюрреализм прославления принципов монархического правления молодыми агрессивными монархистами! Хотелось вдохнуть другой жизни и рассказать о ней так вкусно, чтоб местные домохозяйки забыли о своих делах и побежали бы звонить друг другу, чтоб говорить: «К чему печатать такие статьи?»

— Ну нет, хватит, она выключила телевизор, и принялась вязать джемпер для своего любимого мальчика, мужа, художника. Приговаривая так, она выбросила из головы монархистов, и редакцию, и свои успехи, и свою красоту. Да и зачем ей всё это, если его рядом нет?

— Танька, это я!

— Как ты там?

— Соскучился!

Ожидая от неё такого же ответа, он напоролся на вопрос:

— А картины продаются?

— А ты?

— Что «ты»?

— Ты соскучилась?

— А картины продаются? — упрямылась почему-то она

— Тебя что, заперло сказать, что соскучилась?

Она рассмеялась, а он ещё ворчал минуты две в трубку, что звонит ей, а она не может нормально поговорить с ним.

Весь третий, четвёртый, пятый день она вязала. Болела спина, заслезились глаза, она как-то отупела. Просто гоняла каретку и считала ряды. В каждой полосе по 12 рядов. Если ошибёшься, придётся распускать. В нормальной машине это должен делать счётчик, а в её *Северянке* этот прибор не работал.

На шестой день она отпарила утюгом отдельные детали — спинку, перед и рукава, и начала сшивать их специальной иглой. Закончила только после обеда.

А нужно было ещё убрать весь дом — разноцветные нитки валялись даже на кухне. Уже вечером она заглянула в зеркало и увидела своё

бледное уставшее лицо с красными глазами. Она подурнела от этих шести дней взаперти.

Вадим приехал утренним поездом, она встретила его на вокзале, они отправились сначала в мастерскую, где он распаковал новые кисти, краски, холсты, рамки, что привёз из Питера.

Пообедав в ресторане, пошли домой. Таня, едва вошла в квартиру, сказала:

— Я приготовила тебе подарок!

Она принесла джемпер, но он, едва посмотрев на него, уже потянулся к ней соскучившимися руками, губами.

— Потом посмотрю!

Потом посмотрел, примерил даже на голое тело.

— Посмотри, какой сатир с волосатыми ногами! — прохаживался перед ней Вадим в новом джемпере, вызывая игривый Танин смех.

Таня знала эту его манеру говорить о человеческом теле — даже о своём — отстраненно. Сначала это казалось ей цинизмом, потом она привыкла. И сама рассуждала иногда у его этюда с «обнажённой» — так художники называют обнажённую натуру: «Какой тяжёлый зад у этой натурщицы. Она некрасивая».

— Тань, ну что за оценка — «красивая-некрасивая»? Это же не модель для подиума — отзывался из глубины мастерской муж. — Это рожавшая сильная женщина. Вот посмотри — он подошёл к своей работе и мерил пальцами пропорции тела изображённой им же самим натурщицы: Крепкие тяжеловатые ягодички, бёдра такие же — широковатые, непропорциональные на первый взгляд. Ноги крепкие, вынашивать ребёнка легко таким бабам. Вот кого она мне напоминает: каменную скифскую бабу — символ плодородия и материнства. Они умели вынашивать и рожать детей без акушеров и роддомов. И делали это как бы между прочим, часто и всю жизнь. Иначе скифы бы не выжили в постоянных войнах. Поэтому и понастроили памятников мужим бабам по степям.

— А, действительно, этаким-скифам нет ни одного памятника! — восклицала Таня.

— Ой, да ладно вам! — спохватывался Вадим. Вы бабы — всё равно пустота, вам нужно только рожать. А у нас — мужиков — есть жезла жизни. Вот такая смешная вроде форма — трубка. А в ей заключён секрет жизни — ёрничая, но при этом серьёзно говорил он. В таком же отстранённом тоне, как о чужом теле, рассуждал о величии своей «жезлы жизни», о целесообразности и продуманности места «жезлы» на мужском теле. Дурачась, закутывал жезлу в бороду, призывал представить себя оскопленным и, горячась, утверждал, что вся Танина любовь исчезла бы без следа, не будь у него этой самой жезлы жизни.

— Нет, не исчезла бы! Моя любовь не совсем уж ниже пояса — злилась Таня. Но представить мужа без «жезлы жизни» не бралась.

— Да хватит врать — не слушал он её, — Пока моя жезла со мной, и ты со мной. Знаю я тебя.

Потом он снял джемпер. И больше уже почему-то никогда в жизни не надел его. Хотя сказал, что красиво получилось. Да и она видеть не могла этот джемпер. Тошнило её от него. И от

Северянки тоже. Сразу вспоминались те шесть дней добровольного заточения.

Через год она разбирала шкаф, нашла джемпер и решила подарить его одному хорошему человеку — другу семьи, энтузиасту, пушкинисту. Пушкинист обрадовался, и однажды Таня увидела его в этом самом джемпере по телевизору.

А с Вадимом они разошлись года через два. Таня ушла.

Бабушкина деревня

Недавно наш друг, французский архитектор, пригласил нас на прогулку по историческим достопримечательностям соседнего региона — Бургундии. Свернув с авторута, мы проезжали местными автодорогами, путь наш пролегал через деревни. Нужно сказать, что французские деревни совсем не похожи на деревни в нашем понимании. Это ухоженные маленькие города с каменными домами и парками, вместо привычных садов и огородов. В центре такой деревни-городка, на площади обязательно возносится металлическим крестом в небо каменная церковь. Если деревня считалась богатой, то на церковной площади, как правило мощённой камнем, горожане устанавливали фонтан.

Наша прогулка заканчивалась. Осмотрев красивую старинную церковь 11 века, мы выпили кофе в местном баре и отправились домой. В машине я навострила уши, услышав по радио одну французскую песенку, которую с моими двоюродными братьями и сёстрами одним летом мы часто ловили на транзистор в вологодской деревне у бабушки. Помню, что именно в то лето стояла очень жаркая погода, горели вологодские леса, над деревней стлался запах дыма, и наши родители должны были вот-вот приехать, чтоб разобрать нас по домам.

В этой красивой французской песне, переведённой на русский язык, пелось о том, как каждое лето в деревне собираются братья и сёстры. Сначала они маленькие, потом вырастают, в конце собираются уже со своими детьми. Припев в этой песне был перечислением красивых французских имён Антуан, Андре, Симон, Мария, Тереза, Франсуа, Изабель и я. Музыка этих имён как-то гипнотизировала нас. Она нравилась гораздо больше, чем мелодия самой песни.

И какво же было моё изумление, когда, в машине у французского нашего друга, я услышала эту песенку в оригинале, на французском языке. Дело в том, что при том же содержании все имена в припеве были русские: «Иван, Гришка, Маша, Даша-пела французская певица с русскими корнями Мари Лафорет (*Marie Laforêt*) — автор и исполнительница этой песенки «Иван, Борис и я», популярной во Франции в 70-е годы...

Смешно, но после этого недавнего случая я всё чаще вспоминаю бабушкину деревню.

Недавно ни с того ни с сего набрала в интернете её название: Порубежье Вологодская область. И вышло уж совсем неожиданное: «Деревня Порубежье Вологодской области. В 17 веке подворье Спасо-Евфимьева монастыря». Меня как жаром польхнуло от такого известия. Бабушкина деревня была когда-то монастырским подворьем! Это для

меня было совершенно неожиданно. Никогда я не знала, что жизнь глухой заброшенной деревеньки была когда-то посвящена сокровенному православному служению. Этого не знали и мои родственники — мои двоюродные братья и сёстры, не знала даже мама

В 17 веке духовная жизнь России была сконцентрирована в таких лесных скитах, подальше от политических дрязг, войн, бунтов. Может быть, та старая раскидистая липа в центре деревни, под которой от зноя спасались овцы, помнила ещё монастырские пасхальные службы или молебны за родину в годы распрей, нашествия врагов...

Вот, наверное, отчего так тянет меня и моих двоюродных братьев в и сестёр в это место, затерянное среди вологодских лесов. Невидимая благодать, в которой мы тогда жили и которой уже не находим в чужих и дальних странах, веет из наших детских воспоминаний, приходящих вразнобой, отдельными картинками.

Иду по маленькой деревенской улице. Меня только что привезли к бабушке, и я ещё робко, по-городскому, удаляюсь от дома. Беловолосая женщина в фартуке и в сапогах несёт ведра с колодца. Поравнявшись со мной, она приветливо улыбается и поёт:

— Ой, а что это за деушка к нам приехала? Ты чья, милая?

— Таисьи Контантиновны

— Ой, до чего же ты хорошая, милая!

Женщина идёт дальше, а я удивляюсь сама про себя: «Чего это она такая добренькая? Я же её не знаю...»

Мы, дети, бегали по деревне босиком. Однажды я порезала ногу осколком бутылки. Бабушка чуть не прибила меня сначала. Я это чувство теперь понимаю — когда мой сын-подросток поранит себя как-то нечаянно, сначала я хочу его треснуть по затылку, а потом пожалеть. А потом она обработала мне рану тройным одеколоном, служившим по её мнению панацеей от всех наших детских бед — комариных укусов, порезов, синяков и проч.

И затем бабушка пошла выяснять, откуда в траве взялись осколки стекла. Меня это удивило. Ну взялись и взялись — кто-то хватил бутылкой об землю — вот оттуда и взялись осколки! Но у неё было другое понимание:

— У нас раньше в деревне щепочки не найдёшь в зубах почистить. Вот ведь как чисто было. А сейчас — стёкла битые! И люди поранят себя, и скотина! Кто это сделал — всё равно найду!

Вспоминается мне, что нашла и отругала она того городского внука нашей соседки бабки Христины, знаменитой на всю деревню пердуны. Дом Христины и Гришани стоял за нашим, но бабушка с ними не водилась. Здоровалась аккуратно, по деревенскому обычаю доброжелательно, но в гости к ним не ходила никогда и к себе не приглашала. Особенно не любила она деда Гришу-невесокого старика, который умер страшной смертью в положенный час. Пришёл домой навеселе из гостей и залез в печь согреться. А его жена, бабка Христина, сослепу печь-то и затопила.

Потом уже узнала я причину такой неприязни. В 1946 году старший бабушкин сын Иван,

дядя Ваня, подстрелил с дружком в лесу лося. Время было зимнее, голодное. Семья бабушки жила очень тяжело, впроголодь. Мать до сих пор иногда плачет, рассказывая нам о тех страшных временах. А по закону в то время стрелять лосей было нельзя — то ли сезонное было запрещение, то ли маразматически советское. И поэтому, когда 14-летний Иван привёз часть туши домой, сосед Гришаня стукнул куда следует. На следующий же день пришли милиционеры производить обыск у солдатской вдовы, матери 4 сирот, Куликовой Таисьи. Если бы не быстрый догадливый ум моей матери, тогда 9-летней девочке, при виде милиционеров на дороге утащившей мясо из дома и перепрыгавшей его в поле, не знаю, что было бы с моими дядями и тётёй, моей мамой. И с нами тоже.

Летний полдень. Я — 10 летняя левочка — валяюсь на траве и бездумно смотрю в небо. Натужно гудит шмель. С сенюков пахнет сухой травой, а от серых, накалённых изб — пряным деревянным зноем. Мне очень хорошо так бездельничать и знать, что сейчас бабушка поставит самовар и позовет меня пить чай. Чай пить — это только так называется. Бабушка к чаю печёт пироги — рыбник с рыбой, крупяник — помазанный сверху крупой, ягодник, липкие куски которого я таскаю с большого блюда в первую очередь. Жарко, время течёт сквозь ветхую вологодскую деревеньку из 7 домов, как мёд, значимо и густо.

Когда спадёт жара, пойдём с подружками за земляничкой на делянку за деревней. Радостное чувство огромного лета впереди: лето казалось мне тогда длинным, необозримым, как сама жизнь.

Магазина в деревне нет. За хлебом, который бабушка в такой зной не печёт, нужно идти за два километра на посёлок. Дорога идёт лесом. Мне кажется, что идти на посёлок за хлебом, сахаром, солью, конфетами — далеко и скучно. Для бабушки это называется «сбегать в магазин». Она и за пенсией «бегает в собес». Это 17 км в один конец. Рано утром уходит и приходит к ночи, пере считывая при керосинке на дощатом кухонном столе свою пенсию — 24 рубля.

Наконец, бабушка зовёт меня пить чай. Мы сидим рядышком за столом с огромным самоваром, про который бабушка всегда скажет что-нибудь хорошее:

— Эх, ведь какой самовар-то, отродясь никакой накипи в нём не бывало!

Она почему-то всегда говорит это строго, будто не хвалит, а ругает свой медный самовар.

На столе блюдечко с мёдом, которое бабушка принесла из другой деревни — купила на пасеке, и ещё свежее варенье из чёрной смородины.

На стене в стеклянной рамочке чёрно белая фотография- бабушка и дедушка — молодые и красивые.

— Баб, а у тебя здесь причёска модная — карэ! А кто вас раньше стриг в деревне?

Бабушка прыскает от смеха, и потом смеётся до слёз

— Конюх, что лошадям хвосты стриг! Палик-махерских у нас тогда не было!

— А дедушка тебя очень любил?

— Хватит ужо! — не выносит таких сентиментальных разговоров бабушка.

— Расскажи про сон, баушка! — она любит такое мяуканье внучат: *баушка!*

— Потом расскажу — не сдаётся бабушка

— Ну расскажи! — целую её в мягкие морщинистые щёки.

— Ну вот ты как пристанешь! — немного сердится бабушка, но потом замолкает ненадолго, выгирает рот платочком и начинает сдержанно, увлекаясь понемногу:

— Фёдора на войну взяли в 41-м году, осенью. Мы и сено убрать не успели, и его кто то украл-все стожки увезли. Пришлось корову продавать мне-ка. Всю-то ведь войну дети без молока!

Фёдор был на курсах пулемётчиков в Вологде, а в январе 42-го его и повезли на фронт-то. А мне ведь на рождество сон приснился: идёт на деревню перевалушка — гроза чёрная, страшная. Я с детьми то — с Шурой, Ваней, Лёней и мамой твоей в печку то и спряталась. Сiju там и вдруг слышу голос Фёдора, и шаги его по избе — громко так ходит, сапогами стучит и всё почему-то говорит: Граждане, гражданки Советского Союза! Граждане, гражданки Советского Союза!

Я из печи-то выбралась, а он уж уходит — я его в окне вижу — спину его вижу в белой рубашке. Я из избы за ним! Бегу, а он так быстро под горушку-то спускается, и в лес! Я бегу и кричу: «Фёдор! Фёдор!» — а он не слышит и уходит. Так я его и не догнала... Я тут же и проснулась среди ночи. Детей разбудила, поставила всех перед иконами: «Молитесь, ваш отец погибает!»

А через месяц получила похоронку.

Иногда она расскажет про дедушку без слёз, а тут расстроилась, всплакнула.

— Ой, Таня, иди поиграй!

У бабушки погибло на войне 10 братьев, и у дедушки всех братьев война «выкосила».

Я выхожу из кухни в прохладную горницу. Пахнет свежей травой в матрасах и тройным одеколоном. В каждой комнате свой запах. В кухне пахнет кисло — тестом, молоком, печь пахнет травами, сушёными грибами, сухой малиной — всё это сушится наверху, на расстеленных старых газетах. В пустом хлеву — бабушка не держит скотину, потому что зимовать она уезжает в город, к моей тётё, старшей своей дочери Шуре, — пахнет сеном и ещё каким-то родным запахом деревенного дома. В каждом уголке дома — свой особый запах.

В этом доме родилась моя мама. На Троицу бабушка замесила тесто и собралась печь пироги, как вдруг охнула, согнулась и тут же у печи родила свою младшую дочь.

Из этого дома провожали дедушку на войну осенью 41-го года. Дом был тогда ещё недостроен, половина — там, где горница — стояла без крыши, один деревянный каркас. Всю войну бабушка прожила с 4 детьми в кухне. Достраивали дом после войны. За это леспромхоз по субботам забирал достроенную половину дома под клуб. Два года бабушка засыпала под гармошку и топанье леспромхозовской молодёжи, отплясывающей в её доме.

Однажды, через год после войны, осенью в дом к бабушке пришёл незнакомый мужик на деревянной ноге из дальней деревни. Как рассказала

мне потом уже мама, он с моим дедушкой Фёдором находился в одном вагоне, когда их в январе 1942 года переправляли из Вологды на Волховский фронт. Неподальёку от линии фронта, в лесу, поезд попал под бомбы.

— Мы с Фёдором ещё в поезде договорились держаться вместе и пообещались, если что случится с одним, другой пусть расскажет его семье. Я Фёдора последний раз видел, когда нас бомбили, и мы из вагонов-то побежали. Было страшно-деревья вырывало с корнями и переворачивало вот эдак — мужик показывал чёрными изработавшимися руками с негнувшимися пальцами, — Там почти весь поезд и остался в том лесу. Помолчав, сказал: Фёдора-то кажется и накрыло.

— Чем накрыло?

— Взрывом накрыло.

Бабушка всё равно ждала деда всю жизнь. Говорила мне:

— Иных ведь и не ждали, а они пришли, вернулись, пленные-то эти.

Я выхожу из дому, сажусь на раскалённое крыльцо. На улице никого нет. Овцы попрятались от зноя под старой раскидистой липой у колодца. Тихо. Слышно, как высоко в небе на ноте «до» гудит самолёт.

Бабушкина деревня... Я тогда знала, что когда вырасту, уеду в другие страны, чтобы увидеть весь огромный мир: океаны, горы, жаркие пустыни. И этот мир будет гораздо красивее, чем маленькая вологодская деревня с семью деревянными избами без электричества.

Когда лесные пожары подступили к соседней деревне Беляевское, бабушка с соседкой Марьей Лашиной взяли икону Божьей Матери и пошли вдвоём по полю вокруг деревни. Мы смотрели из окон, как две старушки, худая, бабка Марья, и поплотнее, наша бабушка, идут крестным ходом, иногда опускаясь на колени и кланяясь головой в землю. Пожары к Порубежью не пришли.

Была ещё до войны при деревне своя юрodieвая. Августина. Чем жила, где спала, как укрывалась в холода — никто не знал. Худая, с чёрной кожей, высушенной от ветров, мороза и солнца, Августина переходила из одного дома в другой. Приход её считался милостью, хотя после неё овчины, домотканые коврики с лавок и пола приходилось выколачивать на улице, чтоб не подцепить блох, водившихся в многочисленных рваных юбках юрodieвой тучными стадами. Иногда она сидела на земле и ловила блох в своей одежде, что-то приговаривая при этом.

В марте 1945 года при первых солнечных лучах моя семилетняя мать с подружкой, играя у колодца, подслушали слова Августины: Радуйтесь, радуйтесь! Недолго вам ещё осталось!

Другие — бабы — тоже слышали это. Даже спросили у неё ласково: Августинушка, да что ты там говоришь-то?

Августина не слушала радио и не читала газет, но каким то своим особым, настроенным на природу чувством, ощущала уже страшную перевалуху-грозу, накатывающую на Россию.

В войну она точно предсказывала появление похоронки в доме.

К бабушке она пришла в сентябре. Хотела войти в сени, но вдруг завывла: Ой, не пойду, там страшно! Там гроб в сенях!

Бабушка в это время шла с полным подойником из хлева. Услышав эти слова, она уронила ведро, разлив всё молоко.

Есть в деревне одна тайная история, которой я обещала бабушке никому не рассказывать. Но прошло время, и почти все участники этой драмы закончили земное существование.

Жила в деревне, в большом двухэтажном доме с редко посещаемой чистой горницей наверху, семья. Худая, изработанная тётя Фаина, страдальца, натерпевшаяся от своего задиристого мужа-алкоголика дяди Василя, их младший сын, помощник по дому, по хозяйству — Коля. Старшие дочери уже повыходили замуж и разъехались по городам. Все они были рыжеволосые, высокие, очень красивые. Коля был моим деревенским дружкой. Рыжий, домовитый парнишка, помощник матери. Катал меня на телеге, впрягаясь вместо лошади, учил курить за огородами. Когда мы повзрослели, наша дружба как-то сама собой закончилась. Коля ушёл в армию, затем женился в Ярославле. Ещё до его службы в армии умер его отец Василий... Странно умер. Просто не проснулся после очередной пьянки.

Фаина призналась моей бабушке, что это Коля, устав страдать за свою вечно избитую, изруганную мать, однажды придушил спящего пьяного отца подушкой.

И его через три года сбил грузовик в Ярославле. Бабушка жалела Фаину, горевала вместе с ней, но считала, что гибель Коли — это Божья кара за отца.

— У нас в деревне ни один грех никогда не оставался безнаказанным. Кто-то захочет утаить что-то недоброе, а всё равно Божья правда выйдет на свет.

Однажды мы — дети — гурьбой вышедшие в лес по ягоды, набрали на необыкновенный малинник. Таких высоких кустов со свежими шелковыми листьями, такой крупной и сладкой малины вы никогда больше не видели. Мы наперегонки стали рвать малину, потом оказалось, что её тут много. Разбредаясь по всему малиннику, мы перекликивались набитыми и перепачканными ягодой ртами. Удивляясь недогадливости других, не нашедших такое богатое место, мы, впрочем, обратили внимание на то, что малинник тот разросся по заброшенной деревне. Сухие брёвна и доски, пригорки, на которых раньше стояли дома, обваленные колодцы — всё поросло малиной. И принеся домой полную корзинку, я деловито рассказала бабушке, что недалеко в лесу — километрах в двух от Порубежья — мы нашли огромный малинник. И что завтра тоже туда пойдём. Уже договорились.

Бабушка перестала выкладывать малину на газету (она всегда запасала сухую малину на зиму) и выспросила меня, где мы нарвали её. После моих объяснений, она как-то, сжав лицо, пошла выбрасывать малину на улицу, за огород.

— *Что!* — почуяв что-то неладное, пристала к ней я.

Когда бабушка мне рассказала, почему никто не рвёт ту малину, меня чуть не стошнило от той

малиновой сладости, которая всё ещё оставалась во рту, превращаясь в горечь. С тех пор я не ем малины. Не люблю.

В 20-е годы на том месте стояла деревня. Однажды ночью всех жителей этой деревни убили. Бабушка сказала так: «Антанта прошла». И совсем недавно я увидела карту высадки англичан в Мурманске в 20-е годы. Они действительно тайным броском шли к Москве через Вологодскую область. При своей впечатлительности я тогда ярко представляла себе картину — вот живёт деревня, вот женщины ночью потушили печи, чтоб не было угара, укачали детей в люльках, привязанных к потолку, вот мужчины затушили свои последние самокрутки, серьёзно разговаривая с соседями о будущих хозяйственных делах. Деревня погрузилась в сон. Ночью туда вошли военные и тихо, без выстрела, прикончили спящих людей. Неужели есть такие цели, ради которых можно убивать людей? — думала я. Я понимаю сегодня, что серьёзность размышлений у детей бывает чище и сильнее. Они могут мыслить без компромиссов, потому что ещё не знакомы с политическими объяснениями преступлений.

Когда мне было лет 15, бабушка повезла меня и Наташу — мою младшую двоюродную сестру в Вологду, в церковь. Мне до сих пор стыдно вспоминать... Я встала на колени и стала класть земные поклоны. А в сердце было пусто. А просто хотелось выпендриться. Бабушка мне не сказала ни слова. Она просто и серьёзно смотрела на меня, и в глазах у неё было столько жалости ко мне — «вольнице», как она называла меня иногда. Как будто она видела мою будущую жизнь: мои метания из религии в религию, разочарования, и даже эмиграцию.

Сегодня на Порубежье пусто. Там никто не живёт. Деревня зарастает мелоклесьем и малиной. Я разыскала в программе Google Земля то место, где была деревня Порубежье, и захожу туда в интернете. Иногда поплачу по бабушке, деревне, своему детству. Даже несентиментальный мой двоюродный брат Володя, бизнесмен, который живёт в Вологде, говорит мне по телефону, что есть у него одна мечта — когда вырастут его дети, вернуться на Порубежье, вырубить избушку и стареть там, где жил наш дед и родился его отец, тот самый бабушкин сын Иван, который подстрелил лося голодной зимой 1946 года.

Франция

Иван Мятлев

Розы

ДиН память

Как хороши, как свежи были розы
В моём саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодной рукой!

Как я берёг, как я лелеял младость
Моих цветов заветных, дорогих;
Казалось мне, в них расцвела радость,
Казалось мне, любовь дышала в них.

Но в мире мне явилась дева рая,
Прелестная, как ангел красоты,
Венка из роз искала молодая,
И я сорвал заветные цветы.

И мне в венке цветы ещё казались
На радостном челе красивее, свежей,
Как хорошо, как мило соплетались
С душистою волной каштановых кудрей!

И заодно они цвели с девицей!
Среди подруг, средь плясок и пиров,
В венке из роз она была царицей,
Вокруг её вились и радость и любовь.

В её очах — веселье, жизни пламень;
Ей счастье долгое сулил, казалось, рок.
И где ж она?.. В погосте белый камень,
На камне — роз моих завянувший веноч.

Наталья Данилова

Собиратель слёз

роман-сказка



Деревня двенадцати привидений

Глава, в которой все узнают о таинственном исчезновении младенца

Деревушка Плакли, расположенная в юго-восточной Англии, и без того имела дурную славу. Рассказывали, будто её окрестности облюбовали всевозможные призраки. Сегодня Плакли снова гудела, словно растревоженное осиное гнездо. Общественность переполошилась не на шутку.

— Вы слышали, у Эммы Эмерсон похитили ребёнка?

— Как? Когда?

— Да, среди бела дня.

— Говорят, она в доме была, с мальчиком рядом, даже не выходила никуда, отвернулась только, глядь, а его уж и нет. Так кричала, бедняжка!

— А муж что же?

— В город поехал, за констеблем.

— Да как же это может быть?

Община собралась на самой окраине Плакли, возле поместья полковника Найджела Эмерсона, у которого при странных обстоятельствах неизвестные похитили новорождённого сынишку.

Роузкорт — так назывался дом, принадлежащий полковнику Эмерсону и его жене Эмме, — был расположен в непосредственной близости от леса. И кое-кто из селян был уверен, что какой-нибудь зверь мог незаметно проникнуть в дом и утащить ребёнка.

— А я вам говорю, это дело рук старой цыганки. Не зря она шастает по дворам уже который день. Сам видел. Трубка в зубах, шаль вся изодрана, а глазами, как голодная волчица, так и зыркает по сторонам, — заявил трактирщик Майк и смачно затыкнул недавно привезённым из города свежим табачком.

— Эмма — бедняжка. Чем же ей помочь? За что это судьба её так наказывает? — с сочувствием вздохнула соседка Эмерсонов миссис Дженкинс.

— Ой, нечисто тут у нас, надо бы священника позвать, — подытожил кто-то из толпы.

За деревней Плакли давно закрепилась слава гиблого места. Говаривали, будто ночами частенько слышно, как по дороге в соседний Малтманз Хилл едет из Плакли призрачная карета, запряжённая четвёркой лошадей. И скрип колёс, и лошадиное фырканье — не отличить от настоящих, да только невидимы они глазом. А кто-то уверял, что рядом с церковью Сен-Николас, где покоится прах прекрасной леди Деринг, умершей ещё в двенадцатом веке, видели её призрак, разгуливающий с красной розой в руках.

— А ведь в семи свинцовых гробах похоронили кралечку, — рассказывал подвыпивший сапожник Тимоти местным ребятишкам.

— Как это в семи? — спросил не на шутку испугавшийся сынок лекаря, веснушчатый Ларри, которого из-за удивительно конопатого лица деревенские мальчишки дразнили «Расти» или «Рыжик». — А зачем?

— А затем, чтоб не выбралась ненароком, да тебя не начала искать, — продолжал свой жуткий рассказ старик, который, казалось, еле держался на ногах от выпитого за день. — Эти семь гробов ещё в дубовый сундук поставили и в подземном склепе под церковью захоронили. Да только привидению-то что эти семь гробов, тьфу, никакая не преграда. Да будь их даже сто! Ему всё ничоём. Ведьма она была при жизни, эта леди!

— И за что это на Плакли напасть такая? Не успели от пожара поместья Дерингов опомниться, а теперь — ребёнка украли, — всхлипнул кто-то из толпы.

— Дерингам этим по заслугам досталось, зла они много другим людям при жизни причинили.

— А милой Эмме за что же такое наказание? — заохала старая Маделейн. — Надо её как-то утешить.

— Нечего было гулять в лесу во время грозы, совсем страх потеряли, — раздухарился деревенский всезнайка Сэм Хьюстон.

— А причём здесь лес? — насторожилась сердобольная Маделейн.

— А притом, — зло огрызнулся Хьюстон, — старые люди зря болтать не станут. Фрайт Корнер — это вам не фунт изюму, с ним шутки плохи.

В Плакли было несколько тёмных мест, про которые слагали всякие легенды и сказки. В том числе и Фрайт Корнер — Закоулк Страха, о котором музыкант Пол частенько пел в местном пабе. В грустной балладе рассказывалось о разбойнике, которого подстерегли у старого дуплистого дуба в лесу и закололи мечом. Но разбойник поклялся свести счёты со своими убийцами и стал каждую ночь разгуливать возле дуба, поджидая заклятых врагов.

— Эмма ходила во Фрайт Корнер? А ты откуда знаешь, Хьюстон?

Сэм, не спеша, и внутренне очень довольный тем, что привлёк всеобщее внимание, начал рассказывать:

— Ездил я год назад на старую мельницу, к отцу её, Джеку. Жив был тогда ещё старый курилка. Ну, закончили мы дела, я у него в тот день муки на год вперёд купил. Сидим с ним за стаканчиком старого эля, тут он мне он и говорит, дескать, ума не приложу, как беду от дома отвести?

— А что такое? — поинтересовался я.

— Да, дочка моя, Эмма, вроде как умом тронулась. В Закоулок Страха повадилась ходить. Да всё норовит пойти, как только гроза начинается. И не боится.

— Это что ж, в то самое место, к дуплистому дубу, где разбойника прикончили? — удивился я.

— Туда, туда, — вздохнул мельник. — Я уж её и распекал, и уговаривал. Не к добру это, не ровен час, молнией ударит. А она как зачарованная.

— Хоть человек я хладнокровный и не склонный к суевериям, но от этих слов Джека, а больше от его потерянного вида, верите, у меня мурашки по телу побежали.

И тут толпа увидела заплаканную Эмму, которая вышла на крыльцо. Она каким-то рассеянным взглядом оглядела соседей и грустно произнесла:

— Я сама во всём виновата. Была гроза. В дупле было темно. Он требовал отдать ему того, кто должен родиться, и я пообещала. Это Страх Смерти отнял моего мальчика.

Земля поменялась с небом местами, и Эмму поглотила тьма.

Король Страх

Глава, в которой раскрывается тайна похищения мальчика из Плакли

Нет на свете ни одного человека, который бы не испытывал страха. Нет человека, который никогда не чувствовал его присутствия. Вот он, где-то здесь притаился за шкафом в тёмной комнате. Или вдруг преследует мысль, что ты кому-то не нравишься или не справишься с поставленной задачей. Но увидеть воочию самого Короля Страха доводилось немногим.

Мальчик, которого выкрал Король Страх у Эммы Эмерсон, оказался редким исключением из правила. Он не просто видел его каждый день, но и жил в его хрустальном замке, за прозрачными стенами которого бушевал Океан.

Король Страх дал ребёнку странное имя — Крикуль-Музыкуль. Но странному оно могло показаться только непосвящённому. В этом имени заключалась тайна похищения мальчика.

Сын Эммы и Найджела Эмерсонов обладал уникальным музыкальным слухом и мог улавливать самые тихие и невнятные звуки на расстоянии многих километров. О его таланте Король Страх узнал задолго до появления Крикуля на свет.

— Раз в тысячу лет рождается такой исключительно талантливый ребёнок у обычной женщины. Он обладает даром великого священного Хеймдалля из Химинбьерга, стража богов, что живёт у края небес. Так же, как Хейм-далль, этот мальчик будет слышать, как растёт трава на земле и шерсть на овце. Уж я сумею воспользоваться его талантом, — размышлял вслух коварный Страх.

Пока малыш жил с родителями, имени у него не было. Они просто ещё не успели выбрать ему имя. Эмма обращалась к нему просто и ласково: «Мой мальчик», а папа звал Крикуном, поскольку громкий и непрекращающийся крик младенца мешал ему спать.

— Когда, наконец, замолчит этот Крикун? — недовольно спрашивал разбуженный Найджел.

— Он будет великим певцом, наш мальчик, — успокаивала мужа Эмма, нежно покачивая малыша.

Но судьба распорядилась иначе, и их сын, названный Крикулем-Музыкулем, с раннего детства обучался совсем иному ремеслу.

Звуки детского плача, резкого и пронзительного, жалобного и беспомощного, постоянно окружали маленького Крикуля. С первых дней жизнь его сопровождалась звуками чужой боли и страдания. В фонотеке Короля Страха на тысячах плёнок была записана самая страшная музыка в мире — детский плач. Со временем Крикуль стал хорошо разбираться во всех оттенках крика невидимых детей.

— Слушай, Крикуль, слушай! Это мальчишка орёт — его шершень укусил. Больно ему! А это капризная девчонка истерику закатила в магазине игрушек. Дрянь такая!

Король Страх знал толк в воспитании настоящих злодеев. Привычка слышать плачущих детей должна была внутренне закалить Крикуля и породить в его душе безразличие.

Позже, когда Крикуль стал совсем большим, он отлично справлялся с аппаратурой фонотеки, склеивал между собой отрывки разнородного детского крика и устраивал жуткие, душераздирающие концерты.

— Блеск! — радовался Страх, слушая эти произведения. — Ты прирождённый Музыкант. Это новое слово в истории музыкального искусства. Ты настоящий Композитор Крика, недаром я дал тебе такое звучное имя — Крикуль-Музыкуль! И Страх в приступе нежности больно щипал за щёку юное дарование.

Замок Короля Страха, в котором жил Крикуль, был огромен. Вряд ли кто-то кроме самого Страха хорошо ориентировался в его многочисленных лабиринтах. Но даже когда Крикуль подрос и смог самостоятельно ходить, о свободе передвижений по Замку Короля Страха не могло быть и речи. Этот строжайший запрет был усвоен Крикулем-Музыкулем раз и навсегда. Мысль нарушить приказ Отца никогда не приходила ему в голову. Безоговорочное выполнение слова Короля Страха было для Крикуля непреложным законом. Так уж он был воспитан Рукой, которой Король Страх поручил заботиться о мальчишке.

Представьте себе толстенную, гигантских размеров — почти до самого потолка — человеческую кисть. Это и была его нянька. Никого другого, кроме Короля Страха и Руки, он не видел с самого рождения. Поэтому ничего удивительного в этом для Крикуля не было. Рука растила его с самого раннего возраста. Никаких нежностей от Руки ожидать не приходилось. Она была для него скорее строгой надзирательницей. Любое неповиновение со стороны воспитанника беспощадно и неминуемо каралось наказанием.

Лаборатория

Глава, в которой рассказывается о великом предназначении Крикуля

Когда Крикулю исполнилось пять лет, Рука перевела его в соседнее помещение. После



фонотеки крика оно на долгие годы стало его новым домом. Всё здесь было Крикулю в диковинку — и многочисленные склянки на полках, и тяжёлые толстенные книги, которые Крикулю предстояло изучать, чтобы стать настоящим злым волшебником. Но больше всего его поразил невиданных размеров шкаф, который выпячивал своё покатоё брюхо.

— Это — холодильник! — коротко и непонятно объяснила Рука. — Не смей к нему прикасаться. Со временем Его Величество Король Страх сам расскажет тебе, для чего он нужен. А пока спать!

Рука дала Крикулю крепкую затрещину, чтобы не вздумал возражать, и, выключив свет, отправилась в свой угол. Крикуль послушно поплёлся к кушетке, лёг и уже в темноте продолжал разглядывать лабораторию.

Сделать это было нетрудно, ведь в отличие от фонотеки, где имелось лишь одно небольшое окошечко под самым потолком, здесь целая стена была прозрачной, и дневной свет освещал все предметы, которые его окружали. Для маленького затворника такой переезд оказался самым настоящим приключением. И Крикуль впервые в жизни почувствовал себя вполне счастливым.

Назавтра ему предстояло узнать о предназначении холодильника, а заодно и о том, зачем он сам появился на свет.

— Внимательно слушай, Крикуль-Музыкуль, и запоминай! — Король Страх приступил к первому уроку. —

Тебе предстоит изучить всё, что должен уметь настоящий волшебник. Придёт время, и ты станешь непревзойдённым собирателем слёз.

Крикуль пока не понимал ни слова, но слушал Короля Страха, открыв рот.

— Быть всемогущим колдуном — завидная участь. Чувствовать свою власть над более слабыми существами, что может быть прекраснее? — наставлял его Король Страх. — Тебе будут все завидовать. Это такое сладостное, ни с чем не сравнимое чувство — ощущение превосходства. Благодаря мне ты, Крикуль, стал избранником. Когда ты будешь готов, то сможешь звать меня Отцом. Понял?

Крикуль хотел было сказать, что ровным счётом ничего не понял, но, побоявшись разозлить

Короля и вечно недовольную няньку, тихонько произнёс:

— Понял.

— Рука, объясни ему, что тут к чему, и приступайте к делу, — строго приказал Страх. — Надеюсь на твою преданность.

— Не извольте беспокоиться, Ваше Величество, — ответила Рука, склонившись в поклоне.

Как только Король Страх исчез, Крикулю объяснили, что он будет долго-долго, старательно-старательно учиться на злого волшебника, которому предстоит всю жизнь собирать детские слёзы.

— Ничего трудного. Как они глотки дерут, ты вроде слышишь лучше других, даже на другом краю света. Так?!

Рука держала мизинцем и большим пальцем тряпку, которой смахивала пыль с полок. Она сновала по лаборатории, ни на минуту не останавливаясь, и излагала свои наставления:

— Как услышал — плачет, — ты тут как тут — слёзки собрал в скляночку, да и обратно. А здесь, в лаборатории, сольёшь слёзки в бутылки, заморишь. Сюда вот, в журнальчик запишешь, что мол, так мол и так, слёз, мол, такое, мол, количество. И разольёшь в эти формочки.

Рука стала доставать с верхней полки поставленные друг на друга, напоминая башню, прямоугольные жестянки. Не удержала, и они с грохотом посыпались на пол. — Ну, что стоишь истуканом? Собирай немедленно, паразит! Крикуль кинулся помогать. А Рука тем временем продолжала инструкцию:

— Вот, в эти формы будешь заливать слёзы-то. А потом...

Рука, надсадно крикнув, с силой открыла замок холодильника. Крикуль с любопытством заглянул внутрь. В холодильнике не было ровным счётом ничего, кроме решётчатых металлических полок.

— А потом будешь их морозить тут. Понял? — выдохнула запыхавшаяся от напряжения Рука.

— А зачем? — спросил несмышлёныш.

— А затем, что это будут уже не слёзы.

— А что?

— А то! Кирпичики это будут, вот!

— Какие кирпичики? — снова не понял Крикуль.

— Ой, бестолочь, вот гупень, — начала заводиться Рука, но, сдерживаясь из последних сил, чтобы не поколотить недогадливого воспитанника, произнесла:

— Самые что ни на есть крепкие. Из чего замок-то наш с виду хрустальный построен, а? Дурья твоя башка. Глянь!

И Рука подвела Крикуля к прозрачной стене, за которой бушевал Океан, и постучала по стеклу.

— Не стекло это, а слёзы, смекаешь?

— Нет! — Крикуль никак не мог взять в толк, как слёзы могут превратиться в кирпичи, из которых можно построить замок.

— Не зли меня, по-хорошему говорю. Это химия такая, называется по-научному. Подрастёшь — поймёшь. А будешь артачиться, прихлопну так, что только мокрое место от тебя и останется. Теперь понял?!

Крикуль молча кивнул в знак повиновения.

С годами он постиг науку чародейства. Его учителя — старинные книги великих тайнств, которые и передавали Крикулю свои знания.

Во время лабораторных работ Крикуль действительно убедился в том, что из детских слёз получают наипрочнейшие прозрачные слитки — самый надёжный строительный материал в мире.

Неумолимо летело время. Прошло ещё пять лет жизни Крикуля в замке Короля Страха. Отец — теперь Крикуль мог его так называть — в последний раз натаскивал пасынка перед началом настоящего дела.

— Собирать детские слёзы — это не просто важная работа, это твоё предназначение, Крикуль-Музыкуль. Это — твоя судьба, — Король Страх уже не в первый раз беседовал с Крикулем на тему слёз. — Ты единственный в мире можешь достойно справиться с этим.

Страх старался говорить тихо и ласково, но Крикуль знал, что в любой момент Отец может взорваться и от его благостного расположения духа не останется и следа. Так уже бывало и не раз. Крикуль старался не слишком расслабляться и не вступать в разговор без необходимости. Но при этом Крикуль испытывал что-то вроде гордости за свою исключительность.

— Ты — гений! Уникум! И я горжусь тобой! Пришла пора заняться практической работой. Готовься. Завтра в путь!

Превратиться в невидимку для Крикуля было также просто, как десятилетнему мальчику зашнуровать ботинки. Раз и готово!

Перемещаться в пространстве, в любую точку Вселенной, оказалось тоже делом нетрудным. Кроме того, было ещё и страшно интересно. Достаточно было одного урока Отца, чтобы Крикуль ухватил суть происходящего.

— Встань ровно, — Король Страх не любил повторять дважды, и Крикуль привык повиноваться безоговорочно. — Скрести руки перед собой, вот так! Смотри в одну точку, сконцентрируйся, — голос Короля Страха был твёрже стали. — Представь себе место, где ты должен очутиться. Включи воображение. Замри. Старайся не моргать. Вглядывайся до тех пор, пока не просочишься и не окажешься где нужно. А попасть нам необходимо туда, откуда доносится наш главный ориентир — детский плач. Слышишь?

Король Страх испытующе взглянул на сосредоточенное лицо Крикуля. Крикуль почти всё время отчётливо, даже если ребёнок плакал на другом конце света, слышал детский рёв.

— Слышу!

— Ну, тогда поехали!

После нескольких тренировок перемещение в пространстве у Крикуля выходило довольно легко, почти без сбоев. Сейчас, вместе с Отцом, который пожелал на первый раз преподать лично Крикулю мастер-класс, а заодно и принять экзамен, они прибыли на место жуткой драки. Двое мальчишек мутузили друг друга с таким остервенением, что другие ребята никак не могли их разнять. Сцепившись, горе-гладиаторы походили на странное, изрыгающее ненависть на самого себя, пыхтяще-сопящее существо с двумя парами рук

и ног — этакий двуликий андрогин. Вдруг один из мальчишек схватил другого за волосы и с силой начал отдиравать от себя. Забияка изловчился и зубами вцепился в щеку противника. Укушенный издал такой дикий вопль, а затем такой по-волчьи протяжный вой, что почти мгновенно как ветром сдуло и его обидчика, и всех невольных зрителей этой безобразной потасовки. Слёзы градом полились из глаз раненого. Пытаясь остановить кровь, которая сочилась из раны, боец сдавливал щеку ладонью. Он, конечно же, не замечал вокруг ровным счётом никого. Тем более Страха и невидимку Крикуля, который пытался пристроиться перед раненым с небольшой склянкой для сбора слёз.

— Ничего трудного в этом нет, — Страх был очень доволен всем увиденным. — Лови, лови же! Ни одна слезинка не должна пропадать зря. Видишь, какие зверёныши? Как ненавидят друг друга. Весь мир состоит из зла. И зло правит миром!

Но Крикуль почему-то не испытал от этого зрелища ничего, кроме страха. Первый показательный урок по сбору слёз закончился. Теперь ему предстояло заниматься этим самостоятельно.

Докажи, что не боишься!

Глава, в которой рассказывается о том, до чего доводят опасные детские игры

Все попытки местной полиции разобраться в причинах исчезновения сына Эмерсонов из Плакли не дали результатов.

Каждый раз, когда Рой Харрисон, которому было поручено вести это дело, пробовал нащупать хоть какие-то зацепки, показания так называемых свидетелей происшествия заводили его в тупик.

— Деревня Плакли — это проклятущее местечко, сэр! — докладывал он своему непосредственному начальнику, констеблю Портеру. — Поверьте, здесь живут одни придурки. Они постоянно морочат мне голову. Вот, смотрите, это показание трактирщика Майка Спенсера! — Рой достал из ящика стола исписанный лист бумаги. — Эта скотина, простите, сэр, утверждает, что видел, как возле дома Эмерсонов в день, когда исчез их сын, всё время крутилась подозрительная особа — цыганка из местных. Я спросил у Майка: кто такая и где проживает? Вот, вот, читайте? Это его дословный ответ.

Харрисон положил лист перед Портером, и тот прочитал вслух следующее:

— Призрак цыганки, сожжённой в прошлом веке, на перекрёстке двух дорог, перед самым въездом в Плакли, чаще всего появляется вблизи бывшего имения леди Деринг, которая жила в этих краях ещё в двенадцатом веке.

— Ну как вам? Йоркширская свинья! — ударил кулаком по столу раскрасневшийся Харрисон. — Верите, сэр, я еле удержался, чтобы не дать ему, простите, сэр, в его свиное рыло. Говорить такое представителю власти!

Констебль, сидевший в чёрном кожаном кресле, всё время кривил рот. После недавнего инсульта нервный тик мучил его каждый раз, как он начинал выходить из себя. — Да, тёмное дельце! Я сам, бобби, опрашивал потёрпевших сразу, по горячим

следам, и у меня тоже создалось впечатление, что они вроде как не в себе. Но я списал это на переживания.

Портер встал и прошёлся по комнате.

— Эмма Эмерсон всё время твердила о Закоулке Страха, где каждую ночь якобы бродит призрак заколотого разбойника. Но на прямой вопрос: кой чёрт её туда носил ночью, да ещё в грозу, никакого вразумительного ответа я так и не получил.

— Вот! То-то и оно, сэр! То-то и оно!

— Ты сам-то веришь во всю эту муть?

— Да ни боже мой! Я здравомыслящий, трезвый человек из нормальной семьи. Упыри, вурдалаки, всякие там призраки и прочая чертовщина — это не по мне.

— Придётся закрывать дело. Боюсь только, что не миновать нам неприятностей. У этого полковника Эмерсона, говорят, есть кое-какие связи в министерстве юстиции.

— Ну и что с того? Приведение-то к делу не пришьёшь!

— Да! Тёмное дельце. Тёмное!

Шли годы. В Плакли поговаривали, что Эмма Эмерсон совсем потеряла голову после того, как пропал её новорождённый сын. Она почти не выходила из дома, жила затворницей и, хотя была ещё совсем молодой, слышать не хотела о другом ребёнке.

Загадочное происшествие в семье Эмерсонов по-прежнему вызывало живейший интерес у деревенских сплетников. И как только они собирались вместе, то непременно перемывали косточки Эмме и её мужу Найджелу.

— Жаль мне Найджела, — вздыхал пьянчужка Тимоти, сдувая пену с третьей кружки пива. — Даром что полковник. Замучила его жена. Никакой жизни нет человеку.

Помощница трактирщика, колченогая Элис, наострила уши.

— Чем это Вам Эмма не угодила? Я что-то не слышала, чтобы они скандалили.

— А по мне, так лучше бы скандалили, чем жить как в монастыре. Эмма, словно монашка, из кельи своей носу не показывает. Ходит будто привидение какое.

— Это ты правильно подметил! — поддержал сапожника Тимоти Сэм Хьюстон. Все деревенские называли его всезнайкой, он был посвящён в тайну каждой семьи.

— Я тут на днях случайно слышал разговор Эммы со старой бестией, этой нашей миротворицей, почтенной миссис Дженкинс. Она ведь только с ней и общается. Даже с мужем не разговаривает.

— Это как же «случайно слышал»? — хмыкнула Элис. — Верно, по обыкновению под окнами разгуливал?

— А тебе что за печаль? Слышал, и ладно! — замахах руками Хьюстон. — Молчи, Элис! Сэму видней, где гулять. Ну и что?

— А то, — перешёл на шёпот Хьюстон, — что слышал я, как старуха Глория говорила Эмме, мол, роди ещё ребёнка, того мальчишка уже не вернёшь. А Эмма ей: мол, боюсь я Страха. Это он моего сына украл и другого также украдёт.

— Прямо так и сказала? — присвистнул Тимоти.

— Ну, да! И ещё, мол, верю, что вернётся мой сыночек, я его во сне всё время вижу. Живой он.

— Ох, ты!

— А потом Глория возьми, да и спроси её прямо в лоб: зачем, дескать, в Закоулок Страха ходила ночью, да ещё в грозу? А Эмма ей: игра у нас такая в детстве была. «Докажи, что не боишься» называлась. Вся деревенская детвора в неё играла. И дочка Глории, Джесс, с которой Эмма дружила с пелёнок, тоже, вроде бы, в их компании была. Так та Джессика, чтобы доказать, что не боится привидений, всё на кладбище ходила, а Эмма — в Закоулок Страха, значит.

— Я тоже слышала, что мой брат играл в эту, как её, ну, в «Докажи, что не боишься», — присоединилась к разговору Элис. — На пепелище Дерингов сходил пару раз, так отец ему таких «горячих» всыпал, что отбил охоту по ночам шляться к привидениям в гости.

— Ну а Глория-то что же? — Тимоти выпучил на Хьюстона совсем ослотившие глаза.

— Сказала, что не верит, будто её тихоня Джесс была на такое способна. А потом спохватилась и говорит: это же в детстве было, дурачились дети — понятное дело, — а сейчас-то что, мол, тебя заставило в лес идти?

Страх, говорит Эмма, Страх. Замучил совсем. Как одна оставалась, все мысли о смерти в голову лезли. А тут ещё отец умер. Она совсем, дескать, и раскисла. Решила пойти, как в детстве, доказать себе, что не боится ничего.

— Вот они, шуточки-то, боком и вышли. Доигралась!

Мама, где ты?

Глава, в которой Крикуль узнаёт, что слово «мама» имеет таинственную силу

День не задался с самого утра. Крикуль открыл глаза и почувствовал, что его ресницы покрыты инеем. В лаборатории по заморозке детских слёз, где он спал, был жуткий холод. Рука копошилась где-то рядом с холодильником.

Крикулю показалось, что встать он уже не сможет никогда. Всё его тело колотило мелкой дрожью.

— Мама, где ты? — тихонько произнёс он.

Рука молниеносно бросилась к его изголовью и ударила так сильно, что Крикуля сразу обдало жаром.

— Ты где это нахватался такой дряни? Это что за словечки? — Рука повисла над головой Крикуля, готовясь устроить побоище.

— Не бейте меня, няня! — посиневший от холода Крикуль стоял рядом с кроватью, вжав голову в плечи.

Рука от негодования затряслась.

— Не учи меня, что мне делать, бить или не бить. Я спрашиваю тебя, негодный мальчишка, где ты слышал это дикое слово «мама»? — Рука наклонилась над ним, и Крикуль почувствовал жар, исходящий от неё.

— Вчера, когда я собирал слёзы. Возле входа в лавку стоял малыш, он потерялся и всё время повторял это... — Крикуль хотел было снова произнести: «Мама, где ты?», — но вовремя

остановился, вернее, его остановили. Рука больно и горячо шлёпнула по его губам.

— Ишь ты, заморыш, первый раз слетал по делам и уже нахватался всякой гадости. Не смей повторять за ними эти мерзкие слова! Одевайся, бездельник! Видишь, дверь холодильника заклинило. Иди, помогай! Крикуль вместе с Рукой кое-как починили дверной замок холодильника. Пришлось изрядно повозиться.

Но несчастья на этом не закончились. Рука, собираясь ненадолго уйти, с хрустом трансформировалась. Тело её сжалось так, что большой палец придавил первых три, а небывалых размеров указательный, единственно торчащий кверху, закачался, как метроном, со свистом рассекая воздух.

— Сиди тут у меня тихо, плюгавец! Поешь, и за работу! Крикуль молча выслушал грозное указание и при этом заморгал, опасаясь новой оплеухи.

С Рукой нужно было держать ухо востро. Запросто может надавать тумачков ни за что ни про что. Однажды, схватив Крикуля за ухо, она подняла его над землёй и держала так минуту. Потом ухо страшно вздулось и долго болело. И это только за то, что во время чтения учебника по метафизике он на минуточку отвлёкся и засмотрелся на Огненное Яблоко за стеклянной стеной лаборатории.

Оно было самым ярким впечатлением в жизни Крикуля. Крикуль любил наблюдать, как Океан выпускал Огненное Яблоко погулять по небу. «Наверное, это его сердце», — фантазировал Крикуль, любуясь чудесной картиной.

Огненное Яблоко, вырвавшись из груди Океана, бывало то алым, то бледно-жёлтым, то ярко-оранжевым. От него веяло спокойствием и умиротворением. Никогда Крикуль не видел Яблоко злым и чёрным, каким бывал его Отец. Порой Крикулю удавалось дольше обычного понаблюдать за неспешной прогулкой Огненного Яблока по небу. Крикуль мечтал застать тот миг, когда оно вернётся домой, обратно в Океан. Но каждый раз, когда Крикулю выпадала редкая возможность остаться в одиночестве и полюбоваться этим чудесным зрелищем, Огненное Яблоко пряталось от него за стенами замка Короля Страха.

— Это Солнце, дурья твоя башка, — наставления Руки всегда были обидными. — Нечего без толку в окошко пялиться. Ничего интересного там нет. Готовься к экзаменам. Скоро учёбе твоей конец, и будешь ты в поте лица, милаша, всю свою жизнь слёзы детские собирать. Помни о своём этом, как его, вели-и-ком предназначении.

Тогдашняя издёвка Руки закончилась привычным, дежурным подзатыльником.

До того как началась его работа по сбору слёз, Крикуль почти всегда сидел взаперти. Лишь изредка громила Рука выводила Крикуля погулять на маленький балкончик в конце коридора. Здесь они стояли вместе с нянькой и «запасались кислородом», как она говорила. Но такие прогулки бывали редкими и случались только тогда, когда, по мнению няни, Крикуль заболел. Стоило ему чихнуть или закашлять, как она тут же вспоминала про моцион.

— Пошли немедля на воздух, он тебя враз вылежит, — подхватывала его Рука, и они оказывались

на балконе. Крикуль всегда с жадностью вдыхал живительный воздух Океана, и болезнь действительно отступала.

Потом Рука возвращала Крикуля в привычную обстановку лаборатории, где он, словно отшельник, проводил всё своё время. Прозрачная стена была единственным окном в большой и загадочный мир. Иногда, уткнувшись лбом в холодную гладкую поверхность, он смотрел на живой Океан, который там, далеко внизу, грозился разбить своими могучими волнами замок Страха. Волны, вздохнув полной грудью и собрав силы, вырастали прямо на глазах Крикуля в водяных великанов. С разбегу ударялись о прочные стены замка и разбивались на тысячи мелких брызг. В лаборатории не было слышно утробного рокота могучего Океана, только острый слух великого Хеймдалля позволял маленькому затворнику улавливать, как из таинственных океанских глубин доносятся эхо неведомой симфонии.

Сейчас, когда строгая хозяйка лаборатории по заморозке детских слёз вышла за дверь, Крикулем вдруг овладело жгучее желание последовать за ней и проследить, куда это она отправилась. Уж не жаловаться ли Отцу?

Рука стремительно летела по запутанным коридорам замка. Она настраивалась на разговор с самим Хозяином и поэтому не замечала невидимого преследователя. В какой-то момент Крикуль хотел было пристроиться на край фартука, который Рука забыла снять, и который, сбившись от энергичной ходьбы, волочился теперь сзади, но его осадил внутренний голос. Осмелевший сборщик детских слёз всё же передумал рисковать.

«Неподходящее для шалостей время, Крикуль, — прислушался Крикуль к собственным мыслям. — Но куда это её понесло?» — любопытный Крикуль-невидимка следовал за Рукой по пятам.

Мимо мелькали пролёты длинных коридоров, просторных холлов, каких-то комнат, закрытых или распахнутых настежь, — из-за спешки Крикуль не мог заглянуть туда, чтобы хорошенько рассмотреть их. Но, несмотря на это, у Крикуля всё-таки возникло ощущение обжитого пространства. Крикуль отчётливо слышал приглушённые голоса и какое-то еле уловимое движение.

Почему же его всё время держат взаперти? Кого скрывали от него или, может быть, наоборот, он сам для кого-то был тайной за семью печатями? Мысли роились в мозгу Крикуля. Первое рискованное путешествие по владениям Короля Страха могло обернуться бедой. От этой мысли у Крикуля противно засосало под ложечкой. В этот момент он сильно пожалел, что нарушил строгий наказ Отца — никуда не отлучаться без разрешения, — но было уже поздно. Вместе с тем новое препятствие, возникшее перед Крикулем, давало ему шанс вернуться к себе в лабораторию.

Они с Рукой, видимо, попали на нижнюю площадку одной из башен дворца. Абсолютно гладкая ледяная дорожка серпантинном поднималась вверх. Рука, грузно опустившись на запястье, служившее ей опорой, сгруппировалась и начала стремительно подниматься по скользкой ленте.

После нескольких виражей Крикуль потерял её из виду. Попытка повторить трюк провалилась, и он почувствовал себя беспомощным. Он сидел, обхватив ноги, и никак не мог сообразить, что нужно сделать, чтобы преодолеть силу притяжения. И тут глущее любопытство, которое подтолкнуло его на это рискованное предприятие, словно шепнуло в ухо: «Вспомни Первый Закон любого Волшебника: «Если что-то сделать нельзя, но очень хочется, то значит, это сделать можно!»»

Как только Крикуль мысленно представил свой стремительный взлёт по скользкому серпантину, его мгновенно понесло вверх. Не успел он и глазом моргнуть, как догнал Руку, которая теперь почти летела по длинной мрачной галерее, сплошь уставленной какими-то скульптурами. Внезапно она остановилась, и Крикуль с разбегу чуть было не налетел на неё.

Только сейчас, перед тем как открыть дверь кабинета, Рука заметила, что не сняла клеёнчатый оранжевый фартук, от которого тошнотворно пахло каким-то дезинфицирующим средством. Нельзя было показываться перед начальством в таком неряшливом виде, и она, спохватившись, быстро развязала тесёмки, сложила фартук пополам. Потом ещё раз пополам, и так до тех пор, пока он совсем не испарился. Гордо выпрямившись, Рука ловко, как тренированный гимнаст, мгновенно сжалась в кулак таким образом, что её средний палец своей костяшкой возвысился над другими пальцами. В ответ на её стук в дверь раздалось грозное: «Входи!»

Крикуль незаметно проскользнул вслед за Рукой и оказался в приёмной Короля Страха. Именно эти слова были написаны на двери снаружи. Он успел прочитать вывеску, пока Рука проделывала свой фокус с фартуком.

Перед Крикулем открылась невообразимо-фантастическая картина. За столом сидел огромный пухлый Рот, густо намазанный красной помадой. Из его недр вырывались ровные, обсыпанные сахарной пудрой кольца дыма. Но это был не дым, а самые что ни на есть пончики. Рот жадно ловил очередной пончик, готовый улететь от него к потолку, и смачно, с чавканьем пережёвывал свой трофей. На столе, в замысловатой по форме пепельнице, дымился предмет, который напоминал сигарету, но, скорее всего, это был агрегат по производству пончиков. Тоненькие ножки-ниточки в миниатюрных лакированных туфельках словно приросли к нижней губе и непринуждённо болтались под столом, а из уголков рта торчали, будто соломинки для коктейля, две ручки-тряпочки, энергично выстукивающие пальчиками тексты на клавиатуре.

— Что тебе? — недовольно прохрипел Рот и перестал шлёпать по клавишам.

Рука заискивающе пролепетала:

— Мне бы к Самому, по очень важному делу.

— У Короля Страха совещание, он занят! — отрезал Рот и снова начал строчить, остервенело, как из пулемёта, лущуя клавиши-буквы.

— Ты что, не видишь, кто перед тобой?! — в голосе просительницы появились злые нотки. — Я ж, эта, Главного Воспитанника Нянька. Все в замке знают, что я пользуюсь этими, как их?!

Особыми полномочиями, вот! Да! У меня обстоятельства эти, как их? — Рука сморщилась от мучительного напряжения. — Тьфу-ты, ну, как они? Моржовые, ежовые, ну, такие с фендибобером, — щёлкая большим пальцем о средний, силится вспомнить нужное слово неграмотная Нянька.

— Форсмажорные обстоятельства, — с чувством явного превосходства произнёс Рот.

— Точно! — с облегчением воскликнула Рука, но тут же сурово продолжила: — И ежели что случится, что-нибудь такое эдакое, форс-морс-жовое, то виноват в этом будешь ты. — Рука припугнула секретаря и выставила в его сторону длинный указательный палец.

— Надо было так сразу и говорить, — недовольно скривился Рот, нажал кнопку селектора и тут же подобострастно пролепетал: — Ваше Величество, здесь Рука по срочному делу. Вы примете?

— Что там стряслось? Пусть заходит, — голос Отца прогремел будто из поднебесья.

Крикуль оцепенел от ужаса: «Что же теперь с ним будет?!» Позабыв о том, что он абсолютно невидим для постороннего глаза, Крикуль почувствовал себя разоблачённым. От излишнего волнения его движения стали такими неуклюжими, что, последовав за Рукой в кабинет Короля Страха, он тут же задел стоявшую у входа метровую фигуру какого-то клыкастого чудища. Каменная Химера непременно упала бы и рассыпалась на куски, если бы не молниеносная реакция Няньки. Рука подхватила изваяние льва с козлим телом и змеиным хвостом и вернула его на место.

— Какая же ты неуклюжая, Рука! Нельзя ли поосторожнее? Чуть не разбила мою любимую игрушку.

Крикуль узнал голос Отца, но пока не мог разглядеть его самого. Рука продвинулась вперёд, и перед Крикулем предстало зрелище, от которого тут же перехватило дыхание. Вокруг стола, занимавшего всю середину овального кабинета, сидел не один, а двенадцать Страхов. Все Короли были на одно лицо, и Крикуль сейчас не смог бы с уверенностью определить, кто же из них Отец. Двенадцать пар глаз устремились, как показалось Крикулю, прямо на него. Крикуль забился в угол у самого выхода, рядом с каменным изваянием Химеры, и замер.

Рука склонилась до пола и в поклоне произнесла:

— Простите, Ваше Величество, очень тороплюсь.

— Что случилось? Я слушаю.

Все Страхи молчали, кроме того, что сидел во главе стола.

— Видите ли, Ваше Величество... Как и велело Ваше Величество, я только выполняю указания Вашего Величества... — пролепетала Рука, но Страх тут же перебил её.

— Говори короче. Не тараторь.

Застывшее, словно маска, лицо Короля Страха было белым как мел. Остальные Страхи тоже сидели без кровинки в лице. И все они так же, как Отец, которого Крикуль узнал лишь по голосу, внимательно слушали Няньку Главного Воспитанника.

«Вот, оказывается, кто он такой?!» — неожиданно для самого себя сделал открытие Крикуль.

— Дело в том, Ваше Величество, что мальчишка сегодня звал свою мать.

Страхи зашущукались и стали нервно переглядываться. Некоторые повскакивали с мест. Только один главный Страх казался невозмутимым: он жестом прекратил суматоху, а Руке велел продолжать.

Нянька подробно рассказала о сегодняшнем пробуждении воспитанника и о его словах, которые её очень беспокоили.

— Ваше Величество, он так и сказал: «Мама, где ты?» — и это после первого же дня! Только раз побывал там, и на тебе. Даже не знаю, что дальше-то будет? — Рука вошла в раж и трещала без умолку. — За ним нужен глаз да глаз. Он ведь всего лишь слабый человечешка, а значит, способен на любую подлость. Возьмёт, да и начнёт задумываться: «Откуда это он взялся?!» — или станет ещё, чего доброго, искать собственную...

Рука не успела договорить. Крикуль хорошо видел, как из глаз Отца в её сторону метнулась молния. Молния пронзила Руку насквозь, как гарпун громадную рыбину, и намертво пригвоздила к стене. Рука молча трепыхалась, но никак не могла освободиться. Её гигантские пальцы беспомощно извивались, словно щупальца осьминога.

— Не нужно торопить события, Рука! — раздался громоподобный голос Короля Страха. — Ты же сама говорила, что Крикуль-Музыкуль лишь повторил то, что услышал от ребёнка возле лавки. — Отец медленно поднялся и прошёлся по кабинету, продолжая отчитывать Няньку: — Чему ж тут удивляться? У Крикуля началась основная работа, и ему предстоит узнать ещё много нового. Крикуль достаточно умен, чтобы не наделать глупостей. Он не просто человек, он — Злой Волшебник, он — Главный Воспитанник Короля Страха. Не так ли, Главная Опекунша?

Послышался резкий металлический звук, будто невидимый меч вынули из ножен. Это Отец одним взглядом освободил Руку. Молния-гарпун со звоном рухнула на пол, а затем исчезла.

Рука как ни в чём не бывало приняла устойчивое положение, распрямилась и извиняющимся, но достаточно уверенным тоном произнесла:

— Я всё поняла, Ваше Величество. Разрешите мне вернуться обратно. Этого неслуха нельзя надолго оставлять одного.

— Кого это нельзя оставлять надолго одного? — Страх приблизился к Руке почти вплотную.

— Как кого? Я имею виду Крикуля-Музыкуля, конечно, — сказала нянька, сделав при этом ударение на последние «ля» в его имени. В это мгновение Крикулю захотелось стать ещё более незаметным, от страха он тихонько съехал по стене вниз и сжался в комочек.

— Значит, ты уверена, что Крикуль сидит в лаборатории один-одинёшенек и в поте лица готовится к экзамену, как ему было наказано?! — Страх говорил на удивление спокойно.

Рука не замедлила с ответом:

— Ну, а где ж ему быть-то! Сидит как миленький. Но всё-равно глаз да глаз за ним... — Рука снова не успела договорить.

Король Страх всем телом развернулся в сторону Крикуля.

— Сидит-то он, сидит, да только не там он сидит, где нужно... — Страх посмотрел на Крикуля в упор, и все присутствующие ахнули. Невидимый до этой минуты, Крикуль потерял свою волшебную защиту. Настал час расплаты.

Крикуль-Музыкуль хотел было зажмуриться, да не успел. Неведомая сила подхватила его, и Крикуль завис посреди кабинета. Кто-то цепко держал его за шиворот, но это была не Рука, так как Крикуль видел Няньку, стоявшую рядом.

Страх вернулся на своё место за столом. Запрокинул голову и со свистом стал втягивать в себя воздух. Это продолжалось довольно долго. Все предметы в кабинете Отца задвигались, сорвались с мест и закружились в каком-то диком танце. Поднялась самая настоящая буря. Вместе с воздухом в воронку неимоверно раздувшихся ноздрей засасывало Страхи, одного за другим. Подхваченные вихрем, они вместе с мебелью исчезли в чреве Короля Страха. Он чернел и раздувался. Казалось, что вот вот его разорвёт на части. Крикуль в ужасе увидел, как Рука, пытаясь избежать участи остальных, упирается всей пятернёй в потолок и стены ниши. Но трюк ей не удался — обессилевшую Руку всосали страшные ноздри. Неумолимый вихрь швырял Крикуля из стороны в сторону. При этом он больно ударялся о каменное изваяние Химеры, которая не собиралась выпустить его из своих когтей. Страх заполнил собой почти весь кабинет. Лицо Отца теперь напоминало дикую морду гигантского волка. Из пылающих, словно угли, глаз летели искры. Волк ощерился и брызнул огненной слюной прямо в лицо Крикулю.

— Кто? — вырвалось из пасти свирепого чудовища. — Кто внушил тебе, щенок, что меня можно послушаться? Говори! Кто?

В голове Крикуля пронеслась мысль, что, скорее всего, он навеки онемел и уже никогда не сможет выдать из себя ни единого слова. Крикуль молчал.

— Ты что, язык проглотил?

Крикуль не проронил ни звука. Его застывшие глаза смотрели в одну точку.

— Отпусти его, — приказал Страх. Химера разжала когти, и Крикуль с грохотом шлёпнулся на пол. Он пришёл в себя и оглянулся по сторонам.

Смерч стих так же внезапно, как и начался. Все предметы стояли на своих местах. Отец снова походил на самого себя и сидел во главе стола. Рука по-прежнему маячила за спиной Крикуля, а все остальные Страхи, казалось, никуда и не двигались.

— Хороший будет тебе урок, маленький мерзавец, — прохрипел Страх. — А если ты ещё раз ослушаешь меня, то это будет твой последний в жизни поступок. Понял? Это говорю тебе я, Страх Смерти!

Крикуль только низко склонил голову к груди и впервые заплакал.

— Жидкий на расправу, — презрительно процедил Страх и отвернулся. — А ты, Рука, по всей вероятности, действительно права! За ним ещё нужен глаз да глаз.

Рука благоразумно промолчала, а Король Страх продолжал:

— Только для него двух глаз будет многовато. И одного хватит!

Нажав на кнопку селектора, стоявшего рядом, Король Страх выдал следующее распоряжение секретарю, который всё ещё трясся от страха из-за дикого грохота, раздавшегося всего несколько мгновений назад. — Рот, ты меня слышишь?

— Я внимательно слушаю Вас, Ваше Величество! — беззубо прошепелявил Рот, всего за секунду до этого вынувший вставную челюсть, дикулю пляску которой он никак не мог унять.

— Пусть сюда немедленно явится Глаз. Я жду, — Король Страх испытующе посмотрел на Руку.

Крикуль перестал плакать и следил за стремительными действиями Страха.

— Рука! Ты славно потрудились и заслуживаешь награды. И отдыха. За твою беспечность, старая дура, тебя нужно было бы стереть в порошок. Но все знают мою снисходительность, и я *повелеваю*... хотя, впрочем... — Король Страх решил повременить с окончательным вердиктом. Он впервые обратился к своим притихшим двойникам: — Давайте решим этот вопрос коллегиально. Что же мы с ней сделаем, Страхи? Страх Темноты, какие у тебя есть предложения?

Только сейчас Крикуль заметил, что, несмотря на удивительное сходство с Королём Страхом, другие Страхи всё же чем-нибудь, да отличались от него.

Страх Темноты сидел рядом с Отцом и шарил глазами по потолку в поисках ответа. Он был одет во всё чёрное. Даже платочек, который он достал из кармана своего чёрного сюртука, чтобы вытереть пот со лба, был иссиня-чёрного цвета.

— Посадим её в тёмный чулан на часок, а там посмотрим.

Предложение Страха Темноты вызвало явное недовольство Страха Высоты, который, будто за компанию с Крикулем, сидел на полу. По всей видимости, сидеть на стуле для него было нелёгким испытанием высотой. Из-под стола донеслось тихое завывание:

— Ну что это за наказание — тёмный чулан! Что в этом страшного? Я вас спрашиваю?! Там же никого, кроме неё, не будет. Посидит-посидит взаперти, да и заснёт ещё ненароком. Наказание называется! Её нужно подвесить на высоте ста метров. Над океаном. И оставить так висеть. Думаю, что через пять минут Страх Высоты превратит её в жалкое ничтожество.

— А у меня другое предложение, господа. Надо заморить её голодом. Это самый страшный страх на свете, — сказал Страх Голода и зашелестел фантиком, отправив в рот конфету. Его лицо показало Крикулю немного более пухлым, чем все остальные. Да и костюм не был таким мрачным, как у Страха Темноты. Поверх манишки Страх Голода носил салфетку-слюнявчик, который надевают маленьким детям перед едой.

— Не говори глупостей, Страх Голода, она же всего-навсего Рука, а не человек, она и так ничего не ест, — недовольно вспыхнул король Страх. — И прекрати сейчас же жевать!

Но Страх Голода нисколько не испугался и спросил:

— Однако, скоро ли обед? Я, знаете ли, что-то изрядно проголодался, господа.

Король Страх сделал вывод:

— Полагаю, у каждого из вас будет свой вариант наказания, исходящий из личных, так сказать, пристрастий. Страх Боли предложит её отшлёпать.

После этих слов все посмотрели на Страх Боли, который не мог сдержать радости и сделал небольшое дополнение:

— Не отшлёпать, а избить до посинения!

— Угу, — продолжил Король Страх, — Страх Холода — заморозить, что, тоже до посинения?

— Нет, до смерти! — парировал Страх Холода, изо рта которого валил пар, будто он сидел на морозе.

— Чуть! — недовольно поморщился Король Страх. — Это же всего-навсего Рука. Так! Окончательное решение я оставляю за собой. Рука, мы осуждаем тебя на выполнение трудовой повинности. Работы в нашем замке хоть отбавляй. Так что иди и трудись!

Рука безропотно повиновалась. Выйдя из кабинета, она тихонько прикрыла за собой дверь.

Больше Крикулю не доводилось встречаться с Рукой.

Её место в лаборатории занял одноглазый исплин по имени Глаз. Волосатое чудовище походило на циклопа, которого когда-то так лихо перехитрил легендарный Одиссей. Глаз неусыпно следил за Крикулем. И хотя вид у Глаза был омерзительный, Крикуль-Музыкуль находил его более симпатичным, чем Рука, которая всегда была груба и вечно находила повод, чтобы ударить. Глаз мог бы только одним своим прикосновением покалечить воспитанника, но он ни разу не тронул Крикуля даже пальцем, а Крикуль, в свою очередь, старался ничем не огорчать молчаливого охранника.

Глаз, хмуро потупившись, сиднем сидел рядом с холодильником и с какой-то безысходностью дни напролёт тупо наблюдал, как Крикуль фильтрует и разливает в жестяные формы прозрачную, словно слеза, жидкость. Неуклюжему великану было запрещено прикасаться к оборудованию в лаборатории, чтобы что-нибудь ненароком не задеть своими гигантскими ручищами. Крикуль чувствовал себя полноправным хозяином.

Желание путешествовать по замку Короля Страха у него больше не возникало, Крикуль решил не испытывать судьбу, а заодно и терпение Отца, с содроганием вспоминая тот злополучный день, после которого он так долго не мог вымолвить ни слова. Крикуль даже стал подумывать, что совсем разучился говорить. Страх Наказания, один из двенадцати, почти постоянно преследовал его. Когда немота прошла, Крикуль набрался храбрости и попытался заговорить с Глазом, тем более что его давно мучил один вопрос.

— Глаз, можно тебя спросить? — Крикуль спросил очень тихо, но Глаз всё равно почему-то вздрогнул. — Ты не знаешь, кто моя мама и где она?

Волосатый великан отвернулся.

— Мне почему-то кажется, что Отец тогда так рассердился и Рука переполошилась только из-за того, что я произнёс это слово — «ма-ма».

Циклоп резко склонился над Крикулем, замостал головой и, поднеся палец к губам, знаком показал, что об этом говорить нельзя. Крикуль впервые видел своего нового надзирателя так близко. Он не испугался, но только сейчас заметил, что его гигантскую пасть насквозь пронизывает металлическая скоба, посредине которой раскачивается небольшой проржавевший замочек.

«Так вот, почему Глаз такой молчун?!» — Крикуль понимающе закивал, и ему стало нестерпимо грустно. Однажды любопытство уже сыграло с ним недобрую шутку, но Крикуль ни о чём не жалел. Теперь он знал, что замок Короля Страха густо населён и за каждой дверью живут тайны, которые он однажды обязательно раскроет.

Прошёл ровно год с того дня, когда Крикуль начал самостоятельно собирать детские слёзы для Короля Страха. Никаких нареканий и недовольств со стороны Глаза не было. Да и мог ли он жаловаться? Со своей работой Крикуль справлялся безукоризненно. Каждое утро, в одно и то же время Крикуль отправлялся за слезами. Не успевал он проснуться, как из разных концов планеты то там, то тут раздавались знакомые позывные. Без перерыва и выходных, в разных странах и на разных континентах плакали дети, кто-то от голода, кто-то от боли или обиды, а кто-то просто от неправильного воспитания. Крикуль привык к этому, и ему не приходилось сидеть без дела. Воспитанник Короля Страха добросовестно выполнял свою работу, но она никогда не доставляла ему радости. Крикуль даже и не предполагал, что работа может быть удовольствием. Иногда вместо того, чтобы порадоваться хорошему «улову», когда ревела какая-нибудь капризная малышка, он даже выражал своё негодование.

— Кисонька, ну не плачь! Милая моя, хорошая! Мамина девочка! — уговаривала женщина дочку, которая наотрез отказывалась обедать. — Ну хорошо, не хочешь супчик, давай хоть ложечку кашки или творожка?

— А-а-а-а!!! Не-е-е!!! У-у-у!!! И-и-и!!! — билась в истерике кудрявая маленькая толстوشка, похожая на ангелочка. Она отталкивала руками тарелку так, что содержимое проливалось на стол.

— Ну как тебе не стыдно, — резонировал её Крикуль, аккуратно подставляя пробирочку, куда стекались тонкими ручейками девчонкины слёзы. — Мама тебя уговаривает уже битый час. Как тебе не стыдно?! Вот меня бы хоть кто-нибудь, хоть один бы разочек так ласково назвал: «Де-е-точка моя!» Как бы мне стало хорошо от этих слов!

— Дочечка моя, — продолжила мама девчонки, будто услышав подсказку Крикуля. — Нужно съест немножко чего-нибудь полезного, а потом я дам тебе много-много клубничного и шоколадного мороженого и конфет, сколько захочешь.

— Не-е-е-е!!! А-а-а!!! У-у-у... — не унималась маленькая крикунья. Она упала на пол и продолжала истошно орать.

— Прекрати немедленно, горлодёрка! — не на шутку сердился невидимый Крикуль. — Мама предлагает тебе настоящее мороженое! Я вот никогда даже не пробовал такого чуда, а она голосит, бесстыдница!

Напрасно он старался — ни девочка, ни её мама, казалось, не слышали его. Но самое главное, что Крикуля не слышал его Отец. Какие он тут притчи загибает! А если бы услышал? Не миновать тогда Крикулю наказания двенадцатью Страхами.

— Какая чёрная неблагодарность! — говорил Крикуль девчонке в самое ухо, но та без умолку верещала.

Мама вышла из кухни, девчонка осталась с Крикулем одна, и слёзы моментально высохли.

«Ну и ладно, — подумал Крикуль, затыкая склянку пробкой. — Хватит на сегодня! У меня от тебя, крикунья, голова разболелась».

Девчонка заворожённо смотрела на стол. Там сами собой исчезали один за другим разноцветные шарики мороженого, которые мама только что достала для неё из холодильника.

Страшное задание

Глава, в которой Крикуль узнаёт о силах добра

Работа по сбору и заморозке детских слёз не прекращалась ни на минуту. Крикуль прерывался только на время короткого сна, когда, окончательно обессилив, падал на кушетку и мгновенно проваливался в глубокий сон.

Сны у Крикуля были всегда очень тревожные, беспокойные. Даже во сне он занимался привычным делом и слышал непрекращающиеся детские крики. Особенно страшно было тогда, когда он по неосторожности проливал все собранные за день слёзы, и ему приходилось горько плакать самому, чтобы хоть частично восстановить потерю. Но иногда он видел во сне, как огромное горячее Яблоко-Солнце, плывущее по небу над Океаном, приближается к замку Короля Страха так близко, что от его раскалённого дыхания слёзы-кирпичики начинают таять, а нерасплавленные руины замка погружаются в воду, бесследно исчезая навеки. А он, Крикуль, остаётся на Земле и невидимкой бродит по городам и сёлам, пока не находит... наверное, маму. Во сне у него всегда возникало ощущение, что вот сейчас он найдёт того, кого искал всю жизнь, кому он так необходим и кто так необходим ему самому, они узнают друг друга, и произойдёт что-то очень важное... Но именно в этот момент он всегда просыпался. Этот сон повторялся с завидным постоянством. После пробуждения Крикуля охватывало горькое разочарование и ощущение невосполнимой потери.

Начинался новый день, но он был лишь продолжением старого. Крикуль-Музыкуль очень боялся отцовского гнева и старался, старался изо всех сил. Усилиями Крикуля-Музыкуля владения Короля достигли уже невиданных размеров, но Страх не мог умирить аппетит. Он был жаден, как все короли, и, как все короли, мечтал о безраздельном, вселенском господстве.

Наступил час, когда Страх потребовал от злого волшебника Крикуля-Музыкуля более решительных действий.

— Крикуль! Не трясись, как осиновый лист, и подойди ко мне ближе, — приказал Страх.

В огромной пустой зале, куда приказал явиться Крикулю его Отец, словно одинокая островерхая скала посреди океана, возвышался могучий трон. На этой отливающей серебром чёрной глыбе восседал властелин человеческих сердец. Голос Короля Страха троекратно умножало подобострастное Эхо. Крикуль-Музыкуль опустил глаза и безропотно повиновался.

— Сынок, — приторно — ласково и непривычно тихо продолжал Страх. Он впервые назвал Крикуля «сынком» и при этом невероятно напугал его. Крикуль догадывался, что всё это ни к чему хорошему не приведёт.

Много раз Крикуль-Музыкуль оставался со Страхом наедине, но никак не мог привыкнуть к жуткому оцепенению, которое охватывало в такие минуты всё его существо. Поразительно было и то, что с недавних пор во время разговора у Короля Страха стал меняться цвет лица. Сейчас оно, худое и измождённое, имело болезненно-землистый оттенок.

— Сынок, я так много сделал для тебя, — устало проговорил Страх. — Благодаря мне ты стал отличным магом и волшебником. Теперь тебе подвластны любые, самые чудовищные преступления. И совсем скоро тебе не нужно будет заниматься жалким ремеслом сборщика детских слёз. Они потекут к нам сами, и такими бурными реками, что собирать их в пробирочки будет незачем. Скоро, очень скоро наступит время, когда мы одни станем управлять этим жестоким и бессмысленным миром.

Лицо Страха багровело. Чёрный свет, льющийся из глаз Страха, пронизывал Крикуля насквозь. Крикуль слушал Отца, стараясь не смотреть на его перекошенное гневной гримасой лицо. Только однажды он видел, как выглядит Страх в момент раздражения. Ему не хотелось пережить это ещё раз.

— Ты должен помочь мне. Тебе уже двенадцать лет. Настала пора доказать, что ты благодарный мальчик и достойный Сын Короля Страха.

— Я согласен! — старательно выговорил Крикуль. Король Страх медленно поднялся и направился прямо к Крикулю.

— Ты говоришь неправильно! Не «я согласен», а «я счастлив»! «Я готов»! — голос Страха наливался свинцом, а лицо становилось мертвенно-бледным.

— Я готов! — постарался подхватить Крикуль, хотя его горло сдавило от страха.

— Ты слюняй, а не великий чародей. Ты не достоин моей похвалы. Ты всего-навсего мелкий пакостник, — Страх запищал, кривляясь и передразнивая неуверенного в себе Крикуля: — Только и можешь, что ушипнуть безмозглого младенца, подставить подножку сопливой девчонке или отобрать игрушку у зазевавшегося карапуза.

Король Страх, очень гордившийся своим актёрским талантом, разразился таким диким раскатистым хохотом, что Крикулю показалось: вот ещё немного, и его тонкие перепонки разорвёт в клочья. Резко, будто подавившись, Страх прекратил смеяться. Его пунцово-красное лицо начало бледнеть, и он по-змеиному зашипел:

— Каким ничтожным голосом ты разговариваешь со мной? Зло не может быть слабым, оно

должно быть могущественным. Абсолютным. Никогда нельзя сомневаться! Нужно действовать!

— Я готов! — сказал Крикуль настолько твёрдо, насколько у него хватило сил.

— Ну вот, уже лучше. Хватит пустой болтовни! Давай приступим к делу! Ничто на Земле не делается само собой — нужно действовать. И ставить перед собой нужно только большие, достойные властителей мира задачи! Ты, конечно же, знаешь, что у нас много врагов?!

Голова Крикуля склонилась в безмолвном поклоне.

— Нам часто приходится работать впустую, потому что у людей полно защитников. Всякие там ангелы-хранители, серафимы, херувимы, добрые феи и волшебники, всё это — Силы Добра. Понимаешь, силы. И значит, все они наши заклятые... «друзья». Они тоже стремятся к абсолютной власти и не сидят сложа руки, вернее крылья, ведь это в основном крылатое войско. Сколько бы мы не старались сделать людей несчастнее и, естественно, извлечь из этого собственную пользу, людям на выручку приходят небесные посланники. Их целые легионы, тысячи тысяч, их тьма. И хоть сила двенадцати Страхов огромна, мы не справляемся одни. Небесных посланников мы с братьями берём на себя. А ты, Крикуль, подойди сюда и смотри внимательно...

Крикуль осторожно поднял голову и увидел, что посреди зала, где они беседовали с Отцом, возник стол. С виду стол был похож на бильярдный, с такими же высокими бортиками. На его поверхности виднелся маленький сказочной красоты островок. Вокруг него плескалась изумрудно-лазорева, голубоватая, а местами тёмно-синяя вода. Когда Крикуль подошёл поближе, он смог отчётливо увидеть крошечные замки, расположенные в разных концах острова. Он стал всматриваться внимательнее и заметил, что игрушечных размеров макет населён какими-то еле заметными глазу существами.

Как только Страх, лицо которого теперь посинело, как у утопленника, сделал попытку наклониться над столом, остров, словно колпаком, закрылся прозрачной, слегка сияющей полусферой. Страх почему-то уже не мог преодолеть эту преграду. Сцена напоминала рассматривание музейной ценности, которую тщательно охраняют.

Страх зловещим шёпотом, будто его могли услышать под прозрачной покатою крышкой, продолжал:

— Видишь, что делается! Помни, они очень бдительны!

— Кто? — не удержался от вопроса поражённый Крикуль.

— Они. Наши враги, — Страх на мгновение вышел из своей роли вечно пугающего существа и с каким-то потайным страхом в голосе произнёс ещё тише:

— Это — Остров Детства. Он находится на противоположном конце Океана. Здесь живут, бр-р-р, добрые феи каждого месяца, — когда Страх произнёс слова «добрые феи», его передёрнуло от брезгливости.

— Вот ими-то тебе и придётся заняться, — позеленевший от злости Страх выпрямился и уже

привычно прогрохотал: — Сотрёшь их в порошок! Испепелишь! А ещё лучше, если организуешь землетрясение, Остров уйдёт под воду, и дело с концом! — и Страх дважды стряхнул с ладоней невидимую пыль.

— Феи каждого месяца? — задумчиво произнёс Крикуль. — Я никогда не слышал о них, и об Острове Детства тоже.

— Это не страшно, что не слышал. Страшно будет, если не справишься с заданием. Ты меня понял, лоботряс! — прогремел Страх.

— Понял! — по-военному отчеканил Крикуль.

— Тогда к делу! — Страх одним движением руки стёр изображение стола вместе с Островом и нервно заходил по залу. — Знай, Крикуль, эти феи очень опасны! Они постараются околдовать тебя своей добротой. Не верь им. Помни, феи каждого месяца берегут как зеницу ока двойников всех малышей мира. И если мы сможем погубить Остров Детства, то никогда больше эти мерзкие детишки не смогут радоваться праздникам, подаркам, а главное — заботе и ласке. Они сразу же превратятся в злых и жадных, вечно всем недовольных, постоянно плачущих стариков. О, я вижу, будут литься реки слёз! Ах, какие это будут полноводные реки! Ты, Крикуль, сможешь наслаждаться лёгкой добычей. Мы построим небывалых размеров замок. А Страх, Страх завладеет сердцами всего человечества. Я буду управлять людьми как безмозглыми, бездушными игрушками. Им уже не нужны будут духовные наставники и защитники. Некого и нечего будет защищать, — Король Страх разразился леденящим хохотом.

Остров детства

Глава, в которой Крикуль обретает крылья и новое лицо

Получив от Короля Страха подробные инструкции по уничтожению Острова Детства, Крикуль сидел в своей лаборатории и размышлял: «Идея, конечно, гениальная. Отец как всегда прав. Если можно так просто избавиться от лишних покровителей этих маленьких капризных ребятишек, то нужно сделать это немедленно. Сколько мне приходится попотеть, пока наберётся хотя бы небольшая бутылочка детских слёзок, этой солёной, бесцветной водицы!» Крикуль тяжело вздохнул и занялся сборами. Великан Глаз исчез без объяснений накануне последнего разговора Крикуля с Отцом, и Крикуль, оставшись в одиночестве, мог полностью сосредоточиться на подготовке к предстоящей операции. Нужно было всё хорошенько обдумать, а главное — подойти к делу творчески.

«Во-первых, усыпить бдительность волшебниц, которые, скорее всего, знают толк в притворстве. Во-вторых, вызвать жалость и сочувствие. Раз они добрые феи, то в этом и заключается их работа. И в-третьих... — подумал Крикуль и вдруг вспомнил очертания этого крохотного острова, который Отец показал час тому назад, — но почему я раньше ничего не слышал об Острове Детства?!» Надо сказать, что Крикуль получил очень хорошее образование и был усердным учеником. У такого папаша, как Король Страх, не забалуешь.

Разговор будет коротким: «Карцер!» А то и того хуже — мокрое место.

Но словосочетание «фея каждого месяца» показалось Крикулю совершенно незнакомым. Что это? Такое сложное имя или понятие? Он ничего не знал ни о каких месяцах... Вообще, тема «Время и летоисчисление» была им пропущена из-за болезни. У него даже справка имелась с подписью доктора и печатью: «Уроки пропущены по причине недомогания. Диагноз: инфлюэнция на почве ипохондрии». «Теперь, видимо, придётся брать дополнительные уроки, но не сейчас. Сейчас нужно торопиться».

Крикуль подошёл к полке с магическими книгами, взял изрядно потрёпанный том с надписью «Заклинания». Усевшись поудобнее на жёсткую кушетку, которая служила ему кроватью, он начал листать страницы с зашифрованными текстами.

«В кого бы превратиться? На Острове Детства он должен прилететь. Следовательно, превращаться нужно в птицу. Но в какую? В щегла? В зимородка? В сову? А может быть, в чайку? Нет! — чутьё ему подсказывало, что это всё не то. Его взгляд остановился на картинке с белоснежным аистом. — Вот! Нашёл! Как раз то, что нужно. Аист ведь не просто птица. Аист — птица символическая».

Он читал, как романтическим натурам внушают, что именно аист приносит будущим мамам их младенцев. И для Острова Детства, скорее всего, именно Аист станет желанным гостем.

Через мгновение в лаборатории по заморозке детских слёз, переминаясь с ноги на ногу, стоял Аист с подбитым крылом. Крикуль-Музыкуль решил окончательно разжалобить добрых хозяек Острова Детства своим несчастным видом. Осталось только хорошенько замаскировать волшебный взрывной порошок, от которого на Острове громыхнёт так, что Океан поднимется на дыбы до самого неба.

Ах, да! Он забыл надеть очки Короля Страха, которые Отец вручил ему для надёжности и контроля перед расставанием. Это были скромненькие кругленькие очки с маленькими чёрными стекляшками, какие обычно надевают слепые. Они лежали на столе, и мерцающий свет ночника отражался в стёклышках.

«Благодаря этим очкам Король Страх сможет наблюдать за происходящим на Острове, а Крикуль-Музыкуль будет видеть всё вокруг глазами своего Отца».

Волшебные Очки заворочались и заговорили немного приглушённым голосом Страха: «Про меня не забудь, Крикуль!»

Аист нацепил очки себе на нос. Теперь он не имел права снимать их до окончания операции. Спустя мгновение очки зашипели, будто смола на огне, и расплавились, намертво прилипнув к его глазам.

— Для верности, — зловеще пригрозил Страх. От внезапной нестерпимой боли Крикуль дико закричал и хотел было сдёрнуть очки, но не смог этого сделать. Глаза Крикуля-Аиста будто затянуло чёрной плёнкой. Резкая боль постепенно утихла, оставив лишь неприятное, постоянно напоминающее о себе жжение.

Крикуль ещё дома, в лаборатории, несколько раз мысленно представлял себе картину своего приземления на Острове Детства:

«Жители Острова замечают, как он летит с подбитым крылом. Здоровым крылом Аист заслоняет Солнце. Притворившись раненым и обесилевшим, он совершает вынужденную посадку. Жалостливые феи налетают на птицу с охами-вздохами и окружают его заботой и вниманием». В действительности всё произошло совершенно иначе. В момент, когда Крикуль подлетал к Острову, здесь, судя по всему, хозяйничала Ночь. Непроглядный мрак окутал Остров, и, если бы не тусклый свет, Остров бы затерялся в чёрных водах моря. Таким увидел его Крикуль сквозь Очки Короля Страх. Он дал им название покороче — путём сложения первых букв — Оксы. Коротко и понятно, и очень похоже на надоедливых ос, которых Оксы напоминали своим постоянным, назойливым жужжанием. Так вот, если бы не Оксы, то Крикуль несомненно изумился бы красоте дивного места, которое открылось его взору с высоты птичьего полёта.

Тусклое свечение было на самом деле зеленовато-фосфорическим сиянием. Это плотным многометровым кольцом окружили Остров ночесветки. И Ночь не была такой уж кромешно чёрной, как показалось Крикулю-Аисту, она была одета в бархатную фиолетовую тунику с длинным ажурным шлейфом, украшенным блёстками звёзд.

Приземлившись вслепую, Крикуль решил дожидаться утра. Он прислонился к какому-то тёплому шершавому камню и уснул.

Ему снился сон, в котором пышущее жаром Огненное Яблоко приближается к замку Короля Страх. Замок начинает таять. А потерявшийся Крикуль бродит по земле в поисках кого-то очень ему дорогого.

Крикуль как всегда проснулся с чувством обманутой надежды. Пробуждение его было достаточно резким, потому что камень, к которому он привалился, устраиваясь на ночлег, откатился в сторону, и Крикуль-Аист, потеряв опору, упал.

Камень закопошился, резко развернулся и превратился в загадочное существо с узкой мордой, длинным хвостом и чешуйчатым тельцем, отдалённо напоминавшим гигантскую оловую шишку. Шишка начала принимать форму, оглядываясь по сторонам и, заметив Крикуля, миролюбиво кивнула ему своей ушастой головкой.

Не успел Крикуль встать на свои аистинные ножки, как с ветки прямо перед ним опустилось волосатое чудовище, похожее на птицу. Птица щёлкнула длинным клювом, и Крикуль отчётливо услышал:

— Привет, Авиатор! Добро пожаловать на Остров Детства!

Если бы не Оксы, то чудовище увидело бы, как заморгал от удивления Крикуль-Аист.

— Это меня ты назвал Авиатором? — спросил Крикуль.

— Ну а кого же ещё? Здесь пока больше никого нет.

— А этот? — кивнул Крикуль в сторону ползающей неподалёку шишки.

— Это — Панголин, он здесь живёт. А ты, я вижу, новенький. Давай знакомиться. Я — Птеранодон. Хотел, было, полететь подкрепиться, смотрю, а тут ты. Как тебя зовут?

— Крикуль-Музыкаль, — опасливо озираясь, ответил Крикуль. — Странное для Аиста имя! — присвистнул Птеранодон. — А я назвал тебя Авиатором. Ну ты не обижайся, раз ты птица, то тебя можно так называть?!

Крикуль не успел возразить, как к ним слетелись, сбежались, лениво подошли, подползли, прискакали... сотни живых существ диковинного вида. Они шипели, трубили, пищали, голосили, повторяя друг за другом: «Новенький! Новенький! Новенький!»

Новость мигом облетела Остров: на территории питомника Мартины появился Аист со сломанным крылом.

Прошло совсем немного времени, и окружающая Крикуля толпа любопытствующих зверей вдруг расступилась, пропуская молодую женщину спортивного телосложения. На ней были высокие сапоги, и, вообще, всей своей экипировкой она напоминала наездницу, которая только что спешилась. Из-за Оксов её лицо показалось Крикулю весьма строгим, а взгляд неприветливым и колючим. Фея Мартина, а это была именно она, присела перед Аистом на корточки и приветливо произнесла:

— Ах ты мой бедняжка, кто это тебя так?! Не бойся, тебя здесь никто не обидит. Потерпи, сейчас придёт Сентябрина, она мигом тебя вылечит.

Мартина подняла правую руку, и на её ладонь тут же спустилась маленькая пёстрая птаха.

— Спасибо, Лори, ты как всегда вовремя, — поблагодарила Мартина. На глазах у всех краснотелый серо-зелёно-бирюзовый попугай Лори превратился в сотовый телефон. Мартина заговорила с кем-то на птичьем языке, да так быстро, что Крикуль не разобрал ни слова. Через мгновение Мартина договорилась, и чудо-телефон, встрепенувшись, снова взлетел к своему гнезду. Гнездо висело на ветке, как нагруженная наполовину авоська. Только сейчас Крикуль заметил, что Лори повис вниз головой, зацепившись ланкой за ветку, и внимательно наблюдает за происходящим.

Крикуль никак не ожидал увидеть на Острове такой густонаселённый оазис. Он, конечно, по долгу службы бывал в зоопарке. Например, когда однажды собирал слёзы у мальчишки, которого родители обидели до глубины души отказом купить сладкую вату, тогда как другие дети, пришедшие в зоопарк, уплетали её за милую душу. Но там тигры, львы и носороги сидели в клетках и облизывались, завидев то ли аппетитно пахнущую сладкую вату, то ли аппетитно выглядывших ребятишек. У Мартины никаких клеток не было и в помине. Крикуль обратил внимание на то, как мирно и дружелюбно вели себя непримиримые в природе враги: уссурийский тигр играл в кошки-мышки с маленьким пятнистым оленёнком, лирохвост разгуливал рядом с драконом Комодо, гигантской хищной ящерицей, похожей на большой кожаный чемодан. Прилежный, начитанный ученик — а Крикуль был именно таким — вскоре обнаружил мирно гуляющих зверей, давно

вымерших на Земле: жирафоподобного верблюда Альтикамелюса и устрашающего вида Стегозавра, да и Птеранодон, который назвал Крикуля Авиатором, признаться, был из той же компании.

Мартина погладила Аиста по голове. Прикосновение было таким нежным и жалостливым, что Крикуль забыл про жжение в глазах, а его сердце, казалось, превратилось в миллиарды невесомых пушинок, подхваченных ветром, как зонтики одуванчика.

— Началось! — зажужжали Оксы. — Король Страх с тобой, Крикуль, не расслабляйся! Берегись! Феи очень опасны, своей нежностью они хотят усыпить твою бдительность.

Крикуль прислушался к предостережениям и отшатнулся от руки Мартины.

— Ой, тебе неприятно! Извини, милый, я больше не буду, — виновато произнесла Мартина и тут же радостно воскликнула: — А вот и Сентябрина! Как кстати! Здравствуй, сестричка! Посмотри на этого красавчика!

Крикуль увидел приближающуюся докторшу. К ним стремительно неслась свирепого вида демоница в сером балахоне. Глаза её излучали садистскую радость изувера, добыча которого была так близка.

«Сейчас станет делать уколы», — подумал Крикуль и вспомнил, как собирал слёзы у безумно напуганных, оравших во всё горло маленьких пациентов одной больницы. Но Сентябрина сделала вид, что Крикуль-Аист её вообще не интересует. Поздоровавшись с Мартиной, она неожиданно спросила:

— Дорогая, ты зарядку сегодня делала? Прямым вопросом требовал такого же прямого ответа, но Мартина начала уклончиво говорить о том, что со зверушками столько забот, что за день она наматывает такое количество километров, что про зарядку некогда и подумать. — Зря, дорогая! — весело, но напористо продолжала докторша. — Зарядка ещё никому не повредила! Повторяйте за мной: «В здоровом теле — здоровый дух!»

Но, кроме Крикуля, повторять было некому. Они с Сентябриной остались в гордом одиночестве. Даже гостеприимная Мартина почему-то незаметно испарилась.

Крикулю показалось, что докторша понимающе улыбнулась.

— Никто не любит наставлений! Привет, Крикуль! Что случилось с нашим крылышком? — легко и беззаботно произнесла Сентябрина и так же, как Мартина, присела перед ним на корточки.

— А откуда ты знаешь, как меня зовут? — удивился Крикуль.

— Во-первых, не «ты», а «вы», я всё-таки старше тебя, дорогуша, лет на четыреста, как минимум, — напористо произнесла Сентябрина, внимательно рассматривая Аиста.

Тема «Летоисчисление» была пропущена Крикулем по уважительной причине, и поэтому он чисто интуитивно понял, что «четыреста» просто означает, что она старше.

— А во-вторых, — продолжала Сентябрина, — разве ты не называл своего имени Птеранодону?

— Называл, но... — Крикуль не успел ничего сообразить, как Сентябрина со словами: «А это

что у тебя за гадость?» — легко и абсолютно безболезненно сорвала с него Оксы, словно грязную повязку.

— Какие у нас чудные голубые глазки, никогда больше не надевай эту мерзость!

Оксы зашипели и стали по-змеиному извиваться в руках Сентябрины. Она отбросила их прочь и продолжила осмотр.

Горячий яркий свет на мгновение ослепил Крикуля. Всё, что его окружало, сказочно преобразилось. Тропический лес потряс злого волшебника своей необыкновенной, невиданной пышностью красок. Такого количества оттенков зелёного он не мог себе представить, даже если бы захотел. Перед ним сидело милейшее создание в кипенно-белом халатике. Волосы Сентябрины, которые показались Крикулю грязно-пепельными, оказались золотисто-медовыми, уложенными в аккуратную причёску. Украшавшая их заколка очень напоминала обыкновенный термометр. Ослепительно-яркий мир поразил Крикуля настолько, что он забыл проследить за Оксами, которые благоразумно уползли в кусты, пока их не раздавил какой-нибудь мамонт. Ведь для Мартины мамонты были не музейными экспонатами, а любимыми беззащитными питомцами. И Оксы уже успели это понять.

— Знаешь, Крикуль, я думаю, что тебе придётся перебраться ко мне в замок, там и продолжим наше лечение, — прервала внутренний восторг Крикуля Сентябрина. — Это совсем недалеко, но всё же лучше побережь повреждённое крыло. Давай попросим твоего знакомого Птеранодона немного поработать извозчиком не в службу, а в дружбу.

— Какой разговор? Авиатор Авиатору разве может отказать в услуге?! — заявил неуклюжий Птеранодон. Тяжело передвигаясь на коротеньких ножках, он вразвалочку подошёл к новенькому и подставил Аисту спину. Крикуль хотел было отказаться, но Сентябрина настаивала, и ему поневоле пришлось повиноваться.

Спина Птеранодона оказалась достаточно узкой. Тело этого доисторического летающего ящера было удивительно маленьким, а мощные и длинные крылья были вчетверо длиннее крыльев Аиста. Костяной гребень на затылке напоминал рыбий плавник, именно он оказался своеобразным штурвалом. Поворачивая голову, Птеранодон менял траекторию своего медленного полёта. Крикуль удивился и тому, что ящер совсем не размахивал крыльями. Они будто зависли в воздухе и плавно парили над Островом, который Крикуль впервые смог рассмотреть с высоты птичьего полёта.

Крикуль вспомнил макет Острова Детства, который показывал ему Отец, и поразился их сходству и различию одновременно. Крутом было столько света: жемчужно-голубое небо без единого облачка, море цвета лазури, да и сам Остров с двенадцатью замками, остроконечные башенки которых были сделаны будто бы из мокрого песка, инкрустированного разноцветным бисером, сверху смотрелся просто сказочно. Вокруг Острова вилась широкая бурая лента. Ночью она почему-то светилась.

— Что это? — спросил Крикуль.

— Это ночесветки. Здесь их тьма тьмуцая. Днём они буро-красные, а ночью горят огоньками. С виду напоминают крошечные солнца. Каждая ночесветка размером с миллиметр не больше, представляешь?! Такие малюсенькие, а уже хищники! — ответил Птеранодон, не поворачивая головы.

Кстати, о хищниках! Спихватившись, Крикуль мгновенно вспомнил о своём задании: «Как это я, действительно, расслабился?!» Крикуль нащупал спрятанный под искалеченным крылом мешочек с порошком-взрывчаткой и подумал, что Сентябрина, которая примется сейчас за лечение, скорее всего, не сможет не заметить его: «А Оксы? Ах, про них я тоже совсем забыл. Остались лежать в заповеднике Мартины». Голова шла кругом. Проблемы требовали незамедлительного решения!

Сентябрина

Глава, в которой Крикуль получает официальное приглашение в гости

Когда Птеранодон с Крикулем благополучно приземлились возле замка Сентябрины, хозяйка была уже на месте. Она махнула им с крыльца, чтобы заходили, и скрылась в доме.

— Знаешь, друг, я, пожалуй, полечу обратно, — опустив глаза к земле, стеснительно промямлил Птеранодон. — Давай выздоравливай и навести нас, когда поправишься. Обещаешь?

Крикуля никто никогда не называл «другом», и он просто не знал значения этого слова. Но выяснять почему-то побоялся. Он понимал, что здесь нужно следить за каждым словом и хорошенько взвешивать каждый поступок. Поэтому тихое «Ладно!» — это было всё, что он смог из себя выдать.

Грузный Птеранодон тяжело разбежался и через минуту уже парил в небе.

Крикуль перепрыгал пакетик со взрывчаткой. Самым надёжным местом хранения ему показался собственный клюв. Конечно, Сентябрина могла попросить его открыть рот, но Крикуль собирался разыграть из себя упрямяца, да и другого выбора у него пока не было.

«Буду ориентироваться на месте», — Крикуль пытался приободриться, но волнение завладело его сердцем и за-холодило изнутри. По аккуратной дорожке, заботливо посыпанной жёлтым песочком, Крикуль направился к замку Сентябрины. За ним осторожно извивалась чёрная полоска, похожая на змею.

Замок, куда вошёл Крикуль, сиял чистотой и свежестью. Пахло какими-то сладкими пилюлями, душистыми травами, ароматными благовониями. В стеклянных витринах красовались многочисленные скляночки, красочно оформленные бутылочки с микстурами, коробочки с витаминами. Всё это напомнило Крикулю его лабораторию по обработке собранных детских слёз. Только его лаборатория была местом достаточно мрачным. Сейчас Крикуль поймал себя на мысли, что с той самой минуты, как он попал на Остров Детства, он перестал слышать детский плач. Раньше это было его естественным состоянием, а тут...

— А вот и я, — Сентябрина несла перед собой миниатюрный подносик, на котором лежали какие-то медикаменты, как показалось Крикулю. Но когда Сентябрина подошла ближе, он увидел три вазочки с разноцветными шариками мороженого разных сортов.

— А где же наш застенчивый друг? Ох, Птеранодон, как это на него похоже. Улетел по-английски, даже не попрощавшись. Ну ладно. Сейчас начнём лечиться. Моё любимое фисташковое, а ты какое любишь? Выбирай! Есть клубничное с киви, банановое с шоколадным.

Крикуль молчал. Он не мог говорить, ведь в его клюве лежал пакет со взрывчаткой. Положение становилось безвыходным.

Сентябрина внимательно посмотрела на Крикуля.

— Что, очень болит крылышко, не до мороженого, да?! Она вынула из причёски заколку в виде термометра и взмахнула ею прямо перед носом притворщика. Крикуль почувствовал себя абсолютно здоровым. Сентябрина буквально на секундочку отвернулась к зеркалу, чтобы поправить причёску. Но этого было достаточно, чтобы Крикуль перепрыгал пакетик на прежнее место, под крыло, и принялся уплетать один за другим замороженные шарики, которые буквально таяли во рту.

— Крикуль, — укоризненно произнесла Сентябрина, — твои родители что, абсолютно не занимались твоим воспитанием?

— А что такое родители? — особо не вдаваясь в детали, поспешно спросил Крикуль. От его намерения дёргать ухо остро не осталось и следа.

Сентябрина присела рядом с яростным пожирателем мороженого и тихо попросила:

— Ты не мог бы рассказать мне свою историю?

— Какую историю? — немного помедлив, настожил Крикуль. От россыпи лакомых шариков остался только один, и тот уже слегка растаял, так что клювом его есть было невозможно.

— Историей о том, как ты попал на Остров Детства. Кто и почему сломал тебе крыло?

У Крикуля была заготовлена версия его появления на Острове. Он без запинки, горестно вздыхая и даже выдавив из себя слезу, начал рассказывать печальную историю. Как белые аисты чуть не заклевали его до смерти только лишь из-за того, что он во время драки с соседским мальчишкой сломал себе крыло и не мог бы перенести длительного перелёта в тёплые края, куда стая отправлялась на зимовку.

Сентябрина сочувственно вздохнула и тут же любезно предложила Крикулю остаться на Острове, тем более что у него здесь уже появился друг Птеранодон, да и все феи Острова будут очень рады ему. И ещё потому, что скоро, совсем скоро, буквально через неделю, состоится знаменитый новогодний бал, в котором Аист сможет принять самое активное участие.

— А кем я буду на этом балу? — поинтересовался Крикуль, который имел очень туманное представление о балах.

— Как кем? Аистом! Весь Остров готовится к балу, — Сентябрина подскочила и закурилась по холлу. В такт музыке, зазвучавшей откуда-то

сверху, она выделяла такие сложные танцевальные движения, что у Крикуля, пристально наблюдавшего за ней, закружилась голова.

— Пам, па-па-па, па-па-пам, па-па! Нам, па-па-па, па-па-пам, па-па... — нежным голосом весело подпевала Сентябрина, порхая, словно прекрасная бабочка. Её белоснежный халатик теперь больше походил на прозрачную тунику с нежно-голубыми крылышками.

Внезапно в ушах у Крикуля засвистело, и чёрная лента, взметнувшаяся к лицу, обвилась вокруг глаз. «Оксы!» — только и успел подумать Крикуль, падая на пол.

— Предатель! — Оксы душили его.

Король Страх содрогался в конвульсиях гнева, изрыгая пламя прямо в лицо Крикулю. Рука больно хлестала по щекам. Глаз с ненавистью и презрением смотрел на него. Крикуль, невероятно быстро очутившийся в своей лаборатории, понял, что это конец. Он не справился с заданием и понесёт заслуженное наказание.

— Предатель! — грохотал Король Страх. — Ты не достоин снисхождения.

— Предатель! — Рука, красная от негодования, зависла над ним, готовясь нанести сокрушительный удар.

— Предатель! — безмолвно испепелял его чудовищный Глаз.

— Предатель! — шипели Оксы, неумолимо сжимая горло.

— Крикуль-Музыкуль, рождённый обычной женщиной, воспитанный Королём Страхом, жалкий собиратель детских слёз, волшебник-недоучка, не совершивший в своей жизни ни одного стоящего поступка, ты больше никогда, никогда не увидишь Огненного Яблока и никогда не съешь ни одной порции мороженого!

— Умри, предатель! — свистнули на прощанье Оксы.

Крикуль открыл глаза и понял, что это был всего-навсего кошмарный сон. Весь в холодном поту, он лежал на мягком пушистом ковре в одной из уютных комнат замка феи Сентябрины. Крикуль попытался отыскать у себя под крылом смертоносный мешочек, но тот исчез. Крикуль мгновенно подскочил. Его тонкие, слабые ножки готовы были подкоситься снова, и даже не столько от физического недомогания, сколько от осознания безысходности положения.

«Ужас! Ужас! Что же делать? Предатель! Растяпа! Нет мне пощады! Разнежился, мороженого никогда не ел, безмозглый кретин, паразит!» — начал мысленно казнить себя Крикуль. Крикуль вспоминал бранные слова, которыми когда-то «потчевала» его нянька.

— Ты уже очнулся, бедняжка?! — Сентябрина вошла в комнату. — Я разожгу камин. Ты очень впечатлительный ребёнок, Крикуль. Разве можно так волноваться?!

Крикуль испугался, что он, возможно, потерял свой птичий облик. И вскинул перед собой крыло. Нет, всё тот же маскарад, он по прежнему Аист.

Сентябрина захлопотала возле камина, и тут Крикуль увидел, как из противоположного угла на него в упор глядят два мерцающих уголька.

Присмотревшись, он перестал сомневаться. Это были Оксы. Очки Короля Страх теперь больше походили на очковую кобру. На её капшоне незамысловатым иероглифом выделялся хорошо узнаваемый символ. Вполне возможно, что всё происшедшее с ним мгновение назад не было сном.

— Чувствуй себя как дома! — нежно произнесла Сентябрина, не ведая, что в этих её словах для Крикуля не было ни капли радости. — Иди сюда, Крикуль, я покажу тебе, как разжечь камин.

Крикуль подошёл с твёрдым намерением спросить фею, не видела ли она его пакетик. Но ему не пришлось этого делать — Крикуль неожиданно обнаружил пропажу. Крошечный свёрток с порошком, несущим грохочущую смерть, лежал прямо перед его носом, на каминной полке. «Сейчас Сентябрина зажжёт камин. И Крикуль вместе с ней, вместе со всеми остальными феями, вместе с Птеранодоном, который почему-то называл его другом, вместе с попугаем Лори, который умеет превращаться в телефон, вместе с маленькими солнышками — ночесветками, которые хоть и хищники, но ничего не знают о скорой, неминуемой гибели, вместе с Оксами, которые сейчас притаились за шкафом...» — Крикуль взглянул туда, где только что горели злющие змеиные глазищи. Они исчезли.

— Может быть, спасаются бегством, предвидя дальнейший поворот событий?!

«Крикуль! — закричал внутренний голос. — Сейчас только от тебя зависит судьба Острова Детства и твоя собственная. Останови фею!»

«Но тогда я предаю Отца, — мысленно ответил Крикуль своему внутреннему голосу. — Ведь Отец именно за этим посылал меня на Остров Детства. Отец лучше знает, кому нужно исчезнуть с лица земли, а кому остаться» «Ну, конечно, как я забыл? Ведь твой Отец — Страх Смерти», — не унимался внутренний голос.

«Почему Страх Смерти?» — продолжал Крикуль. «Ну ты всё-таки непроходимый тупица! — заключил внутренний голос. — Чёрт с тобой, недоучка, прощай!»

Внезапная догадка, что и сам он послан Отцом на смерть, отрезвила Крикуля, и ему расхотелось умирать. Он должен подумать над этим неожиданным открытием. Но есть ли у него для этого время? Сентябрина почему-то не спешила зажигать камин. Они замерли, и казалось, что время на секунду замедлило свой ход.

Крикуль неожиданно для самого себя с вызовом выпалил:

— Чего же мы ждём?

— Сейчас-сейчас, — откликнулась загадочно улыбающаяся Сентябрина. — У меня для тебя сюрприз!

— А, у тебя тоже? — обречённо буркнул себе под нос Крикуль.

Вдруг где-то в глубине камина послышался странный звук. Даже Крикуль, с его необыкновенным слухом, не мог сразу распознать, что это может быть: то ли шум приближающегося поезда, то ли ледяная глыба с грохотом скатывается вниз по водосточной трубе.

Хорошо, что Крикуль с Сентябриной стояли довольно далеко от камина, а не то их запросто

сбил бы с ног вырвавшийся наружу смерч. Широкая серебристая лента с громким шелестом заметалась по комнате, пока не рассыпалась блестящими искрами. Крикуль растерянно заморгал, и ему наконец-то удалось рассмотреть чудо, сверкавшее полупрозрачными перламутровыми крыльшками. Это были крупные стрекозы. Они приземлились в разных местах комнаты и, казалось, переводили дыхание после стремительно-головкружительного полёта.

— А вот и визитки моих сестёр, — засмеялась Сентябрьрина. — Они все приглашают тебя в гости. Одна из стрекоз-визиток уселась прямо на каминную полку, и Крикуль прочитал на её изумрудной спинке каллиграфически выведенное слово «Январина».

«Крикуль впервые в жизни пойдёт в гости! В гости! Всюду, где раньше бывал Крикуль, его специально никто не ждал. Он просто делал свою работу, появляясь то там, то тут. Сейчас он впервые в жизни пойдёт в гости по приглашению».

Сентябрьрина решила вкратце рассказать Крикулю об Острове Детства:

— Во всём, Крикуль, должен быть порядок, так решили когда-то мудрецы. День сменяет ночь, дни складываются в недели, недели в месяцы, месяцы в годы. Красиво! Сентябрьрина теперь была очень похожа на настоящую учительницу. Она отодвинула портьеру с окна, и Крикуль увидел необычный предмет.

— Это календарь, — сказала Сентябрьрина.

Окно оказалось школьной доской, на которой расположились 12 экранов. За каждым из них происходила своя история. Где-то шёл дождь, а где-то ярко светило солнце. За одним из экранов, по виду напоминавшим иллюминатор корабля, — плескалось море, а за соседним, — с тоскливым завыванием хозяйничала метель.

Сентябрьрина увлечённо рассказывала:

— Здесь отображены четыре времени года — зима, весна, лето и осень. В году двенадцать месяцев, и у каждого месяца своё имя. На Острове Детства живут феи каждого месяца, а значит, их имена очень похожи на названия этих месяцев. Фея старшего зимнего месяца января — Январина.

Сентябрьрина подняла с пола обронённое Крикулем пёрышко и указала на заснеженный экран. Виртуозно исполненный на стекле узор был таким плотным, что Крикуль не успел хорошенько рассмотреть, что же скрывалось за ажурным рисунком.

Сентябрьрина продолжала, не останавливаясь:

— Февралина — тёзка февраля, — показала она на следующий экран. Чудесная картинка заснеженного леса сменилась на живописное изображение залитого сверху шоколадом мармеладно-зефириного или вафельно-леденцо-вого сооружения.

По долгу службы Крикуль бывал в кондитерских, где дети, порой просто захлёбываясь от слёз, клянчили у родителей всякие лакомства, самого фантастического вида и умопомрачительной стоимости. Ему показалось, что замок Февралины похож скорее на произведение кулинарного искусства.

Сентябрьрина тем временем продолжала свой комментарий:

— Март — побратим Мартины.

Крикуль увидел как на экране, куда указала пёрышком Сентябрьрина, картинка с изображением природы сменилась на уже виденный им на Острове Детства пейзаж и саму Мартину, которая приветливо помахала ему рукой. Крикуль не успел отреагировать.

Сентябрьрина, словно горный ручей, журчала без остановки:

— Апрель — близкий родственник Апрелины. Майя — весёлая сестрица весеннего мая.

Перо стремительно перелетало от одного экрана к другому.

— Июнь по завещанию передал своё имя Июнине. Июлина — близкая подруга знойного июля. Августина с гордостью носит имя царственного Августа.

Сентябрьрина вдруг сделала небольшую паузу, грациозно присела в книксене и произнесла:

— Сентябрьрина — ваша покорная слуга, покровительница всех детей, родившихся в сентябре.

«Может быть, я тоже родился в сентябре?» — задрожало от волнения сердце Крикуля. Но Сентябрьрина увлечённо продолжала свой урок.

— Моя сестра Октябрьрина была названа в честь октября. Ноябрь любезно поделился своим именем с Ноябрьриной. А Декабрьрина — наша старшая и самая великая из сестёр, — Сентябрьрина горделиво вскинула голову и с почтением в голосе произнесла: — Фея самого щедрого на праздники месяца — декабря. Когда ты познакомишься с ней, то сам поймёшь, почему на Острове Детства именно Декабрьрину почитают самой великой!

Экран закрылся, урок закончился, и Крикулю предстояло выбирать, к кому из обитательниц острова он отправится в первую очередь.

Всё это было чрезвычайно интересным. От намерений злого волшебника снова не осталось и следа.

«Может быть, я не такой уж и злой волшебник, как говорит мой Отец, Король Страх», — засомневался в себе Крикуль и искоса взглянул на шкаф, за которым прятались Оксы в облике очковой змеи. Но ни змеи, ни Очков Короля Страх он не заметил. Порошок лежал без присмотра, так как Сентябрьрина наблюдала за полётом стрекозы-визитки, и Крикуль незаметно снова засунул пакетик себе под крыло.

Стрекоза, немного покружив над Крикулем, приземлилась прямо на крыло-тайник. На стрекозьей спинке Крикуль прочёл имя феи, жившей по соседству с Сентябрьриной: «Октябрьрина» — посверкивала вензелями надпись.

— Октябрьрина с Августиной живут совсем близко. Если хочешь, — Сентябрьрина заглянула в глаза несколько растерянного Аиста, — можешь начать свои визиты именно с них, а впрочем, выбор за тобой, Крикуль. Надеюсь, тебе везде будет полезно побывать. У каждой моей сестры отменный вкус, свои секретки. С ними не соскучишься. Так что решай сам. А 31 декабря мы с тобой обязательно встретимся на балу у Декабрьрины. Ты придёшь?

— Постараюсь!

Крикуль твёрдо решил повременить с выполнением задания Отца. Что-то ему подсказывало: время для операции ещё не пришло. Ведь он не выяснил ещё самого главного: как проникнуть в подвалы волшебниц, где они выращивают тюльпаны с двойниками детей.

У самого выхода из замка Сентябрина окликнула Крикуля-Аиста.

— Ой, я совсем забыла! Какая непростительная оплошность с моей стороны! Тебя сможет сейчас принять любая из сестёр, кроме Декабрины. Она дежурит в оранжерее. И с ней ты познакомишься только 31 декабря, хорошо?

Вслед за Крикулем увязался целый эскорт стрекоз-визиток. Теперь, когда он остановился, стрекозы зависли над ним стрекочущим облачком.

«Вот ещё незадача, только избавился от Оксов, а тут эти шпионки-стрекозы», — подумал злоумышленник, недовольный перспективой иметь соглядатаев.

— А эти тоже со мной? — спросил Сентябрину Крикуль, покосившись на отряд планеристок.

Одна из стрекоз бесцеремонно уселась на макушку путешественника, и он стал похож на доволку с бантиком. Сентябрина засмеялась:

— Визитки могут лететь к хозяйкам, если ты их отпускаешь. Они просто хотели показать тебе дорогу. Не боишься заблудиться?

— Нет, я хочу сам! — по-мальчишески упрямо пробубнил Крикуль.

— Отлично! До свидания, мой мальчик! Сентябрина возвращалась домой, и стрекозы послушно последовали за ней. Одна только визитка-хулиганка, та самая, что примостилась у Крикуля на голове, некоторое время ещё оставалась на месте. Сентябрина обернулась, пристально посмотрела на своевольницу, и той ничего не оставалось, как присоединиться к подружкам.

Приключения начинаются

Глава, в которой Крикуль начинает сомневаться в том, что он злой волшебник

В этот по-летнему тёплый день Крикуль совсем разнежился. Наконец-то он остался в одиночестве и сможет всё хорошенько обдумать.

Крикуль-Аист шёл по лесной тропинке, которая — как гласил скромный указатель — должна была привести его к замку Октябрины. Если бы Крикуль не спешил уединиться, то заметил бы, что указателем служил флюгер, который от малейшего дуновения ветерка крутился в разные стороны.

Сказочный лес феи Сентябрины стоял степной по обе стороны дорожки. Лес пленял своей красотой, покоем и умиротворением. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь кроны могучих деревьев, золотой паутиной соединяли землю с небом. Крикуль не был знатоком лесного мира, иначе он очень удивился бы, как запросто здесь уживались самые разные растения. Статные веерные пальмы-южанки соседствовали с северными карликовыми берёзками, скрюченными, словно столетние старушки. Седовласые тополя, покачивавшие своей пышной гривой, перешёптывались с горделивыми, осанистыми кипарисами. Крикуль слышал, как каждый из них пытается

рассказать свою легенду. Но из-за нетерпеливости собеседника и тот, и другой всё время перебывали друг друга.

— А я... а мне... а у меня, — слышалось отовсюду. Бразильская гевея, вяза, каштаны, лавры и магнолии — все вели между собой непринуждённую светскую беседу, оливы объяснялись в любви мирту.

Спешащий Крикуль решил не останавливаться и не прислушиваться к разговорам деревьев, но не сдержал данного самому себе слова, так как стал свидетелем яростного спора.

— Ара, думай, что говоришь! — по-восточному страстно возмущался могучий древний Платан. — Какой может быть сравнений?! Я — Платан! Мой крона защитит сразу тысяча путник от жара и солнца. Кров да, отдых да! Живи — нэ хачу. Что ему харощэва может дэлат Гинкго? — Зацем спорить, Пратана-сан, я — самы древний из деревьев, — не унимался изящный японец. — Я оцень увазап вас род, но мой род — самы древний. Я зыл исе зоо миррион рет тамю назад. Я — зывой ископаемы. Мой семена — рецебный средство! А немецкий поэта Йикан Гета-сан написара борисой поэма цесть верикий Гинкго.

— Слуций, Гинкго! — кипятился Платан. — Харашо! Харашо! Хатэл бы я паслушит этот паэма. Пра што там писал твой паэт? Пра твой мерзкаая запах писал? Нэвазможна, слуций, стоят рядом, так воняешь, ара искапаемая!

— Пратана-сан, на востоке говорят: в споре двух первым уморкай тот, кто умней. Я — мудрый Гинкго, уморкай первым.

— Чтоб ты протух, нэнавистный болтун! — не унимался Платан. — Сравнил, ара, чинару с веером.

Эта сцена почему-то очень развеселила Крикуля. Идиллическая картина Острова Детства, где царит лишь приторное и притворно-показушное миролюбие, о котором его предупреждал Отец, теперь казалась ему постепенно исчезающим миражом.

Привычное для Крикуля внутреннее напряжение незаметно исчезло, и он мог наслаждаться птичьим пением, стрекотанием цикад, шуршанием в траве маленьких невидимых существ. Незаметно для самого себя Крикуль засмотрелся на малюсенького муравья, который прямо под его ногами старательно и самоотверженно тащил непосильную ношу — гигантскую высохшую, словно мумия, муху-слепня.

Она была в несколько раз крупнее самого носильщика, но настоящий силач-муравей, отдуваясь и делая короткие остановки, упорно волок её к муравейнику.

Крикуль впервые в жизни наблюдал за насекомыми. Он никогда не мог предположить, что это может быть настолько увлекательным занятием. И жизнь их, по сути, ничем не отличалась от жизни других существ. И от его собственной.

Муравей остановился. Наверное, решил немного передохнуть. Но тут Крикуль заметил ещё одного муравья. Это был муравей-пастух, охранявший целое стадо муравьиных коров. Тли неторопливо передвигались и потряхивали своими колокольчиками. Крикуль слышал их нежный

серебристый перезвон. Крикулю, с его исключительным слухом, не нужно было особенно прислушиваться. Настоящий звон настоящих колокольчиков, хотя саму тлю трудно различить в траве.

Пастух-муравей обменялся коротким приветствием с тяжеловозом:

— А, Мураш, привет! Ничего себе туша! Дотащишь?

— А как же! Не впервой!

— Хороший денёк! Жарковато только. Молочка хочешь?

— Да нет, поташу на сухую.

— Ну смотри, а то угощаю!

Мирную беседу прервало воинственное гиканье целой ватаги клопов, налетевших неизвестно откуда. Крикуль отметил про себя, что если бы не помощь Мураша, пастуху ни за что не удалось бы отбить яростную атаку хищников. Перепуганные муравьиные коровки сбились в кучу и в ужасе озирались по сторонам.

— Да-а-а, если бы не ты, Мураш, мне пришлось бы туго. Потерял бы половину стада, как пить дать, — проговорил муравей-пастух. — Спасибо, выручил!

— Да ладно, не стоит благодарности. Бывай! Гляди тут в оба, не расслабляйся. Может, нашим крикнуть, чтоб подмогу прислали?

— И то дело говоришь! Эти ведь не уймутся. Передай старшему по муравейнику, пусть там поторопятся с охраной.

Муравей подцепил свой нелёгкий груз и продолжил путь. Но ему не суждено было быстро добраться до места назначения. Протащившись совсем немного, он вновь был вынужден остановиться. На этот раз ему преградили путь вступившие в поединок жуки-олени. Бодание, видимо, началось уже давно. Намертво сцепившись рогами, брон-зовоголовые жуки переминались на месте, при этом было видно, что они уже изрядно утомились. Но никто из дуэлянтов не собирался сдаваться. Они продолжали неистово клать железными челюстями и бряцать доспехами — неподалёку от них находилась прекрасная дама, за обладание сердцем которой сражались эти бесстрашные рыцари. Засмотревшийся на поединок муравей-тягач, спохватившись, снова заторопился в дорогу.

Крикуль поймал себя на мысли, что вот этот муравей, эта малюсенькая, живая крохотулечка, беспомощная ерундовинка, сейчас полностью зависит от него — такого огромного великана, который одним прикосновением может оборвать его муравьиную жизнь. Жизнь, наполненную таким трудолюбием, бесстрашием, любопытством — особым смыслом. И как много сейчас зависит от его, Крикуля, воли. А ведь и его жизнь находится во власти какого-то более сильного существа, от желания и настроения которого зависит, жить ему или нет. И сам он желает всем сердцем, чтобы сила, от которой зависит его собственная жизнь, была доброй и пощадила его. Крикулю почему-то стало радостно оттого, что он нисколько не желает зла этому маленькому беззащитному муравью, так храбро и упорно идущему к своей цели. Пусть живёт. У него столько важных дел.

Тем временем муравей, суетно перебирая ножками, побряхтывая под тяжестью ноши, снова столкнулся с препятствием. Это была настоящая дымовая завеса. Жук-бомбардир, отстреливаясь от какого-то невидимого врага, выбрасывал из брюшка едкую жидкость. Жидкость с треском взрывалась в воздухе. И от этой настоящей канонады у Крикуля заложило уши. Кто же так напугал артиллериста? Аист заметил, как в кустах мелькнула знакомая чёрная ленточка.

Он ни на минуту не сомневался, что это Оксы неотступно следят за ним. В этом лесу, пронизанном солнечными лучами, напоенном ароматами листьев, наполненном собственной таинственной жизнью, ему не хотелось встречаться с силами зла. И Крикуль, так и не узнав, чем закончились приключения Мураша, поспешил навстречу собственным приключениям.

До замка Октябрины было рукой подать. Преследования Крикуль пока не обнаружил, и к нему постепенно вернулось ощущение лёгкости и спокойствия.

«Если и суждено мне погибнуть, то не сейчас», — успокоил сам себя Крикуль.



Капуцин

Глава, в которой Крикуль пытается найти ответ на вопрос: «Что такое друг?»

Атмосферу безмятежности нарушил резкий звук внезапно загромыхавшего динамика. Его сменил протяжный гул микрофона. От неожиданности Крикуль всплеснул крыльями и присел. На весь лес раздался звонкий голос затараторившего бодрячка-комментатора:

— Мы начинаем наш прямой радиорепортаж из леса феи Сентябрины. По лесной дорожке по направлению к фее Октябрине бодрым шагом идёт

герой сегодняшнего дня, почётный гость Острова Детства, господин Аист.

Крикуль увидел прямо перед собой удобно устроившуюся на ветке бутылочного дерева чёрную обезьяну. В одной руке она держала микрофон, в другой флакончик с одеколоном, из которого она непрерывно поливала себя благоухающей жидкостью. Это не мешало ей произносить скороговоркой, видимо, заранее заготовленные тексты.

— Буквально через несколько мгновений вы услышите в нашем прямом эфире ответы Аиста по имени Крикуль-Музыкуль на вопросы вашего собственного корреспондента. Надеюсь, мне не нужно специально представлять всеми вами любимого, бесподобно остроумного балагура, вашего неподражаемого меня.

Обезьяна лихо зацепилась хвостом за ветку, и её мордочка тут же оказалась прямо возле глаз Крикуля. Микрофон уткнулся в самый клюв Крикуля. Но Крикуль молчал.

— Приветствую тебя, птица-символ! Какое счастье видеть тебя рядом! — трещал собственный корреспондент, непринуждённо раскачиваясь. — Надеюсь, Остров Детства потряс тебя своей красотой и гостеприимством? — Обезьяна громко прошептала: — Говори сюда!

Ошарашенный всем увиденным, Крикуль никак не мог опомниться и переспросил:

— Что говорить-то?

Обезьяна с шумом выдохнула и недовольно зашипела:

— Что ты рад!

— Что ты рад, — повторил от растерянности Крикуль.

— Да не я рад, а ты рад! — испуганно поправил его корреспондент.

Но Крикуль с упертостью заезженной пластинки стал перечить:

— Да не я рад, а ты рад!

Обезьяна завела руку с микрофоном за спину и так яростно постучала себя по голове свободной рукой, что явственно слышался треск её черепушки.

— Что ты повторяешь за мной как попугай, ты же всё-таки Аист, в конце-то концов, или ты не Аист?

Крикуль мгновенно почувствовал подвох и выпалил:

— Я — Аист!

— Ну и отлично, вот и отвечай на вопросы!

— Ну и отлично! — наконец-то согласился Крикуль.

— Как нам ваш Остров? — натужно улыбаясь, заинтересовался в микрофон корреспондент. И тут же, спохватившись, поправил сам себя: — Ой, простите, то есць как вам наш Остров?

— Ой, простите, вам наш Остров очень нравится, — снова как-то невпопад ответил Крикуль. Обезьяна поняла всю бесполезность попытки разговорить объект, приснула себе в лицо струёй одеколона и приняла исходное положение. Она удобно уселась на ветке и как ни в чём не бывало застрекотала:

— Вы слышите, уважаемые дамы и господа, наш гость очень волнуецца. От счастья он просто поцерьял дар речи. Ну, это и не удивительно.

Остров Детства не имеет аналогов в мире, он чудесен и неподражаем. Как сказал мне в приятной беседе наш почётный гость Аист буквально несколько минут тому назад: «Остров Детства — райское местечко! Остров Детства — нет тебя милей! Остров Детства, как стучит сердечко. Не забыть здесь проведённых Дней!» — корреспондент с шумом втянул воздух и выдох-нул: — Да, наша несравненная фея-поэтесса Майя бюджет несказанно рада такому талантливому, высоко поэтическому высказыванию почётного гостя Острова, который несомненно мечтает о личном знакомстве с хозяйкой по этического салона.

Крикуль никак не ожидал услышать такое откровенное враньё: «Если это трепач говорит про Крикуля, то он не сочинил никаких стихов про Остров Детства, да и ни про что другое тоже». — У него возникло жгучее желание больно клюнуть это брызжущее слюной бессовестное существо, но оно изо всех сил сдерживал себя. К счастью, обезьяна уже заканчивала свою трансляцию и прощалась с радиослушателями:

— С вами был ваш любимый эрудзит, тонкий знаток эскуства и непревзойденный оратор Капучинчик! До новых встреч в эфире, мои дорогие! Бай!

Обезьяна отключила микрофон и устало повисла на хвосте вниз головой.

— Что ты тут наплёл про райское местечко? Я ничего такого не говорил! — хмуро засопел Крикуль.

Обезьяна какое-то время висела без движений и не подавала признаков жизни. Крикуль подумал, что, может быть, стоит поскорее уйти и не ждать продолжения этого спектакля, как вдруг этот всеобщий любимец перевернулся на ветке на триста шестьдесят градусов, оседлал её и выпалил жуткую тираду:

— Безмозглый кретин, идиот, ты мне чуть не сорвал прямой эфир, курица ошипанная! Двух слов связать не может, а туда же. Какое неслыханное хамство! Откуда ты свалился на нашу голову, недоумок? Выставил себя полным придурком и ещё хватает нахальства возмущаться: «Он ничего такого не говорил».

В первую секунду Крикуль опешил, он никак не ожидал увидеть здесь такое беспардонное существо, да ещё ругающееся точно так же, как его ненавистная нянька. Зато в следующее мгновение он уже твёрдо решил хорошенько проучить бестию.

— Это кто кто здесь кретин, недоумок, придурок и хам? Кто это здесь курица ошипанная?

Крикуль, хоть и был к образе Листа, но своих колдовских талантов пока не утратил. Сейчас он готов был стереть в порошок болтливую Капучинчика или как там его зовут? Для Крикуля зло уже не имело никакого значения. Его небесно-голубые глаза налились кровью, а клюв покраснел и заострился. Горе-журналист замер как заворожённый, а Крикуль продолжал:

— Сейчас ты, образина, проглотишь всё, что ты только что сказал, иначе от тебя останется одна пыль. Я расплюшу тебя, засранец, так, что твои гориллы не смогут тебя отскрести, даже если захотят!! Ты меня понял?

Теперь пришлось замолчать зарвавшегося корреспонденту. Он остоленел и выпучил глаза. Казалось, что он ничегошеньки не соображает. Но в следующее мгновение он широко открыл рот, из которого только что доносились проклятия и оскорбления в адрес Крикуля.

— Берёшь свои слова обратно? — спросил не на шутку рассерженный Крикуль.

Капуцинчик неистово замотал головой в знак согласия.

В воздухе появились четыре телетайпные ленточки, на которых были отпечатаны бранные слова: «кретин», «недоумок», «придурок» и «хам». Все они плавно, одна за другой исчезли во рту обезумевшей обезьяны. Капуцинчик послушно всё прожевал и громко глотнул бумажный ком.

— Так, хорошо, — сказал Крикуль, — а теперь ощипанная курица.

Из кустов с кудахтаньем выскочила абсолютно голая длинноногая курица и сама полезла в рот Капуцинчика. Корреспондент побросал все свои причиндалы — микрофон с одеколоном полетели на землю — и начал яростно сопротивляться. Курица ни за что не хотела быть отвергнутой и не собиралась сдавать своих позиций. Она уже наполовину протиснулась в обезьянью глотку, и Капуцинчик, безрезультатно пытаясь её оттуда вытащить, начал задыхаться и закатывать глаза.

Крикулю достаточно было произнести короткую фразу: «Ладно, живи!» — как курица незамедлительно выскользнула обратно и моментально скрылась в траве.

Сидевший на земле Капуцинчик пытался отдышаться и всё ещё испуганно поглядывал на стоящего неподалёку Аиста.

Корреспондент подтянул к себе микрофон и склянку с одеколоном. Обиженно оттопырив нижнюю губу, он обрызгал себя с ног до головы душистой жидкостью и произнёс:

— Ну ты даёшь! Я думал, что Аист — птица добродушная. Ничего себе приёмчики! Я же чуть не задохнулся?

— Не надо было ругаться и высказывать без предупреждения, — резонно парировал Крикуль.

— Это моя работа. Я — журналист. Момент неожиданности — это испытанный приём. А тебе что, трудно было немного подыграть мне? Трудно было выдать из себя хоть пару слов, дубин... — Капуцинчик благоразумно умолк.

— Что ты хотел сказать?

— Да так, извини, вырвалось! — Капуцинчик с ужасом представил себе дубину, которую нужно пропихнуть в глотку. Он потёр рукой шею и спросил: — Где это ты научился таким хитрым штукам? Я тут на Острове, конечно, привык ко всяким выкрутасам, но про такие издевательства даже не слыхивал. «Забери слова обратно» — Капуцинчик с содроганием вспомнил недавнюю душераздирающую сцену с ощипанной курицей.

Крикуль, крайне довольный собой и тем, что так эффективно проучил зарвавшегося журналиста, не подумав, проговорился:

— Это ещё что, я однажды одного мальчишку чуть не заставил съесть корову. По частям, конечно. Дразнил маленькую сестрёнку: «Рёва-корова, дай молока. Сколько стоит? Три рубля!».

Ну, я ему дал три рубля! Надолго запомнит, как дразниться. Толстуха и без того расстроилась — игрушку потеряла, что ли.

После такого откровения Капуцинчик даже присвистнул.

— Ого! А ты, я вижу, Аист-то непростой! Весь окутан таинственностью. Занятно! Я, пожалуй, сделаю о тебе настоящий первоклассный материал. Точно! — и Капуцинчик затараторил: — Ежедневно в прямом эфире «Дневник пребывания почётного гостя на Острове Детства». Ты сколько собираешься у нас пробыть? До Новогоднего бала?

— Нет, нет, только не это! — Крикуль весь напрягся, предчувствуя нежелательный поворот событий. — Ты что, с ума сошёл? Будешь ходить за мной следом?!

— Тебе же веселей!

— Я не люблю весёлых компаний! Мне это не нужно.

— У тебя нет выбора, — не унимался Капуцинчик.

— Это ещё почему? — удивился Крикуль.

— Понимаешь, я — журналист, это моя работа. Если ты мне интересен, но не хочешь сотрудничать со мной добровольно, то я вынужден буду превратиться в папарацци.

— В кого, в кого ты вынужден превратиться?

— В папарацци. Это такой журналист-невидимка, который постоянно преследует объект. Но при этом объект даже не подозревает, что за ним подсматривают.

Кто такой невидимка, Крикулю можно было не рассказывать. Он немного подумал и сказал напористому Капуцинчику:

— Ладно, я согласен, оставайся! Но давай договоримся: если ты будешь нахальничать и ругаться, мы с тобой расстаёмся.

— Если ты называешь «нахальничаньем» мой стиль работы, — невозмутимо пролепетал корреспондент, — то ничего не могу тебе обещать, а насчёт сквернословия, так и быть, постараюсь.

Крикуль вынужден был согласиться на компромисс. Неизвестно, как на Острове Детства отнеслись бы к исчезновению всеобщего любимца, да ещё сразу же после его исторического репортажа и интервью с Аистом. Крикулю предстояло придумать, как под благовидным предлогом он сможет избавиться от нежелательного попутчика.

— Зови меня просто Капа. Капуцинчик — это мой творческий псевдоним, а для друзей я просто Капа.

— А что, мы с тобой уже друзья? — удивился Крикуль.

— Ну пока может и нет, но я надеюсь, мы подружмся.

Крикуль очень смутно представлял себе значение слов «друг» и «подружмся» и поэтому промолчал.

Капуцинчик сложил свой реквизит — микрофон с одеколоном — в репортёрскую сумку, которая висела неподалёку, и они вдвоём отправились к Октябрине.

— А это ничего, что ты появишься у Октябрини без приглашения? — спросил Крикуль суетливого журналиста.

— Ты не знаешь, с кем имеешь дело. Мне на Острове всегда рады! Какое ещё приглашение? Без меня, друг, здесь не обходится ни одна презентация, ни одно более-менее значительное событие. Где происходит что-нибудь стоящее, там непременно бываю я. Я — глаза и уши нашей уважаемой публики.

Крикуль внимательно посмотрел на глаза и уши уважаемой публики Острова Детства и спросил:

— Слушай, Капуцинчик...

— Просто Капа, — поправил журналист.

— Хорошо. Капа, вот ты сейчас снова назвал меня другом. А что это такое — друг?

Капуцин не задумываясь, выпалил:

— Ха! Друг — слово из четырёх букв по горизонтали.

— Не понял, по какой горизонтали?

— Да это я так, просто вспомнил, как составлял формулировочки для одного кроссвордика.

Капуцин ненадолго замолчал.

— Понимаешь, когда говорят «друг», имеют в виду существо, близкое по духу, своего сторонника, защитника. Ясно излагаю? А бывает, что произносят слово «друг» просто как вежливое обращение. И всё!

— А-а-а, просто как вежливое обращение, — задумчиво повторил Крикуль. — Значит, слово «друг» не означает ничего важного.

— Ну не скажи, — возразил Капуцин. — Друг — это надёжное плечо. Защищённая спина. Понимаешь?

— Причём тут плечо, спина? — Крикуль, как оказалось, ничего не понял, только ещё больше запутался.

Капуцин рассердился. И на Крикуля, который оказался таким тугодумом, и на себя за то, что не может толком объяснить значение такого простого слова. Всего из четырёх букв.

— Пойми, приятель, если в опасном путешествии рядом с тобой идёт настоящий друг, ты можешь не бояться, что за твоей спиной случится какая-нибудь неприятность. Твоя спина надёжно защищена.

После этих слов Крикуль и Капуцин по инерции оглянулись. Объяснение можно было считать завершённым, так как за ними по пятам еле поспевал неуклюжий Птеранодон. Из-за интересной беседы оба не услышали грохота, который производил этот доисторический ящер.

— Авиа-тор! Авиа-тор! Подожди-и-и! — задыхаясь стонал он. Из клюва Птеранодона доносилось тяжёлое сопение.

— Это ещё что? — недовольно процедил Капуцин.

— Это не что, а кто! Это мой друг — Птеранодон, — горделиво произнёс Крикуль.

— О, а только что говорил, не знаешь, что такое друг? Простачком прикидывался?! Однако ты тёмная личность, гражданин Аист по имени Крикуль-Музыкуль, — насторожённо заметил журналист.

— Не такой уж я и тёмный. Я — белый Аист! Птеранодон подошёл к ним уже совсем медленным шагом и долго, с присвистом восстанавливал дыхание.

— Привет, Авиатор! Здорово, Капуцинчик!

— Привет, Птеранодон! Какими судьбами?! — Крикуль был искренне рад встрече.

— Услышал радиорепортаж и мигом сюда. Подумал, а вдруг ты захочешь меня увидеть, ну, или там, может, помощь моя нужна? У тебя как, крыло-то зажило?

— Да, всё отлично! Вот получил приглашение от феи Острова, решил воспользоваться случаем, раз уж выпала такая честь. Присоединяйся, если хочешь. Пойдём со мной за компанию. И, кстати, познакомься, это — журналист Капуцин.

Капуцин несколько высокомерно взглянул на Птеранодона и еле заметно кивнул в знак приветствия.

Птеранодон совсем растерялся и смущённо произнёс:

— Вот уж не думал, что придётся познакомиться с самими вами. Я всегда слушаю ваши репортажи. Приятно познакомиться!

— Взаимно, — почти оборвал его Капуцин и тут же резко заметил: — Ну что, долго ещё эти китайские церемонии разводить будем? Может быть, уже пойдём? И они двинулись в путь.

Октябрина

Глава, в которой Крикуль получает первый в своей жизни подарок

Пройдя совсем немного по тропинке, они заметили на полянке молодую женщину в широкополой шляпе, сидящую возле мольберта. Художница была так увлечена рисованием, что, казалось, совсем не замечала двух птиц и обезьяну, которые уже через мгновение стояли у неё за спиной.

Путники увидели, как на палитре, которую фея Октябрина — а это была именно она — держала в левой руке, подсакивали вслед друг за другом семь разноцветных лепёшечек. При этом они выкрикивали каждая своё: «Каждый». — кричала красная краска, подпрыгивая и тут же шлёпаясь на место. «Охотник», — вторил ей оранжевый кружок. «Желает», — вспыхнула ярким огоньком краска жёлтого цвета. «Знать», — звякнул зелёный. «Где», — пропела голубая краска. «Сидит», — брякнул синий пле-вочек. «Фазан», — басом закончила фиолетовая краска.

— Каждый охотник желает знать, где сидит фазан! — вторила им фея и заливалась звонким смехом, абсолютно не обращая внимания на то, что развеселившиеся краски забрызгали её пре-красное, всё в кружевах, розовое платьице.

— Сейчас! Сейчас, мои крошки! — пытаюсь утомить краски, проговорила фея и вдруг заметила Крикуля и его спутников. — А, Крикуль, здравствуй, дружок! — Октябрина приветствовала Аиста так, как будто они были знакомы с ним вечность. — Здравствуй, Птеранодон! Привет, Капуцинчик! Добро пожаловать!

Все путники почтительно склонились и пожелали немедленно узнать, что за игру они только что видели.

Октябрина весело прокомментировала:

— Это мы с моими верными друзьями-красками пытаемся нарисовать радуго. Скоро будет дождь, а после дождя должна появиться радуго. Она состоит из семи цветов, — Октябрина прикасалась

своей волшебной кистью к каждой из семи красок и называла их по именам:

— Красная, Оранжевая, Жёлтая, Зелёная, Голубая, Синяя и Фиолетовая.

Вместо кисти, Октябрина держала в руке небольшую тоненькую веточку с листиком.

— Какая у вас странная кисть! — с нескрываемым удивлением отметил Капуцин.

— Это веточка миртового дерева, — сказала фея и провела своей чудной кистью вдоль холста, совсем к нему не прикасаясь. На холсте сама собой вспыхнула семицветная радуга.

— Ого, как красиво! Здорово! Волшебство! — почти одновременно воскликнули гости Октябрины.

— А откуда вы знаете, что скоро будет дождь? — полюбопытствовал Крикуль. — На небе ни облачка, погода чудесная. Предчувствие?

— Нет, милый, — добродушно откликнулась фея. — Смотри, видишь, белая звездчатка не раскрылась. Это верная примета — быть дождю.

Крикуль заметил прямо под ногами скромную гвоздичку. Лепестки цветочка были тесно прижаты друг к другу.

— И что, вы доверяете этому барометру? — с сомнением в голосе спросил Крикуль. Фея не успела ответить, как крупные капли, сорвавшись с небес, стали заливать всё вокруг.

— Скорее, скорее, за мной, — Октябрина подхватила и быстро побегала к своему замку, который виднелся неподалёку.

За ней вприпрыжку понеслись: корреспондент Капуцинчик, Крикуль-Музыкуль и оживший треножник, на котором крепился мольберт. Грузно переваливаясь, последним ковылял Птеранодон, с крыльев которого, словно с гигантского зонтика, ручьями стекала вода. Перед тем как войти в замок, Крикуль обернулся, чтобы подбодрить отстающего Птеранодона, и в восхищении застыл, наблюдая чудесную картину — на абсолютно безоблачном небе сияла семицветная радуга. А по траве тянулись следы от красок, только что исполнявших свои арии на палитре доброй волшебницы.

Слегка намокшие путешественники попытались отряхнуться и привести себя в порядок. Фея Октябрина ушла переодеваться, разрешив гостям располагаться, кому как заблагорассудится. Капуцин тут же по-свойски уселся в удобное глубокое кресло возле камина и, опрыскивая себя с головы до ног душистым одеколоном, полупрезрительно поглядывал на Птеранодона, который переминался с ноги на ногу у входа, стесняясь проходить дальше. Треножник с мольбертом встал на своё привычное место возле огромного окна, из которого виднелась посвежевшая после дождя полянка, где только что произошло знакомство Крикуля с ещё одной хозяйкой Острова Детства. Сам Крикуль зачарованно рассматривал холл замка Октябрины.

Место, где они очутились, нельзя было назвать привычным словом «дом». Это был храм искусства. Здесь повсюду стояли мраморные скульптуры, словно светящиеся изнутри. Они изображали каких-то крылатых детей, добродушных стариков, кудрявые головы которых были увенчаны плющом. У каменных девушек в руках

были кувшины, из которых струилась хрустально-чистая вода. Холл был обит алым шёлком, на стенах висели необыкновенно прекрасные полотна. Впрочем, каждая зала была отделана в особом стиле. Это был настоящий королевский дворец, в котором были собраны шедевры живописи и скульптуры. На резных столиках, украшенных перламутром и натуральным камнем, испещрённых причудливыми узорами, стояли разнообразные диковинные вещицы: музыкальные шкатулочки, расписная посуда, пейзажные миниатюры в ажурных рамочках.

Крикуль не удержался и прошёл в соседнюю с холлом залу. Его изумлённому взору открылась необычная портретная галерея. Все стены, от пола до самого потолка, были увешаны фотографиями детей. Фотопортреты беспрестанно сменяли друг друга, как бы в такт пульсу. Эту своеобразную пульсацию от смены изображения мог бы услышать любой человек, даже не обладающий таким тонким слухом, как у Крикуля.

— Это — октябрия! Здесь портреты детей со всего мира, появившихся на свет в октябре, — Октябрина произнесла эту фразу с такой теплотой и любовью в голосе, что Крикулю захотелось поверить, что он тоже родился в этом прекрасном месяце. — Пойдём, Крикуль, к нашим гостям, а то они, наверное, уже нас заждались, — сказала Октябрина и пригласила Крикуля следовать за ней.

Крикуля очень удивило то, что фея сказала: «Наши гости». Будто он здесь хозяин и должен чувствовать себя членом семьи. От этих простых слов, сказанных так легко и по-домашнему, Крикулю почему-то захотелось заплакать. Может быть, он впервые почувствовал, что настоящего дома у него никогда не было.

Октябрина с Крикулем вошли в холл. Все сидели на прежних местах. Птеранодон так и не осмелился двинуться дальше прихожей, а Капуцинчик, удобно развалившись в кресле, рассматривал какую-то лаковую шкатулочку с секретом, которая никак не хотела открываться. Октябрина подошла к Птеранодону и о чём-то очень тихо с ним заговорила. Эту деликатную беседу мог слышать только Крикуль, ведь его слух улавливал и более слабые звуки.

— Птеранодон, проходи, пожалуйста! Я тебе очень рада, — услышал Крикуль приглушённый голос Октябрины.

— Может, я лучше в саду подожду? Как бы не сломать чего! — тихо пробубнил ящер. Крылья Птеранодона были такими громоздкими, а сам он был таким неуклюжим, что из-за боязни повредить мебель Птеранодон никогда не заходил в замки фей.

— Вот вам и ответ на вопрос: почему вымерли динозавры? Вот так миндальничали всю дорогу, и их выжили другие, те, которые выжили, — скаламбурил журналист Капуцинчик, который даже головы не повернул в сторону беседующих. По всей вероятности, не только Крикуль слышал разговор Октябрины с Птеранодоном, а может быть, Капуцин был хорошим психологом и просто понял, в чём дело. Октябрина строго посмотрела в сторону Капуцина, и тот благоразумно примолк.

— Проходи, Птеранодон, всё будет хорошо. У меня очень просторно, тебе не о чем беспокоиться. Иногда намного приятнее иметь дело с существом застенчивым, чем с самонадеянным.

Замечание относилось к Капуцинчику, и он это хорошо понял.

— Проходи, друг Птеранодон, я уступлю тебе место возле камина. Кресло такое большое, как будто специально для такого громила, как ты, — Капуцин подскочил и суетливо забежал по просторному холлу, вспоминая, где он взял шкатулку, которая так и не захотела открыться.

— Очень любезно, Капуцинчик, с твоей стороны, — сказала Октябрина, покачивая головой в знак осуждения за тон, с которым журналист проговорил приглашение, и за неприятное слово «громила», и тут же продолжила: — Но мы все отправляемся в дорогу и не откажемся отобедать со мной.

— Очень кстати! — невозмутимо выпалил журналист и тут же задел стоящую на столике фарфоровую вазу, которая упала и раскололась вдребезги.

— Ой! — выкрикнул журналист, отпрыгнув на почтительное расстояние. Но при этом задел ещё один столик. На пол посыпались миниатюрные статуэтки, которые разбились на мелкие кусочки.

— Ой, ой! Я не хотел, я нечаянно! Простите, сударыня. Обычно я такой ловкий, такой грациозный, а тут... Наверное, это влияние громилы. Это он заразил меня своей неуклюжестью, — Капуцин чувствовал себя виноватым, но тут же попытался свалить свою вину на другого.

— Нет, Капуцинчик, — Октябрина была строга, но справедлива, — это твоя самонадеянность и невоспитанность. Нельзя обвинять и оскорблять других, тогда не придётся краснеть за собственные нелепые проступки и выслушивать заслуженные замечания в свой адрес. Придётся тебе извиниться перед Птеранодоном за всё, что ты тут ему наговорил.

Не вступая в долгие прения, Капуцинчик затараторил, легко и непринуждённо произнося слова извинений, будто ему приходилось произносить их регулярно:

— Прости, прости, мой милый друг, прости и не таи обиду. Смотри, не упusti из виду, без злого умысла я вдруг сболтнул. Я умоляю, друг! Прости меня, прости, прости!

После этого рифмованного нагромождения слов Капуцин театрально склонился в глубоком поклоне.

Птеранодон только раскрыл клюв от изумления, Крикуль хохотнул, а Октябрина безнадежно вздохнула:

— Ну что, Птеранодон, ты принимаешь извинения? Птеранодон смущённо закивал.

— Тогда... — Октябрина взмахнула рукой, и все осколки соединились и вернулись на свои места. Через мгновение и ваза, и статуэтки снова радовали глаз своим великолепием.

— Ну а теперь прошу в столовую!

Все последовали за ней. Даже скромник Птеранодон поборол свою нерешительность и присоединился к компании.

Столовая комната была обставлена изысканным белым гарнитуром. Изогнутые резные ножки большого овального стола, сделанного из слоновой кости, будто прогнулись под тяжестью угощений, расставленных на нём. Однако стол был абсолютно пуст.

Октябрина жестом пригласила гостей рассаживаться. Капуцин еле скрывал своё недоумение, хотя от фей можно было ждать чего угодно. Возможно, сейчас появится скатерть-самобранка, и это будет совсем не удивительно. Каждый из сидящих за столом получил от Октябрины веточку миртового дерева и внушительных размеров папку, на которой очень изящно было выведено: «Меню». Крикуль, как и остальные участники трапезы, раскрыл папку, но внутри не обнаружил ровным счётом ничего. Капуцин громко сглотнул слюну и впросительно посмотрел на фею.

Октябрина неторопливо произнесла:

— Друзья мои! Я знаю, что у каждого из вас есть свои любимые кушанья. Нарисуйте их на внутреннем листе этой папки, и вы получите всё, что пожелаете.

— Простите, сударыня! — недовольно проворчал Капуцинчик. — Я вообще-то журналист, а не художник. Если вместо банана у меня получится баклажан, я что же, должен буду давиться этим сырым овощем? Это какой-то урок рисования, а не обед! Извините!

Птеранодон, тоже ничего не понимая, крутил головой в разные стороны, а Крикуль грустно посмотрел на свои крылья, которыми он вряд ли сможет нарисовать что-нибудь вразумительное. Разве что какую-нибудь прямую линию или кружочек. Хотя, чтобы изобразить шарик мороженого, можно ограничиться и такой незамысловатой фигурой, как круг.

— Нет, нет, друзья, вы меня не так поняли. Вы должны рисовать только мысленно. Смотрите! Я, пожалуй, закажу картофель фри и мой любимый салатик, — фея грациозно провела веточкой мирта вдоль листа раскрытой папки-меню, и все увидели красочную картинку, на которой дымился румяный, только что приготовленный во фритюре картофель, нарезанный тонкой соломкой, и салат из овощей, выложенный на зелёном листике. Вполне живой рисунок мгновенно проецировался на стол, и теперь картофель дымился уже непосредственно перед Октябриной. Лист опустел, и Октябрина тут же признала:

— Так, а из напитков я, пожалуй, выберу апельсиновый сок.

Фея проделала ту же манипуляцию с веточкой и листом бумаги, и через секунду в большом бокале перед ней красовался ярко-оранжевый напиток с мякотью апельсина.

— Вот и всё! Вы видите, какое у меня хорошее воображение. Нужно только представить себе то, что желаете, и вы получите это незамедлительно! Дерзайте! — после этих слов Октябрина, не обращая внимания на гостей, с нескрываемым удовольствием приступила к обеду.

— А-а-а? Ну, если речь идёт только о воображении, то за мной дело не станет, — уверенно произнёс Капуцин. И уже несколько минут спустя уплетал за обе щёки всякие экзотические фрукты.

Перед ним выросла целая гора кожуры от авокадо, папайи, фейхоа, ананасов и бананов. Вокруг валялись косточки от фиников и персиков.

Крикуль с аппетитом уплетал мороженое, которое возвышалось гигантской пирамидой. Птеранодон наслаждался аппетитной рыбой и планктоном, который еле умещался в огромной супнице.

— Бесподобно! Я удивлён, я поражён, я сыт и доволен! Благодарю! — Капуцин хоть и проговорил эту фразу лёгкой скороговоркой, но подняться с места у него не хватило сил. — Кажется, я объелся. Вот он, ограничительный фактор! — Капуцин похлопал себя по округлившемуся животу, громко икнул и тихо извинился.

После обеда Капуцинчик, свернувшись калачиком в том самом кресле возле камина, безмятежно погрузился в сон. А Крикуль с Птеранодоном пошли вслед за Октябриной осматривать другие залы.

Октябрина показала, как по тому же принципу, что и сказочный обед, которым она потчевала своих гостей, ей удаётся создавать чудесные полотна, которыми был наполнен её дворец. Крикуль видел, как натурально изображён на картине Октябрины длиннейший жираф, совсем как живой. Но как только он начал рассматривать жирафа, тот задвигался и побежал, переходя на стремительный галоп в погоне за стадом антилоп, несущихся по саванне. На следующем полотне Крикуль заметил изящную юную балерину с тоненькой талией, в пышной белой пачке. Стоило ему залюбоваться её красотой, как балерина ожила и закружилась в грациозном танце. Как только Крикуль перевёл взгляд на другую картину, балерина застыла в высоком прыжке, а её белоснежная ручка вытянулась вперёд, словно поющая в полёте стрела.

— Вот так и был создан наш мир, милый Крикуль, — сказала Октябрина, которая подошла и обняла его за плечи. — Природа силой своего воображения создала всё, что мы видим вокруг. Когда у Природы было хорошее настроение, она создавала прекрасное. Но даже у этой Величайшей Волшебницы настроение иногда портится. Так не будем же расстраивать её понапрасну!

Крикулю показалось, что Октябрина сказала это неслучайно.

«А что, если намекает на меня? А что, если они здесь все догадываются о цели моего появления на Острове?!» — Крикуль сразу же почувствовал себя в опасности.

Октябрина отошла к Птеранодону, чтобы дать какие-то объяснения, и тут Крикуль к своему ужасу увидел на следующем полотне Отца. Сердце Крикуля полетело вниз, подобно сорвавшемуся с вершины горы камню. Это был бесспорно он, Король Страх. Парадный портрет в полный рост. Огромное бледное лицо с правильными чертами, но искажённое презрительной гримасой, застывшие, окаменевшие глаза. Посмертная маска мертвеца. На Отце китель цвета маренго, чёрный с серым отливом. Он стоит на краю обрыва. Вокруг потрескавшаяся земля, а позади окаменевшей фигуры надвигается тёмная, свинцовая туча в полнеба. На мрачной картине яркими пятнами выделяются окаменевшие белые руки и страшные

бескровное лицо. Крикуль хоть и понимал, что это всего лишь картина, но почувствовал, как от неё подул могильным холодом. Внизу, под холстом, на багете была прикреплена медная табличка, на которой было выведено: «Страх Смерти». Крикуль захотелось провалиться сквозь землю, исчезнуть, испариться, никогда не появляться на свет, только бы не встречаться взглядом с Отцом. Но было поздно, картина ожила. Остолбеневший от страха Крикуль увидел, как у Отца раздуваются ноздри, как он медленно запрокидывает голову и начинает втягивать в себя, словно дым, грозовую тучу. Прогремел удар. Прогремел удар, словно гигантское стекло. По лицу Отца безобразными морщинами поползли трещины. После следующего удара осколки неба со звоном рухнули вниз, земля под Отцом разверзлась, и он стал падать в пропасть, вытянув вперёд невероятно длинные, худые, цепкие пальцы. Казалось, в последнюю секунду он хотел увлечь за собой загнивающего зрителя. Крикуль отшатнулся назад, чтобы избежать страшной участи последовать за Отцом.

Внезапно кошмар исчез. Крикуль опустил глаза и тихим, подавленным голосом произнёс:

— Мне пора идти.

Октябрина тут же подошла к нему, спокойно и приветливо спросила:

— И ты даже не хочешь больше воспользоваться услугами моей волшебной палочки и ещё раз побаловать себя мороженым?

— Мне пора идти, — повторил он.

— Ну что ж! Конечно, если пора, то нужно идти. Надеюсь, тебе не было у меня скучно?

— Нет, скучно мне не было! — Крикуль поднял на неё глаза, в которых застыли слёзы.

— Что случилось? — Октябрина не на шутку встревожилась. — Кто тебя обидел? Или, может быть, напугал?

Октябрина перевела взгляд на картину, перед которой стоял Аист.

— Ох, вот это уж слишком. Зрелище совсем не для детей! Моя оплошность, я не успела тебя предупредить. Детям очень вредно смотреть на такие страшные картинки. Но раз уж ты увидел Страх Смерти, то я объясню тебе, отчего Великая Волшебница Природа рождает безобразное. Происходит это только лишь для того, чтобы уродливое можно было сравнить с прекрасным. Твоё сердце подскажет тебе, что лучше? Чему нужно посвятить свою жизнь?! От нас всех зависит, чего в мире будет больше, добра или зла. И каждый делает свой выбор. Понимаешь, бояться не нужно! Природа просто даёт нам понять, что зло существует на свете и нужно быть готовым ему противостоять. Во всяком случае, на Острове Детства с тобой не случится ничего плохого. Силы Добра не позволят этого!

Крикулю вдруг очень захотелось обо всём рассказать мудрой и справедливой фее Октябрине, но какая-то неведомая внутренняя сила тяжёлой стальной цепью удерживала слова раскаяния.

— Спасибо вам за всё, за всё! Я запомню! — Крикуль не сказал, что именно он запомнит, и тут же добавил:

— Я пошёл! Спасибо за мороженое!

— Не стоит благодарностей, — улыбнулась фея, — хотя мне очень приятно иметь дело с воспитанным ребёнком.

Октябринка назвала его ребёнком, и Крикулю снова казалось это подозрительным: «Всё, пора! Пора в путь!» На прощание фея выразила надежду увидеться с ним на балу у Декабрпы и подарила небольшую веточку миртового дерева.

— Ты знаешь, как ею пользоваться. Будешь кушать мороженое, когда заблагорассудится. Это тебе на память.

— Просице, великодушная госпожа, а мне на память вы не хотели бы подарить что-нибудь в этом же роде? — бесцеремонно полюбопытствовал тут же подскочивший к ним Капуцинчик.

— А тебе, дорогой, я подарю на память шкатулку, которую ты безрезультатно пытался открыть. Вот она, — и Октябринка протянула журналисту ларец, на котором были изображены три обезьяны: одна с зажмуренными глазами, другая, зажимающая обеими лапами рот, а третья, яростно затыкающая себе уши. — Но эта шкатулка, — предостерегла фея, — откроется только тогда, когда ты разгадаешь её секрет. И не пытайся открывать её силой, всё равно ничего не получится.

— Хорошенькое дело! — попытался было выказать недовольство Капуцин, но его кто-то больно ущипнул сзади за хвост. Журналист ойкнул и пошёл собираться в дорогу.

Чтобы не оставлять без подарка ещё одного гостя — Птеранодона, фея нацепила ему на шею амулет. На кожаном шнурке висела тонкая позолоченная пластинка с изображением летящего Птеранодона. Ящер остался очень доволен, но из-за смущения не смог выдать даже слова благодарности и заматал головой из стороны в сторону, пытаясь спрятать наполненные счастьем глаза.

— Ну ладно, ладно, носи на здоровье! — сказала Октябринка и вышла в сад провожать гостей.

Страшные видения

Глава, в которой Крикулю снова захотелось проучить Капуцинка

Напомнивший о себе Король Страх поверг Крикуля в уныние. Он шёл с понурым видом, и ничто его не радовало, хотя дорогу, ведущую к замку Ноябрьрины, по-прежнему окружал благоухающий ароматами зелени лес. Птеранодон почувствовал что-то неладное в поведении друга и попытался как-то развлечь Крикуля.

— Ну и дела! Никогда не носил амулетов. Это же так, кажется, называется? — Птеранодон едва поспевал за Аистом. Амулет на кожаном шнурке мерно раскачивался при ходьбе.

Крикуль не отвечал.

— Ну и дела! — продолжал Птеранодон. — Я тут так похож сам на себя. Такой Авиатор! Я и в жизни такой же красивый? Как ты думаешь, а?

Вместо Крикуля ему ответил всеобщий любимец журналист Капуцин.

— Жаль только, что красота так недолговечна!

— Это ты к чему? — насторожился Птеранодон.

— Шнурок очень скоро перетрёт твою грациозную шейку, и твоя башка покатится под горочку по кочкам... Дыщь-ды-дыщь,

дыщь-ды-дыщь... — Капуцин хотел было ещё что-то прибавить к сказанному, но Крикуль резко остановился и принял боевую стойку.

— Я, кажется, тебя предупреждал: будешь наглеть, мы с тобой распрощаемся. Уходи немедленно, или я за себя не ручаюсь.

Капуцин помнил, что с Крикулем лучше не связываться, и принялся извиняться и обещать, что впредь будет держать себя в руках.

— Ты не сдержал слова! Я тебе не верю! — Крикуль был непреклонен.

— Да ладно, я же обещал, что не буду обижать тебя, а не эту летучую мышь.

Крикуль с Птеранодоном переглянулись и, не сговариваясь, накинулись на зарвавшегося корреспондента. Юркая обезьяна, ловко избежав побоев, тут же взобралась на кокосовую пальму и сбросила сверху один за другим два увесистых ореха. Кокосы отлетели в сторону, к счастью, не заделали тех, кому они предназначались.

— Ах так, ну ты у меня пожалеешь, что родился на свет! — Крикуль не на шутку рассердился. Он в упор посмотрел на пытавшегося спрятаться в пальмовых листьях журналиста, но их взгляды пересеклись. Цепкий взгляд волшебника пригвоздил обезьяну к месту. Крикуль произнёс:

— Тебе приходилось иметь дело с вампирами?

В ту же минуту невесть откуда стали слетаться чёрные летучие мыши. Они визжали от удовольствия при виде жертвы и, как Капуцин ни старался отбиваться, больно кусали его со всех сторон.

— Ай, ай, помогите! Не надо! Не надо! Я больше не буду! Ой! Птеранодончик, спаси меня! У-мо-ля-ю!

— Да ладно, оставь его, пусть себе болтает! Мне совсем не обидно! — Птеранодон пожалел Капуцинка.

— Это неправильно, — со злостью в голосе ответил Крикуль, у которого внезапно проснулось чувство справедливости. — Слова — это тоже оружие, и нужно следить за тем, чтобы не ранить другого, и помнить, что рано или поздно за свои слова придётся расплачиваться.

Обезьяна сорвалась с ветки и безжизненным мешком грохнулась на землю. Стая летучих мышей взмыла в небо и испарилась.

— Он что, умер? — испуганно спросил Птеранодон и боязливо подошёл к самонадеянному и небрежному по отношению к другим Капуцину.

Обезьяна немного полежала с закрытыми глазами, потом закряхтела и приняла сидячее положение.

— А-а-а, Птерадоша?! Привет! Как дела? — постанывая, произнёс поверженный корреспондент. На Крикуля он старался не смотреть.

Капуцин с трудом поднялся и стал собирать свои раскиданные повсюду вещицы: одеколон, микрофон и шкатулку, подарок Октябринки. На ней были изображены три обезьяны. Сейчас Капуцин пристально посмотрел на ту, которая закрывала обеими лапами рот.

— Ничего никому не скажу! — пролепетал журналист. В замке шкатулки послышался слабый, еле уловимый щелчок. Догадка мелькнула в мозгу Капуцинка, и, как ни в чём не бывало, он обратился

к попутчикам: — Ребята! Кажется, я понял, в чём тут дело. Смотрите!

Птеранодон и заинтригованный Крикуль, который тоже отчётливо слышал щелчок внутри шкатулки, подошли к Капуцину.

— Смотрите, обезьяна закрывает себе рот, чтобы не сболтнуть чего-нибудь лишнего, видно, это у нас в крови, — несколько обиженным тоном за незаслуженно понесённое наказание, проговорил обладатель шкатулки.

— Я произнёс: «Ничего никому не скажу!» — и там щёлкнуло. Ты слышал? — спросил Капуцин и глянул на Крикуля, который, кажется, уже перестал сердиться.

Крикуль утвердительно кивнул.

— Вот, а эта обезьяна закрыла глаза. Что означает этот жест?

Птеранодон пожал плечами в недоумении. Капуцин цикнул:

— Ну, это понятно, разумеется, не знаешь. А я знаю! Она нам будто бы говорит: «Ничего не вижу!»

Послышался точно такой же, как и в первый раз, щелчок замка.

— А-а! Слышали?! Вот она, разгадка! — закрутился на месте счастливый Капуцин.

Птеранодон тоже был просто в восхищении от всего происходящего и радостно топтался вокруг Капуцина.

— Здорово! Здорово! Во даёт! Я б ни за что не догадался! — искренне признался Птеранодон.

— Ну это и понятно! У некоторых голова лишь для того, чтобы... Ну ладно, об этом после, — Капуцин поднёс шкатулку прямо к глазам Крикуля. — Вот, «ничего не вижу», да?

— Я всё вижу, — многозначительно произнёс Крикуль. Но Капуцин не дал возможности Крикулю развивать тему морали и перехватил инициативу:

— А средняя обезьяна изображает из себя глухую. И эта глухая тетеря как бы хочет нас предупредить, дескать, ничего не слышу.

Третий щелчок поверг всех участников этого увлекательного аттракциона в неопишуемый восторг. Все трое запрыгали на месте. Успокоившись, Капуцин попытался открыть шкатулку, но она по-прежнему была наглухо закрыта. Птеранодон разочарованно вздохнул, а Капуцин от досады чуть было не шваркнул упрямую шкатулку о землю.

— Погоди, погоди кипятиться, дай подумать! — Крикуль знал толк в заклинаниях и почти сразу догадался, в чём тут дело. Нужно произнести все три фразы целиком: — Ничего не вижу! Ничего не слышу! Ничего никому не скажу!

Как только Крикуль договорил, шкатулка автоматически распахнулась. Искатели приключений одновременно склонились над резной коробочкой и столкнулись лбами. То, что они увидели, было настолько неожиданным, что буквально повергло их в шоковое состояние.

Внутри шкатулки сидели свернувшиеся кольцом Оксы. Голова очковой змеи немедленно поднялась и угрожающе зашипела — Капуцин в ужасе отбросил смертоносную шкатулку прочь. Крикуль и его спутники остолбенели. Оксы медленно

выползли наружу и, по-змеиному расправив капшон, поднялись над своими жертвами.

Змея стала покачиваться и в такт своему танцу заговорила:

— Я смотрю, Крикуль, ты совсем не рад нашей встрече. Что же ты избегаешь своих настоящих друзей, своих старых приятелей? Бросил меня на произвол судьбы. Нехорошо-ш-шо! Представь же меня своим новым знакомым. Ишь-шь-шь какая у вас дивная компания!

Змея приблизилась к почти парализованному Птеранодону.

— Кого я ви-ж-жу?! Птеранодон, так, каж-жется, тебя звали когда-то, теперь-то ты обыкновенный мираж-ж-ж. Насколько я понимаю, Птеранодоны все вымерли давным-давно — тысяч-ч-чи лет назад. И теперь ты просто подобие кож-жаного мешка с костями. О, тут ещё-щё и обезьянка! — Оксы внимательно стали разглядывать Капуцина. — Занятный экземпляр! Больш-ш-шой волосатый паук! Мерзкий гибрид! Ч-ч-чего только не ро-ж-ж-ждает Природа. Но она дама капризная и мож-ж-жет себе позволить маленькие ш-ш-шалости.

Герои напряжённо молчали. Сил для сопротивления у них просто не было.

— Крикуль, я надеюсь-с-сь, ты посвятил своих новых друзей в свои планы? Мы уверены, что они з-з-знают, з-з-зачем ты сюда прибыл, наш-ш-ш молодой агент. Ты рассказал им, что ты малолетний з-з-злой волшебник, который специально превратился в Аиста, чтобы разнести вдребез-з-зги это проклятое место?! А мож-ж-жет быть, ты их уж-ж-же завербовал, и они помогут тебе разруш-ш-шить Остров Детства?

Неожиданно вмешался Капуцин:

— Обидно, конечно, слышать о себе столь не лестную характеристику — волосатый паук и всё такое. Это, извините, дело вкуса. Некоторым, например, я кажусь неотразимым красавцем и весьма привлекательным кавалером. Темперамент, обаяние и всё такое... Но то, что я услышал, — это просто сенсация. Ради этого стоит родиться журналистом. Сударыня! Это будет грандиозный материал! Я просто на седьмом небе от счастья! Это прославит меня на весь мир! Репортаж с места событий. «Аист — символическая птица Детства пытается взорвать Остров Детства!» Феноменально! «Аист-террорист пойман с поличным!» Эксклюзив неподражаемого Капуцинчика! То есть меня! Змея прервала восторженные излияния обезьяны:

— Может быть, ты и прославишься, волосатый хвастливый паук с хвостом павиана, но только если останешься в живых! А пока стой, где стоишь-шь! Не тараторь и не зли меня понапрасну!

Капуцин что-то промямлил себе под нос, но тут же благообразно затих. Змея вплотную подползла к Крикулю.

— Надеюсь-с-сь, порош-ш-шок со взрывчатым вещ-щ-ществом с тобой. Король Страх велел мне отобрать его у тебя. Ты слишком медлитель-ш-шь, ты оказался слиш-ш-шком сентиментальным для такой ответственной и опасной работы. Отец очень недоволен тобой. Немедленно отдай порош-ш-шок, мы всё сделаем сами! А ты, ты

ещ-щ-ще вернёшься в замок Страха! Там тебя ждёт возмездие! Отдавай порошок, где он тут у тебя, негодный мальчиш-ш-шка! — мерзкая змея стала обвивать насмерть перепуганного Аиста своим холодным, скользким телом, пока полностью не спеленала его и не просунула голову под крыло-тайник.

— Не-е-ет! — крикнул что было мочи Крикуль и проснулся. Оказывается, они с Птеранодоном заснули прямо под той самой кокосовой пальмой, на которую забрался испугавшийся тумакон Капуцин. Никаких мышей-вампиров не было. Весь этот кошмар ему просто приснился.

— Ой, как ты меня напугал, Крикуль! — спронея переполошился Птеранодон.

Крикуль медленно возвращался на Остров, страшивая с крыльев остаток жуткого сновидения. На всякий случай он огляделся — нет ли поблизости Оксов? Уж больно сон был правдоподобным.

— Увидел во сне что-то страшное? — заботливо поинтересовался Птеранодон. — Бывает! Мне вот однажды приснился...

Но Крикулю не суждено было узнать, что же приснилось Птеранодону, потому что сверху доносились крики неумёного болтуна, усевшегося на самой макушке пальмы.

— Ой, ребята, вижу, вижу озеро! Во-о-н там оно, буквально в нескольких метрах отсюда. Из-за деревьев вам не видно. А я увидел, вот! Я спускаюсь! Вы же разумные ребята! Не сердитесь больше?! Да?! А я обещаю держать язык за зубами и больше никогда не обзывать. Ладно?! Вы меня прощаете?

Капуцин спустился вниз и укоризненно произнёс:

— Вам-то хорошо, поспали тут всласть, отдохнули, а я торчал там, как собака на привязи. Хотите кокосового молочка? — как ни в чём не бывало спросил Капуцин, и протянул обескураженным друзьям увесистый орех.

— Что за озеро? — спросил Крикуль.

— Знаменитое Жемчужное озеро Острова Детства. Пойдём, я расскажу тебе о нём по дороге.

Капуцин собрал все свои вещи: микрофон с одеколоном и шкатулку. Пока он не знал, как открывается этот ларчик с секретом. А Крикуль решил ничего не говорить о своей догадке. Ведь подсказка, которую он увидел во сне, могла оказаться несостоятельной. Пока они шли к озеру, Крикуль понял, что настоящие приключения ещё впереди.

Листолаз ужасный, или хозяин жемчужного озера

*Глава, в которой Крикуль узнаёт,
как трудно стать другом*

Сразу же за лесом им открылось величественно-сказочное зрелище.

Крикулю доводилось бывать на озёрах, зеркальная гладь которых радовала глаз, но то, что он увидел сейчас, не поддавалось словесному описанию. Бескрайний, усеянный жемчугом ковёр слегка покачивался. Миллиарды блестящих перламутровых шариков излучали невообразимо волшебный свет. Фосфорическое лунное сияние,

несмотря на яркий солнечный день, улавливалось глазом благодаря целому облаку бабочек, зависших над Жемчужным озером. Бабочки непрерывно трепетали крылышками и переливались на солнце всеми цветами радуги. Крикуль заметил, что бабочки всё время перелетают. К стае подлетают всё новые и новые хлопотуны и выпускают из лапок крохотные жемчужины. Жемчужинки падают вниз и составляют компанию своим прекрасным родственникам.

— Что это здесь происходит? — спросил Крикуль притихшего Капуцина. — Ты, кажется, обещаешь рассказать?

— Да-да, конечно, без проблем, сейчас обо всём доложу. Просто каждый раз, как вижу это представление, сердце у меня замирает от восторга. Птеранодончик, а тебе как этот спектакль?

— Да-а-а! — протянул Птеранодон. — Бывал. Видел. И снова поражён!

— Ну ты, братец, прирождённый поэт. Не по годам развит и красноречив, — Капуцин никак не мог обойтись без подколов.

— Слушай, ну, может, хватить язвить?! Рассказывай давай, не томи! — возмутился Крикуль.

— Итак, господа! Жемчужное озеро Острова Детства — одно из прекраснейших мест нашего райского уголка. С одной стороны, всё, что вы видите, напоминает восьмое чудо света, или девятое, я что-то уже сбился со счёта... И представляет собой изысканное творение непревзойдённого художника, ректора Академии Всяческих Искусств Её Величества Природы. С другой стороны, это — простой технологический процесс, у которого есть своя железная логика и сверхзадача. Я, как искусствовед в пятом колене, мог бы долго живописать...

— Слушай, искусствовед в пятом колене, — Крикуль от нетерпения начал почёсывать клюв, — а покороче нельзя?

— Можно! Но только нужно ли? — Капуцин уже вошёл во вкус и представил себя лектором, который готовится к многочасовому монологу.

— Нужно! — подтвердил Крикуль.

— Нужно! — повторил за ним Птеранодон. — Лично я мало что понял из того, что ты тут наговорил.

— Нисколько не удивлён! — сказал заносчивый корреспондент. — Ну ладно, учитывая ваше нетерпение и отсутствие желания выслушать оратора, постараюсь объяснить короче. Не знаю, имею ли я право распространять эту конфиденциальную, то есть секретную, информацию? — пояснение предназначалось специально для доисторического ящера. — Понятно говорю?

Птеранодон и Крикуль закивали.

— Но раз уж ты, Крикуль, получил разрешение путешествовать по Острову Детства, то, скорее всего, и о предназначении нашего Острова тебе если не рассказали, то обязательно расскажут.

— Я знаю, — успокоил Капуцина Крикуль, — на Острове Детства живут феи каждого месяца, а в их волшебных подвалах в тюльпанах находятся эльфы — двойники детей всего мира. — Крикуль почти слово в слово повторил слова Короля Страха. Сейчас ему показалось, что это было когда-то очень давно, в какой-то прошлой жизни.

— Умница! Ты хорошо осведомлён! Именно в оранжереях фей каждого месяца живут двойники детей со всего белого света. Но дети не всегда остаются детьми. Они растут, взрослеют, стареют и, наконец... — лектор сделал паузу. Капуцинчик был весьма доволен своим комментарием, и его рука привычно потянулась к флакону с одеколоном, чтобы обдаться себя благоуханной струёй. По флакон оказался пустым. — Очень жаль! — горестно вздохнул Капуцинчик.

— Кого? — спросил Птеранодон. — Детей?

— Что детей? — не понял Капуцин.

— Тебе жаль детей, что они взрослеют, стареют и, наконец... умирают, да?

— Умирают, ну и что? Никого мне не жаль! Отстань! Что за глупости?! Это закон Природы. Все, кто рождается, рано или поздно умрёт. Что здесь странного? Старо как мир. О чём тут жалеть? Это вообще не то слово, — выпалил раздосадованный тугодумством ящера Капуцин.

— Но ты сам только что сказал: «Очень жаль!» — не унимался Птеранодон.

— Это он про одеколон, — заметил наблюдательный Крикуль.

— Это я про одеколон, — раздражённо выпалил Капуцин.

— Ну ты и гад! А я тебя раньше уважал. Журналист! — презрительно процедил Птеранодон.

— Крикуль, ты слышал, слышал, как он меня назвал? Ему, что же, можно обзывать?

— А разве ты что-то имеешь против того, чтобы тебя называли журналистом? — усмехнулся Крикуль.

— Не надо прикидываться... Он меня обозвал гадом, а ну-ка, немедленно заставь его сожрать этого гада!

— Боюсь отравиться! — Птеранодон выпрямился, и всем показалось, что он вырос вдвое.

Крикуль решил прекратить спор и сделал вывод:

— Все живущие смертны — это правильно! Но говорить, что тебе на это наплевать, нехорошо. Слово, которым тебя назвал Птеранодон, вполне тобой заслужено.

— Ах так! — Капуцин скрестил лапы на животе. — Ну тогда вот что — я обиделся. Рассказывать ничего больше не буду! Вот!

— Ну и на здоровье, — Крикуль повернулся к Птеранодону. — Ты же тоже живёшь на этом Острове и наверняка так же, как Капуцин, знаешь его тайны.

— А то?! Знаю, конечно, — сказал Птеранодон и слегка напрягся.

— Вот и рассказывай, что здесь происходит, — Крикуль приготовился слушать.

— Ну, значит, это, в общем, когда дети становятся уже не дети, а эти...

— Нет, это невыносимо, замолчи! У меня уши сейчас отваливаются от такой пытки, — замахал руками Капуцинчик. — Я всё расскажу сам! — и Капуцин по привычке затараторил: — Дети взрослеют, и постепенно эльфы в тюльпанах превращаются в жемчужины. Тюльпаны с годами выделяют специальный нектар, тот постепенно обволакивает эльфа, так что через несколько лет жемчужина уже готова к переселению в это озеро. Вот,

собственно, и вся история. А бабочки переносят их сюда. Кстати, обратите внимание на этих красавиц.

Капуцин вместе с благодарными слушателями посмотрел на танцующих над озером легкокрылых небесных созданий. Путники шли вдоль озера и старались лишний раз не шуметь, чтобы услышать каждое слово краснобая-комментатора. Капуцин без устали вёл свой репортаж с места событий.

— Эти бабочки, между прочим, абсолютно бесцветны. То, что мы видим на их крыльях радужное сияние, — не что иное, как оптический обман. Их прозрачные крылышки — слюдяные чешуйки, они просто преломляют солнечный свет. Между прочим, это научно доказанный факт. Так что ничего фантастического здесь нет. Правда, бывают исключения, — спохватился Капуцин, — я имею в виду не бабочек, а эльфов. Бывают исключения из правила: если человеку удаётся всю жизнь быть в душе ребёнком, то здесь, на Острове, он не превращается в жемчужину, а остаётся легкокрылым эльфом до последнего дня своей земной жизни. И вот это — настоящее волшебство! Но таких крайне мало. Уверяю вас, из миллиардов тюльпанов, пожалуй, только несколько сотен хранят эльфов всю жизнь.

Крикуль только сейчас понял, что где-то ведь в оранжерее есть цветок, в котором находится его маленький двойник, как две капли воды похожий на Крикуля. И ему нестерпимо захотелось взглянуть на себя маленького со стороны. Крикуль остановился и стал разглядывать небесную цветную дорожку из бабочек, которая тонким ручейком связывала копошащееся облако с замком, находящимся слева от Жемчужного озера.

— Там живёт Декабрина, — поспешил объяснить Капуцин. — Но к ней сейчас нельзя. Её нет в замке. Она работает в тюльпановой оранжерее.

— Да-да, я знаю, — сказал Крикуль. — Меня Сентябрина предупредила.

Сейчас, когда путешественники сделали небольшую остановку, они увидели, что жемчужная гладь озера вовсе не однородна, как показалось вначале. Где-то посредине озера виднелось небольшое свободное пространство. Чудесный белый цветок, похожий то ли на лилию, то ли на кувшинку, внушительных, как оказалось позже, размеров, возлежал на зелёном круглом листе с высокими краями. Это сооружение, словно плавающий островок, отделилось от места привычной стоянки и двинулось навстречу путешественникам. За ним тянулся красно-зелёный след. Когда плавающий остров причалил к месту, где стояли наши герои, цветок был уже малинового цвета.

— Это же «виктория регия», — произнёс весьма осведомлённый Капуцин. — Королевский лотос.

— Смотрите, смотрите, — зачарованно произнёс Птеранодон, — он раскрывается!

И, действительно, все увидели, как медленно, лепесток за лепестком, цветок будто подготавливал путников к новой встрече. В самом центре огромного цветка друзья увидели лягушонка-лилипута, малюсенького, размером с фундук. Он легко мог бы уместиться в чайной ложке. Его золотистая кожа ослепила их своим блеском.

Золотой лягушонок поднял глаза и поприветствовал всех присутствовавших. Загадочным образом он знал их всех по именам.

Капуцин ничуть не удивился, он был на Острове весьма популярной фигурой, но всё равно не удержался от комментария:

— Может быть, ты представишься, малявочка! Я лично вижу тебя в первый раз. Ты что же, охраняешь Жемчужное озеро?

— Меня зовут Кокои. Кокои здесь живёт.

Листолаз Кокои был очень мал и говорил слитком тихо, поэтому Птеранодон добродушно подставил своё крыло, чтобы лягушонок мог обратиться повыше и рассмотреть собеседников.

— Не стесняйся! Давай заскакивай, дружище! Золотой лягушонок вдруг стал красным.

— Что с тобой? — забеспокоился Крикуль.

— Кокои стыдно, — ответил лягушонок.

— Почему? — хором спросили Крикуль, Птеранодон и Капуцин и тут же рассмеялись, удивившись своему единодушию.

— Не знаю, предложил бы Птеранодон своё крыло, если бы узнал, что Кокои очень ядовит, — лягушонок всё время называл себя по имени, избегая слов «я» или «мне».

— Это как? — заморгал Птеранодон. Капуцин на всякий случай сделал шаг назад.

— Вероятно, вы ничего не знаете о Кокои. Кокои ещё называют «листолаз ужасный». Яд Кокои в тридцать пять раз сильнее яда кобры и в тысячи раз сильнее цианистого калия, — лягушонок не двинулся с места, но после его слов Капуцин в мгновение ока очутился на гребне Птеранодона.

Крикуль с любопытством разглядывал это маленькое ядовитое создание Природы.

— Ну и ну-у! — протянул Крикуль, — оказывается, совсем не нужно иметь грозный вид, чтобы лишить кого-то жизни. А чем же ты занимаешься на Жемчужном озере? — спросил Крикуль и подставил Кокои своё крыло.

Кокои ловко вскочил ему прямо на плечо и снова стал золотого цвета. Теперь он был похож на золотую брошь в виде маленького лягушонка.

— Крикуль, что ты делаешь? Этот головастик в любой момент может отправить тебя к праотцам досматривать вечный сон, — осторожно поинтересовался Капуцин, оседлавший Птеранодона.

— Я не боюсь! — уверенно и спокойно произнёс Аист. — Если бы Кокои хотел нам навредить, то не стал бы предупреждать о своих планах.

— Ну как знаешь! — Капуцин, казалось, и не думал спускаться на землю и, сидя на шее Птеранодона, продолжал: — С этим золотым значком, Крикуль, ты похож на героя, награждённого орденом за храбрость! Не хватает только ленточки. Ишь ты какой, Кокои! — принялся разглядывать ядовитого лягушонка корреспондент. — Надо же, в тридцать пять раз ядовитей кобры. Кто бы мог подумать?! — сидя на спине Птеранодона, Капуцин чувствовал себя в относительной безопасности, но, как только Крикуль захотел подойти поближе к Птеранодону, Капуцин заверещал как резаный: — Стой там, не приближайся! Я ещё жить хочу!

— Да кто тебе не даёт, живи на здоровье! — сказал Крикуль и снова вернулся к вопросу о миссии Кокои на озере.

— Кокои растворяет мёртвые жемчужины, ведь силы Кокои хватает, чтобы навечно усыпить полторы тысячи человек за один раз.

Капуцин свистнул так, что Крикуль испуганно втянул голову в плечи.

— Однако! В общем, ты, Кокои, — санитар Жемчужного озера?!

Птеранодон никогда не видел такого смертоносного существа, но почему-то тоже несколько не боялся его.

— Слушай, «листолаз ужасный», а ты, часом, не заливаешь? — недоверчиво покосился на Кокои Капуцин.

— Кокои всегда говорит правду.

— Ну допустим, — не унимался Капуцин. — Однако наш пикничок подходит к концу, и мы с друзьями торопимся навестить владения Ноябрьрины. Насколько я понимаю, это совсем недалеко. Так что разрешите откланяться, и до новых встреч в эфире!

Кокои ловко и стремительно перепрыгнул с плеча Крикуля прямо на макушку Птеранодона и очутился перед самым носом осмелевшего журналиста. «Смелчак» Капуцин так же по-лягушачьи соскочил на землю и кубарем откатился па безопасное расстояние. Птеранодон покосился на лягушонка, но никого не увидел, а только почувствовал еле уловимое прикосновение к коже.

Кокои не сделает вам плохо. Бояться не надо. Кокои друг. Возьмите Кокои с собой. Кокой будет вас охранять.

— От кого? — спросил Капуцин, который уже выглядывал из-за спины Крикуля.

— Кокои не знает. Октябрина просила Кокои вас охранять.

Друзья немного посоветовались и решили, что Кокои может присоединиться к их компании. Всё-таки Октябрина — настоящая, добрая волшебница и дурного им не пожелает. Видно, знает наперёд, что Кокои сможет им пригодиться.

Капуцин всех строго-настрога предупредил, что согласен терпеть этого ядовитого «головастика» только до тех пор, пока тот находится на почтительном расстоянии. А гостеприимный добродушный Птеранодон разрешил Кокои оставаться у него на голове.

— Только держись крепче, дружище. Поехали! Жемчужное озеро осталось позади. Путешественники приближались к владениям Ноябрьрины. Лес, простиравшийся справа от них, почти весь был покрыт золотым убором. И на этом золотом фоне канареечно-жёлтого цвета Кокои смотрелся особенно гармонично. Теперь он сидел у самого основания гребня Птеранодона и казался его третьим глазом, в котором отражалось багровеющее Солнце.

Впереди уже отчётливо виднелась лужайка перед замком феи. Неизвестность, словно магнитом, притягивала к себе Крикуля: «Так бы и странствовал всю жизнь».

Капуцин почему-то не захотел рассказывать подробности о фее ноябрия, ограничившись двумя словами:

— Сам увидишь!

Но позже Капуцин поинтересовался у Крикуля, любит ли он читать. И сообщил, как бы между прочим, что Ноябрьрина обожает книголюбов.

Крикуль имел дело только с учебниками по волшебству, магии и заклинаниям. Это были толстые старинные фолианты, а многочасовые уроки с зубрёжкой и долбёжкой только отвращали его от чтения. Если бы не строгость Отца, он вообще не раскрыл бы ни одной книги. Чтобы отвлечься от неприятных воспоминаний о жизни в замке Короля Страха, Крикуль спросил Птеранодона:

— Птеранодон, а ты любишь читать?

— Я только учу буквы.

— Молодец, лет через сто, глядишь, осилишь грамоту, — не сдержал упрёка Капуцин.

— Ну почему через сто? Я уже знаю почти все буквы и даже читаю по слогам букварь. Мартина с нами занимается. А иногда она читает нам вслух истории про животных.

— Ну-у-у, да ты настоящий эрудит! А как наш юный друг Кокои преуспел в учении? — Капуцин никак не мог отказать себе в удовольствии продемонстрировать своё превосходство.

— Кокои слишком умный, чтобы учиться.

— Ну, понятно, зачем палачу быть грамотным, его и так все боятся!

— Неужели есть на свете существа, которые получают удовольствие от чтения книг? — Крикуля попытался отвлечь разговорившегося Капуцина и разрядить обстановку.

— Смотря каких книг! — непонятно начал Капуцин. — Есть такие книги, что за уши не оттащишь.

— Что же там такого интересного? — недоумевал Крикуль.

— О, друг, такие встречаются головокружительные приключения, загадочные, такие захватывающие, леденящие кровь истории, что время останавливается, душа выворачивается наизнанку. Книга может заставить тебя плакать, смеяться, горевать, мечтать, думать. Да мало ли на какие подвиги может подвигнуть хорошая книга.

Капуцин ещё что-то говорил, но Крикуль мысленно перенёсся в книжный магазин, где он однажды оказался из-за горько плакавшего маленького очкарика. Бабушка категорически отказывалась купить ему дорогостоящую книгу, о которой он, видите ли, так давно мечтал. Крикуль тогда ещё очень удивился, что собрал столько отличных, высококачественных слёз, и всё из-за какой-то книжки.

Жаль, он сейчас совсем не мог вспомнить её названия. В памяти всплыла только обложка книги, с которой на него смотрел почти такой же вихрастый мальчишка, как и тот, что плакал, в точно таких же круглых очках. Только на лбу у нарисованного паренька был зигзагообразный шрам.

Капуцин вошёл в свою привычную роль всеобщего покровителя, и Крикуль услышал его ворчание.

— В общем, грамотных среди вас нет, придётся мне снова гидом-переводчиком работать. Без меня вы будете чувствовать себя у Ноябрьрины полными идиотами.

Никто не хотел чувствовать себя идиотом, и Крикуль спросил:

— Может быть, вообще не пойдём к Ноябрьрине, раз уж мы такие «тёмные»?!

Но Капуцин вдруг понял, что перегнул палку. Волшебница будет недовольна, всё-таки она лично пригласила Крикуля в гости. Тем более что будто-то бы специально, чтобы рассеять все сомнения Аиста, к ним подлетела стрекоза-визитка, на спинке которой виднелась каллиграфически выполненная надпись «Ноябрьрина».

Капуцин затараторил:

— Нет-нет-нет, что ты?! Обижать Ноябрьрину никак нельзя. А вот и визитка, фея нас уже ждёт. Это будет настоящим свинством проигнорировать её приглашение.

Ноябрьрина

Глава, в которой Крикуль познакомился с Маленьким Принцем и впервые увидел закат

Внезапно над головами путников пронёсся неизвестный летающий объект. Следом ещё один.

Они увидели, что на поляне перед замком Ноябрьрины уже скопились десятки самых разнообразных видов транспорта. Здесь были сверхзвуковые самолёты и фиакры; телеги и автомобили — знаки узнали бы «Линкольны» и «Феррари»; кареты времён Людовика Четырнадцатого, запряжённые четверками гнедых лошадей, верблюды, навьюченные расшитыми тюками, стояли рядом с аэропланами и египетскими колесницами. Над восточными носилками с пышными балдахинами парили гигантские воздушные шары и летающие тарелки.

Навстречу путешественникам вышел маленький симпатичный мальчуган в развевающемся на ветру синем кителе, подбитом красным шёлком. Это был очень милый малыш с радостными, сверкающими, словно звёзды, глазами и золотыми волосами.

«Неужели это и есть фея Ноябрьря? Если это так, то она совсем не похожа на своих сестёр», — сердце Крикуля почему-то готово было выпрыгнуть из груди. Ничего подобного ему ещё не приходилось испытывать.

— Это Маленький Принц из сказки одного французского лётчика, — Капуцин развеял сомнения Крикуля.

— А я подумал, что это сама фея, — рассеянно проговорил Крикуль, который не мог оторвать взгляд от малыша.

Маленький Принц махнул рукой в знак приветствия и обратился непосредственно к Крикулю.

— Пойдём, Крикуль, я покажу тебе закат. Ты ведь никогда не видел заката Солнца. Это очень красиво.

Малыш взял Крикуля за крыло и повёл его к Океану, который плескался сразу же за замком Ноябрьрины. Маленький Принц и Лист Крикуль шли впереди, за ними еле поспевал Птеранодон с лягушонком на лбу, замыкал процессию Капуцин, оглядывавшийся на вход в замок. Там в роскошных ливреях с выпушками и аксельбантами стояли великаны — швейцары.

— Откуда ты знаешь, что я мечтал увидеть закат? — спросил Крикуль.

Но малыш ему почему-то не ответил.

— У него вообще есть такая привычка — не отвечать на вопросы, — сказал со знанием дела догнавший их Капуцин.

— А разве я не прав, и ты вовсе не мечтал об этом? — спросил Крикуля Маленький Принц.

— Ты абсолютно прав. Я мечтал. Я никогда не видел заката, я видел только восход. Но как ты догадался?

— Разве это так важно?

— Может, ты и прав.

— Я очень часто бываю прав.

И тут они увидели как Огненное Яблоко, похожее на громадный оранжевый апельсин, стало медленно клониться к горизонту. Маленький Принц протянул руку, и Яблоко на минуту задержалось на его ладони.

От воды повеяло лёгким ветерком. Волны тихо напевали колыбельную песенку.

— Сколько воды! — тихо произнёс малыш. — На моей планете её очень мало.

Крикуль любовался закатом и, казалось, никого не слышал. Он видел, как распахнулась бездна Океана, и пылающее Солнце исчезло.

— Прекрасно! — сказал Крикуль. — Но мне почему-то немного грустно.

— Это оттого, что ты видел закат впервые. И всё закончилось так быстро. Однажды на моей планете я видел сразу сорок три заката.

— Невероятно! Как тебе повезло! — восхитился Крикуль.

— Ты тоже увидишь закат ещё много раз, ведь он так и не купил Солнце.

— Кто?

— Один богач. Ты не слышал эту историю?

— Нет, — искренне удивился Крикуль, который даже не мог предположить, что кто-то может захотеть купить Солнце. — Как это?

— Один деляга с планеты Богачей. Он скупил все природные богатства, все сокровища мира и, наконец, захотел купить Солнце. Богач обратился к Природе с требованием продать ему Солнце, чтобы единолично им распоряжаться. Чтобы оно вставало только по его желанию и светило только тогда, когда он захочет.

И Природа назначила очень большую цену: «Отдай мне за Солнце свою жену». Богач любил жену, но желание иметь Солнце перевесило, и он согласился. Когда жены не стало, Природа попросила в обмен за Солнце его детей. Богач очень любил детей, но хорошенько подумал и решил, что Солнце, которое подарит ему власть над всей Вселенной, он любит всё-таки больше детей, и его дети исчезли. Тогда Природа сказала, что он должен отдать ей свою жизнь и ценой собственной жизни выкупить власть над Солнцем. «Зачем мне тогда Солнце, если я умру?» — «Но такова моя цена, — сказала Природа, — и на меньшее я не согласна!» Богач подумал и решил, что Солнце ему всё-таки не по карману. Поэтому Солнце по-прежнему принадлежит всем жителям Вселенной и никому конкретно.

— Знаешь, когда я однажды сидел и любовался закатом, — продолжал Маленький Принц, — то я спросил напрямик: «Солнечные лучи, вы чьи?». Они ответили: «Ничьи» — «А звёзды в

ночи?» — «Тоже ничьи!» — «А облако чьё?» — «Ничьё!» — «А радуга чья?» — «Ничья!» — и Маленький Принц звонко рассмеялся.

— Хорошо, что не всё продаётся! — облегчённо вздохнул Крикуль и спросил Маленького Принца: — А как называется твоя планета?

— Астероид Б-612.

— Я никогда не слышал о такой планете.

— Прилетай в гости. Я познакомлю тебя с Розой и Барашком.

Свет на небе погас, и возле кромки Океана зажгли свои фонарики крошечные ночесветки. Из замка доносились звуки бравурной музыки, смех и громкие голоса. Только сейчас Крикуль обратил внимание на отсутствие Капуцина.

— А где это наш говорун? — спросил он Птеранодона.

— Сам не знаю. Засмотрелся я. Вроде бы Солнце как Солнце, а будто бы сейчас и сам впервые увидел его. Чудеса! А ты, Кокои, не заметил, каким это ветром Капуцина сдуло?

Вид у Кокои был сонный, но листолаз ответил довольно бодро:

— Говорливая обезьяна ушла в замок феи. Кокои никогда не спит. Кокои видит всё.

У самого входа в замок, возле ярко освещённого подъезда, стоял человек в военной форме и пилотке. Его доброе, приветливое лицо расплылось в улыбке, как только он увидел приближающуюся к нему компанию.

— Маленький Принц, я тебя потерял. Куда это ты запропастился?

— Ты меня всё время теряешь. Я же тебе говорил когда-то, что если с кем подружусь, то остаюсь с ним навсегда. Я очень верный.

— Это правда! Но всё-таки где ты был?

— Я показывал друзьям закат. Познакомься, вот это Аист, его зовут Крикуль-Музыкуль. Он никогда в своей жизни не видел заката.

— Это невероятно, — сказал военный и пожал истинное крыло. — А я видел закат с высоты птичьего полёта и даже выше. Я — лётчик.

— Я тоже Авиатор! — протянул своё крыло Птеранодон.

— Здравствуйте, коллега! — приветствовал его военный.

— Меня зовут Птеранодон.

— Очень приятно. Я запомню. Ну что, пойдёмте, вас уже все заждались!

— Сейчас! — сказал Маленький Принц. — Пойдём, только ты нарисуй Крикулю меня, как тогда, со звёздами на эполетах.

— Ну хорошо, если ты хочешь, — сказал лётчик и тут же изобразил на небольшом листе бумаги Маленького Принца. Признаться, на рисунке он был очень похож на себя.

— Возьми! — Маленький Принц с радостью протянул Крикулю спой портрет. — У тебя есть веточка миртового дерева. Как только я тебе понадоблюсь, проведи вдоль рисунка, я тут же окажусь рядом с тобой.

— Как это ты здорово придумал! — Крикуль был растроган до слёз. — Спасибо! Рад был познакомиться. — Он совсем не удивился тому, откуда это Маленький Принц знает про действие подарка Октябрины.

— Это тебе на прощание. Мы ведь здесь на Острове Детства последнюю ночь. Завтра на рассвете все разъезжаются.

— Кто разъезжается? — спросил Крикуль, но Маленький Принц ничего не ответил и через мгновение скрылся вместе с лётчиком за стеклянными дверями замка Ноябрины, вращающимися, словно карусель.

Путники проследовали за ними и были буквально оглушены громким приёмом. Просторный холл замка и лестница, ведущая на второй этаж, были полны гостей. Все присутствующие будто бы только и ждали появления Крикуля с друзьями. На них обрушился шквал приветствий и гром аплодисментов. Капуцин в белой манишке и чёрном парадном галстуке-бабочке с микрофоном в руках вёл церемонию приветствия:

— А вот и наш новый герой Аист по имени Крикуль-Музыкуль — символическая птица Детства. Прошу любить и жаловать!

Овации и радостные возгласы рукоплещущей толпы вновь прервались бодрым комментарием неутомимого корреспондента Острова Детства.

— Его новоиспечённые друзья: доисторический ящер Птеранодон — обитатель фермы феи Мартины.

Послышался новый всплеск аплодисментов.

— Златошкурый лягушонок Кокои, бдительный и смертельно ядовитый, но храбрый и преданный, добавил Капуцин под несмолкающие аплодисменты. И, наконец, всеми вами любимый, неподражаемый церемониймейстер, журналист и ви-джей Ка-пу-цин-чик, то есть я-я-я!!! Послышался свист и улюлюканье.

К обескураженным таким сногшибательным приёмом друзьям подошла дама приятной наружности. Она была очень похожа на всех фей, которых Крикуль уже видел на Острове. Только Ноябрина выглядела немного старше Октябрины и Сентябрины. И если бы не исключительно пышный наряд и шарф на шее, Крикуль мог бы запросто спутать её с любой из сестёр. Они были почти близняшки!

— Ну наконец-то и ты, дорогой Крикуль. Не стойте в дверях, проходите! Я познакомлю вас с моими гостями.

Капуцин подскочил к Птеранодону:

— Не вздумай изображать бедного родственника, проходи безо всяких церемоний.

Крикуль скромно поклонился всем присутствующим и пошёл за хозяйкой дома. Он тихо спросил Капуцина:

— Кто эти люди? Что здесь происходит? У меня такое чувство, что меня оглушили.

— Не волнуйся, дружище, сейчас всё поймёшь сам. Ты сегодня настоящий именинник! Идём, идём! — и Капуцин потащил упирающегося Крикуля к толпе гостей.

Крикуль видел восхищённые, любопытные, испытующие взгляды собравшихся. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Из разных концов зала доносилось: «Новый герой! Смотрите! Это новый герой!»

— С чего ты взял, что я какой-то именинник?! Ничего не понимаю. Новый герой — это что, меня так называют? Почему? Да объясни ты, упрямый

осёл с микрофоном, — недовольно прошипел Крикуль.

— Чего ты злишься, дурачок! Это писатели-сказочники. Понимаешь? Раз в году фея Ноябрина принимает их у себя в замке. Она покровительница сказочников мира. А ты — новый литературный герой.

— Какой я герой?

— Ну сказочный, ска-зоч-ный. Герой новых приключений. До тебя на Острове Детства никто не бывал из простых смертных. Когда-нибудь я напишу об этом роман.

— Капуцинчик, перестань хвастаться и болтать понапрасну, — упрекнула журналиста Ноябрина. — Иначе тебе никогда не раскрыть тайну шкатулки Октябрины.

— Да я уже её почти раскрыл. Не сомневайтесь, уважаемая госпожа. Нет такой тайны, которая бы осталась для меня загадкой.

— Ну-ну, посмотрим! — фея подхватила под локоток стоявшего неподалёку худощавого господина с умными, добрыми глазами. — Как вы его находите новенького, Ганс?

Длинноносый, но обаятельный, несмотря на свою неприглядную внешность, сказочник вежливо произнёс:

— Ну что ж, испуганный мальчуган очень похож на моего гадкого утёнка. Надеюсь, со временем он превратится в настоящего прекрасного лебедя.

Крикуль не понял ни слова. Причём здесь лебедь?! Ни в какого лебедя он превращаться не собирался. Хватит с него и Аиста. Ему и без того уже давно хотелось принять свой привычный облик.

Ноябрина, как и её гостеприимные сёстры, предложила Крикулю чувствовать себя как дома и упорхнула к гостям в другой конец зала.

Капуцин оказал Крикулю неоценимую услугу, объяснив наконец что к чему, и стал потихоньку нашёптывать ему на ухо:

— Это был датский сказочник, знаменитый на весь мир Ганс Христиан Андерсен.

— Такой некрасивый?

— Он много страдал, его не любили. Зато сказки у него просто очаровательные. А вон там, видишь, высокий элегантный господин в берете с плюмажем, в бархатной чёрной накидке. Это англичанин Оскар Уайльд. Если буду тебе всех перечислять, времени не хватит, до утра не управимся. Вон стоят лицом друг к другу литераторы братья Гримм, Вильгельм и Якоб. Рядом с ними Шарль Перро — архитектор из Франции, но сказки у него тоже ничего себе. Гауф, Гофманн — эти из Германии. Евгений Шварц, Грин, Чуковский — эти из России. Посмотри вон на того кучерявого, юркого, что не стоит па месте. Это же знаменитый русский поэт Пушкин. Не читал?

Крикуль отрицательно помотал головой.

— Ну я же говорил, что будете чувствовать себя идиотами! Я, как всегда, прав.

— Да ладно, не зазнавайся! Кто здесь новый герой? Ты или я? — переспросил Крикуль не без гордости.

— Это ещё вопрос, кто здесь новый герой. Поживём — увидим! А вот там, за столиком... Куда ты смотришь? Там, в глубине зала — ну,

видишь? — сидят четыре тётки: одна вся в звёздах на лиловом шёлке, ну, такая, в необычном костюме, это восточная сказочница Шахразада, а с ней рядом шведки — Сельма Лагерлёф, Астрид Линдгрен и англичанка Памела Треверс, а к ним сейчас подходит, смотри-смотри, эта из новеньких — Джоан Ролинг. Она написала историю маленького волшебника Гарри Поттера.

— Ой, — вскрикнул Крикуль, — этого я знаю. Точно, Гарри Поттером звали героя со шрамом на лбу.

— Читал? — обрадованно спросил удивленный Капуцин.

— Нет, только слышал! — честно признался Крикуль, неожиданно вспомнив название книги, из-за которой так горько плакал очкарик в магазине.

— Ну правильно, зачем читать, когда слух хороший! — тут же съязвил Капуцин.

— А ты что же, все книжки на свете читал?

— Ну не все, конечно, но, что касается сказок, обожаю! — растянул удовольствие, произнося название своего любимого литературного жанра, Капуцин. И тут же снова грянул гром аплодисментов, будто все присутствующие слышали их разговор и горячо одобрили выбор журналиста.

Праздник был в самом разгаре. Ноябрина угощала гостей изысканными деликатесами. Звучала музыка, и некоторые из гостей принялись танцевать. Если бы Крикуль знал в лицо героев сказок, тоже присутствовавших на празднике Ноябрины, то он непременно узнал бы в них веселящихся Герду и Кая, кружащихся в танце бесшабашную Пеппи и маленького носатого карлика, очаровательную Ассоль и слегка растерянного Ихтиандра, Золушку и Аладдина, Балерину и Стойкого Оловянного Солдатика, которому удавалось весьма ловко вальсировать на одной ноге.

К Крикулю подошла пышноволосяя белокурая незнакомка, с огромными изумрудными глазами, и скромно пригласила его на танец. Отказаться было бы весьма неучтиво, и Крикуль впервые в жизни попробовал танцевать. Как ни странно, у него получилось довольно сносно, чего он никак не ожидал. Когда они вальсировали, то рядом с ними мелькнуло радостное лицо Маленького Принца, приветливо махнувшего Крикулю свободной рукой, в то время как другую его руку крепко держал улыбающийся лётчик.

— Спасибо за танец! — присела в книксене партнёра Крикуля и растворилась в толпе.

— Весёлая, — провожая её взглядом, сказал Крикуль и спросил Капуцина: — Знаешь, кто это?

— Нет, а что же ты не спросил?

— Не догадался! — грустно вздохнул Аист.

— Это какая-то новенькая, может быть, из ещё не родившихся.

— Как это?

— А так. К Ноябрине приезжают сказочники, не только когда-то жившие на свете или живущие в настоящее время, но и те, которым ещё только предстоит родиться. Когда-то придёт их час, и они станут настоящими сказочниками, иначе бы Ноябрина не пригласила их к себе. У неё такое тонкое художественное чутьё!

— Фантастика! — восхитился Крикуль. Он почувствовал себя по-настоящему счастливым.

Наутро Крикуль с друзьями провожали гостей Ноябрины. Постепенно поляна перед замком опустела. Ноябрина картинно смахнула кружевным платочком хрустальную слезку. Та упала на землю, и на этом месте моментально выросла незабудка.

— Ах, — печально, но светло вздохнула Ноябрина, — теперь целый год нужно ждать новой встречи с моими сказочными друзьями. Как было хорошо!

— Ну мы тоже пойдём! — Крикуль, несмотря на то, что они не спали всю ночь, был полон сил и бодрости.

— Хорошо, мои дорогие! Берегите друг друга! И счастливого пути! Встретимся на новогоднем балу у Декабрины. Ох, как стремительно летит время! Бал уже не за горами, а я так простужена. — Ноябрина взялась за горло, которое было обмотано тёплым шарфом, который совсем не подходил к её бальному наряду. — Пойду, посоветуюсь с Сентябриной, пусть полечит меня своими шалфелями и медовыми конфетками. Прощайте, крошки.

Ноябрина упорхнула в замок, на прощание неожиданно чмокнув Крикуля в щёку. Это был первый в его жизни поцелуй.

Январина

Глава, в которой Кокои впервые вступает в схватку с Оксами

Холодало. Пока Крикуль с друзьями шёл к Январине, начался снегопад. Невероятно крупные пушистые снежинки падали на головы и плечи путешественников. Кокои стал мёрзнуть. Его оконечнее тельце стало скатываться с шеи Птеранодона, словно с ледяной горки.

— Капуцинчик, — спросил Птеранодон, — может, ты понесёшь Кокои? Смотри, он совсем замёрз, а ты такой мохнатенький, в тёплой шубке.

— Ты что, с ума сошёл?! Ещё не хватало, я не самоубийца.

— Кокои ничего не сделает Капе плохого, — еле слышно сказал Кокои.

— Послушай-ка, Кокои, оставь меня в покое! Ну что это такое? Такое золотое, ужасное такое! Нет, что вы? Ни за что! — пропел Капуцин с нескрываемой брезгливостью в голосе и тут же не преминул себя похвалить: — Нет, ну до чего я талантлив. Нужно будет запомнить эту поэтическую строку до того, как мы доберёмся к фее, поэтессе Майе. «Кокои, Кокои, оставь меня в покое!» Какая находка! Да, она определённо оценит мой талант.

— Давай, Кокои, малыш, перебирайся ко мне, — Крикуль остановился и подставил крыло. — Я тоже не такой скользкий, как Птеранодон.

Кокои не пришлось предлагать дважды, он с благодарностью перепрыгнул на новое транспортное средство и зарылся в перьях Крикуля.

За поворотом показался замок Январины, внешне очень напоминавший гигантскую снежинку, друзья прибавили шагу и вскоре были уже у цели. Однако навстречу путешественникам никто не вышел — ни хозяйки, ни её стрекозы-визитки они не увидели и сами вошли в ледяной замок.

Внутри было тепло и уютно. Внутренних размеров камин, выдолбленный из ледяной глыбы, был предусмотрительно зажжён, и языки пламени в его жерле наперегонки подпрыгивали один выше другого. Высокие окна были задрапированы ажурными белоснежными занавесками, сплетёнными из тоненьких, словно паутинка, ледяных ниточек. Капуцин неожиданно высоко подпрыгнул и заделтаки висевшую под самым потолком роскошную, с виду хрустальную люстру. Её многочисленные подвески-сосульки закачались и весело зазвенели. На остроконечных сосульках заиграли всполохи горящего камня.

Причудливый вид льда мгновенно напомнил Крикулю ледяной замок Короля Страха: «Неужели Январина тоже собирает слёзы, из которых получают такие прочные ледяные предметы?»

Кокои выполз из-под крыла Крикуля и поскокал поближе к камину. Утомлённый бессонной ночью и слегка замёрзший Птеранодон улёгся прямо на ковре перед камином, который скорее напоминал большое пушистое снежное облако.

Царство горячего льда и тёплого снега распахнуло перед ними свои объятия, обещая заслуженный отдых или хотя бы небольшую передышку. Райскую тишину разрушил визг пилы. Это была самая настоящая циркулярная пила. Спутать этот звук с другим было просто невозможно. Разнежившиеся от тепла друзья мигом подскочили. Все, кроме Кокои, который мирно посапывал возле каминки и, казалось, полностью отключился от всего происходящего. Звук доносился из сада, который располагался во внутреннем дворике замка Январины.

Крикуль хотел было отодвинуть занавески и выглянуть в сад из окна, но ажурная ледяная портiera оказалась монолитной и не поддавалась, оставшись неподвижной. Неизвестный продолжал пилить. Пронзительный визг пилы терзал слух Крикуля, чем причинял ему невыразимые страдания. Он первым нашёл дверь в галерею, оказался в зимнем саду феи Января и увидел совсем юное создание. Пятнадцатилетняя па вид девушка, одетая по-спортивно, в огромных очках, защищающих от осколков льда, пилила ледяной столб. Пилу Январина держала твёрдо и уверенно, и, вообще, все её движения были хорошо выверенными и ловкими.

Заметив Аиста, она прекратила работу.

— Крикуль! Вот здорово! Ты уже здесь! Привет! Крикуль привык к поразительной осведомлённости обитателей Острова и ничему не удивлялся. Он рассматривал Январину, которая была потрясающе похожа на своих сестёр, только выглядела значительно моложе. Скажем, их сходство с Ноябрьриной было таким же, как у матери с дочкой.

— Вот, не закончила. Жаль, а так хотелось успеть до твоего прихода. Придётся это сделать в твоём присутствии. — Январина слегка смутилась.

Крикуль только сейчас заметил, чем занималась Январина. Перед ними стояло скульптурное изображение ледяного аиста с одним крылом. Другое крыло пока было единым целым с монолитом глыбы, оно будто бы ещё не успело вырваться из ледяного плена.

— Давай расколдуем тебя окончательно! — выпалила скульпторша, натянув огромные очки на глаза и подняв с земли свой инструмент.

Крикуль не успел отреагировать на слово «расколдуем», за которым мог скрываться некий намёк на его притворство. Пила снова истерично завизжала, и Январина виртуозно выпилила сначала аистинное крыло целоком, а затем каждое его пёрышко в отдельности. Через мгновение перед ними красовалась ледяная остроносовая птица в натуральную величину.

— Грандиозо! Брависсимо! — почему-то по-итальянски выразил своё восхищение Капуцин. Он вместе с Птеранодоном, оказывается, давно уже наблюдал за творческим процессом.

Январина только улыбнулась в ответ на комплимент журналиста и обратилась непосредственно к Крикулю:

— Ну а тебе правится?

— Нравится. А из чего сделан этот аист?

— Из льда!

— А лёд из чего?

— Из воды.

— Из какой воды?

— Из родниковой. Пойдём, я покажу тебе мой родничок.

Они сделали несколько шагов, и Крикуль увидел маленький фонтанчик, бьющий прямо из-под земли прозрачным ключом. От его чаши тянулся в сторону небольшой желобок, по которому вода попадала в вертикально стоящий цилиндр.

— Смотри, заготовка уже почти готова.

Сквозь прозрачную оболочку резервуара Крикуль увидел, что голубоватая вода наполовину замёрзла.

— Но это ещё не всё, — сказала Январина и потянула Крикуля назад к его ледяному двойнику.

Фея подняла сифон, на котором было написано «Живая вода», и принялась опрыскивать скульптуру. Она начала с головы, и новоиспечённый аист, обрызганный живительной влагой, удивлённо заморгал глазами, а спустя минуту уже неистово щёлкал клювом. Когда опрыскивание было закончено, ледяное изваяние, смешно подражая Крикулю, принялось расхаживать на плохо гнущихся ногах, а затем отправилось гулять по саду. Он чувствовал себя здесь, видимо, более уверенно, чем его живой прототип.

Наконец, ледяной аист остановился напротив Крикуля. Крикуль будто смотрелся в зеркало.

— Феноменальное сходство, Январина! Bravo! — Капуцин был щедрым на похвалы и хотел было прибавить к сказанному ещё несколько десятков фраз, но на этот раз ледяной аист не дал ему поупражняться в красноречии и глухим утробным голосом произнёс:

— Привет, братишка!

Ноги у Крикуля разъехались, будто он был на коньках, а под ним была не трава, а самый настоящий лёд, и остался неподвижно сидеть с раскрытым от удивления клювом.

— Ну как сюрприз, удался? — спросила Крикуля довольная Январина.

Крикуль не успел ответить, как все присутствующие услышали страшный грохот бьющегося стекла, донёсшийся из гостиной Январины.

Вбежав в гостиную, они увидели жуткий беспорядок. От былой ухоженности зала не осталось и следа. Вокруг валялись осколки камина, люстры, разорванный в клочья белоснежный ковёр, на котором совсем недавно нежился Птеранодон. Посреди зала маленький Кокои, выделяясь на белом фоне ярким красным пятном, выпускал пары, словно раскалившийся, закипевший чайник.

— Что это ты наделал, золотце самоварное? — присвистнул Капуцин.

Кокои из золотого стал пурпурно-красным, и на его спинке выступили еле заметные кровавые капельки.

— Не подходите к Кокои. Кокои должен успокоиться, — прохрипел листолаз ужасный. Эпитет «ужасный» сейчас ему очень подходил.

— Я же говорил, что от него одни хлопоты. Кайся, ядовитая гадина, зачем учинил погром? — Капуцин, как всегда, был щедрым при раздаче «титлов».

— Кокои не гадина. Гадина была здесь, и Кокои её прогнал.

— Это про какую гадину ты говоришь? Здесь кроме тебя, лилипут, ещё пять минут назад никого не было.

— Она давно ползла за нами, Кокои видит всё, — приглушённо произнёс Кокои.

— Кто?

— Змея. Очковая кобра. Кокои узнал её.

— Вы верите этому листолазу пучеглазому? — спросил Капуцин.

— Верим! — отрезал Крикуль. — Молодец, Кокои, ты настоящий воин!

Кокои начал остывать и очень скоро снова стал похож на золотую брошку.

— Ну, хорошо, верьте ему, верьте до поры до времени, но что мы будем делать с этим безобразием?

Январина попросила не беспокоиться о разбитых вещах и сказала:

— Я всё легко восстановлю. Не беда, дело нескольких часов.

— А можно я попробую? — спросил Крикуль.

— Что, решил заняться художественным выпиливанием, крылатый скульптор? — съязвил Капуцин.

— Нет, вовсе нет! Работа со льдом у меня вызывает аллергию, — зло парировал Крикуль. Он достал из-под крыла веточку миртового дерева и закрыл на минуту глаза. В его воображении возникла гостиная Январины в момент их первого появления. Резвящийся огонь в ледяном камине, хрустальная люстра, кружевные занавески, пушистый ковёр.

«Вроде бы всё!» — Крикуль взмахнул веточкой и открыл глаза. Осколки исчезли, и все предметы снова были на местах.

— Да ты настоящий волшебник, Крикуль, — сказала невидимая Январина.

— Гениально! Только я хочу опять обрести свой несравненный облик. Не имеющий лица журнал — это уж слишком, — добавил невидимка голосом Капуцина.

Крикуль понял, что исчезли все, кто только что здесь присутствовал. Он представил, что в восстановленной во всех деталях гостиной находятся её

хозяйка и его друзья. После этого Крикуль взмахнул миртовой веточкой, и все они моментально материализовались.

— Ну, наконец-то! — успокоившись, произнёс Капуцин. Но тут же снова заволновался: — Смотрите, а куда это подевался наш мужественный Кокои? Ты что же, Крикуль, забыл про него?

— Нет, я хорошо помню, что отчётливо представил себе золотого Кокои посреди пушистого ковра из снега.

— Ну, я так и знал! Сбежал ваш ядовитый листолаз. Всё тут раскокал, свалил на какую-то очковую кобру и испарился.

— Да не мог он сбежать, — уверенно сказал Птеранодон.

— Может, просто ушёл по делам? У меня прекрасный сад, и Кокои, я думаю, там очень понравится. И вам, надеюсь, тоже, — Январина предложила вернуться в сад и продолжить экскурсию.

— А у меня другое предложение, — затараторил Капуцин. — Раз уж Крикуль так лихо обращается с подарком Октябрины, то, может быть, он нас заодно и покормит. Помнится, мы так душевно однажды пообедали.

Крикуль не возражал, но Январина сказала, что сейчас, когда они у неё в гостях, в миртовой веточке нет необходимости.

— Не отказывайте мне в удовольствии продемонстрировать вам своё искусство.

И Январина увела друзей в сад, где они совсем недавно наблюдали за процессом оживления ледяного аиста. Благоухающий сад феи Январины оказался явлением поистине исключительным. Многочисленные плодовые деревья, невыразимой красоты цветы — всё находилось под стеклянным парниковым куполом.

Сидящий прямо под пальмой Капуцин, которого уже было еле видно из-за горы банановой кожуры, расточал комплименты.

— Нет, ну в это невозможно поверить, госпожа фея. Неужели всё это изо льда?

— Да!

— Невероятно, никогда не ел таких ароматных бананов.

— Здесь всё изо льда, — Январина подождала, когда Крикуль выйдет из-за стойки бара, расположенного здесь же в саду, где он с аппетитом съел несколько порций ледяного мороженого, такого же невообразимо вкусного, как и то, которым его угощали другие волшебницы.

— Посмотри, Крикуль! Ты видишь эти одуванчики?

Крикуль стал рассматривать пушистое канареечного цвета чудо природы. Вдруг на цветки упала тень, и они стали закрываться.

— Они завяли? — спросил Крикуль.

— Нет, без Солнца они будто бы засыпают. Это явление в природе называется фотонастией.

— Красивое имя! Фотонастия! Надо запомнить.

— А теперь посмотри на эти листья герани.

Крикуль увидел, как листики стали послушно, словно верноподданные за своим господином, неотрывно следовать за Солнцем, которое медленно прогуливалось над самым куполом сада.

— Видишь, как они поворачивают к Солнцу свои личики? Это называется фототропизмом.

— Январина, это восхитительно! Вы не только великий скульптор, но и прекрасный ботаник. Фототропизм, ну надо же?!

— А тебе не кажется, Капуцинчик, что ты не только прекрасный болтун, но ещё и великий лстец? — Январина внимательно посмотрела на Капуцина.

— Возможно, вы правы! Однако если уж речь зашла о тропизме, то не пора ли нам вступить на тропу неизвестности и приключений? А? Что скажете, мои крылатые друзья? Не пора ли нам в дорогу? — изрядно подкрепившийся тропическими плодами Капуцин чувствовал себя в приподнятом настроении.

— Пожалуй, пора! — согласился Крикуль.

— Пора, пожалуй! — Птеранодон тоже остался весьма доволен обедом. — Но вот только где же наш Кокои? Я уже начинаю волноваться.

— Может быть, он любитесь моим золотым фонтаном? Это в другом конце сада, пойдёмте за мной.

И все отправились вслед за юной феей. Рядом с золотым фонтаном никакого Кокои не оказалось, но зато сам фонтан просто поразил гостей Январины. Конструкция, которую фея незатейливо называла фонтаном, пусть даже и золотым, на самом деле представляла собой сверхсложное сооружение. Основанием фонтана служил небольшой круглый прудик, затянутый сверху тоненькой корочкой льда. Под прозрачным льдом виднелись рубиновые вуалехосты, жёлто-синенькие и полосатые, словно в тельняшках, рыбки, названия которых никто не знал, розовые и лиловые медузы, морские звёзды и морские коньки.

Когда Январина нажала какую-то потайную кнопку, из золотой чаши фонтана, установленного в самом центре этого прудика, взметнулась вверх могучая сапфировая струя. Зазвучала какая-то торжественная музыка, гимн или марш, Крикуль не разобрался в этом. На высоте пятнадцати метров струя превратилась в лёд и зелёными изумрудами рассыпалась у основания фонтана. Над струей загорелось северное сияние, оно гудело, словно орган, и переливалось в такт музыке. Зрелище было великолепным. Все присутствующие замерли, любясь им. Только беспокойный Птеранодон, пристально рассматривая прудик под фонтаном, поинтересовался:

— А там внутри нашего Кокои не может быть?

— Нет! — уверенно произнесла Январина. — Это исключено! Пруд герметично закрыт.

— Но без Кокои мы не можем продолжать наше путешествие, — не унимался Птеранодон.

— Не огорчайтесь, он обязательно скоро найдётся, я уверена! Крикуль, в память о нашем знакомстве вы с друзьями можете взять изумрудные горошины с собой.

— А это что, настоящие изумруды? Или просто подкрашенные ледяные горошины? — заинтересовался предложением феи Капуцинчик и взял в руки холодный зелёный шарик.

— Самые что ни на есть настоящие.

— И не растают в самый неподходящий момент?

— Не знаю, возможно, если обидятся на твоё недоверие.

— Верю, верю! А сколько можно взять? — Капуцин вздохнул и озабоченно произнёс: — Жаль, моя шкапулка пока не раскрылась, а то бы я наполнил её до отказа. Так сколько можно унести камней?

— Достаточно и одного, он волшебный.

Друзья все с удивлением смотрели то на Январину, то на изумруды.

— Если нужно, всего один такой изумруд способен потушить пламя, а если вы будете замерзать, достаточно взять его в руки, и вы согреетесь. Он может превращать песок в воду, а воду в камень, — Январина подняла одну горошинку и снова бросила её на землю. Горошинка рассыпалась на сотню точно таких же изумрудов.

— Январина! Вы самая богатая фея Острова! — выпалил поражённый журналист, сгребая в кулак десяток драгоценных камней.

Январина звонко рассмеялась. Все увидели, как сквозь пальцы Капуцина просочилась на землю голубоватая водичка.

Капуцин разочарованно простонал:

— Ну я так и знал! Что это значит? Какая злая шутка!

— У этого изумруда есть один секрет: только попав в руки щедрого существа, он будет ему полезен. По всей вероятности, он посчитал, что ты слишком жадный, чтобы владеть им!

— Уверен, что и у них он сейчас потечёт. Изумруд называется.

— Давайте проведём эксперимент!

Январина вручила по одному камешку Крикуль и Птеранодону.

Прошло некоторое время, но горошины не таяли, а у Птеранодона камешек стал из зелёного превращаться в синий.

— Молодец, Птеранодон! — похвалила Январина. — Изумруд в твоей лапке становится сапфиром, это говорит о твоих прекрасных душевных качествах. Камень очень чувствителен к таким вещам. У него прекрасная интуиция.

— М-да! — сказал Капуцинчик. — Птеранодон, естественно, равнодушен к драгоценностям. Зачем вымершему динозавру ваши камни, он сам уже ископаемое.

Ископаемое с грустью посмотрело на задетую за живое обезьяну и с достоинством промолчало. Крикуль хотел было пригрозить Капуцину расправой, но в другом конце сада снова послышался звон разбитого стекла и рассыпающихся осколков.

— Ну вот и наш юный следопыт отыскался. А вы боялись, что он потерялся. Веселится себе на просторе маленький укротитель змей, — запас злой иронии Капуцина не иссякал.

— Что же там всё-таки происходит?! — воскликнула взволнованная Январина и прибавила шагу.

Стекланный аист был разбит на сотню мелких осколков. Уцелела только голова, на которой сидел красный, как варёный рак, лягушонок Кокои.

— Зачем ты это сделал, Кокои? — Январина присела рядом с осколками, которые таяли и превращались в лужу.

— Это не Кокои! Это ужасная кобра, — Кокои хоть и говорил тихо, но выглядел достаточно свирепо.

— Кокои, смени пластинку! Мы это уже слышали. Что же ты её не умертвил своим

смертельным ядом, который, как ты нам рассказывал, в сотню раз сильнее цианистого калия?!

Кокой как-то сразу поник и с огорчением прозвонил:

— Кокон не смог убить кобру. Кобра сильнее Кокои.

— Вот те на! Как так? — не унимался Капуцин.

— У кобры мёртвая плоть.

— Ну и ну! Это как же?

Никто из присутствующих не мог взять в толк, в чём дело, и не поверил храброму лягушонку, только что самоотверженно сражавшемуся за жизнь друга. Лишь один Крикуль с благодарностью смотрел на крошечное существо, яд которого был слабее яда и злой силы Оксов. Кокои больше не проронил ни звука и, как только остыл и приобрёл привычный золотистый цвет шкурки, был взят Крикулем под крыло. Крикуль не мог выразить словами свою признательность бесстрашному лягушонку, но его сердце переполнилось счастьем и ликованием: «У меня есть друг! Защитник! Настоящий! Разве нянька Рука или исполин Глаз могли бы рисковать жизнью ради меня?!»

Глаза Птеранодона тоже излучали радость.

— Это же надо — мёртвая плоть! Ты мне потом объяснишь, что это такое? — тихонько попросил он Крикуля и тут же получил молчаливое согласие.

Все засобирались в дорогу. Январина предложила остаться на ночлег, но компания решила продолжить путешествие. До бала в замке Декабрины оставалось чуть меньше недели, а им ещё нужно было попасть к Апрельке, Майе, Июньке, Июльке, Августине и, конечно же, к ближайшей соседке Январины Февралине. Необходимо было поторопиться.

— Передавайте всем сёстрам от меня привет! Надеюсь увидет всех вас на балу у Декабрины, — Январина раздавала гостям свои волшебные изумруды, которые были уложены в голубые бархатные сумочки. Одну из них она накинута Аисту через плечо.

— Когда будешь у Майи, закажи ей Свой Заветный Сон. И ты увидишь того, кого давно хочешь увидеть, — загадочно шепнула Январина, наклонившись к самому уху Крикуля.

Крикуль внимательно посмотрел в глаза молодой феи и снова поймал себя на мысли, что на Острове знают о нём гораздо больше, чем он догадывается.

Февралина

Глава, в которой Крикуль с друзьями впервые встречают Любовь

Когда путешественники покинули владения Январины, на них, словно из рога изобилия, снова посыпал густой, пушистый снег.

— Ребята, да он сладкий! — заверещал Капуцин, который был вне себя от восторга. Капуцин подставил лапу ладонью вверх и жадно слизал насыпавшуюся горстку снежинок.

Все последовали его примеру, только Птеранодон с Крикулем остановились и просто раскрыли свои клювы, куда щедро сыпалась с небес сладкая вата. Забавно выглядел и лягушонок, который сидел у Крикуля на плече, высовывал язычок

и, поймав снежинку, словно белую муху, быстро заглатывал её. Глазки листолаза при этом жмурились от удовольствия, которое доставляло ему волшебное лакомство.

— Ой, у меня уже всё в животе слиплось! Сладше этого снега может быть только мёд. Ты ел мёд, Птеранодон? — Капуцин готовил новую каверзу доверчивому ящеру.

— Неа, нехоха не ех! — промычал Птеранодон с набитым ртом.

— Ну это и понятно, сладше морковки наш Птеранодон не ел ничего.

Со стороны замка Февралины потянуло запахом ванили и жжёного сахара.

— Что это такое? — Крикуль старался на Острове Детства не выдавать своего удивления, но сейчас он не смог удержаться.

Такого он не видел даже в самых богатых кондитерских. Правда, однажды, накануне Новогоднего праздника, в одной столичной витрине ему пришлось рассматривать что-то подобное, но то был просто очаровательный торт в виде пряничного домика, украшенного цукатами. А здесь: гигантское многометровое сооружение — великолепный замок — шедевр не то архитектурного, не то кондитерского искусства. И всё это великолепно, судя по всему, съедобно, недаром на крыше сидела целая стая красногрудых птиц, лакомившихся шоколадной черепицей. Хозяйка, по всей видимости, допускала такое положение вещей, а может, даже и поощряла случайных гостей, так как над входом в замок висел плакат, где на розовой марципановой пластинке шоколадной глазурью было выведено по-французски: «Bon Appétit!».

— Приятного аппетита! — перевёл надпись вездесущий Капуцин и как заправший гид стал живописать это обыкновенное чудо: — Обратите внимание на окна замка. Вместо стёкол вы видите посуду из карамели. Сам замок представляет собой сложное сочетание таких кондитерских изделий, как песочное и бисквитное тесто. Каркас глазирован сахарным сиропом, жидким беже и прослоен меренгами. Башни замка залиты густым шоколадом и взбитыми сливками. Их украшением служит монпарель, кондитерская стружка, марципан и сахарная пудра. Имейте в виду, господа, внутри замка Февралины тоже всё, абсолютно всё съедобно! Прошу держать себя в руках! Не передайте сладостей! Можно плохо кончить!

Пока Капуцин раздавал друзьям грозные инструкции, Птеранодон проглотил с десяток эклеров, из которых были сложены перила шоколадной лестницы перед входом в замок. А Крикуль не удержался и уже выковырял несколько конфеток монпасье, утопленных вокруг колокольчика, по виду больше напоминавшего огромный леденец. Под ногами Аиста оказалась подстилка, он вытер ноги, сделав несколько характерных движений, но почувствовал снизу запах пастилы.

— Я же говорил, всё съедобное! — Капуцин дёрнул за звонок, раздался металлический звон колокольчика, но леденец при этом остался у Капуцина в руках.

— Хочешь? — он протянул малиновый леденцовый шарик Кокои.

Лягушонок взял леденец, смачно лизнул его, а в следующий миг просто засунул в рот и стал посасывать, словно младенец, соску-пустышку. Из рта торчала палочка удивительно вкусной конфеты.

На звон колокольчика выбежала раскрасневшаяся пухленькая милашка. Из-под белоснежного колпачка торчали золотые кудряшки. Её ушки украшали вишенки. Накрахмаленное ажурное жабо лежало поверх передника с крылышками, обвивавшего слегка полноватую талию феи Февралина. Февралина обрадованно вскрикнула:

— Ох, мои сладенькие, проходите-проходите, я вас жду-жду-жду. Крикуль-Музыкуль, очаровашечка! Заходи, мой мальчик! Птерано-душечка, ты моя пампушечка! Капуцинчик — апельсинчик, а где мой сахарный Кокои?! Привет, крохотуленька! Мармеладик мой янтарный!

Февралина ласково всех приветствовала и к каждому прикоснулась своими быстрыми, лёгкими пальчиками.

— Мальчики мои! Проходите, осматривайтесь, отдохайте, я скоро буду вас угощать.

— Честно говоря, мы уже сыты! — лениво и с опасением, что возмездие за переедание сладким не за горами, сказал Капуцинчик. На этот раз он очень точно выразил общее мнение.

— Нет-нет-нет, а мой фирменный торт?! Нет-нет-нет!!! Что вы? Что вы? Что вы? Никак нельзя без моего торта, сейчас-сейчас он на подходе.

Крикуль посмотрел вверх и увидел прямо под куполом сводчатого потолка гостиной, которая скорее напоминала грандиозных размеров кухню, желтоватые облака.

— Они ванильные, — мило улыбнулась Февралина, перехватив взгляд Крикуля.

На огромном столе, заставленном вазами с марципановыми фруктами, блюдами с пирожными: буше, безе, суфле, парфе, фигурным, многослойным печеньем, засахаренными орешками, мармеладом и массой других небывалой красоты лакомств, — Крикуль увидел несколько зажжённых свечей, источавших тончайший и сладчайший аромат.

Свечи из сливочной помадки! Рекомендую, попробуй, очаровательно вкусные, — Февралина потянулась ручкой к подсвечникам, но Крикуль попросил не беспокоиться и сказал, что хочет дожидаться её фирменного торта

— Вот умница, ты умница! Правильно, правильно, нужно оставить местечко! Ха-ха-ха! — радостно и приветливо засмеялась кулинарука.

— Вы знаете, я не видел ничего подобного! — Крикуль, оказавшись в мире кулинарных шедевров, чувствовал себя как в сказке.

На соседнем столе из марципановых фруктов, овощей и злаков угадывался портрет какого-то вельможи. Композиция была плотно выложена на прямоугольном подносе-ке. края которого служили рамой необычной картины.

— Это я увлекаюсь в свободное время. Подражаю Арчимбольдо. Слышал ты о таком художнике, Арчимбольдо? Жаль! Очень талантливый был художник. Картинам его нет цены, они очень полезны, они самые удобоваримые на свете! — сказала Февралина и снова рассмеялась.

— А нельзя ли попросить чего-нибудь попить? — Капуцин почувствовал смертельную жажду после такого количества съеденного сахара. — Я уже губы с трудом разжимаю. Слипаются!

— Пожалуйста, пожалуйста, конечно, конечно! Лимонад, сахарный сироп, компотик из персиков, фруктовый пунш, виноградный сок, вишнёвый морс, коктейль из мороженого с малиновым вареньем... — предлагала Февралина.

— А просто водички можно? — не утерпел Капуцин, оборвав длинное, тягучее, словно карамель, перечисление сладких напитков.

— Как это, просто водички? Не понимаю! Для дорогих гостей?! Что вы, что вы? Не откажитесь выпить хотя бы чайку, чайку!

— Ну что ж, чаю можно, только без сахара!

— Это кому как нравится!

Объевшаяся бригада сладкоежек с удовольствием пила чай, который всё равно был приправлен чем-то сладковатым. Наконец подоспел обещанный Февралиной тортик.

Причём подоспел он в самом прямом смысле слова, так как ввалился на собственных ногах. Ног было восемь. Толстенные сахарные столбы в белоснежных башмаках с молочного цвета зефиринками вместо помпонов. Ножки поддерживали трёхметровую многоэтажную громадину. Её украшали шоколадные вензеля, кремовые розочки, марципановые фрукты: чёрный и зелёный виноград, алая клубника в ажурных листиках. Даже смотреть на всё это великолепиие у друзей не было уже никаких душевных сил, не говоря о том, чтобы всё это съесть.

— Точно такой же торт я приготовлю к балу феи Де-кабрины! Это генеральная репетиция, репетиция. Да! Ну, мои сахарные, представляю себе ваше нетерпение, налетайте.

Гости, насилу отдуваясь, попробовали по маленькому кусочку и то только тогда, когда узнали, что торт из мороженого.

— Всё! — сказал пресыщенный Капуцин. — Я теперь сладкого целый год есть не смогу, не то, что через неделю.

— Как? Ты даже не попробуешь марципановых сердечек, которые мы с Любовью приготовили ко дню всех влюблённых?

— Никаких сердечек я не хочу! С меня хватит моего собственного!

Крикуль с друзьями подошли к огромному стенду, который занимал стену одной из комнат замка. На нём сушились несколько тысяч сладких сердечек.

— Угощайтесь! Угощайтесь! Это лишь последние из миллиона сердечек, которые мы с Любовью готовили ко дню Святого Валентина. 14 февраля был праздник, ну вы знаете, День всех влюблённых! И все, кто получили мои сердечные подарки, навсегда останутся влюблёнными и любимыми! И любимыми! Это мы с Любовью постарались, постарались! Скушайте, и любовь навсегда поселится в вашем сердце! Да!

— Я — убеждённый однолюб и всегда буду беззаветно любить только одно существо на свете! И без ваших, простите, Февралина, сердечек марципановых, на которые мне даже смотреть-то тошно. Ну, извините, тошнит меня! Тошнит! Так

вот, я и без них вечно буду любить только его, а он, соответственно, только меня.

— Кого? — хором спросили присутствующие.

— Кого?! — недоуменно переспросил Капуцин. — Вы ещё спрашиваете кого? Конечно, определённо и безо всякого сомнения я говорю о самом прекрасном существе на свете. Я любил, люблю и буду любить только себя! Себя и никого больше! — торжественно, словно клятву, произнёс Капуцин своё признание и засмотрелся на своё отражение в пузатом самоваре.

— Ах, как это печально! — вздохнула Февралина.

— Печально? Вот уж не нахожу в этом ничего печального. Напротив, я считаю, что всякий, кто говорит, будто испытывает к кому-то другому, кроме себя самого, какие-то искренние трепетные чувства, тот или врёт, или безнадежно болен! Но, скорее всего, он просто врёт, врёт, притворщик!

— Бедняжка! — снова вздохнула Февралина. — Как тебя обделила Природа!

— Какой вздор! Извините, Февралина, вы конечно великая волшебница, но вынужден констатировать, что даже великие волшебницы иногда говорят глупости. Любовь — это сплошное лицемерие и обман. И никто, никто не сможет меня убедить в обратном.

Никто не хотел ввязываться в дискуссию. Крикуль, честно говоря, тоже не испытывал особой любви ни к одному существу в мире. И даже если ему и предстояло когда-нибудь узнать это неведомое чувство, то пока оно дремало где-то глубоко в его душе, где-то на самом её доньшке.

Февралина смахнула с розовой пухленькой щёчки крошечную слезинку и еле слышно выговорила:

— Несчастненький! Сиротинушка, бедовая головушка! Один на свете, как перст... Ой, — просяла взгрустнувшая Февралина, — я знаю, как помочь твоему горю!

— Горю?! Вы это серьёзно?!

— Конечно, моя сладенькая обезьянка! Она ещё здесь, и я уверена, она не сможет отказать нам в просьбе вылечить тебя!

— Кто? Вы имеете в виду докторшу нашего Острова фею Сентябрину?

— Нет! Что ты. Сентябрина бессильна вылечить эту болезнь!

— Какую болезнь? О чём вы говорите? У нас жар! Да, очень жарко! Пора открывать окна, — Февралина интригуяще заулыбалась. — А болезнь твоя называется «эгоизм». Тебе несказанно повезло, что она до сих пор гостит у меня.

— Да кто она-то? — Капуцин нервно заходил по залу. Любовь! Я же вам говорила, — загадочно произнесла Февралина и подошла к столу, на котором стоял телефон.

Будет, наверное, лишним напомнить, что сам аппарат был съедобным. Он был выполнен из белого шоколада, а трубка, из которой доносились длинные гудки, как только Февралина сняла её с рычага, была из тёмного шоколада. Февралина подержала трубку в руке, и все довольно отчётливо услышали нежный голосок.

— Алло, — произнёс голосок.

— Дорогая, ты не могла бы к нам спуститься?

— Да! — выдохнул голосок. — Сейчас!

Февралина немного задумалась, наверное, представила, в какой прекрасной сцене ей предстоит сейчас участвовать, какие метаморфозы, чудесные перевоплощения предстоит увидеть, задумалась и незаметно для себя съела шоколадную трубку телефона. Так что на рычаг класть было уже нечего.

— Слушайте, что здесь происходит? — Капуцин заметно побледнел. — Может быть, посвятите меня в ваши таинственные планы?

— Ничего особенного. Сейчас сюда придёт сама Любовь! И ты излечишься от своего эгоизма и сможешь впредь испытывать любовь к другим существам, — сказала сияющая Февралина.

— Позвольте, это насилие! Я вас не просил об этом, это произвол! Вы меня спросили: хочу ли я сам любить, кого бы то ни было, кроме самого себя?

— Ты пока не знаешь, чего ты лишён, бедняжка. О чём же тебя спрашивать?!

Крикуль тоже был весьма заинтригован.

Было бы здорово, если бы наш распрекрасный Капа полюбил бы, ну, скажем, Кокой, это возможно?!

— Конечно! сказала Февралина.

— Что-о-о?! Я категорически протестую! — Капуцин заметался по залу как ужаленный. — Никогда! Не бывать этому!!! Ни за что!!! Эту ядовитую гадину?! Этого золотушного ужастика?! — Капуцин был вне себя от бешенства и отчаяния и не думал о том, что от него могут потребовать всё это съесть.

— А ещё не мешало бы ему более нежно относиться к Птеранодону, — размышлял вслух Крикуль.

— Полюбить этот летающий кожаный мешок?! Простите, это всё равно, что влюбиться в рваный, грязный башмак, который выбросили на помойку!

Птеранодон был ошарашен таким сравнением. Рваным башмаком его ещё никто никогда не называл. С помойкой тоже был явный перебор, но Птеранодон решил отложить расправу над этим зарвавшимся однолюбом на потом.

— Посмотрим, посмотрим, Капа, голубчик, что ты запоёшь через несколько минут! — Крикуля очень развеселил такой растерянный и перепуганный вид Капуцина. Капуцин метался по залу, словно ему предстояла операция по пересадке сердца.

Широкая лестница, с белоснежными сахарными балясинами, соединяла первый и второй этажи замка Февралины. Было слышно, как по лестнице кто-то быстро спускается вниз. Лёгкой, почти летящей походкой к ним навстречу спешила Любовь. Сердце Крикуля отчаянно забилось, он хорошо слышал его участвовавшие удары. На площадке перед последним пролётом лестницы появилась она.

Любовь замедлила шаг, она уже не бежала, а медленно шла, будто давая возможность всем присутствующим разглядеть себя получше. Крикуль увидел свою сверстницу, девочку лет тринадцати. Это было дитя Солнца. Огненные волосы сияли словно на закат. Милое, удивительно родное лицо с тонкими чертами было усеяно конопущками. Её пушистые длинные ресницы были скромно

опущены, и Крикуль пока не видел, какого цвета у неё глаза.

— Какая большая и светлая! — заговорил первым Кокои.

— Кто светлая? — удивился Птеранодон.

— Любовь! — восхищённо пролепетал Кокои.

— Нет, какая же она светлая, она смугленькая, такая кофе с молоком, с каштановыми волосами, — протянул Птеранодон. — И у неё такой симпатичный длинный носик.

— Как длинный? Вы что тут, все с ума посходили, — Капуцин приблизился к лестнице. — Она абсолютно чёрненькая, просто африканочка какая-то. Жгучая брюнетка. И носик у неё плоский, просто красавица!

— А, по-моему, она рыженькая, — каким-то неуверенным голосом сказал Крикуль.

— Блондинка, большая и светлая, — настаивал Кокои.

— Жёлтенькая, с раскосыми глазами, — Птеранодон не мог налюбоваться на это обворожительное создание.

— Вы что, все дальтоники? — брызнул слюной Капуцин.

— А что такое? — удивился Птеранодон. — Я, конечно, вдаль хорошо вижу, но вблизи всё-таки лучше.

— При чём здесь даль?! — Капуцин раздражался с каждой минутой всё больше и больше. — С кем я связался?! Дальтоником называют того, кто цветов не различает. Ему что синее, что зелёное, всё едино!

— А я и не говорил, что она зелёная!

— Дорогая, посмотри на них, ты видишь, они совсем не знают, какой бывает Любовь, — сказала Февралина, и Любовь подняла глаза. Лучистые, проникающие в самое сердце, неземной красоты глаза изумили всех стоящих перед ней.

— Прелестная!

— Чудная!

— Обворожительная!

— Неподражаемая!

— Неземная!

Эти возгласы принадлежали Птеранодону, Кокои и Крикулю. Капуцин, словно поверженный воин, стоял неподвижно. У него не было слов. Наконец его оцепенение прошло.

— Любовь, вы не оставите нас?

— Нет!

— Вы пойдёте с нами?

— Да!

Эти «да» и «нет» прозвучали словно из поднебесья. Голос Любви был нежным и сильным одновременно.

— Разрешите вам представить моих друзей! — Капуцин вёл себя сдержанно, с достоинством.

— Начну с самого маленького, это наш почти незаметный герой! Кокои — самоотверженная личность, смелый и весьма скромный, моё восхищение его подвигами не знает границ! — В голосе Капуцина не было иронии, он говорил вполне серьёзно. Капуцин подошёл к Кокои, взял его на руки и попросил разрешения поцеловать мужественного лягушонка в его маленькую щёчку. Кокои был слишком растерян, чтобы как-то отреагировать, и Капуцин чмокнул его, без какого

бы то ни было разрешения, и оставил сидеть на своём плече.

— Наш бесстрашный Авиатор! — Капуцин подошёл к Птеранодону. — Он скромн и до самозабвения верен своим друзьям. Его подвиги ещё впереди, я чувствую это всем сердцем. Иметь такого друга, как Птеранодон, это, поверьте, большое счастье для меня!

Птеранодон не выдержал, и расплакался как дитя.

— Крикуль! Наш прекрасный товарищ! Прошу любить и жаловать. Хотя, наверное, говорить эти слова самой покорительнице сердец, пожалуй, излишне. Крикуль — гость Острова Детства, но мы все к нему искренне привязались и почтём за честь называться его друзьями.

Разительная перемена в Капуцине произошла настолько стремительно, что Крикуль не знал, как к этому отнестись. Возможно, Капуцин просто так издевается над ними в свойственной ему манере. Капуцин поклонился Февралине и учтиво поблагодарил за гостеприимство и прекрасное угощение.

— Нам пора в дорогу, ведь Птеранодон очень соскучился по своим сородичам. Владения Мартины так близко, что я могу себе представить его нетерпение.

— Поразительно! удивлённо произнёс Крикуль. — Такая трогательная забота?! Капуцинчик, тебя что, подменили? Это действительно ты?!

— Это действительно я! Не понимаю, чему ты удивляешься?

Крикуль не стал вдаваться в объяснения на счёт перевоплощения и деловито заметил:

— Я, честно говоря, думал, что мы к Мартине не пойдём. Я там уже был. Может быть, сразу отправимся к Апрельне, а?

— Не часто ли ты говоришь слово «я»? Может быть, всё-таки посоветуешься с друзьями, Крикуль? — Капуцин был неподдельно серьёзен.

Птеранодон тут же решительно произнёс:

— Я как все!

— Кокои тоже, как все, — пролепетал крошка Кокои, по-прежнему сидя на плече Капуцина.

Капуцин смущённо взглянул на стоящую неподалёку Любовь и сказал:

— Пусть решает Крикуль. Всё-таки ты наш гость, а мы все только сопровождаем тебя в путешествии по Острову, если ты считаешь, что к Мартине заходить не стоит, то пусть будет по твоему!

Крикуль обвёл взглядом своё воинство.

— Хорошо! — сказал он. — Давайте зайдём домой к Птеранодону. Там, наверное, действительно по нему соскучились.

— Ура-а-а! — закричал Птеранодон и волчком закрутился на месте. — Домой-ой! До-мой!!!

Прощание с Февралиной было недолгим. Друзья наотрез стали отказываться от подарков феи-кулинарки. Только один Капуцин сказал:

— Как можно отказываться, конечно, ваши, Февралина, кондитерские изделия — настоящее произведение искусства! Я, с вашего позволения, возьму с собой несколько марципановых сердечек, отличное лекарство от сердечной недостаточности, и, пожалуй, ещё кусочек торта.

— А он не растает? — забеспокоился Птеранодон. — Ведь он из мороженого!

— Нет, дружище! Я положу вместе с ним изумруды Январины, и торт прекрасно сохранится. — Капуцин достал из голубой бархатной сумки, которую ему подарила Январина, шкатулку, преподнесенную Октябриной. Легко раскрыв её и положив в пустую коробочку малиновые сердечки и кусочек торта.

— Как ты открыл шкатулку? — изумился Крикуль.

— Очень просто. Посмотри, что здесь изображено: три обезьяны, слепая, глухая и немая, — это один из символов восточной мудрости: «Не вижу зла, не слышу зла, не изрекаю зла!» Всё очень просто!

— Как ты догадался?

— Я всегда знал об этом!

— Это правда! — сказала Любовь.

Оксы наблюдали за весёлой дружной компанией из засады. Теперь, когда с ними неотлучно была неземная Любовь, чары которой были не по зубам злой силе, Оксам приходилось держаться от них подальше. Не ровен час, они сами могли стать жертвами Любви.

«Не хватает ещё влюбиться ненароком в ненавистного лягушонка Кокои, который и так всё время мешает расправиться с вероломным Аистом. Время неумолимо идёт к концу декабря. Приказ Короля Страху уничтожить Остров Детства никто не может отменить. Через неделю, в новогоднюю ночь, когда все феи соберутся на балу у Декабрины, Остров Детства должен погибнуть. И Страх снова одержит победу!» — так думали Оксы, которые не собирались долго отсиживаться в укрытии. Они понимали: «Нужно действовать несмотря ни на что. Взрывчатый порошок до сих пор у Крикуля под крылом. Необходимо его достать. Возможно, сейчас, когда эти простачки окажутся у Мартины — покровительницы животных, очковую кобру примут за «свою». Очень подходящее время для решительных мер. Ну, Крикуль, держись!»

Мартина

Глава, в которой Крикуль теряет друга

Навстречу Птеранодону и его друзьям выбежала огромная толпа обрадованных животных. Все они визжали, хрюкали, вопили, гудели и трубили от радости.

— Птеранодон! Птеранодон! Птеранодон вернулся!

— С ним новенький, смотрите. Ура Аисту, ура-а!

— Ой, а это кто?

— Да это же знаменитый журналист Капуцинчик!

— А держится как скромно, будто и не «звезда» вовсе.

— Он награждён золотым орденом Заслуг.

— За красноречие!

— Видите на его плече золотого лягушонка.

— Это же знаменитый Кокои!

— Ядовитый Кокои? Тот самый?!

— Да!

— Вот это да!

Звериное братство ликовало. Крикулю даже на мгновение стало стыдно, что он мог лишиться всех такой радости. На шум прибежала Мартина.

— Ну наконец-то! Добрались! Как я волновалась! Здравствуй, дорогой, — Мартина по-матерински погладила Птеранодона по спине. — Всё хорошо? Крикуль, ты поправился? Как твоё крыло?

— Да, спасибо, всё отлично!

— Не верю своим глазам, малютка Кокои, сколько лет, сколько зим! Добро пожаловать домой! — Мартина заметила маленького Кокои, безмятежно лежащего на плече Капуцина. Когда-то было время, и Кокои жил не на Жемчужном озере, а у Мартины, но это было так давно, что Мартина стала забывать Кокои. — Я очень тебе рада, милый Кокои! А ты, Капуцинчик, не боись смертельного яда нашего листолаза ужасного?

— Что вы, фея! Как можно?! Мы с Кокои большие друзья, я полностью ему доверяю, — ответил Капуцин и нежно погладил золотистую спинку малютки.

Мартина с Любовью по-дружески обнялись, и хозяйка пригласила всех путешественников в замок.

— У меня для вас сюрприз. Готовьтесь к перевоплощению! — Мартина подняла вверх руку и стремительно пошла вперёд. Гости двинулись за ней, все они смотрели только на неё, все, кроме Кокои, который почему-то насторожился и смотрел в противоположную сторону. Он почувствовал, что мёртвая плоть была где-то рядом. — Как вы относитесь к подводному плаванию? — спросила Мартина, когда гости вошли вслед за ней в замок. — Надеюсь, никто не против побывать на дне Океана?

Крикуль бегло осмотрелся. Замок феи Мартины изнутри напоминал огромную подводную лодку. Ничего лишнего. Вместо комнат — каюты, вместо окон — иллюминаторы. По просьбе Мартины все стали подниматься на верхний этаж замка по довольно узкой винтовой лестнице, возвышавшейся словно башня, посреди зала. Поднимались до тех пор, пока не очутились на самой вершине. Небольшая платформа напоминала верхнюю площадку вышки в бассейне, с которой пловцы прыгают в воду. Пока гости феи Мартины обдумывали её предложение, перед ними появились скафандры и акваланги.

— Одевайтесь! Это первоклассная волшебная экипировка, будете чувствовать себя как рыбы в воде! — Мартина лихо натянула плавательный костюм.

Крикуль не хотел праздновать труса, но, честно говоря, ему было как-то не по себе от мысли, что придётся погружаться в воду, да ещё обследовать дно Океана, которого он так боялся.

«Уму непостижимо! Сейчас меня поглотит этот Исполин, против которого даже Солнце не может устоять!» — Крикуль медлил и лишь после того, как Капуцин и Любовь без лишних слов переоделись, сам стал облачаться в костюм акванавта. В конце концов, у него была с собой миртовая веточка Октябрины, и, если что, он сможет вообразить себя на суше и не захлебнётся. Однако Мар-

тина собрала у всех присутствующих их личные вещи и открыла дверцу небольшого сейфа.

— Эта камера хранения самая надёжная в мире, ваши вещи не намокнут и не испортятся. Желаю всем незабываемых впечатлений!

После её слов всё стемнело. В кромешной тьме Крикуль услышал, как с шумом задрожали люки и иллюминаторы замка. Снизу донёсся звук хлынувшей внутрь воды. Вода стремительно стала подниматься и очень скоро достигла уровня площадки, на которой они стояли. Крикуль почувствовал, как медленно ускользает из-под ног опора. Сердце его оборвалось.

«Я же не умею плавать! Страх Смерти, ты снова рядом!» В следующий миг водную стихию осветил яркий, даже более яркий, чем солнечным днём, свет. У Крикуля появилась возможность осмотреться. Он плыл! Свободно и непринуждённо. Дыхание его было лёгким и спокойным. Страх отступил. Совсем рядом с ним плыли его друзья, и, несмотря на то, что теперь они были больше похожи на дельфинов, у Крикуля не возникало никаких сомнений, что это были именно они! В довольно крупном серо-голубом дельфине Афилине Крикуль узнал саму хозяйку этого гигантского океанариума — бесстрашную фею Мартину. Она бесшумно скользила неподалёку от него, и было видно, какое наслаждение доставляет ей плавание. Убедившись, что Крикуль уже уверенно чувствует себя в воде, она стремительно понеслась вниз, увлекая за собой шлейф прозрачных пузырьков. Не уступала ей в скорости и Любовь, которая приняла облик белого дельфина Белухи. Капуцин рассекал водную гладь своим длинным носом, ведь теперь он внешне походил на морского единорога — Нарвала.

Нарвал подплыл к Крикулю и пробулбал Аисту в ухо: — Вот уж никогда не думал, что стану твоей точной копией!

- Я тоже Нарвал? — догадался Крикуль.
- Так точно! Просто брат-близнец!
- Здорово!
- Сейчас изобразим синхронное плавание.
- Это как?
- Делай, как я.

Но поупражняться им помешала по-дружески улыбающаяся великанша. Рыба-пила проплыла прямо между пятнистыми Нарвалами, которые казались зеркальным отражением друг друга.

«Да это же Птеранодон!»

Его нос, шипастый, с многочисленными зазубринами, теперь стал весьма похож на инструмент, которым работала фея Январина. Но глаза Птеранодона, его добрые, доверчивые глаза, Крикуль не спутал бы ни с чьими другими. Птеранодон весело махнул Крикулю и Капуцину мощным плавником и, будто с обрыва, нырнул вниз.

— А где же наш Кокои? — Крикулю стало интересно, в кого превратила фея Мартина золотистого лягушонка? И смогут ли друзья узнать его, уж больно густонаселённым оказался подводный мир.

Нарвал Капуцин махнул плавником, приглашая Крикуля взглянуть на расцвеченное карнавальными огнями океанское дно. И они тут же устремились к свету, как мотыльки к огню.

Обитатели дна океана, по всей видимости, как и все на Острове, готовились к празднику. Здесь стоял невыразимый галдёж. Крикуль увидел, как из-под развесистого красного коралла выполз огромный лиловый осьминог. Вероятно, это был главный режиссёр действия, потому что в одном из его щупальцев Крикуль заметил рупор, в который тот беспрестанно выкрикивал команды, а все участники репетиции беспрекословно слушались его.

— Так, перерыв закончен! — орал Осьминог. — Прошу тишины и полной сосредоточенности. Повторяем всё с самого начала.

Крикуль присутствовал на репетиции открытия уникального подводного карнавала. В нём были задействованы самые выдающиеся мастера перевоплощений: Морской петух, возвещавший своим свистом о начале праздника, перламутровые зеленушки-барабанщицы, открывавшие грандиозное шествие. За ними плыли светящиеся рыбы: удильщик со своим огоньком-светофором, торчащим прямо изо рта, и рыбы-мичманы со светящимися кружочками по бокам, напоминавшими начищенные пуговицы мундиров. Мичманы сопровождали королевских рыбок, которые жужжали словно настоящий пчелиный рой.

Замыкали шествие крылатки, напоминавшие вздерошенных попугаев. Крикуль даже подумал: может быть, их, как и его самого, только что превратили в рыбок? Осьминог продолжал руководить процессом и неистово размахивал своим мегафоном, выкрикивая бесконечные команды и выпуская фиолетовые струи. Посмотреть на это феерическое действо собралась толпа зевак: всевозможные анчоусы, морские пауки — офиуры, которые тоже светились, словно неоновые лампы. Тут же Крикуль увидел очень странную рыбку, из живота которой рос настоящий цветущий куст. Этакая плавучая клумба. Пока он наблюдал за этим необычным существом, к нему приблизилось семейство глубоководных хамелеонов. Мастера камуфляжа, камбалы всё время меняли окраску, сливаясь то с песчаным дном океана, то с коралловыми кустами. Крикуль не успел восхититься их маскарадом, как заметил маленького расплющенного ската. Эта круглая серенькая лепёшечка выглядела так, будто по ней проехал асфальтоукладчик. Плывущий рядом скат напомнил Крикулю детскую игрушку — воздушного змея. Забавный скат, размахивая длинным шипастым хвостом, увивался вокруг Крикуля до тех пор, пока дельфин Нарвал не признал в нём Кокои.

— Дружище Кокои! А я тебя сразу и не узнал. Хорош! Хорош! Как тебе прогулка по океанским глубинам?

Кокои улыбнулся, ничего не ответил, а только кивнул в знак невыразимого удовольствия, которое он, судя по всему, испытывал.

— Отлично! Кокои, я, пожалуй, поплыву к нашим. Что-то я не вижу моих братьев и сестёр дельфинов. Пока!

Крикуль-Нарвал стал набирать высоту и заметил, как в стенах океанария открывались огромные иллюминаторы-люки, и через них стали вливаться — о, ужас! — гигантские акулы и киты-кашалоты такой невиданной величины и такого

свирепого вида, что в сердце Крикуля снова проник неприятный холодок. Рядом с ними Крикуль чувствовал себя мелкой рыбёшкой, которую играючи можно проглотить целиком.

Появление феи Мартины в облике дельфина Афаалины оказалось как нельзя кстати.

— Крикуль, как тебя принимает Океан? Ты доволен?

— Да, мне нравится. Здесь очень красиво, вот только немного пугают эти великаны...

— Можешь быть абсолютно спокойным, в моём океанарию хищные акулы и киты не представляют никакой опасности. Ты у меня в гостях, и тебе ничто не угрожает. Запомнил?

Крикуль поблагодарил Мартину. Та уплыла, а Крикуль стал внимательнее присматриваться к непрерывно снующим хищникам. Среди акул, длинных, словно железнодорожный вагон, Крикуль приметил одну, самую большую, она вся была усыпана пятнами и, как ему показалось, смотрела на него с вождением. Крикуль решил не испытывать судьбу и со словами: «Я не вкусный!» — уплыл подальше. Но тут же чуть было не столкнулся с лобастым гигантом Кашалотом. Эта живая подводная лодка, хоть и была просто огромной, но выглядела более миролюбивой по сравнению с акулой.

Кашалот первым приветствовал Крикуля:

— Братьям китам наш пламенный морской привет!

— Разве я уже кит? — удивился Крикуль. — Я вроде был дельфином?!

— А ты и сейчас дельфин, просто дельфины — это самые мелкие киты. Ты что ж, запамятовал? Нехорошо родственников забывать.

— Простите! — вовремя спохватился Крикуль.

— Да ладно, хочешь по трюмам полазить, может быть, что-нибудь вкусненькое найдёшь.

Крикуль не совсем понял, что имеет в виду Кашалот, но Кашалот тут же добавил:

— Давай, родич, валяй, не стесняйся, мы не жадные, — и раскрыл свою необозримых размеров глотку, через которую Нарвал мог проникнуть внутрь.

Крикулю совсем не хотелось оказаться внутри этого склепа, но, не желая обидеть заботливого «сородича» и вспомнив слова Мартины о том, что с ним не случится ничего дурного, Крикуль решил рискнуть. Не знал он в тот миг, что этот рискованный поступок спасёт ему жизнь. «Кладовые» Кашалота были до отказа заполнены едой. Кроме съестных запасов Крикуль увидел в этих трюмах и разнообразный бесполезный хлам: сапоги, мешки с углём, пивные бутылки, оленьи рога и всякую никчёмную всячину. «Зачем Кашалоту оленьи рога?»

Видно, его «сородич» был на редкость хозяйственным малым, поэтому и захотелось ему похвастаться перед Крикулем своими сокровищами. Крикуль закончил экскурсию и повернул обратно к выходу. Пасть Кашалота незамедлительно распахнулась, и через секунду Крикуль был на свободе.

Крикуль подумал, что Кашалот сейчас начнёт его расспрашивать о впечатлении: «Дескать, ну, как содержимое кладовок?» Но Кашалот

встревоженно проговорил: — Наверху что-то стряслось, слетай, посмотри! Крикуль поднял голову и увидел прямо над собой огромное мутное пятно. Вода в океанарию была прозрачной и чистой, поэтому мутное чёрное облако было особенно заметным. Там происходило что-то из ряда вон выходящее, так как мимо Крикуля стремительно пронеслась Мартина, следом за ней стрелой летел вверх белый дельфин — Любовь. Нарвал, не мешкая, рванул вслед за ними. Когда Крикуль поднялся над этим, как оказалось, кровавым облаком, ему открылась душераздирающая картина. Всего минуту назад здесь разыгралась страшная трагедия. Капуцин, который, как и сам Крикуль, превратился в дельфина Нарвала, был буквально разорван пополам небывалых размеров Муреной. Исполинская морская змея попросту перекусила беднягу Капуцина. Её тут же атаковал Птеранодон. Разъярённая рыба-пила пропорола брюхо Мурены от хвоста до горла. И убийца, и бездыханная жертва держались на плаву. Истекавшего кровью Капуцина удерживали Птеранодон и только что подплывший Кокои. Мурена вообще оказалась напрочь лишённой внутренних органов. Из её распоротого живота не вытекло ни кровинки. Этот смертоносный гигантский рукав на поверку оказался абсолютно пустым.

— Мёртвая плоть, — сказал скат Кокои. — Кокои не успел на этот раз.

Крикуль понял, что на месте Нарвала-Капуцина должен был оказаться он.

«Оксы вероломно воспользовались моментом. Никто не ожидал подвоха. Держались порознь. Что может быть лучше для врага?! Вот только перепутала Мурена, не того Нарвала погубила».

Мартина, Любовь, Кокои, Крикуль и Птеранодон сидели на сухом полу огромной залы, где совсем ещё недавно плескался Океан. Перед ними лежал покрытый тканью Капуцин.

— Что? Неужели ничего нельзя сделать? — Крикуль с недоумением вглядывался в лица волшебниц и друзей.

— Скоро придёт Сентябрина, — грустно сказала Мартина, — будем надеяться на лучшее.

— А миртовая веточка?

— Нет, она бессильна. Капуцина убили, когда он был в облике другого существа, и миртовая веточка Октябрины не в силах теперь вернуть Капуцину жизнь. Возможно, Мурена знала об этом. Сейчас поможет только одно средство... — Мартина не сказала, какое именно, и благоразумно промолчала.

Мёртвое тело друга было запеленуто и перенесено во владения Сентябрины. Мартина была чрезвычайно опечалена всем происшедшим.

— Этого не должно было случиться! Это невероятно! Я даже не помню, когда на Острове Детства происходили бы такие страшные события!

Крикуль промолчал. Аист не был готов признаться: во всём, что сейчас случилось, виноват только он. Это по его вине милой смешной обзьянке, такой умненькой, весёлой, беззаботно жившей на этом прекрасном Острове и только что узнавшей Любовь, пришлось погибнуть. И никогда талантливый журналист Капуцинчик не создаст свой репортаж об их путешествии по

Острову, об их захватывающих приключениях, которые закончились так трагически.

Мартина вернула путешественникам их вещи. Крикуль взял сумку Капуцина. В ней по-прежнему лежали репортёрский микрофон, пустой флакончик из-под одеколона и шкатулка с изображением трёх обезьянок. Крикуль раскрыл её и увидел, что изумруды Капуцина, которые лежали в шкатулке, превратились в сапфиры.

Потеря друга повергла Крикуля в страшные уныние. Он не представлял себе, как после всего, что случилось, он снова сможет чему-то удивляться и радоваться. Птеранодон постоянно плакал и во всём винил только себя, а лягушонок Кокои, казалось, окаменел от горя и неподвижно сидел на плече у Крикуля. Они шли по дороге к Априлине. Любовь шла рядом.

— У меня, — сказала она, — есть две сестры, Вера и Надежда.

— Я знаю, — вторил ей Крикуль глухо и подавленно.

— Нужно верить и надеяться на лучшее, если ты любишь всей душой. И тогда может случиться чудо! Но рассчитывать на чудо можно только тогда, когда ты любишь друга по-настоящему. Понимаешь?

Крикуль слушал Любовь и думал про себя: «Чего же во мне сейчас больше? Печали о погибшем друге или радости, что на его месте не оказался я сам и Оксы нас перепутали?!» Ответить на вопрос однозначно он не смог, а значит, рассчитывать на чудо, скорее всего, было нельзя.

Так или иначе, Крикуль решил не прерывать путешествия, равно как и не избегать больше встречи с Оксами. В нём росло желание отомстить за Капуцина и уничтожить Оксы или погибнуть самому. Крикуль понимал: нужно было придумать что-то очень каверзное, перехитрить преданного слугу Страха, остаться в живых и не допустить гибели Острова Детства. Теперь он чувствовал всем сердцем, что Остров Детства не должен погибнуть. Ни за что!

Посоветоваться было не с кем, надеяться можно было только на себя. Время у него в запасе ещё есть: до встречи на балу оставалось пять дней, и Крикуль знал, что для Оксов это последний срок исполнения смертоносного приказа. О том, что будет с ним в дальнейшем за послушание и предательство, Крикуль старался не думать.

«Взрывной порошок — на месте. А что, если попробовать его намочить, возможно, он отсыреет и потеряет свою взрывоопасность?» — Крикуль решил при первой же возможности провести этот эксперимент.

Априлина

Глава, в которой Крикуль узнаёт о волшебных свойствах ароматов

Мысли Крикуля прервала стрекоза, которая уселась прямо ему на грудь. От неё исходил тончайший аромат пряных духов, а на спинке красовалось слово, расшитое золотой канителью, — «Априлина». Путники подходили к замку феи Априлы. На зелёной лужайке, окружённой цветущими каштанами, возникло необычное

сооружение, снаружи полностью облицованное зеркалами. Зеркальный замок представлял собой весьма эффектное зрелище. Самого здания как будто бы и не было вовсе. В нём отражались и многократно умножались зелёные каштаны, на ветках которых, словно свечи на новогодней ёлке, громоздились соцветия бело-розоватых цветов. Пролетавшие по небу облака постоянно меняли форму, превращаясь из огромного неповоротливого слона в маленького озорного пуделя или в кораблик под парусами. В зеркальных стенах замка Априлы красовались остроконечные заснеженные вершины гор. В гигантские зеркала смотрели на себя васильковое Небо и Солнце. Светило было уже довольно высоко и с удовольствием рассматривало себя в зеркале, стараясь украдкой поправить взлохмаченную Ветром причёску.

Перед входом в замок друзья увидели настоящую зеркальную галерею, напоминающую лабиринт. Она смахивала на комнату смеха в одном из городских парков, где Крикуль однажды поджидал плачущих ребятшек. Но, насколько он помнил, там в основном до слёз смеялись, причём не дети, а их родители. Зеркала были кривые и волшебным образом уродовали всех, кто в них смотрелся.

Из толстяков эти зеркала делали доходяг, а тощих великанов превращали в маленьких пузатых карликов. Что в этом было смешного, Крикуль никак не мог понять ни тогда, ни теперь.

Из-за зеркального лабиринта к ним на встречу выбежали четыре пингвина. Как выяснилось, пингвинов было всего двое, это зеркала подшутили над ними. Грузные пингвины оказались подвижными, и даже слегка суетливыми. Поприветствовав путников, птицы предложили им пройти небольшую гигиеническую обработку перед тем, как попасть в замок Априлы. Все потянулись к одной из зеркальных дверей, на которой светила вывеска: «Химчистка». За дверью их встретила целая гвардия пингвинчиков в белых передничках, которые бросились чистить и обхаживать каждого.

Крикуль не успел глазом моргнуть, как все его пёрышки сверкали чистотой и какой-то неестественной белизной. Клюв был отполирован. Лапки начищены до зеркального блеска, а коготки покрыты перламутровым лаком. Пока с ним возились, Крикуль наблюдал, как приводят в порядок его друзей.

Птеранодона поливали водой из шланга. Один пингвин держал кишку, из которой била струя, а второй намыливал пушистой густой пеной спину и крылья ящера. В какой-то момент Птеранодон не выдержал: «Ай, ой, ой, е-ей, мыло в глаза попало. Смывайте скорее. Ой, больно!» Пингвины оперативно удалили остатки мыла и даже заботливо смазали кожу вокруг глаз ящера кремом, который источал аромат земляники. Крикуль видел, как незаметно для пингвинов Птеранодон доел остатки этого душистого крема, подцепив его отлакированным коготком прямо из баночки. Когда мытьё закончилось, Птеранодона вытерли большим мягким полотенцем и стали натирать какими-то маслами и благовониями. Птерано-

дон так расслабился, что тут же улёгся, подмяв под себя сияющие чистотой лапки.

Кокои тоже сначала пытался сопротивляться и отскакивал от пингвинов то в одну, то в другую сторону. Однако пингвинам удалось поймать его, и ему пришлось сдаться на милость одержимых чистотью. Золотистый Кокои сделался ещё более золотым, теперь он переливался словно гранёный алмаз.

В довершение туалета путешественники приняли душ. Прямо с потолка, словно из огромного сифона, им на головы брызнул мелкий душистый дождик. Повеяло тонким ароматом весеннего леса.

Когда Любовь появилась из-за зеркальной перегородки, куда её препроводили пингвины, друзья просто остолбенели. Крикуль увидел ещё более изумительную красавицу, чем прежде. Её солнечные локоны были уложены в какую-то замысловатую золотую причёску, перевитую золотыми нитями. Ажурное платье жемчужного цвета подчёркивало необычайную стройность фигуры. Ножки были обуты в лёгкие парусиновые сапожки, зашнурованные шёлковыми ленточками. Вся такая воздушная и нежная, она очаровывала своей хрупкой прелестью. Крикуль так и не узнал, какой увидели Любовь его друзья, ведь они не проронили ни звука, онемев от её неземной красоты. Зато Любовь выразила своё восхищение, когда увидела сияющего, словно начищенный самовар, Птеранодона, смахивающего на щёголя Крикуля и Кокои, который снова напоминал усыпанную бриллиантами брошь.

— Мальчики, вы просто бесподобны!

— Прекрасней может быть только Любовь! — ответил Крикуль.

Один из пингвинов, самый рослый и самый важный, вышел вперёд и церемонно предложил пожаловать в замок королевы моды — Априлины.

Следуя за Любовью, которая хорошо ориентировалась в зеркальных лабиринтах, Крикуль всё время видел своё многократное отражение и остался вполне доволен увиденным. Аист он был хоть куда! Честно говоря, Крикуль уже соскучился по своему человеческому лицу. Оно было конопатым и, может быть, не таким красивым, как хотелось бы? Ну и что! Зато это было его собственное, его родное лицо. Но о возвращении человеческого облика до тех пор, пока он находится на Острове Детства, нечего было и мечтать. Для островитян он только Аист. Пройдя зеркальный лабиринт, компания попала в огромный зал с такими же зеркальными стенами. Они увидели довольно упитанного мужчину, стоящего за зеркальной ширмой. Мужчина был абсолютно голым, он стыдливо прикрывался короной и — как только Крикуль с друзьями его заметили — стал озираться по сторонам в поисках более надёжного укрытия. Эта немая сцена продолжалась до тех пор, пока в зал не вбежала Априлина. Крикуль несколько не сомневался, что это была она — те же, что и у сестёр, черты лица, но какая разительная перемена в манерах и наряде?! Априлина облачилась в костюм древней римлянки: длинная, цвета молодой зелени, широкая туника была дважды перепоясана под грудью и ниже талии. Ноги были обуты в светло-жёлтые сандалии. В руках фея

несла кусок лёгкой ткани и, закинув её мужчине за ширму, со словами: «Прикройтесь пока вот этим!» — подошла к гостям.

— Бонжур! Суаие ле бьенвеню! Добрый день, господа! Добро пожаловать! — приветствовала их фея почему-то на французский манер. Она держалась легко и непринуждённо. — Прошу простить моего клиента за столь нелепый вид.

— Что значит нелепый? Попрошу вас, сударыня, следить за выражениями! Я всё-таки Король! — донёсся из-за ширмы недовольный голос голого мужчины, который пытался задрапироваться тканью.

— Но Король-то голый!

— А мне сказали, что платье моё невиданной красоты.

— Вы хотели сказать «не видимой глазом... красоты», — поправила его Априлина довольно строго. — И потом, с каких это пор Король верит чьим-то словам больше, чем собственным глазам, а чужому мнению доверяет больше, чем своему собственному?

— Ну подумайте, зачем Королю иметь своё мнение? О чём вы говорите, Априлина? Король нужен вовсе не для этого. У него есть верные советники и министры, которые и формируют его мнение.

— А для чего же тогда короли?

— Для балов, парадов, для охоты...

— И рыбалки, — добавила Априлина.

— Да, представьте себе, милая моя, и для рыбалки тоже!

Король вышел из-за ширмы в оригинально задрапированном одеянии. Ткань была завязана узлом над левым плечом, тогда как правое плечо оставалось неприкрытым. В этой тоге Король был похож то ли на римского патриция, то ли на богатого грека.

— Bravo! — воскликнула Априлина. — Да вы, мой король, прирождённый кутюрье.

— Не знаю, на что вы намекаете, но голова у меня на плечах не только для того, чтобы корону носить.

— Я ничего такого не имела в виду. Но раз уж вы сами первый заговорили об этом, то позвольте заметить, что если бы ваша голова предназначалась бы для иных, кроме ношения короны, целей, то вам не пришлось бы разгуливать нагишом перед вашими подданными.

— Давайте прекратим, сударыня, эту бесполезную и оскорбительную для меня беседу, — взорвался Король, покрасневший от негодования. — Не будь вы великой волшебницей, то смею вас заверить, Априлина, после таких речей мой палач нашёл бы иное применение для вашей головы.

— Ах, так! — Априлина рассержено топнула каблучком о зеркальный пол, но зеркало, как ни странно, не дало трещины. — Извольте немедленно возвратиться в свою сказку. И пусть для вас там шьют наряды ваши лживые бездарные портные. Адье!

Априлина надула губки и повернулась к королю спиной.

— Ну-ну, дорогая, не будем ссориться! Вы же сами завели этот разговор и довели меня до белого каления. Я вижу, у вас новые портняжки, — король свсыока взглянул на всех присутствующих.

— Им будет чему у вас поучиться. Вы же обещали? — Король взглянул на Апрельину масляными, кошачьими глазами.

— Во-первых, это никакие не портняжки, а мои гости! — отрезала Апрельина. — А во-вторых, я обещала вам только шить новое платье, а не выслушивать ваши оскорбления.

— Ну, пощадите, Апрельина! Я больше так не буду! — захныкал Король.

— Хорошо! Я выполню своё обещание, но только для того, чтобы разделаться с вами поскорее. Как я понимаю, ради нового наряда вы готовы на унижения...

— ...и любые расходы, — подхватил Король.

— По-моему, речи о вознаграждении за мою работу пока ещё не было.

— Назовите вашу цену! Я готов отдать вам даже половину своего королевства.

— Полцарства за новое платье Короля?!

— Полцарства! — с готовностью выкрикнул Король.

— Ну, тогда я сошью вам полкостюма, идёт?

— Так что же? Вы требуете от меня целого королевства за костюм, состоящий из двух половинок?

— А почему бы и нет?! — сказала Апрельина и незаметно для Короля подмигнула Крикулю и его спутникам.

— В таком случае я должен посоветоваться со своими министрами.

— О чём же вы будете советовать? — недоумевала Апрельина.

— Что же вы будете за Король без королевства?!

— Да, действительно! — Король был в явном затруднении. — Если я отдам вам королевство, то сам останусь с носом? С таким же длинным, как у этого Аиста.

— А вот Аиста я попрошу не трогать, — снова очень строго произнесла Апрельина. Фея решила перейти от слов к делу. — Хорошо, о цене мы договоримся после и не с вами. Этот вопрос я буду решать через сестру Ноябрьрину с вашим Автором. Сказку о вас написал господин Андерсен?!

— По-моему, вроде бы он, — как-то неуверенно произнёс Король.

— А по-моему, точно он! — твёрдо сказала Апрельина. — Вот и спросим у Автора, чем вы будете расплачиваться за новое платье — головой или короной?!

После этих слов Апрельина решительно подошла к огромному длинному столу с зеркальной поверхностью. Расторопные пингвины миглом принесли целую штуку синей атласной ткани, и расстелили её на столе. В руках феи блеснули серебряные портняжные ножницы. Крикуль увидел, как Апрельина сделала только крошечный надрез с одной стороны и слегка подтолкнула ножницы. Они тут же ожили и самостоятельно заскользили по контурам невидимой выкройки. Спустя мгновение всё полотно было разрезано на части. Апрельина соединила куски ткани между собой, прошив их серебряной иглой, в которую была продета синяя шёлковая нить. Игла сама собой начала проворно намётывать ткань стежок за стежком.

Пингвины прикатали огромный сундук на колёсиках. Апрельина распахнула его, и оттуда стали выскакивать одна за другой кружевные

рубашки, жабо, ажурные воротнички, подвязки и ленточки.

Пингвины обступили голого Короля, и через мгновение на нём уже был новый синий камзол, расшитый серебряными нитками и вся в кружевах и рюшках рубашка из тонкого батиста. Под самым подбородком Короля сверкала богатая брошь из ультрамарина. Апрельина накинута на плечи Короля мантию, отороченную мехом горностая. Новый наряд короля был завершён.

Все присутствующие были изумлены скоростью, с которой была одета коронованная особа, и прекрасным вкусом настоящей мастерицы, искусницы Апрельины.

Лицо Короля сияло от удовольствия. Разглядывая себя в многочисленных зеркалах, он произнёс:

— Да, не зря говорится, что в обществе всегда встречаются по одежке, а провожают по уму.

— Какое тонкое наблюдение! Что касается готовности к встрече, мне кажется, вы во всеоружии, — иронично заметила фея.

— Нет, — насупился Король, — оружие здесь будет лишним. Для этого, в конце концов, существует оруженосец!

— Вы меня как всегда правильно поняли, Ваше Величество! Ума вам не занимать.

Король, абсолютно не улавливая в её словах иронии, без тени смущения спросил:

— Ну почему же? Если вы, фея, подскажите, где это можно сделать, я бы, пожалуй, воспользовался вашим советом! — Ну, это в другой раз! Я очень занята!

— Да-да, конечно! — сказал Король и начал благодарить Апрельину, высказав надежду, что она не откажет ему в удовольствии иметь ещё не один костюм, сшитый в её мастерской.

Когда он наконец исчез за зеркалами, Апрельина облегчённо вздохнула:

— Ну, теперь я в вашем распоряжении, мои дорогие. Извините, что пришлось повозиться с этим глупым Королём. Проходимцы обвели его вокруг пальца. Да вы, конечно же, знаете его историю?! И так будет с каждым, кто слепо доверяет лживым болтунам, готовым всучить вам воздух по бешеной цене. Но, довольно об этом!

Апрелина пригласила Любовь и Крикуля с друзьями пройти в соседнюю с зеркальным залом комнату. Она была относительно небольшой. В стены, инкрустированные ониксом, были вмонтированы несколько сотен хромированных краников, над которыми Крикуль прочёл непонятные слова: «Пуазон», «Опиум», «Паломна Пикассо», «Фиджи», «Анаис Анаис»...

— Я всё знаю о ваших злоключениях, — грустным голосом сказала Апрельина. — Капуцин, бедняжка, он часто бывал у меня. Вот его любимые духи, — Апрельина остановилась рядом с надписью «Ниагара», — его любимый аромат. Они вселяли в нашего корреспондента уверенность, помогали быть собранным. Если хотите, это было его оружие, помогающее противостоять трудностям.

— Простите, фея, о чём вы говорите? — недоумённо переспросил Крикуль.

— Я говорю о духах.

— Что, разве духи могут быть оружием?

— Безусловно, милый! Духи — это целый мир, такой же таинственный и волшебный, как и любой другой! Чтобы стать посвящённым, необходимы знания! Что ты знаешь о духах?

Крикуль слегка задумался и ответил:

— Пожалуй, ничего! Только то, что от Капуцина всегда пахло этой самой уверенностью. — Прямо как будто специально для меня? Кожаный аромат? Надо же! Спасибо! — Птеранодон вдыхал суховатый «табачный» запах, причудливо сочетающийся законным браком с ароматами нежных цветов, и был на седьмом небе от счастья.

— А для нашего мужественного Кокои вот этот... Лягушонок протянул лапку, в которой оказался флакончик с японскими благовониями.

— Этот аромат, Кокои, очень подходит твоему характеру: он отстранён как буддийский монах, который не уходит от мира, но и не соединяется с ним, пребывая в своём тонком мире.

— Это правда, — сказал золотой лягушонок. — Кокои такой!

— Напоследок я скажу вам, — фея сделала небольшую паузу, чтобы все обратили внимание на её слова, — есть даже такие ароматы, которые могут защитить вас от врагов.

Эти слова заставили всех повернуться к волшебнице. Она протянула Крикулью маленькую флажку с пульверизатором.

— Достаточно опрыскать себя в минуту опасности, и ты будешь словно в непроницаемом коконе.

— А кто автор этих духов? — спросил Крикуль.

— Я! — ответила Априлина.

Априлина предложила гостям отобедать в роскошном зале классического стиля. Она соблюдала все правила этикета приёма особо важных гостей. Крикуль отметил про себя, что во время застолья Априлина сидела в совершенно другом наряде, нежели во время общения с Голым Королём или в парфюмерной комнате. Теперь на ней был костюм благородной дамы средневековья.

— Вынуждена, друзья, оставить вас. Так много дел! — с грустью в голосе произнесла Априлина. — Необходимо подготовить сёстрам новогодние наряды. Бал не за горами, а мне так хочется угостить каждой. Сами понимаете, как это непросто.

Глаза гостей загорелись любопытством.

— Однако в виде исключения я, пожалуй, разрешу вам взглянуть одним глазком на мою карнавальную коллекцию.

Заинтригованные гости поспешили вслед за хозяйкой, которая зеркальными лабиринтами повела их в костюмерный зал. Великолепный зал, украшенный искусным мастером, поражал своим убранством. Повсюду прямо на стенах были развешаны ювелирные украшения: замысловатые броши, заколки, серьги, диадемы, колье, усыпанные драгоценными камнями пояса. По периметру зала, на приличном расстоянии друг от друга, стояли огромные куклы-манекены — совершенные копии всех двенадцати фей Острова Детства. Но их кукольные, сильно набеленные лица со стеклянными глазами были лишены обаяния оригиналов и произвели на Крикуля несколько странное впечатление. Куклы были наряжены в роскошные карнавальные платья. Посреди зала возвышался подиум, задрапированный серым бархатом. Гости

разбрелись, чтобы поближе рассмотреть костюмы, которые были просто бесподобны.

— Прошу вас, друзья, не обижаться на то, что я вас тороплю, но время не ждёт, — Априлина деликатно намекнула гостям, что аудиенцию можно считать оконченной. — Окончательный вариант вы увидите на балу. А сейчас я вынуждена начать примерку.

Крикуль стоял рядом с куклой-манекеном, которая была одета в платье Январины. Фарфоровые руки манекена обтягивали высокие элегантные перчатки. Длинное, до пола, многослойное платье из пышного красного фатина было ошеломляюще красивым и таким воздушным, что Крикулю захотелось дотронуться до него, чтобы ощутить фактуру ткани. Неожиданно манекен поинтересовался:

— Ну, как, Крикуль, тебе нравится мой новогодний наряд?

Крикуль взглянул на лицо Январины. Оно было по-прежнему безжизненным.

— Ну, как, Крикуль, ты находишь этот костюм? — поинтересовалась приблизившаяся Априлина. — К нему ещё полагается боа из страусовых перьев и карнавальная маска, усыпанная мелкими корундами.

Крикуль не знал, что корундами называются драгоценные камни красного цвета, но не успел спросить Априлину об этом, как фея взяла куклу за руку, и та послушно отправилась вместе с ней к подиуму.

— А ну-ка, пройдишь.

Как только кукла-манекен поднялась по боковой лестнице на возвышение и начала ходить, зазвучала музыка. Кукла, словно заводная, ходила до тех пор, пока Априлина не остановила её.

— Так, хорошо, я вижу, что здесь необходимо ещё работать и работать!

Гости не стали испытывать её терпения. Они, как сумели, выразили своё восхищение всем увиденным, поблагодарили Априлину за гостеприимство, и через несколько минут уже шли по направлению к соседнему замку феи Майи. За ними ещё долго тянулся длинный шлейф изысканных ароматов.

Защитный аромат действует

Глава, в которой рассказывается о том, к чему привело применение защитного аромата Априлины

Птеранодон, который всегда немного отставал и замыкал процессию, поравнялся с Крикулем.

— Представляю, как наш Капуцинчик порадовался бы новым духам, правда?

— Конечно, раз он их любил, — Крикуль тоже скучал по Капуцину и хорошо понимал Птеранодона, которому хотелось с кем-то поделиться своей печалью. Но сейчас ему необходимо было побить одному, чтобы обдумать способы уничтожения взрывного порошка.

— А что это за защитные духи тебе подарила Априлина? — спросил вдруг Птеранодон. — Давай проверим их в действии.

— Зачем?

— Ну как зачем? Я должен знать. Ты мне ничего не рассказал о мёртвой плоти, которая нас преследовала. И там, у Январины...

Кокои, который сидел на плече Крикуля, очнулся и добавил:

— И особенно у Мартины. Кокои чувствовал, что кобра где-то близко. Кокои не успел...

— Не тереби душу, Кокои, — сказал Птеранодон. — Ну что, Крикуль, давай проверим этот, как его... защитный аромат!

— Ну давай, давай! — Крикуль достал из своей дорожной сумки матовый флакон. — На ком будем проводить эксперимент?

— Как на ком? На тебе, конечно?!

— Л я так не могу, когда нет опасности, зря только расходовать средство.

— Ну хорошо, давай опрыскивай меня, только смотри, в глаза не попади! — Птеранодон остановился, зажмурился и вытирал шею.

Крикуль отошёл от ящера на несколько шагов и направил струю из пульверизатора прямо на него. В считанные доли секунды облако ароматной пыли окутало Птеранодона. Мутный, почти непроницаемый кокон обволок громоздкого Авиатора, и теперь он стал похож на куколку гигантской бабочки.

— Я даже не могу пошевелиться, — глухо пробасил Птеранодон, будто находился в стеклянной банке.

— Ого! — только и произнёс Кокои.

Крикуль постучал снаружи. Кокон казался весьма прочным.

— Слушай, Птеранодон, ты сейчас похож на пуленепробиваемый броневик.

— Выпустите меня отсюда, а то я уже, кажется, начал задыхаться.

— Не хватает нам ещё одной жертвы, — встревожилась Любовь.

— А как я тебя достану? — спросил Крикуль. — Никаких инструкций на этот счёт я не получал. — Крикуль постучал клювом по бронированному кокону. Безрезультатно! Тогда Крикуль разбежался и со всей силы попытался плечом расколоть защитную оболочку, но при этом сам отлетел словно мячик и так больно ушиб плечо, что закрутился на месте волчком. — Ничего себе броня!

— Можно Кокои попробует?

— Попробуй, — простонал Крикуль.

Кокои запрыгнул на кокон и стал багроветь. На его спинке показались кровавые капельки. Верхняя стенка кокона начала дымиться, но спустя некоторое время дым исчез, а оболочка, судя по всему, так и осталась неповреждённой. Пунцовый Кокои сказал:

— Яд Кокои бесслен. Кокон сильнее Кокои.

— Ребята, я, кажется, влип, — приглушённо простонал Птеранодон.

Куда ты ещё влип? — спросил перепуганный и растерявшийся Крикуль.

— В историю, конечно, — пробубнил ящер. — Кажется, это конец! Прощайте!

— Здравствуйте — пожалуйста, — затанцевал вокруг кокона Аист. — Это что за настроение? Кончай паниковать! Стоп! Дайте подумать! — Крикуль начал лихорадочно вспоминать правила волшебных превращений. Ничего подходящего для

данной ситуации. — Нет, вот, кажется, то, что нужно, — Крикуль вспомнил аксиому из раздела «Действие ядов и противоядий» учебника «Магические заклинания и способы превращений»: «В противоядии любого яда есть часть этого яда».

Крикуль моментально схватил матовый пузырёк с защитным ароматом, выпустил из пульверизатора мощную струю и окатил кокон со всех сторон. Непробиваемая плёнка моментально исчезла, и Птеранодон рухнул на траву, как подкошенный.

— Ты спас мне жизнь! — тихо простонал ящер.

— Как ты? — подбежали к нему Крикуль и Любовь.

— Ничего, испугался только маленько.

— Ты дыши! Дыши глубже, — Крикуль стал обмахивать Птеранодона крылом, которое всё ещё немного побаливало.

— Да не маши ты, я нормально дышу.

— Но ты же в коконе задыхался?

— Да нет, не задыхался, просто испугался, что я могу задохнуться, если вы меня не вытащите. Воздуха там хватало, только тесновато было немного.

— Ну и эксперимент! Как ты меня напугал! — Крикуль был ещё слишком возбуждён.

Птеранодон тихонько засмеялся. Сначала так тихо-тихо, будто издали, но потом расхохотался так громко и заразительно, что вся честная компания подхватила его настроение и захохотала во всё горло.

Немного успокоившись, Крикуль спросил:

— Чего ты смеялся?

— Ой, подожди, — сказал Птеранодон, — сейчас, сейчас, дай только отдышаться.

— Что, опять задыхаешься? — заулыбался Крикуль.

— Да, опять задыха-ха-ха-ха-юсь, ха-ха-ха-ха, — Птеранодон снова зашёлся в приступе неудержимого хохота.

— Что же тебя так развеселило? — спросил Крикуль, когда все успокоились и продолжили свой путь.

— Да, понимаешь, я увидел себя со стороны. Беспомощный спасатель в коконе. «Прощайте, умираю». Хорош защитник! Мне казалось, что я сильнее тебя. Смогу тебя уберечь, если что. А получается, не в силах дело. Ты знаешь больше меня, в жизни лучше разбираешься. Но если что, имей в виду, Птеранодон не подведёт, Авиатор Авиатора в беде не бросает.

Они остановились и молча обнялись.

— Спасибо! — сказал Крикуль.

— Крикуль, а что же ты забыл про миртовую веточку? — спросила Любовь.

— Я растерялся, — честно признался Крикуль. — И потом, в такой момент проще надеяться на себя, чем на волшебную силу...

— А на друзей?

— И на друзей, конечно!

— И на Любовь! — тихо произнесла Любовь. — Я всегда с тобой. Моё имя — это только лёгкий выдох, но, когда придёт время, ты поймёшь, что я появляюсь быстрее веточки миртового дерева. Ты можешь не успеть дотянуться до неё, у тебя может не хватить времени достать из шкатулки изумруд Январины, чтобы потушить пламя, но моё имя

ты всегда произнесёшь без труда: «Любовь!». И я буду рядом.

— Я запомнил!

— А потом, сегодня я была уверена, что всё закончится хорошо, ведь от доброй феи Апрельны не может исходить опасность, — продолжила Любовь. Она улыбнулась и ускорила шаг.

Теперь Крикуль знал, как действует защитный аромат Апрельны.

Дуплистый дуб острова детства

Глава, в которой Крикуль видит свой заветный сон

Пошёл дождь. Сначала это были лишь редкие капли, но их становилось всё больше и больше, и вот они бешено забили по земле, разлетаясь брызгами в разные стороны. Путники заметались в поисках укрытия.

— Сюда! Сюда! — слышался чей-то голос откуда-то из-за высоких кустов самшита. — Бегите сюда, скорее!

Друзья перебрались через естественное ограждение и увидели огромный дуплистый дуб. Рядом никого не было. Кто же их звал?

— Эй, кто здесь? — крикнул Крикуль.

— Сюда! Сюда! — снова позвал неизвестный. Голос доносился из дупла.

— Это очень подозрительно, — насторожился Крикуль. — Во время дождя к деревьям даже близко нельзя подходить. Сдаётся мне, что это ловушка.

Но голос снова настойчиво звал изрядно вымокших друзей:

— Сюда! Сюда! Не бойтесь!

— Кто ты? — спросил Крикуль.

Из дупла высунулась добродушная физиономия белобородого старика. Он чихнул, потянулся, будто спросонья и передёрнулся:

— Фу, какая сырость. Да заходите же! Я — Повелитель Ночных Сновидений.

— А что, есть ещё и Повелитель Дневных Сновидений? — недоверчиво спросил Крикуль.

Он никак не мог окончательно решить, принять им предложение старика или нет.

— Конечно! — ответил старик. — Повелитель Дневных Сновидений — мой брат, он там, внутри. О, да я вижу с вами Любовь. Уж ты, детка, точно меня узнала!

Крикуль взглянул на их могущественную спутницу, которая одобритительно кивнула.

— Безусловно, узнала, Повелитель Ночных Сновидений. Не о чем беспокоиться, Крикуль, пойдёмте.

В дупле, которое оказалось довольно просторным коридором, ведущим куда-то вверх, друзья плохо различали окружающие их предметы. Кто-то шёл им навстречу. Рассмотреть его было невозможно из-за недостаточного освещения. Этот кто-то вдруг произнёс странную фразу. Что она означала, Крикуль не знал.

— Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват.

Вместе со стариком их действительно было пятеро, но кто и зачем их собирался искать, было непонятно.

— Прятки отменяются, — сказал белобородый, обращаясь к неизвестному, — я веду к нам гостей. Зажги свет!

Вдоль стен коридора вспыхнули зелёные фонарики, их было очень много, но из-за зелёного света у путешественников возникло ощущение, что они попали в подводное царство.

— Гости — это хорошо! Это очень хорошо! — В тусклом свечении возникла фигура ещё одного старика, но только без бороды, одетого в светлый халат, усеянный маленькими золотыми солнышками, тогда как тёмно-синий халат белобородого посверкивал серебряными звёздочками.

— Сейчас мы с ними посчитаемся и начнём играть в прятки, — не унимался второй старикан.

— Какие прятки? Им нужно отдохнуть, они устали с дороги. Дверь открывай! — почти рассердился Повелитель Ночных Сновидений.

В конце коридора распахнулась огромная дубовая дверь, и все вышли на лесную полянку, где уже не было никакого дождя, пели птицы и ярко светило солнце.

— Это что же, мы прошли дуб насквозь и снова очутились в лесу? — изумился Крикуль.

— Я, пожалуй, пойду, в теньке покемарю.

Кокой молчал, казалось, что он уже спал, и ему было всё равно, с какой стороны поляны он очутится. Крикуль, немного помедлив, отправился вслед за Птеранодоном. А Любовь, видимо из дипломатических соображений, осталась на солнечной половине.

Обрадованный Повелитель Дневных Сновидений тут же подскочил к ней, и до Крикуля донеслись обрывки его слов:

— ...а кто не спрятался, я не виноват!

— Выбирай себе, Крикуль, кровать по вкусу, — сказал белобородый старикан.

Крикуль огляделся. На полянке царил полумрак, то там, то тут виднелись «царские ложа». Одни представляли собой груды специально просушенных листьев, сверху накрытых мягким, бархатистым мхом. Другие — стожок душистого сена, украшенный полевыми цветами. Крикуль увидел самую настоящую перину, лежащую на пушистом травяном ковре. Как только Крикуль улёгся на неё, перина оторвалась от земли и начала легонько покачиваться.

— Тебе как? Колыбельную песенку спеть? — спросил старик. — Или так уснёшь?

— Я так! — сказал Крикуль, которому никто никогда не пел колыбельной, и он плохо себе представлял, что это такое.

— Ну тогда спокойной ночи, мой мальчик! Приятных тебе снов, — произнёс белобородый Повелитель и испарился.

Облако тихо покачивало Крикуля. Он почувствовал себя совсем маленьким в уютной детской колыбельке. Тёплый ночной ветерок приятно обвевал его лицо. Нега и Забвение склонились над ним, и вскорости безмятежный Сон укутал Крикуля своим волшебным покрывалом. Не успел он как следует понежиться, как спокойный, но достаточно властный голос начал его будить:

— Крикуль! Вставай, пора подниматься!
 — Можно я ещё немножко полежу?
 — Нет, нет, у нас очень мало времени. Вставай, пора! Пора!
 — У меня нет сил, ноги какие-то ватные.
 — А зачем тебе ноги, когда у тебя есть крылья? Полетели?!
 — Как крылья? Я разве птица?
 — Ну почему птица? Ты — мальчик. Просто мальчик, который умеет летать. Ведь так?
 — Да! — сказал Крикуль и поднялся с перины. — Я ничего не вижу.
 — И не надо пока, иди на мой голос. Иди сюда! Сюда! Крикуль слышал тот самый голос, что и днём во время дождя. «Наверное, это Повелитель Сновидений меня ведёт», — подумал во сне Крикуль. Он вышел из дуплистого дуба и оказался рядом с освещённой луной дорожкой.
 — Посмотри туда, где кончается тропинка. Ты видишь дом сразу за лесом?
 — Да.
 — Там ждут тебя. Иди, мой милый.
 Крикуль медленно пошёл. То есть он вроде бы совсем не передвигал ногами, но всё равно приблизился к дому как-то очень быстро. Он заглянул внутрь и увидел сидящую за столом молодую женщину. Перед ней горела свеча, освещающая её красивое, но печальное лицо, руки устало лежали на столе. Женщина грустно вздохнула и перевела взгляд на окно. Радостная улыбка озарила всё вокруг.
 — Мой мальчик, иди скорее ко мне!
 — Мама, мамочка, это ты?!
 — Я, мой родной! Как я соскучилась по тебе, мой единственный.
 Крикуль не видел, как это произошло, но он очутился в объятиях самого родного существа на свете.
 — Мама, я так мечтал увидеть тебя.
 — И я!
 — Я так люблю тебя, моя дорогая!
 — И я тебя, мой ненаглядный.
 Мама нежно гладила его по голове, ласкала его кудряшки и плакала.
 — Не плачь!
 — Не буду...
 — Я хочу остаться с тобой!
 — Хорошо!
 — И ты не отдашь меня Королю Страху?
 — Ни за что!
 — Я тебе нужен?
 — Конечно!
 — А зачем я нужен ему?
 — Из за твоего таланта.
 — А тебе?
 — Просто потому, что я люблю тебя, ты мой сын.
 — Я знал, что я обязательно найду тебя!
 — И я знала. Возвращайся скорее, я так скучаю по тебе.
 — Но я никуда не уйду, мама, — сказал Крикуль и проснулся. Сон рассеялся словно туман. Крикуль лежал весь в слезах, он только что видел Её.
 — Я только что видел её.
 — Кого? — спросил Птеранодон, который сидел неподалёку.

— Мою маму.
 — Это хорошо!
 — Что хорошо?
 — Что ты сон запомнил. Я никогда не запомню, что мне снится.

К Крикулю медленно возвращалось сознание. Он только что видел свою маму. Она не живёт в замке Короля Страху.

«У кого я могу выяснить, где её следует искать? Мир большой! Для жителей Острова Детства я, Аист, лицемер, коварный притворщик. Кому я могу довериться? Рассчитывать на снисхождение? Вряд ли».

— Ну что, Крикуль, хорошо поспал? Как тебе сон? — белобородый материализовался из тумана.

— Отличный сон, спасибо! — довольно сдержанно поблагодарил Крикуль.

— Это ведь был твой заветный сон, не так ли?

— Да!

— Значит, я выполнил просьбу феи Майи — показать тебе твой заветный сон.

— Это фея Майя вас просила?

— Да, фея поэтических грёз — наша самая большая подружка, — громко сказал Повелитель Сновидений, наклонившись над Крикулем, и совсем тихо:

— И наша самая строгая начальница. Да вон и она сама. Играет в прятки с Любовью и моим братцем.

Майя

Глава, в которой Птеранодон неожиданно полюбил поэзию

Освещённая часть полянки превратилась в игровую площадку. Любовь с завязанными длинным шёлковым шарфом глазами, вытянув вперёд руки, пыталась поймать Повелителя Дневных Сновидений и молоденькую белокурую фею, которая, хлопая в ладоши, ловко уворачивалась от преследования. Крикуль с Птеранодоном перешли к ним. Майя была подставить Любви, такое же прелестное и нежное создание. Чем-то она напомнила Крикулю маму, которую он только что видел во сне. Майя тоже засмотрелась на Крикуля, остановилась и тут же попала в объятия Любви.

Повелитель Дневных Сновидений обрадованно воскликнул:

— Всё, теперь Майя водит.

— Нет, — сказала Майя, — теперь будем отгадывать буриме. Подсказывайте окончания! — Майя начала громко декламировать: — Сон приснился нынче днём, хорошо мне было...

— В нём! — крикнули хором Любовь и оба Повелителя снов.

— Ночью снова лягу спать, пусть приснится он...

— Опять! — закончили строфу игроки.

— Побываю я во сне на морском песчаном...

— Дне, — вовремя вступил Кокои.

— И в загадочной стране, под землёй и на...

— Луне, — догадался Птеранодон.

— Полетаю, покружусь, а потом домой...

— Вернусь, — радостно закончил игру Крикуль.

— Молодец, Крикуль! — похвалила Майя, и все принялись смеяться и аплодировать друг другу.

Майя называла путешественников пилигримами и была счастлива, что может провести вместе с ними несколько часов. Все вместе они шли к её замку, до которого было — как она выразилась — рукой подать.

— Крикуль, — обратилась к Листу Майя, когда они ещё были в дороге, — не знаю, как ты к этому отнесёшься, но я хочу тебя просить оставить Птеранодона ненадолго у меня.

— Это решать Птеранодону. Почему вы не спрашиваете об этом у него?

— Просто я знаю, что он ответит.

— А что он ответит?

Майя решила попробовать заговорить голосом Птеранодона, и у неё вышло очень похоже:

— Я-то что, я сам вызвался Крикуля, ну, это, охранять. Как он скажет, так и будет.

Крикуль засмеялся, ему понравилось, как Майя говорила за Птеранодона.

— Чего смеётесь? — подскокил к ним Птеранодон.

— Да вот, — сказала Майя, — хочу попросить тебя задержаться в моём замке по неотложному делу. Мы с Крикулем обсуждаем этот вопрос. Как ты, Птеранодон, останешься?

Птеранодон немного помедлил с ответом, а потом выдавил:

— Я-то что? Тут такое дело. Я сам вызвался Крикуля, это, как его, охранять. Я не знаю. Как он скажет, так и будет. Вы у него спросите.

Тут Майя с Крикулем рассмеялись.

— Что смешного? — недоумевал Птеранодон.

— Не обижайся, Птеранодончик, просто я Крикулю почти слово в слово, как ты, сказала.

— А что за дело?

— Понимаешь, у меня есть помощник Пони, ну почти совсем как крылатый конь Пегас, только маленький.

— А он что, твой Пони, тоже с крыльями?

— Конечно!

— А-а-а! — понимающе кивнул Птеранодон. — Наш брат, Авиатор.

— Так вот, этого любопытного Авиатора ужалила пчела, и Сентябрина запретила ему летать, пока не поправится.

— Понятно! — сказал Птеранодон.

— А мне ничего не понятно, — проговорил Крикуль.

— А что тут непонятного? — спросил Птеранодон, довольный своей осведомлённостью.

— Непонятно, кто такой Пегас? И почему вашего Пони укусила пчела.

— Да ты не волнуйся, Крикуль, я сейчас тебе всё объясню. Если ты знаешь, я — фея Поэтических Грёз. Я очень люблю поэзию и всё с этим связанное. Видишь вон те горы вдальке? Это горы Гор.

Крикуль обратил на них внимание ещё около замка Апрельны, когда они так чудесно отражались в его зеркальных стенах.

— Вижу, — ответил Крикуль.

— Они очень похожи на греческие горы Олимп и Геликон. По преданию, крылатый конь Пегас пытался остановить гору Геликон, которая из-за буйства поющих и танцующих молодых богинь начала раскачиваться.

— Это точно, — понимающе вздохнул Птеранодон, — бывают такие танцы и такая музыка, что из-за них даже горы качаются.

Майя улыбнулась и продолжила:

— Так вот, Пегас ударил копытом, и на этом месте появился источник Гиппокрена. Из него пьют воду поэты, и она вдохновляет их на сочинение новых стихов.

— Так просто? Попил из Гиппокрены и сочиняй себе стихи, сколько душе угодно? — просил Крикуль оттого, что всё так сказочно быстро произошло.

— Так просто! — ответила Майя. — Но только если ты поэт.

— А если не поэт и попил, не сочинишь?

— Может, и сочинишь, но будут ли это стихи?

— Ой, как это сложно! — не унимался Крикуль. Майя снова рассмеялась.

— На одной из наших гор тоже есть волшебный источник, но только не вдохновения, а омовения.

— Опять я ничего не понял, это что же, испулся и уже после этого стал поэтом?

— Мой Пони приносит воду из источника, этой водой я смываю тайный покров, под которым скрыты стихи, и мне открываются поэтические строки, которые нас окружают повсюду.

— Я ничего такого не вижу.

Майя сняла с пояса бутылочку с прозрачной, как слеза, водой, подошла к дереву и несколькими капелками омыла листик.

— Смотрите.

Друзья подошли поближе, и увидели, как вдруг на обычном листочке ясеня, проступили, словно тайнопись, прекрасные строки:

Мой друг,
я искренне жалею
того, кто,
в тайной слепоте
пройдя всю длинную аллею,
не мог приметить на листе
сеть изумительную жилок,
и точки жёлтых буторков,
и след зазубренный
от пилок
голуборогих червяков.

— А сбоку, обратите внимание, — автограф — «Набоков».

— Вот это да-а-а, — удивлённо протянул Птеранодон.

— Здорово! Даже представить себе не мог, где могут прятаться стихи. И про голуборогих червяков — классно! Никогда не видел таких стихов.

— А они повсюду, поверь мне, — тихо и умиротворённо произнесла фея. — Повсюду. И настоящие поэты замечают их даже безо всякой волшебной воды.

— Теперь понятно, — сказал Крикуль.

— Что тебе понятно?

— Зачем вам нужна помощь Птеранодона.

— Да уж, если это нас не затруднит, — ожилилась Майя, — очень хочу к новомуднему балу сестричек порадовать хорошими стихами.

— А ещё вы не рассказали, почему вашего Пони пчела укусила.

— А он вам сам всё расскажет, ведь мы уже дома.

Действительно, за разговором путешественники не заметили, как добрались до замка феи Майи. Он стоял на небольшом возвышении и очень походил на самый настоящий средневековый замок, сложенный из грубого камня. Каждый его камень был испещрён какими-то записями, рисунками. Да и всё, что их теперь окружало, даже старая деревянная скамейка, которую Крикуль обнаружил под ореховым деревом, источенная червями и поросшая сырým мхом, сверху была исписана мелкими ровненькими строчечками.

— Проходите, проходите, мои пилигримы! Вас ждёт отдых и покой.

Майя хлопотливо забегала по двору, собирая то здесь, то там разбросанные листы бумаги.

— Располагайтесь, я сейчас, — обронила она и скрылась за порогом замка.

Птеранодон склонился над небольшой лоханью, до краёв наполненной свежей водичкой, и сделал несколько глотков.

— Дождевая, — причмокнул он клювом, — какая-то необычно вкусная.

Глаза Крикуля выпучились от удивления.

— Птеранодон, что с тобой?

— А что со мной? Со мной всё отлично!

— Ты весь усыпан буквами.

— Ква-квакими бук-ква-квами? — заикаясь, заквакал встревоженный ящер.

— Ты весь, от гребня до лап, исписан...

Подошла Любовь и начала считать со спины Птеранодона:

Невинная весна и зрелый год
Хранят твой облик, внутренний и внешний:
Как время жатвы, полон ты щедрот,
А видом день напоминаешь вешний.

— Кого я напоминаю? — испугался Птеранодон.

— Весенний день! Вот кого! Такой же свеженький, молодой и красивый, — сказал Крикуль. — Не надо было без спросу пить невесть что.

— Откуда же я знал. Любовь, что это у меня такое?

— Любовная лирика. Сонеты Шекспира. Птеранодон, поздравляю. Ты весь пропитан стихами.

— Откуда они взялись?

Кокои просто зашёлся от смеха и хохотал до тех пор, пока не стал икать:

— Ик-Кокои тоже, Ик-кокои тоже...

Друзья присмотрелись к Кокои внимательнее и заметили на его спинке микроскопические строчки. Любовь с трудом прочитала:

Мне кажется, нет равных красотою,
Правдивей нет на свете никого,
Мне кажется, так дорого я стою,
Как ни одно земное существо.

— Ого! — прохрипел Птеранодон. — Какого наш Кокои о себе мнения! Не слабо!

— Это тоже Шекспир! — засмеялась Любовь.

— Это что же Шекспир про нашего Кокои такое написал?

— Ну, надо ж, существо какое наш Кокои? Ваш этот Шекспир — поэт, почти как наш Капуцинчик. Он про Кокои тоже стихи сочинял.

— Капуцинчик сказал так: «Кокои золотое, оставь меня в покое», — Кокои перестал смеяться. — А поэт Шекспир писал не про Кокои. Просто Кокои тоже воду пил.

На хохот и гомон выбежала Майя. Она всплеснула руками и закрыла рот, чтобы из него не выскочили слова недоумения и досады, но тут же, спохватившись, произнесла:

— Совсем забыла вас предупредить. Вы отсюда пили? Ну, правильно. Это же не вода.

— А что? — хором вскрикнули перепуганные пилигримы.

— Это жидкие звёзды.

— Какие звёзды? Этого ещё не хватало! — Птеранодон был растерян.

— Понимаете, недавно шёл дождь, а я собираю...

— Я же говорил, что она дождевая, — перебил Птеранодон.

— Это был звёздный дождь! Лучшие стихи поэтов Время записывает на небе. Звёздные письма высвечиваются недолго, а потом падают на землю в виде дождя.

— Видимо, поэтому, — подхватила Любовь, — существа поэтического склада так часто засматриваются на звёздное небо? Они пытаются прочесть эти бессмертные строки?!

— Ну конечно! Но что мы с вами-то будем делать? Может быть, так и останетесь? Птеранодон, ты просто неподражаем, — Майя была вполне искренна в своём восторге.

— Я не знаю, я как все. Что скажешь, Крикуль?

— А что? Мне кажется, в этом что-то есть. Мало того, что ты вообще сам по себе уникальный малый, так ты ещё будешь Птеранодон со стихами на крыльях!

— Как настоящий Пегас, и даже лучше! — произнесла маленькая лошадка с длинной чёлкой, которая прикрывала один глаз.

— А вот и мой маленький Гений — сказала Майя. Крылатый пони опустил голову, смутившись.

— Как твой глазик?

— Я не знаю. Его совсем не видно.

— Ну, ничего, Сентябрина сказала, что скоро всё пройдёт. А вот Птеранодон любезно согласился полетать за тебя на гору Гор, пока ты не поправишься.

— Спасибо, я очень рад, что Птеранодон останется у нас, — сердечно произнёс Пони. — Меня тут угораздило засунуть нос в пчелиный улей, где хранится мёд поэзии. И вот — поплатился глазом.

Птеранодон хотел было сочинить какую-нибудь красивую фразу про солидарность между Авиаторами, но что-то из этих его внутренних попыток ничего не получалось, и он попросту приветливо улыбнулся.

В замке феи Майи всё было готово к встрече гостей, и Крикуль с друзьями пошли осматривать его достопримечательности. Все стены замка были расписаны поэмами. В расставленных повсюду напольных вазах торчали гусиные перья, всевозможные карандаши и ручки — словом, всё, чем только можно было записать стихотворные строки. Крикуль незаметно для всех вынул своё

самое большое перо и опустил в одну из таких ваз: «А вдруг и моим пером воспользуется какой-нибудь поэт? Вот будет здорово!»

В одном из залов, отделанном в восточном стиле, Крикуль с Кокон и Птеранодон увидели на стене фонтан. Три раковины, изготовленные из карарского мрамора, помещались одна над другой таким образом, что жидкость густого фиолетового цвета стекала сверху вниз и попадала из одной раковины в другую.

— Это чернила, — пояснил Пони, который сопровождал гостей во время экскурсии по замку. — Однажды у нас побывал один поэт, он разгуливал по этим залам, и вдруг его посетила Муза.

— А он не знал, что она тоже у вас гостит? — спросил Птеранодон.

— Кто гостит? — переспросил Пони.

— Ну эта... Муза.

Пони немного помолчал, обдумывая ответ, и сказал:

— Это только так говорят, что его посетила Муза, а на самом деле имеют в виду, что его озаорило.

— Молнией? — снова недопонял Птеранодон.

— Нет! Муза посетила — это значит, что стихи стали появляться в голове поэта, а записать не на чем и нечем.

— А, понял!

— Поэт очень расстроился, заплакал и напрочь забыл стихи.

— Ужас! — сочувственно произнёс Птеранодон.

— Разве это повод, чтобы плакать? — спросил Крикуль со знанием дела.

— Поэт был очень молодой? — спросила Любовь.

— Нет, просто это были его самые лучшие стихи, — грустно сказал Пони.

— Жаль!

— А что же Муза? — не унимался Птеранодон.

— Обиделась! — тихо произнёс Пони.

— Надо же, — сочувственно, но улыбаясь одними глазами, сказала Любовь. — Она его простит и обязательно вернётся.

— А вот это стихотворение написано вареньем! — радостно выкрикнул Пони.

— Где? — экскурсанты с выражением неподдельного интереса подошли к странной надписи.

В ней было очень много пропущенных букв, значительно больше написанных. Вот всё, что они сумели прочитать:

...мороза ...мимоза
...признаться ...влюбляться
...мороз ...горючих слёз...

— А где же остальные слова? — спросил Птеранодон, чей интерес к поэзии разгорался с каждой минутой всё больше и больше.

— Мухи съели, — прозаично объяснил Пони.

— Мухи сели на варенье, вот и всё стихотворенье, — весело произнесла фея Майя. — Бывают и такие стихи, что только мухам по вкусу.

После прогулки по замку пилигримов ждала весёлая пирушка. Они беззаботно болтали, уплятая всякую вкуснятину, которой угощала их Майя.

Блюда, которые им подали к обеду, были очень красиво оформлены и имели интересные, хоть и непонятные названия.

Птеранодон отправлял в рот один за другим маленькие, многослойные бутербродики и приговаривал:

— Вот эти очень вкусные!

— А знаешь, как они называются? — спросил сидящий рядом Пони.

— Как? — переспросил Птеранодон глазами, так как рот у него был забит до отказа.

— Вот этот бутерброд из двух слоёв называется «Хорей».

— Смешное название.

— У него самая вкусная начинка сверху.

— А этот двухслойный бутербродик — «Ямб». У него вкуснее начинка снизу, во втором слое.

— Забавно!

— А вот эти бутербродики из трёх слоёв называются: «Дактиль», «Анапест» и «Амфибрахий».

Птеранодон перестал есть. Крикуль тоже внимательно прислушался к комментариям умной лошадки.

— Что в бутерброде главное?

— Бутерброд!

— Паштет! У «Дактиля», бутербродика, состоящего из трёх лепёшечек, самое вкусное, то есть паштетик, сверху. Вкус сразу чувствуется. Пробуй!

Птеранодон не заставил себя ждать, и «Дактиль» моментально исчез в его глотке.

Пони уже держал наготове следующую кулинарный шедевр. И как только Птеранодон был готов к дегустации, Пони тут же продолжил:

— «Амфибрахий» — тоже трёхслойный, но сверху и на нижней лепёшке у него только масло, а паштет, видишь, внутри, во втором слое.

Птеранодон проглотил пару «Амфибрахийев» и вскинул палец вверх от восторга.

— У «Анапеста» паштет в нижнем слое, — продолжал Пони.

— Дай-ка мне «Анапест», я его ещё не пробовал, — Птеранодон потянулся лапой к бутербродам, лежащим горкой на противоположном конце стола.

Пони любезно переставил тарелку с «Анапестами» поближе к Птеранодону.

— У-у-у, вкуснота! Никогда не ел ничего такого! Эти трёхслойные, пожалуй, повкусней будут, чем «Ямб» с «Хореем». Хотя те тоже ничего себе. Названия только какие-то чудные? — сказал Птеранодон, выбирая глазами, что бы ещё такого попробовать. — Ты их сам придумал, профессор?

— Нет. Это названия стихотворных размеров.

— Как это?

— Стихи пишут по-разному. Они бывают разных размеров.

— Как одежда?

— Ну да. Более длинные, более короткие. И отсюда разные названия их размеров.

— Да-а, не просто.

— Это точно. Ну ты же, Птеранодон, останешься у нас с Майей, и я всё-всё тебе объясню подробно.

— Когда, Птеранодон, в следующий раз с тобой встретимся, — сказал Крикуль, — ты уже будешь в поэзии настоящим специалистом.

Птеранодон внимательно посмотрел на Крикулю.

— А я и забыл, что нам скоро расставаться, — грустно произнёс он, и на минутку потерял интерес к «Ямбама» и «Амфибрахиям».

— Ну мы же скоро встретимся, дружище, — весело и уверенно произнёс Крикуль, — через три дня на балу у Декабрины. Правда, Майя?

— Обязательно! — счастливым голосом произнесла фея.

Наступила минута прощания.

— Ну, ты, это, смотри в оба! — напутствовал Птеранодон маленького Кокои. — Остаёшься за главного охранника.

— Кокои всегда смотрит в оба.

— Да не волнуйся ты так, — улыбнулся Птеранодону Крикуль. — Увидимся!

Все обнялись. И Любовь, и Крикуль с Кокои на плече отправились в путь.

Телеграмма домой

Глава, в которой Крикуль учится отправлять маме телеграмму

Был тёплый погожий вечер. Лесные жители занимались своими привычными делами. Было слышно, как дятел лихо собирает дань с деревьев. Где-то возле гнезда хлопчет лесная завирушка. Маленькая неприметная птаха кормит своё ненасытное потомство, и пронзительный требовательный писк птенцов разносится по всей округе. Крикуль подумал, что за дни пребывания на Острове Детства он будто бы заново родился. Он по-новому стал ощущать и понимать окружающий его мир.

«А мои друзья? Как я жил без друзей? Неужели было время, когда я их совсем не знал?» — удивлялся Крикуль. Неподдельную привязанность к ним он чувствовал всем сердцем. И неужели он должен расстаться с ними навсегда? И он должен будет вернуться в замок Короля Страха? И снова его сердце превратится в пустой колодец? Эта холодящая изнутри пустота возникала в нём каждый раз после общения с Отцом. И процедура эта была на редкость выматывающей. После перенесённого внутреннего напряжения он обычно ничего не мог делать, ни о чём не мог думать. Он сам превращался в эту пустоту, в ничто. Жалкий собиратель слёз.

Любовь будто почувствовала, что мысли у Крикуля невесёлые, и заговорила с ним о любви.

— Крикуль, ты любишь путешествовать?

— Очень.

— Ты бывал во многих странах?

— Да.

— Но ведь есть уголки, в которых ты ещё не бывал?

— Конечно.

— Когда мы придём к Июнине, ты сможешь побывать где угодно. Она сможет выполнить любую твою просьбу. Хотя может статься, что мы явимся, а Июнины нет на месте.

— Почему?

— Она великая путешественница, и её очень трудно застать дома.

— Так что же делать?

— Ничего, подождём. А где бы ты хотел побывать? Крикуль хотел было откровенно сказать о маме, но не решился.

— Я подумаю, — тихо произнёс он. — А ты, Любовь, где бы ты хотела побывать?

— Дома, — просто ответила она.

— А где твой дом?

— Он в «Любящем Сердце». Так называется мой Летучий корабль.

— Он где-то в море?

— Нет, на Небе, за семью Ветрами, за семью Облаками, за семью Зарницами.

— Далеко.

— Очень.

— Ты соскучилась по дому?

— Конечно. Но я привыкла путешествовать и так же, как Июнина, редко бываю дома, — весёлые искорки в её зрачках заиграли в чехарду, и на небе появились предгрозовые всполохи.

— Опять будет дождь? — спросил Крикуль.

— Нет! — вздохнула Любовь. — Это я отправила домой короткую телеграмму, что у меня всё хорошо! Смотри внимательно, сейчас получим уведомление о вручении.

Любовь не успела договорить, как они увидели отдалённую зарницу — молнию без грома, весело блеснувшую из поднебесья и озарившую ярким светом прекрасное лицо Любви.

Крикуль подумал, что как только он отыщет дом своей мамы, то непременно во время вынужденных отлучек тоже будет посылать телеграммы каждый раз, как вспомнит о ней. «Мама, у меня всё хорошо!»

Июнина

Глава, в которой Крикуля подстерегают новые испытания

Подул ветер. С каждой минутой он становился всё сильнее. В какой-то момент Кокои чуть не свалился на землю. Крикуль засунул его себе под крыло, абсолютно забыв о взрывном порошке, который был спрятан там же.

Ветер усиливался, и Любовь с Крикулем прижались друг к другу. Они шли низко пригнувшись, чтобы было легче сопротивляться порывам начинающегося урагана. Но Любовь вдруг остановилась.

— Крикуль, — перекрикивала она разбушевавшийся не на шутку ветер, — я поняла, в чём дело. Мы не туда идём.

— Почему? Как ты узнала?

— Ветер подаёт нам знак. Попасть к Июнине можно только с попутным ветром. Он должен дуть нам в спину, а не в лицо.

— Ну так что? Поворачиваем?

Они развернулись к ветру спиной. Ветер тут же подхватил их, словно невесомые пушинки, закружил и через несколько мгновений бережно опустил на траву перед владениями феи-путешественницы.

— Спасибо! — поблагодарила Любовь Небесного возницу.

— Хозяйки нет дома, но вы проходите, а я пока немного проветрю замок, — сказал Ветер, который только что лихо перенёс их сюда, а теперь

исполнял роль заправского мажордома. Он так стремительно ворвался в замок, что входная дверь ещё долго покачивалась, гостеприимно распахнувшись перед путниками.

— Ну что ж, пожалуй, подождём немного. Хорошо, Крикуль?

— Хорошо!

— Пошли!

Любовь первой вошла в замок Июнины. Крикуль хотел последовать за ней, но в этот миг Кокои вылез из-под его крыла и спрыгнул на землю.

— Кокои, это ты? — удивлённо спросил Крикуль. Вопрос был, конечно, глупый. Кто же ещё мог сидеть у него под крылом? Он задал его скорее по инерции, ведь Кокои имел такой жуткий вид, что до Крикуля с трудом дошло, какую роковую ошибку он совершил. Кокои был чёрным, словно обугленная, закопчённая головешка.

— Кокои, как ты?

— Кокои в порядке, — сказал Кокои очень тихо.

— Что с тобой случилось?

— Кокои нашёл плохой порошок. Кокои его убил. Крикуль решил проверить, подозревает ли Кокои, что этот порошок спрятан им самим, и спросил:

— Откуда же там взялся этот порошок?

Кокои искренне ответил:

— Кокои знает. Это мёртвая плоть подсунила Крикулю плохой порошок. Это мёртвая плоть хотела погубить Крикуля. Кокои спас друга.

— Спасибо, конечно, но что ты сделал? Почему ты весь чёрный?

— Кокои съел порошок. Порошок в животе Кокои.

— Какой ужас! — почти застонал Крикуль. — Мы же сейчас взлетим на воздух, нужно что-то делать.

— Не нужно паники! — спокойно продолжал Кокои. — Яд Кокои сильный. Яд убил порошок.

— Вот это да! Но ты почернел, — Крикуль хотел дотронуться до лягушонка, но малыш был таким горячим, что Крикуль обжёгся и даже вскрикнул от боли.

— Кокои станет как прежде, подожди немного.

— А это тебе не повредит? — не унимался обескураженный Крикуль, ему даже в голову не могло прийти, что эта кроха способна ликвидировать, да ещё таким необычным способом, порошок, количества которого должно было хватить на уничтожение целого Острова.

«И это что же, у меня на одну серьёзную проблему стало меньше? Я действительно избавился от ненавистного порошка? Фантастика!» — в это Крикуль никак не мог поверить.

— Кокои хочет пить, — тихонько проговорил его спаситель.

— Да-да, сейчас!

Крикуль достал из дорожной сумки миртовую веточку. Представил себе кувшинчик с родниковой водой, который тут же материализовался после лёгкого взмаха веточкой. Кокои с жадностью начал пить.

Пока Кокои утолял жажду, Крикуль продолжал размышлять: «Если Кокои не изменит цвет и не станет таким как прежде, то мне всё равно придётся всем объяснить причину этого, тем более

что от Кокои нестерпимо пахло порошком. Сейчас к нам выйдет Любовь, и всё пропало, она обо всём догадается. Нужно действовать!»

Крикуль представил себе золотошкурого лягушонка в его первоизданном виде и снова взмахнул миртовой веточкой. У него раздвоилось в глазах, то есть жадно пьющих лягушат теперь стало двое. Крикуль подумал, что сделал что-то не так, и снова взмахнул веточкой. Перед ним оказалось четверо Кокои, двое из которых были золотого, а вторая парочка — чёрного цвета. Крикуль будто сошёл с ума и начал быстро-быстро взмахивать волшебным подарком феи Октябрины. Его охватил ужас и паника — весь двор перед замком Июнины был усыпан чёрно-золотыми Кокои. При этом чёрненькие шипели, и от них шёл пар, а золотые то багровели, то снова превращались в кусочки золота.

— Что здесь происходит? — спросила Любовь, которая вернулась за Крикулем.

Но Крикуль по инерции снова взмахнул веточкой миртового дерева. На этот раз золотой Кокои остался в единственном числе. Крикуль облегчённо выдохнул, а Любовь подошла и ласково забрала веточку из рук перепуганного Аиста.

Первым заговорил Кокои:

— Здесь была мёртвая плоть. Мёртвая плоть была внутри Кокои.

— Так этим чёрным лягушонком были... — Крикуль чуть было не произнёс: «Оксы», но осёкся и исподлобья взглянул на Любовь: «Догадалась ли она, что что-то здесь не так?» Ему было мерзко чувствовать себя злоумышленником, которому приходится всё время врать и выкручиваться, да ещё среди таких преданных ему и чистых созданий, как Любовь и Кокои. Было мерзко, но Страх Разоблачения мешал ему вести себя по-другому. Любовь не смотрела на Крикуля. Она наклонилась к Кокои, протянула ему ладошку, на которую тот мигом перебрался, и сказала нежным голосом:

— Кокои, ты снова спас друга. Кокои — великий воин.

— Это Любовь спасла Кокои. Это Любовь спасла Крикуля. Мёртвая плоть боится... — ответил Кокои.

Любовь не дала договорить маленькому храбрецу.

— Пойдёмте со мной, нас ждут.

Прямо на спинку золотому лягушонку уселась дивная янтарная стрекозка, между слюдяными крылышками которой зеленело слово «Июнина».

Крикуль пошёл следом за ней совершенно опустошённый. Причём как в переносном, так и в прямом смысле этого слова. Порошок исчез. Уничтоженный Кокои или унесённый Оксами? Вопрос повис в воздухе.

Замок Июнины имел форму земного шара, а значит, он не был абсолютно круглым. При этом его стены снаружи были расчерчены параллелями и меридианами, как на гигантском глобусе.

Мебель в замке была зачехлена, её контуры напоминали ландшафты Земли. Многочисленные кресла и стулья с высокими спинками, с накинутыми на них кусками разноцветного полотна, походили то на холмы и пригорки, то на горы и каньоны. Все стены были испещрены многочисленными картами, некоторые из них представляли

собой исключительные своей красотой вышивки по шёлку. Сверкающие лазоревой синевой, сочной зеленью, жёлто-терракотовые нити были переплетены настолько тонко, что казалось, их узор нельзя разьединить. «Карта Бретани и Аквитании, Карта Лотарингии из атласа Меркатора, — прочитал Крикуль под двумя самыми красивыми. — Карта духоты. Невероятно, оказывается, есть даже такая», — с удивлением подумал Крикуль.

В гостиной было свежее, чем на улице. Приятная прохлада начала понемногу успокаивать Крикуля. Зала напоминала пещеру. Окна отсутствовали. Стены освещались факелами. С высокого потолка свисали желтоватые каменные сосульки. С них постоянно капала вода. Из этой застывшей воды вырастали такие же каменные столбики. Крикуль никогда не бывал в пещерах и не знал, что сосульки называются сталактитами, а их двойники снизу — сталагмитами. В нескольких местах эти стремящиеся друг к другу каменные сосульки уже соединились и образовали причудливые колонны — необычного вида скульптуры. Между соляными столбами стоял большой стол, вокруг которого сидели три воздушных великана. Они были похожи на вертикально поставленные облака, но только полупрозрачные. Их всклокоченные густые гривы и бороды время от времени приходили в движение. В одном из великанов Крикуль узнал Ветер, который доставил их сюда. Его эфирное тело было желтоватого оттенка. Он не обращал никакого внимания на вошедших в зал и играл со своим приятелем, розоватым исполином. Сидя за столом напротив друг друга, они перебрашивали огромный ком тополиного пуха, попеременно поддувая его то с одной, то с другой стороны. Третий, какой-то уж слишком серьёзный, абсолютно седой, сидел, надувшись, и исподлобья наблюдал за игрой, скрестив на груди свои могучие руки.

— Любовь, а кто это? — не выдержав паузы, спросил Крикуль.

— Это Ветры Странствий. Самый старший, который не занят игрой, — Северный Ветер. Розоватый — Ветер Западный, а Восточный, который словно излучает солнечный свет, это наш с вами проводник. Ты его узнал?

— Да!

— Ждать осталось недолго. Июнина уже на подходе.

— Она дала о себе знать?

— Подойди сюда, Крикуль, — Любовь подвела Крикуля к самой середине зала. — Видишь этот цветок?

Крикуль действительно увидел на полу большой нарисованный цветок, состоящий из четырёх длинных и четырёх коротких лепестков. На заострённых лепестках виднелись буквы. Сердцевина цветка напоминала по форме соцветие подсолнуха, такое же круглое и большое. Любовь удерживала Крикуля за крыло.

— Смотри, не наступай на него. Без разрешения Июнины этого делать нельзя.

— А что означают эти буквы?

— Буква «С», написанная сверху, указывает на север, «Ю» — юг, «З» — запад, «В» — восток. Между ними, на маленьких лепестках,

«СВ» — северо-восток, «ЮВ» — юго-восток, «ЮЗ» — юго-запад, «СЗ» — северо-запад. Этот цветок называется Розой Ветров.

Ветры, сидящие за столом, обернулись.

— Это самый красивый цветок в мире! — прогормыхал Западный Ветер.

— Я тоже не видел ничего лучше этой Розы, — вторил ему Восточный Ветер. — Это мой любимый цветок!

— Да, он действительно очень красивый! — отозвалась Любовь и продолжила свой разговор с Крикулем. — Ты спрашиваешь, откуда я знаю, что Июнина скоро будет здесь. Сердцевина цветка — соцветие, ещё её называют «корзинка», — это волшебное поле, отсюда фея начинает свои путешествия.

Крикуль заметил, как поле-соцветие меняет цвета. Это были цвета радуги, как на палитре Октябрины. Крикуль вспомнил считалочку, в которую играли краски: каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Первая буква каждого слова означала цвет краски. Когда они с Любовью подошли к Розе Ветров, её сердцевина была зелёной. Пока Любовь объясняла Крикулю значение букв, написанных на концах лепестков Розы, сердцевина стала голубой. Теперь она была синего цвета.

— Как только поле станет фиолетовым, — сказала Любовь, — перед нами предстанет фея Июнина во всей своей красе.

— Она очень красивая, — тут же отозвался Западный Ветер.

— Она самая красивая, какую я когда-либо видел на свете. Она — моя самая любимая фея из всех фей мира, — прогудел Восточный Ветер.

Северный Ветер по-прежнему молчал. Видно, не в его характере было говорить о любви.

Июнина возникла внезапно. И сразу же распахнула навстречу гостям свои объятия.

— Любовь! Крикуль! Кокои! Мои верные Ветры Странствий! Бесконечно рада вам. Какие вы видели горы! Это просто потрясающее впечатление, никогда к нему не привыкну. Крикуль, ты когда-нибудь стоял на самом краю кратера вулкана за минуту до его пробуждения?

— Нет, — ответил Крикуль, который ошалел от темперамента феи. Она была в постоянном движении. Говорила и сбрасывала с себя штормовку, косынку. Восточный ветер начал поливать ей на руки воду из кувшина. Потом он подул на её хрупкие пальчики, и они сразу же обсохли. Фея уселась прямо на пол гостиной и стала расшнуровывать крепкие ботинки, с грубой толстой подошвы которых отваливались комья налипшей земли. Фея-непоседа, так про себя назвал Крикуль Июнину, не останавливаясь ни на минуту, достала из рюкзака кроссовки, натянула их на ноги и выпалила:

— Всё, я готова. Куда перемещаемся?

— Прямо так сразу? — заморгал Крикуль.

— А чего медлить?

— Я ещё не придумал. Я даже не знаю. А что ты, то есть вы, что мне посоветуете?

— Молодец! Очень мудрое решение! Раз сам не знаешь точно, чего хочешь, посоветуйся с бывальными. Молодец! Весь мир прекрасен! — Июнина забегала по залу, стала размахивать руками,

останавливаясь то возле одной, то возле другой карты. — Все континенты, океаны и моря, острова и архипелаги прекрасны и неповторимы по-своему.

Когда Июнина подбегала к той или иной карте, факелы, висевшие рядом, начинали потрескивать, вспыхивали с большой силой, и их огонь взмывал прямо к потолку. Темперамент у Июнины был искромётный. Июнина ещё некоторое время говорила о красотах мира, о своеобразии самых выдающихся уголков земли, о семи чудесах света, о которых, кстати, Крикуль тоже кое-что знал и даже мог бы при необходимости их перечислить, только его никто не просил это сделать.

— У нас мало времени, а соблазнов очень много, давай, наконец, определимся, куда мы с тобой незамедлительно отправимся, — произнесла Июнина.

Все присутствующие тоже стали вносить свои предложения.

— Я бы на твоём месте, Крикуль, полетел на Восток, на вершину великого Эвереста, это самая высокая гора в мире, — прогудел Восточный Ветер. — Без Июнины тебе туда никогда не забраться самому.

— А я бы посоветовал Аисту слетать на вершину Анд, оттуда прекрасно видны облака над Амазонкой, они словно бескрайние снега в Антарктиде. Можно взглянуть на экспедицию адмирала Колумба. А ещё можно посмотреть на исчезнувшую Атлантиду. Ты слышал о таком острове, Крикуль? Июнина тебе это организует в два счёта, — Западный Ветер разошёлся не на шутку.

Северный гордец перестал играть в молчанку и пробасил:

— Ты бы ещё посоветовал ему слетать посмотреть на остров Ойкумена.

— А что это такое? Я никогда не слышал об этом, — признался Крикуль.

Северный Ветер нехотя проговорил:

— А надо бы знать, ты вроде бы парень уже взрослый. Крикуль снова искоса взглянул на своё оперение и на всякий случай промолчал.

Северный Ветер продолжил разговор:

— Один учёный грек по имени Анаксимандр представлял Землю как плоский круг, в центре которого будто бы находится Ойкумена — остров, населённый живыми существами, вокруг которого плещется океан.

— Значит, Ойкумена на самом деле не существовала?

— Нет, этот остров был только в воображении Анаксимандра.

— А остров Атлантида?

— Тоже в голове, но только Земли.

— Как это? Я не понял.

— Атлантида затонула. А если ты не знаешь таких вещей, то лети в Австралию, — не без иронии процедил Северный Ветер. — Будешь помогать там кроликов вылавливать.

— А что, там много кроликов? — поинтересовался Крикуль.

— Много! — отрезал Северный Ветер. — Настолько много, что они скоро съедят весь континент.

— Ничего себе! — заинтригованно протянул Крикуль. Всё-таки ему дали понять, и он хорошо почувствовал, более чем холодное к себе отношение Северного Ветра. Сразу было видно, что Северный Ветер — ужасный злока.

— Нет, охота на кроликов отменяется, — сказала Июнина. — Крикуль, смотри и сам выбирай.

Июнина подошла к своему волшебному цветку — Розе Ветров. Встала в самую сердцевину соцветия и сделала полшага в сторону лепестка с буквой «С». Крикуль увидел, как у самых носков её башмаков заплескался Северный Ледовитый океан. Повеяло холодом. Перед Крикулем простёрся край бесконечных снегов и метелей. Белый медведь с рыбиной в зубах с любопытством пострел на диковинную птицу с длинным клювом и скрылся за торосами. Картинка моментально исчезла, как только Июнина вернулась в центр цветка.

Фея весело взглянула на Крикуля и сделала шагок в противоположную сторону, к лепестку с буквой «Ю». И тут же под её ногами зашкрякал жёлтый песок. Крикуль увидел барханы, которые, словно лёгкие волны на воде, перемещались по пустыне Гоби. Вдали, не спеша, проходил караван верблюдов, навьюченных пёстрыми тюками.

Июнина сделала едва заметное движение, и перед Крикулем, словно сквозь голубоватую дымку, возникли пирамидальные гробницы фараонов и сфинксы Древнего Египта, зазеленели плантации тростника на Маврикии, и сверкнул своей заснеженной вершиной огнедышащий вулкан Килиманджаро.

Июнина шагнула на Запад. И прямо посредине её пещеры выросло каменное кружево венецианского Дворца дождей, неподалёку появилась построенная, словно из песка, архитектурная готическая фантазия Гауди, мимо промелькнул грациозный тореро с красным плащом в руках, за ним пронёсся разъярённый бык. Крикуль хотел было увернуться от бежавшего прямо на него зверя, но вовремя понял, что это всего лишь мираж. Слово из-под земли появлялись каменные великаны из Саксонской Швейцарии, Западный Ветер взвился до потолка от восторга.

И тут фея, продолжая кружиться в волшебном танце, сделала широкий шаг в сторону Востока. Пещера наполнилась тонкими ароматами цветущей сакуры. На гранатовом дереве рядом с храмом Кинкаудзи сладко запела иволга. Через всю пещеру Июнины протянулась Великая Китайская стена. Крикуль увидел целый архипелаг островов. Маленькие, даже миниатюрные, они россыпью возникли у самых ног феи, и она тут же начала перепрыгивать с одного на другой, произнося вслух их названия: Хоккайдо, Сикоку, Осуми, Хонсю, Садо, Окинава, Рюкю и Кюсю, — а потом она проделала то же самое, но только в обратную сторону. Июнина резвилась, как дитя. Как только фея вернулась на место, перед ними появилось озеро Мотосу, и в его зеркальной глади Крикуль увидел отражение затянутой туманом величественной горы.

— Что это? — воскликнул аист.

— Озеро Мотосу и гора Фудзи. Эта священная гора — символ Страны восходящего солнца. Если

ты поднимешься на Фудзи с Любовью, то каждым своим шагом поблагодаришь Природу за жизнь, подаренную тебе. С вершины этой горы каждый увидит свой дом.

— Я хочу побывать там! — восторженно вскрикнул Крикуль.

— На Фудзияме?

— Да!

— Молодчина! — сказал Восточный Ветер. — Не зря говорят, Восток — дело тонкое.

Поскольку Крикуль сделал выбор в пользу Востока Западный Ветер ревниво произнёс:

— А где тонко, там и рвётся.

— Ничего, он не сорвётся! — не унимался Восточный Ветер.

— Конечно, держись крепче за воздух зубами, и всё обойдётся! — скептически напутствовал Крикуль Западный Ветер.

— Зато это его добровольный выбор! — хмуро подытожил их Северный брат.

— О чём это они? — озадаченно спросил Крикуль Июнину.

— Они волнуются! Думают, что оказаться на горе, которая является действующим вулканом, — это слишком опасное для тебя приключение.

Крикуль внутренне ухмыльнулся и подумал: «Не опаснее, чем оказаться на Острове Детства!»

— Ну так что? Ты согласен?

— Да!

— Тогда вперёд! Любовь, а ты с нами?

— Конечно! — сказала Любовь.

— Кокои тоже с вами, — сказал Кокои и взобрался на плечо Аиста.

Восточный Ветер надул щёки от важности и приготовился к полёту.

— Тогда, — сказала Июнина, — попрошу всех желающих встать в центр Розы Ветров. Так, а теперь делаем широкий шаг вправо. И-и-и... Раз!

Компания попала на Фудзияму в момент её послеобеденного отдыха. Гора уже приняла удобное положение и начала засыпать. В предвкушении сладких сновидений гора тихоноко вздымала грудь — Крикуль слышал её ровное дыхание, — и очень скоро из жерла вулкана начали доноситься лёгкие посвистывания глубоко уснувшей великанши. Перед ними раскинулся как на ладони утопающий в зелени садов, объятый океанской лазурью остров Хонсю. Восточный Ветер веселился и всё время отвлекал Любовь, рассматривавшую сверху живописную долину.

— Ну что, Крикуль, не страшно? — спросила Июнина.

А почему мне должно быть страшно?

Фудзияма — действующий вулкан. В любой момент может проснуться. Ты представляешь, что это за зрелище — извержение вулкана?

— С трудом!

— А я вот видела, и не раз.

— Расскажи... то есть... жите... Расскажите.

— Это нужно видеть, и лучше издали. Начала слышатся глухие удары подземных толчков. Они становятся всё более ощутимыми, и вот наступает необратимый миг: душераздирающий свист сменяется жутким грохотом, вас оглушают смертоносные взрывы вулканических бомб, — Июнина с жаром рассказывала, а

Крикуль почему-то представлял себе жуткую картину отцовского гнева, которую он видел лишь однажды, но эта дикая картина врезалась в его память навсегда. — Вулкан окончательно просыпается, выходит из-под контроля, и ничто уже его не может остановить. Взбесившийся исполин извергает раскалённые брызги, швыряется камнями. И вот неумолимо, с неимоверной скоростью, испепеляя всё на своём пути, огненная, докрасна нагретая магма вырывается наружу. Направив к небу часть своего гнева, с горы стремительно скатывается раскалённая, несущая смерть лава. От неё не в силах спастись ни одно живое существо, даже птица. Фонтан чёрного пепла извергается наружу и засыпает всю округу на многие километры. Зрелище, должна вам доложить, очень страшное.

Пока фея рассказывала о возмутительном поведении вулкана-разбойника в минуты потрясения, Крикуль с Кокои на плече стояли возле самого кратера, где зияла гигантская яма, почти до отказа заполненная водой. В этом тёмном озере, которое они оба стали пристально изучать, прямо у них на глазах появилось странное изображение, смутно напоминающее человеческое лицо. Внимательно вглядываясь в его черты, Крикуль вдруг узнал... О, ужас!

— Кокои, что ты видишь? Кто это смотрит на нас?

— Мёртвая плоть? — неуверенно произнёс лягушонок.

— Нет, это мой Отец — Король Страх.

Внезапно гора проснулась, резко дёрнулась, и маленький Кокои, потеряв равновесие, сорвался с плеча Крикуля.

— Не-е-т, — закричал, что было сил Аист, и беспомощно вытянул вслед падающему в пропасть другу своё слабое крыло. Бесстрашный воин летел вниз, прямо навстречу Страху Смерти. Всё произошло настолько внезапно и стремительно, что никто уже не мог ничего изменить. Гора начала трястись и бурно выражала своё недовольство. С минуты на минуту должно было начаться свестопреобразование. Охваченные отчаянием, искатели приключений вынуждены были вернуться назад. Без Кокои.

Крикуль рыдал. Никто не мог его успокоить. Он терял своих друзей одного за другим. Первым был весельчак Капуцин, а теперь вот маленький Кокои. Неужели, неужели находясь в непосредственной близости с такими могущественными волшебницами, он не мог рассчитывать на их помощь? Безрезультатными остались и все его попытки воспользоваться миртовой веточкой. В своём воображении он восстанавливал портрет Кокои, взманивал веткой — и перед ним появлялся лягушонок, и это был другой листолаз ужасный. Очень похожий на Кокои, но не он.

— Почему? Почему? Почему? — Крикуль продолжал отчаянно плакать. Нет, этого не может быть!

— Подожди, Крикуль, не убивайся так! — Июнина сидела рядом с ним, прямо на полу в своей гостиной, напоминающей пещеру.

Грустно и тускло горели факелы. Словно это был траур по его другу.

— Будем надеяться на лучшее. На поиски Кокои отправились Ветры Странствий. Мне очень жаль, Крикуль, поверь.

Крикуль плакал. Любовь не говорила ему о надежде. Она плакала вместе с ним.

«Как больно терять друзей!» — Крикуль никогда не испытывал такой нестерпимой боли. Даже когда Нянька хлестала его наотмашь по лицу и отвечивала свои крепкие затрещины, ему не было так больно. Даже когда он испытывал унижение и опустошение от дикого страха перед Отцом, ему не было так больно. Даже когда Оксы расплавились на его глазах и образовали безобразную плёнку, ему не было так больно. Ему никогда ещё не было так больно!!! Крикуль не видел дороги. Его путь застилала слёзы, боль и скорбь. И ещё обида. Обида и злость на самого себя. Он же знал, что нельзя расслабляться! Мало было случая с Капуцином?

Крикуль шёл, и в его воображении одна за другой всплывали сцены их знакомства: Капуцин пристаёт к нему со своим интервью, давится голый курицей, пытается раскрыть свою шкатулку. Вот они у берега Жемчужного озера, Капуцин панически боится Кокои и скачет от него по-лягушачьи. Кокои сидит на руинах в гостинной Январины. Он только что сражался с мёртвой плотью. Вот Капуцинчик в нарядном смокинге и при «бабочке» ведёт вечер у Ноябрьрины. Вот он пытается избежать встречи с Любовью. И вот он покорён, в нём происходят такие разительные перемены. «Я напишу роман о наших приключениях!» — говорит ему Капуцин.

— Конечно, ты же журналист, и очень даже неплохой. — Эту фразу Крикуль произнёс вслух. Любовь поняла, что это Аист мысленно разговаривает со своим другом.

— Крикуль, может быть, позовём Птеранодона? — тихо спросила Любовь.

Крикуль и сам хотел это предложить, но сейчас упрямо промолвил:

— Нет, не надо, он же помогает Майе. Он там нужен, иначе бы его не попросили остаться. Надеюсь, у Птеранодона всё в порядке, хоть он и летает на горы Гор.

— Это же горы Острова Детства, — сказала Любовь, — здесь с ним ничего плохого не произойдёт. Всё будет хорошо! Всё будет хорошо, Крикуль, вот увидишь!

Крикуль не мог разделить с ней этой уверенности и подумал, что Любовь просто утешает его в трудную минуту.

Июлина

Глава, в которой Крикулью предстоит сыграть роль Человека, превратившегося в Аиста

Когда путники добрались до замка Июлины, стояла уже глубокая ночь. Ночь нарядилась в траурные одежды. Глухое тёмное платье плотно закрывало светлые части её тела. Неизменно бледное лицо было прикрыто тонкой чёрной вуалью. Под глазами еле заметно поблёскивали ещё не растаявшие звёздочки-слёзки. И только её великолепная тиара, царственно венчающая чело, пронзи-

тельно сверкала небесной красотой алмазами. Ночь вместе с путниками оплакивала потерю.

В самом конце аллеи, по которой они уже какое-то время шли, неожиданно вспыхнул тусклый огонёк. С каждой секундой он разгорался и становился всё ярче и ярче. Он увеличивался в размерах и вскоре уже напоминал Светило, от которого в разные стороны змейками исходили протуберанцы. Между Огнём и путниками протянулась целая вереница маленьких огоньков, которая соединила их. Крикуль внимательно присмотрелся к огонькам. Это оказались ночные светлячки, которые держали в своих лапках крошечные фонарики. Ночное дежурство бдительных фонариков было очень кстати. Дорога к замку феи Июлины перестала казаться мрачной.

В конце аллеи их ждала красивая молодая женщина. Она высоко над головой держала небольшой факел и напоминала Крикулью величественную статую, которую ему однажды доводилось видеть, но только это было совсем на другом острове. Внешне фея Июлина походила на свою младшую сестру, но только двигалась она более степенно.

«Может быть, на её темпераменте просто скаывается время суток? Ведь всё вокруг погрузилось в сон», — подумал Крикуль. Любовь, Крикуль и хозяйка Июля, словно группа заговорщиков, обнялись. Тихо приветствовали друг друга и также тихо, не говоря ни слова, вошли в замок. Светлячки почему-то не захотели оставаться на улице и кавалькадой послушных придворных влетели в замок вслед за факелом. Гости вместе с хозяйкой пересекли довольно просторный, плохо освещённый холл и прошли в помещение, где царил кромешный мрак. Единственным источником света был факел, который фея по-прежнему держала высоко над головой. Крикуль увидел два ряда обитых красным бархатом кресел. Он безуспешно пытался рассмотреть помещение. Внезапно, словно ради того, чтобы облегчить его участь, прямо над ними тысячами ярких огней вспыхнула огромная великолепная люстра. Она залила своим сказочным светом всё вокруг, и Крикуль понял, что находится... в Театре.

В глубине зала, заполненного несколькими десятками кресел, Крикуль увидел довольно глубоководную сцену, которая заканчивалась рисованным задником. На картине были изображены мечети, минареты и шёлковые шатры восточного базара. Объёмные декорации также напоминали интерьеры дворца восточного правителя: ажурные арки окон, диваны, низкие резные столики, кальяны, кувшин с длинным узким горлышком. Бархатные красные кулисы с золотыми узорами, служили сцене великолепной оправой и были задрапированы в мощные колонны. По обе стороны зала Крикуль увидел ложи, расположенные в несколько ярусов. Театр был с блеском оформлен позолоченной лепниной, всевозможными барельефами и скульптурами. Всё это великолепие празднично сияло.

Крикуль с удовольствием и нескрываемым любопытством рассматривал театральные залы, а Июлина тем временем рассматривала его. Неожиданно она произнесла короткую фразу, и это было первое, что она сказала своему гостю:

— Ты мне подходишь.

Крикуль немного растерялся. Помолчал. Июлина снова повторила:

— Да, определённо ты мне подходишь!

— В каком смысле? — недоуменно заморгал Крикуль. Но Июлина не ответила на его вопрос, а почему-то добавила:

— Как раз то, что вам нужно.

— А что вам нужно?

Фея, бесцеремонно рассматривая Аиста, словно он был товаром на невольничьем рынке, обошла вокруг Крикуля и загадочно произнесла низким, хрипловатым голосом:

— Какие пёрышки! Какой носок! И, верно, ангельский быть должен голосок!

— Я петь не умею, я не буду... — Крикуль взглянул на Любовь, как будто искал защиты.

Любовь перехватила его взгляд и обратилась к фее.

— Дорогая Июлина, ты не могла бы нам объяснить, что означают твои намёки?

— Разумеется! Извините. Всему виной моя одержимость. Когда я занимаюсь какой-либо постановкой, работа полностью захватывает меня, и весь остальной мир перестаёт существовать.

— Может быть, мы не будем вам мешать и пойдём дальше? А то до бала у Декабрины осталось всего два дня, а мы ещё у Августины не были, — предложил Крикуль, который, честно говоря, уже привык, что все на Острове Детства встречают его более радушно и не хотят использовать в каких-то непонятных ему целях. Неизвестность всегда пугала его.

— Что вы, как это «пойдём»?! Я вас так ждала!

Июлина как-то внутренне изменилась, смягчилась и заговорила довольно быстро, чем снова напомнила Крикулю Июнину.

— Извините. Я начала с места в карьер. Вам нужно было дать отдохнуть с дороги. Как в сказках говорится? «Сначала накорми, напои, спать уложи, а потом уж спрашивай», — тут голос Июлины изменился до неузнаваемости, и вся она как-то скрючилась, скукожилась, завязалась узлом, превратилась в древнюю старуху и заскрипела:

— Что ты, добрый молодец, дело пытаешь, аль от дела лытаешь?

Крикуль был поражён таким перевоплощением, он никогда не видел актрис, да ещё так близко. Конечно, можно было всё списать на то, что перед ним была волшебница, фея. Но фея-лицедейка — это было что-то особенное. Июлина беззаботно рассмеялась, и напрямик спросила:

— Ну, так что, «добрый ужин был бы вам, как видно, нужен»?

Любовь отказалась, и Крикуль, за компанию, тоже. Они ограничились выпитым на сон грядущий берёзовым соком и распрощались с хозяйкой до утра.

Отведённые специально для гостей апартаменты были расположены непосредственно за сценой и напоминали гримёрные комнаты. Крикуль, оставшись один, почувствовал себя смертельно уставшим от всех переживаний и почти сразу же уснул.

Утром, заметно отдохнувшие и посвежевшие гости были накормлены вкусным завтраком во

дворе замка Июлины. Здесь, на зелёной лужайке, в белоснежной каменной ротонде, густо обвитой плющом, которая служила им надёжным укрытием от июльского зноя, фея потчевала Крикуля и Любовь душистым чаем и рассказами о своих творческих планах.

— Сейчас я занята постановкой одной из знаменитых сказок Вильгельма Гауфа «Калиф-аист». Этим-то и вызвана моя чрезвычайная заинтересованность в вашем появлении, — очаровательно улыбаясь, фея-актриса будто извинялась, объясняя своё странное вчерашнее поведение. — Конечно, я могла бы привлечь профессиональных актёров. С ними я познакомлю вас немного позже. Перевоплощение, грим и прочие театральные приёмы. Но такое фантастическое везение — настоящий Аист играет человека, превратившегося в аиста. Как вы считаете? В этом что-то есть? Ничего надуманного, искренственного...

Июлина снова пристально смотрела на Крикуля, и тому опять стало как-то не по себе. Сплошные намёки. Чтобы как-то выскользнуть из-под её пронизательного взгляда, который, казалось, просвечивал его насквозь, Крикуль решил отвлечь внимание феи:

— А о чём эта сказка? Я её не знаю.

— Странно, — удивилась фея. — Я думала, что среди аистов она пользуется особой популярностью. А ты Любовь, знаешь сказку о калифе-аисте?

— Конечно, — очаровательно улыбнулась Любовь. В ней всё заканчивается Любовью. Багдадский калиф по имени Хасид влюбляется и красавицу Лузу, дочь владыки Индии.

— Вот её-то, ты, Любовь, и сыграешь в нашем спектакле. Финал у сказки хороший, — задумчиво произнесла фея, — но начало... Ведь в самом начале Луза появляется в образе ночной совы.

— Совы? — вытаращил глаза поражённый Крикуль. — Ты будешь играть роль совы?

— А почему бы и нет! — загадочно произнесла Любовь.

— Любви все образы покорны, — подхватила Июлина и предложила всем подняться на сцену. — Пойдёмте, я покажу вам эту сказку вкратце.

Троица очутились в замке багдадского калифа Хасида. Июлина рассадил гостей в разных уголках сцены и начала рассказывать сказку, изображая сразу всех героев этой небывалой истории.

— Однажды к калифу Хасиду пришёл его верный и мудрый визирь Мансор. Он сообщил о том, что перед дворцом стоит разносчик товара с прекрасными вещичками. Хасид сделал подарки себе, Мансору и жене визиря. И вдруг заметил маленькую табакерку, в которой находилась зашифрованная записка и странный чёрный порошок.

Как только Июлина прознесла слова «чёрный порошок», по-особому выделив их голосом, она снова выразительно посмотрела на Крикуля. Он внутренне содрогнулся, горячая волна обожгла сердце: уж не намекает ли на его взрывной порошок? Фея тем временем продолжала:

— Калиф купил табакерку с порошком и рукописью и вызвал к себе премудрого Селима, который знал все языки мира.

Удивительным образом перед Крикулем появился калиф Хасид, голову которого украшал

белый тюрбан, и Крикуль услышал, как повелитель Багдада хлопает в ладоши, вызывая толмача.

— Селим перевёл зашифрованную запись, — продолжала своё лицедейство Июлина, — и оказалось, что тот, кто понохает этот порошок и произнесёт заклинание «мутабор», превратится в любого зверя и будет понимать его язык. Когда же он захочет снова принять человеческий облик, то он должен трижды поклониться на восток и снова произнести волшебное слово «мутабор».

Крикуль подумал, что он превращался в Аиста совсем не похоже на рекомендации Гауфа или Селима. Совсем не так.

— Однако, — Июлина всем своим видом призывала зрителей к вниманию, — если ты превратишься в зверя или птицу и засмеёшься, то забудешь волшебное слово и никогда не сможешь снова стать человеком.

Крикуль был настолько втянут в эту театральную игру, что чуть было не поддался чарам феи и не выпалил: «А я смогу!»

Фея набросила на себя белую шелковую накидку и стала изображать аистиную походку.

— Калиф и визирь превратились в аистов. Однажды на пруду они подслушали двух длинноногих аистих, которые вели между собой незамысловатую беседу: «Доброе утро, госпожа Долгоног!»

— А! Госпожа Трещотка. Чуть свет уж на лугу!

Июлина вышла из образа аистих и снова превратилась в повествователя.

— Беззаботная трескотня двух подружек настолько развеселила новоиспечённых аистов, что они, забыв о грозном предостережении, посмеялись от души. Когда же пришло время перевоплощения, они в ужасе поняли, что сделать этого не могут.

Фея очень смешно изображала, как аисты — калиф и визирь — пытаются снова стать людьми. Она вытягивала шею, без конца кланялась на восток и мычала словно корова: «му-му». Слово «мутабор» никак не хотело выходить наружу. Крикуль смеялся от души.

Июлина, не обращая внимания на реакцию Крикуля, голосом заговорщика продолжала:

— В итоге калифом Багдада стал Мицра — сын злого волшебника Кашнура. — Июлина так здорово изобразила и чародея Кашнура, и его сына, что Крикуль почувствовал себя участником этих событий.

Июлина торжественно сбросила с себя длинное белое покрывало и гордо вскинула голову.

— Но аисты нашли путь к спасению. Им помогла индийская принцесса Луза, — Июлина склонилась в глубоком поклоне перед Любовью, — которую Кашнур превратил в ночную сову. Злые чары рассеялись! Справедливость на этот раз восторжествовала, а обманщика Мицру навечно превратили в аиста и посадили в железную клетку.

Напоследок Июлина изобразила наказанного Мицру таким беспомощным и жалким, с такими ненавидящими и злыми глазами, в которых отражалась его вероломная сущность, что Крикуль снова поразился силе таланта великой актрисы Июлины.

— Ну что? Как вам история? Согласен, Крикуль, сыграть в ней главную роль?

— Не знаю, справлюсь ли я?

— Ну ты хотя бы попробуешь. Мне кажется, что у тебя очень неплохие актёрские задатки.

Крикуль смутился и снова попытался найти причину для отказа:

— Пока вы нам рассказывали, ну, или показывали сказку, я насчитал, по меньшей мере, пяти-аистов. Разве я смогу справиться один?

— Пятерых? — переспросила фея Июлина.

— Ну да. Этот ваш калиф — раз, визирь — два, аистихи было две — это всего четыре, и пятый аист — тот, кто пожизненно остался в клетке.

— Мицра?

— Ну да! Хотя у вас и у одной так здорово всё получилось. Вы даже не обрастали перьями. У вас не было клюва, но я видел вас аистом. Клянусь!

— Театр — это искусство перевоплощений и символов. Ты не волнуйся, мы порепетируем. Для тебя я придумаю что-нибудь интересное. Ну, например, при помощи особого расположения зеркал ты сможешь справиться с ролью и калифа, и визиря, а я сыграю сразу обеих аистих. Договорились?

— Хорошо! — сказал Крикуль. — Давайте попробуем.

— Отлично! — вскрикнула Июлина и тут же тихо и задумчиво произнесла: — Но отчего ты совсем не поешь?

— Не знаю.

— У тебя, скорее всего, отличный музыкальный слух. У меня на это особый нюх, — весело проговорила фея, сначала прикоснувшись к своему носу, а затем дружески потрепав Крикуля по голове.

Крикуль был удивлён. Иметь нюх на слух? Это что-то новенькое.

Любовь молча улыбалась, глядя на Крикуля и фею-актрису, его оживление было ей весьма приятно.

Июлина порхала по сцене. Откровенно говоря, она очень обрадовалась тому, что Крикуль, находящийся в центре внимания всего Острова Детства, согласился принять участие в её спектакле. Фея, конечно же, знала о гибели друзей Крикуля, но специально не стала выражать соболезнования, чтобы, как ей казалось, не усугублять и без того тяжёлого состояния Аиста. Она решила действовать иначе. Театр! Её любимый театр должен был помочь Крикулю снова обрести душевное равновесие и вызвать интерес к жизни. И ей, кажется, это удалось. Радостно было ещё и оттого, что на новогоднем вечере она преподнесёт сёстрам настоящий сюрприз.

— Так, нам нужно будет немедленно приступить к репетициям, — оживилась Июлина.

Её глаза горели от нетерпения, и Крикуль отметил: «Нет, всё-таки они со своей младшей сестрёнкой очень похожи!»

Сказка его просто потрясла. Неужели действительно есть такая? Или это только сплошные намёки? Крикуль никак не мог отделаться от мысли, что во всём здесь скрыт какой-то подвох.

«Настоящий аист сыграет человека, превратившегося в аиста». Так, кажется, сказала фея. Что она имела в виду? Странные совпадения.

А ещё Крикуль представил себя на месте калифа, который никак не может снова стать человеком. Кошмар! А что, если и у него самого не получится вернуть себе привычный облик? Не может быть! Крикуль решил при первой же возможности доказать своему испуганному сердцу, что это не так.

Июлина предложила:

— Перед началом репетиции я хочу познакомиться с моими артистами. Таких великих актёров, как у меня, нет ни в одном театре мира, они просто неподражаемы!

Июлина предложила Крикулю с Любовью занять места в зале. А сама нырнула за кулисы. Через несколько минут она присоединилась к своим гостям и уселась в одно из кресел в партере. Перед ним стоял небольшой столик. Июлина хлопнула в ладоши. Свет в зале погас, а сцена стала постепенно освещаться то нижними софитами, расположенными на авансцене, то многочисленными светильниками, установленными на балконах второго яруса. Свет творил чудеса. Причём достаточно было одного взгляда феи, чтобы огни рампы меняли цвет и его насыщенность.

— Педжент! — выкрикнула Июлина непонятное слово. «Наверное, что-то вроде «мутабор», — подумал Крикуль, — какое-нибудь заклинание».

И тут же часть сцены начала двигаться словно карусель. Передние декорации сами собой поехали за кулисы. Июлина заплодировала. Любовь и Крикуль присоединились к ней.

У самого края сцены стояли восковые фигуры. Крикулю сразу же вспомнились куклы-манекены феи Апрелины. Отличало их только то, что у кукол лица были алебастровые, словно их покрыли белилами, а у актёров Июлины — восковые, желтоватые. И у тех, и у других были неживые, стеклянные глаза. Восковые фигуры этих так называемых актёров были облачены в костюмы разных эпох. Они изображали неизвестных Крикулю героев драм, трагедий, комедий и буффонад.

Июлина подхватила с места и буквально взлетела на сцену.

— Разрешите вам, дорогие мои гости, представить господ артистов.

Июлина стала подходить к каждой из восковых фигур и громко произносила имена героев.

— Бригелла и Арлекин, — торжественно произнесла Фея, — герои театра комедии дель арте. Ловкие, остроумные прониры.

Как только Июлина назвала имена этих восковых истуканов и как бы ненароком прикоснулась к каждому из них, актёры ожили — заверещали, заулюлюкали и принялись лихо отплясывать под музыку неизвестно откуда зазвучавших лютни и дудочки.

Июлина направилась к стоящим по соседству изваяниям, и тут же Арлекин и Бригелла замерли как вкопанные, словно это и не они только что исторгали веселье.

— Ромео и Джульетта, — таинственно произнесла Июлина и обняла обоих.

Юноша и девушка встrepенулись, и Джульетта удивлённо произнесла, обращаясь к своему спутнику:

— Кто показал тебе сюда дорогу?

— Её нашла Любовь, — ответил он. Крикуль с Любовью переглянулись. — Я не моряк, — продолжал пылкий Ромео, не отрывая восторженного взгляда от своей возлюбленной, — Но если б ты была на крае света, Не медля мига, я бы, не страшась, Пустился в море за таким товаром.

Крикуль видел, как ожили глаза актёров, их руки, тела — всё жило. Они трепетали от волнения, и это волнение передавалось ему.

— Доктор Фауст, — произнесла Июлина, и Ромео с Джульеттой оцепенели, так и не успев, прикоснуться друг к другу. Зато тот, кого фея назвала доктором, подхватил эстафету, взглянул прямо в глаза Крикуля и продекламировал:

— День прожит, Солнце с вышины
Уходит прочь в другие страны.
Зачем мне крылья не даны
С ним вровень мчатся неустанно!

Крикуль подумал: «А ведь точно, у кого есть крылья, о чём ещё можно мечтать? Лети вслед за Солнцем и любуйся тем, что родится под его лучами. Прав этот доктор».

Пока Крикуль был погружён в свои мысли, Июлина оживила другого героя, имени которого он не расслышал. Крикулю с первой же секунды стало нестерпимо жаль его. Он говорил с такой внутренней болью, что Крикуль сразу почувствовал, как тот страдает.

— О боже! Заклучите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности. Если бы только не мои дурные сны!

Услышав про скорлупу ореха, Крикуль сразу же вспомнил Птеранодона, который, оказавшись в коконе, жаловался на удущье, а этот парень, наоборот, говорит о безграничной свободе. Но со снами у него тоже проблемы.

Июлина по-матерински обняла актёра и расстроганно произнесла:

— Спасибо, милый Гамлет.

Тут парень взглянул на Крикуля, протянул к нему руки и в упор спросил:

— ...положа руку на сердце, зачем вы в Эльсиноре? Крикуль растерялся, оглянулся на Любовь, но та, не отрываясь, смотрела на сцену.

Июлина будто для того, чтобы приободрить Аиста, дружески кивнула ему и ответила бедному парнишке:

— В гостях у вас, принц, больше ни за чем.

Но Гамлет с выражением явного сомнения, презрительно и дерзко, обращаясь прямо к фее, произнёс:

— При моей бедности мала и моя благодарность. Но я благодарю вас. И, однако, даже этой благодарности слишком много для вас.

«Ого! — подумал Крикуль. — Грубит самой фее и не боится». Тут принц перевёл взгляд на Крикуля и спросил его напрямую:

— За вами не посылали? Это ваше собственное побуждение? Ваш приезд добровольен? А? Пожалуйста, по совести. А? А? Ну, как?

Крикуль встал, опустил голову. Решительности в нём не было, он не готов был ответить на вопрос: кто и зачем прислал его сюда. Тем более говорить по совести, начистоту, как этого требовал Гамлет.

Июльна засмеялась и мигом спустилась вниз.
— Крикуль, зачем ты встал? Это же всего лишь слова из пьесы.

— Я подумал, что Гамлет спрашивал меня. Крикуль взглянул на актёра, но перед ним стояла безжизненная восковая фигура.

— В этом-то и заключается великая сила искусства, мой дорогой Крикуль, здесь всё будто бы только для тебя. Вопросы, размышления... Театр — это прекрасная школа жизни. А актёры у меня, действительно, лучшие в мире. Мои гистрионы могут делать всё: петь, танцевать, жонглировать, лицедействовать, творить!

Крикуль почувствовал себя очарованным. Июльна ещё долго говорила о театре, о его истории, представляла своих актёров. Они проговаривали тексты своих ролей, и это было здорово! Это было настоящим волшебством. Крикуль вместе с ними легко перемещался по замкам и дворцам королей и вельмож, заглядывал в весёлые таверны и пещеры, переполненные несметными богатствами, останавливался на шумных площадях и рынках больших городов и маленьких аулов. Крикуль забыл, кто он, и где в действительности находится: «Театр, ты велик! Это по-настоящему сказочное место!»

Прошло совсем немного времени, а Крикуль уже искренне мечтал попробовать свои силы на актёрском поприще. Неужели и у него получится так же здорово, как и у других актёров театра Июльны? Июльна подбодрила его, снова напомнив о своём нюхе на его талант, и Крикуль отправился в свою примерку готовиться к репетиции.

— Встречаемся здесь через пятнадцать минут, — Июльна и Любовь пошли переодеваться и подбирать грим.

Очутившись в своей комнатке, Крикуль вспомнил свои опасения насчёт обретения человеческого облика. Мысль о том, что он, как калиф, останется навсегда Аистом, сильно беспокоила его: «Сейчас на минутку стану снова самим собой, а потом обратно Аистом. Это же не займёт много времени». Превращения у него выходили всегда легко и просто. Он не забыл ни слова заклинания, ни техническую сторону дела. Крикуль изнутри закрыл дверь на ключ. Встал ровно перед зеркалом. Через мгновение он увидит своё настоящее лицо, по которому он очень скучал. Для начала нужно было сосредоточиться. Крикуль еле слышно произнёс:

— Триста тридцать три серебряные перепёлки перелетели через триста тридцать три серебряные крыши.

Теперь он начал крутиться против часовой стрелки, отсчитывая количество слов заклинания. Их было двенадцать. Каждый оборот Крикуль сопровождал словом заклинания. Когда он произнёс последнее слово «крыши», он открыл глаза и... увидел в зеркале... Аиста.

Крикуль лихорадочно начал соображать: «Что такое? Что я сделал не так?»

Слова заклинания правильные — это он помнил точно. «Количество поворотов вокруг своей оси должно соответствовать количеству слов заклинания, — вспоминал он инструкцию в учебнике

по превращениям, — так и было». Он повернулся ровно двенадцать раз.

«„Для превращения в зверя или птицу нужно повернуться против часовой стрелки“. Против. Я и крутился против. Ой, это же чтобы заколдоваться!!! — осенило Крикуля. — А я должен расколдоваться. Как я мог забыть?»

Теперь он должен был вращаться наоборот, «по часовой стрелке».

«Так! Так! Всё с самого начала. Поехали!» Он встал ровно, сосредоточился:

— Триста тридцать три серебряных перепёлки перелетели через триста тридцать три серебряные крыши. — Крикуль зажмурился и начал кружиться словно стрелки правильно идущих часов. Всё! Крикуль открыл глаза.

В зеркале отражался тот же оцепеневший от ужаса Аист.

— Головка не закружится? — спросил кто-то Крикуля. Голос донёсся из темноты дальнего угла комнаты.

— Кто здесь? — вздрогнул Крикуль.

— А ты хорошо устроился, Крикуль, — сказал голос.

Крикуль очнулся, перевёл лампу, закреплённую на боковой панели зеркала, туда, откуда доносился голос, и осветил дальний угол. Оксы?! Это были они. Оксы снова застигли его врасплох. Очковая змея лениво растянулась на его постели.

— Ну что? Не получается снова стать человеком? Ты плохой ученик, Крикуль! Очень плохой! Всё забыл! И зря стараешься, говорю тебе по старой дружбе.

— Ты мне не друг! — Крикуль даже не мог сообщить, что ему делать дальше. Он мог только огрызаться.

— Ого! — зашипели Оксы. — Как смело! Да ты у нас смельчак, Крикуль, такой же, как твой жабенок Кокои.

— Не смей его так называть!

— Что так? Ты его полюбил.

— Да!

— Вот как. И нахальную обезьяну тоже?

— Да!

— И этих дурацких притворщиц фей?

— Не смей! Не смей о них так говорить, а то...

— Что? Что «а то...»?

— Я испепелю тебя! — процедил ненавидящим голосом Крикуль.

— Ну, давай, Аистёнок, давай, сынок, попробуй, я даже с места не тронусь, давай, испепеляй!

Под немигающим холодным взглядом змеи Крикуль почувствовал себя полностью парализованным.

— Испепелю, — хохотнула змея. — Кишка тонка! Ты теперь пожизненно Аистёнок... и всё ещё так плохо оперившийся. Скоро запоёшь словно соловей, как тебе фея обещала. Запоёшь ангельским голосом, птичка ты наша.

— Ты всё врешь! — выпалил Крикуль, стараясь не выдавать страха, который привычно захолодил изнутри.

— Чего это я вру? — зашипела змея и стала сползать с кровати, медленно приближаясь к Крикулю. — Насмотрелся тут снов про маму, рыдает

над всякими лягушками, раскис как последний слюняй. Забыл о своём долге!

— О каком долге? Я никому ничего не должен!

— Да? А как же сыновний долг? Отец на тебя надеялся, а ты? Ты его так подвёл! Нет! Ты его предал! Тебе ничего не стоило за один день облететь этот чёртов Остров, привести в действие взрывной порошок и вернуться домой.

— Мой дом совсем в другом месте!

— Это где же? У леса на опушке, в бревенчатой избушке?

— Во всяком случае не в замке Короля Страх!

— Даже так?! Слушай меня внимательно, юный следопыт. У тебя пока ещё есть выбор, так того хочет Король Страх. По мне, так тебя нужно было бы задушить ещё в колыбели. Либо 31 декабря ты взрываешь Остров Детства, и я помогаю тебе вернуться к своим непосредственным обязанностям...

— Слёзы собирать?

— Ой, ты не забыл о своём великом предназначении?! Уже хорошо!

— Либо? — напомнил Крикуль о втором своём пути, который уготовил ему Отец.

— Либо ты умрёшь прямо сейчас! Девочки придут. Ох! А птичка окоурилась. Сердце не выдержало волнения перед выступлением, — ёрничали Оксы и тут же зло отрезали: — Хватит играть в путешественников! Спектакль закончился.

Крикуль молчал. Он хоть и находился всё ещё во власти Страх, но он уже не был прежним Крикулем. Крикуль молчал. Выбор был нелёгким.

— Вот и умница! — мирно прошипели Оксы. — Порошок у меня. Послезавтра, 31 декабря встречаемся с тобой в оранжерее. Ты, действительно, прирождённый талант. Давай, иди, доигрывай свою роль символической птицы Острова Детства. До конца.

В дверь постучали.

— Крикуль, это Любовь, Июлина зовёт нас на репетицию.

— Сейчас, сейчас, я иду, подождите минуточку, — сказали Оксы голосом Крикуля.

— Хорошо, я жду тебя на сцене.

— Я скоро, не волнуйся! — ответила змея. По-видимому, актёрских способностей Оксам тоже было не занимать.

— Любовь ждёт тебя на сцене, Крикуль. — Весь мир — театр! Иди и играй свою роль, но не заиграйся, не потеряй настоящего лица. Ты — Крикуль, злой волшебник, непревзойдённый собиратель слёз! Судьбу не обманешь! Ты рождён для этого!

Оксы вытащили ключ из замочной скважины и выползли наружу.

Крикуль больше не делал попыток превратиться в человека. По всей вероятности, ему суждено было умереть Аистом.

«Значит, порошок всё-таки у Оксов. Значит, это не Кокои говорил ему тогда, что уничтожил порошок, это Оксы притворялись и ввели Крикуля в заблуждение. Остров Детства действительно в опасности! Силы зла не успокоятся, пока не уничтожат конкурентов за власть над детскими сердцами. Крикуль, Крикуль, у тебя нет выбора».

— У меня нет выбора! — сказал Крикуль вслух. — Собирателем слёз я больше не буду!

Крикуль вышел на сцену. Для репетиции всё было готово. Июлина объясняла своим актёрам первую мизансцену. Восковая фигура, которая должна была исполнять роль торговца в сказке «Калиф-аист», внимательно слушала фею.

— Визирь окликает тебя, и ты тут жеходишь. А вот и наш владыка Багдада, — обрадовалась Июлина, увидев Крикуля. — Крикуль, ты появляешься только во втором действии, когда визирь и калиф уже превратились в аистов.

— Я ухожу, — грустно произнёс Крикуль.

— Да, ты пока можешь на всё посмотреть из зала, — сказала Июлина, которая не поняла значения его слов.

— Нет, я совсем ухожу!

— Как? Почему?

— Я не буду играть человека, который превратился в аиста.

— Мы же договорились?

— Я передумал, — упрямо сказал Крикуль.

— Жаль! — Июлина была очень расстроена, но не подавала вида.

Крикуль увидел, как всю эту сцену наблюдает Любовь в образе совы. Она сидела на спинке стула и испуганно смотрела на него своими огромными глазами.

— С тобой что-то случилось за то время, пока ты был один в своей комнате? Что же? Ты не хочешь нам рассказать? — спросила Июлина.

— Нет! — отрезал Крикуль. — Я ухожу.

— Ну, хорошо, — сказала фея, — но в таком случае я попрошу Любовь остаться у меня и срочно начать репетировать другой спектакль.

— Какой? — не удержался от вопроса Крикуль.

— Это будет спектакль по пьесе Карло Гоцци «Любовь к трём апельсинам». Любовь сыграет в нём главную роль.

Любовь-сова слетела на сцену и превратилась в себя прежнюю.

— Крикуль, в таком случае я должна остаться, — сказала Любовь тихо.

— Ты же говорила, что будешь всегда со мной, — обижено произнёс Крикуль.

— Это так. Ничего не изменилось. Как только ты позовёшь, я приду к тебе. Да и расстаёмся мы с тобой всего только на один день. 31 декабря я буду на балу у Декабрины. Я не могу подвести Июлину.

— Ну хорошо, прощайте все! Прощай, театр! Спасибо, Июлина, за ваше искусство. И не сердитесь на меня. Скорее всего, у меня всё равно бы ничего не получилось. Для аиста, который превращается в человека, нужен особый талант!

Августина

Глава, в которой Крикуль узнаёт, что он родился в августе

Крикуль, не оглядываясь, направился к замку Августины. Он прошёл совсем немного и остановился. Один. Он снова был совершенно один. Ещё совсем недавно Крикуль мечтал остаться в совершенном одиночестве. Тогда он тяготился непривычным, пристальным вниманием со стороны хозяев Острова. Но как это было давно! Прошло всего несколько дней. И эти дни всё изменили в его жизни. Крикуль чувствовал, что стал

другим. Несмотря на свой аистинный облик он, как никогда, чувствовал себя Человеком. Человеком, которого любят, уважают, о котором заботятся, которого никто не унижает, не пугает и не использует, словно функцию. И главное — он приобрёл друзей. Какое это оказывается счастье — иметь друзей. Они готовы рисковать ради тебя. Они искренне радуются твоим победам, они делают всё, чтобы исполнились твои самые заветные мечты. Он узнал Любовь. Он впервые испытал полноту жизни, даже несмотря на то, что из-за гибели товарищей всё ещё чувствовал не проходящую, сильную, жгущую боль. Одних он потерял, возможно, навсегда, с другими ему очень скоро предстоит прощаться. Крикуль понял, что ни за что на свете не предаст их. И не вернётся в прошлое.

Крикуль ощутил неудержимую потребность немедленно рассказать об угрозе, нависшей над Островом. И пусть его покарает праведный суд фей. Пусть Птеранодон станет его презирать. Пусть Любовь покинет его. Пусть! Он не допустит, чтобы Остров Детства погиб. Чтобы победили Оксы и Страх Смерти. Он готов пожертвовать собой.

И это даже хорошо, что никого из его друзей не будет рядом в момент его признания. Никто не увидит, как ему стыдно. Он всего лишь обманщик, собиратель слёз, послушный воспитанник Короля Страха, который лезет из кожи вон ради того, чтобы Страх добился мирового господства. Крикуль был готов к расплате.

— Страх Наказания, я не боюсь тебя! — громко сказал Крикуль и преисполнился решимости и отваги.

Все эти мысли мгновенно пронеслись в его мозгу. Крикуль был один, но почувствовал себя сильным и непобедимым. Теперь ему незачем было идти, он в считанные минуты может перелететь во владения Августины. У него есть крылья. И он свободен. Крикуль перестал испытывать страх оттого, что не может превратиться обратно в человека. Пусть! Он расскажет всё, и будь что будет!!! И это было его окончательным решением.

Аист парил над Островом. Лазурное послеполуденное небо излучало нежный свет. Крикулю казалось, что этот свет сливался со светом его души. Его душа ликовала.

Остров был прекрасен. Едва уловимое марево, отделявшее его от Острова, не мешало Крикулю рассмотреть его во всех деталях. Он заметил внизу Жемчужное озеро, сверкающее своими золотистыми переливами. Оно промелькнуло под крылом, словно прекрасное мимолётное видение.

Крикуль увидел гигантскую снежинку — замок Январины, который мерцал словно голубая звезда. Вокруг шоколадной крыши Февралины по-прежнему вьются лакомки Острова, и даже с высоты своего полёта Крикуль почувствовал ароматы ванили и корицы.

Мартина, сидящая верхом на пятнистом жирафе, весело машет ему рукой. Крикуль узнал своё отражение в зеркальных стенах замка Апрельины. На секунду Крикуль завис над владениями Майи и надежде увидеть Птеранодона, но, снизившись и безрезультатно сделав несколько выражей,

так никого и не обнаружил и вынужден был продолжить путь.

Из-за горы Гор замки Сентябрины, Октябрины и Ноябрьрины были скрыты от его глаз. Крикуль стал снижаться, и чуть было не столкнулся со стремительно летящим облаком, которое оказалось Восточным Ветром, спешащим, вероятно, выполнять какое-нибудь поручение Июнины.

Театр Июлины, который Крикуль покинул совсем недавно, остался позади, и очень скоро его взору открылось новое впечатляющее зрелище.

Замок Августины, куда он летел, по внешнему виду напоминал средневековую ратушу с огромными башенными часами. Над центральной башней замка возвышался шпиль, увенчанный фигуркой золотого аиста. Крикуль сделал круг почёта, облетел вокруг носатого флюгера и заметил на площадке возле циферблата башенных часов женщину, которая подавала Крикулю какие-то сигналы белым платочком. Он расценил этот жест как приглашение, и, хотя посадочную полосу нельзя было назвать достаточно просторной, Крикуль всё же приземлился вполне удачно.

— Крикуль, наконец-то! — обрадованно воскликнула Августина, как только Крикуль очутился перед ней.

— Мама? Это ты? — недоуменно заморгал Крикуль. Августина была точной копией его мамы, которую он видел во сне.

— Нет, Крикуль, голубчик. Я фея Августина. Просто ты родился в августе, и поэтому я очень похожа на твою маму.

«Невероятно, — подумал Крикуль, он просто не верил своим глазам. — Значит, я родился в августе».

— Как хорошо, что ты подрос. — Августина была явно чем-то озабочена.

Крикуль собрался тут же выложить Августине всё, что знал об опасности, нависшей над Островом, но фея не давала ему заговорить:

— Крикуль, у меня случилось несчастье.

— Что?

— Несчастье! Завтра 31 декабря. Конец года, а в моих главных часах соскочил анкер.

— Что соскочило?

— Анкер. Ты должен помочь мне его наладить.

— Августина, я помогу вам, я сделаю всё, что вы захотите, только сначала выслушайте меня, я должен вам сказать...

— О чём?

— Я должен признаться.

Августина посмотрела на него серьёзно, но её глаза, добрые прекрасные глаза, светились изнутри теплотой и радостью. От этого Крикулю стало совсем легко и просто. Он признался:

— Я прилетел на Остров, чтобы погубить его.

— Я знаю, — спокойным голосом сказала Августина.

— Вы знаете?

— Да!

— Я выполнял задание Короля Страха.

— И это для меня вовсе не тайна.

— Взрывной порошок у Оксов, это Очки Короля Страха, которые не остановятся ни перед чем. Острову грозит смертельная опасность.

— Не волнуйся, Оксов больше не существует. Их уничтожил Кокои.

— Как? Когда? — Крикуль был поражён.

— Ещё тогда, когда вы прибыли к Июине, помнишь, когда ты видел двух Кокои, чёрного и золотого?

— Помню! Кокои сказал, что Оксы погибли, но я видел их совсем недавно, всего несколько часов назад, в гримёрной Июлины.

— Это был только плод твоего воображения, — спокойно сказала Августина. — Это Страх Наказания преследовал тебя, он жил в твоём сердце. Но сейчас, когда ты сказал правду, ты почувствуешь, что победил его. Только Правда сильнее Страха, только Правда, мой мальчик.

Это было невероятно. Крикуль не мог поверить, что жуткая змея, которая превращала его в истукана, повергая в уныние и оцепенение, столько времени терзавшая его, оказалась всего-навсего миражом.

— Не может быть! — пробормотал Крикуль, обескураженный таким открытием. — И значит, Острову ничто не угрожает?

— Борьба добра со злом не прекращается ни на минуту, — откровенно сказала Августина, — но сегодня, накануне большого праздника, мы не будем думать об этом.

— А как же остальные феи, они что же, тоже знали, кто я?

— Конечно!

— Какой позор! — Крикуль был готов расплакаться от стыда.

— Я не смогу смотреть им в глаза. Они были ко мне так добры.

— Потому что они знают, что ты ни в чём не виноват.

— Как же так? — не унимался Крикуль. — А Капуцин, а Кокои? Они же пострадали из-за меня. Если вы всё знали, то как же допустили, чтобы они погибли?

— Коварство злых сил не всегда поддаётся нашему контролю и противодействию. Крикуль, давай не будем торопить события. Ты всё узнаешь в своё время.

— А когда оно наступит, моё время?

— Скоро, очень скоро, но не раньше, чем пройдёт полночь. А она никогда не настанет, если мы с тобой не починим анкер моих главных башенных часов. Ты понимаешь, как это важно!

— Так, чего же мы ждём?

И Крикуль незамедлительно отправился вместе с феей исправлять неполадку. Через специальную дверь они проникли внутрь часового механизма.

— Видишь, Крикуль, эти старинные механические часы маэстро Пацификауса, они устроены самым, что ни на есть, простым способом.

Глаза Августины загорелись огнём одержимости, и она заговорила с таким воодушевлением, будто это было намного важнее того, что они только что обсуждали с Крикулем.

— На горизонтальный вал намотана верёвка с гирей на конце, — увлечённо говорила Августина и при этом следила за тем, чтобы Крикуль понимал всё, о чём она рассказывает, будто от этого и только от этого зависела его дальнейшая судьба. — Гиря тянет верёвку и вращает вал.

— Понятно.

— Эти колёсики с зубцами вращаются и передают ритм основному, храповому колесу, которое соединено со стрелками. Стрелки указывают время. Ты знаешь об этом?

— Ну конечно!

— Пойми, если гире дать возможность опуститься свободно, то вал будет вращаться ускоренно. И мы не получим точного времени. Поэтому существует регулятор равномерного вращения храпового колеса. Вот он, это — маятник. Видишь груз, подвешенный на тонком стержне?

Крикуль закивал.

— С помощью анкера маятник соединяется с зубьями храпового колеса так, что за одно колебание маятника колесо может повернуться только на один зуб. Ты всё понял?

— Абсолютно всё!

— Мы должны вернуть соскочивший анкер на место, иначе... О, это будет настоящей катастрофой! — Августина запрокинула голову, закатила глаза и сложила руки на груди.

— Нет, нет, — горячо подхватил Крикуль, — мы не допустим этого.

Августина была очень рада, что Крикуль так быстро проникся симпатией к этому часовому механизму и правильно понял важность устранения неполадки. Через несколько минут всё было отремонтировано. Анкер вернулся на место, и часы, как им и было положено, отчётливо защёкали, отсчитывая секунды и минуты.

— Через пять минут пройдёт ровно три часа пополудни, — сказала Августина. — Бежим скорее, ты должен видеть эту красоту собственными глазами.

И они сломя голову помчались по винтовой лестнице вниз.

Крикуль не знал чему радоваться больше, тому, что ему хватило духу признаться в своём коварстве и теперь он больше никакой не заговорщик, или починенному анкеру? Во всяком случае, было очевидно, что Августина радуется, главным образом, второму обстоятельству.

Они успели вовремя. Крикуль увидел, как маленькая стрелка замерла возле цифры «три», и едва большая стрелка часов коснулась двенадцати, на всю округу раздался бой курантов: «Бом! Бом! Бом!» И тут же на площадку, на которой он только что познакомился с феей августа, навстречу друг другу выехали фигурки очаровательной пастушки и милого пастушка. Заиграла музыка, и дуэт начал петь пасторальную песенку:

«Ах, мой милый Августин, Августин, Августин. Ах, мой милый Августин, здравствуй дружок! Ах, мой милый Августин, Августин, Августин, Ах, мой милый Августин, мой пастушок!»

Фигурки танцевали, обменивались томными взглядами и объятиями.

Августина сияла от счастья.

— Тебе нравится?

— Конечно!

— Я очень рада! И, конечно, я очень рада, что мальчик, рождённый в августе, не только обладает редчайшим талантом, но и имеет храброе справедливое сердце. Я счастлива, что ты сумел побороть в себе Страх.



Августина обняла Крикуля, он тоже обнял фею и только сейчас заметил, что вместо крыльев у него руки.

— Как?

Он отпрянул и поднёс ладони к глазам. Только сейчас он заметил, что исчез его клюв. Крикуль начал ощупывать своё лицо. Он снова стал самим собой.

— Ты не заметил, как стал человеком? — радовалась Августина.

— Я ведь думал... я пытался... у меня ничего не вышло... Когда? — сильное волнение не давало ему возможности вразумительно высказаться.

— Ничего, не волнуйся, Крикуль, всё будет хорошо. Пойдём в дом, — ласково проговорила Августина и взяла его за руку.

— Я даже не произнёс заклинание!

— Ты же на Острове Детства. Волшебство и магия живут здесь совсем по другим законам.

Перед тем как войти в замок, Августина подвела Крикуля к роскошной клумбе.

— Это солнечные часы, Крикуль. Нравятся?

— Очень, — сказал Крикуль и начал стирать кулаком слёзы, которые безостановочно лились из его глаз, сквозь них он почти ничего не видел.

Он услышал бесперебойное многочисленное тиканье, которое усиливалось с каждой минутой и раздавалось вально со всех сторон.

— Что это? — настороженно-боязливо спросил Крикуль.

— Где?

— Что это тикает?

Августина поняла, о чём говорит её гость.

— Крикуль, ты у Августины, а я — царица часовых механизмов и главная хранительница Времени Острова Детства. Помни, мой мальчик, что тем, кто владеет временем, даются исключительные привилегии. Владеющий временем может рассчитывать на *bonus eventus* — хороший исход любого дела. Ты бережёшь время?

— Я никогда не задумывался об этом.

— О, это очень важно. Каждому человеку даётся определённое количество времени, оно ведь не бесконечно, и чем бережнее человек относится ко времени, тем больше хороших дел он успевает сделать.

Крикуль представил себя за привычным занятием — собиранием детских слёз. Он никогда не терял ни минуты. Наверное, бережное отношение к времени у него было врождённым.

— Впрочем, Крикуль, — грустно сказала Августина, которая будто бы почувствовала, о чем думает её крестник, — твоя история — это особый случай, ты ведь не простой мальчик, временем которого может завладеть Лень. Пойдём, тебя ждёт исключительно важная встреча.

Крикуль ещё раз мельком взглянул на роскошные розовые клумбы, которые Августина назвала солнечными часами. Вертикальный столбик, торчащий посередине круга, отбрасывал тень, указывающую время суток. Тень миновала три белые лилии, которые росли среди пунцово-красных роз.

В замке Августины Крикуль был потрясён её небывалой коллекцией. Здесь повсюду стояли, висели, лежали часы. Да, это было настоящее королевство часовых механизмов.

— В моём замке хранятся восемьдесят миллионов часов самой невероятной и редкой конструкции. Ты немного осмотришься, а я кое-что подготовлю к нашему путешествию.

— Путешествию? — удивился Крикуль.

— Да, у нас с тобой есть два неотложных дела, которые непременно нужно закончить до наступления праздничного вечера. 31 декабря — День великого перехода.

— А? — Крикуль хотел задать фее ещё несколько вопросов, но она исчезла.

Живое, тикающее, журчащее братство часов захватило внимание гостя. Крикуль растерялся. Экспонаты этой удивительной коллекции были фантастически интересными. Он даже не мог вообразить, что царство часов густо заселено. Часы огненные и водяные, колёсные и маятниковые, деревянные, астрономические, молекулярные, кварцевые, электронные, радиоактивные и даже — атомные.

Крикуль надолго задержался возле плачущих часов. Он внимательно следил за тем, как усердно трудилась их секундная стрелка, а в это же самое время с минутной скатывались хрустальные слезинки — они будто оплакивали безвозвратно ушедшее время. Слёзы капали прямо в желобок, который своими очертаниями напоминал излучину реки. Плачущие часы были установлены на пьедестале, а «река» текла вокруг мраморной подставки. Крикуль увидел, как из-за пьедестала неспешно выскользнула лодка, которой управлял крошечный человек в капюшоне, скрывавшем его лицо.

Как только лодка поравнялась с Крикулем, возница взглянул на него и еле слышно прохрипел:

— Ты ещё молод, чтобы заглядывать в воды реки забвения. Но придёт время, и я, бессмертный Харон, перевезу твою тень через Лету в царство мёртвых.

— В царство мёртвых? — переспросил Крикуль, но Харон не задержался ни на секунду и молча продолжил свой скорбный путь.

Крикуль вздохнул и перевёл взгляд на медленно парящие, полупушечные воздушные шары, которые почему-то находились в вертикальном положении и тоже оказались фантастическими часами.

— Это подарок великого испанца Сальвадора Дали, — сказала Августина.

Она появилась так же незаметно, как и исчезла.

— А вот это тоже его работа. Часы называются «Растёкшееся время».

Крикуль увидел синий циферблат, небрежно перекинутый через брючную перекладину платяной вешалки. Циферблат свисал словно бесформенный коврик. Часовая стрелка была заки-

нута назад, а минутная безвольно болталась вниз головой.

— Чудно! — изумился Крикуль.

— Очень точно! — парировала фея. — Время — категория столь гибкая и относительная, что для пытливых умов и талантливых сердец не составит особого труда приручить Время и сделать его своим верным слугой.

Августина подошла к Крикулю совсем близко и пристально посмотрела на него.

— Ты узнал во мне свою маму, а ведь ты видел её только однажды.

— Да.

— Это было во сне.

— Вы знаете даже это?

— Конечно. Я знаю всё.

— А почему мама отдала меня Королю Страху? Вы об этом знаете тоже?

— Разумеется. Ты родился в августе, и, значит, фея Августа знает о тебе всё! Даже причину, по которой у тебя было украдено детство. Если хочешь, то сможешь всё увидеть собственными глазами.

— Что?

— Как это произошло. Ты увидишь, как в тот злополучный декабрьский день Король Страх вырвал у твоей мамы клятву отдать тебя.

— Это возможно? Я всё увижу сам?

— Мы используем нашу привилегию власти над временем. Если хочешь.

— Конечно, хочу!

— Тогда пошли.

Августина взяла за руку притихшего Крикуля. Его сердце бешено заколотилось. Они пересекли зал, где по-прежнему безостановочно работали часовые механизмы, и очутились перед спускающимся вниз узким эскалатором. — Это случилось 30 декабря ровно тринадцать лет назад. Фея быстро набрала необходимую комбинацию цифр на боковой панели и встала на ступеньку движущегося эскалатора. Она крепко держала руку Крикуля в своей мягкой нежной ладони, и её спокойствие и уверенность постепенно передались ему. Через несколько минут удары его сердца стали более размеренными. Крикуль почувствовал себя защищённым, как никогда. Эскалатор остановился.

— Крикуль, ничего не бойся и помни, сейчас ты ещё не родился, а я Волшебница, и мне ничто не угрожает.

Августина, не выпуская руки Крикуля, направилась вместе с ним к потайной двери с небольшим стеклянным оконцем. Снаружи шёл дождь со снегом. Крикуль увидел, как о стекло бьются резкие капли, которые за считанные секунды расписали его поверхность многочисленными восклицательными знаками. Ну и денёк! Небо трещало по швам от громовых раскатов, яростно сверкали молнии. Они с трудом открыли дверь. Пришлось даже навалиться плечом, чтобы она поддалась. Неистово бушевавшая стихия не пускала их в бешено рокошущий лес. Наконец-то, преодолев это яростное сопротивление, Крикуль с феей очутились снаружи. Августа накинула на плечи Крикуля полу своего плаща. Удивительно, под её волшебным плащом совсем не чувствовался ни

холод, ни порывы ветра. Сделав несколько шагов, они остановились рядом с дуллистым дубом. Крикуль увидел, как из его зияющего дупла сквозь ослепительные потёмки сверкнули два жёлтых глаза. В груди Крикуля шевельнулось нехорошее предчувствие. Это было предчувствие беды. Однако он действительно смотрел на всё будто со стороны, и некая внутренняя отстраненность помогала ему сохранять хладнокровие.

По лесной тропинке к дубу бежала молодая женщина. Её платье и платок, из-под которого выбились пряди вьющихся волос, намокли до нитки. В женщине Крикуль узнал свою маму. Он инстинктивно двинулся ей навстречу, но Августа удержала его и прижала к себе.

Мама испуганно, будто опасаясь увидеть здесь кого-то, огляделась по сторонам и, не долго думая, скрылась в дупле. Невероятным образом Крикуль вместе с Августининой очутились рядом с ней. Дупло было вместительным настолько, что всем нашлось место. Мама сняла платок и начала выжимать из него воду. Она совсем запыхалась и пыталась восстановить дыхание.

Крикуль почувствовал присутствие невидимого существа. И как только оно заговорило, Крикуль сразу же узнал голос Отца. Взвизгивший неизвестно откуда властный голос привёл маму в оцепенение. Она замерла и, казалось, даже перестала дышать. Крикуль от страха уткнулся в живот феи, которая по-матерински плотно закутала его своим плащом. Но даже там голос Страх был слышен Крикулю отчётливо и ясно.

— Ты знаешь, чем отличается храбрость от безрассудства, моя дорогая? — прогремел Страх.

— Кто здесь?

— Тот, кого ты боишься больше всего на свете!

— Кто ты?

— Я — Страх Смерти! Ведь это только ради того, чтобы побороть меня, ты ходила к этому дубу все эти дни.

Мама Крикуля молчала.

— Вот видишь, я всё знаю, моя дорогая Эмма. Ты как в детстве играла в «Докажи, что не боишься». Ты не ответила на мой вопрос: чем же отличается храбрость от безрассудства?

— Я не знаю, — с трудом выдавила Эмма.

— А ничем, — сказал Страх и раскатисто захохотал. — Они ничем не отличаются друг от друга, потому что и то и другое — глупость, ведь и то и другое заканчивается весьма печально, я бы даже сказал, трагически. Со Страхом Смерти шутки плохи. Ещё никто из людей не победил меня. И твоя попытка доказать, что ты меня не боишься, будет стоить тебе жизни. Игры закончились, моя храбрая Эмма. Но, — Страх немного помедлил, прежде чем закончить фразу, — я готов дать тебе один шанс.

— Какой шанс?

— Шанс выжить. За это ты должна мне отдать того, кто родится.

— А кто должен родиться? — спросила Эмма помертвевшим голосом.

— Вопросы теперь буду задавать только я! Я, непобедимый Страх Смерти, спрашиваю тебя. Согласна ли ты отдать мне того, кто должен родиться? Ты должна ответить «да» или «нет».

Мы скрепим наш нерасторжимый договор только одним из этих слов. Если ты соглашаешься, то через минуту вернёшься к себе домой. Если твой ответ будет отрицательным, то дупло срастётся, и ты останешься в нём замурованной заживо. Никто никогда не найдёт здесь несчастную Эмму. Решай!

Не давая Эмме опомниться, Король Страх начал отсчёт времени.

— Раз! — прогремел Страх.

Дупло затрещало и уменьшилось вдвое.

— А-а! — крикнула Эмма, словно раненая птица.

— Два-а-а! — властно загрохотал Страх.

Просвет дупла сузился настолько, что в него с трудом просунулся бы даже кулачок Эммы. Из груди несчастной женщины вырвался чудовищный вопль. Страх с шумом втянул воздух, чтобы выдохнуть: «Три». Но Эмма буквально на секунду опередила его и завизжала:

— Я согласна!

— Нет, — прогрохотал Страх, — только «да» или «нет»!

— Да! — выкрикнула смертельно напуганная женщина. Крикуль услышал душераздирающий, дикий хохот Отца.

— У мальчика очень хорошая мать! Покорность — хорошее качество для женщины! Это как раз то, что нужно, — произнёс напоследок Страх, и видение рассеялось.

Когда Августина откинула свой плащ, они с Крикулем уже стояли на площадке, ведущей к эскалатору. Бушующий лес и кошмар встречи с Отцом — всё осталось за дверью. Крикуль был белый словно полотно. Он не мог осуждать Эмму. Он сам, очутившись на её месте, поступил бы точно также. Это он чувствовал всем своим нутром.

«Так вот, как всё было. Мама даже не знала, что он должен родиться. Зато Королю Страху было известно об этом, да и о способностях великого Хеймдалля тоже. Страх украл у него мать, детство, жизнь».

Крикуль испытал прилив дикой ярости. Он сжал кулаки, взглянул на Августину, и процедил:

— Мсть! Я должен отомстить Страху за всё, что он сделал!

Августина положила руку на голову Крикуля.

— Чем отличается героизм от безрассудства? Ты только что слышал. Ты просто погибнешь. Силы слишком не равны.

— Пусть! Я смогу.

— Всему своё время, Крикуль! Всему своё время! Есть средство более надёжное, чем мсть.

Крикуль внимательно взглянул Августине прямо в глаза.

— Это — спасённое детство!

Крикуль поднялся вместе с Августинной по эскалатору времени, и они снова очутились в её королевстве.

Прошёл всего час с того момента, как он прилетел во владения Августины, — всего час! Но этого времени хватило, чтобы узнать так много.

— А что это значит — спасённое детство? — уточнил Крикуль.

— Феи Острова Детства вернут время вспять. И у твоей мамы будет возможность снова пережить эту встречу с Королём Страхом.

— И что изменится?

— У неё будет возможность ответить Страху «нет»!

— А что, если бы она ответила ему «нет», он не замуровал бы её в дупле?

— Конечно, не замуровал! Ему нужен был только её решительный ответ. Если бы он понял, что имеет дело с сильной личностью, он не стал бы действовать напролом. Возможно, он бы придумал что-нибудь изящное, какое-нибудь обольстительное вероломство. Главное — нужно дать вполне определённый отпор!

— И тогда я смогу родиться заново?

— Да!

— И я забуду обо всём, что со мной случилось в этой жизни?

— Разумеется!

Крикулю подумалось: а хорошо ли это? Он столько пережил. Он столько узнал о силе добра и о коварстве зла. И он забудет обо всём этом и начнёт всё с начала.

— Крикуль, — сказала Августина, — мы ещё вернёмся к этому вопросу. Его сможет решить только Совет Двенадцати. Завтра, 31 декабря все феи Острова соберутся на балу в замке Декабрины, и мы придумаем, как тебе помочь. А пока я хочу сделать тебе подарок.

— Подарок?!

— Да! В течение двенадцати лет, пока ты жил у Короля Страху, ты не получал от меня подарков, как остальные дети, родившиеся в августе. Я хочу, чтобы восторжествовала справедливость. И я приглашаю тебя в святая святых нашего Острова — в нашу главную оранжерею.

Вдруг Крикуль отчётливо услышал треск фейерверка.

— Августина, вы слышали?

— Да, да! Это сигнал!

— Какой сигнал?

— Я совсем забыла, Априлина предупреждала. Я же получила от неё извещение: 30 декабря в половине пятого. Скорее! Скорее! Во двор! Во двор!

От царственного вида феи не осталось и следа, она схватила Крикуля за руку и потащила за собой.

Крикуль увидел небеса, расшитые золотом фейерверков. Неопишуемая, захватывающая дух красота очаровывала. После новой вспышки по небу рассыпались миллионы разноцветных искрящихся букетов. Серебряный дождь обрушивался на головы замороженных зрителей. Когда раздался очередной залп фейерверка, Крикуль увидел, как высоко в небо взметнулась внушительных размеров ракета и выпустила с десятком красочных парашютов. Они разлетелись в разные стороны Острова и начали медленно приземляться.

Когда Крикуль увидел парашют, предназначенный для Августины, у него не осталось уже никаких сомнений — это же карнавальное платье Августины. Именно пышная фатиновая юбка издали напоминала купол парашюта. Карнавальное платье Августины было из золотой парчи. Ай да Априлина! Ай да выдумщица!

Августина сунула в руки Крикулю два конца огромной простыни, и они, растянув её прямо под

падающим платьем, поймали его, словно рыбку в сети.

К платью прилагались аксессуары: перчатки, маска, золотая пелерина и изящные бальные туфельки, — все эти прелестные вещицы были упакованы в шуршащий парчовый мешочек, перевязанный огромным золотым бантом.

Августина и Крикуль внесли этот королевский подарок в замок. Фея тут же повесила платье на плечики.

— Вы не будете примерять?

— Потом, Крикуль, потом. Я уверена, что всё в пору, иначе и быть не может. А хочешь посмотреть, что я подготовила сётрам в качестве годовых подарков?

— Конечно! — выпалил Крикуль с нескрываемым любопытством.

Разумеется, это были часы. Августина вынесла двенадцать роскошно оформленных часов, различных на бархатной подушечке. Они были разных форм и размеров, инкрустированные драгоценными камнями, со шнурочками, цепочками, браслетиками. Августина взяла одни из них и протянула Крикулью. — А это тебе.

Крупные часы-кулон с массивной цепочкой, на крышке которых был выгравирован аист, легли на его ладонь. Августина нажала на небольшую кнопку, вмонтированную сбоку от крышки, створка распахнулась, и зазвучала знакомая мелодия: «Ах, мой милый Августин...». Эту песенку играли главные башенные часы Острова Детства. В этот же миг, словно по заказу, с улицы послышался бой курантов, но песни главных часов Августины не было слышно, так как и все остальные часы её замка, снабжённые колоколами, звоночками и прочими музыкальными механизмами, зазвонили в унисон. Августина и Крикуль рассмеялись словно старинные приятели. Часы, подаренные Крикулью, были первыми в его жизни. Гордость переполняла его сердце.

Августина объяснила крестнику — всех рождённых в августе детей она называла своими крестниками, — что часы — это совсем не тот главный подарок, о котором она говорила перед тем, как получить платье от Апрельны. Главный её подарок находился в оранжерее, куда они теперь направлялись.

— Ты что-нибудь знаешь об оранжерее Острова Детства?

— Да, я думаю, знаю многое.

— Что именно?

— Что у вас в оранжерее хранятся тюльпаны с двойниками всех детей мира. И что они, эти маленькие эльфы, каким-то образом связываются с детьми и делают их счастливыми.

— Да, да, что-то в этом роде! Сейчас всё увидишь сам. Ты, пожалуй, первый из людей, кто сможет войти в наше подземное царство. Везунчик!

Беседа, они дошли до конца коридора. Крикуль и фея остановились возле прозрачных дверей лифта. Лифт распахнулся. Они вошли внутрь и уселись напротив друг друга на небольших мягких диванчиках.

Цилиндрический по форме лифт какое-то время спускался вниз по тёмной шахте. Но как только лифт трансформировался в фуникулёр и,

зацепившись верхними усиками за невидимый трос, стал скользить по горизонтали, под ними, метрах в пятидесяти, распростёрлась огромная залитая солнцем поляна цветов, полыхающих изобилием красок. Крикуль прилип к стеклянной стене лифта.

— Что это?

— Это и есть оранжерея Острова Детства. Всё, что ты видишь, это мой сектор.

Цветочный ковёр был намного больше Жемчужного озера.

— Да это же целое море цветов, ему конца края не видно, даже сверху!

— А как ты думаешь, сколько в мире детей, родившихся в августе?

— Думаю, миллионы.

— Правильно думаешь! Сотни миллионов!

— И столько же здесь тюльпанов?

— Да!

— Быть этого не может!!!

— А теперь представь себе, сколько у феи работы, когда наступает её месяц? Каждому цветочку нужно уделить внимание, каждому эльфу вручить по два зёрнышка для именинника: одно зёрнышко смеха, а другое здоровья. Эльф отправится к имениннику: мальчику или девочке, и раскроет над праздничным тортом свой волшебный мешочек. Ребёнок получит в подарок от своей феи смех и здоровье.

— А я не получал от вас никаких зёрнышек! Никогда!

— А у тебя и торта никогда не было в день рождения!

— Да, это правда! — Крикуль печально опустил глаза. — Никогда!

— Зато сейчас ты получишь сразу двадцать четыре зёрнышка.

— И я увижу своего эльфа?!

— Обязательно!

— Он маленький и похож на меня?!

— Как две капли воды.

Тем временем фуникулёр снова оказался в шахте. Они спустились вниз, и лифт распахнулся.

— Вперёд, Крикуль!

Перед ними плескалось бескрайнее море цветов. Настоящий оазис.

Августина повела Крикуля между пронумерованных грядок только ей одной известной дорогой. Сейчас Крикуль мог рассмотреть необычные тюльпановые ложа вблизи. На каждый ярко-пунцовый цветок был надет матово-белый прозрачный колпачок. Крикуль не терпелось увидеть своего двойника-эльфа, и он то и дело останавливался на пятки феи. Наконец она остановилась.

Цветок, возле которого присела Августина, был особенным. Он выделялся среди других и цветом, и формой. Если основная масса тюльпанов была жёлто-красной, то этот цветок был фиолетовым. Кроме того, фиолетовый тюльпан был несколько крупнее остальных. Августина аккуратно, очень бережно сняла с него чехольчик и слегка коснулась бутона.

Цветок ожил и стал раскрываться. Крикуль, затаив дыхание, внимательно следил за всем происходящим. Лепестки раскрылись только наполювину, но всё равно Крикуль увидел крохотное

существо, свернувшееся калачиком и мирно спящее в окружении миниатюрных подушечек. Его спинка была укрыта нежно-голубым покрывальцем, из-под которого виднелись две блестящие пяточки.

— Неужели... Неужели? — стучало сердце где-то возле самого горла. — Неужели это я?

Августина слегка подула на крошку-эльфа, и тот заворочался. Через миг он уселся и стал тереть кулачками глазки.

— Доброе утро, малыш, — нежно пропела Августина. Эльф поднял личико к фее. Крикуль разинул рот от удивления.

— Ах! Как похож! — слёзы радости брызнули из глаз Крикуля.

Августина радостно заулыбалась.

— Смотри, Крикуль, вот он, твой эльф.

Эльф поднялся на ножки. На нём была накинута голубая рубашечка, за спиной виднелись слегка примятые полупрозрачные крылышки.

Лицо эльфа, его крошечное личико размером с вишнёвую косточку, было уменьшенной копией Крикуля. Точь-в-точь он.

— Ну надо же, точь-в-точь я. А я не верил, честное слово! — признался Крикуль. — Даже моя родинка слева на шее. Вот это да!

Сердце его сжалось в сладостном волнении. Это умильное существо, живое, настоящее, вызвало ощущение невыразимого трепета. Крикуль почувствовал, как в этом крошечном человечке, словно в драгоценной капельке, для него слился воедино весь мир. Крикуль протянул к эльфу раскрытую ладонь и тут же взглянул на Августину с неммым вопросом в глазах. Фея только молча кивнула в знак согласия. Эльф послушно перелетел Крикулю на руку. Ни с чем несравнимое чувство охватило Крикуля. Держать самого себя маленького на руках.

— Крикуль, привет! — сказал Крикуль, поднеся эльфа совсем близко к лицу.

Эльф заулыбался беззубым ртом.

— Ой, да у него нет зубов.

Он ещё совсем маленький, — сказала фея, — твой эльф ни разу не вылетал из своего цветка, и поэтому у него не было возможности окрепнуть. Посмотри, все зёрнышки, о которых я тебе рассказывала, на месте.

Цветок был заполнен изнутри блестящими сероватыми пузырьками, похожими на ртутные шарики. Фея достала из кармана небольшой бархатный мешочек и сыпала в него содержимое фиолетового тюльпана.

— Вот тут все твои двадцать четыре зёрнышка смеха и здоровья. Без этих зёрнышек ребёнок не может почувствовать себя вполне счастливым. Ты сегодня настоящий именинник! Держи.

— Спасибо! — сказал Крикуль, бережно принимая мешочек.

Эльф расправил крылышки и вернулся на место. Тюльпан постепенно стал закрываться и менять окраску. Снизу, возле самого соцветия, появились желтовато-красные полоски.

— Скоро этот цветок станет таким же, как и все остальные, — сказала фея. — А теперь нам пора, Крикуль. Нужно готовиться к новогоднему балу.

Эльф махнул Крикулю на прощанье, и фея накрыла цветок ажурным колпачком.

— Твой эльф, надеюсь, навестит тебя в твой следующий день рождения. У тебя будет настоящий дом и настоящий праздничный торт.

Крикулю очень хотелось верить в это. Но сомнение, словно навязчивая заноза, мешало ему поверить в это чудо. Где-то у горизонта Крикуль заметил перламутровую полоску, разрезающую прозрачную голубизну неба.

— Что это?

— Это бабочки-жемчужницы. У Декабрины последний день работы в оранжерее. Помнишь, когда вы путешествовали с Птеранодоном и Капуцином, то видели Жемчужное озеро. Туда бабочки переносят эльфов, превратившихся в жемчуг.

— Да, конечно, помню. Там мы встретили Кокои. Бедняга Кокои, — вспомнив о друзьях, Крикуль снова испытал душевную боль. — Я бы отдал все ваши дары, все волшебные предметы, которыми меня наградили феи, все сокровища земли, только бы мои друзья снова очутились рядом.

Августина сделала вид, что не слышит Крикуля. Она подошла к покрытой ладеневатым мхом стене оранжереи, дотронулась ладонью до её шершавой поверхности, и вдруг сверху потекли струи голубоватой воды. Фея отошла на несколько шагов от весело зажурчавшего водопада и пальчиком поманила к себе Крикуля. Тот приблизился.

— Декабрина! — громко и торжественно произнесла Августина.

— Можно тебя отвлечь на минутку?

Сквозь ниспадающие струи, словно в живом мерцающем зеркале, Крикуль увидел прекрасное неземное создание. Женщина была похожа на своих сестёр, только выглядела немного старше. Её доброе спокойное лицо обрамляли сияющим нимбом пепельно-русые волосы.

— Здравствуй, дорогая сестричка! — приветствовала её Августина. — Ты не позволишь нам с Крикулем перейти в твой сектор и немного понаблюдать за твоей работой?

Декабрина приветливо улыбнулась.

— Пожалуйста, прошу! — сказала фея по ту сторону водопада и протянула к ним руку.

— Пойдём, Крикуль. Какая редкая удача! Я сама буду впервые наблюдать за этим таинственным ритуалом со стороны.

Августина обняла Крикуля, и они направились в оранжерею Декабрины.

Их весело обрызгал слепой дождик, он оставил на щеках Крикуля лишь лёгкое прикосновение приятной прохлады.

Если в секторе Августины царило безмятежное спокойствие, то на половине Декабрины слышался беззаботный ребячий гомон. Здесь царило радостное оживление весёлой возни. Малыши-эльфы, которые скакали внутри своих полураскрытых тюльпанов, воспользовавшись моментом, когда фея занялась гостем, шалили, перебрасываясь своими крошечными подушечками. Декабрина была невозмутима и никак не реагировала на ребячью выходку.

Крикуль даже не заметил, как очутился в её ласковых объятиях.

— Я очень рада наконец-то познакомиться с тобой, милый Крикуль.

Декабрина всем своим видом излучала благородство и достоинство. Её мягкий добрый голос моментально разрушил невидимую внутреннюю преграду между ней и Крикулем, и он тут же почувствовал, что может доверить ей любую свою тайну.

— Мне нужно многое сказать тебе, Крикуль. Только позволь закончить мою столь приятную миссию, и я буду полностью в твоём распоряжении. Нам есть, что обсудить.

— Разумеется, — ответила за Крикуля Августина. — Мы не будем мешать и постоим пока здесь, в сторонке.

Как только Декабрина повернулась лицом к шалунам, малыши-эльфы тут же послушно притихли.

— Молодцы! Какие у меня замечательные дети. Сегодня 30 декабря, а нам ещё осталось поздравить 2679 новорождённых и 315 именинников.

Крикуль увидел, как Светило, озарявшее оранжево, приблизилось к поляне и направило сотни своих лучей прямо на раскрытые тюльпаны. На концах солнечных лучей заблестели ртутные капельки. Декабрина быстро подходила к солнечным лучам, снимала с них по два зёрнышка и проворно складывала в полупрозрачные сумочки, висящие на плечах эльфов. Те тут же вспархивали и растворялись в небе. Им вдогонку несло: Дина, Сэм, Алекс, Джойс, Ирина, Майкл, Светлана, Пеги, Рита, Сергей, Сабрина, Кэт, Мэри, Татьяна, Кристина, Александра, Клаус, Дениза, Крис...

— Крикуль, — окликнула его Августина, — я, пожалуй, оставлю тебя. Ты дождись Декабрину, а я вернусь домой. Можешь себе представить, сколько у меня ещё дел перед новогодним праздником? Все часы должны быть в идеальном состоянии.

— Может быть, я чем-нибудь помогу вам? — искренне спросил Крикуль.

— Нет, нет, ты оставайся, тебя действительно ждёт важный разговор с Декабриной. Очень важный! Нужно решить твою дальнейшую судьбу. А это во многом будет зависеть от решения Всеобщей Матери. Она скоро освободится, а я исчезаю, мой мальчик, — сказала Августина и тут же испарилась.

Фигурка Декабри мы удалилась вглубь оранжевой и почти растворилась среди цветов. Крикулю были видны только взлетающие эльфы и копошащееся, сверкающее облако бабочек-жемчужниц. Их мерное стрекотание, отдалённый детский смех и перечисление имён почти убаюкали Крикуля. Вдруг Крикуль отчётливо почувствовал запах гари.

Он оглянулся и увидел прямо за своей спиной... нет, этого не может быть... Оксы?!

— Я сплю? — спросил Крикуль сам себя и ущипнул за руку.

— Разве? — прошипели Оксы.

Очковая кобра выглядела совсем натурально. Она не была похожа на галлюцинацию, хотя её хвост теперь больше напоминал толстый прорезиновый провод.

— Ты, Крикуль, я вижу, сменил оперение. Как же мы полетим с тобой домой?

Появление Оксов было столь неожиданным, что Крикуль не мог найти в себе силы противостоять им.

— Августина сказала, что ты — мираж, ты просто живёшь в моём воображении, что тебя нет на самом деле. Оксы погибли.

Кобра почти вплотную приблизилась к Крикулю.

— А может быть, это Августина живёт в твоём воображении? Может быть, это она — мираж! Где она? Я не вижу здесь никакой Августины. Ты, Крикуль, жалкий трус и врун. Я знала, что ты обманешь меня, и решила опередить тебя и выполнить наше с тобой задание на день раньше — не тридцать первого, а тридцатого декабря.

— Ты не посмеешь этого сделать.

— А кто мне помешает? Может быть, ты?

— Я!

— Как ты собираешься это сделать? Позовёшь мамочку? Сам-то ты не способен принимать никаких решений. Ты был и останешься вечным рабом обстоятельств. У тебя нет собственного мнения. Ты — безвольное существо. Ты раб и служишь тому, кто в данный момент рядом с тобой. Сейчас с тобой Оксы, и ты как миленький сделаешь всё, что я тебе прикажу.

— Не буду! Я не раб!

— Раб! Раб! Твой Отец — Страх, а твоя мать — Покорность. От этого союза могут рождаться только рабы. Даже если ты сожрёшь все эти зёрнышки, что подарила тебе твоя добренькая фея, у тебя не хватит духу противостоять мне, ничтожество. Собиратель слёз!

Кобра воинственно зашипела и разинула свою гадкую пасть прямо перед лицом Крикуля.

Крикуль отчётливо увидел в ней пакетик со взрывчатым порошком. Кобра подняла хвост высоко над землёй и одним только взглядом зажгла, словно фитиль, его кончик. Он загорелся и зашипел, словно бикфордов шнур.

— Чем отличается героизм от безрассудства? — Слова Короля Страх обожгли разгорячённый мозг Крикуля.

Считанные секунды отделяли Остров Детства от взрыва. Перед Оксами больше не было маленького запуганного волшебника, перед ними не было растерянного Аиста, перед лицом Смерти стоял Человек, которым овладел инстинкт самосохранения. Крикуль неожиданно метнулся в сторону кобры и мгновенно откусил часть змеиного хвоста, к которой подползал огонь. Змея издала дикий вопль, и в следующий миг на голову Крикуля обрушился страшный удар.

Декабрина

Глава, в которой Крикуль узнаёт, что такое совесть

Сознание медленно возвращалось к Крикулю. Он не мог видеть того, что произошло в следующий миг после его неожиданного выпада. Солнечный диск внезапно развернулся и мгновенно пронзил своим вездесущим лучом смертоносного аспиды. Оксы бесследно испарились, оставив после себя только облачко едкого сизого дыма. Приглу-

шённые голоса доносились до Крикуля, словно из поднебесья.

— Бедняжка.

— Да он настоящий герой!

— У Крикуля была моя миртовая веточка, он мог представить змею беззащитной, и она бы не загла фитиль.

— У него были мои изумруды, он мог не рисковать так. Одна горошина заморозила бы эту мерзкую змеюку.

— Это был неоправданный риск. Какой-то уж чересчур театральный жест!

— У него был мой защитный аромат. Оксы попали бы в непроницаемый кокон и, взорвавшись, уничтожили бы сами себя.

Крикуль слышал голоса, но у него не было сил, чтобы открыть глаза, и он продолжал слушать своих благодетельниц, стараясь догадаться, кому из них могут принадлежать слова недоумения, сожаления или безоговорочной поддержки.

— Он мог позвать Любовь... Чары Любви сильнее Смерти.

— Героические поступки всегда требуют жертв. Он не боялся рисковать.

— А если бы вызов был принят, если бы не Солнце?

— Как я могла оставить одного моего мальчика? Я ведь сказала ему, что Оксов больше не существует.

— Ты не могла знать. Силы зла способны восстанавливаться, особенно там, где царит тень.

— Крикуль сумел принять самостоятельное решение. Он настоящий человек. Король Страх проиграл в главном, он не учёл одного обстоятельства.

Крикуль сделал над собой усилие и приоткрыл веки. Обжигающий свет заставил его снова зажмуриться.

— Девочки, он, кажется, очнулся. Сентярина, смотри!

— Я вижу, вижу, всё хорошо.

Почти невесомая рука Сентярины коснулась лба героя. Крикуль почувствовал приятную прохладу, лёгкой живительной волной пробежавшую по всему его телу. Он даже услышал проникновенный звук волшебной арфы, которую задела чувствительные, нежные пальцы невидимой музыкантши.

Двенадцать улыбающихся, приветливых лиц склонились над ним:

— Крикуль!

— Мой сладенький аистёнок!

— Привет, милый!

— Как дела?

— С выздоровлением!

— Я горжусь тобой!

— Ты такой молодец!

— Bravo, Крикуль!

— Так держать!

— Ты навсегда в моём сердце!

— Крикуль, какое счастье! Какой ты красивый!

— Ты настоящий герой!

Звуки переливающейся арфы. Добрый воскрешающий свет.

— Остров Детства приветствует героя!

Крикуль чувствовал себя вполне оправившимся от удара. Его занимали лишь слова феи, говорившей о главном промахе Отца: «Какого важного обстоятельства не учёл Король Страх?»

Оказалось, что об этом сказала фея Декабрина. Она выслушала его вопрос и, присев на край кровати, на кото-рой лежал Крикуль, пояснила:

— Видишь ли, дорогой! Ты провёл в замке Короля Страх двенадцать лет жизни. Король воспитывал тебя почти с самого момента рождения. Но он так и не понял главного. Он не знал, что, кроме уникального таланта слышать детский крик за тридевять земель, ты обладаешь ещё одним бесценным качеством, которым Природа наделяет далеко не всех людей: у тебя есть совесть.

— Совесть?

— Да! Её нельзя увидеть глазом, потрогать руками, но если человек наделён совестью, он не сможет творить зло и служить ему. Рано или поздно совестливый человек восстанет против зла, и будет смело противостоять ему.

Крикуль внимательно смотрел на Декабрину, слушал её мудрые слова, которые раскрывали ему новую тайну Природы. Декабрина поднялась и направилась к окну. За окном догорал день. Последний день старого года. Декабрина еле слышно вздохнула и продолжила:

— Но у обладателя совести есть одна, с точки зрения житейской логики, большая проблема. Человек совести никогда не сможет ловчить, приспособливаться, обманывать. Из множества жизненных путей он всегда выберет самый трудный — праведный. Он обречён говорить только Правду и жить в соответствии с Правдой. Но только Правда, дорогой Крикуль, сильнее Страх. Только Правда!

— Получается, что совесть — это наказание для человека, — сказала Августина, которая подошла к Крикулю и будто в знак поддержки взяла его за руку.

— Это испытание! — возразила ей Декабрина. — Испытание, которое требует особого мужества и стойкости духа. Крикуль уже большой и должен знать об этом.

Башенные часы Августины пробили девять раз. Феи переглянулись.

— Однако сегодня 31 декабря! — Декабрина улыбнулась своей солнечной улыбкой. — Пора.

— Всё плохое когда-нибудь кончается. Зло не посмеет омрачить наш праздник, — сказала Январина, самая молоденькая из сестёр. Она вытянула ладонь вперёд, и Крикуль увидел горсть мелких, словно песчинки, изумрудов.

Январина подбросила их вверх, и на головы присутствующих тут же посыпался дождь изумрудного конфетти. Всё вокруг засверкало чудесным светом. Изумрудные огоньки весело заплясали по комнате, заискрились в волосах фей, на их плечах и в складках платьев.

«Платья фей... — только сейчас Крикуль обратил на это внимание, — они ведь все ещё не надели бальные наряды Апрельны».

— Ничто не в силах остановить время, — констатировала Августина. — Новый год приближается.

Новогодний бал

Глава, в которой Крикуля посвящают в самую главную тайну Короля Страха

Крикуль догадался, что находится в одной из комнат замка Декабрины.

Старшая из фей, которую все здесь называли Всеобщей Матерью, имела, по сравнению со своими сёстрами, пожалуй, самое волшебное хобби. Если Январина была первоклассным ледяным скульптором, Февралина — непревзойдённым кулинаром, Мартина — одержимым зоологом, Апрельна — великим кутюрье, Майя — страстной поклонницей поэзии, Июнина — путешественницей, Июли-на — служительницей театра, Августина — хранительницей времени, Сентябряна — целительницей, Октябряна — художницей, а Ноябряна — собирательницей сказок, то Декабряна была Всеобщей Матерью.

Её замок напоминал настоящий Мир Детства. Здесь было собрано всё необходимое для малышей. Миллионы всевозможных игрушек, детское питание, солнечные батарейки Добра и Счастья, многочисленные тома с фотографиями и жизнеописаниями детей всего мира за последние две тысячи лет, Книги Судеб.

Один из залов её дворца был оборудован как гигантский парк развлечений. В нём находились красочные карусели, весёлые аттракционы, игровые площадки, фонтаны, из которых били струи газировки «Фантасмагория», обновляющей жизненную энергию, пирамиды из сладких булочек «Мамина отрада», детские парикмахерские и мастерские по моделированию детской одежды. Для маленьких почемучек существовал отдельный зал. Здесь хозяйничал Великий Волшебник, хранитель Мудрости по имени Ниль Лдмирари. Седовласый старик в плаще цвета дождя готов был раскрыть тайну гения любому маленькому человеку, обладающему пытливым умом. Здесь происходил торжественный обряд посвящения в рыцари науки.

Это был не замок, а мечта любого ребёнка. Но всё это Крикулю только предстояло увидеть. Сейчас он находился в небольшой уютной детской комнате. Крикуль поднялся с кровати. Он чувствовал себя превосходно, был свеж и полон сил. В его жизни наступал час великого обновления. Предчувствие этого торжественного момента разбудило в его душе невероятное радостное волнение.

Вдруг всё вокруг задвигалось. Пол под ногами Крикуля заскользил, кровать исчезла, стены комнаты сами собой стали раздвигаться. В считанные минуты Крикуль очутился посреди огромной танцевальной залы. Над его головой вспыхнула великолепная люстра. Причём потолка, как такового, не было, и к чему крепилась люстра, было непонятно. На бархатистом тёмно-синем небе сверкали мириады звёзд. По периметру залы стали возникать обрамлённые позолоченными багетами зеркала, которые волшебным образом поглотили одно за другим отражения всех двенадцати фей. Чудеса непрерывно сменяли друг друга. Рядом с Крикулем выросла громадная разлапистая ёлка, верхушка которой, казалось, доставала до самого неба. Крикуль не успевал рассматривать

поочерёдно зажигавшиеся на её ветках разноцветные шары. Блестящая извивающаяся гирлянда укутала ёлку снизу вверх и заискрилась огоньками. Грянула музыка. Крикуль увидел, как в зале, снова пройдя сквозь зеркала, появились красавицы феи. Их наряды были просто превосходны. Настоящие королевы бала. Ярче всех сияло лицо Апрельны, которая была весьма довольна своими шедеврами.

Так же внезапно, как возникали огни на новогодней ёлке, в зале стали появляться всё новые и новые персонажи. Через открытый потолок влетели Ветры Странствий. Они распахнули свои всклокоченные, словно кучевые облака, пушистые шубы, и из-под них вырвались голубые северные туманы и зной раскалённой пустыни. Всё это тут же перемешалось, и свежий воздушный коктейль заполнил собой необозримое пространство зала.

Рядом с великаном Северным Ветром выросли целые горы самого грандиозного лакомства в мире — мороженого, завёрнутого в серебряную и золотую фольгу.

— Почему ты не угощаешься, Крикуль? — услышал Крикуль над самым своим ухом чей-то очень знакомый голос. Он тут же обернулся и увидел Любовь.

— Любовь! Это ты?! — радостно воскликнул Крикуль.

— Разве я так сильно изменилась за два дня?

— Нет, что ты! Просто ты потрясающе выглядишь! А как ты узнала, что я — это я? Ведь ты меня видела только в облике Аиста?

— А ты и сейчас в облике Аиста.

Крикуль моментально взглянул на своё отражение в зеркале. Нет, он остался слегка взерошенным, кучерявым мальчишкой Крикулем.

Любовь шутила, будто была просто его легкой мисленной сверстницей. Впрочем, рядом с Крикулем сейчас действительно стояла изумительно симпатичная девчонка в карнавальном костюме-домино. Ей хотелось шутить и веселиться. Крикуль и Любовь взглянули друг на друга и дружно рассмеялись.

Музыка стала звучать чуть тише. Февралина в роскошном вечернем туалете несколько раз хлопнула в ладоши. Створки огромных дверей распахнулись, и в зал с трудом протиснулся колоссальных размеров Торт. Точь-в-точь таким же Крикуль с друзьями лакомился у феи-кулинарши. Послышались крики «Браво!», и все зааплодировали. Торт остановился рядом с Крикулем, и он заметил, что торт был украшен сотнями удивительно красивых бабочек из марципана.

— Точно живые, — отметил про себя Крикуль.

Но «марципановые» бабочки дружно вспорхнули и разлетелись. Тут же по залу распространился сладчайший запах миндаля.

К тарту подошли братья Повелители Ночных и Дневных Сновидений.

— Я мечтал об этом мгновении целый год. Этот торт мне даже снился, — сказал, облизываясь, безбородый старик, Повелитель Дневных Сновидений.

— Как это снился? — недовольно оборвал его старший брат. — Вечно ты преувеличиваешь. Ты же не спишь никогда?!

— Ну, хорошо, не снился, так грезился, что с того? Во всяком случае, мне не терпится его попробовать.

— Ещё рано! Вечно ты торопишься.

Фея Октябрина взмахнула своей миртовой веточкой, и тут же по периметру зала появились столы с невиданными яствами.

— Ах, я сейчас захлебнусь, — застонал безбородый при виде такого сказочного изобилия.

— Как это? Что за дела? Чем это ты захлебнёшься? — спросил брат.

— Естественно слюной.

— Не позорь меня! — продолжал злиться Повелитель Ночных Сновидений.

— Вечно ты меня сдерживаешь! Это — новогодний праздник, и раз еда уже появилась, значит, её можно есть,

— К ней пока ещё никто не прикасался, трапезу всегда начинает хозяйка торжества! Почему ты вечно должен быть первым? Самый голодный? — не унимался белобородый.

Но тут к тарту подошёл маленький Пони, помощник феи Майи, и аккуратно отщипнул кусочек лакомства.

Повелитель Дневных Сновидений — будто это было сигналом к атаке — вырвал рукав из цепких объятий брата и ринулся к тарту, словно к барьеру.

— С наступающим! — приветливо кивнул он Пони и позволил положить себе на тарелку огромную кремовую розу, которую подцепил золотой лопаточкой пингвин-официант.

Крикуль увидел, как среди гостей засновали пингвины из владений Апрелины. Они ловко опрыскивали из своих пульверизаторов всех, кто, по их мнению, не имел достаточно праздничного, соответствующего торжественному событию вида. Крикулю не удалось избежать внимания одного из церемониймейстеров. Пингвин с пушистым хохлом щедро окатил его с головы до ног. После этой процедуры Крикуль действительно с трудом узнал самого себя. Из зеркала на него смотрел гладко причёсанный денди в шитом по фигуре синем костюме-тройке. Белоснежную рубашку украшал галстук-бабочка.

— Как у Капуцина, — вдруг с грустью подумал Крикуль.

И тут он увидел Капуцина в зеркале. Тот стоял в другом конце зала рядом с Птеранодоном.

«Нет, этого не может быть?! Мираж? Видение?» — Крикуль, забыв, что перед ним зеркало, по инерции кинулся вперёд и сильно ударился о зеркальную поверхность.

— Крикуль, что с тобой? — спросила Любовь.

— Капуцин, Птеранодон, ребята! — выкрикнул Крикуль, всё ещё показывая на отражение друзей в зеркале.

Любовь оглянулась.

— Да, это они!!!

Звук, который произвёл Крикуль, ударившись о зеркало, привлёк всеобщее внимание.

— Крикуль! — вырвался вопль узнавших его товарищей. — А-а-а!!!

Они бежали навстречу друг другу. Как же долго они бежали. Крикуль с разбегу попал в крепкие объятия журналиста.

— У, бродяга! — Капуцин не отпускал Крикуля.

— Капуцин, Капа, это ты? — Крикуль всё ещё не верил этому чуду.

— Я, Крикуль, я. Собственной персоной. А тебя и не узнать.

Они снова взглянули друг на друга и снова обнялись.

— Я уже не надеялся, что увижу тебя.

— Как это не надеялся? Хорош друг! — засмеялся журналист.

Всё ещё не выпуская из объятий Капуцина, Крикуль радостно приветствовал Птеранодона, который стоял рядом и переминался с ноги на ногу, смахивая лапой скучную мужскую слезу.

— Привет, Птеранодончик!

— Привет, Авиатор, — ответил Птеранодон, всхлипывая. — Как дела?

— Отлично!

— Я так и думал.

Тут Крикуль заметил, как из-за гребня Птеранодона выглянул... Он не поверил своим глазам... Кокой?

— Что? Как! Кокой, это ты? — Крикуль просто ошалел от радости.

Капуцин выпустил Крикуля из объятий.

— Кокой! Малыш! Ты жив, ты нашёлся? — Крикуль подхватил Кокой на руки.

— Кокой нашёлся. Кокой живой.

— Нет, этого не может быть!!!

Счастью Крикуля не было предела. Его друзья, живые и невредимые, стояли рядом с ним. Крикуль поискал глазами Августину. Он хотел немедленно поделиться своей радостью с феей, которая была так удивительно похожа на его маму. Но волшебницы были заняты. Они собрались в круг и о чём-то совещались.

— Любовь! А ты знала, что ребята живы?

— Я верила.

— Но ты знала наверняка?

— Нет. — Любовь всё ещё улыбалась, но говорила вполне серьёзно. — Кокой только что принёс Восточный Ветер, а Капуцина спасла Сила Двенадцати.

— Сила Двенадцати? Что это такое?

Любовь не ответила. Она лишь указала ладошкой в сторону хозяек Острова Детства.

— Понимаешь, дружище, — вступил в разговор журналист, обняв Крикуля за плечи, — сегодня такой день — 31 декабря! Великие Волшебницы собираются вместе и творят настоящие чудеса. Понимаешь?

Крикуль только кивнул. Слёзы радости и волнения сдавили горло, и говорить он был не в силах.

Наступила минута тишины.

— Ребята, я так много должен вам сказать. — Крикуль пытался совладать со своими чувствами. Ему было трудно выговорить слова признания: — Мне очень жаль...

— Мне тоже очень жаль, — перебил его журналист, — я пропустил столько интересного. Какой у меня получится потрясающий репортаж! Нет, я, пожалуй, всё же напишу книгу.

Крикуль только сейчас заметил на поясе Капуцина грубый шрам, оставшийся после раны. Вспомнилась страшная картина. Перед глазами

снова возникло растерзанное тело приятеля. Именно таким он видел его в последний раз.

— Да, мне тогда крепко досталось, — угадав мысли Крикуля, произнёс Капуцин. — Ну, ничего! Мы ещё повоюем! Ты, Крикуль, тоже здорово изменился.

— Да, я теперь не Аист... — тихо начал Крикуль.

— Ну и ладно, — снова весело перебил его Капуцин, — это даже к лучшему. Мне, кстати, твой клюв никогда не нравился.

— А для меня ты всё равно так останешься братом, Авиатором, — глухо сказал Птеранодон.

— И вы на меня не сердитесь?! — в глазах Крикуля было столько боли и раскаяния, что все друзья принялись утешать и подбадривать его.

Кокой сидел на плече у Крикуля и всё время молчал, но его миролюбивое спокойствие лучше любых слов выражало его солидарность и дружеское расположение.

— Мы знаем твою историю, Крикуль, — сказала Любовь, — теперь её знают все на Острове Детства.

— И мы рады, что познакомились с тобой! И чем-то смогли тебе помочь. Ты настоящий герой! — Капуцин произнёс эти слова так просто и искренне, что сердце Крикуля снова забилося легко и радостно.

Зазвучали фанфары. Они возвещали о приближении Новогодней Полночи. Феи Острова Детства встали полукругом. Хозяйка бала, Декабрина, вышла вперед. Наступила торжественная минута.

— Дорогие друзья! Мы рады, что колесо времени снова совершило свой круг. Мы рады, что в подлунном мире по-прежнему есть место нашему Острову, который творит большие и добрые дела. Природа бережёт нас от забвения и разрушения. Те испытания, которым подвергся Остров в последние дни декабря уходящего года, являются тому подтверждением.

— Крикуль, подойди, пожалуйста, сюда, — Декабрина грациозным жестом подозвала его.

Еле сдерживая волнение, Крикуль направился к феям. Все они ласково и приветливо смотрели на своего гостя.

Декабрина взяла Крикуля за руку и, повернув его лицом к залу, продолжила свою речь:

— Сегодня, в новогоднюю ночь, когда сила Двенадцати Волшебниц нашего Острова способна совершать настоящие чудеса, в знак нашей признательности Крикулю за мужество и стойкость духа мы готовы вернуть ему детство, украденное Королём Страхом.

Крикуль смотрел в другой конец зала, где остались Любовь и Капуцин с Птеранодоном. Кокой продолжал сидеть у него на плече. Капуцин вскинул вверх обе руки, крепко сжав ладони в замок. Крикуль, честно говоря, в душе ожидал чего-то в этом роде: «Ведь ещё вчера Августина намекала на возможность, которую могут предоставить ему феи Острова в случае единодушного согласия. И вот оно! Свершилось! Он сможет вернуться к своей маме. У него будет родная семья. Он станет самым счастливым на свете».

— Но прежде чем приступить к обряду превращения, — голос Декабрины почему-то слегка дрог-

нул, — я должна сказать тебе, мальчик, следующее. Я не могу не сказать тебе этого.

Августина подошла к Декабрина.

— Может быть, не стоит?

— Нет, он должен знать! — твёрдо произнесла Декабрина. — Крикуль имеет на это право.

Крикуль внимательно посмотрел в глаза Декабрины и увидел в них следы горечи.

— Извини, мой мальчик, что я перекладываю на твои плечи неимоверно тяжёлый груз ответственности, да ещё в такой день, но я не могу поступить иначе. Я — Всеобщая Мать и должна учитывать интересы других детей так же, как и твои.

Крикуль пока ничего не мог понять.

— Я что, не смогу вернуться к своей маме? — тихо спросил он.

— Дело в том, дорогой Крикуль, что в замке Короля Страхом осталось ещё одиннадцать мальчиков и девочек, украденных Страхом и его братьями.

Это сообщение прозвучало словно гром среди ясного неба, и хотя сейчас и царилась ночь, но сказочные краски новогоднего праздника сразу померкли. В глазах у Крикуля потемнело. Он ничего не знал о похищенных детях, живших рядом с ним.

Декабрина тем временем продолжала: — Я не стала бы тебе говорить об этом, Крикуль, если бы я не была уверена в том, что только ты сможешь попытаться вернуть им свободу. Только ты с твоим совестливым сердцем. Главный воспитанник Страхом, ты столько пережил, сумел сделать свой главный выбор, и ты можешь попытаться.

— Попытайся! — перебила её Августина. — А если эта попытка закончится... неудачей? Если у мальчика не хватит сил справиться с Королём Страхом? Это же не шутка — Двенадцать Страхом! Крикуль не спасёт детей и погибнет сам! Это бессмысленная жертва.

— Крикуль вправе отказаться, — твёрдо произнесла Декабрина.

Зал погрузился в гробовую тишину. Казалось, были слышны мерные щелчки секундных стрелок часов, подаренных Крикулю Августиной.

— Крикуль вправе отказаться, — повторила Декабрина, — и никто, никто не осудит его за это. Я просто хотела, чтобы у ребят, заточенных в замке Страхом, появился шанс на спасение. Они так же, как и Крикуль, до конца своих дней погруженные во мрак кошмаров, будут вынуждены оставаться слугами зла. Но ты, Августина, права! Даже если мы снабдим Крикуля волшебным оружием против Страхом, он рискует многим. Ты права, Августина, Крикуль может отказаться.

— Я согласен! — неожиданно сказал Крикуль. — У меня было украдено детство, и я знаю, что это такое. Я готов попытаться спасти ребят... Если я сейчас этого не сделаю...

— Мы вернём тебя твоей маме, и ты ничего нового не будешь помнить об этом. Время стирает из памяти не такое... — произнесла Августина слегка потерянным голосом.

— Но сейчас-то я знаю, что от моего решения зависит судьба других людей. И я готов... Я готов сразиться с тьмой... до последней капли света.

— И я, я тоже готов! — выкрикнул издалека Капуцин и уверенным шагом направился к другу. — Позвольте журналисту присоединиться к этому героическому парню. Я обещаю вам привести настоящий материал из горячей точки.

— Я тоже полечу с вами, — произнёс Птеранодон. — Авиатор Авиатора в беде не бросает.

— И Кокои тоже, — твёрдо сказал Кокои. — Кокои будет смотреть в оба.

— Не забудьте про Любовь! — тихо сказала Любовь. — Я лечу с вами.

— А ещё у вас будут моя миртовая веточка и волшебная шкатулка, — сказала Октябрина.

— И мои волшебные изумруды, — добавила Январина.

— И мой защитный аромат, — напомнила Апрельна.

— Мои марципановые сердечки, — дополнила Февралина.

— Часы Августины!

— И сила Двенадцати! — произнесла Декабрина. — Эта сила сплотит вас для борьбы со злом. И в этой борьбе вы завоюете право жить без Страха.

Деревня Плакли отмечала встречу Нового года. Из местного паба доносилась весёлая мелодия. Эмма стояла на пороге своего дома и пристально взглядывалась в удивительно звёздное небо. Она ждала сына и верила в чудо.

г. Санкт-Петербург

Владимир Мотрич Вольная воля

ДиН память

Метель

Снежной метели
Сплошное безумие.
Можно очистить
И можно очиститься.
Белыми красками
Время рисуем мы...
Прошное в белом
Отчётливей видится.

Мелкие чувства
Сданы в гардеробную.
Старая музыка
Вне понимания.
Люди столпились
В кругу ожидания,
Новый мотив
Примеряют и пробуют.

Песня-волшебница
Рожицу скорчила,
Новые мысли
Кругом наворочала.
В белом кружении
Необратимы,
Прошное с будущим
Два побратима.



Вольная воля. Да степь в три дороги.
Да по обочинам тлеют кресты.
Ночью в степи — только волк одинокий
Да обезумевший ветер свистит.

Вольная воля. На всякого хватит!
Вор бородатый спешит на разбой.
Может быть, завтра наступит расплата?
Вольная воля! Кровавый запой.

Вольная воля с метелицей дружит.
Русские степи — попробуй, измерь!
Мягко постелят — да насмерть закружат.
Каждому встречному — встреченный — зверь.

Вольная воля. Разгул да жестокость.
Зоркие очи. Да зубы острые.
...Ночью в степи — только волк одинокий
Да обезумевший ветер свистит.

Вероника Шелленберг СТИХИ И ПЕСЕНКИ



Вальс для белой лошади и ежа

Слышится где-то пастуший рожок,
Медленно, медленно кружит снежок,
Медленно, медленно, как этот снег,
Белая лошадь идёт на ночлег.

Смотрит ей вслед зачарованный ёж,
Ёжась, под снегом стоит без галош.
Медленно, медленно, в такте копыт,
Белая лошадь ему говорит:

«Что же Вы, батенька, мёрзните тут?
Снежные тучи плывут и плывут.
Скоро стемнеет, пора бы домой.
Вы бы немедленно шли бы со мной!»

Слышится где-то пастуший рожок,
Медленно, медленно кружит снежок,
И замечает следы от копыт,
И... кто там рядом ещё семенит.

В некотором царстве

Жил да был один король,
жил да был,
и забыл он свой пароль,
ну, забыл!

Захотел открыть казну
и не смог.
Льёт горячую слезу
на замок.

И не ест король, не спит,
третий день.
Бродит, бедненький, бубнит
дребедень:

Тык-мык-пык, да дыр, бул, щил,
альт, делет.
Ай, карамба! Нету сил
и денег нет.

Перерыл он слов сундук, —
дело швах...
А вдруг поможет старый друг
падишах?

Я бы рад, да сам такой —
почём зря
ставлю глупые порой
пароля!



Снова тарабанят к нам гости непозватые.
Руки волосатые, майки полосатые.
А мы не ждали никого
с выбивалкой для ковров!

Уж нельзя налить воды
на собственной кухне,
Три-четыре парусника
вдоль стены пустить!
Килька в банке, вон, лежит,
так тоскливо тухнет,
А мы её в Атлантику
хотели отпустить.



Мы лепили пироги
В белом облаке муки,
И в муке не разглядели,
С чем лепили пироги.

Откусили пирожок —
Там вишнёвый творожок,
И кусочек ананаса,
И картофельный кружок.

И решили — без муки
Будем стряпать пироги...
Ай-ай-ай! Прилипли к тесту, —
Мама, мама, помоги!



В саду у нас
прекрасный куст-кукуст.
Меня под ним
никто не замечает.
Серёга с Петькой
зря кричат: «Ку-ку!»
я слышу их,
но я не отвечаю.

Ах, как вольготно
лёжа на спине
болтать ногой,
следа за облаками!
А облака
сквозь листья — зеленой,
летят быстрее,
значительно быстрее.
Не верите?
Проверьте сами.



Вот представьте — у машины три руля,
а в машине — три заморских короля.
Крутят-вертят золочёные рули,
а втроём, поди, попробуй, порули!

Один король
упрям, и вот —
он корону то согнёт, то разогнёт.
Глядит вперёд,
рулит вперёд,
а другой король совсем наоборот!

А у третьего, представьте, короля,
была здоровая и крепкая семья.
Он один из всех заморских королей
умел выращивать укроп и сельдерей.
А в машинах ничего не смыслил он,
но, зато, давил исправно на клаксон:
фа-фа!

Один король
рулит в поход.
Вся машина и трясётся и ревет.
Другой король
рулит туда,
где барханы, пальмы, солнце и вода.
И на кочку наскочили,
вот беда!

И взлетели три заморских короля,
как бумажные, представьте, три рубля.
А во след и все четыре колеса
поднялись за королями в небеса.

Один король
летит — орёт,
он свою, наверно, армию зовёт.
Второй король
кричит — «назад!»
И никак найти не может тормоза.

А у третьего, представьте, короля
напридумывалась песня —

Тру-ля-ля!

Песенка лешего

Я леший — отшельник,
мохнатый замшельник,
меня оплетают грибницы до пят,
а нос мой нанюхался кислых опят.

Жуки меня точат, грызут меня мыши,
а дед мой из первого дерева вышел,
и чаща растёт, где он скрипнул ногой,
так что ж я валяюсь ленивый такой?!

Вот встану, стряхну эту кислую плесень,
и песню припомню — скрипучую песню.
Не даром хранил я в чащобе своей
отличные скрипы и хрусты ветвей,

буль-бульки болота, трень-треньки ручья,
ах, слышал бы дедушка нынче меня!

Походная песенка

Вот так лужа,
лужища опасная
где
моя семья гулять идёт.
Я — прошлёпаю,
папа перепрыгнет разом,
мама — обойдёт.

Вот забор.
Заборище отвесный
где
моя семья гулять идёт.
Я — пролезу,
папа перепрыгнет с места,
мама — обойдёт.

Вот так дождь!
Дождище серебристый!
Где
моя семья гулять идёт.
Я — промокну,
папа — перепрыгнет быстро,
а у мамы — зонт.

Старичок-лесовичок

Старичок-лесовичок —
шишечка еловая.
Шишечка еловая,
веточка ольховая.
Две брусничины — глаза,
на макушке — стрекоза.

Много дел у старичка,
старичка-лесовичка.
Там берёза подломилась,
из гнезда упал птенец,
ежевика уродилась —
успевай-ка, молодец!

Ты ещё не старый дед —
ста четырнадцати нет!

Каждый лист и куст проверен,
ну, а если вдруг гроза —
заводи-ка свой пропеллер
на макушке — стрекоза!

...и полетели домой.



В газовой горелке
голубой как лёд,
жига, жига, жига
жига живёт.

Ты её не трогай,
тронешь, — и ожёт!
Только жиге, жиге, жиге
там хорошо.

Только жиге, жиге, жиге
там хорошо!

Длинная колыбельная

Белая машинка
с горочки, под горочку
едет потихонечку,
едет целый день.

Устают колёсики,
колёса разноцветные,
с горочки, под горочку
тинь-ди-лень-дилень...

Зелёное, как травушка,
красное, как солнышко,
жёлтое прозрачное
как цветочный мёд.

Синее заморское,
а ещё неброское
колёсико запасное —
ни едет, ни идёт.

Белая машинка
с горочки, под горочку,
и под горочкой осталась
от-дох-нуть.

На бочёк пристроилась,
колёса разноцветные
в воздухе вращаются
чуть-чуть-чуть.

Над зелёной травушкой,
под широким небушком,
будто вслед за солнышком
в золотистый путь.

А ещё запасное
и во сне — прекрасное,
крутится колёсико
куда ни будь.



Ящерка, ящерка,
змейка зелёная,
ящерка, ящерка,
покажись, не трону я!

Из под камня жалобно:
«Откусила хвост
мне лисица жадная,
новый не отрос».

Ящерка, ящерка,
хвостик отращивай!
Дам тебе я молока,
ящерка, ящерка.

Молока парного,
хлебную крошечку.
Отрастает новый
хвост понемножечку.

Чудесная дуда

Мне дудочка подарена —
чудесная дуда.
Талантлив ли, бездарен я —
играю без труда.

В ней дырочки проверчены
для музыки любой —
для музыки про вечное
и про кораблик мой.

Кораблик мой по лужицам
начерпает воды,
завертится, закружится
под музыку дуды.

Под музыку негромкую
его я сделал сам,
и синею каёмкою
украсил паруса.

А заиграю весело —
и ливень зазвенит,
и вместе с этой песенкой
кораблик улетит,

и где-то там, по лужицам
начерпает воды...
Завертится, закружится
под музыку дуды.

Зубная фея

Зуб мой шатается,
Я не плачу, знаю —
Следом появляется
Фея Зубная.

Феечка, фея,
Жду тебя очень!
Забирай скорее
Зубик молочный.

Заберёшь молочный —
Дай коренной,
Острый, прочный,
Беленький, родной!

Крошечная колыбельная

Слышишь — в ночи
деревья шумят.
Деревья шумят —
это ветер летит.
Ветер летит —
тучку несёт.
Тучка пройдёт —
дождик прольёт,
и наша сирень
зацветёт.



Резвая бабайка,
очень молодая,
целый день пугает,
покоя не даёт.
Руки у бабайки
как две балалайки,
ноги у бабайки
гудят, как самолёт.

А вся она ещё такая розово-пушистая,
и хвостик маленький, и ушки чистые,
рога зелёные совсем, как огурцы,
и любит грызть, представьте, леденцы.

Вечер наступает,
бабайка засыпает.
А ночью для пугания
такой открыт простор!
Но ты-то сам попробуй-ка
весь день пробалалай-ка
и в сумерках повалишься,
как сбитый мухомор.

Крокодил и носорог

Пришёл однажды крокодил
К соседу носорогу.
Три торта с кремом проглотил
И сахара немного —

Каких-то килограммов пять.
Поел и лёг спокойно спать.

А утром — ай-яй-яй-яй!
Как подскочил в постели —
Болели зубки — ай-яй-яй!
Отчаянно болели!

И удивился носорог,
Не вовремя разбужен —
«А что же ты не знал, дружок,
Что зубы чистить нужно?»

Не плачь, мой бедный крокодил!»
И носорог к обеду
Зубную щётку подарил
Зубастому соседу.



Это — кран могучий
Строит новый дом,
А за домом — туча
С громом и дождём.

Поднимай-ка крышу
Поскорее, кран!
Я отсюда слышу —
Будет ураган!

г. Омск

В номере

Рукописи принимаются по адресу:
66 00 28, Красноярск, %11 937,
редакция журнала «День и Ночь».
Желателен диск с набором,
фотография, краткие
биографические сведения.
e-mail: din_krsk@mail.ru

Редакция не вступает в переписку.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Ответственность
за достоверность фактов несут
авторы материалов. Мнения
авторов могут не совпадать
с мнением редакции. При
перепечатке материалов ссылка на
журнал «День и Ночь» обязательна.

Для приобретения номера
и размещения рекламы
социальной направленности
обращайтесь в отдел маркетинга
и распространения журнала
«День и Ночь»: т. 8 906 916 56 55
e-mail: kras_srg@mail.ru

Интернет-версия журнала
www.krasdin.ru поддерживается
ООО «КИТ»

ООО «Редакция литературного
журнала «День и Ночь».

ИНН
246 304 27 49
Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале
«Банка Москвы»
в г. Красноярске.
БИК
040 407 967
Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75^а,
офис «ДиН»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Сдано в набор: 13.12.2008
Подписано к печати: 13.01.2009
Объём: 26.46
Тираж: 1500 экз.

Отпечатано с готового оригинала
в типографии ООО ИПЧ «КАСС»
Адрес: 66 00 48, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 65, стр. 23

Астафьевские чтения в Пермском крае

- 2 Эхо Овсянки
притормозило в Чусовом
Роман Мамонтов
- 4 Синяя тетрадь

ДиН стихи

- 13 Енисейский тракт
Сергей Аринчин
- 73 Когда глядишь в себя
Дмитрий Мухачёв
- 73 В Венеции
Юлия Боголепова
- 74 Пойми, никто не виноват
Александр Петрушкин
- 76 Молитвенная память
Евгений Чупров
- 79 Грецкий человек
Алексей Гамзов
- 81 Таблетки от одиночества
Александра Вайс
- 130 Всё говорит, что ты жив
Екатерина Вихрова

- 131 Заклинания
Наталья Леонтьева
- 134 Обнаруженная двушка
Феликс Чечик
- 136 В замедленном кино
Евгений Лесин
- 138 Прекрасный возраст
Елена Гешелина
- 139 Распродажа
Алексей Журавлёв
- 143 Тополиный пух
Наталья Колейкина

ДиН ревью

ДиН память

- 18 Перекрёсток бездорожья
Дмитрий Корнейчев
- 19 Ничей не попечитель,
но попутчик
Алёна Желлова
- 22 Пропуск на крест
Андрей Власов
- 25 Строить человека
Николай Рябеченков
- 135 Я не из тех...
Каролина Павлова
- 157 Не склоню свободной головы
Юлия Жадовская
- 163 Ностальгия
Марк Сергеев
- 170 Розы
Иван Мятлев
- 248 Вольная воля
Владимир Мотрич

Литературные встречи в Сибирском федеральном университете

- 26 Кришнаит—мой отец
Степан Рагников
- 33 Астения
Дарья Крапоткина
- 34 Недомолвок больше нет
Артём Задорин
- 35 Я не один...
Максим Пушкарёв
- 35 Осенний вальс
Татьяна Недбайлова

ДиН публицистика

- 15 Перед светом
Валентин Курбатов
- ## ДиН проза
- 36 Долгие лета
Владимир Шапко
 - 63 Машинка
Юрий Соломонов

ДиН дебют

- 142 Поэты по вызову
Зоя Волянщикова

Библиотека современного рассказа

- 82 Фантом
Евгений Асташкин
- 91 На берегу
Дмитрий Ермаков
- 98 Шашек и Машек
Наталья Скакун
- 124 Сказки дедушки Блинова
Владимир Блинов
- 144 Заметка о рождении
и смерти
Александр Мирро
- 149 Голубое небо,
золотое солнце
Людмила Куликова
- 154 Заэкранные хохотуны
Олег Алёхин
- 158 Хант Юра
Александр Рыбин
- 164 Деревня Порубежье
Татьяна Масс

ДиН детям

- 171 Собиратель слёз
Наталья Данилова
- 249 Стихи и песенки
Вероника Шелленберг